

Мюн-Фейхтвангер

Мюн
ФЕЙХТВАНГЕР

6/5.

6/5.

ЛИОН
ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



Редколлегия:

А. С. ДМИТРИЕВ
Д. В. ЗАТОНСКИЙ
Н. С. ЛИТВИНЕЦ
Н. С. ПАВЛОВА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1994

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ
Книга пятая

ЛЖЕ-НЕРОН

Роман

ИЕФФАЙ И ЕГО ДОЧЬ

Роман

Перевод с немецкого



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА •
1994

ББК 84.4Г

Ф 36

LION FEUCHTWANGER

1884—1958

Комментарии

С. ОШЕРОВА и Н. ШАБУРОВА

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати.

Ф 4703010100-102

028(01)-94

Подписное

ISBN 5-280-02149 0 (Т.6, Кн.5)

ISBN 5-280-00307-7

© Переплет. Сальникова И. Г.,
1994 г.

© Комментарии. Шабуров Н. В.,
1994 г.

© Перевод. Михелевич Е. Е.,
1994 г.

ЛЖЕ-НЕРОН

Роман

Перевод

И. ГОРКИНОЙ и Р. РОЗЕНТАЛЬ

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Екклесиаст, I, 9—11

DER FALSCHER NERO

Roman

1936



Книга первая

ВОЗВЫШЕНИЕ

1

ДВА ПОЛИТИКА

В этот день — шестого марта — прохожие долго провожали глазами носилки сенатора Варрона, направлявшегося во дворец губернатора Сирии, императорской римской провинции. Два дня тому назад, когда новому губернатору Цейонию были торжественно вручены знаки его достоинства — топоры и связки прутьев, все заметили, что сенатор Варрон, самый могущественный человек в провинции, не присутствовал на церемонии. И теперь, когда он отправился с запоздалым визитом к губернатору, вся Антиохия толковала о том, как уживется Варрон с новым савником.

Весна была ясная, довольно прохладная, с гор дул свежий ветер. Носилки повернули на длинную нарядную улицу — главную улицу города. Сенатор Варрон с легкой улыбкой на полных губах отметил опытным глазом, что перед многими правительственными зданиями и богатыми лавками усердствующие чиновники и горожане уже выставляли бюсты нового губернатора. Он оглядывал эти бюсты из своих быстро проплывавших носилок. На судорожно вывернутых плечах сидела маленькая, сухая, костлявая голова. Сколько же лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел эту голову во плоти? Двенадцать, нет, тринадцать. Тогда он полон был снисходительного презрения к этой физиономии. Тогда у него, Варрона, было место под солнцем. Император Нерон баловал его, а этот Цейоний, который не сумел стать другом императора, несмотря на свой высокий род и пышный титул, не пользовался влиянием и пребывал в постоянном страхе, как бы каприз императора не отшвырнул его прочь. Теперь гениальный Нерон гниет в земле. Его место на Палатине занял император Тит, узколюбые чиновники и военные правят империей, а плюгавенький, всеми презираемый Цейоний лихо шагает по пути карьеры, предначертанной ему с рож-

дения. Теперь Цейоний — губернатор, наместник императора, он правит богатой и мощной провинцией Сирией, где сам Варрон живет на положении частного лица. Частного лица, ибо его давно уже исключили из сенатских списков, и если люди вокруг него кричат: «Да здравствует сенатор Варрон, сиятельный муж!» — так это простая вежливость.

Тем не менее, разглядывая бюсты нового губернатора, Варрон и теперь испытывал то же легкое снисходительное пренебрежение, какое он чувствовал к своему ровеснику Цейонию еще в детстве. Луций Цейоний происходил из богатого древнего рода и не лишен был способностей. Но старая глупая история запятнала честь его рода. Один из Цейониев, прадед Луция, семьдесят один год тому назад в битве против некоего Арминия одним из первых бросил оружие, и у Луция с юности было такое чувство, точно именно на нем лежит долг смыть это пятно со своего родового имени. Худосочный, бескровный мальчик уже в десять — двенадцать лет силился придать своему лицу и осанке важность и достоинство и, несмотря на хилость, с судорожной заносчивостью пыжился перед товарищами. Но это вымученное молодечество лишь навлекало на него особенно злорадные насмешки. Какое это прозвище они дали ему в школе? Сенатор Варрон сдвинул брови, напрягая память, но слово никак не приходило на ум.

Не так уж просто будет встретиться с милейшим Цейонием после долгих лет, да еще в столь изменившейся обстановке. Отношения Варрона с правительством провинции Сирии были чрезвычайно сложны. В губернаторском дворце римлянина Варрона издавна считали опаснейшим противником нынешнего римского режима в Сирии. Как еще все сложится при Цейонии, который, разумеется, не забыл прежнего жалостливого и вместе с тем враждебного презрения Варрона.

— Да здравствует сенатор Варрон, сиятельный муж! — раздавалось со всех сторон. Варрон велел пошире раздвинуть занавески носилок и выпрямился, чтобы его мясистое загорелое лицо, с высоким лбом, крупным орлиным носом и полными губами, было лучше видно толпе. Он упивался всеобщим поклонением. Он чувствовал себя выше императорского наместника. Добиться признания здесь, в Антиохии, — это побольше, чем стать любимцем в Риме на Палатине. В нынешнем Риме, в Риме Флавиев, Тита, нужны деньги и знатность рода, ничего больше. Здесь, в Антиохии, с ее недоверчивым и возбудимым народом, в котором смешались греки, сирийцы, евреи, — надо было постоянно утвер-

ждать себя делами, личными качествами, снова и снова завоевывать доверие непостоянной толпы. Этот Восток был опасен, именно поэтому любил его Варрон. Он добился своего — завоевал признание в Сирии. Теперь он может противостоять наместнику императора как сила весьма реальная, хотя и не опирающаяся на договоры и привилегии.

Вот и дворец губернатора. В вестибюле между знаками консульского достоинства и связками прутьев — символами власти нового правителя — уже выставлены были ларцы с восковыми изображениями его предков; одно из них, изображение прадеда, осраившего род, было прикрыто. Губернатор Цейоний, по-видимому, не посмел отплатить Варрону за то, что тот не присутствовал на церемонии вступления в должность. Он сам вышел в переполненный людьми зал. На глазах у всех обнял он и облобызал Варрона; маленький, тщедушный человечек выглядел немного смешно, когда повис на шее представительного сенатора; все слышали, как губернатор тонким скрипучим голосом сказал, что рад видеть товарища своей юности столь цветущим. Затем с приветливым видом пригласил Варрона к себе в кабинет.

Они уселись друг против друга. Губернатор Цейоний, щуплый, маленький, держался очень прямо в широком восточном кресле, занимая лишь половину сиденья, скреб ногтями одной руки ладонь другой и вежливо-испытующе смотрел на Варрона.

«В этой вшивой Антиохии, — думал он, — старину Варрона, по-видимому, еще считают важной особой. Но что он такое? Бывший человек. Отщепенец. В Риме о нем и думать забыли. Когда называют его имя, римляне смутно припоминают: «А, Варрон, это не тот ли, которого император Веспасиан после какого-то скандала вычеркнул из сенатских списков? Он, говорят, нажил много денег в Сирии». Деньги-то он нажил и, по имеющимся данным, пользуется влиянием у власть имущих по ту сторону границы. Но велика ли честь? Какое падение для римлянина, который некогда сидел в сенате, — слоняться по игрушечным дворам этих туземных вождей, этих жрецов и шейхов, с их жалкими царскими титулами. Ну, да мы уж и там о нем порадеем! Мой предшественник был рохля, иначе этот авантюрист Варрон не уселся бы здесь передо мною так нагло».

А Варрон сидел на диване, поджав ноги на восточный лад, в ленивой позе, с добродушным, чуть ли не сердечным выражением лица. Он отлично понимал мысли собеседника. Он знал, что тот смотрит на него свысока и вместе с тем

боится его. Это доставляло ему злобное удовлетворение. Да, здесь он обосновался и умудряется даже, вопреки воле нынешних властителей, Флавиев, продолжать политику сближения с Востоком, начатую императором Нероном. Его отстранили. Веспасиан под каким-то позорным, смешным предлогом исключил его из сенатских списков. Но они ничего этим не добились. Варрон продолжал свою старую политику сближения, — правда, сидя не в Риме, а здесь, в своих сирийских поместьях. Новым хозяевам, с их жесткими римскими милитаристическими методами правления, не удалось справиться с ним. Мелкие царьки, правители городов и духовные владыки государств, расположенных между Римской империей и Парфянской державой, смотрят как на представителя Рима не на губернатора Антиохии, а на него, Варрона. Он унаследовал их почтение и любовь, которыми прежде пользовался на Востоке низложенный император Нерон. Власть, завоеванная Варроном, была властью невидимой, но прочной и устойчивой. Правители римской провинции Сирии охотно отделались бы от Варрона, но, хоть он и был для них бельмом на глазу, они нуждались в его помощи и посредничестве, иначе Риму пришлось бы вести нескончаемые мелкие войны с пограничными государствами.

Варрон улыбался про себя, глядя, как неестественно прямо сидит Цейоний в одеянии с пурпурной каймой — знаком сенаторского достоинства. Новым подданным этот римский наместник покажется, может быть, властным и могущественным; но Варрон читает неуверенность на этом бледном лице, покрытом красными лихорадочными пятнами. Он видит, с каким трудом дается Цейонию его выдержка, видит, что губернатор в свои пятьдесят без малого лет уже старик, изнуренный вечными потугами держаться прямо, искупить позор несчастного прадеда. Варрон испытывал веселое сострадание при виде этого лица. «Бедный Цейоний, — думал он, — бедный мой школьный товарищ! Ты мне не по душе, и со мной тебе не так легко будет справиться». Цейоний же думал: «Что ему, этому Варрону! Живет в свое удовольствие на этом гнилом Востоке, а наш брат из кожи лезет вон, чтобы не дать империи развалиться».

Эти мысли, мелькавшие у обок, не мешали Варрону вести непринужденный разговор. Он рад, многословно распространялся Варрон, за Цейония, которому достался столь доходный пост, это почет и удача. Жаль только, что его назначили как раз в эту адски трудную провинцию.

Сирия способна отнять все силы даже у очень крепкого человека.

— В сущности,— закончил он и улыбнулся легкой фамильярной улыбкой, точно похлопал по плечу своего собеседника,— в сущности, я рад, что я — частное лицо, а вы губернатор.

«Он, значит, не забыл,— подумал Цейоний с удовлетворением,— он помнит, что его выкинули из сената».

— Я слышал,— сказал он весело,— что вы и здесь даром времени не теряли.

— Ну, конечно,— добродушно откликнулся Варрон.— Не так уж мы стары, чтобы сидеть сложа руки. Если не заниматься хоть немного культурполитикой, то куда же девать свой досуг? Да и ни для кого не тайна, что мое сердце принадлежит Востоку.— И он прибавил задумчиво, почти озабоченно: — Вы, Цейоний, римлянин с ног до головы, вам будет очень неуютно на этом запутанном, сложном Востоке. Если не срастись с ним сердцем...— Он пожал плечами, не dokonчив фразы.

Сидя прямо и неподвижно, Цейоний опять поскреб ногтями одной руки ладонь другой. Красные пятна на бледных костлявых щеках разгорелись, он искоса посмотрел на Варрона, заговорил сухим, скрипучим голосом.

— Сделать границы непроницаемыми,— сказал он,— утвердить дух Рима вплоть до самого Евфрата, и не допускать, чтобы хоть что-нибудь чужое проникало с того берега. Иметь перед собой такую ясную задачу — ведь это лучшее средство срастись сердцем со всем здешним, с людьми и вещами.— И, стараясь смягчить резкость тона, он прибавил словно бы между прочим: — Мне очень жаль, мой Варрон, что в деле романизации нашего Востока придется отказаться от вашей помощи.

— Как так? — удивился Варрон.— Разве для человека, за которым не стоит армия, я мало сделал в этой области?

— Бесспорно,— вежливо согласился губернатор.— Вы немало способствовали насаждению в этой провинции греко-римского духа. Но и восточного вы притащили сюда, к сожалению, столько, сколько никто из римлян до вас.

— Это верно,— с удовлетворением подтвердил Варрон.

— Видите ли, дорогой мой,— продолжал Цейоний,— этого-то мы и опасаемся, этого-то мы и не любим. И конечно,— прибавил он не без злости,— вам не избежать разлада с собственной совестью, попроси я у вас совета в некоторых случаях. В самом деле, можно ли при наших вечных распрях с Востоком ждать хорошего, подлинно

римского совета от того, кто является не только римским гражданином, но одновременно подданным парфянского царя и гражданином Эдессы?

«Он хорошо подготовился,— отметил про себя Варрон,— он хорошо изучил материалы обо мне. Это все тот же старый добрый враг. Пожалуй, он именно потому и стремился получить Сирию, а не какую-нибудь другую провинцию, что здесь сижу я».

Заканчивая последнюю фразу, Цейоний вытянулся еще больше. Варрон окинул его взглядом. «Я легко с ним справлюсь,— с радостью подумал он.— Он был и всегда будет ничтожеством. Правда, вот такие ничтожества и позволяют себе иногда, в своем наигранном молодечестве, увлечься и внезапно предпринять насильственные действия, чреватые неожиданными последствиями». И тут ему вдруг пришло на ум прозвище, которое он напрасно старался вспомнить все время. «Дергунчик»! Конечно, Дергунчик! Вот как они прозвали в школе Цейония. Так назывались деревянные куклы с подвижными руками и ногами — обычная забава на Сатурналии; дернув за рычажок, можно было, потехи ради, заставить эти скрюченные фигурки распрямиться, а затем снова скорчиться. И прозвали так Цейония именно в насмешку над его потугами казаться выше, чем он был на самом деле.

Варрон развеселился, вспомнив прозвище Цейония. Он переменял тему разговора. Стал подробно расспрашивать губернатора о его частной жизни, настроении. Как оказалось, Цейоний опасался, что ему не так уж легко будет вжиться в этот чуждый всякого порядка мир восточного города. Предмесье Антиохии Дафне, где были расположены виллы большинства аристократов и богачей, местность, известная всему миру своей бесстыдной роскошью, была не особенно приятным соседством для римского чиновника, исповедовавшего взгляды стоиков.

Собственно говоря, первый визит бывшего сенатора губернатору Сирии уже достаточно затянулся. Однако Цейоний задержал Варрона и снова заговорил о политических делах.

— Скажите, мой Варрон,— спросил он,— неужели вы и теперь, когда в правительственном дворце сидит не чужак, а я, будете чинить затруднения по поводу налога, предназначенного на инспектирование эдесских войск?

Дело было в том, что расходы по содержанию римского гарнизона в городе Эдессе, столице одноименного формально независимого государства по ту сторону Евфрата,

согласно договору должна была покрывать сама Эдесса. Но римский губернатор взимал сверх того в Сирии специальный налог для проведения ежегодной проверки состояния войск по ту сторону границы. Налоговое управление Антиохии стояло на той точке зрения, что Варрон, как гражданин римской провинции Сирии, обязан платить этот «инспекционный налог»; Варрон же считал, что он уже платит деньги на содержание войска как гражданин Эдессы и что это было бы двойным обложением. Важны были не шесть тысяч сестерциев, которые не имели значения ни для Варрона, ни для правительственной казны, — важен был принцип. Правителей в Антиохии злило, что этот знатный господин, который был в опале у Рима и все же не потерял римского гражданства, оборачивался, по своему произволу, то римским подданным, то подданным одного из месопотамских княжеств. Поэтому из-за налога между правителями Сирии и Варроном шел длительный, вежливый и ожесточенный спор.

И вот сейчас Варрон снова приводит старые доводы, уже известные губернатору по документам: такое двойное обложение не только юридически недопустимо, оно и политически опасно, оно подчеркнуло бы двусмысленность пребывания в Эдессе римского гарнизона, его враждебность городу.

Губернатор терпеливо выслушал пространные рассуждения.

— Все это прекрасно, — сказал он наконец, по-товарищески убеждая собеседника. — Но теперь, когда в этом доме сидит друг, я бы на вашем месте все же серьезно поразмыслил, не отказаться ли от месопотамского и парфянского подданства. Быть может, у вас появились бы тогда шансы восстановить свое прежнее положение в Риме.

Варрон напряженно слушал. То, что этот человек сразу же, при первой встрече, обнаружил такую настойчивость, что-нибудь да значило.

— Что вы хотите сказать? — спросил он прямо. — Значит ли это, что там намерены включить меня в сенатские списки?

Губернатор сообразил, что несколько преждевременно пошел навстречу Варрону, и поспешил отступить, приняв официально-сухой тон.

— Я, во всяком случае, — ответил он, — упомянул об этом на Палатине, и у меня создалось впечатление, что это не было встречено неблагосклонно. Впрочем, твердых обе-

щаний,— поторопился он прибавить,— я, конечно, дать не могу. Но я предлагаю серьезно взвесить мои слова.

Варрон с трудом скрыл свое ликование. Они, значит, убедились, эти Флавии, эти ненавистные выскочки, что без него им на Востоке не обречь. Они хотят снова включить его в сенатский список. Очень любезно с их стороны. Но на этот неуклюжий маневр такой человек, как Варрон, не попадется. Если они заполучат его в Рим, то через три месяца снова выставят из сената, но на этот раз будут умнее и разделаются с ним окончательно. Сенатор в Риме! Что за дешевая приманка! И ради этого он должен отказаться от всего, чего с таким трудом здесь достиг,— от стремления слить воедино Восток и Запад,— и должен содействовать бескрылой политике новых хозяев, которые хотят перенести центр тяжести империи на Запад и воздвигнуть стену между ним и Востоком? «Благодарю покорно, господа. Я предпочитаю оставаться «двоюродным братом» царя Эдесского. Я буду лучше «другом Великого царя Парфянского», чем «сиятельным господином» в Риме».

Он выразил губернатору благодарность за хлопоты в Риме по его делу.

— Я надеюсь,— промолвил Цейоний уже более теплым тоном,— что на этом пути мы быстро сговоримся.

— Я также надсюсь,— сказал Варрон, но теперь он говорил так сухо, что слова его прозвучали как отказ.

Тогда Цейоний счел уместным коснуться и другой стороны вопроса.

— Нам просто необходимо,— заявил он,— положить конец этому спору. Подумайте, Варрон, как неприятно было бы, если бы мне пришлось в один прекрасный день принять против вас меры.

— Да, мой Цейоний,— ответил Варрон, прикрывая сугубо вежливым тоном насмешку над такой пустой угрозой,— это было бы неприятно для нас обоих. Ибо при том значении, какое приписывают в месопотамских государствах — справедливо или несправедливо — моей скромной особе, эти меры вряд ли удалось бы провести без дорогостоящей военной экспедиции. А что бы вы выиграли? Престиж. Но, насколько я знаю тех господ, что сейчас сидят на Палатине, они не особенно склонны тратить деньги ради престижа.

Он встал, вплотную подошел к губернатору, фамильярно положил ему руку на плечо.

— Не прикажете ли рассматривать ваши слова как ультиматум? — спросил он с такой вызывающей улыбкой,

что собеседник ясно почувствовал, какое слово мысленно произнес при этом Варрон: «Дергунчик!» Ибо раз Цейоний так настойчиво домогался его возвращения в Рим, Варрон мог разрешить себе видеть в нем уже не представителя Рима и определенной идеи, а всего лишь Дергунчика, школьного товарища.

Со временем выяснится, что это была ошибка и что Варрон не мог себе такого позволить. Но пока губернатор Цейоний удовлетворялся тем, что незаметным движением освободился от столь интимного прикосновения и вежливо возразил: его слова надо рассматривать лишь как дружеское предложение, отнюдь не как ультиматум. Обменявшись еще несколькими ни к чему не обязывающими любезностями, они наконец распрощались.

Варрон вышел из здания правительства легкими, твердыми шагами, отослал носылки и слуг, пошел пешком домой по прекрасным улицам Антиохии. В последние годы он порой уже ощущал себя человеком не первой молодости; но в эту минуту он чувствовал себя по-юношески бодрым. Его враги, Флави, оказали бывшему сенатору большую услугу, посадив ему на шею этого Цейония. Он радовался, что нынешний трезвый, милитаристский, узкий в своем патриотизме Рим, столь ему ненавистный, сейчас предстал перед ним именно в лице Цейония. Это будет веселая борьба, думал он. Добрый, старый Дергунчик! И он заранее чувствовал себя победителем.

2

ГОРОД ЭДЕССА

Белый и пышный, расположился на холмах город Эдесса, столица одноименного княжества, самое северное из крупных поселений Месопотамии. Издали Эдесса, с ее храмами и колоннадами, с ее цирками, театрами, банями, гимнастическими школами, казалась греческим городом. Но внутри, в самом городе, очень редко попадались греческие надписи, редко слышна была греческая речь. Население ее являло собой пеструю смесь сирийцев, вавилонян, армян, евреев, персов, арабов, а греко-римского в ней только и было что дома.

К югу от Эдессы тянулась степь. Но самый город, богатый водой и цветущий, лежал на реке, именуемой Скирт, что значит «Попрыгунья», и благодаря ветрам с гор, отде-

лявших Междуречье от Армении, воздух Эдессы был свеж и чист.

Эдесса лежала на перекрестке многих дорог. Это был богатый город. Через него проходила индийская и аравийская торговля пряностями и благовониями, равно и большая часть торговли жемчугом и ценными шелковыми тканями. Эдесса славилась своими прекрасными постройками. Издалека приезжали иностранцы, чтобы посмотреть на древний храм Тараты с почерневшими бронзовыми изображениями богини и ее своеобразными приапическими символами, зна храм Митры, на университет, но прежде всего на Лабиринт, громадный, высеченный в скале грот на левом берегу реки Скирта, с сотнями узких, извилистых, бесконечно разветвленных ходов, галерей, пещер и лестниц.

Основание города Эдессы теряется в седой древности. Сначала он назывался Осрозна — город львов. Здесь господствовали хетты, ассирийцы, вавилоняне, армяне, македоняне. Напоследок, триста лет тому назад, вторглись арабы, которые держались до сих пор. Теперь Эдесса, как одно из маленьких буферных государств между Римской империей и Парфянским царством, была под постоянной угрозой. Но вместе с тем город извлекал большую выгоду из своего нейтралитета; он с прибылью продавал его во время непрерывных войн между обеими великими державами — то одной, то другой из них.

Арабские князья Эдессы, всегда оставаясь в душе арабами, по мере сил поощряли арамейскую культуру, которая на этой части земли считалась самой высокой. Эдесский университет, бесспорно, пользовался лучшей репутацией во всем Междуречье и порой мог соперничать даже с высшей школой в Антиохии.

Город хранил в своих стенах много святынь и почитал многих богов. Во главе их стояла богиня Тарата, которая называлась также богиня Сирия, ей был посвящен городской пруд с красными рыбами. Наряду с ней почитался бог Лабир, имевший облик то ли быка, то ли секиры, божество Лабиринта, и другие старинные боги Ассирии, бог-лев в высях, великий Ваал и Набу. Далее, иранский бог Митра, арабские звездные боги — Ауму, Азис и Дузарис, а также греческие и римские божества. Ягве, бог евреев, тоже имел немало последователей в Эдессе, даже рожденный им сын по имени Христос, что значит «помазанник», уже нашел здесь приверженцев.

Десятки тысяч людей, белых и смуглых, жили в прекрасном городе, арабские князья и их советники, греческие

и сирийские купцы и землевладельцы, иранские астрологи, еврейские ремесленники и ученые, офицеры и солдаты римского гарнизона. Почти всегда через город тянулись караваны бедуинов. Среди всех этих народностей еще кишела пестрая смешанная толпа бесчисленных рабов. И все они — белые, черные, коричневые, с их скотом, верблюдами, овцами, козами и собаками, — жили, дышали, двигались в тесной близости друг с другом, говорили на разных языках, на разные лады почитали разных богов, вместе ели, пили, спали, совершали сделки, заключали браки, ссорились и мирились; ни один не мог бы жить без другого, каждый был, в сущности, рад, что рядом живет другой, и все гордились своим городом Эдессой, лучшим, прекраснейшим в мире.

Повелителем Эдессы был царь Маллук, пятый носитель этого имени; канцлером — Шарбиль, верховный жрец Тараты; комендантом римского гарнизона — полковник Фронтон. Но подлинным властителем Эдессы был сенатор Варрон.

3

ГОРШЕЧНИК ТЕРЕНЦИЙ

Среди многих предприятий, основанных Варроном в Эдессе, была керамическая фабрика, которую он устроил для одного из своих клиентов, горшечника Теренция, на Красной улице. То, что этот Теренций все еще назывался клиентом Варрона, объяснялось, конечно, лишь привязчивостью Теренция; он давно уже был человеком независимым и не нуждался ни в чьей защите. Он даже достиг уже звания старшины горшечного цеха Эдессы.

Надо сказать, что фабрика его отнюдь не была самой большой в городе и сам он не отличался особенным знанием дела. Работой в мастерских ведала скорее его жена, а коммерческой стороной дела — киликийский раб по имени Кнопс. Сам Теренций редко появлялся на фабрике, зато его часто можно было встретить на улице или в трактире. Как старшине горшечного цеха ему приходилось повсюду бывать и разговаривать со многими людьми. По делам своего ремесла он являлся для переговоров то в магистрат, то к советникам царя Маллука, то ему приходилось представлять цех на какой-нибудь городской церемонии, то устраивать какое-либо цеховое празднество.

Это был человек лет сорока с небольшим, с рыжеватыми волосами и блекло-розовой кожей, широколицый, с толстой нижней губой, близорукими серыми глазами, несколько грузный, но в общем представительный, настоящий римлянин с виду. Горшечный цех гордился своим старшиной. Не только потому, что старшина был уроженцем Рима, но главным образом потому, что у него была такая важная и значительная осанка и что он, как человек, не лишенный некоторых умственных интересов, отличался красноречием. По-латыни он говорил, как подобало истрому римлянину, свободно владел греческим и арамейским, хотя ему не легко давался трудный звук *th*, играющий большую роль в обоих языках. Некоторые, правда, находили, что Теренций любит разглагольствовать, и в самом деле, однажды дав волю безудержному потоку своей речи, он останавливался с трудом. Но впечатление он производил — это было бесспорно. Он умел, приосанившись, непринужденно беседовать с высокими особами, а порой даже принимать столь высокомерное и недовольное выражение, что приводил в смущение собеседников. Кроме того, он умел быть представительным. Если горшечный цех выделялся на празднествах ремесленников и в особенности на большом мартовском празднике, то это была его заслуга. В немалой мере помогало Теренцию и полученное им образование. Он знал наизусть длинные отрывки из греческих и римских классиков, щеголял цитатами, интересовался театром, и ежегодные игры горшечников, руководство которыми лежало на нем, привлекали много народу. Все, кто в Эдессе имел отношение к горшечному ремеслу, гордились этим представительным старшиной. Даже ученики, хотя на их долю доставалось немало колотушек в мастерских Теренция, предпочитали его более мягкосердечным хозяевам.

Впечатление, которое он производил, усиливалось еще тем, что в его судьбе было что-то невыясненное, какая-то тайна. В Эдессу он явился одиннадцать лет тому назад, ободранный, жалкий, обросший рыжеватой бородой. Никто бы тогда, глядя на него, не удивился, если бы он, как гласит греческая поговорка о ремесленниках, «утирал нос локтем». Никто не угадал бы в тогдашнем Теренции будущего старосту горшечного цеха. Люди, знавшие Рим, рассказывали, что мастерские Теренция пользовались там хорошей репутацией, что у него покупал даже императорский двор! Это звучало так, как будто у Теренция были какие-то таинственные личные связи с двором Нерона.

Сам Теренций и его близкие, жена Гайя и раб Кнопс, хранили молчание о его римском прошлом. Разве только в минуты приподнятого настроения, после какой-нибудь блестящей речи или удачного цехового празднества, Теренций намекал на то, каким ничтожным кажется ему такой успех, если вспомнить о временах, когда он был вхож в императорскую резиденцию. Но чего-нибудь более определенного, чем этот туманный намек, из него вытянуть не удавалось.

На самом же деле с горшечником Теренцием в Риме произошло следующее.

Его отец был рабом в семье Варрона. Старый Варрон отпустил на волю этого смышленного человека и устроил ему горшечную мастерскую. Но Теренций-сын не проявлял особой любви к горшечному ремеслу, он интересовался более высокими материями — театром и политикой. Когда он говорил о государственных делах или об искусстве, друзья превозносили его ум и проницательность и считали, что он достоин большего, нежели участь горшечного мастера. Таким образом, Теренций еще при жизни отца мало интересовался делами мастерской, а после его смерти и вовсе забросил ее. Мастерская быстро захирела. Так как состояние Теренция улетучилось, то друзья утратили былое почтение к нему, и мало осталось охотников расхваливать, а тем более снабжать его деньгами за удовольствие послушать изящные речи и длинные цитаты. Не удивительно, что у Теренция, который в двадцать два года выглядел сытым, крепким и ничем особенно не выдающимся человеком, в тридцать лет было рыхлое, недовольное, едва ли не одухотворенное горечью лицо.

И тут обнаружилось нечто поразительное. Как известно, у императора Нерона долго было худое лицо, что особенно подчеркивалось обрамлявшей его рыжеватой бородой; но с годами Нерон разжирел, и в двадцать восемь лет, когда он сбрил бороду, все заметили, как изменилось это оголившееся лицо, — оно стало рыхлым, почти всегда выражало пресыщение и недовольство. И вот однажды, когда Теренций вместе с другими клиентами, по заведенному обычаю, пришел с утренним визитом к сенатору, Варрон с изумлением отметил, что мрачный горшечник как две капли воды похож на разжиревшего, брюзгливого императора. Совершенно так же Нерон сдвигал брови над близорукими глазами, совершенно так же выпячивал толстую нижнюю губу. Сенатора Варрона осенила счастливая мысль. Приходилось придумывать все новые и новые развлечения для привередливо-

го Нерона; сенатор приказал горшечнику явиться на Палатин. Он задумал показать его императору.

Теренций подвергся большому риску. Если бы император оказался не в духе, его двойник мог бы дорого заплатить за эту удивительную игру природы.

Однако эксперимент удался. Правда, опасаясь, как бы другие не заметили, что облик императора существует в мире дважды, Нерон приказал Теренцию изменить прическу и оставаться на Палатине, скрываясь от посторонних глаз, до тех пор, пока у него не отрастет борода. Но в общем императора позабавило это редкое сходство. Он даже вызвал горшечника во второй раз, а затем еще и еще. На Палатине ему снова сбрили бороду, парикмахер Нерона привел в порядок его прическу, и император забавлялся, заставляя Теренция подражать своей походке, жестам, интонациям. Он поправлял его, если что-нибудь казалось ему неверным. Несколько раз приказывал привести свою любимую обезьяну, чтобы и она участвовала в игре, и когда горшечник и обезьяна повторяли его движения, зал оглашался смехом императора.

Теренция эти встречи с Нероном глубоко взволновали. Теперь он часто улыбался хитрой, блаженной улыбкой. Он всегда знал, что злая прихоть судьбы, не дававшей ему, вопреки его дарованиям, высоко подняться, не может длиться вечно. Он часто думал о сне, который приснился его матери, когда она носила Теренция в своем чреве. Ей снилось, что она взбирается на высокую гору. Это был трудный путь, она чувствовала приближение болей и хотела лечь. Но какой-то голос приказал ей: «Подымайся выше». Она повиновалась, но вскоре, обессилив, опять захотела прилечь, тут снова прозвучал голос, и только у самой вершины ей позволено было родить сына. Прорицатель толковал этот сон так, что дитя, которое она носила под сердцем, подыметесь очень высоко. Вот почему ему дали претенциозное имя Мáксим.

На Палатине ему строго-настрого, под угрозой смерти, наказали молчать о встречах с императором. Несмотря на это, раб Кнопс, видимо, о чем-то догадывался или даже что-то знал; его, должно быть, удивляли не только таинственные и продолжительные отлучки хозяина, но и заказы, которые Палатин внезапно стал делать маленькой, захудалой фабричке. А от решительной и умной жены Теренция Гайи совершенно невозможно было сохранить все это в тайне. По ее настоянию он посвятил ее в то, что произошло с ним на Палатине. Но даже с нею он говорил

об этом редко, неохотно, загадочно и никогда не открывал ей всего до конца. Ни разу не сказал ей и лишь самому себе изредка признавался, что вызовы в резиденцию императора были ему приятны. Напротив, когда она горько жаловалась на оскорбление его человеческого достоинства этой сволочью, которая сидит там, наверху, он как бы подтверждал ее слова мрачным молчанием. На самом же деле игра на Палатине все более становилась для него потребностью. Сходство с императором делало его счастливым, в глубине души он все более срастался со своей ролью.

Но вдруг все кругом переменялось. В тот злосчастный день, когда гвардия взбунтовалась, император впал в тяжелую прострацию, и приближенные, желая его развлечь, позвали на Палатин горшечника Теренция. Парикмахер побрил его и причесал на обычный манер, но император внезапно решил оставить дворец и переселиться в Сервилиевы сады. О горшечнике Теренции, который ждал в одном из помещений для прислуги, не вспомнила ни одна душа; его оставили в опустевшем дворце. Поздно ночью испуганный человек, о котором никто не позаботился, крадучись, покинул резиденцию императора и решил пробраться домой. Улицы опустели, никто не смел выйти из дому, опасаясь попасть в беду. Вдруг вблизи раздался звон оружия. Теренций спрятался в тень, но слишком поздно, он был схвачен вооруженными людьми, отрядом стоявших на стороне сената войск, которые подстерегали бежавшего Нерона. Со слезами уверял он, что он не император Нерон, а горшечник Теренций. Но солдаты не верили; разгневанные трусливым поведением человека, которому они столько времени оказывали почести как божеству, они издевались над ним и едва не убили его. Лишь с трудом он упросил их отвести его домой. Там Гайя удостоверила, что всхлипывающий, полумертвый человек — ее муж.

Гайе эти аудиенции на Палатине всегда внушали страх. Теперь, опасаясь, что сенат начнет преследовать любимцев Нерона, она убедила смертельно напуганного Теренция немедленно бежать. На рассвете они прокрались к дому Варрона, своего покровителя. Сенатор, сказали им, еще ночью бежал из города на Восток. Они в страхе последовали за ним, догнали его, и все вместе перебрались через восточную границу.

Ныне все это было далеко позади. Теренций и Гайя жили спокойно, не без достатка, в этом белом и пестром городе Эдессе. Гайя гордилась тем, что она тогда так энергично схватила своего Теренция и увезла из опасного Рима.

Она, конечно, чувствовала себя неуютно среди варваров. Бурнусы и грязно-белые платья этого обезьяньего народа, часто попадавшие темно-коричневые лица не нравились ей, еда казалась невкусной. Гайя считала сирийцев и греков обманщиками, арабов и евреев — вонючими и суеверными, персов — сумасшедшими. Никогда она не научится странному говору этих варваров, быстрой тарабарщине сирийцев, нёбному и гортанному лепету арабов, никогда не привыкнет ко всему этому варварскому миру, к цветнокожим, к священным рыбам, к алтарю Тараты и ее непристойным символам, к обезьянам и верблюдам, к жуткой степи, которая без конца и края тянется на юг.

Теренций же, напротив, быстро и хорошо сжился с Востоком. О делах он заботился еще меньше, чем в Риме, делами занимались Гайя и раб Кнопс. Сам он расхаживал по городу с таинственным и значительным видом, устраивал празднества своего цеха, рассуждал о политике. Здесь не обращали внимания на нечеткое произношение звука *th*, здесь у Теренция всегда были благодарные, внимательные слушатели. Правда, в присутствии Гайи он бранил проклятый Восток, но когда она видела, как важно он шествовал по холмистым улицам Эдессы, как его со всех сторон приветствовали, ей казалось, что, несмотря на свой высокомерный, недовольный вид, он чувствует себя точно рыба в священном пруду богини Тараты; и его благоденствие заставляло ее забывать, как ей самой тягостно, скучно и неприятно здесь, на Востоке.

Однако за ворчливостью Теренция крылось больше подлинной горечи, чем она предполагала. Теренций чувствовал, что стареет, а его выдающиеся дарования все еще не оценены по заслугам. Что за радость — играть роль великого человека здесь, среди варваров, перед несколькими заскорузлыми, необразованными ремесленниками? Ах, пора его цветения была там, в Риме! С жгучей тоской думал он о часах, проведенных на Палатине. Особенно один случай рисовался ему, и чем дальше, тем чаще. Однажды император Нерон потехи ради послал горшечника Теренция прочесть вместо себя послание сенату. И вот горшечник Теренций стоит перед отцами сенаторами в императорской пурпурной мантии и читает послание цезаря безмолвствующим людям, застывшим в смирении и покорности. Теперь, в Эдессе, это выступление перед сенатом казалось ему вершиной всей его жизни. Он забыл, как жалко трепетал от страха, по крайней мере в начале своей речи, забыл, как у него подгибались колени, сосало под ложечкой, в животе

поднялись колики. Он помнил только, что во время речи уверенность его росла и крепла. Он видел перед собой благоговейные лица сенаторов,— все приняли его за подлинного Нерона. Да так оно и было: он действительно был тогда Нероном.

Трудно ему было хранить в тайне это огромное событие его жизни, но он превозмог себя, он не доверил его даже Гайе. Не только потому, что такая болтливость грозила смертью, но прежде всего потому, что он боялся, как бы эта великая минута не утратила своего блеска, не потускнела, расскажи он о ней такому прозаическому человеку, как его жена. Гайя, конечно, увидела бы во всем этом только наглую шутку, которую император позволил себе по отношению к сенату, и опасность для самого Теренция, жалкого орудия этой шутки. Она увидела бы в нем лишь подражавшую Нерону обезьяну и никогда не поняла бы, что в тот час, перед сенатом, он был подлинным Нероном. Поэтому он не поддался искушению, ничего не рассказал Гайе, стоически хранил молчание.

Молчал он и в Эдессе. Но порой тоска по утраченному счастьем становилась невыносимой. Тогда он уединялся и вновь разыгрывал свое выступление перед сенатом. Он очень любил Лабиринт — громадный грот, высеченный в скале на берегу Скирта, с бесчисленными извилистыми ходами, с хаосом лестниц, галерей, пещер. Три тысячи таких пещер, по слухам, насчитывал Лабиринт, и в самой последней, самой недоступной жил в древние времена безобразный сын бога-быка Лабира, тоже наполовину бог, наполовину бык, питавшийся мальчиками и девочками, которых он насильно отбирал у народа. Впоследствии эти громадные подземелья служили гробницей для древних царей, и еще теперь жили там их тени. Тайна и ужас окружали Лабиринт, и тот, кто неосторожно, не зная сложной системы ходов, осмеливался проникнуть слишком глубоко, рисковал не найти дороги обратно и погибнуть. Теренций любил это место, он спускался вниз все глубже,— величием и тайной веяло из этой глубины,— и постепенно он научился разбираться в хаосе переходов лучше, чем другие. Здесь, где бродили тени древних великих царей, он осмеливался снова быть Нероном — держал речь перед невидимым сенатом, и когда его слова глухо отдавались в пустоте, он чувствовал близость богов.

Однажды играющие дети отважились углубиться в пещеру дальше обычного. Изнутри, из глубины, они услышали звуки глухого голоса и в ужасе побежали обратно. С любо-

пытством и страхом ждали они у входа. Но когда увидели вышедшего из пещеры горшечника Теренция, напряженное, боязливое ожидание разрядилось смехом, они стали передразнивать его, подражать его величавой осанке, его важной походке, бежали за ним, потешались, стараясь говорить глубоким басом. В тот день Теренций, охваченный стыдом и отвращением, так сильно почувствовал пустоту и безнадежность своей теперешней жизни, что ему захотелось снова бежать в пещеру и там умереть.

После этого происшествия он решил навсегда забыть Палатин. С удвоенным усердием учил наизусть классиков, с ожесточенной энергией занимался делами цеха и добился того, что воспоминание о Риме возвращалось к нему все реже.

4

ДЕРГУНЧИК ВЫПРЯМЛЯЕТСЯ

В конце апреля, во время обычной инспекционной поездки, губернатор Цейоний объявил, что отправится в Эдессу и произведет смотр римскому гарнизону, который городу пришлось принять в свои стены по «договору о дружбе», заключенному с римским императором.

За короткий период пребывания на посту губернатора Цейоний укрепился в своих взглядах на Восток. С этим Востоком, говорили ему, нельзя справиться, если держаться традиционной жесткой римской линии; эта страна, податливая, скользкая, как угорь, увертывается от всякого грубого прикосновения. Недаром настоящие римляне — Помпей, Красс и многие другие — сломали себе зубы на этом мягком Востоке. Но если для того времени римские методы были слишком прямолинейны, то теперь, имея в тылу замиренную провинцию Сирию и семь легионов, можно позволить себе показать римский кулак проклятой восточной сволочи.

— Любопытно знать, Цейоний, — сказал ему, скептически улыбаясь, император Тит во время прощальной аудиенции на Палатине, — как вы теперь справитесь с нашим милым Востоком?

Цейоний выпрямился.

— Клянусь Юпитером, ваше величество, Цейоний справится.

Город Эдесса встретил императорского наместника корректно и с почетом. Царь Маллук прислал подарки: ковры, жемчуга, отборных рабов и рабынь. Маленький, неестественно прямой Цейоний принимал приветствия от властей. На своем жестком греческом языке произносил он скрипучим голосом предписываемые этикетом вежливые ответы.

Варрон, снова удалившийся вскоре после визита к губернатору в свои владения под Эдессой, с удовольствием предвкушал новую встречу со старым другом-врагом; но ни на официальных приемах, ни во время смотра войск не представилось случая для новой беседы. Лишь на третий день, после пиршества, данного Цейонием в честь виднейших граждан Эдессы, поздно вечером они улучили часок для разговора наедине.

Они сидели во флигеле дворца, предоставленного в распоряжение губернатора царем Маллуком, — в маленькой, по-арабски обставленной комнате, с прекрасными коврами, статуями диковинных звездных богов, с орнаментами и надписями на чужеземных языках. Тяжелый запах благовонных курений наполнял комнату. Для Варрона эта обстановка была вполне естественной рамкой, но маленький, напряженно вытянувшийся губернатор, с его подчеркнуто римской внешностью, производил здесь странное, почти смешное впечатление, ему было явно не по себе. Варрон, как бы утешая его, сказал, что к Антиохии любому трудно привыкнуть, но только вначале, мало-помалу начинаешь любить Восток. Он перечислил преимущества Востока, своего Востока: легкость жизни, пышность ее. Он вспомнил о резком выпаде губернатора против Дафне — застроенного виллами пригорода Антиохии.

— Согласен, — защищал он свой город, — наша Дафне беззастенчива. Но разве не великолепно именно это царственное бесстыдство, с которым люди здесь не таят своих природных влечений и даже гордятся ими?

Цейоний ничего не ответил. Он явно страдал от тяжелых благовоний, наполнявших комнату, и распорядился раздвинуть ковры, впустить свежий воздух. Теперь Варрон слегка поеживался от холода, Цейоний же почувствовал себя бодрее.

— Было бы все же неплохо для вас, мой Варрон, — сказал он наконец, прервав молчание, — оторваться от вашей Дафне и хотя бы на короткое время вернуться в Рим.

— Я обстоятельно и серьезно обдумую ваше предложе-

ние, — улыбаясь, ответил Варрон. — Кстати сказать, подобные ответы, — прибавил он весело, — здесь, на Востоке, вам придется слышать часто.

Красные пятна на лице губернатора обозначились резче, шутка Варрона, по-видимому, его рассердила. Он вытянулся, заметно было, что он внутренне напрягся, словно для прыжка, и сухо сказал:

— Вы знаете, Варрон, что завтра я возвращаюсь в Антиохию. Был бы вам обязан, если бы вы уладили вопрос об уплате налога, пока я еще здесь, в Эдессе.

— То есть сегодня вечером? — с улыбкой спросил Варрон.

— Да, ¹ деловым тоном сказал губернатор.

Варрон, сидевший на восточный манер, принял еще более ленивую позу.

— Этот вопрос, — сказал он добродушно, — обсуждается на все лады уже столько лет! Да и не такое уж значение имеют эти спорные шесть тысяч для казны императорской провинции Сирии.

— Тем не менее я был бы вам обязан, — твердо настаивал Цейоний, — если бы вы теперь же приняли решение.

Варрон покачал своей массивной головой, несколько раз смерил Цейония испытующим взглядом удлинённых карих глаз. Кто это сидит перед ним? Дергунчик, его школьный товарищ? Или римский губернатор, представитель теперешнего националистического режима, враг Востока? Непринужденным тоном он ответил:

— Под угрозой разгневать вас, моего доброжелателя и друга, я вынужден, однако, отказаться от немедленного решения. На этом Востоке, — прибавил он успокоительно и шутливо, — я стал наполовину восточным человеком, то есть медлителем до мозга костей.

Но Цейоний с тем же деревянным упрямством настаивал:

— И все же мне приходится просить вас ответить по-римски ясно, без проволочек. Я велел еще раз доложить мне это дело, сам изучил документы. Все, что можно сказать по этому поводу, сказано десятки раз. Я заявил моим подчиненным, что не вернусь в Антиохию без вашего окончательного ответа.

Варрон слегка побледнел. Это уже говорил не Дергунчик, это говорил новый Рим. Оба все еще сидели. Цейоний, маленький, неподвижный, выпрямился в низком арабском кресле.

— А что бы вы сделали, мой Цейоний,— спросил Варрон, все еще дружески, почти с улыбкой,— если бы я сказал «нет»?

Губернатор поджал губы, затем, по-военному отрывисто, но негромко, ответил:

— Мне пришлось бы тогда привлечь вас к суду.

На какую-то долю секунды чувство безмерного удивления заглушило досаду Варрона. Но он тотчас взял себя в руки и приказал себе не терять головы, мыслить логически. «Вот оно что,— подумал он.— Значит, все же не Рим говорит здесь, а Дергунчик. Случилось именно то, чего я опасался в первую встречу с Цейонием в Антиохии. Дергунчик, это ничтожество, позволил себе увлечься и сделал глупость. Он зашел дальше, чем сам того хотел. Теперь ему уже трудно отступить. Он и в самом деле вызовет меня в суд, а если я не явлюсь, пошлет за мной солдат. Это было бы безумием, но Дергунчик это сделает. Так люди втягиваются в самые несуразные авантюры. Но я не последую за ним по этому пути. Я не потеряю головы. Рассудок повелевает уступить. Я уступаю. На этот раз».

— Если уж вам, моему другу и доброжелателю,— покорно, но с оттенком иронии произнес Варрон,— это кажется важным, то я пошлю вам эти шесть тысяч. Прикажете, пожалуйста, приготовить расписку.

Поговорили еще несколько минут о посторонних вещах, затем пожелали друг другу спокойной ночи и расстались.

«За эти шесть тысяч ты заплатишь проценты, Дергунчик, или кто бы ты там ни был»,— решил про себя Варрон, пока его несли домой по холмистым улицам Эдессы.

5

ВАРРОН ОБДУМЫВАЕТ ПЛАН

Назавтра, рано утром, он отправил губернатору шесть тысяч сестерциев. С нетерпением ждал он возвращения посланного. Цейоний и в самом деле взял шесть тысяч сестерциев, посланный принес расписку. Варрон жадно, с непонятным удовлетворением осматривал документ. Громко, со зловещей усмешкой прочел он текст: «Л. Цейоний, губернатор императорской провинции Сирии, подтверждает, что получил от Л. Теренция Варрона шесть тысяч сестерциев инспекционного налога». Затем еще в по-

стели, очень возбужденный, Варрон продиктовал секретарю письмо, в котором приносил жалобу римскому сенату на несправедливое двойное обложение. Раньше, чем высохла подпись, он послал этот протест в Рим со специальным нарочным.

Покончив с этим делом, он велел впустить толпу клиентов, которые ждали разрешения присутствовать при его вставании. Он размахивал перед ними распиской Цейония, давал ее прочесть то одному, то другому, сам прочитал ее вслух.

— Новый губернатор, — смеялся он, — это, доложу я вам, фигура! Он послал бы за мной солдат, если бы я не заплатил.

Варрон испытующе всматривался в лица своих людей: как кто будет реагировать. Люди стояли смущенные, не зная, чего от них ждут. Некоторые неестественно, принужденно смеялись, другие выказывали возмущение, — все были в растерянности. Варрон ходил между ними, похлопывал по плечу то одного, то другого, говорил, глядя в упор на каждого:

— Новый губернатор — с ним шутки плохи.

И он вглядывался в лица клиентов.

Он уже собирался отпустить их, как вдруг его взгляд упал на человека, которого он до сих пор не замечал. Человек этот стоял с замкнутым выражением лица, высокомерно вскинув брови над близорукими серыми глазами, слегка скривив рот, скорее удивленно, чем возмущенно. Опять, как в то утро, четырнадцать лет тому назад, Варрона изумило горделиво-недовольное лицо с блекло-розовой кожей и рыжеватыми волосами. Да, именно так выглядела император Нерон, его император, когда замыкался в себе. Именно так он воспринял бы известие об этом оскорблении, если бы был жив, если бы Варрон мог ему рассказать. Вот с таким же капризным и вызывающим выражением он выпячивал толстую нижнюю губу: делайте что хотите, — меня ведь это не касается...

Варрон вспомнил, как Нерон забавлялся обезьяньим искусством этого человека, как заставлял прыгать его вместе со своей обезьяной. И Варрон усмехнулся про себя. Но еще прежде, чем внутренняя усмешка отразилась на его лице, он стер ее, и на какую-то долю секунды его живое лицо окаменело, точно маска.

В это мгновение ему привиделось многое.

Затем он снова повернулся к своим клиентам. Незаметно втянул в беседу человека с близорукими серыми

глазами. Выказал к нему интерес. Усиленный интерес. Наконец развернул перед этим маленьким горшечным мастером, жившим его милостями, все чары своего обаяния, которые он обычно пускал в ход лишь перед восточными царями, жрецами да еще разве перед женщинами.

Он хитро выведал у него все самое сокровенное. Он так растормошил польщенного Теренция, что тот заговорил с ним, как с равным, стал излагать ему свои взгляды на жизнь, политику, искусство. Сердце Теренция принадлежало театру. Он заговорил об актере Иоанне с Патмоса, который давно уже ушел со сцены и тихо жил в Эдессе как частное лицо. Теренций в Антиохии много лет назад видел Иоанна в роли Эдипа. Его, Теренция, откровенно заявил он, разочаровало столь прославленное искусство этого человека. Теренций сам занимался литературой и театром, как, быть может, известно его покровителю, сенатору; он помнит наизусть целые страницы из классиков, он много думал об Эдипе и, например, о том, как нужно произносить большую речь Эдипа, начинающуюся словами: «Что здесь свершилось, было справедливо, в противном ты меня не убедишь». Он разболтался вовсю, но вдруг спохватился, испугавшись своей смелости, — он боялся, что сенатор засмеется или, хуже того, улыбнется. Однако ничего подобного не случилось. Варрон слушал его с совершенно серьезным видом, затем пригласил в ближайшие дни пообедать с ним и подробно изложить ему свои идеи и прежде всего свое мнение о правильной декламации упомянутых стихов из Эдипа.

Теренций, почти удрученный таким счастьем, испытывал в то же время некоторое беспокойство. Его не удивляло, что им интересуются, он был образованным человеком, с самостоятельным кругозором, с значительными идеями. Но когда с ним разговаривала особа такого сана, как сенатор, его поневоле охватывали почтительность, преданность, легкий страх. Ведь, в конце концов, еще его отец был рабом в семье Варрона. И когда Варрон пригласил Теренция в ближайшие дни пообедать с ним и подробнее изложить ему свои взгляды, к его восторгу примешивалась захватывающая дух боязнь, почти как в те времена, когда император Нерон требовал его к себе.

Варрон, отпустив своих клиентов, еще раз достал расписку в получении шести тысяч сестерциев налога, взял ее в руки и, держа на некотором отдалении от глаз — он становился дальнорорким, — стал ее изучать буква за бук-

вой. На обратной стороне листка он провел черту и, разделив таким образом лист на две графы, надписал очень мелко: «Прибыль», «Убыток», — и в графу «Прибыль» занес: «Некая идея». Затем он открыл в стене тщательно замаскированную дверцу и из тайника достал ларец. Ларец был небольшой, но очень ценный, работы Мирона, с изображением подвигов аргонавтов. Варрон повсюду возил этот ларец с собой. Он отпер его, достал бумаги, находившиеся в нем, нежно погладил их. Здесь было весьма доверительное письмо к нему Нерона и стихи, посвященные ему императором, здесь было письмо ныне умершего царя Парфянского, Вологеза, в котором повелитель парфян благодарил Варрона и выражал свое восхищение той мудростью, с которой Варрон способствовал окончанию войны между Римом и парфянами. Здесь же была доверительная записка, набросанная фельдмаршалом Корбулоном, который вел эту войну на стороне римлян и, несмотря на победу, кончил плачевно. И многое другое было в ларце. К этим документам, очень для него дорогим, Варрон, улыбаясь, присоединил расписку Дергунчика; затем запер ларец и снова его спрятал.

Теренций между тем вернулся в свой дом на Красной улице. Он старался скрыть от Гайи и раба Кнопса и свой восторг и свою подавленность, а потому довольствовался тем, что рассказал им обоим с хорошо разыгранным гордым безразличием, как был поражен Варрон его политической и литературной осведомленностью; сенатор даже пригласил его пообедать с ним, желая подробнее поговорить на эти темы. Гайя, суровая, сухая и прозаичная, как всегда, сказала, что следует быть осторожным: как бы Теренций тут не попал впросак. Она слышала, что между Варроном и губернатором возникла ссора, и такому маленькому человеку, как ее Теренций, надо держаться от всего этого как можно дальше. Теренций с досадой слушал, как собственная жена называет его маленьким человеком.

Конечно, она оказалась права. Обед у Варрона прошел очень приятно. Сенатор с интересом слушал политические рассуждения своего клиента, попросил прочесть монолог ослепившего себя Эдипа, как тонкий ценитель похвалил чтеца, и Теренций расстался с ним, весьма удовлетворенный.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ТЕРЕНЦИЯ

Между тем в городе Эдессе все упорнее распространялись слухи о том, что из дворца римского правителя в Антиохии повеял новый, злой ветер. То, что Варрона, этого виднейшего гражданина Эдесского государства, вынудили платить двойные налоги, возбуждало опасения и досаду. К чему сведется торговля Эдессы с провинцией Сирией, если такое двойное обложение станет правилом? Граждане Эдессы рассказывали друг другу, будто новый губернатор намерен усилить римские гарнизоны в Эдессе, Самосате, Каррах, Пальмире и таким образом еще более ограничить суверенитет маленьких государств Месопотамии, с которыми и без того не очень-то церемонились.

При таких обстоятельствах вольноотпущенникам и другим агентам Варрона не приходилось особенно утруждать себя, чтобы натолкнуть население Междуречья на горькие сопоставления между нынешним властителем, императором Титом, с его чиновниками, и добрым, все еще оплакиваемым Нероном. Как этот блаженной памяти император благоволил к Востоку! Как он способствовал всякого рода мероприятиями и льготами культурным и торговым сношениям между Месопотамией и Сирией! Это был настоящий цезарь, и его любили уже за ту пышность, которая окружала его самого, его министров, генералов, губернаторов. Роскошью игр, тем, что он собственной особой перед всем народом выступал на сцене, — всем этим он завоевал огромные симпатии здесь, в Междуречье. Все, даже население Парфянского царства, пришли в восхищение, когда он пообещал, что в один прекрасный день покажет свое искусство и Востоку. В нем поистине видели второго Александра, пришедшего не для того, чтобы поработить Восток, а для того, чтобы слить Восток с Западом. Новые же властители, Флавиусы, с самого начала не скрывали, что жители Востока были для них варварами, годными лишь на то, чтобы всеми способами наживаться за их счет. То, что им теперь послали в Сирию этого отвратительного Цейония, опять-таки доказывает злую волю римского правительства. Снова ожидало сожаление об исчезнувшем императоре.

— Да, если бы жив был Нерон! — мечтательно вздыхали горожане, собираясь на закате солнца у колодцев, а вечером в харчевнях.

Пока эти слухи и толки распространялись между Евфратом и Тигром, сенатор Варрон вторично пригласил Теренция на обед. На этот раз они были одни. Варрон был молчалив, погружен в свои мысли, чем-то озабочен. Он обращался с Теренцием очень почтительно, словно с вышестоящим, прерывал беседу длинными, гнетущими паузами. Хотя Теренций понимал толк в торжественности и чувствовал себя польщенным, все же он не мог избавиться от ощущения подавленности.

После обеда, за вином, Варрон сказал внезапно с осторожной, хитро-конфиденциальной улыбкой:

— Я вижу, вы все еще предпочитаете вашу смесь всякому другому вину.

Он велел приготовить ту смесь, которую изобрел император Нерон: эта смесь и ее название принадлежали к тому немногому, что оставалось от времен императора и на что не посягнули преемники после свержения цезаря; напиток и его название были известны каждому, в том числе, конечно, и Теренцию. Он широко раскрыл глаза, он ничего не понимал. Станные слова могущественного сенатора и смиренно-дружеский тон, каким они были произнесены, привели его в смятение, граничащее с одурью. Но Варрон продолжал тем же преданным тоном:

— Быть может, я разрешаю себе слишком большую вольность, но я должен наконец высказать то, что уже не одну неделю меня и подавляет и воодушевляет и что наконец стало для меня очевидным: я знаю, кто тогда, после мнимой смерти императора Нерона, бежал ко мне, под мою защиту.

Понять скрытый смысл столь неожиданных слов было под силу лишь человеку быстрого, острого ума, а таким человеком горшечник Теренций не был. Но они задели самое глубокое, самое затаенное в его душе: жгучее честолюбие, тоску по минувшим дням его величия на Палатине. Речи Варрона мгновенно воскресили в душе Теренция насильственно подавляемые воспоминания о его величественном выступлении перед сенатом, сразу вспыхнула безумная надежда, что эти блистательные времена могут вернуться. Поэтому он понял темные слова сенатора гораздо быстрее, чем тот ожидал; он воспринял их всеми фибрами души, испил до последней капли их отрадный смысл. Кто-то разгадал его, кто-то понял: нет сомнения, тот, в ком было так много от плоти и крови Нерона, и есть подлинный Нерон.

Еще переполненный до краев безмерным блаженством этой минуты, он уже чувствовал, однако, как в нем просыпается вся врожденная хитрость, подсказывавшая, что лучше притвориться и лишь в последнюю минуту открыть свое подлинное «я». Поэтому он продолжал прикидываться дурачком, сказал, что не понимает, куда клонит его великий покровитель, и зашел так далеко, что Варрон испугался, как бы не сорвалась его затея. Сенатор сделал еще последнюю попытку. Он смиренно просит извинения, сказал он, за то, что нарушил дистанцию между собой и своим гостем. Может быть, император думает, что рано еще предстать перед римлянами во всем своем блеске? Может быть, он хочет навсегда отвернуться от мира, в наказание за то, что мир посмел не признать его? Он, Варрон, просит прощения, если слишком смело приподнял завесу над тайной.

Но теперь испугался Теренций: если упустить момент, то этот единственный случай навсегда от него ускользнет. Он мгновенно перестал прикидываться, улыбнулся мальчишески, добродушно, хитро, как иногда — он видел — улыбался император Нерон. Он подошел походкой Нерона к сенатору, жестом Нерона похлопал его по плечу и сказал неповторимым, небрежно-высокомерным тоном Нерона:

— Почему бы, мой Варрон, мне тебя не простить?

Варрон, надо сказать, знал, что подлинный Нерон никогда не поступил бы так в подобной ситуации. Он скорее привел бы какую-нибудь греческую цитату, сопровождая ее отрицательным, как бы зачеркивающим слова собеседника жестом. Но внешне этот человек был так похож на императора, умерший Нерон, его голос, его интонация, его походка вдруг с такой силой ожили в этой комнате, что Варрон испугался, ему стало не по себе: быть может, его идея слишком уж хороша и слишком велики могут быть ее последствия? Он взял себя в руки и сказал, словно подводя отрезвляющий итог:

— Да, дорогой Теренций, вот оно, значит, как.

И остаток вечера он снова был важным вельможей и разговаривал с Теренцием, как со своим клиентом, — снисходительно, деловито.

Но горшечник Теренций увидел то, что увидел, и услышал то, что услышал. Он так был уверен в своей удаче, что внезапная перемена в обращении со стороны Варрона не могла ослабить охватившего его чувства счастья.

ВАРРОН РЕШАЕТСЯ СЫГРАТЬ ШУТКУ

Сенатор Варрон зашел в своей затее достаточно далеко; он понял, что пора серьезно взвесить, следует ли приводить ее в исполнение. Прежде всего надо было хорошенько продумать, какие шансы на успех у его Нерона.

Шансы у него были. Народ никогда не верил, что Нерон действительно погиб. Не может быть, рассуждали в народе, император! Нерон слишком умен, чтобы ему не удалось ускользнуть от противников. В особенности на Востоке твердо верили, что Нерон скрывается и в один прекрасный день снова явится во всей своей славе. Если теперь, в этой благоприятной обстановке, появится человек с внешностью Нерона, а за ним будет стоять Варрон, который так хорошо знает душу покойного императора, — если этот человек появится на независимой территории, где он будет трудно досягаем для Рима, то такой Нерон, безусловно, сможет продержаться долго и наделать немало хлопот губернатору пограничной провинции, а может быть, даже и Палатину.

Уже светало, а Варрон все еще размышлял. Он лежал в постели, потягивался, улыбался, закрывал глаза.

Если Нерон появится по ту сторону Евфрата, что сможет предпринять против него Дергунчик? Конечно, Нерон будет достаточно осторожен, он постарается возможно реже показываться в пределах Сирии. Он только посеет беспокойство в этой провинции, затем вовремя вернется на независимую территорию, где встретит тайную, а может быть, и открытую поддержку. Что может предпринять против него Антиохия? Послать войска на чужую территорию? Даже Дергунчик еще семь раз подумает, прежде чем на это решится. В свое время ожесточенно торговались за каждого римского и парфянского солдата, имеющего право показаться на территории этих буферных государств. От Евфрата до Тигра недалеко. Если Рим пошлет войска через Евфрат, то они рискуют встретить войска, идущие с той стороны Тигра.

Варрон встал. Босиком подошел к стене с потайным ящиком, достал ларец, вынул из него тот самый документ. Бархатным голосом прочел в сотый раз: «Л. Цейоний, губернатор императорской провинции Сирии, подтверждает, что получил от Л. Теренция Варрона шесть тысяч сестерциев инспекционного налога». Он погладил документ,

улыбнулся, положил его обратно, спрятал ларец, лег снова в постель.

Позволить ли себе эту шутку? Шутка-то хорошая, глубокая, многообещающая, но до крайности опасная. И не шутка вовсе. Разве дело в этой расписке? Или в Дергунчике? Дело даже не в нем, Варроне. Дело в Востоке, в этом великолепном, необузданном, мудром, хаотическом Востоке, который не должен попасть под сапог грубых, узколобых фельдфебелей с Палатина.

Варрону вспомнились те времена, когда он приехал впервые в Сирию молодым офицером армии фельдмаршала Корбулона. Он тогда постоянно находился в ближайшем окружении знаменитого полководца. Корбулон в общем был ограниченным человеком, он не обладал ни верным инстинктом, ни острым разумом; но он был глубоко убежден в своих дарованиях, он умел приказывать,—как никто другой, владел искусством быть всегда уверенно-властным. Варрон многому у него научился. В остальном он быстро раскусил этого Корбулона. Понял, что завоевать его легче всего можно, безгранично восхищаясь его особой. И он его завоевал. Вскоре дело дошло до того, что он, желторотый новичок, внушал знаменитому опытному полководцу свои идеи и фактически делал политику в Сирии. Тогда-то родилась его страсть к Востоку, его жажда властвовать в этой стране. Для него было огромным наслаждением вести дела с этими восточными царями, жрецами, коммерсантами на их лад, со множеством цветистых околичностей, перекрывать их хитрые увертки еще более хитрыми и в конце концов достигать своей цели. В сущности, со времен Корбулона в этих краях всегда властвовал он, Варрон.

Варрон вытянулся в своей постели, потом свернулся калачиком. Он вспомнил, как одиннадцать лет тому назад Флавии попытались избавиться от него. Под тем предлогом, что однажды в публичном доме под названием «Павлин» — в том, что за Большим цирком,— он по пьяной прихоти нарядил шлюху в пурпур и высокие сенаторские башмаки, император Веспасиан объявил его недостойным принадлежать к числу сенаторов. Этот неуклюже-насмешливый предлог придумал, потехи ради, всегда склонный к тяжеловесным шуткам мужиковатый Веспасиан. Надо сказать, что Флавиям, покойному Веспасиану и его сыну Титу, во всяком случае, пришлось заплатить за эту шутку. Они убедились, эти господа, что изобретательный человек, сидя в Эдессе, порой может насолить им больше, чем живя в самом Риме. А теперь они послали сюда этого дурака

Дергунчика, чтобы он разрушил все хитросплетения его Варрона, восточной политики. Ну, что ж! Дергунчик за это тоже поплатится. Когда его Нерон будет признан в Месопотамии, Дергунчик увидит, что было бы, пожалуй, умнее не вымогать у старого Варрона эти шесть тысяч. Он убедится, что Восток «римской дисциплиной» и «нажимом» не возьмешь и что лучше следовать за старым Варроном по пути соглашения.

В какие, однако, дебри он забирается? Разве дело в Дергунчике? Не по Дергунчику, а по всему этому новому, наглому и тупому Риму он хочет ударить, вызвав призрак старого Нерона, памяти которого не выносит этот Рим.

Перед Варроном вдруг всплыло лицо Теренция. О нем Варрон, как это ни странно, все это время не думал. Ему вспомнилось, как этот субъект подошел к нему, преобразившись, походкой Нерона и сказал ему со спокойно-высокомерной интонацией Нерона:

— Почему бы мне, мой Варрон, не простить тебя?

И вдруг его снова охватило ощущение жути, как в ту минуту, когда в обличье этого жалкого простолюдина в комнате внезапно появился Нерон. Потом ему пришло в голову, что Нерон, конечно, и сам позабавился бы шуткой, которую он хочет сыграть с его врагом Титом, подсунув миру нового Нерона. И страх Варрона рассеялся.

Он потянулся последний раз, довольный собой. Приказал позвать секретаря, распорядился договориться о свидании с царем Маллуком и верховным жрецом Шарбилем.

8

ВОСТОЧНЫЙ ЦАРЬ

Царь Маллук принял Варрона и верховного жреца Шарбиля в своем просторном, убранном по-арабски покое, где он охотнее всего держал совет. Стены были увешаны коврами, журчал фонтан, все сидели на низких диванах. Подвижному Варрону, как и юркому старому жрецу Шарбилю, нелегко было сохранять полную достоинства, спокойную позу. Но они знали, что царь Маллук больше всего любил, по обычаю своего народа, сидеть на полу, поджав ноги, прислушиваясь к медлительному лепету фонтана, делая все более длительные глубокомысленные паузы между вопросами и ответами. Уже в третий раз слуга

откинул ковер, выкликая время, а к сути разговора все еще не подошли.

— Жалко,— сказал верховный жрец Шарбиль,— что Парфянское царство ослаблено дворцовыми распрями. Пока часть войск Великого царя Артабана связана войной с претендентом на престол, Рим не раз даст нам почувствовать, что за нами уже не стоит великая держава, на которую мы могли бы опереться.

Варрон внимательно посмотрел на царя Маллука. Этот красивый человек с мягкими карими глазами, горбатым мясистым носом и тщательно завитой и заплетенной бородой сидел неподвижно, как изваяние, высокий, немного располневший, и нельзя было понять, услышал ли он вообще слова жреца. Не грезит ли он, как это часто с ним бывает? Уже три столетия эти арабские князья владычествовали над городом Эдессой, они были знакомы с греко-римской и парфянской культурой, но сердце царя Маллука — это знали все — осталось арабским. Он не любил заниматься государственными делами, немного любил свою армию, больше — своих жен, еще больше — своих коней, но просторы пустыни он предпочитал всему. Иногда он выезжал верхом на коне, с немногочисленной свитой, на юг, в пустыню. В глубине души он оставался сыном тех кочевавших верхом племен, у которых считалось зазорным сеять хлеб или сажать деревья, строить себе хижины и вообще жить оседло, под кровлей; ибо тот, кто ставит себя в зависимость от таких удобств, должен, чтобы не лишиться их, терпеть над собой господина, а следовательно, утратить свободу. Но свобода есть высшее достояние араба, и так как свобода — только в одиночестве, то родина свободного араба — пустыня.

Стало быть, кто может знать, не думал ли царь Маллук, который так неподвижно сидел с тускло поблескивавшей в волосах царской диадемой,— не думал ли царь Маллук о своей пустыне или о своих женах и конях, вместо того чтобы думать о делах политических, которыми старались его заинтересовать Варрон и верховный жрец Шарбиль? Но оказалось, что он хорошо слышал сказанное. После приличествующей паузы он открыл свой краснотелый рот, алевший сквозь искусно заплетенную черную бороду, и сказал красивым глубоким голосом:

— Это бог Дузарис посылает стрелы раздора в сторону Востока. Вот почему рознь царит в доме парфян, и вот почему царевич Пакор не хочет подчиниться и не признает своего царя Артабана.

Довольный тем, что Маллук слушает, Варрон рискнул продвинуться дальше.

— Быть может,— сказал он,— кое-кто жалеет, что и западные звезды не стоят под знаком раздора. Иные, пожалуй, сочли бы полезным, если бы и в Римской империи восстал некто и сказал, что он не признает притязаний человека по имени Тит, сидящего теперь на Палатине.

Ничто не шевельнулось на смуглом лице под царской диадемой. Верховный жрец Шарбиль, напротив, быстро повернул к Варрону свою древнюю птичью голову с высохшим хитрым лицом. Но и он промолчал. Несмотря на это молчание, Варрон прекрасно читал мысли обоих. Оба ненавидят Рим, оба были бы рады, если бы на пути императора встали затруднения. Маллук, араб, страстный друг свободы, несмотря на маску равнодушия, тяжело страдал от зависимости, в которую все больше ставит его Рим. Шарбиль, хитрый, насмешливый сириец, жрец древнего культурного народа, презирает молодых варваров Запада, которые стремятся наложить на его страну свою наглую, грубую лапу. Поэтому Варрон может себе позволить продвинуться еще на шаг вперед: предложение его для обоих будет, несомненно, как дождь для истомленной засухой степи.

— Может статься,— сказал он,— что есть уже некто, имеющий подобные притязания. Может статься, звезды уже определили, чтобы тот, кто имеет эти притязания, вскоре объявился.

Выжидательно посмотрел он на Шарбиля, в уверенности, что умный жрец хорошо его поймет, даже если он ничего больше не прибавит к сказанному. Шарбиль, сириец, арамеец всей душой, надо думать, страстно тоскует по Нерону, который с таким уважением покровительствовал древней сирийской культуре, старейшей в мире. К тому же Шарбиль алчен, и дерзкие посягательства римлян на сокровища его храма разрывают ему сердце.

Но Шарбиль, по-видимому, не был склонен отвечать. Остроконечная жреческая шанка как будто срослась с желтым, сухим, как пергамент, морщинистым лбом, черная, крашеная, треугольная борода как-то безжизненно свисала вокруг сухих губ, открывавших позолоченные зубы. Он моргнул несколько раз морщинистыми веками. Наконец после мучительного молчания он покачал головой, вытянул вперед шею и проскрипел высоким, злым старческим голосом:

— А если человек, который собирается заявить свои притязания, обманщик?

Прежде чем Варрон мог ответить, царь Маллук приказал — слуга в это мгновение в четвертый раз выкликнул время — принести вино и сладости; он считал, очевидно, неприличным все время беседовать только о политике. Пока гости церемонно прикладывались к вину и лакомствам, он заговорил об охоте. Покончив с этой темой, он так же внезапно возобновил политическую беседу.

— Может ли сказать мне Варрон, мой двоюродный брат и господин, — спросил он, — какие будут последствия, если человек, имеющий притязания, не обманщик?

— На этот счет, — сказал сенатор, — ваш преданный слуга Варрон может столь же точно, сколь и смиренно, дать ответ вашему величеству. Тогда бы все эдикты, изданные Римом после мнимой смерти императора Нерона, потеряли свою силу и были бы действительны только те договоры, которые существовали до того, как император Нерон скрылся и исчез.

Тут восточный царь и восточный первосвященник молча уставились на римлянина таким долгим и пристальным взглядом, что Варрону, хотя и привычному к обычаям Востока, стало не по себе.

— Маленький господин, которого Рим послал в Антиохию, — сказал наконец Шарбиль пронзительным старческим голосом, — упрям, как горный козел. Он, по всей вероятности, не потерпит соперника палатинского владыки, будь то подлинный император или обманщик.

Больше он не сказал ни слова, и царю Маллуку тоже нечего было добавить. Но Варрон знал, что этим людям незачем разъяснять, сколько выгод извлечет Эдесса из выступления римского претендента, кем бы он ни был, если только он сумеет хоть некоторое время продержаться. От такого претендента в награду за признание можно потребовать всякого рода привилегий; от Рима можно потребовать еще более высокой платы за непризнание его. Так как эти заманчивые возможности были совершенно очевидны, было излишне о них толковать.

Снова заговорили о борьбе за престол в Парфянском царстве. Из двух претендентов наиболее сильный и одаренный — Артабан. Он преодолел все препятствия и утвердился на западе Парфянского царства, там, где оно граничит с Месопотамией. Было бы безумием поддерживать другого, далекого Пакора, хотя, быть может, он — более законный наследник и обладает большим «ореолом».

Очень важно для Эдессы, кого из двух парфянских претендентов признает римское правительство. Срок торго-

вых договоров Рима с Парфянским царством истекает, и губернатору Антиохии придется в ближайшем будущем решить, с кем вести переговоры об их возобновлении, с Пакором или с Артабаном. Для Эдессы будет неприятно, если Рим признает Пакора, а не Артабана, могущественного и любимого восточного соседа Эдессы. Об этих вопросах говорили в осторожных, цветистых выражениях, пока слуга не возвестил наступления пятого часа. Тогда царь Маллук подал знак, что он считает аудиенцию законченной.

Прежде чем Варрон ушел, верховный жрец Шарбиль резюмировал свое мнение, которое, по-видимому, было и мнением царя:

— Если Рим признает нашего Артабана, у нас не будет причин усомниться в законности Тита. Если же Рим станет на сторону Пакора против нашего Артабана, то для Эдессы было бы большой радостью, если бы неожиданно вынырнул император Нерон.

Он высказался в такой для Востока непривычной форме — кратко, ясно и точно — только потому, что был очень стар и времени у него оставалось немного.

9

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СОВЕТ

Тотчас же после этой беседы Варрон покинул город Эдессу. Теренция он больше к себе не приглашал.

Варрон вернулся в Антиохию. Он повез с собой ларец с документами, которые были ему дороги. Но если по ту сторону Евфрата он показывал всему свету расписку об уплате налога, то в Антиохии он как будто совершенно забыл об унижении, которому подверг его Дергунчик. Он не занимался ни делами, ни политикой, а с головой окунулся в распутную жизнь большого и необузданного города. Проводил время в элегантном предместье Дафне, где в роскошных виллах жили самые дорогие шлюхи Азии, в том самом уголке, по которому обыватели городов всего мира тосковали в своих нечистых снах.

Дочь Варрона, белолицая строгая Марция, стыдилась своего отца, которого любила и которым восхищалась.

В редкие свои встречи с Цейонием сенатор прикидывался безобидным человеком, старым школьным товарищем, сожалевшим, что его друг одержим идеей — не щадя сил, исполнять свои обременительные обязанности, между тем

как он сам наслаждается жизнью, пока еще не наступила старость. Казалось, он простил Цейонию историю со взыванием налога. Варрон сам рассказал ему, что послал жалобу в Рим. И сделал он это потому, непринужденно объяснил Варрон, что иначе утратил бы весь свой авторитет у восточных людей; но на этом он и успокоился. Борьба за шесть тысяч сестерциев недостойна человека, у которого за спиной пятьдесят один год, который многое упустил и у которого еще есть кое-что впереди.

Цейоний не очень доверял такой наивности. Он и сам порой раскаивался, что зашел так далеко; но он говорил себе, что если не теперь, то позже все равно пришлось бы показать этому погрязшему в восточном болоте Варрону, что такое римский губернатор. И все-таки, думая о старом знакомом, Цейоний не мог подавить в себе смутного беспокойства. Ему доносили, что Варрон, несмотря на свою развратную жизнь, находит время заключать крупные сделки и, пользуясь конъюнктурой, выгодно сбывает большие участки своих сирийских земель. Цейоний невольно втайне восхищался Варроном, который так щедро расточал свою силу в бессмысленно-пустых наслаждениях и в то же время так осмотрительно вел свои запутанные дела. Этот человек был опасен.

Ему казалось разумным задобрить Варрона. Такого неустойчивого человека нужно брать и кнутом и пряником. И Цейоний решил загладить свою строгость в истории с налогом и выказать сенатору особое доверие. Он пригласил к себе Варрона.

Варрон явился. Цейоний превозмог себя. Растолковал собеседнику причины своего поведения в деле с налогом. Если бы речь шла только о них двоих, о нем и Варроне, пояснил Цейоний, — и видно было, как тяжело ему вновь об этом говорить, — он, разумеется, уступил бы. Но дело касалось престижа Рима, перед которым престиж отдельного лица отходит на задний план.

— Это вы должны понять, мой Варрон, — сказал он. — Хотя вы и «друг царя Парфянского», — кисло пошутил он в заключение.

Варрон и не собирался этого понимать. Он дружелюбно, выжидательно смотрел на Цейония. Так как тот сидел очень близко, дальнзоркий Варрон немного отодвинул тяжелое кресло, желая отчетливей видеть его лицо. Втайне он надеялся, что Цейоний сделает ему предложение, скажет, что передумал и хочет вернуть ему шесть тысяч сестерциев. Варрон хорошо знал, как фантастична его за-

тея, и если бы Цейоний протянул ему руку, он взял бы ее и отказался от своего замысла. Он ждал. Но Цейоний считал, что дальше идти незачем. По существу, то, что он сказал, было извинением, и если генерал-губернатор, поставленный Римской империей, извиняется перед сомнительным авантюристом Варроном, то этого достаточно. Он тоже ждал. Еще секунду и еще одну. Но Варрон молчал, и он сам молчал, и потому в эти секунды решилась судьба обоих — и не только их одних.

Цейоний с педантичностью бюрократа решил все-таки довести до конца намеченную линию поведения — дать Варрону «доказательство доверия», которым он хотел его завоевать.

— Вы, мой Варрон,— начал он,— предложили мне как добрый друг свой компетентный совет в делах Востока. Могу ли я теперь воспользоваться вашим предложением?

Варрон, приятно удивленный, ответил:

— Всем сердцем к вашим услугам.

— Договор с парфянами,— начал губернатор излагать занимавшее его дело,— истекает. С кем из двух претендентов вести переговоры? Кого признать? Пакора или Артабана? В наших интересах, очевидно, действовать так, чтобы распри между претендентами на престол возможно дольше ослабляли парфян. Но оттягивать возобновление договора больше нельзя. В чью пользу принять решение? — И он снова сделал попытку перейти на легкий тон, прибавив с принужденной шутливостью: — Кто тот великий царь, чьим «другом» являетесь вы, Варрон?

Варрон в глубине души возликовал. Именно в этом деле ему хотелось держать Цейония в руках. Для того он и приехал в Антиохию, чтобы Цейоний обратился к нему с этим вопросом, и если бы Цейоний медлил еще хоть неделю, то Варрону волей-неволей пришлось бы самому начать разговор о политике. Обстоятельства складывались как нельзя лучше.

Он поспешно взвесил еще раз все «за» и «против». Если бы Цейоний высказался за Артабана, то по ту сторону Евфрата — в этом его эдесские друзья были правы — никто не был бы заинтересован в поддержке человека, который назвался бы Нероном. И тогда горшечник снова стал бы горшечником, а Цейоний по-прежнему остался бы императорским генерал-губернатором, под чьим началом находятся семь легионов и важнейшая провинция империи; никогда более он не превратится в Дергунчика. Таким образом, Варрону необходимо было побудить губернатора

признать Пакора, а не Артабана. Не раз он тщательно излагал самому себе доводы, с помощью которых он приведет Цейония к этому выбору. Но теперь он принял смелое решение отказаться от всей этой заботливо построенной аргументации. За две секунды ожидания и молчания он понял своего старого товарища детства Цейония лучше, чем когда бы то ни было. Он понял, как сильно ненавидит его Цейоний, понял, как глубоко он не доверяет ему. Цейоний сделает как раз противоположное тому, что посоветует Варрон. Варрон посоветует ему признать Артабана и отвергнуть Пакора.

Так он и сделал.

До сих пор Цейоний колебался, принять ли ему решение в пользу Артабана или Пакора. Многие говорили в пользу одного, многие — в пользу другого.

Он видел массивное лицо Варрона, его полный, чувственный рот, огромный дерзкий лоб, наглую позу. Он ненавидел этого человека, и — он готов был поклясться Юпитером — человек этот ненавидел его. Пакор? Артабан? Этот человек посоветовал выбрать Артабана. Этот человек заявил, что его «друг» — Артабан. Цейоний примет решение в пользу Пакора.

10

НАДО ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

Горшечника Теренция так и подмывало рассказать Гийе о беседе с Варроном, доказать ей, назвавшей его маленьким человеком, что другие отнюдь не считают его маленьким. Но он знал, что было бы рискованно слишком рано обнаружить свое торжество. И Теренций, поборов себя, продолжал вести прежний образ жизни, занимаясь только делами цеха.

Но Гайя видела своего Теренция насквозь. Хотя он и расхаживал по городу с достойным и озабоченным видом, прикидываясь, будто всецело занят будничными делами, но по едва уловимым признакам она замечала, что он поглощен чем-то другим, и очень важным. Что-то произошло. Наблюдая, как он задумывается, когда полагает, что его никто не видит, как порой мечтательно и блаженно вздыхает, как он мечется во сне, как его лицо то расцветает, то мрачнеет, она вспоминала пору, когда его вызывали на Палатин.

Впрочем, это возбужденное состояние Теренция продолжалось недолго. Правда, в Эдессе и в других местах Междуречья все чаще вспоминали о счастливых временах императора Нерона. Вздыхали и кряхтели, жалуясь на чрезмерные тяготы, которые взваливает на обитателей Месопотамии новый губернатор, и все чаще многозначительно шушукались о том, что дальше так продолжаться не может, что всему этому скоро придет конец, что император Нерон еще жив и вскоре снова появится во всей своей славе и вновь дарует народам Междуречья хлеб и свободу. Теренций жадно впитывал эти слухи, но они нисколько не смягчали муки ожидания. Проходили недели и месяцы, а Варрон не подавал признаков жизни.

Сенатор же полагал попросту, что Теренция надо «выдержать». После того как этот человек клюнул на приманку, следовало дать ему потрепыхаться, чтобы он не слишком зазнался. И Варрон пребывал вдали, в Антиохии, — важным господином, далеким, как небо, от горшечника Теренция, недоступным для него. Сенатор Варрон не подавал вестей горшечнику Теренцию.

Это было нелегкое время для Теренция. Часто он сомневался, не приснилось ли ему все, на самом ли деле великий сенатор Варрон однажды заговорил с ним, как равный с равным, чуть ли не смиренно, как с подлинным императором Нероном. Ему до смерти хотелось обсудить это происшествие с Гайей. Но что она скажет? Что все это ему померещилось или, в лучшем случае, что Варрон затекает с ним новую жестокую и унижительную игру. А именно этого Теренций не хотел слышать, ибо он не мог бы жить больше, будь это так.

Вот почему он, как умел, старался скрыть свое замешательство от ясных, пытливых глаз жены. Все с большей и большей жадностью искал признаков того, что не один только Варрон признал в нем цезаря Нерона. Но этих признаков не находилось, и с каждым днем ему было все труднее оставаться старшиной цеха Теренцием — представительным, обремененным делами, самоуверенным, каким он казался еще несколько недель тому назад.

Одну только внешнюю уступку сделал он своим мечтам. Император Нерон иногда, чтобы лучше видеть, подносил смарагд к своим близоруким глазам, обычно к левому. Теренций купил себе смарагд. Было нелегко скрыть от Гайи, что он взял из кассы сумму, необходимую для его покупки, и это действительно не вполне удалось ему. Самый смарагд он, разумеется, никому не показывал. Уеди-

няясь, он устраивал настоящие репетиции, подносил камень то к левому, то к правому глазу, радовался его зеленому блеску.

Когда и это уже не помогало, он бежал со своими сомнениями в Лабиринт. Там, во мраке потаенной пещеры, он прислушивался к самому себе, пока его внутренний голос, его «демон» не заговорит и не уверит его, что он — Нерон и что весь мир признает его.

Но покамест мир его не признавал, а Варрон продолжал молчать. Наконец Теренций потерял терпение и написал ему в Антиохию письмо — письмо клиента своему патрону. Теренций сообщил о делах своей керамической фабрики, своего цеха, о мелких событиях в городе Эдессе. Но к концу — это был единственный намек на их беседу, который позволил себе Теренций, — он вплел туманную фразу: если будет угодно богам, то ему, возможно, уже не придется докучать своему покровителю подобными мелочами, потому что боги вернут ему его прежний образ, о чем он иногда мечтает. Он перечел письмо и нашел его неглупым. Теперь Варрону придется высказаться. Если он намерен продолжать начатую игру, он даст ответ на таинственную фразу; а если не намерен — он примет ее за одну из тех многозначительных цветистых фраз, какие любят на Востоке, и не придаст ей значения. И тогда Теренцию снова придется погрузиться в будни эдесской жизни. Но это невозможно. Варрон поймет, ответит.

Нестерпимо медленно тянулись дни. Много писем приходило из Антиохии, некоторые предназначались Теренцию, но от Варрона письма не было. Теренций определил для себя крайний срок: сначала шесть дней, затем десять, затем двадцать. Снова и снова говорил он себе, что надо запастись терпением. Он цитировал, чтобы не прийти в отчаяние, стихи классиков о терпении. Он читал их перед Кнопсом, своим рабом, чье присутствие не так стесняло его, как присутствие жены. Однажды он сказал Кнопсу, что в скором времени предстоит перемена — такие вещи он говорил ему нередко, — и, гневно, страстно цепляясь за свою надежду, с мрачным лицом, прищутив близорукие глаза, произнес, скорее для самого себя, чем для Кнопса, начало гомеровского стиха: «Будет некогда день...» И так как Кнопс смотрел на него с изумлением, он не мог удержаться, вынул из складок плаща смарагд, еще пристальнее взглянул на Кнопса и многозначительно повторил: «Будет некогда день...»

Раб Кнопс отступил перед искрящимся зеленым огнем, но он был умен и не спросил ничего; однако с любопытством отметил странный жест своего господина и его слова и долго о них раздумывал.

Имя «Кнопс» означало «дикий зверь», а также «дикарь». Кнопс любил, чтобы это слово выговаривали как следует, с долгим греческим «о». Кнопс был строен, выглядел значительно моложе своих лет. Он попал в семью Теренция малым ребенком, неисправный должник отдал его отцу Теренция в уплату долга. Кнопс родился в Киликии и чувствовал себя как рыба в воде на своем Востоке. Это был хитрый, лживый человек с быстрыми глазами. Он завидовал Теренцию, для которого был лишь покорным младшим товарищем детских игр, и в то же время восхищался им. Восхищался его повелительной, властной повадкой, его слепой верой в себя, но вместе с тем ненавидел его за эти западные качества. Он, Кнопс, управлял всем предприятием на Красной улице, и если фабрика Теренция в Эдессе стала быстро преуспевать, то этим ее владелец обязан был Кнопсу. Вероятно, он сумел, несмотря на бдительное око Гайи, отложить кругленькую сумму для себя, но его работу нельзя было оплатить деньгами. Собственно говоря, по обычаю, Теренцию давно следовало отпустить его на волю; многие удивлялись, почему Кнопс, раз его хозяин не давал ему заслуженной свободы, давно не взял ее сам. Например, в момент гибели Нерона, когда Теренцию пришлось бежать, ловкий, умный Кнопс легко мог бы уйти, не опасаясь преследования со стороны своего господина, ибо тот имел все основания не подавать признаков жизни. Если Кнопс и тогда и позднее оставался у него, то причиной тому была какая-то суеверная надежда, что его господин поднимется высоко и тогда преданность Кнопса оплатится с лихвой.

И вот, когда Теренций тихо, с гневной уверенностью продекламировал стих Гомера: «Будет некогда день», раб отнюдь не счел эти слова пустой болтовней. Напротив, он тотчас же поставил их в связь со слухами, что император Нерон жив. О предстоящей перемене Теренций толковал ему уже в Риме, в пору своих таинственных отлучек; к этому он присовокупил, однако, обещание, что, как только перемена произойдет, он даст Кнопсу волю. Рассчитывая на эту перемену, Кнопс терпеливо ждал, и теперь его сердце согревалось надеждой, что наконец этот день и в самом деле наступит и тогда исполнится его заветная мечта: он

поселится где-нибудь на Востоке, откроет собственное дело, обведет вокруг пальца своих друзей и будет распускать о них злые сплетни и наглые остроты.

Вечером этого дня Кнопс пошел к одному из этих друзей, к самому близкому — горшечному мастеру Гориону. У него он обычно проводил большую часть своего досуга. Горион был коренной житель Востока, тучный, с круглой головой и маленькими хитрыми глазками. Он много болтал, усиленно жестикулируя, как и Кнопс. Но, в отличие от Кнопса, он не вкладывал свою энергию в работу, а заполнял день тем, что жадно ловил всякие слухи, подолгу просиживал с деловым видом у своих многочисленных знакомых, бранился и сплетничал. Хитрый, легионерный, он принимал близко к сердцу разные политические перемены, происходившие в его городе. Любую перемену он встречал с неизменным восторгом — тем быстрее наступало разочарование, и он с тоской вспоминал, как хорошо было раньше.

Отцы и праотцы Гориона с незапамятных времен жили в этой стране, они были свидетелями смены вавилонских, ассирийских, греческих, римских, персидских, арабских правителей. Новых владык они принимали, как солнце, или как град, или как наводнение. Вздыхали и терпели. Цепляясь за свою землю, ели, пили, рожали детей, почитали богиню Тарату и ее рыб и работали столько, сколько было необходимо, чтобы прожить и дать завоевателю то, что ему удавалось выжать из них побоями и пытками. Чужеземные князья и правители исчезали, а род Гориона оставался и додержался до тех дней, когда появился Горион, — чтобы браниться и терпеть, как бранились и терпели предки.

С этим-то Горионом Кнопс искренне подружился: ему отчасти льстило, что Горион, свободный человек, так охотно с ним разговаривает, а с другой стороны, он был уверен, что стоит выше Гориона по знанию дела, пониманию жизни и уму. С видом знатока разглядывал Кнопс двенадцатилетнюю дочь Гориона, маленькую Иалту: он заставил Гориона обещать, что тот отдаст ему Иалту в жены, когда наступит великая перемена и Кнопс уже не будет рабом. Сегодня, убежденный, что день этот близок, он вслух смаковал все подробности воображаемой первой ночи с маленькой Иалтой. Но Горион, отец Иалты, лукаво и как бы угрожающе поднял палец и лишний раз напомнил Кнопсу, рабу из Киликии, старую поговорку: «Кариец, киликиец, каппадокиец — все хороши: от таких трех «к» воротит с души». На

это Кнопс, оскорбленный в своем патриотизме, с необычным для него жаром ответил, что, по вкусу это Гориону или не по вкусу, он, Кнопс, будет спать с его Иалтой. Этого Горион стерпеть не мог и сказал, посмеиваясь:

— Посмотрите-ка на этого Кнопса из Киликии, на это «к», от которого с души воротит!

В довершение обиды он произнес имя «Кнопс» с кратким «о». Но Кнопс, веря в звезду своего господина, еще более рассвирепел и ответил, что будет спать не только с дочерью Гориона — Иалтой, но и с богиней Гориона — Таратой. Это последнее неслыханное оскорбление, которое раб нанес его любимому божеству, до того вывело из себя Гориона, что он плеснул в лицо Кнопсу полный кубок вина: убыток, впрочем, был невелик, так как вино уже порядком прокисло.

Горион ждал, что Кнопс ответит потоком отборнейших ругательств, но ничего подобного не случилось. Напротив, раб спокойно вытер лицо и тихо сказал:

— Берегись, Горион. Может случиться, что «к», от которого с души воротит, в один прекрасный день окажется другом могущественного господина.

Он произнес эти слова так серьезно и спокойно, что горшечник Горион онемел.

И когда Кнопс в этот вечер несколько раз повторил, что, быть может, перемена наступит скоро, Горион уже выслушивал эти слова не как пустую похвальбу, а долго еще перебирал и взвешивал их в уме.

11

ИНОГДА ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ КРАТЧАЙШИМ

Если Варрон заставил Теренция «трепыхаться», то и самому ему пришлось набраться терпения. Продолжая свою бурную жизнь в предместье Дафне, он с растущим напряжением ждал, когда наконец Цейоний выскажется за Пакора. Но Цейоний медлил с окончательным выбором.

Тогда Варрон решил его пришпорить. Он везде и всюду распространялся о том, как важно для Рима урегулировать сношения с парфянами и признать Артабана: он знал, что речи эти будут переданы Цейонию. Помимо этого, Варрон часто доставал из заветного ларца расписку об уплате

инспекционного налога и показывал ее всем и каждому в Антиохии, отпуская хлесткие остроты по поводу произвола и мании величия губернатора.

Но больше всего он старался, чтобы из Дафне, города вилл, повсюду разошлось новое имя Цейония, веселое прозвище его старого школьного товарища: «Дергунчик». Это прозвище понравилось насмешливым сирийцам, оно вскоре приобрело непристойный, необычный смысл, распространилось с быстротой ветра по всему Востоку, и имя «Цейоний» было вытеснено кличкой «Дергунчик». Когда правительство неуклюжим приказом запретило употребление этого прозвища, народное остроумие заменило его прозрачными синонимами, — и во всех харчевнях на всех улицах пели куплеты, вся соль которых заключалась в паузах: их явно можно было заполнить лишь словом «Дергунчик». Повсюду десятками тысяч продавались деревянные куклы с подвижными руками и ногами, скорченные фигурки, которые с помощью маленького рычажка можно было заставить распрямиться во весь рост, а затем снова скрючиться. Эти куклы находили огромный сбыт. Варрон не побоялся на одном из своих празднеств раздать гостям такие куклы. Ему нужно было, чтобы Цейоний во что бы то ни стало высказался за Пакора.

Губернатор был взбешен до предела: его школьное прозвище, давно забытое в Риме, воскресло на Востоке, жалило и терзало его, как в детстве. Он глубоко страдал еще и оттого, что своим эдиктом сам усугубил зло. Приближенные не советовали ему издавать это распоряжение, убеждали его, что коварный, остроумный Восток найдет тысячи путей обойти запрет. Он не хотел этому верить. И вот чего он достиг: по его собственной вине поражение стало еще горше.

Когда он встретился с Варроном, его первым побуждением было оправдаться по поводу эдикта, объяснить, что он действовал не из пустого тщеславия. Если бы люди, сказал он, хотели задеть нелепым прозвищем только его лично, он не обратил бы внимания — пусть себе тешатся. Но эта наглая, крамольная восточная сволочь ухватилась за оскорбительное словечко, чтобы поиздеваться над всей империей. Дело тут в престиже Рима, вот почему ему приходится воевать с этой сворой, не отступая ни перед чем.

Варрон выслушал его вежливо, с участием. Надо признаться, что ему такие меры кажутся безнадежными: ими Цейоний здесь, на Востоке, ничего не добьется. Население

Антиохии давало прозвища всем своим правителям, актерам, возницам беговых колесниц и атлетам, оно считало это своей привилегией, и до сих пор на эту привилегию никто не посягал. Лучше пусть собаки лают, чем кусаются. Да будет ему позволено дать совет Цейонию: тут надо соответствующим обращением с народом добиться того, чтобы прозвище постепенно утратило свой злой смысл и приобрело ласковый оттенок. Варрон несколько отступил, чтобы лучше рассмотреть собеседника своими дальнотзорными глазами, и, смакуя слово, выговорил его со вкусом, два-три раза, пока оно не стало таять у него на языке: «Дергунчик», «Дергунчик».

Цейоний сидел хмурый, поглаживал кончиками пальцев одной руки ладонь другой; на секунду он устремил свой жесткий взгляд на Варрона. Он, конечно, знал, что прозвище пустил в ход не кто иной, как Варрон. Глупо было с его стороны объясняться с этим человеком, который сознательно, с умыслом сыграл с ним эту плоскую шутку. Варрон видел, что происходило в душе Цейония. Он торжествовал: Дергунчик откажет в признании Артабану. Цейоний сам назовет на себя свой рок — воскресит старого Нерона.

Варрон сделал смелую вылазку. Озабоченно спросил, не принял ли уже Цейоний решение, кого из двух парфянских претендентов он признает. Настойчиво повторил свой совет сделать выбор в пользу Артабана.

Ведь он уже однажды дал случай Варрону, холодно ответил Цейоний, высказать свое мнение. Он зрело обдумал доводы друга. Он ценит осведомленность Варрона в этом вопросе, но существуют и другие эксперты, весьма надежные, которые придерживаются противоположного мнения. Он не сомневается в доброй воле Варрона, но может стать, что в нем, против его воли, говорит не римлянин, а «друг Великого царя» — царя Артабана, прибавил он с легкой насмешкой. Решение, которое ему, Цейонию, приходится принять, чревато важными последствиями, и действует он не единолично, а несет ответственность перед императором, с важностью закончил он.

Варрон притворился удивленным, удрученным. С торжеством покинул он дворец.

Через три дня губернатор официально объявил, что ведет переговоры о возобновлении договоров с Пакором, Великим царем парфян.

ТЕРЕНЦИЙ ПЕРЕВОПЛОЩАЕТСЯ ВТОРИЧНО

Срок, который назначил себе Теренций, прежде чем отказаться от всякой надежды, миновал. Но горшечник не отказался от надежды. Прошла неделя, еще неделя. Наконец весть от Варрона была получена.

Это было длинное письмо. Боязливо, с напряженным вниманием пробежал его Теренций. Варрон писал не сам, он поручил секретарю составить ответ. Тот подробно, трезво обсуждал каждую из деловых подробностей, затронутых Теренцием, и у Теренция упало сердце. Но в самом конце была приписка — уже рукой самого Варрона. Он надеется, гласила приписка, что по воле благосклонных богов вскоре совершится перевоплощение, в котором пишет Теренций.

Чувство блаженства и гордости охватило Теренция. Но он научился терпению, научился владеть собой. На этот раз он уже ни перед кем не выдавал себя, — даже в присутствии раба Кнопса. Но с письмом Варрона не расставался, всегда носил его при себе. Иногда, оставшись в одиночестве, он доставал письмо и прочитывал последнюю фразу еще и еще раз, много раз. Иногда он бежал со своим счастьем в тишину Лабиринта. Там, в одной из потаенных мрачных пещер, никем не видимый — разве только летучими мышами, — он выпрямлялся во весь рост, простирали вперед руки, улыбался глупо, блаженно и подражал — как это он сделал перед сенатором Варроном — походке, жестам и голосу императора.

По всем землям Римской империи были в свое время, по указу сената, собраны и все до последнего уничтожены статуи и бюсты презренного, умершего позорной смертью императора Нерона. Но за пределами империи, главным образом в Междуречье, сохранилось множество этих бюстов и статуй. Сенатор Варрон, живя в Эдессе, приобретал их в большом количестве. Они стояли и лежали в одном из его имений вблизи города, в большом сарае и на запущенном дворе, под охраной подростка-раба, полуидиота, ни на что другое не годного. Многие изваяния были повреждены.

В один прекрасный день Теренций очутился в этом имении Варрона. Он зашел сюда как случайный прохожий, как праздношатающийся. Подросток-сторож без опаски впустил представительного римлянина, державшегося так уверенно. Теренций расхаживал между каменными глыба-

ми, в которых запечатлелись обличье и натура Нерона. Здесь в сотнях поз лежал, сидел и стоял покойный император. Все то же широкое лицо с близорукими глазами и толстой выпяченной губой; то с высокомерно-скучающим видом возвышалось оно над представительным, несколько тучным телом полулежавшего императора; то величественно поднималось над доспехами, украшенными головой Медузы; на некоторых статуях оно было обрамлено завитой бородой. Иногда скульпторы вставляли глаза, серые блестящие глаза из самоцветов или менее дорогих камней. Некоторые бюсты были раскрашены, художник изображал блекло-розовую кожу императора, его рыжеватые волосы и очень красные губы. Теренций расхаживал между бюстами и статуями. Он оглядывал их все, перед многими останавливался, вбирал их в себя, упивался ими, напивался их живыми воспоминаниями, чувствовал себя настолько связанным с ними, что в конце концов уже сам не знал, кто воплощен был в этих изображениях — он или тот, другой. Особенно долго он стоял перед одним восковым бюстом. Он достал свой смарагд. Да, это он, Нерон-Теренций, это его лицо, такое, каким оно было четырнадцать лет тому назад. Теренций стоял перед бюстом, вбирал в себя его облик до мельчайших подробностей, пристально вглядывался в него близорукими глазами. Сдвинув брови и наморщив лоб, он поднял голову и несколько склонил ее набок, выпятил нижнюю губу, вскинул подбородок и сжал рот с недовольным, нетерпеливым, надменным выражением. Так он стоял долго.

Малолетний сторож между тем притаился в уголке двора. Оттуда он боязливо, с любопытством следил за чужим господином и его странным поведением. Когда Теренций остановился перед восковым бюстом, лицо подростка вдруг исказилось, он с еще бóльшим страхом забился в свой угол. А когда наконец чужой господин оторвался от бюста, пошел дальше немного заплетающимся шагом, едва очнувшись после долгого погружения в себя, — мальчик вдруг подбежал к нему и пал перед ним ниц, прижавшись к земле лбом, как это обычно делали восточные люди перед своими богами или перед Великим царем.

Теренций торопливо удалился, испуганный, но в глубине души счастливый. Вот, значит, до чего дошло! Даже бессловесные, духовно убогие уже постигают, кто он и к чему призван небесами. Чувство огромного восторга захватывало дыхание, распирало грудь. Как пьяный, шел он вперед по незнакомой местности, все дальше и дальше, до той черты,

где она переходила в степь. Он остановился на маленьком возвышении. Высоко поднял плечи, ленивым, надменным жестом Нерона уронил руки и почти насмешливо произнес слова греческого трагика: «Теперь остановись, земля. Когда ты несла на себе более великого смертного?»

Сейчас ему невольно было смотреть на будничное лицо Гайи или Кнопса. Он спустился в Лабиринт. Прислушался к своему демону. И голос громко возвестил ему: «Приветствую тебя, цезарь. Выше. Все выше. К звездам, цезарь».

13

ПЕРЕОДЕТЫЙ ГОСУДАРЬ

Тем временем в Эдессе все чаще говорили о Нероне: как хорошо было под его властью, и не спасся ли он в самом деле, не явится ли он в близком будущем. Когда же стало известно, что Дергунчик признал Великим царем парфян не Артабана, а Пакора, тоска по умершему императору, недовольство Титом и его наместником усилились. Признанный Римом Пакор повелевал далеко на востоке Парфянского царства, а области, пограничные с Эдессой, повиновались Артабану. Если между Римом и Артабаном начнутся военные действия, то развернутся они раньше всего в округе Эдессы. Обитатели города не хотели войны. Мало разве того, что Рим неумеренными налогами и поборами сокращал доходы? Для кого добывались с таким трудом масло, вино, злаки? Для иноземцев, для наглого западного завоевателя, для Рима. Ах, был бы здесь добрый император Нерон! При жизни Нерона с Римом легко было договариваться, с Римом велась торговля, и обе стороны извлекали из этого выгоду — и Рим и Эдесса. При Нероне оставались в чести старые боги Востока: Тарата, всадник Митра, арабские звездные божества. Почему теперь Юпитер Капитолийский и богиня Рома получили больший вес, чем Митра и богиня Сирия — Тарата? Что это за бог, который требует от измученных людей все больше труда, все больше налогов? Рыбы богини Тараты не так алчны, как орел Юпитера. Солдаты римского гарнизона чувствовали на себе сумрачные взгляды горожан. «Рабы Дергунчика» — обзывали их в насмешку за спиной. И если ночью кто-нибудь из них шел один по улицам Эдессы, ему становилось не по себе. Забавные раздвижные деревянные куклы громадных размеров сжигались на площадях под улюлюканье

толпы. И все громче говорилось, что недолго уж править Дергунчику, что император Нерон жив, он в Эдессе, он скоро явится и сокрушит Дергунчика.

Теперь многие жалели об отсутствии сенатора Варрона: от него можно было бы услышать умное слово о Риме, о политическом положении. Но Варрон, ко всеобщей досаде, оставался в Антиохии, был недоступен, погрузился в веселую жизнь города вилл — Дафне. Надо было обладать уж очень тонким слухом, чтобы за всякого рода толками, возникшими в эту пору в Месопотамии, расслышать голос сенатора Варрона.

Если Варрон оставался невидимым, то всюду давал о себе знать другой римлянин, окруженный какой-то тайной. В храм богини Тараты через гонца, который отказался отвечать на расспросы, была доставлена очень крупная сумма как дар императора Нерона в благодарность за спасение от большой опасности. А весьма чувствительному к женской красоте царю Маллуку таинственный гонец передал в качестве почетного дара того же невидимого Нерона двух прекрасных девственниц-рабынь. Монарх и верховный жрец колебались, принять ли эти дары. Но так как сумма была очень велика, а девушки очень красивы, то дары в конце концов были приняты.

Царь Маллук и первосвященник Шарбиль, говоря о политике, употребляли даже с глазу на глаз только цветистые, осторожные выражения. В таких иносказательных выражениях они обсуждали и появление без вести пропавшего императора.

— Хорошо бы знать, — сказал царь, — что думает в глубине души об этом императоре некий римлянин и прочна ли почва, на которую опираются его мысли.

— Некий римлянин, — ответил верховный жрец, — тратит силы своего сердца и своих чресел в веселых домах западного города.

— Боги даровали ему острый взгляд, — возразил царь, — и, конечно, он может даже из веселого дома на Западе обозревать наш Восток.

— Возможно, — ответил верховный жрец. — Но если послать к нему гонца, то гонца могут схватить или заставить проболтаться. Молчалива только земля.

— Эдесса стара, — решил царь, — и переживет еще многие царства, а терпение — вещь хорошая.

— Я сам стар, — недовольно пробормотал сквозь позолоченные зубы верховный жрец, — и я не из камня и земли, как Эдесса.

Была ли фантазия населения возбуждена таинственными дарами императора Нерона или какими-нибудь другими знаками, но слухи о том, что Нерон не умер, становились все более настойчивыми, и все определеннее указывалось, что император пребывает в Эдессе.

Горшечник Теренций жадно ловил эти слухи, но не обнаруживал своего нетерпения. Теперь, когда он полон был веры, ему нетрудно было потерпеть. Безошибочный инстинкт подсказывал ему, что лучше держаться пока в тени и дать созреть событиям, самому в них не вмешиваться.

Но и без его участия многое делалось, чтобы подготовить его возвышение. Все теснее становился круг, внутри которого следовало искать императора, он все яснее смыкался вокруг Красной улицы. Все громче раздавались голоса, что горшечник Теренций не тот, за кого он себя выдает.

Знакомые Теренция при встрече с ним приветствовали его с некоторой робостью. Посторонние люди показывали его друг другу на улицах, за его спиной начинали шептаться, и если ему случалось неожиданно взглянуть на встречного прохожего, он подмечал в его лице смущение и благоговение. Он с радостью в этом убеждался, но по-прежнему продолжал вести себя так, как будто ничего не замечает, и непринужденно стоял в центре того ореола, который вокруг него ткался. Если кто-нибудь делал попытку выведать у него его тайну, он удивленно вскидывал брови и молча смотрел на собеседника прищуренными близорукими глазами.

И раб Кнопс купался в лучах тайного благоговения и робости, которыми был окружен его господин. Его друг если и подшучивал теперь над ним, то очень смиренно, и если его губы произносили имя Кнопса с коротким «о», привычным для эдесского диалекта, вместо желаемого долгого, он спешил поправиться. Кнопс радовался, что наконец и в самом деле забрезжил день, которого он так долго ждал, на который сделал самую крупную ставку — свою жизнь. Он был умен и поэтому предвидел, какая будет взята тактика: будут утверждать, что Нерон во время последней таинственной встречи с горшечником Теренцием в Палатинском дворце незаметно обменялся с ним ролями. Но именно потому, что Кнопс это понял, он сумел принять перед хозяином ту мину, которую тот желал видеть. Он не изменил своего поведения. Хитрый Кнопс держался с затаившимся императором, как и до сих пор — фамильярно,

преданно, покорно, дерзко, как незаменимый управляющий фабрикой, но, пожалуй, он стал на волос более покорен и на волос менее дерзок.

Впрочем, такое поведение Кнопса постепенно изменило и поведение самого Теренция, вопреки его намерениям, против его воли. Он старался и теперь скрывать то особенное, что было в его судьбе, но так, чтобы все видели: он сам не хочет это особенное обнаруживать. Он уже был не горшечник Теренций, а таинственная личность, которой угодно играть роль горшечника Теренция.

Все окружающие принимали участие в этой игре горшечника Теренция, лишь один человек не делал этого: Гайя. Она решила поставить мужа на место, пробрать его за смехотворную манию величия.

Еще несколько недель тому назад для ее Теренция было удовольствием долго и обстоятельно мыться в одной из общественных бань. Там он обычно встречался с приятелями и в солидных речах излагал им свои политические и литературные взгляды. В последнее время он отказался от этой привычки и предпочитал мыться в тесной, неудобной ванной комнате своего дома на Красной улице, без посторонней помощи. Там, наедине, погружаясь в приятную теплую воду, он предавался своим мечтам, ораторствовал, пел, декламировал, а затем, голый или в купальном халате, упражнялся, стараясь приобрести величавую осанку, которая ему понадобится в будущем. В таком виде — в купальном халате, со смарагдом у глаза, с гордо выпяченным подбородком и нижней губой — застала его однажды Гайя в наполненной паром комнате, куда она вошла с твердым решением выполнить свое намерение. Она стояла перед ним резкая, очень земная, оба они целиком заполняли тесную комнату. Она выложила ему без обиняков, какая ведется игра: сказала, что люди, которые ведут эту игру, поступают так отнюдь не ради золотистых волос и серых глаз Теренция, а ради своих темных и опасных целей; что ему придется снова и весьма недостойным образом работать на других; что эти другие, без всякого сомнения, предадут его, если дело провалится. А может ли дело не провалиться, если горшечник из Эдессы пойдет против Римской империи?

Теренций отвернулся, купальный халат, который был на нем, упал на пол. Голый, спиной к Гайе, сидел он на краю ванны, свесив ноги в воду. Молчал. Гайя увещевала мужа. Напоминала ему о той жуткой ночи, когда его готовность впутаться в чужие дела чуть не стоила ему жизни. Напо-

мнила ему, в каком плачевном виде, обливаясь потом, вернулся он домой из своей последней отлучки в Палатинский дворец. Он не проронил ни слова. Так как она не умолкала, он, посвистывая, начал одеваться.

14

ДВА АКТЕРА

В убогой комнатке полуразрушенного дома, в южном предместье Эдессы, сидел над рукописью Иоанн с Патмоса, тот самый, чье исполнение роли Эдипа вызывало протест горшечника Теренция. Была глубокая ночь, вся улица давно погрузилась во мрак, только в комнате Иоанна горела, мигая, лампа.

Иоанн еще днем бегло просмотрел весь манускрипт. Принес этот манускрипт сын Иоанна, подросток Алексей, которому сунул его один из единоверцев-христиан. Это был греческий перевод трагедии, наделавшей несколько лет тому назад много шуму; автором ее был, как говорили, великий поэт-философ Сенека, и посвящена она была нескананно печальной, вызывавшей всеобщее сострадание судьбе Октавии, первой жены Нерона, сосланной и убитой тираном. Иоанн в свое время читал эту вещь в латинском оригинале, и она сильно его взволновала. Давно уже, со времен присоединения к христианам, он почитал за грех брать в руки светские книги. Но когда мальчик принес ему сегодня греческий вариант трагедии, он не мог удержаться от искушения заглянуть в него. Он хотел только пробежать манускрипт, не читая, и в самом деле, сделав над собой усилие, вскоре отложил его в сторону. Но затем, вечером, стараясь снова настроиться на благочестивый лад, он раскрыл одну из пророческих Сивиллиных книг, которые он и его братья по вере считали божественными. Но Сивиллина книга во многих местах таинственно намекала на Нерона, антихриста, царство которого предназначено было послужить преддверием к светопреставлению и Страшному суду, и эти мрачные прорицания не только не отвлекли мыслей Иоанна от «Октавии», а напротив — вернули их к ней. Поэтому он снова достал «Октавию», хотя это и было предосудительно, и вот, несмотря на глубокую ночь, он все еще против воли читал прекрасные, сильные стихи.

Кто не знал всех перипетий судьбы Иоанна, тот меньше всего ожидал бы встретить знаменитого актера в такой обстановке — в городе Эдессе, в этой убогой комнате. Дело

было в том, что великий художник Иоанн не мог довольствоваться одним лишь искусством. Он видел много горя и страданий в городах Малой Азии, и не меньше искусства волновал его вопрос: где и в чем источник страдания и как изгнать его из мира? Он был еврей по рождению, но ответ еврейских ученых на этот вопрос так же мало удовлетворял его, как ответ греческих философов и учителей-стоиков. Он все сильнее сочувствовал вероучению возникшей как раз в ту пору секты — так называемых христиан. Их учение о блаженстве бедности и отречении от земной жизни во имя жизни потусторонней, их туманные пророчества о предстоящей гибели мира, о загробной жизни и о Страшном суде, мрачный жар их Сивиллиных и апокалипсических книг — все это сладостно волновало его и в то же время пугало. Он начинал верить, проверял себя, сомневался, верил сильнее, отрицал, снова верил. После долгой борьбы он отказался от почестей и богатства, которые давало ему искусство, и несколько последних лет прожил в Эдессе, на краю цивилизованного мира, в добровольной бедности и смирении.

Новая вера требовала от него еще большей жертвы — отречения от своего искусства. Греческие драмы показывали человека в его борьбе с божеством и роком, они прославляли эту борьбу, их герои кичились: «Нет ничего могущественнее человека». Можно ли было, приняв благую весть смирения, в то же время служить этим надменным греческим поэтам? Иоанн вынужден был, стиснув зубы, признать, что это невозможно, что правы были его единоверцы, при всей своей терпимости осуждавшие его профессию. И вот он отказался не только от блеска и денег, которые приносил ему театр, но и от самого искусства. Но драмы греков, в особенности драмы Софокла, слишком глубоко проникли ему в кровь, чтобы он мог совершенно с ними расстаться. Самые любимые из своих книг он взял с собой в свое убожество. И они стояли тут, эти драгоценные свитки, в роскошных футлярах, странно выделяясь на фоне этого жилья. И как ни корил себя Иоанн, он снова и снова доставал их, радовал свой глаз, свое ухо, свое сердце великолепием стихов.

В эту ночь он сидел в своей бедной комнате, склонившись над манускриптом «Октавии». Чадающий масляный светильник, треща, выхватывал из тени то одну, то другую часть его лица. Он перестал следить за своей внешностью, но крупное, изрытое морщинами лицо, с тяжелым лбом, мрачными глазами, крупным носом, взлохмаченной курча-

вой бородой, отпущенной в эти годы отрешенности от всего мирского, обратило бы на себя внимание среди тысяч других лиц. С горящими глазами читал он при скудном свете лампы.

И вдруг случилось нечто. Вдруг Бог послал Иоанну мысль, которая заставила его вскочить, бросив манускрипт. Большими шагами бегал он по жалкой комнате. То, что мальчик принес к нему в дом это произведение, то, что пророчества Сивиллы заставили его снова вернуться к чтению «Октавии», — все это было знамение свыше. Никогда еще не читал он такого исступленного обвинения против Нерона, как «Октавия». Не случайно книга эта попала в его дом как раз теперь, когда люди уверовали, что этот антихрист Нерон, этот дикий нечистый зверь еще не умер, что он вскоре снова явится и зальет мир кровью и мерзостью. Богу угодно, чтобы он, Иоанн, свидетельствовал против Нерона. Сыграть или прочесть перед публикой это произведение — в этом нет ни суетности, ни греха, это будет угодным в глазах Господа делом.

Он бегал взад и вперед по мрачной, убогой комнате. Его сын Алексай проснулся и заспанными испуганными глазами уставился на отца. Отец шевелил губами. Он дал стихам «Октавии» вновь родиться в его душе, он позволил им в тихой, робкой попытке слететь с его уст. Звук и смысл слов сливались как бы сами собой. Стихи несли его на своих волнах — то мудрые, мерные, рассудительные слова Сенеки, то дикие, жестокие, безмерно гордые речи Нерона, то полные ужаса — Поппеи, гневные Агриппины, сострадаательные — хора. Его стремление свидетельствовать в пользу своего бога, его ненависть к тирану Нерону, его необоримая жажда наконец-то, наконец-то снова опьяниться своим искусством — все это слилось воедино, вылилось в стихи. Да, «Октавию» он без угрызений совести осмелится прочесть публично. Так угодно Богу.

Он объявил, что будет декламировать в эдесском Одеоне «Октавию» Сенеки в греческом переводе.

Узнав об этом, весь город пришел в волнение. Великий актер Иоанн, не выступавший долгие годы, будет читать здесь, в Эдессе, и притом столь сенсационную вещь, как «Октавия».

Красивое здание Одеона было переполнено взбудораженной толпой, когда Иоанн вышел на подиум. Здесь были офицеры римского гарнизона и все эдесские друзья римлян. Но лояльные сторонники императора Тита с беспокойством и неодобрением заметили, что среди слушателей было мно-

го всем известных врагов Флавиев — клиенты Варрона, с его управляющим Ленеем во главе, и даже некий Теренций и множество его друзей из цеха горшечников.

Иоанн сбрил бороду и оделся по-праздничному, как это предписывал обычай. Странное впечатление производило это оливкового цвета лицо с могучим лбом и темными миндалевидными глазами над белой одеждой, спадавшей волнистыми складками. Он читал наизусть. Своим мрачным, глубоким, гибким голосом произносил он страстные, гневные стихи трагедии «Октавия», обличающие злодеяния императора Нерона. Голос его делался то мягким до неуловимости, то твердым, как алмаз, он передавал малейшие оттенки ненависти, сострадания, гордости, жестокости, страха. Люди с левого берега Евфрата, не привыкшие к большому искусству, были благодарной аудиторией. Иоанн с Патмоса привел в восторг даже врагов «Октавии». Безмолвен был громадный зал во время чтения. Лишь изредка можно было услышать чье-нибудь сдавленное, напряженное дыхание, люди возбужденно смотрели в рот говорившему или самозабвенно опускали голову на грудь. Когда он кончил — для большинства слишком скоро, — они вышли из забытья, глубоко вздохнули. Грянула буря рукоплесканий.

— Привет тебе, Иоанн с Патмоса, прекрасный, великий художник! — неслось со всех скамей.

Но неожиданно этот хор прорезали другие возгласы, все громче, все явственнее. Те, кто с ликованием приветствовал актера, встревожились. Сначала им показалось, что они ослышались. Но мало-помалу они поняли, что не ошиблись; да, в самом деле, среди этих лояльных, преданных Риму и императору Титу политиков, военных, землевладельцев и купцов Эдессы несколько сот, а потом и более тысячи человек осмелились внести сюда голос улицы, восклицая:

— Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!

Впоследствии никто не мог сказать, как дело дошло до этой демонстрации, которая, без сомнения, была неприятна большей части публики. Вероятно, все обстояло так: толпа была взволнована искусством великого актера, чувства людей искали выхода, стремились вылиться наружу, людям захотелось кричать. И так как возгласы в честь артиста постепенно стихали, а возгласы: «Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!» — становились все неистовее, то все больше людей поддавалось порыву, присоединялось к общему хору.

Никто уже не смотрел на подиум. Все смотрели,— одни восторженно, широко раскрыв рот, другие с удивлением, третьи — колеблясь в растерянности, некоторые со страхом и неудовольствием,— на того человека, к которому явно относились эти возгласы, на человека, просто одетого, скромно занимавшего одно из самых незаметных мест. И все люди в большом здании вдруг увидели яснее, чем могла бы разъяснить самая лучшая речь, что здесь, среди них, сидел некто с лицом и осанкой императора Нерона. Ибо тот, кто здесь сидел, и в самом деле был уже не горшечник Теренций, а человек, который, совершенствуясь в своем горестном уединении, впитал в себя дух исчезнувшего императора, без остатка перевоплотился в Нерона. Спокойно сидел он здесь, с рассеянной, почти детской улыбкой, несколько пресыщенный, но в гордой, царственной позе. Все оглушительней, все неистовее звучали клики приветствия императору. Он медленно встал со своего места, словно его это не касалось, словно весь этот шум никакого отношения к нему не имел. Но перед ним — как бы самопроизвольно — образовалось пустое пространство, он прошел между двумя рядами благоговейно расступившихся людей, с высоко поднятой головой, гордо и безучастно улыбаясь. Многим из присутствовавших здесь римских офицеров не раз приходилось слышать эти клики и кричать самим, приветствуя подлинного императора, случалось собственными глазами видеть подлинного Нерона. Их точно громом поразили вид этого человека, казалось, еще минута, и они воздадут ему установленные обычаем почести.

Позади Теренция — на некотором расстоянии — шли несколько его друзей. Он повернул к ним голову: хотел, видно, что-то сказать им. Во всем большом здании стало необычайно тихо. Но Теренций, как будто он ранее не слышал приветствий, а теперь не замечал тишины, непридуманно бросил через плечо своим друзьям, все еще с едва заметной усмешкой:

— В сущности, Нерону следовало бы, потехи ради, самому прочесть для публики эту «Октавию». — И тихо, точно вскользь, прибавил: — Какой артист снова явился бы миру!

Ведь весь свет знал, что для императора Нерона важнее было слыть великим актером, чем великим правителем, что император Нерон умер со словами: «Какой артист погибает!» Когда теперь этот человек, с походкой императора, повернул голову жестом императора и ска-

зал: «Какой артист снова явился бы миру!» — да еще голосом Нерона, по всей толпе в три тысячи человек пробежал трепет, и даже те, кто затеял демонстрацию, на одну минуту поверили, что император Нерон собственной особой покидает театр.

15

СОЛДАТ — И К ТОМУ ЖЕ ХРАБРЫЙ

Полковник Фронтон, комендант римского гарнизона в Эдессе, будучи человеком осторожным, не пошел в Одеон на чтение «Октавии», ссылаясь на недомоганье. Его офицеры тотчас же после спектакля сообщили ему об овации Нерону-Теренцию, с любопытством ожидая, что он скажет по этому поводу, какие отдаст распоряжения. Но Фронтон разочаровал их. Он задал им несколько вопросов, вежливо поблагодарил и отпустил.

Оставшись один, он сел за письменный стол, стал размышлять. Неподвижно сидел он, легко опершись головой на руку, статный сорокавосемилетний человек, с широким лбом под коротко остриженными, отливающими сталью волосами. Как быть? Не дожидаясь приказа из Антиохии, решительно выступить против этого «Нерона» и сыграть роль своего рода спасителя отечества? Перейти на сторону Нерона и стать маленьким цезарем? Будь, например, на его месте какой-нибудь Варрон, какие бы тут разыгрались дела! Фронтон не менее ясно, чем Варрон, видит открывающиеся возможности. Но так как он не Варрон, а Фронтон, то события не разыграются. Он ограничится тем, что пошлет этим идиотам в Антиохию доклад по всей форме, запросит, как ему действовать, будет выжидать.

Выжидать. Это, к сожалению, стало девизом его жизни. Полковник Фронтон считался одним из самых одаренных офицеров армии. Те отрывки из «Учебника военного искусства», которые он опубликовал, приобрели известность среди специалистов. Но, несмотря на то, что он участвовал в Парфянской и Иудейской войнах, ему никогда не пришлось претворить свою теорию в жизнь. Если представлялась интересная тактическая или стратегическая задача, тут как тут оказывались всякие глупцы, brave посредственные офицеры. Его же, Фронтон, держали в отдалении, то ли по злой воле военного командования, то ли по прихоти коварного случая. «Кабинетным полководцем» прозвали его товарищи. Для Флавиев, которые сами были

всего лишь бравыми посредственными офицерами, его теории были слишком смелы и современны. Цезари послали его не на Запад или на Север, где для деятельности военного хватало дел, а сплавили сюда, на окраину, в эту восточную глушь.

Не то чтобы восточная жизнь пришлась не по душе Фронтону. Он приехал в эти края еще в ранней молодости. Запутанность, глубина, необузданность Востока, где невозможно что-либо предвидеть, древняя культура страны с самого начала пленили Фронтон. Он был страстным поборником нероновской политики, его воодушевляла идея органического слияния Востока с Римской империей. Но когда Нерон погиб, а новые власти резко повернули курс римской политики, он не решился встать на путь, которого требовали от него его политические убеждения, и расстаться со службой. Фронтон любил Восток, он убежден был, что только нероновская политика могла действительно усилить и возвеличить Рим, а трезвая, бескрылая политика новых владык, их ориентация на Запад претила ему. Но, с другой стороны, за ним был большой служебный стаж, и у него не хватило духу отказаться от прав, которые стаж этот давал, от всей своей карьеры, от перспективы получить хороший участок земли и большую пенсию, прослужив еще восемнадцать лет. Таким образом, он похоронил мечты о яркой жизни, о слиянии Востока с Западом, глубоко замуровал в себе свои идеи, подчинился новым правителям.

А они не любили его и не особенно щедро отблагодарили. Он домогался места командующего гарнизоном в Самосате — доходный пост в приятном, крупном городе с высокой культурой. Но туда послали неуча капитана Требония, а его назначили в Эдессу, в этот полудикий город на окраине, конечно, под почетным предлогом, что здесь нужны недюжинные дипломатические способности. Это было верно. Но верно было и то, что служебный путь здесь был усеян шипами, что пост Фронтон был сопряжен с большой ответственностью, с неблагоприятной работой и не сулил успеха. От Эдессы вверх путей не было.

Фронтон, очень умный человек, глубоко запрятал жгучую обиду на Флавиев, оставивших его прокисать здесь. Но сегодня, в уединении своего кабинета, услышав, что «Нерон» снова всплыл на поверхность, он, несмотря на весь свой ум и умение держать себя, несмотря на то, что он смирился со своим положением, искусал себе до крови губы и втихомолку скрежетал зубами.

Нет, теперь уж нет смысла чего-либо домогаться. Появление этого «Нерона» уже не принесет ему никакой пользы. Все давно решено. Когда пришли к власти новые правители, у него была свобода выбора, но он принес тогда Веспасиану присягу и, следовательно, раз навсегда выбрал благоразумие, примирение, право на пенсию. Выбор правильный. Лишь очень редко Фронтоном овладевает сожаление и почти никогда — раскаяние. Но сегодня, после нелепых событий в Одеоне, его грызет раскаяние. Быть может, все же Варрон оказался умнее? Он сразу порвал с новыми хозяевами, не побоялся впасть в немилость у Палатина и с тех пор ведет свою собственную политику.

Хотя у Фронтонa нет ни малейшего доказательства, он уверен, что за этим Нероном-Теренцием тоже скрывается Варрон. С того момента, как он впервые услышал о появлении погибшего цезаря, он почувствовал за ним Варрона. Он знает сенатора с юных лет. Они вместе прибыли на Восток, вместе опьянялись тем новым и великим, что дала им эта страна. Теперь они во враждебных лагерях. Он, Фронтон, представляет в Эдессе трезвую милитаристскую политику Флавиев, Варрон тысячами тайных путей продолжает смелую, запретную политику Нерона. Фронтон завидует Варрону и восхищается его дерзостью, его страстностью, его энергией, хотя рассудком его не оправдывает. В официальных отношениях с Варроном он обнаруживает сдержанность, с какой офицеру Флавиев и подобает относиться к такому двусмысленному человеку. Но при всяком удобном случае дает Варрону почувствовать, что по-прежнему питает к нему глубочайший интерес. Кроме того, он не может отказать себе в том, чтобы по-своему — сдержанно, благовоспитанно, но очень явно — не ухаживать за дочерью Варрона, строгой белолицей Марцией. Он не знает, да и не хочет знать, в какой мере его интерес к Марции существует сам по себе и в какой служит только предлогом быть поближе к Варрону. Для него ясно, что в этом краю Варрон — человек, самый близкий ему, Фронтону. Он одержимый, этот Варрон, и добром не кончит. Если его смелый замысел удастся, то для Фронтонa это будет осуждением, вечным упреком, ядом, который отравит ему старость. Тем не менее в глубине души он относится к Варрону дружелюбно. Он ждет результатов политики Варрона, ждет неизбежной плачевной развязки с жгучим нетерпением, к которому, неизвестно почему, примешиваются тоска и страх.

Быть может, появление «Нерона» будет способствовать этой развязке? Фронтон мог бы тоже способствовать ей, ускорить ее или замедлить. Было бы соблазнительно показать это тому или другому — Дергунчику или Варрону. Но нет, он ничего не предпримет против Варрона. Варрон — славный человек, он любит Варрона. Он предоставит судьбе доказать, что ведь в конечном счете прав был он, Фронтон, и не прав сенатор.

Итак, он воздержится от выступления против «Нерона».

Но не рискованно ли бездействовать? Не упрекнул ли его за это в Антиохии или Риме? Нет. Наказуемого деяния горшечник Теренций не совершил. Его ли вина, что другим померещилось, будто они видят покойного императора? Кроме того, Теренций, как и его патрон, не только римский подданный, но и гражданин Эдессы. Надо иметь точные, неопровержимые улики, прежде чем принимать против него меры. Со злой усмешкой Фронтон вспоминает «первый наказ» Флавиев, их напутствие уезжающим офицерам: в сомнительном случае лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг.

Следовательно, он воздержится. Пошлет рапорт в Антиохию и затребует оттуда указаний. Интересно, какие инструкции дадут ему эти идиоты. Он-то знает, как справиться с этим «Нероном» и теми, кто за ним скрывается. Насилия ни при каких обстоятельствах в ход пускать нельзя. Поскольку население Эдессы убеждено в том, что Нерон жив, следовало бы попробовать потихоньку, осторожно подкопать корни этого убеждения и вырвать их, иначе они будут прорасти снова и снова. Но после того, как в Антиохии не раз игнорировали его осторожные советы, у него нет охоты наставлять Дергунчика на путь истинный. Он, напротив, ограничится рапортом и не без злорадства будет наблюдать, как умный, хитрый Варрон обводит вокруг пальца неуклюжего Цейония с его деревянными военными методами.

На этом Фронтон обрывает свои размышления. Он зовет секретаря, начинает диктовать донесение в Антиохию.

В эту минуту ему приносят срочное письмо от верховного жреца Шарбиля. Шарбиль настоятельно просит о немедленном свидании.

Фронтон, взволнованный, отправляется в дом жреца. Старец в цветистых словах заговаривает с ним о неприятном положении, в которое ставит город Эдессу странное событие в Одеоне. Город теперь подобен мулу, который в тумане и облаках ищет пути на горной тропе: один

неверный шаг — и мул погиб. Если предположить, что этот человек действительно император Нерон, — как осмелится город отказать в подобающем почтении столь высокому гостю? Но если этот человек — дурак или мошенник, не следует ли царю Маллуку немедленно заключить его под стражу, как обычного преступника?

Фронтон слушал вежливо и терпеливо. Его умные глаза под широким лбом, обрамленным седеющими волосами, смотрят на позолоченные зубы Шарбиля. Фронтон привык к методам Востока, он уже многие годы с интересом тонкого ценителя наблюдает все ухищрения, увертки и уловки царя Маллука и верховного жреца; он уверен, что Варрон уговорился с ними и что овация в Одеоне была устроена не без их тайного содействия. Поэтому он выжидает, куда клонит старец. И в таких же запутанных выражениях, как Шарбиль, говорит, что ему, рядовому римскому офицеру, не подобает высказывать мнение и тем более давать совет в таком щекотливом положении.

— Мой друг слишком скромн, — сказал Шарбиль. — Что-нибудь предпринять надо. Медлить — хорошо, но если медлить слишком долго, вещи портятся, как перезрелые плоды. Царь Маллук боится, что если он ничего не предпримет, то вызовет таким бездействием неудовольствие своего могущественного союзника, губернатора Антиохии. Поэтому он намерен удостовериться, кто же этот человек, которого столь многие принимают за императора. Конечно, это будет сделано весьма осторожно. Он поставит перед его домом вооруженных людей; впоследствии, когда положение прояснится, этих вооруженных людей можно будет рассматривать в зависимости от обстоятельств — как почетную стражу или тюремный караул. Другими словами, царь Маллук намерен покамест взять этого человека под своего рода почетный арест. Но он не хочет делать этого без согласия Фронтона, дабы никто не мог впоследствии, в Антиохии или Риме, истолковать этот шаг как оскорбление величества, если этот человек действительно окажется императором Нероном.

Фронтон изумлен. Предложение Шарбиля звучит совершенно искренне, необычайно честно и корректно. Не ошибся ли Фронтон? Неужели за этим Теренцием не скрывается ни Варрон, ни царь Маллук? Неужели все это — попросту шутка дурака или безумца, одержимого манией величия? Но против такого предположения говорит то, что события назревали медленно, в них чувствовались планомерность, целеустремленность. Фронтон, как он ни был

хитер, не мог понять, что же на самом деле задумал верховный жрец. Как всегда, поведение Маллука избавляло его от всякой ответственности: Фронтон похвалил мудрость и верность союзникам, проявленные царем Эдессы. Потом, задумчиво покачивая головой, он отправился домой диктовать донесение.

Но не успел он продиктовать еще нескольких строк, как пришло новое спешное письмо от верховного жреца. В его словах чувствовались большое смущение и озабоченность; Шарбиль сообщал, что люди, которым было приказано удостовериться, что за человек Теренций, уже не нашли его, он укрылся в храме богини Тараты, намереваясь воспользоваться правом убежища, даруемым святилищем богини.

Фронтон свистнул сквозь зубы. Храм Тараты был всеми признанным убежищем. Эдесские власти не могли вторгнуться в убежище, это было невозможно и для римлян — иначе они восстановили бы против себя весь Восток. Теперь ему стало ясно, почему Шарбиль так срочно вызвал его к себе. Верховный жрец хотел помешать Фронтому арестовать этого человека, он своевременно укрыл его в убежище богини, оберегая от римлян. Но все это жрец сделал так, чтобы из Рима не могли предъявить ему никаких претензий. Разговор с Фронтоном создавал ему алиби. Царь Маллук выказал намерение задержать этого человека, хотя это и не было его обязанностью, и представить его в распоряжение римского губернатора. Но раз Теренций, или кто бы он ни был, бежал, раз он скрылся под защиту богини Тараты, то и Шарбиль, и его господин, царь Маллук, в этом неповинны.

Фронтон улыбнулся, еще раз подивившись восточной хитрости. Теперь в Месопотамии начнется изрядная кутерьма. Дергунчику придется здорово подергаться, подумал он на хорошем латинском языке.

То же самое на хорошем арамейском языке незадолго до этого подумал верховный жрец Шарбиль.

И вот Теренций очутился в храме Тараты, в самом сердце его, в cellule, где помещались древнее изображение богини, ее алтарь и ее непристойные символы. Со дня овации в театре он испытывал страх, ему не раз приходило

в голову скрыться в Лабиринте до тех пор, пока не появится Варрон и все не станет ясно. Но когда к нему явился некто в одежде торговца, намеренно плохо маскировавшей жреца Тараты, и предложил ему немедленно отправиться в убежище богини, Теренций последовал за ним без колебаний, слепо, со вздохом облегчения, чувствуя, что он теперь в хороших, могущественных руках.

Он ожидал, что верховный жрец встретит его как гостя богини, заверит в том, что она принимает его под защиту, окажет ему достойный прием. Но ничего подобного не случилось. Его оставили одного в тесной, неуютной камерке, в полной неизвестности. Шарбиль точно так же, как и Варрон, считал полезным затянуть дело, чтобы сделать Теренция возможно более покладистым.

Пришла ночь, для Теренция — ночь отнюдь не из приятных.

Храм Тараты был велик. Провести ночь в переднем дворе было не так тяжело. Там была какая-то своя жизнь — маленький пруд с рыбами богини и множество белых голубей, посвященных ей. В самом храме тоже было бы еще терпимо, хотя легко представить себе более уютное помещение, чем этот колоссальный зал с его древними, исчерна-зелеными, суживающимися кверху колоннами. Но Теренций не знал, простирается ли право убежища на весь храм или же только на целлу с ее алтарем и кумиром богини. А здесь, в целле, куда сквозь узкое отверстие проникал лишь скудный свет луны и звезд, было тесно и жутко, и Теренцию все мерещились какие-то страшные лица. Он улегся на верхней ступени жертвенника, в страхе стараясь все время прикасаться одной рукой к самому алтарю; ему неясно помнилось, будто тот, кто ищет убежища у богини, должен держаться рукой за ее алтарь или за ее изображение. По обе стороны алтаря тянулись в неверном свете месяца символы богини, колоссальные каменные изображения фаллоса. У изголовья Теренция, в нише над алтарем, поднималась древняя диковинная статуя Тараты цвета темной бронзы. На богине был венец с зубцами и башнями, как на стене, остро торчали ее голые груди, нижняя часть тела переходила в рыбий хвост. В одной руке она держала веретено, в другой — бубен. Ее узкое, древнее и все же молодое лицо с закрытыми глазами улыбалось гостю нежно, двусмысленно и зловеще.

Среди ночи Теренций стал зябнуть. Чувство безопасности, которое он ощутил при появлении посланца Тараты, покинуло его. Долго ли еще будут испытывать его этим

недостойным ожиданием? Почему первосвященник не является наконец приветствовать его? Куда девался Варрон? Почему его оставляют в полной неизвестности и одиночестве, если хотят, чтобы он был императором? И в безопасности ли он здесь вообще? А что, если его завлекли в ловушку? Страх его рос, им овладевал гнев на тех, кто соблазнил его этой авантюрой, заманил сюда, и ему очень хотелось, чтобы по крайней мере Гайя или раб Кнопс были с ним.

Он пытался найти опору в своей вере в себя. Вновь принял обличье Нерона, стал императором — в одиночестве вознесся над всеми и всем. Так подобает цезарю. Он недосыгаем, он — повелитель мира. Снаружи доносилось воркованье священных белых голубей, которых что-то потревожило, в проем проникал мерцающий лунный свет, и богиня улыбалась ему с высоты таинственной и злой улыбкой. Позор для всего Запада, что ему, императору, пришлось искать защиты у этой двусмысленной богини, под сенью ее непристойных символов. Но он тотчас же раскаялся в своих мыслях, которые Тарата могла истолковать как святотатство, — ведь он теперь в ее руках.

Как он ненавидел этого актера Иоанна с Патмоса! Именно тот довел его до такого положения своим нелепым чтением «Октавии», не говоря уже о том, что сам Теренций, если бы только захотел, был бы куда более великим артистом, чем этот грязный христианин. А в «Эдипе» у Иоанна все, с начала и до конца, фальшиво и бескрыло! Сам Иоанн, если он действительно что-нибудь понимает в искусстве, понял бы, что под оболочкой Теренция скрывается нечто большее. Толпа, с ее здоровым инстинктом, тотчас же это заметила. Только снобы, несколько наемников Тита и подкупленные им креатуры не хотят этого понимать. И из-за них он должен здесь скрываться.

Но теперь уже недолго терпеть, скоро он сможет раздавить их всех, всех своих противников. Он перебирал в уме имена сторонников Тита в Эдессе и их вожakov. Конечно, сюда же он отнес тех, кого он лично, по тем или иным мотивам, не любил, с кем у него бывали столкновения, — конкурентов, товарищей по цеху, подозреваемых в том, что они недостаточно почитают его. В конце концов получилась довольно внушительная шеренга. Он спрашивал себя, отнести ли сюда и Гайю с ее дерзкими сомнениями. Но не додумал эту мысль до конца и ни на что не решился, а вместо этого начал со всеми подробностями рисовать

себе, как со вкусом, не спеша, будет мстить тем, кого считает своими явными врагами.

Его все сильнее знобило. Он поднялся, начал ходить взад и вперед, не сходя с верхней ступени, вдоль алтаря, — так, чтобы можно было тотчас же коснуться его, если бы сюда ворвались солдаты Фронтонa. Слабый, сладковатый и противный запах поднимался из желоба под алтарем, по которому стекала кровь жертвенных животных. Эту ночь он запомнит надолго. Ночь, когда он пришел с Палатина, после того как туда вторглись солдаты сената, и нынешняя ночь — два ужасных перевала в его жизни.

Но придет же ей конец, этой ночи. Наступит день — «Будет некогда день...». Теперь уже нет сомнений, что сон, приснившийся его матери, истолкован правильно. Он уже проделал большую часть подъема, самым крутым и трудным было начало пути; а как только наступит день, как только он избавится от этого проклятого мерцающего света, все поймут, кто он. Он стоял, недовольно выпятив нижнюю губу, в позе императора. Достал смарагд, поднес его к глазу и принялся критически, дерзко рассматривать изображение Тараты. Оно ему не по душе, весь ее храм ему не по душе. Он будет строить иначе, когда придет время. Он возведет грандиозные, монументальные здания. Вместо его колоссальной статуи, которой они в Риме отбили голову, он воздвигнет новую, еще более колоссальную. Свое изображение, громадных размеров, он высечет в горе, как это делали старые властелины. А Лабиринт, свой Лабиринт, он сделает гробницей, своим мавзолеем, восьмым чудом света.

Но богиня смотрела на него сверху вниз с кроткой и злой улыбкой, и ему стало страшно своего собственного величия. А тут он еще почувствовал потребность опорожнить мочевой пузырь. Сделать это здесь же, в cellule, он не смел. Как знать, быть может, это будет сочтено за оскорбление богини и он лишится права убежища, осквернив храм? Но потребность мучила его все сильнее. Наконец он протиснулся за алтарь. Здесь он справил свою надобность, но вместе с чувством освобождения его охватил невыразимый страх.

К утру, совершенно измученный, он плотнее закутался в свой плащ и вытянулся — с твердым решением заснуть — на верхней ступени, тесно прижавшись к алтарю. Он еще раз потянул носом — не остался ли запах мочи, — стал читать про себя, чтобы заснуть, текст «Эдипа» и наконец действительно заснул.

Когда он проснулся, все тело у него затекло, но озноба он уже не испытывал. В святилище он увидел лю-

дей — и испугался. Но оказалось, что это не римляне, а молодые жрецы Тараты, приносившие ей утреннюю жертву, козленка. Забившись в угол, он боязливо следил за ними — не обнаружат ли они следы содеянного им. Но они правили обряд, не обращая на него внимания. Закончив жертвоприношение, они облили алтарь струями воды, чтобы очистить его, и теперь всякая опасность для Теренция миновала.

Время шло. В целле появлялись и другие жрецы. Они с любопытством смотрели на человека, который искал убежища у алтаря богини. Никто не сказал ему ни слова. Теренций снова принял то равнодушное выражение, которое он усвоил в последнее время.

Он с облегчением вздохнул, когда наконец пришел верховный жрец Шарбиль. Ведь наверняка тот принес ему какое-нибудь решение — плохое или хорошее.

Шарбиль решил, что молодчик уже достаточно обмяк. Он явился в полном параде приветствовать гостя своей богини; золотая жреческая митра с острым концом венчала его дряхлую птичью голову. Согнув руки в локте и протянув их ладонями вверх, он почтительно приветствовал того, кто прибег к защите Тараты. Так же почтительно Теренций ответил на приветствие.

Затем верховный жрец заверил пришельца, что тот находится здесь под охраной божества. Теренций не подал виду, каким облегчением для него были эти слова, он поблагодарил вежливо, равнодушно. Шарбиль после целого потока цветистых слов спросил:

— Смею ли просить тебя, гость богини Тараты, назвать свое имя ее жрецу?

К удовольствию Теренция, он говорил по-арамейски. Чужой язык послужил для него предлогом ответить медленно, уклончиво.

— Богине мое имя известно, — сказал он.

— Не ты ли цезарь Нерон, о господин? — спросил напрямик первосвященник.

Это было невежливо и, пожалуй, недипломатично. Но первосвященник Шарбиль был очень стар, у него было мало времени впереди, кроме того, он был любопытен. Однако Теренций остерегся дать неразумный ответ.

— Я тот, — сказал он, — кем меня сделали боги.

В глубине души он был крайне доволен тем, что не ему пришлось выдавать себя за Нерона, а другие сделали его Нероном. Шарбиль же подумал: «Это умный человек. Он заслуживает быть Нероном».

Когда губернатору Цейонию доложили, что в Месопотамии многие считают некоего горшечника Теренция умершим императором Нероном, он, удивленный таким вздором, покачал головой и рассмеялся. Как можно попасться на такой неуклюжий обман? На этом примере можно убедиться, — в который раз! — какие варвары живут по ту сторону Евфрата.

Когда затем полковник Фронтон сообщил, что горшечник Теренций бежал в храм Тараты, откуда римляне не могут его получить без нарушения договоров и без серьезного для себя риска, его все еще скорее забавляла, чем беспокоила эта история. Ему казалось странным, что его советники отнеслись серьезно к этому комическому инциденту. Вежливо, слегка иронически и весьма высокомерно написал он царю Маллуку, требуя, чтобы правительство оказало всяческое содействие его наместнику Фронтому — в соответствии с договорами — при аресте римского подданного Теренция Максима. Он слышал, что вышеназванный Теренций прибегнул к покровительству богини Тараты. Если бы на его территории человек, преследуемый властями Эдессы, искал убежища в римском храме, то Цейоний постарался бы взять молодца измором или выкурить его; он не сомневается в успехе. Он был бы обязан эдесским правителям, если бы они возможно скорее урегулировали это дело.

Большинство советников царя Маллука были арабы, они почитали арабские звездные божества Ауму, Азиса и Дузариса, а не сирийскую богиню Тарату. Тем не менее, читая письмо губернатора, они насупились, обиженные непочтительным тоном, в котором римлянин говорил о любимой богине сирийцев.

Маллук и Шарбиль сидели в тихом, увешанном коврами рабочем покое. Слова их перемежались длинными паузами. Слышен был плеск фонтана.

— Этот господин на Западе, — сказал своим глубоким, спокойным голосом царь, — по-видимому, не очень-то боится твоей богини Тараты, жрец Шарбиль?

— На Западе, — возразил Шарбиль, — возникло и поггло множество царств, а богиня Тарата три тысячи лет

простирает руку над своим прудом, и ее рыбы плавают так же, как и три тысячи лет тому назад.

— Ты, значит, не собираешься брать измором того человека в храме? — спросил царь, и в его равнодушном голосе слышалась легкая насмешка над римлянином.

— Да минует меня даже мысль о том, — с благородным негодованием ответил жрец, — чтобы нанести такое оскорбление богине. Она достаточно богата, чтобы прокормить бежавшего к ее алтарю.

На Востоке люди не торопятся. Прошло две недели, прежде чем царь Маллук ответил на письмо римского губернатора. В своем послании он в длинных поэтических фразах распространялся о величии Римской империи и о величии богини Тараты. О, царь Маллук пламенно желает услужить своим римским друзьям, но тверда, как горные скалы, его верность клятве, а ведь милостью неба он, приняв царский венец, поклялся чтить всех богов страны. Поэтому ему осталось лишь передать письмо губернатора верховному жрецу Тараты, ответ которого он прилагает. Шарбиль, со своей стороны, разъяснил: глубоко, как море, благоговение эдесской страны перед богиней Таратой. Как ни стремится он, Шарбиль, служить своим могущественным друзьям на Западе, для него совершенно невозможно посягнуть на гостя богини, нашедшего убежище в ее храме. Такое осквернение святыни она покарала бы страшной карой — огнем и водой, молнией, мечом и мором, она покарала бы не только Эдессу, но и всю Сирию. Этого не приходится разъяснять столь мудрому человеку, как римский наместник.

Прочитав цветистые письма царя и верховного жреца варваров, Цейоний с неудовольствием швырнул их на стол. Если этим восточным людям понадобилось две недели, чтобы сочинить свои послания, то ему для ответа не понадобится и часа. Он в повелительном тоне предложил Шарбилю, господину над храмом Тараты, немедленно прибыть в Антиохию, чтобы ликвидировать конфликт.

— Эти римляне, — сказал жрец Шарбиль, беседуя с царем Маллуком в покое с фонтаном, — плохо знают природу живого существа. Зачем лисе отправляться в пещеру льва и к тому же еще немедленно?

Через две недели он написал в Антиохию, что, как ни лестно для недостойного Шарбиля приглашение западного господина, он, к сожалению, не может его принять. Сейчас как раз та пора, когда священные рыбы в пруде богини Тараты мечут икру. Для верховного жреца нет никакой

возможности покинуть священный участок богини в столь важный момент, не разгневав ее и не накликая несчастья на всю страну.

До сих пор Цейоний смеялся над дешевым провинциальным фарсом, который разыгрывал там этот мелкий римский мошенник, этот вольноотпущенный горшечник. Теперь его привело в ярость это насмешливое и упорное сопротивление эдесских князьков.

«Действовать решительно,— мысленно сказал он, скрежеща зубами, когда получил отказ Шарбиля.— Послать солдат в Эдессу, шесть тысяч, восемь тысяч. Тогда посмотрим, что будет с этой богиней Таратой, с ее рыбами и прочей дрянью».

Тем не менее Цейоний многому уже научился за время пребывания на Востоке и поэтому быстро справился с припадком гнева. Придется оккупировать Месопотамию и вести войну с Артабаном: поимка этого ничтожного Теренция не стоит такого риска. Против змеиной изворотливости и цветистого лукавства восточных негодяев можно действовать только окольными дипломатическими путями. Он начал понимать, что выступление Теренция, пожалуй, нечто большее, чем трюк мошенника: за ним, возможно, стоят более могущественные силы, какие-нибудь парфянские сановники. Пожалуй, Варрон не был неправ, советуя признать Артабана. Жалко, что Цейоний был с ним слишком резок. Как ни трудно выносить повадки этого человека, он теперь охотно посоветовался бы с ним. Он обрадовался, когда сенатор наконец снова появился в губернаторском дворце: Варрон давно уже не давал о себе знать, по-видимому обиженный тем, что, вопреки его совету, признан был Пакор.

— Хорошенькие дела творятся в вашей Эдессе,— весело сказал губернатор легким, светским тоном.— Вы осведомлены, мой Варрон?

— Да,— ответил Варрон,— мой управляющий Леней прислал мне обстоятельный доклад.

— Вот он, ваш Восток,— с деланным добродушием проворчал Цейоний.

— Я же сразу сказал вам,— примирительно, но уже вполне серьезным тоном заметил Варрон,— что следовало стать на сторону Артабана.

— Вы и в самом деле думаете,— спросил губернатор, но уже не в прежнем легком тоне, и сидел он неестественно прямо,— что между претендентом Артабаном и этим мошенником существует какая-нибудь связь?

— Само собой разумеется.— Варрон пожал плечами.— Правители Эдессы не могут мирно ужиться с вами после тяжелого удара, который вы нанесли им, признав Пакора. Без попустительства эдесских властей история с Лже-Нероном не могла бы пойти так далеко.

— Какой интерес эдесским властям,— опять спросил Цейоний,— помогать этому мелкому мошеннику?

— Эдесские власти,— спокойно объяснил ему Варрон,— заинтересованы в претенденте Теренции в такой же мере, в какой вы заинтересованы в претенденте Пакоре. Хотят поставить вас в затруднительное положение. По-видимому, это им удалось.

Цейоний намеревался спокойно выслушать Варрона, попросить у него совета, как римлянин у римлянина, и на сей раз обдумать беспристрастно этот совет и, по возможности, последовать ему. Но он ничего не мог с собой поделать — все более острое раздражение поднималось в нем при виде собеседника, который сидел против него в такой удобной позе, с видом превосходства, скрестив ноги, высказывая вещи, которые, к сожалению, были настолько же верны, насколько неприятны. «Конечно, следовало стать на сторону Артабана,— думал Цейоний.— Ведь на этом проклятом Востоке надо всегда идти самыми извилистыми, самыми кривыми путями. Прямой, порядочный человек вроде меня не может здесь ничего добиться — вокруг тебя дремучий лес, и если ты расчистишь себе дорогу верным римским мечом, то вдруг опять оказываешься перед непроходимой чащей, а позади тебя уже вырос новый лес. Ясно, что тут Варрон, этот негодяй, этот стареющий бездельник, скорее добьется успеха. Кроме того, у него было достаточно времени, чтобы акклиматизироваться».

— Впрочем,— сказал Варрон,— царю Маллуку и первосвященнику Шарбилю в самом деле нелегко было бы предпринять что-нибудь против человека в храме Тараты, даже если бы на то была их добрая воля. Все население по ту сторону Евфрата убеждено, что человек этот — император Нерон.

— Так доносят и мне,— недовольно признался Цейоний.— Но я не могу себе этого представить. Да, эти восточные люди суеверны. Несмотря на кажущуюся хитрость и изворотливость, они неописуемо тупы, их можно убедить в самых нелепых вещах. Они питаются баснями и сказками. Ничего удивительного, что народ с такими свойствами, несмотря на свою многочисленность, легко дает себя обмануть разумному меньшинству, вроде нас, римлян. Но,—

с возмущением сказал он,— такую чепуху, как известие о том, что Нерон жив, они ведь проглотить не могут. Большинство людей в Эдессе умеют читать и писать. Неужели вы думаете, что их можно провести таким грубым трюком?

Варрон задумчиво покачал массивной головой.

— Этот Теренций,— кстати, он мой клиент,— сочинил очень правдоподобную историю. Тогда якобы вместо императора был убит мой Теренций, о котором известно было, что он весьма схож с Нероном, а человек, который впоследствии выдавал себя за Теренция, есть якобы подлинный Нерон. Все это звучит не так уж нелепо. Я хочу сказать, здесь, на Востоке, в пяти тысячах километров от Рима.

Но Цейоний не мог успокоиться.

— Свихнулись эти люди, что ли? Клянусь Геркулесом, я не понимаю, какой интерес был тогда горшечнику Теренцию назваться перед войсками сената императором и дать себя убить вместо него?

— Здесь, на Востоке,— дружески объяснил ему Варрон,— еще не усвоили того, что римская верность больше не существует. Ведь вы сами только что сказали, Цейоний, что здесь мы окружены варварами. Эти варвары совершенно серьезно верят, что римлянин, если придется, умрет за своего императора.

Цейоний подавил чувство недовольства, преодолел соблазн «дернуться» и резко поставил Варрона на место.

— Ваши афоризмы хороши, мой Варрон,— признал он и даже заставил себя улыбнуться.— Но скажите мне прямо, по-латыни: есть ли какие-нибудь шансы на успех у этого шарлатана? Могу ли я рассчитывать, что все это рухнет само собой, или мне следует вмешаться в это дело?

Варрон серьезно взглянул на губернатора, медленно провел кончиком языка по губам, от одного уголка рта к другому.

— Есть ли шансы у моего Теренция? — повторил он задумчиво.— Видите ли, дорогой Цейоний,— сказал он поучительно,— людям в Эдессе живется плохо, им приходится платить большие налоги, они могут лишь выиграть от переворота. Если явится человек, который пообещает упразднить налоги, по ту сторону Евфрата он везде встретит доверие. А если к тому же за ним стоят и ловкие люди, оказывающие ему содействие, он может продержаться долго.

— Значит, вы полагаете,— спросил Цейоний,— что за этим мошенником стоит Артабан?

Варрон выразительно пожал плечами.

— Не знаю,— ответил он и спокойно посмотрел губернатору прямо в лицо.

У Цейония в первый раз за все время мелькнуло подозрение, нет ли между тем наглецом Теренцием и этим Варроном какой-то связи, ему стали ясны некоторые темные и осторожные намеки его подчиненных. Но он тотчас же прогнал эту догадку. Ведь ему было известно, он сам видел, что Варрон все это время жил здесь, в Антиохии, с головой окунувшись в распутную жизнь Дафне. Он никак не мог отсюда руководить таким сложным предприятием. И, наконец, Варрон — римлянин. До чего же у него самого разыгралась фантазия на этом сумасшедшем Востоке! Нет, нельзя давать неприязни к Варрону увлечь себя слишком далеко.

— Дело не так просто, мой Цейоний,— тихо сказал Варрон.— Нельзя недооценивать силу слухов, силу легенды. Легенда по своей природе котируется выше, чем правда. А пропаганда способна пустить в обращение любую легенду. Так что же говорить о такой трогательной истории, как рассказ о верности и самопожертвовании горшечника Теренция, отдавшего жизнь за своего императора. Вспомните, мой Цейоний,— прибавил он серьезно,— как я с самого начала вас предостерегал. И я повторяю: вы не знаете Востока, вам многому еще придется здесь удивляться.

Цейоний больше не мог спокойно сидеть в своем кресле. Он встал, начал ходить по комнате. История с самозванцем все больше его тревожила. Варрон — римлянин. Когда дело идет о коренных интересах Рима, он не откажет в помощи.

— Вы, мой Варрон,— сказал он,— были близким другом Нерона, вы так же близко знаете горшечника Теренция, вашего клиента. Вы именно тот человек, который призван внести ясность в это неприятное дело. Если вы отправитесь в Эдессу, собственными глазами поглядите на этого молодца и затем во всеуслышание объясните, в чем там дело,— то, клянусь Геркулесом, этому фарсу будет положен конец.

Варрон в глубине души обрадовался. Вот, значит, до чего дошел Дергунчик, он уж даже обращается с просьбой. Вслух он сказал:

— Это не так просто. Здесь, на Востоке, чем дело яснее, тем хитрей и изворотливей надо действовать, чтобы люди убедились и поверили...

Цейоний сказал нетерпеливо:

— Ну и что же, действуйте хитростью, изворотливостью! Я даю вам все полномочия.

— Очень любезно с вашей стороны,— возразил Варрон.— Но вам все кажется проще, чем оно есть. Не примите это, мой Цейоний, за нежелание пойти вам навстречу. Если бы вы ко мне обратились еще тогда, когда это дело не вылупилось из яйца, я мог бы вам поручиться, что в два счета приведу все в порядок. Но вашим поведением вы все до чрезвычайности усложнили. Даже и независимо от этого именно мне неудобно вмешаться теперь, когда эдесские власти уже заняли определенную позицию. Вспомните, что вы сами недавно говорили мне о конфликтах совести, угрожающих человеку, который одновременно является римским гражданином, подданным парфянского царя и гражданином Эдессы.

«Не надо было его просить,— подумал Цейоний.— Он упивается тем, что я его прошу».

Но он не вскипел, он пересилил себя, продолжал просительным тоном:

— Не кичитесь своей правотой. Я согласен, что совет ваш был справедлив и что надо было последовать ему. Но не будьте злопамятны. Ведь мы оба — римляне, Варрон. Мы находимся здесь, чтобы защищать империю по эту сторону Евфрата.

— Послушайте, Цейоний,— сказал Варрон напрямик.— Я предлагаю вам сделку. Вы признаете, что неправильно потребовали с меня инспекционный налог, вы вернете мне шесть тысяч сестерциев. А я ликвидирую историю с этим мнимым Нероном, хотя вы ее порядочно запутали. Что вы на это скажете?

Он сидел в своем кресле в удобной позе, говорил дружелюбно, спокойно, но внутренне был напряжен до крайности. Варрон был страстный игрок, он вложил всю душу в игру, которую затеял. Но он не утратил чувства реальности и не скрывал от себя, что за этим тщедушным человечком стоит Рим, вся империя, с ее налаженной организацией, с ее веками накопленным искусством государственного управления, с ее армией, и что он, Варрон, который всему этому может противопоставить лишь своего никудышного Теренция, погибнет, если серьезно ввяжется в борьбу. Он достиг того, чего хотел,— он проучил Цейония. В глубине души он хотел, чтобы Цейоний дал ему возможность отступления. Если Цейоний вернет ему шесть тысяч сестерциев, он действительно ликвидирует все это дело и вернет Теренция в небытие, из которого извлек его.

Губернатор, шагавший по комнате, услышав предложение Варрона, резко остановился. Тихо и с горечью сказал он сквозь зубы:

— Вы вымогатель.

— Вы любите крепкие слова, Цейоний,— ответил все еще дружелюбно Варрон.— Неужели, по-вашему, я послал бы вам тогда, в Эдессе, эти шесть тысяч, если бы вы — скажем так — не оказали на меня давление? Теперь давление оказывают на вас, Цейоний.

Слова Варрона звучали так, как будто речь шла исключительно о личном конфликте между ним и Цейонием. И все же именно в ту минуту, когда Варрон произносил эти слова, у губернатора возникла смутная мысль, что здесь лицом к лицу стоят совершенно другие силы и дело не в нем и не в его школьном товарище. Ему представилось, что политика умершего Нерона была продолжением старого как мир процесса, который не может оборваться по слову губернатора, или даже императора, или армии. Он начал понимать, что здесь действительно многое переплетается незаметно, неуловимо, что признание Пакора, востребование шести тысяч сестерциев, появление Лже-Нерона, а может быть, и еще многое другое, о чем ему не было известно,— что все эти на первый взгляд не зависящие друг от друга вещи глубоко и неразрывно спаялись, что он и Варрон, когда они оба стоят лицом к лицу, на первый взгляд вольные принять то или иное решение, сами бьются в этой сети, движимые неведомыми им силами.

Он казался сейчас странно беспомощным — чиновник, который неожиданно поставлен перед неразрешимо трудной задачей и не находит в прошлом подходящего прецедента. Как ему поступить — ему, привыкшему держаться испытанных образцов и точных инструкций?

— Но я не могу отменять приказы,— сказал он, пожимая плечами,— которые я же издал как официальное лицо. От этого пострадает престиж империи.

И как только он нашел это словечко — «престиж империи», он почувствовал себя уверенней. Это уже было нечто, за что можно ухватиться.

— Престиж империи,— задумчиво повторил Варрон,— не кажется ли вам, что престиж империи больше пострадает от истории с Лже-Нероном, чем от возврата шести тысяч? Здесь, на Востоке, трудно предвидеть, чей престиж в конечном счете поднимет та или другая мера.

К сожалению, Варрон был прав. Поэтому Цейоний не стал отвечать на его возражения и лишь констатировал:

— Значит, вы не хотите мне помочь?

— Хочу, — ответил Варрон, — если вы поможете мне.

Он это сказал без злобы. Он не радовался тому, что заставил Дергунчика так явно обнаружить свое бессилие. Напротив, опасные стороны его затеи вырисовывались перед ним все отчетливей, все грознее, и могущественная Римская империя, как исполин, вставала за маленьким Цейонием. Он сделал последнюю попытку и принялся спокойно уговаривать сумрачного Цейония:

— Подумайте еще раз, мой Цейоний. Не говорите сразу «нет». Прошу вас, подумайте.

На какую-то долю секунды Цейоний заколебался: не будет ли в самом деле умнее согласиться на предложение Варрона? Он предвидел, что без помощи этого человека Лже-Нерон наделает ему много хлопот и осложнений. Но перед глазами его встал прикрытый ларец с восковым изображением опозорившего свой род прадеда. Всякий другой имел бы право пойти на уступку, он, Цейоний, — нет. Это ожесточило его, но озлобился он не на себя, а на Варрона. Чувство угрюмого смирения сменилось безмерной яростью против человека, который расселся тут в непридуманной дерзкой позе и словно находит удовольствие в этой отвратительной восточной неразберихе. Цейоний выпрямился, стал римлянином, наместником императора.

— Я, конечно, не могу вас заставить, — ответил он самым сухим, ржавым, чиновничьим тоном, на какой был способен. И тут же резким, срывающимся голосом закричал: — Я представляю тут особу цезаря! Я не заключаю сделок с его подданными!

Варрон не радовался гневу губернатора, как только что не радовался его беспомощности. Как бы подводя итог разговору, он сказал — и в его голосе прозвучало скорее самоотречение, чем ирония:

— К сожалению, вы были правы, Цейоний, в тот раз, когда мы впервые здесь встретились. Мы и в самом деле не можем сотрудничать. — И ушел.

Вечером того же дня Цейоний понял, какую тяжкую ошибку он совершил. Он припоминал слова Варрона, его лицо, его позу, его интонации, и вдруг ему стало до боли ясно, что за самозванцем Нероном стоит не кто иной, как этот его старинный недруг. Он, Цейоний, опять поступил неправильно: следовало либо пойти на условия Варрона, либо применить по отношению к нему силу.

Он тотчас же отдал приказ взять Варрона под стражу. Но тот был уже на пути в Эдессу.

ОТ ИГРЫ ВАРРОНА РАСХОДЯТСЯ КРУГИ

Свою дочь Марцию Варрон повез с собой. Белолицая, строгая Марция любила отца, но в Эдессу она ехала неохотно. В Антиохии еще слегка чувствовался Рим. Эдесса же была Востоком, и только. Однако отец приказал — и она повиновалась.

За Варроном следовал большой обоз. За последнее время сенатор, насколько это было возможно, распродал свои владения на территории римской Сирии и все, что мог, переправил за границу. Теперь он увозил с собой остатки своей движимости. Сам он, Марция и немногочисленная свита с большой поспешностью ехали верхами впереди. Вскоре они прибыли в Апамею, последний город на рубеже римских владений. Переехали через Евфрат по мосту, взобрались на низкий холм, по гребню которого проходила граница, и остановились на этом холме, уже за пределами римской территории.

Здесь, наверху, на границе, Варрон дождался своего обоза. Он остановил коня, когда обоз переезжал через мост. У ног его извивалась желтая река; медленно проходил огромный поезд — люди, животные, повозки с кладью.

Итак, этот маленький холм, задумчиво сказал себе Варрон, есть одна из вершин его жизни. Он многое оставил на римской территории — виллы, поместья, людей, коней, вещи, деньги. Ценностей на добрых пятнадцать миллионов сестерциев, в две с половиной тысячи раз больше, чем сумма пресловутого налога. И не только это оставалось на другом берегу. Он оставил там весь западный мир, все римское, что было в нем, оставил римскую цивилизацию и греческое образование. Но Варрон ни о чем не жалел. Его обращение к Цейонию, его вторичное, настойчивое предложение — это была последняя уступка разуму. То, что Цейоний не уступил, было указанием судьбы. Теперь Варрон перешел мост, теперь он с головой бросается в игру.

На этом маленьком холме, возле Апамеи, он задержался, глядя, как его люди и вещи покидают римские владения. Мимо него проносили ларец с документами. Он остановил носильщика, достал расписку. На оборотной стороне, в графе «убыток», вписал: «Пятнадцать миллионов сестерциев и целая цивилизация».

Короткий путь до Эдессы он проехал в отличном расположении духа, обуреваемый жаждой действий. Куда бы он

ни приезжал, повсюду сбегались люди, бурно его приветствуя. То обстоятельство, что в храме Тараты скрывался человек, которого большинство считало императором Нероном, повергло всю область в нетерпеливое и смутное ожидание грядущих великих событий. Когда Варрон вступил в Эдессу, его встретили как долгожданного владыку. На улицах густыми толпами стояли люди, и все они — сирийцы, персы, арабы, евреи, греки — с ликованием его приветствовали, как будто сам император Нерон прибыл в любимый город Эдессу.

Варрон, хорошо знал восточное непостоянство и не переоценивал значения этого приема. Он знал, что впереди еще длинный, трудный путь. Прежде всего надо было привлечь на свою сторону царя Маллука и Шарбиля. Он знал их обоих; они хитры и упрямы и, несомненно, возьмут немалую цену за помощь. Он был убежден, что царь и верховный жрец так же нетерпеливо ждут этой встречи, как и он. Тем не менее царь Маллук только спустя три дня пригласил его во дворец.

Началась одна из тех медлительных, бесконечных бесед, которые любил царь и которые так действовали на нервы людям Запада. Однотонно журчал фонтан, и уже дважды слуга откидывал висевший у входа ковер и выкликал время, а собеседники все еще не подошли к тому, что занимало их мысли.

Наконец Варрон начал:

— Когда в последний раз я удостоился чести предстать пред лицом повелителя Эдессы, мы говорили о некоем человеке и его великих притязаниях. Тогда ты, верховный жрец Шарбиль, сказал: «Если Рим выскажется за Пакора против нашего Артабана, то для Эдессы будет большой радостью, если император Нерон окажется жив». И вот Рим высказался за Пакора.— Оба собеседника молчали; тогда он прибавил: — В Антиохии сложилось впечатление, что и вы тем временем зашли очень далеко.— Он хотел намекнуть обоим, что они уже связаны.

Но царь Маллук тихо повернул к человеку Запада свое смуглое лицо с выпуклыми глазами.

— Значит,— возразил он,— в Антиохии не глубоко проникли в смысл наших слов. Путешествие из Эдессы в Антиохию занимает целый день даже у хорошего гонца, едущего по хорошей дороге. Может случиться, что за то время, пока весть дойдет из Эдессы в Антиохию, положение изменится.

Шарбиль дал более точное истолкование словам царя:

— Мы и не думали сделать решительный шаг. Кто знает богов Востока, тот должен понять, что верховный жрец богини Тараты не может покинуть ее пруд в то время, когда священные рыбы мечут икру.— И, полный праведного гнева, он объяснил: — Богине безразлично, кто ищет убежища в ее храме. Она простирает над ним свою руку, будь это горшечник Теренций или император Нерон. Мы не спрашивали, кто этот человек, мы этого не знаем. Именно ты, Варрон,— ведь ты был близким другом императора Нерона,— можешь нам это сказать.

— Вы в самом деле желаете знать,— продолжал спрашивать Варрон,— кто этот человек?

— Мы хотим,— отозвался Шарбиль,— знать, что ты, о Варрон, думаешь об этом человеке.

Варрон сказал:

— Если вам угодно, я знаю один признак. Между мной и цезарем Нероном есть тайны, которых никто не может знать, кроме императора и меня. Если они известны этому человеку, значит, он император. Хотите испытать его?

Верховный жрец взглянул на царя и предоставил ему отвечать.

— Многое может доказать слово,— сказал царь,— но оно не может убедить окончательно. Окончательно убедить может только дело.

Варрон, разумеется, тотчас понял, куда клонили эти люди. Не предполагаемого Нерона, а его самого они хотели связать навсегда чем-то большим, чем слово. Но он с деланной наивностью притворился, будто не понимает царя, и изобразил на лице своем вопрос. Нетерпеливый Шарбиль тотчас же пояснил:

— Нужно, чтобы ты, Варрон, доказал свою веру в этого человека не только на словах.

Варрон был готов к тому, что от него потребуют многого; и все-таки теперь, когда ему предстояло выслушать их требования, он устранился и попробовал отдалить неприятную минуту.

Варрон знает, возразил он обидчиво, что восточный человек требует от западного множество доказательств, прежде чем ему поверить. Но Варрон как будто доказал, что он по заслугам носит почетный титул «двоюродного брата эдесского царя».

Ни Маллук, ни Шарбиль не ответили. Наступило бесконечное молчание. Варрон раскаивался в том, что сам обрек себя на ожидание, ибо эти восточные люди умели

ждать лучше, дольше, спокойнее, и молчание удручало его больше, чем их.

— Если я признаю этого человека императором Нероном,— едва владея собой, сказал он наконец,— то Тит и его губернатор конфискует все мои имения на римской территории. Разве это недостаточное доказательство?

Шарбиль ответил с легкой усмешкой:

— Пожалуй, имения твои конфискуют. Но тебя и так не любят в Антиохии и, может быть, даже без этого нового Нерона там нашли бы предлог сократить твои богатства. Чтобы убедить нас, тебе нужно найти более веские доказательства своей веры.

Но вот наконец заговорил царь. Своим глубоким, спокойным голосом он сказал:

— Да, тебе придется подтвердить свою веру более вескими доказательствами.

Варрон побледнел; он все время чувствовал, куда они клонят, потому-то он и медлил и находил все новые отговорки.

— Какие же еще более веские доказательства? — спросил он растерянно.

Слуга откинул ковер, выкликнул час. Царь велел принести сладости, начал вежливо расспрашивать Варрона о его жизни в Антиохии, о путешествии. Мучительно одностонно журчала вода.

Наконец Шарбиль сказал:

— Ты мог бы, например, доказать свою веру, отдав свою дочь Марцию в жены Нерону.

Когда эти слова излетели из ограды золоченых зубов жреца, сердце Варрона затрепетало. То, что измыслили эти двое, было венцом восточной хитрости и показывало, как хорошо они его знали. Они ударили по самому чувствительному месту. Он всей душой был привязан к своей красивой, белолицей, строгой дочери Марции. Все, что было в нем римского, воплотилось в этом его ребенке. Даже в те мгновения, когда Марция его презирала, она любила его и восхищалась им. Замкнувшись в своем римском высокомерии, Марция избегала общения с людьми Востока. Стало быть, это и есть то, чего требовали эти двое, это и есть «доказательство»! Ибо если этот Нерон — мошенник, то царь и жрец вынужденным браком его дочери не только связали бы Варрона вернее, чем всяким другим залогом, особенно имущественным, но к тому же унизили бы его гордую Марцию, римлянку, принудив ее лечь в постель с мошенником и рабом.

Подчинится ли Марция, если он сделает ей подобное предложение? А если подчинится, не вырвет ли она из своего сердца всю любовь, которую питает к отцу?

Он понял, что его шутка обходится дорого.

Он еще раз обдумал возможность отказаться от всей затеи. Что, если он вернется в Антиохию и скажет Цейонию: «Я видел этого парня. Это в самом деле дурак и обманщик, как мы и полагали с самого начала, и если хотите, мой Цейоний, я публично об этом заявлю». Цейоний примет его с распростертыми объятиями, на Палатине будут ему благодарны. Дергунчик поймет, кто такой Варрон, и постережется вторично требовать инспекционный налог или что-нибудь в этом роде.

Но разве дело в Дергунчике или в нем самом? Речь идет об идее Нерона, о его деле, продолжающем дело Великого Александра, речь идет о Востоке, о слиянии его с Грецией и Римом. Может ли он бросить то, что едва лишь начал?

Он поклонился царю Маллуку и жрецу и сказал:

— Если император Нерон удостоит своим выбором дочь Варрона, никто не будет радоваться более, чем Варрон.

19

РОМАНТИКА И ПРАВО НА ПЕНСИЮ

Следующий, кого сенатор хотел прощупать относительно своего Нерона, был комендант римского гарнизона полковник Фронтон. Варрон мог рассчитывать на успех своего начинания лишь в том случае, если бы ему удалось заручиться нейтралитетом Фронтона, в тайном благожелательстве которого он, впрочем, не сомневался. Он ценил Фронтона. Он считал его самым способным офицером и самым лучшим политиком в Месопотамии и чувствовал, что их связывают воспитание и образ мыслей. Поэтому он тщательно подготовил случайную встречу с ним.

Дважды в неделю представители высшего общества Эдессы встречались на вилле фабриканта ковров Ниттайи, чтобы развлечься модной игрой в мяч. Варрон знал, что и полковник Фронтон часто там бывает. Он обрадовался, когда увидел его уже при втором посещении Ниттайи. Варрон был неплохой игрок, Фронтон — очень хороший. В зале, где гости переодевались для игры — играли в коротких туниках, — он спросил полковника, не угодно ли ему сыграть с ним один на один. Фронтон согласился с видимым удовольствием.

— Легким мячом или тяжелым? — спросил он.

— Самым тяжелым, — предложил Варрон.

— Как вам угодно, — с улыбкой ответил Фронтон.

Они решили сыграть обычные одиннадцать конов. После каждого кона они устраивали довольно продолжительный перерыв, во время которого каппадокийские рабы обтирали их; затем игроки бросали жребий — кому подавать.

— Человек из храма Тараты, — начал во время первого перерыва Варрон с непринужденной искренностью, — заставит нас обоих поломать голову.

Они сидели на каменной скамье, под лучами солнца, каппадокийские рабы, без сомнения, не понимавшие полатыни, осушали их пот и умачали тело. У ног их лежал тяжелый мяч.

— Меня не заставит, — возразил хорошо настроенный Фронтон, толкая мяч ногой то в одну, то в другую сторону, между собой и Варроном, — мне ломать голову не придется. Я получаю указания из Антиохии, и мне незачем задумываться. Таково преимущество солдата.

Варрон так же весело ответил:

— Преимущество, за которое иногда приходится дорого платить. Предположим, что наш досточтимый царь Маллук станет на сторону бежавшего в храм человека и извлечет его из убежища. Тогда вам придется сделать попытку захватить его. Трудно поверить, чтобы наш Маллук спокойно на это смотрел.

— Вы полагаете? — спросил Фронтон; он сидел, полузакрыв глаза, все еще механически толкая мяч то в одну, то в другую сторону. — А не кажется ли вам, что достаточно будет одного энергичного слова Рима, чтобы образумить Маллука?

— Я полагаю, — сказал Варрон, — что если наш Маллук, человек спокойного нрава, действительно решится признать этого типа из храма, то он предварительно удостоверится, какие силы за ним стоят. Быть может, за ним скрываются некие силы.

— Парфянские? — спросил Фронтон.

Варрон пожал плечами.

— Те или иные, — сдержанно ответил он.

Они сыграли второй кон. В следующем перерыве Фронтон сказал:

— Не могу себе представить, чтобы человек в здравом уме и твердой памяти мог стать на сторону этого горшечника, хотя бы его и поддерживали некие силы. Может ли в самом деле кто-нибудь, если он не свихнулся, предпо-

жить, что имеются хотя бы малейшие шансы помочь горшечнику Теренцию устоять против Рима на долгий срок? Разве такая попытка, на какие бы силы она ни опиралась, не будет простым сумасбродством?

Он посмотрел на Варрона искоса, с дружеской озабоченностью, умным и понимающим взглядом. Они сидели рядом на солнце, с мячами у ног, наслаждаясь отдыхом после напряжения игры, глубоко дыша под руками каппадокийцев, словно месивших тесто. Красивый сферистерий — двор для игры, искусно разделенный на площадки рядами статуй, изображавших тренирующихся юношей, — был залит солнцем. Доносились глухие удары падающих мячей и тихие возгласы игроков.

— Где кончается осторожность, — задумчиво возразил Варрон, — и где начинается трусость? Где кончается храбрость и где начинается сумасбродство? Это интересная тема, она заслуживает того, чтобы два таких человека, как мы с вами, занялись ею. Вы разрешали мне иногда, Фронтон, заглядывать в ваши мысли. Я знаю поэтому, что вы мечтаете о мудрой, приятной старости за письменным столом, о солидном участке земли и высокой пенсии; однако я знаю и то, что вы понимаете прелесть непредвиденного, красочного, авантюрного или как вам угодно будет это назвать. Поэтому вы поймете, что, наперекор всему, и царь Маллук, и пресловутые «силы» могут вопреки логике поддаться подобному искушению и признать в «человеке из храма» императора Нерона. Разрешите мне, мой Фронтон, мысленно стать на ваше место и в качестве Фронтона порассуждать, как разумнее всего было бы в таком случае поступить командующему римским гарнизоном.

— Слушаю вас, — откликнулся, улыбаясь, Фронтон; нога его в белой с желтым сандалиии по-прежнему играла мячом.

Варрон стал перечислять возможности:

— Вы могли бы, во-первых, действовать как честный солдат и, отказавшись от собственного мнения, попросту попытаться силой взять Теренция. Но чем бы это кончилось? Царь Маллук, признав «Нерона», не потерпел бы насилия над ним, и вам, при всех ваших военных талантах, не удалось бы с вашими пятью сотнями выстоять против его десяти тысяч. Вы героически погибли бы, — образец доблести, пример для школьной хрестоматии. Дергунчик, со своей стороны, не счел бы возможным оставить безнаказанной гибель гарнизона в Эдессе и вынужден был бы «действовать решительно». Парфянский царь Артабан

не мог бы равнодушно взирать на римские войска, переходящие через Евфрат, и, возможно, ему удалось бы под лозунгом великой оборонительной войны избавиться от своего соперника Пакора и объединить парфян. Результатом, следовательно, была бы новая война с парфянами.

— Допускаю,— ответил Фронтон.— Но все эти соображения касаются министров в Риме или наместника в Антиохии. А я солдат, мой Варрон. И как солдату мне в данном случае осталось бы, как вы выразились, лишь героически погибнуть. Но пока давайте играть дальше.

Он встряхнул кубок с костяшками, опрокинул его.

— Подача ваша, Варрон,— сказал он.

— На этот раз вы здорово меня обработали,— признался Фронтон по окончании седьмого кона.

Варрон улыбнулся и поблагодарил его. Фронтон выиграл пять конов. Он — всего два.

— Разрешите мне теперь,— сказал он, отдышавшись,— вообразить себя на месте царя Маллука. Эдесса, несомненно, ничуть не меньше, чем Рим, заинтересована в том, чтобы избежать вооруженного столкновения. Поэтому царь Маллук постарался бы, вероятно, предоставить командующему гарнизоном все возможности, ничуть не нарушая дисциплины и соблюдая строгую корректность, в то же время ни во что не вмешиваясь.

— Крепче, крепче,— подбодрял Фронтон каппадокийца, который массировал его, и, повернувшись к Варрону, спросил: — Это все предположения?

— Само собой,— поспешно заверил Варрон своего партнера.— Я лишь теоретически задаюсь вопросом, как следовало бы поступить командующему римским гарнизоном в том случае, если бы царь Маллук или кто-нибудь другой совершил последнюю попытку возродить на Востоке политику Нерона. Нужно ли ему ценою жизни заранее обрекать эту попытку на неудачу, исполнить свой «долг», героически погибнуть и втянуть империю в войну; либо,— Варрон чуть улыбнулся,— правильнее держаться «наказа», без сомнения хорошо усвоенного Фронтоном, офицером армии Флавиев — «в случае сомнения лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг»,— и, повинувшись наказу, уберечь империю от войны с парфянами.

Фронтон дружелюбно смотрел на разгорячившегося Варрона.

— Как близко к сердцу вы принимаете этот теоретический вопрос,— сказал он.

— Неужели это странно вам, великому теоретику? —

ответил Варрон.— По-моему, это очень интересная проблема. Кто достойнее: тот ли, кто в таких условиях готов героически погибнуть в ущерб делу, или тот, кто не героически, но корректно, не слишком сопротивляясь, подчинится мягкому нажиму и останется нейтральным?

Фронтон легким дружеским жестом положил руку на плечо Варрону.

— Право же, мой Варрон, напрасно вы так тревожитесь из-за этих теоретических вопросов,— сказал он тепло.— Но так как, по вашим словам, вы уже однажды заглянули мне в душу, то разрешите мне выболтать вам еще кое-что. Я всегда стремился вести жизнь красочную, интересную и все же на пятьдесят один процент сохранять уверенность в завтрашнем дне и право на пенсию. Право на пенсию у меня есть. Если бы боги сверх того даровали мне нечто красочное, непредвиденное, «авантюрное», не поставив под угрозу пятьдесят один процент, я принял бы такой дар как неожиданную милость.

Варрон с усилием скрывал волнение.

— Довольно,— приказал он рабу, и тот быстро, неслышно отошел. Варрон пожал руку Фронтому.

— Благодарю вас за доверие, мой Фронтон,— сказал он сердечно.— Этот разговор мы вот уже двенадцать лет ведем мысленно. Я рад, что мысли наконец вылились в слова.

Фронтон отнял руку. С любезной улыбкой, предостерегающе поднял палец.

— Не забудьте, мой Варрон, все это — только предположения.

Он бросил кости.

— Опять ваша подача. Но берегитесь, этот кон я все же у вас выиграю.

ВАРРОН ИСПЫТЫВАЕТ СВОЮ КУКЛУ

Теренций жил в доме верховного жреца, с тех пор как Шарбиль убедил его, что покровительство богини распространяется на весь священный участок храма. В его распоряжении были два прекрасных покоя — лучше, чем подобало бы горшечнику Теренцию, но хуже, чем приличествовало бы императору Нерону. Здесь, стало быть, обитал тот самый человек, на которого постепенно устремлялись взоры всего Междуречья. Теренций старался по-прежнему сохранять равнодушный и в то же время значительный и таинственный вид. Нельзя сказать, чтобы это

было легко, ибо он постоянно чувствовал на себе чужой глаз, хотя и оставался большей частью в одиночестве.

Иногда к нему приходил Кнопс и докладывал обо всем, что творится за пределами храмового участка. Ловкий Кнопс делал это очень искусно. Он не давал Теренцию почувствовать, что понимает, какую большую услугу он оказывает ему, излагал все новости в тоне легкой болтовни — так, точно был заранее уверен, что все это давно известно его господину.

От Кнопса Теренций узнал и о приезде Варрона. Он полагал, что сенатор тотчас же посетит его. Но Варрон и на этот раз считал, что молодчика надо как следует выдерживать, сделать его мягче воска, чтобы он не занесся и не выскользнул из рук. Он не забыл замешательства, в которое его повергло внезапное удивительное преображение Теренция в Нерона; да и разумная осторожность, выказанная горшечником в эти долгие недели ожидания, призывала к бдительности. И Варрон снова заставил его «потрепыхаться», чем в самом деле добился того, что Теренций потерял спокойствие и уверенность.

Но когда Варрон наконец пришел к нему, он застал спокойного, невозмутимого человека. Сенатор держал себя с Теренцием не как патрон с клиентом, но и не как подданный с императором. Он, впрочем, подозревал, что в доме Шарбиля самые стены имеют уши, и поэтому остерегался проронить неосторожное слово.

— Богиня Тарата, — начал Варрон, оглядывая покой, — неплохо принимает своих гостей. У нас в «Золотом доме» было больше комфорта, но и здесь можно хорошо себя чувствовать даже человеку, привыкшему к удобствам.

— Не дано богами человеку, — процитировал в ответ Теренций одного греческого трагика, — лучшего пути показать свое достоинство, чем путь терпения.

Варрон улыбкой выразил свое одобрение скользкому, как угорь, горшечнику и его искусству давать ответы, которые можно толковать как угодно.

— Терпение? — откликнулся он. — Теперь уже очень многие верят тому, на что однажды был сделан намек в моем доме, а именно, что вы не горшечник Теренций, а некто другой.

Теренций прямо посмотрел ему в глаза.

— Возможно, что я уже стал другим, — ответил он спокойно и многозначительно.

— Вы, следовательно, были раньше горшечником Теренцием? — уточнил Варрон.

— В течение некоторого времени мне угодно было быть горшечником Теренцием,— ответила эта «тварь».

Варрон с легкой иронией произнес:

— Вы неплохо освоились с этим положением.

— Есть повелители,— возразил Теренций,— которым нравится быть актерами. А разве не верно, что не так важно на самом деле быть кем-либо, как важно, чтобы другие этому верили? Не так ли, мой Варрон? — И впервые он назвал его по имени, как равный равного, не прибавляя титула.

Варрон же улыбнулся про себя: «Недолго тебе фамиллярничать, мой Теренций». Вслух он сказал:

— Многие теперь думают, что император Нерон жив и находится в Эдессе. Кое-кто, конечно, оспаривает это, кое-кто смеется над этим. Вот, скажем, наш Иоанн с Патмоса, актер, настоящий профессионал,— с чем вы, вероятно, согласитесь,— полагает, что, играй он Нерона в трагедии «Октавия» так, как некоторые играют его в городе Эдессе, ему никто не поверил бы.

При этих словах Варрона горшечник Теренций не мог сдержаться, и лицо его еле заметно дернулось. Будет день, и он покажет этому Иоанну, кто из них — лучший Нерон, а пока, спасаясь от Варрона, он пустился в метафизические рассуждения.

— Божество,— сказал он,— создает живые существа мириадами, но иногда ему угодно сотворить человеческое лицо — единственное и неповторимое.

— А вы не заблуждаетесь? — возразил Варрон.— Не слишком ли дерзко такое утверждение? Если существует, допустим, человек с неповторимым лицом императора Нерона, то, по-вашему, не существует средства безошибочно узнать: может быть, все-таки человек этот — не подлинный император Нерон?

И, видя, что Теренций теряет спокойствие, он продолжал:

— Неужели же нет такого средства?

— Возможно, что есть,— нерешительно ответила «тварь».

— Во всяком случае, эдесские власти,— сказал Варрон,— полагают, что такое средство существует. Если некто претендует на то, что он является цезарем Нероном, то, значит,— считают эдесские власти,— ему должны быть известны тайны, в которые, кроме самого цезаря и сенатора Варрона, никто не посвящен.

Теренций молчал, беспокойство его росло.

— Вам такой взгляд представляется ошибочным? — насмешливо подбодрил его Варрон.

— Мне кажется, что такой взгляд правилен.

— Ну вот, видите, — весело сказал Варрон. — Что это мы все стоим? — И он пригласил Теренция сесть, так как они все время торжественно стояли друг против друга. Они сели.

— Вы помните, например, — благодушно приступил к неприятному экзамену Варрон, — как однажды в мае месяце, что-то около восьмьсот восемнадцатого года от основания Города, император Нерон посетил публичный дом «Павлин», что за Большим цирком? Императора сопровождали друзья, среди которых находился и сенатор Варрон.

Блекло-розовое лицо Теренция чуть покраснело. Какая низость со стороны Варрона упомянуть именно об этом эпизоде. Дело в том, что во время визита, о котором шла речь, пострадала некая знатная дама по имени Луция, разыгрался скандал, и император вдруг решил, что ему не пристало быть участником такого приключения. Последовали разъяснения, будто тот субъект, которого некоторым угодно было принять за императора, был случайный уличный прохожий, компания просто подцепила его на улице и потащила с собой в притон. Прохожий этот был опознан в лице горшечника Теренция. Его вызвали к претору и приговорили к денежному штрафу, который каким-то неизвестным был возмещен ему с лихвой. На суде Теренций узнал о таких подробностях этого дела, которые вряд ли кому-нибудь еще могли быть известны. Используя знакомство Теренция с этими деталями как подтверждение его тождества с императором, Варрон оказывал Теренцию в известном смысле большую услугу. Но Теренций видел в этом не великодушие, а только иронию. Он вспоминал об этом эпизоде редко и всегда с неприятным чувством. Он с удовольствием воображал себя в сенате, читающим императорское послание, но никак не на суде, когда стоял перед претором, ничтожный вольноотпущенник, вынужденный взять на себя грязные поступки, от которых не слишком щепетильный император по внезапному капризу пожелал отречься.

— Да, я помню этот эпизод в «Павлине», — ответил он неохотно.

— А помните вы, — продолжал Варрон все в том же ровном тоне, — что сказал император Нерон, когда эта дама, Луция, стояла голая на окне, а Элий собирался сбросить ее вниз?

Об этом Теренций не знал, об этом на суде не упомина-

лось. Возможно и в самом деле, что знали это только несколько друзей, в обществе которых император Нерон забавлялся тогда в «Павлине», если только они еще живы и об этой истории помнят. И Теренций почувствовал тем большее смущение, что, как оказалось, Варрон предложил ему этот вопрос не из коварства, то была честная проверка.

Как бы там ни было, но отвечать надо было. Он подтянулся, принял позу Нерона, проникся — так ему казалось — духом императора, взял смарагд, стал Нероном и ответил голосом Нерона:

— «Оставь мой Элий. За окно можно выбросить фельд-маршала или царя, но не голую даму». — Так или примерно так должен был ответить тогда император Нерон.

Варрон улыбнулся. Он впервые увидел в руках у Теренция смарагд. Смарагд Нерона был как будто меньше, но тщательнее и искуснее отшлифован. Кроме того, подлинный Нерон никогда не пытался бы блистать остроумием в публичном доме. Наоборот, когда Элий хотел выбросить из окна Луцию, он, изрядно пьяный, как большинство тех, кто был с ним, зевая, заплетающимся языком довольно бессмысленно сказал:

— Пожалуйста, мой Элий, делай все, что хочешь. Угощайся, дружище.

Варрона забавляло и тешило, что Теренций никак не мог представить себе Нерона в будничном виде. Он полагал, что император в любой ситуации, даже в публичном доме, должен вести себя по-императорски и говорить только о фельдмаршалах и монархах.

Теренций, пока говорил, чувствовал себя еще более или менее уверенно. Но, едва договорив последние слова, он невольно опустил смарагд, который подносил к глазам жестом Нерона, снова стал горшечником Теренцием и, устремив на Варрона напряженно прищуренный, внимательный взгляд, старался по лицу сенатора понять, удалось ли ему отгадать ответ Нерона. Но Варрон лишь улыбнулся. Он так никогда и не открыл «твари», попал ли ответ в цель и насколько велик был промах. Он поднялся и сказал, и это был скорее приказ, чем просьба:

— Если император Нерон думает снова взять власть, то пусть он делает это сейчас же.

Когда Варрон ушел, Теренций вздохнул полной грудью. Не думая о том, следят за ним или нет, он принял позу Нерона, вынул смарагд, походкой Нерона прошелся несколько раз по комнате, голосом Нерона говорил сам с собой, пьяный от счастья.

Книга вторая

ВЕРШИНА

1 8 ВЛАСТИ

После аудиенции у Маллука Варрону стало ясно, что, покуда он не склонит Марцию на брак с «тварью», ему нечего и помышлять о серьезной поддержке царя. Со дня на день, вот уже целую неделю, откладывал он неприятный разговор. Наконец решился и приступил к делу.

Белолицая, тонкая, строгая, сидела перед ним Марция. Он завел разговор о том, о другом, ходил вокруг да около. Потом взял себя в руки.

— Здесь появился человек, — начал он, — которого все Междуречье считает императором Нероном. Ты, по всей вероятности, слышала о нем. Он просит твоей руки.

Марция не спускала глаз с его губ. Она поняла не сразу. И вдруг — поняла. Поняла, что отец спокойно, точно речь идет о приглашении на ужин, предлагает ей спуститься на последнюю ступень унижения. Страх и отвращение охватили ее с такой силой, что на мгновение остановилось сердце. Но она не упала. Она сидела прямо, только побледнела и ухватилась крепче за ручки кресла. Варрон давно умолк, а она все еще не проронила ни звука. Она все еще не спускала глаз с его губ, точно ждала, что с них сорвутся еще какие-то слова. Варрон смотрел на нее, с трудом скрывая гнетущее напряжение.

— Этот человек действительно император Нерон? — спросила она непривычно сухим голосом.

— Ты знаешь его под именем горшечника Теренция, — ответил не без усилия Варрон.

Марция сжала губы, рот ее стал узким, как лезвие ножа.

— Если я не ошибаюсь, — сказала она, — это один из твоих вольноотпущенников. Не его ли отец был тот раб, который в Риме чинил у нас водопровод и отхожие места?

Она думала: «Почему они не сделали меня весталкой, ведь этого так хотела мать? Я жила бы теперь тихо и величаво в этом чудесном доме на Священной дороге. На играх я сидела бы на почетном месте в императорской ложе. На празднестве девятого июня я поднималась бы на Капитолий рядом с императором, чтимая всем народом. И этот человек, мой отец, не захотел этого. Он приберег меня, чтобы продать, чтобы лучше обстричь свои грязные, темные дела».

Варрон думал: «Ее мать никогда меня не любила, потому что я женился на ней по расчету и всегда был равнодушен к ней. Мне наперекор хотела она сделать девочку весталкой и начинила ей голову всякой дребеденью. Надо было думать о Марции раньше, когда она была ребенком. Но мне вечно не хватало времени. Девушке с такими понятиями, должно быть, очень-тяжело лечь в постель с этой «тварью». Как у нее остекленели глаза! То, что она переживает сейчас, нелепо, но это реальность, с которой приходится считаться».

Вслух он сказал:

— Я знаю, ты считаешь мое предложение безнравственным, недостойным римлянина. Но в Сирии нельзя жить так, как в Риме. Ты скажешь: «Тогда незачем жить в Сирии». Но, во-первых, я вынужден жить здесь, а во-вторых, я сделал бы это все равно, даже если бы ворота Рима были для меня открыты. Уверяю тебя, моя Марция, стоит поступиться частицей своего «достоинства», чтобы получить взамен то, что дает человеку Восток. Я попросту не мог бы жить нигде, кроме как на Востоке. Мне скучно на Западе. И, говоря честно, мне не хочется отказываться от влияния и власти, которые я — так уж сложилось — могу иметь только на Востоке.

Марция сидела против него, неподвижная, тонкая. «Как ему хочется одурачить меня,— подумала она с ненавистью.— Это он-то хочет быть честным! Он собирается продать меня этому подонку и прикрывает свои низкие замыслы громкими пышными фразами».

— Ты предлагаешь мне стать женой горшечника Теренция? — повторила она язвительно, с холодной деловитостью.

Враждебное спокойствие дочери злило Варрона больше, чем сделали бы это слезы, мольбы, взрывы отчаяния.

«Прекрасно,— думал он.— Парень этот из низов. Но я с ее матерью знал очень мало радости, хотя она и была сенаторской дочкой. Была бы довольна, что избавится от

своей проклятой девственности. Когда она ляжет в постель с мужчиной и он хоть мало-мальски покажет себя на деле, не все ли равно ей будет, чей он сын».

Вслух он сказал:

— Мы, Нерон и я, всадили в эту Месопотамию изрядный кусок Рима — солдат, деньги, время, нервы, жизнь. Я не желаю бросить все это только потому, что медные лбы на Палатине не видят дальше военных границ империи, не видят тех хозяйственных и культурных возможностей, которые открываются по эту сторону Евфрата. У них нет фантазии, потому они и утверждают, что слияние Рима с Востоком невозможно. А ведь стоит только открыть глаза, и уже сегодня можно убедиться, какие прямо-таки великолепные люди и города рождаются от этого слияния. Я, во всяком случае, не отступаю от своего Востока. Я всадил в него деньги и время, и я имею право требовать жертв и от других.

Марция все эти годы надеялась, что отец ее будет реабилитирован, они вернутся в Рим и снова смогут вести величественно-достойную жизнь. Всего несколько дней назад, когда Варрон вынужден был покинуть римскую территорию с поспешностью, напоминавшей бегство, надежда эта рухнула. Марции пришлось отказаться от своей мечты, довольствоваться куда более скромной перспективой. Полковник Фронтон, с присущей ему сдержанностью, дал ей понять, как он почитает ее. По рангу и положению он был для дочери сенатора слишком незначителен. Но его элегантность, его широкий, умный лоб, низко остриженные, седеющие, стального оттенка волосы делали его привлекательным, и, кроме того, он был римлянин, римлянин по воспитанию и культуре, человек среди этих восточных полулюдей. Она решила побудить его сделать предложение, решила выйти за него замуж. Она вела бы с ним серенькую, но, по крайней мере, пристойную жизнь. И вот отец даже этого не хочет ей оставить, а предлагает ей взамен такую чудовищную низость. Всю ее строгость, ее возвышенные чувства, ее целомудрие он хочет швырнуть к ногам этого подонка, этого раба, сына чистильщика выгребных ям. Она молчала. Белое лицо ее было точно маска отвращения.

— Как бы там ни было, — продолжал Варрон, пожав плечами, — для меня этот человек — подлинный Нерон. Он должен им быть. Я по многим причинам не могу отступать. Но он Нерон лишь постольку, поскольку я в него верю. А свою веру в него я должен доказать.

— И для доказательства понадобилась я,— язвительно и неестественно спокойно закончила его мысль Марция.— Я должна расплачиваться за твою политику.

Варрон подумал: многие действительно не могут от этого оправиться. «Когда я в первый раз лег с этой,— как ее звали? — ей было четырнадцать лет, этой девчонке из Фракии,— она до того была потрясена, что так на всю жизнь и осталась как будто не в себе. А я ведь, в сущности, был с ней нежен. Четыре тысячи я заплатил за нее, а она после первой ночи только на то и годилась, что посуду мыть. Разве я циничен? Ведь я люблю Марцию. Она очень чувствительна, нужно быть с ней терпеливым. Думаю, что лучше всего говорить правду. Она поймет меня. Это будет самое простое и надежное — сказать ей все как есть».

Он сказал:

— Люди не хотят, чтобы у власти стоял одаренный человек. Они не терпят одаренных. Их устраивает только бездарность. Они довели Нерона до гибели потому, что он был одарен, у меня по той же причине отняли власть. А теперь, когда я снова добился власти, они хотят снова отнять ее у меня. Но я не отдам власти. Второй раз я этого не допущу. Я рискну всем: тобою, собою, всем на свете.

Варрон рассчитал правильно. Марция очнулась от своего враждебного оцепенения. Она уловила искреннюю нотку, звучавшую в его словах. В ее чувстве к отцу всегда переплетались восхищение и неприязнь; она снова поддалась его обаянию.

Он сидел самым предосудительным образом, скрестив ноги по-восточному, точно желал небрежностью позы ослабить пафос своих слов.

— Рим — ведь по-гречески это значит сила, это значит власть. А что такое власть? Прилежный чиновник Тит, который велит именовать себя императором, вообразил, будто обладает властью потому, что в его распоряжении гигантская военная и административная машина. Я ему не завидую. Что у него есть? Палка фельдфебеля? Фасции — пучок прутьев и топор? Разве это власть?

Он обращался уже не к дочери, он говорил для самого себя. Можно было проследить, как мысли зарождались в нем, становились словами. Он говорил тихо, но вдохновенно, ясные, твердые, логичные латинские фразы текли с его уст, как греческие стихи.

— Власть,— мечтательно говорил он,— это нечто более хитроумное. Власть — это идея, которая, вылетев из головы, становится деянием, побеждает тупую действитель-

ность. Подавляющее большинство людей мирится со свершившимися фактами. Они говорят: раз это так,— значит, так и должно быть. В этом и состоит великая косность, великий порок людей. Я не таков. Почему все должно быть так, как оно есть? Нерон умер? Факт этот глупый, бессмысленный, он нарушает разумный порядок. Он противоречит моему восприятию мира. Я этого факта не признаю. Я восстаю против этой нелепой действительности, объявляю ей войну. Я воскрешаю Нерона. Восток — это одно, говорят они, а Рим — это другое, у них нет общего пути, и поэтому нужно отказаться либо от Востока, либо от Рима. Я не отказываюсь ни от того, ни от другого. Мне это даже не приходит в голову. Я не подчиняюсь такой плоской логике. Не подчиняться глупой, бездушной действительности, не довольствоваться ею, рисковать собою в борьбе с этой действительностью и с роком — вот это по-римски. Сделать ставку не на то, что есть, а на то, что должно быть, и при этом выиграть — вот единственная форма власти, которой стоит добиваться.

Марция не спускала глаз с его губ, легкий румянец покрыл ее щеки. Она забыла, что всего несколько минут тому назад считала его громкие слова лишь мишурой, которой он прикрывает свои мелкие интересы.

Он умолк, поднял голову, очнулся от задумчивости. Посмотрел на дочь. Подошел к ней, едва касаясь, положил ей, сидевшей перед ним, руку на плечо.

— Верь мне, моя Марция, я знаю, что значит предложить такой женщине, как ты, лечь в постель с этой тварью.

Он сказал «тварь», он употребил это двусмысленное, полное пренебрежения слово, и Марция поняла, что он намеренно предоставляет ей толковать это слово, как она хочет: то ли это творение богов, то ли — его, Варрона. И вместе с ним она гордилась тем, что такой двойной смысл возможен.

— Но я вместе с тем знаю,— продолжал он,— что ты поймешь, почему я предлагаю тебе это.

Марция посмотрела на отца, у нее были такие же глаза, как у него,— карие, удлиненные, одновременно холодные и страстные. Она была достаточно умна, чтобы понять: опасная игра, развернувшаяся вокруг Лже-Нерона, может длиться недолго и кончиться плохо. Но страсть отца отчасти передалась ей, в смелых мечтах она уже видела себя на Палатине; уже не рабу, а императору предстояло ей

отдаться, и ей уже стоило усилий и сожаления оторваться от дерзких грез и вернуться к трезвой рассудительности.

— Рим,— возразила она,— стал великим потому, что он всегда ясно сознавал то, что есть.

Но Варрон не согласился с этим.

— Это верно только наполовину,— сказал он горячо.— Познавать и вместе с тем не признавать то, что есть,— вот что сделало Рим великим! Рим — это были десять тысяч человек, а мир — пятьдесят миллионов. Такова была действительность. Но Рим не признал этой действительности. Рим захотел, чтобы мир стал римским, и мир стал римским.

Марция поднялась.

— Можно мне идти, отец? — спросила она.

Варрон вплотную подошел к ней, взял ее светлую голову в мясистые руки, мягко отогнул назад и сам откинул голову, чтобы лучше видеть лицо Марции.

— Если ты захочешь, Марция, ты вступишь на Паладин,— пообещал он ей.

Марция взглянула на отца. В глазах у нее было много понимания и мало веры. Все существо ее восставало против игры, которую он навязывал ей. Однако она видела уже не только отвратительную сторону этой игры, но и ее величие. И не лучше ли любая судьба, чем прозябание в каком-нибудь провинциальном городе на Востоке?

Варрон безошибочно угадывал все, что в ней происходило. Он по-прежнему держал в руках ее голову. Так стояли они несколько минут, глядя друг другу в глаза, отлично зная друг друга, и Марция с болью ощутила в эту секунду, как смешались в ее чувствах к отцу любовь, ненависть, очарованность, презрение и восхищение.

Варрон после этого разговора почувствовал себя совершенно разбитым, как после тяжелой физической работы. Он знал, что теперь он на верном пути. Но он знал и то, что еще немало труда придется потратить, прежде чем он окончательно сломит Марцию.

На той же неделе он говорил с ней еще трижды.

И наконец он смог сообщить Шарбилю: на основании неопровержимых доказательств он убедился, что гость богини Тараты действительно есть мнимоумерший император Нерон. Он просит царя Маллука и верховного жреца в ближайшее новолуние почтить своим присутствием бракосочетание его дочери Марции с императором.

Ближайшим следствием этого сообщения был визит верховного жреца Шарбиля к полковнику Фронтому.

Доверительно сообщил он римскому командиру: вполне надежные свидетели показывают, что человек, укрывавшийся в храме Тараты, действительно есть мнимоумерший император Нерон. Фронтон вежливо и уклончиво ответил, что признание или непризнание императора — вопрос, подлежащий ведению царей и верховных жрецов, губернаторов и сенаторов, но никак не мелкого и недостойного офицера. Шарбель, однако, заверил Фронтон, что он отнюдь не хочет докучать ему назойливыми советами. Лишь по дружбе, из лояльности он хотел бы обратить внимание Фронтон на то, что царь Маллук, следуя голосу совести, считает себя обязанным хранить верность тому, кого упомянутые свидетели признают императором Нероном, ибо он императору Нерону в этой верности присягал.

Полковник Фронтон поднял на Шарбиля умные глаза. Царь Маллук, ответил он медленно и веско, связан присягой и договором и с ныне правящим в Риме императором Титом. Подумав, Шарбель возразил: он понимает, что человек, долго и по праву носивший корону, остается в глазах многих осиянным ореолом царского величия. Но не теряет ли силу позднейшая, ошибочно данная присяга перед присягой более ранней? Как бы там ни было, прибавил он задумчиво, стезя, по которой шествуют его царь Маллук и его друг Фронтон, очень узка.

Фронтон ничего не сказал. Он знал обычаи Востока. Правда, он не чувствовал себя таким мастером в искусстве достойного, изматывающего нервы молчания, как царь Маллук, но он с удовольствием установил, что, по крайней мере, старого Шарбиля он в этом искусстве превосходит. Любопытный и нетерпеливый старик уже через десять минут сдался и сказал:

— Так как мой западный друг столь хорошо умеет молчать, то буду говорить я. А хочу я сказать вот что: царь Маллук — друг Тита, обладающего в глазах многих ореолом царского величия. Царь Маллук не нападет на Тита, пока тот не нападет на него. Конечно, если кто-либо посягнет на императора Нерона, то он тем самым посягнет и на царя Маллука, а против обидчика царь Маллук вынужден будет защищаться.

Фронтон улыбнулся про себя. Вот она, значит, та мягкая, но сильная рука, о которой говорил Варрон. Это была искусная рука, он давно ждал ее прикосновения, оно не было ему неприятно. В цветистых, как полагалось, выражениях он ответил, что твердо надеется на мудрость царя Маллука, которая позволит им обоим беспрепятственно пройти по упомянутой узкой стезе.

На следующий день царь Маллук торжественно вывел императора Нерона из храма Тараты и проводил его в свой дворец. Совершив это, он разослал трех гонцов: одного — в Рим, в сенат, другого — в Антиохию, к губернатору, третьего — к парфянскому царю Артабану, в Селевкию, с сообщением, что великий император Нерон по счастливому соизволению богов жив. Император, в качестве его, царя Маллука, гостя, пребывает в городе Эдессе. Вскоре он предпримет путешествие в Рим, чтобы снова взять в руки управление империей.

В день, когда происходило переселение гостя Тараты в царский дворец, полковник Фронтон не дал отпуска ни одному из своих офицеров и солдат. Гарнизону было строго приказано избегать трений с народом и ни под каким предлогом не приближаться к человеку по имени Теренций. На этот день и на два последующих назначены были усиленные учения, офицеры и солдаты не имели свободной минуты.

Полковника Фронтон не любили, но очень уважали. Он был римским аристократом, его отряд — пять рот Четырнадцатого легиона — состоял почти исключительно из неотесанных далматинцев: он был «господином», а далматинцы — «людьми». Служба была тяжелой, но они шли на это. Прослужившие тридцать лет получали участок земли и горсть денег, тяжело заработанную землю, тяжело заработанные деньги, но хорошую землю и хорошие деньги. Цепь, на которой Рим держал своих солдат, состояла из дисциплины — на одном конце и права на пенсию — на другом. Кто не соблюдал дисциплины, тот не получал земли и денег. Это знали солдаты.

И люди Фронтон безупречно соблюдали дисциплину. Но, разумеется, и среди них не обошлось без споров о новом императоре. Солдатская традиция требовала сохранять верность тому императору, на которого больше, чем на других, можно было рассчитывать, что он удовлетворит справедливые притязания солдата на обеспеченную старость. Так истолковывала вся армия клятву в «римской верности», которую она давала сенату и народу Рима, так толковали ее и солдаты Фронтон. С другой стороны, вступ-

ление на престол нового императора всегда сулило большие выгоды. Новый император обычно покупал повиновение солдат щедрыми наградами. В смысле обеспечения старости императоры из рода Флавиев не обманули надежд, но при вступлении на престол они проявили изрядную скаредность. Император Нерон славился щедростью. Если гость царя Маллука докажет своей щедростью, что он действительно император Нерон, а в дальнейшем представит достаточно верные гарантии касательно пенсии, то солдаты готовы на многое смотреть сквозь пальцы. И они выжидали, а выжидая, не нарушали дисциплины.

Конечно, нашлись и мечтатели. Так, например, к полковнику Фронтоу явился некий молодой офицер по имени Тестим. Вытянувшись по-военному в струнку, он решительно, но вместе с тем скромно заявил полковнику: он готов, если полковник разрешит, положить конец скандальной истории с этим мошенником Теренцием. Он, Тестим, довел свое умение драться коротким сирийским мечом до необычайной виртуозности. Он может послезавтра, когда раб Теренций, как объявлено, отправится в храм Аполлона, заколоть его на пороге храма.

Лейтенант Тестим всего несколько недель как прибыл в гарнизон. Он еще не обзавелся знакомством; как обычно, должен был пройти какой-то срок, пока однопольчане и знать города Эдессы прощупают вновь прибывшего и допустят его в свой круг. Фронтоу этот юнец с первого мгновения был неприятен. Оказывается, первое впечатление не обмануло его: мальчишка был из тех примитивных патриотов — людей действия, которые всегда были опасны для существования государства и общества. Мысль о том, что покушение на Теренция явится лучшим выходом из положения, могла прийти в голову именно такому примитивному патриоту. С устранением Теренция рухнула бы вся эта бунтарская затея, весь план Варрона, провалилась бы самая попытка возврата к прежней восточной политике. Радикальное решение вопроса, что и говорить! Но дело заключалось не только в том, что жаль было с самого начала свести на нет возможность возобновления прежней политики, — за предлагаемое Тестимом радикальное решение вопроса пришлось бы слишком дорого заплатить. Ибо вряд ли население Эдессы отнеслось бы спокойно к смерти своего Нерона, несомненно, оно отомстило бы за эту смерть, перебив весь римский гарнизон до единого человека. Последствия такого шага невозможно было предвидеть. Карательная экспедиция против Эдессы, возмож-

ность новой Парфянской войны — все это в случае покушения на Теренция становилось слишком близкой угрозой.

Самое простое для Фронтоня было бы приказать патриоту Тестиму — чтобы он и думать забыл о своем замысле. Но если Цейоний узнает о запрещении, не посеет ли это в нем недоверие к Фронтому? Нет, надо, видимо, постараться как-то умнее обезвредить лейтенанта и его идею.

И Фронтон прежде всего спросил патриота Тестима, отдает ли Тестим себе отчет в том, что его гибель при этом покушении неминуема. Да, Тестим отдавал себе в этом отчет. Фронтон спросил его далее, понимает ли он, что ему придется погибнуть безымянно, не прославив ни своего имени, ни рода, ибо ни при каких обстоятельствах римская армия не смеет запятнать себя подобным убийством из-за угла: это повлекло бы за собой опасные последствия. Но непоколебимый патриот Тестим учел также и это обстоятельство. Он полагает, что сладостно и почетно умереть за отечество, даже безымянно.

Таким образом, полковнику Фронтому не оставалось иного средства оградить цивилизацию от опасностей новой Парфянской войны, как отбросить сентиментальности и пойти на хитрость, хотя именно этого он хотел избежать, задавая лейтенанту обескураживающие вопросы. Сухо пояснил он патриоту Тестиму, что снимает с себя всякую ответственность; с другой стороны, лейтенант получает полную свободу действий, — при том условии, разумеется, что никто не узнает о его намерениях и что труп его не будет опознан. Тестим ответил по уставу: «Слушаюсь!» — и удалился, поблагодарив полковника за разрешение умереть столь славной и достойной смертью.

В тот же день сенатор Варрон получил письмо без подписи, в котором сообщалось, что послезавтра на пороге храма Аполлона на императора Нерона будет совершено покушение.

Таким образом, умение владеть коротким сирийским мечом не помогло патриоту Тестиму. Он и замахнуться не успел по-настоящему, как был схвачен, повален наземь и растоптан беснующейся толпой. Сверх того, счастливая звезда определила, чтобы цезарь Нерон получил каким-то непонятным образом царапину. Его бурно приветствовали, и после покушения в Эдессе уже не осталось ни одного человека, который не был бы глубоко убежден, что Теренций — действительно Нерон; кто, в самом деле, был бы заинтересован в его устранении, если бы это было не так?..

В крепости, где находились римские солдаты, все, разумеется, знали, что неизвестный, покушавшийся на Теренция, был этот дурак, патриот Тестим; большинство, кроме того, не сомневалось, что и власти города Эдессы об этом осведомлены. Ожидали, что царь Маллук вышлет войско либо, еще вероятнее, натравит на римский гарнизон разъяренную эдесскую чернь. В казарме царили страх, ярость, ожесточение, отчаяние. Офицеры и солдаты не сомневались, что придется умереть позорной смертью, раньше чем подоспеет помощь из римской Сирии и задолго до получения пенсии.

Но ни войска царя Маллука, ни чернь так и не показались вблизи казарм. Вместо них в казармы явился гонец в белой ливрее императорского дома. Гонец доставил в казармы большую сумму денег и послание. В послании значилось, что деньги эти император Нерон, снова принимая власть, предназначает для награждения своих войск в Эдессе. Его величество отнюдь не собирается возлагать ответственность за проступок какого-то безумца на весь гарнизон. Солдаты облегченно вздохнули, возликовали. Фронтон узнал умную тактику своего друга Варрона. Но по-прежнему действовал только строго лояльно. Заявил, что он не может раздать деньги, не запросив предварительно указаний из Антиохии.

Великодушие императора Нерона произвело на едва оправившийся от страха гарнизон особенно сильное впечатление. Кто истинный император, которому они обязаны хранить верность,— строгий, мелочно-расчетливый Тит в Риме или милостивый и щедрый на деньги повелитель, который к тому же находится здесь, в Эдессе? Поставить вопрос — значит ответить на него.

На следующий день у казармы появился офицер — посланец Нерона. Стража после краткого колебания впустила его. Офицер обратился к солдатам с речью, роздал деньги. Вошел Фронтон, с виду очень рассерженный. Приказал арестовать стражу, впустившую офицера. Солдаты медлили. Фронтон сам задержал стражу. Посланец Нерона призвал войска следовать за ним, скомандовал:

— Стройся! Равняйся! Шагом марш!

Большинство солдат построились, пошли за офицером. Фронтон стал у ворот с обнаженным клинком, преграждая им путь. Солдаты бережно оттеснили его в сторону. Те, кто проходил близко, слышали якобы, как он предостерегающе, с отеческой тревогой говорил:

— Дети, дети!

Полковник Фронтон послал об этом, как и обо всем прочем, рапорт в Антиохию. Он долго и с любовью отшлифовывал свои донесения, чтобы они вышли пластичными, сжатыми, четкими, с легким налетом иронии, но безупречно корректными. Приводя веские основания, он разъяснял, почему он действовал так, а не иначе. Деловито разбирал вопрос о том, как ему следовало поступить, когда взбунтовались солдаты: броситься ли на меч или сохранить жизнь для отечества. Описывал, как сильно было искушение вмешаться, умереть смертью героя и скольких усилий стоило ему устоять против этого искушения, действуя согласно «Наказу» Флавиев: в случае сомнений лучше воздержаться, чем совершить неправильный шаг.

3

СОМНЕНИЯ И ШАНСЫ ФРОНТОНА

События, которые привели к бескровному обезвреживанию римских войск, совершились очень быстро. Все было уже кончено, когда полковник Фронтон получил наконец ключ к полному пониманию событий: ему стало известно об обручении Марции с рабом Теренцием. Он ясно увидел все, до последнего звена. Понял, что Маллук и Шарбиль решились поддержать дело императора лишь после того, как связали Варрона этой железной цепью с Нероном и с собой.

Варрону стоило, вероятно, немалых усилий пойти на это унижение, так же как Марции — подчиниться отцу. Фронтон задумался. То, что Варрон в этой игре поставил на кон не только свое положение и состояние, но и дочь, и самого себя, показывало, насколько он верит в удачу. Неужели его Нерон и в самом деле может чего-нибудь добиться? Фронтон вспомнил слова, сказанные ему недавно Варроном в сферистерии, на вилле фабриканта ковров Ниттайи. Вопреки всей его рассудительности, в нем проснулась давно похороненная надежда: а вдруг выступление этого Нерона откроет ему возможность претворить в жизнь свою военную доктрину?

Если первая мысль его была о последствиях, которые может иметь предстоящий брак Марции для дела его жизни, для его карьеры, то вторая его мысль была о самой Марции.

Полковник Фронтон любил анализировать. Он был холодно-расчетлив и занят лишь своей особой. Его первая цель состояла в том, чтобы, отслужив срок, на склоне дней, живя беспечно и спокойно работая, закончить «Учебник военного искусства». Второе желание его было — проверить на практике изложенные в этом «Учебнике» теории. И, отводя им только третье место, за гранью творчества, он разрешал себе личные чувства.

Среди этих чувств, утех стола и постели, смены впечатлений, которую давали интересные путешествия, радостей, связанных с искусством и литературой, он выше всего ставил свою склонность к Марции. Он был избалован женщинами, восточные женщины нравились ему. Но в отношении с ними он не вкладывал души. Он с удовольствием брал их, но взамен не давал им себя. С Марцией дело обстояло иначе. Если бы он не боялся высоких слов, он согласился бы, что любит ее. Он говорил себе: в Марции его привлекает, вероятно, то, что она совершенно непохожа на женщин Востока. На многие сотни километров вокруг она была единственной подлинной римлянкой; правда, если бы он увидел ее в Риме или в другом месте — в римском окружении, чары ее, вероятно, быстро рассеялись бы. Но эти рассудочные оговорки не помогали Фронтому. Ее присутствие его волновало. Не менее, чем стратегические проблемы, его занимали те маленькие, изысканные, весьма личного характера знаки внимания, которые он мог бы оказать Марции. Он знал Марцию и решил действовать без поспешности. Он был терпелив по природе и еще больше привык к терпению на Востоке. К тому же он был уверен, что она — римлянка с ног до головы, судьбой отца вынуждаемая жить среди восточных людей, — когда-нибудь достанется ему. Но как это произойдет, было ему неясно. Он очень боялся женитьбы, мысль о том, чтобы навсегда связать себя с другим человеком, была ему неприятна. Однако, если бы иного средства получить ее не представилось, он готов был решиться даже на брак.

Оттого что отец укладывал теперь Марцию в постель к этому Теренцию, положение резко менялось. В пользу ли Фронтон? Несомненно, строгая чистота Марции, черты весталки в ней во многом и привлекали Фронтон, и мысль, что другой насладится ее девственностью, мучила его. Но разве лишение это не вознаграждалось тем, что для Фронтон отпадала опасность брака? И разве не повышал его шансы у Марции брак с этим Нероном? Фронтон был высокомерен, он знал, что и Марция высокомерна. Он был

«господином», а этот Теренций в лучшем случае принадлежал к категории «людей». И если бы даже произошло невероятное и Марция день-другой или ночь-другую принимала бы этого молодца за императора, то все же не было сомнений, что в конце концов из поединка с каким-то Теренцием победителем выйдет Фронтон.

Между тем положение полковника в Эдессе становилось все более своеобразным. К Нерону перешла еще часть гарнизона. Фронтон остался в огромной казарме с двадцатью солдатами. Так во главе двух десятков солдат, с достоинством, не лишенным комизма, представлял он в центре мятежной Месопотамии Римскую империю Флавиев. Он продолжал вести прежний образ жизни, показывался при дворе, гулял, выезжал верхом, охотился в окрестностях города. Он, как и эдесские власти, поддерживал видимость мира и добрососедских отношений между Римом и Эдессой. Но ситуация была в высшей степени неприятной, он чувствовал свою полную изолированность и тосковал по дружеской беседе.

Он очень обрадовался, когда опять «случайно» встретился с Варроном у фабриканта ковров Ниттайи.

— Вы не находите, Фронтон, что события, которые разыгрываются здесь, очень интересны? — начал Варрон.

— Интересны? Возможно, — откликнулся Фронтон. — Может быть, это и очень почетно — представлять сейчас в вашей Эдессе власть Флавиев, но приятного в этом мало. Мои двадцать солдат — очень храбрый народ, истые римляне — это видно из того, что они остались последними, — но и они осаждают меня просьбами, чтобы я сделал попытку пробиться с ними к римской границе.

Варрон сидел в непринужденной позе на скамье, где они отдыхали от игры; он задумчиво водил носком бело-желтой сандалиии вдоль черты, которой была обведена площадка для игр.

— Я у вас в долгу, Фронтон, — сказал он. — Если вы настаиваете — вы получите свое, и ваше отступление будет величественным и блестящим. Мы подготовим на вашем пути почти неодолимые препятствия. Пока вы доберетесь до границы, из ваших двадцати солдат падут три, пять или восемь — сколько вы пожелаете, а сами вы будете легко ранены. Ваше героическое отступление по вражеской территории не уступит знаменитому «отступлению десяти тысяч». Вы вступите в Антиохию, как второй Ксенофонт, вас встретят почестями, и вы сможете потом написать чрезвычайно интересные и увлекательные воспоминания.

— Не сомневаюсь,— ответил Фронтон,— что вы сумели бы все это великолепно обставить. Не сомневаюсь и в том, что я в полной невредимости прибыл бы в Антиохию и спас бы себя и свое право на пенсию. Но разве я оставался бы здесь, если бы меня ничто не интересовало, кроме все того же пятидесяти одного процента уверенности?

— Значит ли это, что вы хотите остаться с нами? — спросил Варрон, и ему с трудом удалось скрыть свою радость. И так как Фронтон молчал, он прибавил чуть иронически, но с искренней озабоченностью:

— Если вы тоскуете по «авантюрному», то мы здесь с удовольствием утолим вашу тоску. Однако, как бы мне ни хотелось удержать вас, я все же должен вас предостеречь. Трудно предвидеть исход событий, которые здесь развернутся. Во всяком случае, многое рухнет и многое будет унесено бурным потоком. Не могу вам поручиться, что поток этот не унесет и ваше право на пенсию. Боюсь, что, если вы затянете свое пребывание здесь, Дергунчик все же наострит уши, и тогда плакал ваш пятьдесят один процент.

Фронтон тронула такая откровенность и чистосердечность сенатора.

— Вы напрасно недооцениваете мое литературное дарование,— ответил он весело.— Я считаюсь хорошим стилистом, а для того, чтобы оправдать занятую мной позицию, совершенно достаточно искусной литературной обработки моих рапортов. До сих пор Дергунчик вычитывал из моих донесений лишь то, что отвечало моим желаниям, и сочувственно относился к моим аргументам. Больше того: он официально приказал мне не бросаться на меч, как это сделал его предок, а превозмочь себя и стойко держаться на моем трагикомическом посту.

Варрон схватил руку Фронтон, пожал ее.

— Нелегко мне было,— сказал он, и в голосе его прозвучало то обаяние, которое пленило уже стольких людей,— посоветовать вам вернуться в Антиохию. Для меня ваше решение остаться ценней любой победы. Я рад приобрести в вашем лице друга. Мои шансы на успех невелики. Но, если бы невероятное случилось,— а порой оно случается,— я надеюсь доказать вам, что я друг неплохой.

В этот вечер Варрон достал из ларца расписку на шесть тысяч сестерциев и на оборотной стороне, в графе «Прибыль», записал: «Один друг».

ТЕРЕНЦИЙ ОСВАИВАЕТСЯ

Варрон не в силах был сам сообщить «твари», которая после его разговора с Марцией стала ему особенно противна, о счастье, которое он, отец, волей-неволей сам уготовил ему. Но кое-кто уже знал о предполагаемой свадьбе, поэтому Варрон предоставил случаю решить, как и от кого Теренций об этом узнает.

О, конечно, не кто другой, как Кнопс, принес Теренцию весть о предстоящем возвышении.

Произошло это так. Теренций хотя и жил пока во дворце царя Маллука, но жил там безымянно, ибо Маллук и слышать не хотел о том, чтобы открыто признать его, пока брак Теренция с дочерью Варрона не станет фактом. Сам же Теренций мудро остерегался выказывать нетерпение. До сих пор Кнопс, хитро подмигивая, поддерживал игру с двойным переодеванием. Он делал вид, что принимает своего господина,— по-видимому, так хотелось пока Теренцию,— не за человека, называющего себя Нероном, а за прежнего мастера горшечного цеха, который хотя и был Нероном, но не желал пока сбросить маску Теренция. Теперь же, по мнению Кнопса, наступил момент, когда из этих двух личин внешней не следовало больше замечать.

— Я в большом затруднении,— начал он на свой смиренно-наглый лад,— как мне к вам обращаться, патрон. Жители Эдессы утверждают, что горшечника Теренция, хозяина раба Кнопса, уже не существует. И больше того, говорят, будто великому императору Нерону угодно было на время прикрыться личиной Теренция, как Зевс иногда принимает образ быка. Между нами, я, ваш покорный раб, давно уж понял, по тому, как мало вы смыслили в том, что касалось вашей керамической фабрики: вы, должно быть, император Нерон. Но долго ли вашему величеству угодно будет изображать горшечника, этого мне никто не мог сказать; и только с той минуты, как я узнал о вашем решении взять в жены дочь сенатора Варрона, я смею думать, что вы и в самом деле сочли за благо сбросить с себя чужую личину.

Теренцию стоило больших усилий скрыть, насколько его взволновало это неожиданное откровение. Бурное, взбаламученное море чувств высоко подбросило его на своих волнах и тут же низвергло вниз. Упоение собственным величием наполнило его блаженством. Но в то же время он

негодовал на Варрона, который не удостоил его даже словом о том, что сенатор намерен дальше делать с ним. Зато он почувствовал, как тесно связан с Кнопсом, который оказался глашатаем самой судьбы, принесшим великую весть. И он рад был, что всегда верил этому человеку.

Кнопс между тем продолжал говорить. Говорил он о себе. Как двусмысленно его собственное положение! Пока существовал горшечник Теренций, он, Кнопс, был просто его рабом. Теперь же, когда Теренций перестал быть Теренцием и принимает свой прежний облик императора, — кем будет он сам? Он как бы повисает в воздухе. Несомненно, он уже не раб: если Теренций не существует, значит, у него, Кнопса, нет господина. Кто же он в действительности? Он смеет думать, что известные слова о предстоящей перемене, которая и для него будет счастливой, слова, оброненные на фабрике на Красной улице, сказаны были не горшечником Теренцием, а его величеством императором Нероном.

Теренций вполуха слушал бойкую болтовню Кнопса. Ясное дело, он заслуживает воли, хотя бы только за сегодняшнюю весть. Правда, Кнопс должен остаться при нем, он не отпустит от себя Кнопса. Это принесло бы несчастье. Кнопс нужен ему. Как бы вскользь он величественно бросил:

— Разумеется, ты получишь волю с того дня, как я жемюсь на Марции.

Но он не очень следил за собой и сказал это не голосом императора Нерона, а напыщенным тоном горшечника Теренция.

Когда Кнопс ушел, Теренций весь отдался наполнявшему его восторгу. Он рисовал себе картины торжественного бракосочетания его с одной из знатнейших дам Рима, с Марцией Теренцией. Рисовал себе церемонию на главной площади Эдессы, где находились алтарь Тараты, бронзовое изображение богини и ее символы — каменные изображения фаллуса. Варрон, великий Варрон, сенатор, чьей вещью он, Теренций, был, которому он принадлежал, как собака или корова, этот Варрон отдавал ему свою дочь, — больше того, он обязывал его переспать с ней. Он рисовал себе, как он проведет ночь с дочерью Варрона. И тут его радость чуть заметно омрачилась. Нерон — это «Муж», «Нерон» означает «Муж». Он же, Теренций, никогда не чувствовал себя в постели с женщиной сильным, превратности его судьбы, напряжение, которого требовали от него праздные мечты о величии, сравнительно рано подточили его мужскую силу. Он пытался возбудить себя картинами, в которых рисовал

себе дочь Варрона нагой, в полной его власти. Но его волновало лишь то, что Марция — знатная римлянка, ничего больше. Думая о брачной ночи, он испытывал неуверенность. Он надеялся только, что чувство собственного величия в решающую минуту вдохнет в него силу.

Хотя весть была и очень радостна, но он не потерял головы. По-прежнему не обнаруживал никакого нетерпения. Жил отшельником. Работал. Осторожно извлекал из книг и из разговоров с людьми, с которыми ему приходилось общаться, бесчисленные подробности прежней жизни Нерона, упражнениями старался довести свой почерк, в особенности подпись, до полного сходства с нероновской. К нему приставили одного греческого и одного латинского секретаря, одного греческого и одного латинского чтеца. С ними он заучивал наизусть тех классиков, которых любил Нерон, старался в их присутствии декламировать стихи Нерона в манере Нерона. Это занимало все его время.

Он был осторожен и строго воздерживался от всяких официальных выступлений. Но в организации свадебной церемонии он с удовольствием принял бы участие: тут, как и во всех вопросах представительства, он чувствовал себя специалистом. Однако когда он намекнул об этом окружающим и предложил маршрут свадебного шествия, люди смутились. Оказалось, что весь порядок церемонии уже разработан и утвержден. Он испуганно отступил. Рад был уж и тому, что портные, явившиеся к нему для изготовления парадных одеяний, приняли во внимание его робкие советы.

Посетителей он допускал к себе редко. Но когда Гайя потребовала свидания с ним, он велел впустить ее.

Он лежал на софе, с ног до головы — Нерон, и слушал чтеца.

— Что тебе нужно, добрая женщина? — милостиво спросил он, явно развеселившись.

— Отошли этого человека, — потребовала Гайя.

Она стояла перед ним, большая, решительная, глубоко дыша, слегка приоткрыв рот с красивыми крупными зубами. Нерон обратился к чтецу:

— Продолжай, милейший!

Чтец поднял свиток, снова начал читать.

— Отошли этого человека, — настаивала Гайя.

— Ах, наша Гайя все еще здесь? — сказал веселым и в то же время досадливым тоном Нерон. — Скажи же наконец, что тебе нужно, милая?

— Послушай меня, образумься, — настойчиво умоляла его Гайя. — Ты погубишь всех нас, и прежде всего самого

себя. Ослеп ты, что ли? Перестань, бога ради, ломать эту комедию на посмешище варварам.

Чтец отошел в уголок; со страхом, с любопытством смотрел он на женщину, которая говорила с Нероном, потрясенная, видимо, до глубины души, отчаиваясь, борясь, заклиная.

— Я и перестал ломать комедию,— зевая, сказал Нерон.— А вот ты, милая, никак не можешь перестать. Пьеса окончена, актерам пора снять маски. Но играла ты хорошо, держалась молодцом. Ты имеешь право на ренту и получишь ее. Пятсот тысяч в месяц. Запиши это, милейший,— приказал он чтецу.

— Слушай, Теренций,— заклинала его Гайя,— опомнись. Подумай, что ты с собой делаешь? На этот раз ты так дешево не отделаешься, как в ту ночь, когда ты прибежал с Палатина. Мало ты тогда трясся, что ли? Тебе опять хочется того же? Но ведь ты больше не вынесешь такого! Дважды боги не простят такой дерзости.

Она подошла к нему почти вплотную, дотронулась до него руками, стала тормошить его.

— Пойдем домой, Теренций. Там мы подумаем, как быть дальше.

Слова женщины помимо его воли встревожили его. Он оборонялся, досадовал на нее, досадовал на себя, зачем он велел впустить ее, ему хотелось ее ударить. Но он остался императором. Спокойно отстранил он ее, поднес к глазу смарагд, с интересом стал ее рассматривать, словно перед ним был какой-то редкий зверь.

— Она помешалась на своей роли,— решил он.— Мне рассказывали, как иногда актеры тоже вот так сходят с ума, слишком вжившись в роль Эдипа или Аякса. Можешь идти, моя славная,— кротко обратился он к женщине.— Будь покойна. Тебя не оставят.

И он похлопал ее по плечу. Гайя при его прикосновении начала дрожать, громко зарыдала, не сказала больше ни слова, удалилась.

На следующий день Варрон посетил наконец «тварь». Теренций слегка оробел, но виду, конечно, не подал. Сначала все шло хорошо. Варрон держался как истинный придворный перед лицом его величества. Смирненно поблагодарил императора за то, что тот удостоил его дочь Марцию великой чести, возвысив ее до себя; тут же изложил императору программу свадебных торжеств, почтительно испросил его согласия на эту церемонию, к обсуждению которой он Теренция не допустил.

Незаметно, намеками давал он ему указания, как держать себя, чтобы как можно более походить на подлинного императора. Он стремился давать советы ненавязчиво, как бы мимоходом, но не мог удержаться, чтобы не вложить в них легкую иронию и презрение. И Теренций был уязвлен, даже сквозь свою маску. Варрон сказал ему:

— К сожалению своему, я вижу, что ваше величество прибегает теперь к смарагду гораздо чаще, чем раньше. Ваша близорукость, стало быть, с годами усилилась, тогда как обычно она с возрастом ослабевает. Правда, близорукость имеет свои преимущества: яснее видишь вблизи мелкие предметы. Вопрос лишь в том, — добавил он задумчиво, — не следует ли предпочесть дальнорукость, свойственную нам, простым смертным...

Надменный Варрон не мог предположить, что его бывший раб способен будет уловить в этих словах издевку. Но презрение проникает и сквозь панцирь черепахи. На Теренции же не только не было панциря, но, напротив, у него была очень чувствительная кожа. Он опустил руку со смарагдом, доставлявшим ему так много удовольствия и нередко выводившим его из затруднений, сердито и беспомощно сдвинул брови и на протяжении всего разговора ни разу более не поднес любимого смарагда к глазам.

5

БРАКОСОЧЕТАНИЕ НЕРОНА

Решившись выйти замуж за этого червяка, как Марция мысленно называла Теренция, она заковала себя в двойную броню, чтобы ни перед кем не обнаружить страха, сомнений, отвращения и тайного вожделения.

Как хотелось ей поговорить с полковником Фронтоном! С тех пор как ей пришлось, следуя за отцом, бежать из Антиохии, отказаться от своей мечты — решиться на поощрение Фронтоня, ее мысли часто возвращались к элегантному офицеру, римлянину с головы до пят, который с такой естественно присущей ему сдержанностью выказывал ей свое поклонение. Ночью, лежа в постели, она представляла себе, как бы это было, если бы она принесла этому человеку свое столь долго оберегаемое тело — огромный дар. Она лежала бы с закрытыми глазами, сопротивляясь и смиряя себя, холодная и пылающая, страстная и строгая. Но именно потому, что она так много думала о Фронтоне, именно

потому, что страсть ее была направлена на него, она теперь не могла заставить себя поговорить с ним откровенно, как с другом, о том ужасе, который предстоял ей; теперь Фронтон был и меньше и больше, чем друг.

Так, ни с кем не делясь, носила она в себе свои вожделения и страхи. Мать внушила ей брезгливое отвращение ко всему плотскому. Марция была предназначена оберегать священный огонь Весты, готовилась к жизни в чистом, строгом доме весталок на Священной дороге. Она должна была высоко, подобно орлу, парить над низменными людьми и низменными страстями. Варрон помешал этому. Мать ненавидела его за это вдвойне и в дочери взрастила отвращение к разнузданной жизни отца. Мать предсказывала, а Марция верила, что подобная жизнь отца до добра не доведет, и когда Варрона с позором вычеркнули из сенатских списков, Марция решила еще строже держаться прямого пути, предначертанного ей матерью; теперь, как ей казалось, она одна была обязана оберегать честь своего великого прославленного рода.

И вот судьба, вопреки всему, толкнула ее на путь отца. Перед ней открылась участь, двусмысленная, как участь отца: она должна была стать женой человека, который был одновременно и императором и рабом. И больше всего приводило ее в смятение то, что она не чувствовала отвращения к этой участи. Наоборот: точно так же, как разнузданность отца вызывала в ней не только ненависть, но и зависть и восхищение, будущее, открывшееся перед Марцией, несмотря на всю свою гнусность, влекло ее к себе неудержимо и таинственно.

Обычай страны не разрешал, чтобы жених и невеста виделись до свадьбы. Марция старалась вызвать в памяти лицо и фигуру Теренция, которого она, несомненно, иногда встречала; ей это не удавалось. Но она навсегда запомнила массивное, своевольное лицо императора Нерона,— в годы своего детства, когда император был еще жив, ей часто приходилось видеть его. Подолгу стояла она перед статуями императора, которым теперь вновь воздавались почести, и представляла себе, как этот каменный император оживает, обвивает ее рукой, как он сбрасывает тогу, как они тело к телу лежат в постели, как он прижимается бедрами к ее бедрам,— и ее охватывал ужас, от которого останавливалось сердце, и желание, опалявшее ее, как огонь.

Но это не был император Нерон, это был горшечник Теренций, раб, существо низменное, нечистой крови, это

был отброс, и с ним предстояло ей соединиться. Она была в полном смятении.

Но она умела владеть собой, и внешне — раз решившись на это — она была невестой императора, и только. Усердно выполняла она многочисленные обряды, налагаемые римской традицией на обрученных.

В канун свадьбы, как только начало темнеть, она терпеливо дала облачить себя в желто-красное огнецветное одеяние невесты; свою девическую одежду вместе с игрушками она посвятила, как предписывал обычай, домашним богам.

Она плохо спала эту ночь. Мечты о Фронтоне перемешивались с боязливymi, жадными грезами, прежде посещавшими ее перед статуями императора. Желание ощутить близость человека, называвшего себя Нероном, вырастало в страсть, от которой горело все тело.

Но когда ранним утром он явился за ней, окруженный пышностью и великолепием, в пурпуре, с колесницами и огромной свитой, она была разочарована. Он сиял, он был императором в речах и движениях. Однако чары, державшие ее в оцепенении перед статуями императора, не приходили. Она не чувствовала ни благоговения перед носителем высшей власти, ни превосходства над рабом, ни вождения к мужчине. Никаких чувств не было. Была пустота. Человек, подавший ей руку, был никто — не император и не раб, оболочка без содержания. Никто. Первый встречный. Драгоценнейшую минуту своей жизни она разделит не с любимым, не с ненавистным — с пустым местом.

Сверкая великолепием, поехали они по улицам города к главной площади Эдессы. Десятки тысяч людей, стоявшие на площади, затаили дыхание, когда император и Марция появились перед алтарем Тараты. На Марции было традиционное одеяние невесты: длинная белая туника, перехваченная шерстяным поясом с искусно завязанным геркулесовым узлом, который должен был развязать жених; поверх туники — накидка, тоже традиционного, желто-красно-огненного цвета. Желто-красно-огненными были и высокая обувь, и фата. На волосах Марции, разделенных, как предписывал обычай, на шесть локонов, покоилась тяжелая, величественная зубчатая корона, под которой ее тонкое лицо казалось еще более нежным и строгим.

Священнослужители, заколовшие жертвенное животное и осмотревшие его внутренности, доложили, что божеству

этот брак угоден. Брачный контракт был подписан. Невеста произнесла формулу:

— Так как ты именуешься Клавдий Нерон, то пусть я именуюсь Клавдия.

Теренций ответил:

— Я, Клавдий Нерон, даю согласие, чтобы ты именовалась Клавдия.

Предводительница шествия вложила правую руку жениха в правую руку невесты. Пока приносились в жертву плоды полей, оба, окутав головы покрывалами, сидели в креслах, над которыми, соединяя их, была распростерта шкура жертвенной овцы, заколотой сегодня на рассвете. Затем они обошли, читая молитвы, алтарь, оставив его по правую руку от себя; впереди шел мальчик и бросал фимиам в огонь алтаря.

После пиршества, происходившего в доме Варрона, свадебная процессия направилась во дворец царя Маллука, где жил жених. Кругом народ кричал:

— Талассий! Талассий!

С древнейших времен никто по-настоящему не понимал, что это значит, и теперь тоже никто не знал этого, но как тогда, так и теперь каждый подразумевал под этим словом что-то весьма определенное, непристойное. Свита жениха бросала народу орехи, а так как женихом был император, то орехи были золоченые. Впереди Марции шел мальчик с факелом из ветки боярышника. Когда шествие приблизилось к дому жениха, толпа бросилась к факелу и разломила его на бесчисленное количество кусков; люди дрались за каждую лучинку, ибо тому, кто обладал частичкой факела невесты, боги дарили долгую жизнь,— какое же долголетие сулил факел невесты императора!

Провожатые подняли Марцию и перенесли через порог. В покое было приготовлено широкое брачное ложе. Сбоку от него присел высеченный из камня шуточный приапический бог Мутун Тутунс, покровитель новобрачных. Марцию посадили ему на колени, так что могучий фаллос касался ее.

И вот она сидит на этом непристойном камне. Свадебная свита наконец-то удалась, она — наедине с этим человеком. Что теперь будет? Весь день он держал себя ровн, спокойно, не без достоинства, никак не вызывая тех чувств, которые должна была бы рождать близость высочайшей особы, но никак не давая повода также к насмешкам или презрению. Вот он стоит перед нею, «Муж-Нерон», ее Нерон, ее муж. Он и в самом деле походил на те статуи.

Неужели камень сейчас действительно превратится в плоть и совершит то, о чем она мечтала?

Для горшечника Теренция это был великий, но очень утомительный день. Сенатор Варрон своевременно передал ему записку с перечнем всего того, что ему, Теренцию, полагалось в течение этого дня проделать. Теренций, понаторевший в заучивании наизусть классиков, с легкостью усвоил содержание записки и действительно держал себя в высшей степени по-императорски. Но насладиться своим величием он, изнуренный непрерывными усилиями, был уже, разумеется, не в состоянии. И вот он сидит здесь, наедине с этой бледной, надменной сенаторской дочкой, которая имеет право требовать и ждет от него, чтобы он за нее взялся.

Конечно, великая честь, что она и все остальные ждут от него этого. Да и вправду сказать, хотя он предпочел бы что-нибудь подороднее, пожирнее — сегодня утром его невеста показалась ему лакомым кусочком, прямо-таки красивой. Однако сейчас, после бесконечных церемоний, он чертовски устал, право, он совершенно измучен и охотнее всего лег бы один. К тому же в записке Варрона изложены были все возможные правила поведения, но на день и ни одного — на ночь. С чего начать? Развязать искусно запутанный геркулесов узел, которым был завязан ее пояс, или сперва самому раздеться?

Ну, ладно. Вперед. Кто взобрался на такую высоту, тот сумеет справиться с девчонкой. Чтобы распалить себя, он старался вызвать в воображении самые сладострастные образы. Но возбуждения не было. Марция сидела неподвижно. Он стал рассматривать свои руки. Он очень следил за ними, они были белы и хорошо пахли. Прошло немало времени в полном молчании. Что-то нужно было сделать.

— Да, моя Марция, — сказал он и подошел к ней. Но не походкой Нерона. Зачем? Теперь нужно беречь силы для другого. Осторожно снял он с нее огнецветную мантию. Он не бросил драгоценную ткань на пол, а аккуратно, по-хозяйски развесил ее на стуле. Затем нерешительно снял с головы Марции венец и попытался с легким вздохом развязать запутанный узел на поясе. Марция, не шевелясь, позволяла делать с собой все, что он хотел. Касаясь нечаянно ее лба или руки, он чувствовал, что она холодна как лед.

На ней оставалась одна туника. Он подумал, что до сих пор вел себя не слишком победоносно, и решил показать себя мужчиной. Он стал возиться с завязками на ее тунике

и, так как они не поддавались, рванул и разорвал тунику донизу. Марция осталась нагая: холодная, тонкая, белая, с остроконечными грудями. Он схватил ее, она была не-тяжела, без усилия понес на кровать. Она лежала, сдавленно дыша.

— Погаси свет,— попросила она.

Он разделся, лег рядом. Он чувствовал, что она по-прежнему холодна, это злило его. Он грубо обхватил ее. Она задрожала, тихо вздохнула. «Если женщина так холодна, ей нечего ждать, что мужчина распалится». Он надеялся, что, если как следует разозлиться, дело пойдет легче. И он разозлился, потому что она молчала, потому что она не помогала ему. Крепче сжал ее.

— Скажи: «Рыжебородый Малыш»,— потребовал он; так называла императора Акте, его первая подруга, и так называл его народ. Теренцию говорили, что император любил, когда его так называли.

Она молчала. Он больно стиснул ее. Она коротко вскрикнула.

«Нежная она, эта куколка»,— подумал он с раздражением, обхватил ее плотнее, ущипнул.

— Нет,— сказала она,— нет.

Он сразу, точно ждал этого слова, отпустил ее.

«Если она не хочет,— подумал он обиженно,— Нерон не станет навязываться».

Он отвернулся от нее, довольный собой. Весь день он держал себя как истинный император, он заслужил покой и сон. Он поудобней пристроил подушку, спросил себя, пожелать ли Марции спокойной ночи или сделать вид, что он обижен. Добродушно,— в сущности, он и был добродушным человеком,— пробормотал он «спокойной ночи», произнес эти слова по-гречески: так, казалось ему, будет благородней, и, кроме того, в словах этих не было «тэты». Очень скоро он уснул. Спустя несколько минут раздался легкий храп.

Марция лежала застывшая, опустошенная, разочарованная. Ее возмущало, что человек этот осмелился так грубо наброситься на нее, и еще больше — что он отвернулся. Высокомерно говорила она себе, что именно сила ее превосходства указала рабу его место. Она должна гордиться, что помешала этому животному сделать с ней то, что он хотел. Но гордость эта быстро испарилась. Она обоняла его запах, слышала его дыхание.

— Рыжебородый Малыш,— произнесла она тихо, сердясь на себя, что не сразу повиновалась ему.

Она надавливала на места, где он ущипнул ее. Было больно. Завтра здесь будут синяки, это все, что ей останется от брачной ночи. Разочарование, то возбуждая, то леденя ее, доставляло ей почти физическую боль.

Он лежал, спал, слегка похрапывал.

Всю ночь она так и не согрелась. Чуть только забрезжило утро, встала. Босая, узким девичьим шагом прошла она через комнату. Она увидела подвенечную мантию, аккуратно развешенную на стуле. «И вот этот утверждает, что он — Нерон!» — подумала она.

6

ХИТРОСТЬ

Получив донесение Фронтонa о событиях в Эдессе, Цейоний был взбешен, но едва ли не более того испуган. Такой жгучей была, значит, ненависть Варрона к нему, что собственную любимую дочь он отдал в жены рабу и мошеннику, лишь бы нанести вред ему, Цейонию. Он теперь ясно видел то, что всегда подозревал: противником Рима был не внешний враг, не какой-нибудь Пакор или Артабан; подлинный враг Рима гнезвился внутри империи и звался Луций Теренций Варрон. Это Варрон виноват в том, что Восток все продолжает бурлить. Значит, его глубокая неприязнь к Варрону диктовалась здоровым инстинктом.

Снова и глубже прежнего понял он: то, что происходило между ним и Варроном, было серьезнее, чем личный конфликт. Он, Цейоний, — это новый Рим, Рим, полный сознания своей ответственности, трезвый, расчетливый, благоразумный; Варрон же — воплощение необузданного прошлого. Страстный, может быть, гениальный, он отличался той безудержностью, той безответственностью, которые во времена Нерона исключали возможность разумного управления государством и привели империю на край гибели.

Он читал ясные, корректные рапорты полковника Фронтонa. Слепой гнев вскипал в нем. «Выступить, — думал он в бешенстве. — Десять тысяч человек двинуть через Евфрат. Выловить Варрона, этого лицемера, этого предателя. Попрошайку, царя Маллука, низложить, приструнить верховного жреца Шарбиля. Варрону отрубить голову, а негодяя раба распять на кресте!» Он чуть ли не сожалел, что Фрон-

тон сохраняет такое благоразумие. Возможно, он даже предпочел бы, чтобы гарнизон в Эдессе был вырезан до последнего солдата, тогда у него был бы предлог вмешаться.

Советникам стоило больших усилий удержать его от опрометчивых шагов. Ему пришлось согласиться, что военная экспедиция в Эдессу невозможна. Такая экспедиция лишь дала бы Артабану желанный повод под лозунгом оборонительной войны против Рима положить конец внутренней распри в Парфянском царстве, перейти Тигр и двинуться на римлян. Палатин ставил себе в величайшую заслугу то, что он восстановил мир и поддерживал его. Император Тит любил называть себя миротворцем. Губернатор, который не только не сумел избежать войны с парфянами, но даже сам спровоцировал ее, несомненно, навлек бы на себя немилость. Нет, Цейоний вынужден был ограничиться тем, что направил Эдессе несколько бесполезных нот. Вынужден был сложа руки наблюдать, как Варрон дальше плетет сеть своих интриг и издевается над ним. Он задыхался от ярости, красные пятна на щеках горели ярче. В губернаторском дворце в Антиохии все ходили, словно пришибленные.

Ежедневно собирался военный совет. Губернатор просил, заклинал, ругал своих советников. Так дальше продолжаться не может. Советники ломали себе головы. Надо было найти выход. Советники, сидевшие во дворце правительства Сирии, были матерые дипломаты. Они нашли выход.

Разумеется, сам Рим не может предпринять никакой военной экспедиции. А если сослаться на старые договоры и предложить одному из вассальных государств провести полицейскую акцию для поимки преступников? Обратиться, например, к соседу Эдессы, царю Коммагены Филиппу, и настойчиво попросить его, не стесняясь средствами, поймать и выдать Варрона и Теренция? Если Коммагена выступит — а способы принудить Филиппа имеются, — то это будет достаточной маскировкой. Парфянам можно представить в качестве виновника царя Филиппа: ему, мол, поручили провести полицейскую меру, а он по недоразумению превысил свои полномочия.

Цейоний, жадно ловивший каждую возможность действовать, вздохнул с облегчением. В тот же день он отправил послание царю Филиппу Коммагенскому.

РАССУДОК И СТРАСТЬ

Когда Варрон узнал об этом, им овладела усталость, подавленность. Его мучило сознание, что он, пятидесятилетний стареющий человек, в угоду своим страстям позволил себе увлечься этой нелепой, дорогостоящей забавой. Конечно, это больше, чем простая забава, — дело идет об идее Александра, о слиянии Азии с Европой. Но ведь он, Варрон, уверовал в эту идею исключительно потому, что она послужила для него предлогом дать волю своей страсти к игре, своему алчному стремлению к власти и наслаждениям.

Долго сидел он так, чувствуя себя старым, изношенным. Не сразу вернулись к нему ясность мысли и энергия. Да, план, сочиненный в Антиохии, — не посылать собственных войск, а действовать через Коммагену, — придуман ловко. Парфянский царь Артабан еще выступил бы, пожалуй, против римлян, но с туземными сирийскими войсками он драться не будет. Если дело дойдет до вооруженного конфликта между Коммагеной и Эдессой, то ему, Варрону, вместе с его Нероном, неоткуда ждать помощи — они погибли.

Все зависит от того, дойдет ли дело до вооруженного конфликта. Следовательно, все зависит от царя Филиппа Коммагенского. Исполнит ли он, должен ли он исполнить требование Цейония?

Варрон представил себя на месте Филиппа. Филиппу было лет за тридцать. Отпрыск греческих и персидских царей, получивший превосходное образование, он был под этими небесами самым ревностным поборником развития наук и искусств. Нерон любил коммагенских властителей и предпочитал их всем другим. Нынешние наместники Рима изводили их придирами. Еще старый неотесанный Веспасиан терпеть не мог утонченно-культурного эстета — царя Филиппа, а Тит находил его «насквозь восточным». Филипп был слишком умен, чтобы защищаться; наоборот, на каждую новую придиру он отвечал новыми изъявлениями вежливости. Но в душе Филипп — в этом Варрон не сомневался — ненавидел неотесанных, грубых солдат, какими римляне проявляли себя по отношению к нему. Несомненно, сердце его принадлежало человеку, которого звали Нерон, кто бы ни был этот человек. Но Коммагена находится по ту сторону Евфрата, на римском берегу: в Само-

сате, столице Коммагены, стоит сильный римский гарнизон, и если царь Филипп проявит строптивость, римляне не задумаются напасть на него и занять его страну. Ему придется, очевидно, волей-неволей выполнить желание Цейония просто потому, что другого выхода нет.

Друзья молодого царя говорили о нем, что он соединяет в себе все хорошие качества персов, греков и сирийцев: персидскую религиозность, греческую образованность, сирийскую ловкость. Враги обвиняли его в том, что он соединяет в себе все дурные качества этих народов: расплывчатость персов, мягкотелость греков, коварство сирийцев. Варрон всего два раза лично сталкивался с молодым царем. Они явно симпатизировали друг другу. Теперь судьба его была в руках Филиппа. Варрон решил отправиться в Самосату, столицу Коммагены.

В тот же день он снарядился в путь.

Для царя Филиппа это была радостная и в то же время неприятная неожиданность. Варрон, несомненно, слышал о требовании Антиохии выдать его, почему же он сам отдает себя в руки Филиппа? Что он задумал? Но оба были слишком хорошо воспитаны, и потому, возлежав за столом, ни Варрон, ни царь не обнаружили того, что их занимало. Они вели оживленную беседу об искусстве и литературе, хотя втайне Филипп и спрашивал себя, не следует ли при всей его симпатии к Варрону попросту поставить у дверей стражу и завтра же отправить Варрона в Антиохию.

После трапезы Варрон заговорил без околичностей:

— Вы не находите, царь Филипп, что с моей стороны было очень любезно избавить вас от необходимости похода и самому отдаться вам в руки?

Царь Филипп не сдерживал более своего волнения. Он встал. Высокий, хрупкий, с безвольным подбородком, он прошелся несколько раз взад и вперед неловким, неровным шагом, затем остановился перед Варроном, старательно всмотрелся большими близорукими глазами в его лицо и сказал:

— Я, конечно, удивлен, мой Варрон. Мне незачем говорить вам, как неприятно мне поручение губернатора. Но такому знатоку Востока, как вы, скорее чем кому бы то ни было понятно, что я вынужден его выполнить.

— Разумеется, вы должны его выполнить,— признал Варрон,— мы, мой Нерон и я, имеем мало шансов продержаться. Даже в том случае, если Артабан предоставит в наше распоряжение двадцать — тридцать тысяч солдат,—

а это еще тоже под вопросом,— победителем в конце концов в меру человеческого предвидения останется Рим. Рас-судок, стало быть, повелевает, чтобы вы, царь Филипп, выполнили поручение губернатора. Помимо всего прочего, это даст вам множество выгод. Эдесса будет наказана, территория ее разделена, и, возможно, если вы с успехом проведете карательную экспедицию, вам отойдет значительная часть земель.

Долговязый, тощий царь Филипп беспомощно смотрел вниз, на спокойно говорившего Варрона. Все обстояло именно так, как говорил Варрон. Он сам не мог бы лучше изложить причины, побуждавшие его против воли подчиниться требованию Рима. Он был смущен и разочарован. Втайне он надеялся, что Варрон укрепит в нем не готовность подчиниться Риму, а, наоборот, его внутренний протест против этого.

Но Варрон еще не кончил. Вкрадчиво, после продолжительного молчания, он начал снова:

— Конечно, в Эдессе, во всей Месопотамии и при дворе Великого царя Артабана все будут удивлены, что царь Филипп выдал императора Нерона и меня римскому узурпатору. Скажут: если уж маленькая Эдесса не побоялась вступить за Нерона, то более сильной Коммагене, конечно, следовало бы рискнуть. Возможно, что Артабан только того и ждет, чтобы еще какое-нибудь месопотамское государство признало Нерона, и тогда он тоже примкнет к нему. Но какое дело, в конце концов, царю Коммагены до нескольких миллионов негодующих сирийских патриотов, если он может присоединить к своему царству изрядный кусок Эдессы?

Царь Филипп, как ни странно, не без удовольствия слушал, как Варрон издевается над его несамостоятельностью и нерешительностью. Филипп любил блеск и богатство, у него была страсть к строительству, его манила перспектива построить на сокровища, которые даст ему военная добыча в Эдессе, дворцы, бани, театры, новый город. А с другой стороны, был огромный соблазн: воспользоваться случаем и взбунтоваться против этих заносчивых, неотесанных, кичливых насильников с Запада, которые по каждому поводу так грубо и глупо давали ему почувствовать свою силу. Нелегко было выступить против дружественной Эдессы. Нелегко было именно ему, сирийскому царю, выдать палачу человека, на которого возлагало надежды все сирийское Междуречье.

Варрон продолжал:

— Полагаю, царь Филипп, я доказал вам, что отдаю должное мотивам, которые руководят вами, и что не буду на вас в обиде, если вы подчинитесь голосу рассудка. Но поскольку уже решено, что вы — смею надеяться, скрепя сердце — выдадите меня Дергунчику, и поскольку я несколько не сержусь на вас за это, то позвольте мне предложить вам рискованный вопрос.

— Пожалуйста, спрашивайте,— сказал царь Филипп.

Длинный и тонкий, он сидел под большой статуей Минервы, которая, по тогдашней моде, тоже была длинной и тонкой.

— Вы, стало быть, подчинитесь Риму,— сказал Варрон,— и Рим вас за это вознаградит и расширит вашу территорию. Но пройдет немного времени, и Рим снова предъявит вам какое-нибудь требование, которое опять-таки будет вам не очень по сердцу. Из тех же соображений, что и теперь, вы опять уступите, и тогда Рим в третий раз выставит требования, еще большие, и, наконец, придет день, когда вам станет невольно, и в этот последний раз вы волей-неволей откажетесь. Иначе вы вынуждены будете отдать столько, что уж больше нечего будет отдавать. Другими словами, не кажется ли вам, царь Филипп, что в один прекрасный день Рим, несмотря на ваше добродетельное поведение, найдет предлог захватить Коммагену?

Лицо Филиппа, крупное лицо интеллектуала, было бледно, рот слегка приоткрыт. Филипп серьезно смотрел в глаза Варрону, умный, печальный, усталый поздний отпрыск великих царей. Он молчал, но все его существо выражало мрачное, горькое «да».

Варрон наслаждался его молчанием. Затем он сказал:

— Благодарю вас за ответ. Эдесса меньше Коммагены. Царь Маллук не слишком культурен, а Шарбиль — поп, начиненный фанатическими предрассудками. Но в их сирийских головах достаточно здравого понимания действительности, и когда губернатор Сирии предложил им выдать нас, они, я полагаю, не хуже нас с вами понимали, чего требует разум. Я не знаю, что в конце концов побудило их отклонить требование Рима. Может быть, следующий довод: если мы всегда будем уступать, то можно гарантировать на сто процентов, что Рим в конечном счете проглотит нас. Если же мы теперь, пользуясь этим великолепным, соблазнительным предлогом, дадим отпор Риму, тогда против нас только девяносто процентов вероятности. Лучше десять шансов теперь, чем впоследствии ни одного. Вы, конечно, молоды, царь Филипп. Если бы вашу страну и ан-

нексировали, то вам бы оставили ваш царский титул и часть доходов. Вы поселились бы в Риме, заняли бы место в сенате, при дворе вашем были бы поэты, артисты, женщины. Вы избавились бы от многих неприятностей, с которыми связано управление страной, и Рим так далек от Самосаты, что проклятья восточных богов и людей доносились бы до вас лишь как отдаленный шум моря. Жить в Риме как высокопоставленное частное лицо — в этом много привлекательного. Никто не знает этого лучше меня. Вам, вероятно, неизвестно, что до недавних пор у меня были все возможности вести в Риме ту жизнь, которую я вам только что нарисовал. Вы удивлены, что я все же объявил себя сторонником моего Нерона. До конца я и сам этого не понимаю. Мы, люди старшего поколения, не так высоко ценим разум, как вы, молодые. А может быть, мы понимаем его иначе, так что порой и самая блестящая жизнь теряет в наших глазах ценность, если нам приходится отказаться от некоторых абстрактных идей.

Царь Филипп все так же неподвижно сидел под статуей Минервы. Его бледное, крупное лицо казалось туповатым, — так внимательно он слушал.

— Прошу вас, продолжайте, Варрон, — попросил он, когда сенатор умолк.

— Я кончил, — ответил Варрон. — Пожалуй, только еще вот что. Разве это не глупая ирония судьбы, что победа нашего Нерона зависит от того, продержимся ли мы первые несколько недель, не нападет ли на нас в эти первые недели Рим! Если нашему императору удастся удержать власть четыре, даже три недели, пока, как я говорил, царь Артабан признает его, то притязания Нерона обеспечены на долгие годы. Если он хоть раз добьется серьезного успеха, если, к примеру сказать, на его сторону встанет Артабан, если хоть раз Восток ясно увидит: Нерон жив, Нерон здесь, Нерон царствует, — то одно его имя, одно его существование будет уже означать постоянную угрозу для Рима, даже если Нерон временами и будет лишен возможности опираться на сильное войско. В этих случаях он спокойно сможет на несколько месяцев укрыться в степи, а затем, как только положение улучшится, снова появиться на горизонте. У Рима большая армия, но у Рима все-таки не хватит солдат, чтобы обшарить в погоне за Нероном весь Восток. Риму пришлось бы начать новую войну с парфянами, но при существующем положении вещей он ни за что не сделает этого. Одна Эдесса — этого мало. Но если и Коммагена

поддержит Нерона, — значит, он прочно сидит в седле и может скакать куда угодно.

Царь Филипп не спускал глаз с его губ. Да, этот человек принял для себя решение, то соблазнительное решение, на которое Филиппу не хватает мужества. Этот Варрон, прекрасно сознавая, что именно сдерживает и парализует его самого, глубже заглянул в свое «я», чем он, Филипп, и в тех тайниках, где уже не правит разум, почерпнул силы, чтобы разум этот победить. Царь Филипп завидовал Варрону и восхищался им. В конечном счете не умнее ли действительно сохранить порядочность? В этом Варрон прав: если он, Филипп, неизменно будет выказывать римлянам покорность, то, несомненно, мнимому суверенитету Коммагены скоро придет конец, если же он воспротивится, то у него будет хотя бы один шанс — пусть слабый — конец этот предотвратить.

— Я поговорю с капитаном Требонием, милый Варрон, — сказал Филипп почти весело, так как решение было принято. — И прошу вас, не будьте на меня в обиде, — добавил он, давая понять, что аудиенция окончена, и улыбнулся открыто, широко, — если я на некоторое время поставлю у ваших дверей стражу.

8

ЕЩЕ ОДИН РИМСКИЙ ОФИЦЕР

Капитан Требоний начал службу рекрутом. Теперь он был офицером — носителем орла Четырнадцатого легиона. Среди солдат Востока он был самым популярным. И друзья и недруги его знали о подвигах, совершенных им во время Армянской и Иудейской войн. На службе в высшей степени суровый и грубый, этот плотный человек, с круглой головой на могучей шее и каштановой шевелюрой, держал себя вне службы с солдатами запросто, вместе с ними пьянствовал и шатался по притонам. Его крепкие остроты пользовались широкой славой. Он был любимцем армии, и население восхищалось им и встречало его бурным ликованием везде, где бы он ни появлялся.

В губернаторском дворце в Антиохии и в высших военных сферах Рима его популярность, конечно, была известна. Император Веспасиан, ценивший народный юмор, хотел даровать Требонию благородное звание, но так как некоторые знатные господа, которым Требоний казался уж

очень вульгарным, выражали свои сомнения на сей счет, Веспасиан воздержался от этого. Низкого происхождения и не возведенный в ранг всадника, капитан не мог получить чина выше того, какой имел. Как бы ни потешался он над аристократишками, сколь бы часто ни подчеркивал, насколько любовь армии ему дороже нашивок полковника или генерала, его уязвляло все-таки, что высокие господа не допускают его в свой круг.

Он был честолюбив и имел много отличий. За героические подвиги он получил пурпурный флажок и почетное запястье, он завоевал для себя и своего коня Победителя нагрудную перевязь первой степени. Но у него не было Стенного венца — золотой короны, которая полагалась тому, кто первый поднимется на стену осажденного города. Капитан Требоний считал, что он заслужил это отличие дважды. Он лишь презрительно пожимал плечами или смеялся громким, жирным смехом, говоря о подлых спекулянтах, которые отказали ему в заслуженной награде и сунули ее другим. И все же заноза эта засела глубоко.

По должности и положению полковник Фронтон в Эдессе и капитан Требоний в Самосате были равны. Но антиохийские власти прекрасно знали, почему они поставили во главе пятисот солдат в Эдессе изысканного аристократа Фронтонна, а гарнизоны четырех городов Коммагены в количестве двух тысяч солдат подчинили капитану Требонию. В Эдессе нужно было обладать дипломатическими способностями, задачи римского командира были там чрезвычайно деликатны. Назначением же Требония в Самосату достигались две цели: во-первых, унижали нелюбимого царя Филиппа тем, что в качестве представителя Рима посылали в его столицу плебей, во-вторых, любимому капитану Требонию, о котором знали, что он звезд с неба не хватает, предоставлялось теплое местечко, где дела управления не требовали от него никаких усилий, так как там все делалось, можно сказать, само собой. Однако в результате военные власти лишь больше озлобили обоих офицеров; ибо точно так же, как Фронтон стремился в большой культурный город Самосату, честолюбивому Требонию хотелось занять деликатный, ответственный пост в Эдессе.

Требоний возмещал нанесенный его честолюбию ущерб тем, что бессовестно эксплуатировал население Коммагены. Он открыто показывал, что считает не Филиппа, а себя властителем Коммагены. Умножал свои богатства всюду, где только мог. С вульгарным, зверским лицом, жирный, лоснящийся, увешанный сотней знаков отличия, в форме из

самой дорогой ткани, бряцая оружием, сверкавшим до такой степени, какая только допускалась, спесиво шагал он по красивым улицам Самосаты. Содержал княжеский двор, большие конюшни, неистово охотился за женщинами и дичью по всей стране.

В сущности, царь Филипп был доволен тем, что римляне из всех своих многочисленных офицеров послали к нему именно этого. Правда, отпрыску персидских и греческих богов и царей противно было прикосновение этого человека. Тем не менее, когда тот жирными пальцами фамильярно дергал его за полу или обнимал волосатой рукой, он не позволял себе отпрянуть назад. Он видел Требония насквозь: это был игрок, искатель приключений, раб собственных низменных страстей, да еще ущемленный в своем честолюбии. Легко было вообразить себе случай, когда такой человек мог пригодиться.

И вот такой случай представился. Тотчас же после разговора с Варроном царь велел позвать капитана к себе.

Требоний явился. Он был в прекрасном расположении духа. Широкий, тяжелый, сидел он среди изящной мебели.

— Итак, царь Филипп, — начал он своим гулким, пустым голосом, — сын моей матери радуется предстоящей прогулке в Эдессу. О, теперь вы увидите наконец, каков на деле старый Требоний! В гареме царя Маллука вы найдете красивейших женщин, какие только есть между Коринфом и Сузами. О, там мы позабавимся на старости лет! Вам — две, мне — одну. Но, молодой царь, лицо у вас почему-то как скисшее молоко. Говорю вам, мы с этим Нероном, а заодно и царем Маллуком и его Шарбилем разделаемся в два счета. А Варрон уже у нас в руках.

Он рассмеялся своим жирным смешком.

Филипп ничем не обнаружил, как резали ему ухо плоские, фамильярные шутки этого человека и далматинский диалект, на котором они произносились.

— Мне, конечно, делает честь, — ответил он спокойно, на чистом, бесцветном латинском языке, изысканность которого всегда вызывала у Требония досаду, — что Рим именно мне доверил это дело. Но в этом почетном кубке есть несколько капель горечи. И первая из них: я не испытываю ни малейшего удовольствия от мысли, что мне придется выступить против моего друга Маллука.

Требоний широко усмехнулся.

— Я вас понимаю, молодой царь, — ответил он. — Вы опасаетесь, вероятно, что затем придет ваш черед и мы проглотим и вас вместе с вашим царством. Напрасно. Если

вы будете молодцом, то капитан Требоний замолвит за вас словечко. А к Требонию прислушиваются даже на Палатине.

— Благодарю вас за доброе слово,— улыбнулся Филипп.— Теперь капля вторая,— продолжал он.— У меня возникли сомнения юридического порядка. По договору с Римом я обязан оказывать помощь императору и его наместникам в проведении полицейских мер по отношению к его подданным, находящимся на моей территории. Но с каких пор Эдесса входит в мои владения?

— И вы мучитесь из-за таких тонкостей, молодой царь? — ответил капитан.— Я не юрист. Но не сомневаюсь, что наши юристы найдут зацепку, чтобы вытащить вас из лужи. Мы, к примеру сказать, попросту подарим вам часть Эдессы. И она станет вашей территорией. Я похлопочу на этот счет.

Он дернул царя за полу, рассмеялся, бляхи и цепи, навешанные на его груди и руках, зазвенели.

Филипп поднялся; длинный и тонкий, стоял он под статуей Минервы.

— А теперь третья капля — самая горькая,— сказал он своим бесстрастным голосом.— Император Нерон — последний отпрыск рода Юлия Цезаря, я — последний отпрыск рода Александра. Возможно, что вы такие резоны сочтете сентиментальными. Что, если этот человек из Эдессы окажется действительно императором Нероном? Мне представляется особенно неприятным, если внук Александра отправит на крест внука Цезаря. А разве вы, в конце концов, уверены, что человек этот не Нерон? Видите ли, сенатор Варрон прибыл сюда специально, дабы подтвердить, что это действительно Нерон. Только для этой цели он добровольно явился ко мне.

«Да, вести он себя умеет, этот мальчик! — думал Требоний.— Как ловко он ввернул в разговор, кто он такой. Легко, конечно, держать себя по-царски, когда с самой юности другой муштры не знаешь. Ему бы скомандовать: «Выпад вправо, копье слева над головой», — хорошенький вид он бы имел». Вслух Требоний сказал:

— Уверен ли я? В чем можно быть уверенным в этом поганом мире? Но если Тит, верховный главнокомандующий римской армии, приказывает не считать этого человека в Эдессе Нероном, значит, он не Нерон.

Царь Филипп, мечтательно разглядывая свои длинные пальцы, размышлял вслух:

— Я допускаю, что этот верховный главнокомандующий — хороший солдат, а Нерон, как говорят, не был

хорошим солдатом. Но Нерон не был и скаредой, а эти новые — хорошие солдаты, но щедростью не отличаются. Армия, как известно, любила Нерона. Когда легионы увидят Нерона, они, возможно, предпочтут драться за него, а не против него. Сам я был ребенком, когда видел Нерона. Но еще и сейчас, стоит мне увидеть его статую, как у меня от благоговения начинают дрожать колени. У меня такое чувство, словно я навлеку проклятья богов на себя и свою страну, ежели подниму руку на великого императора Нерона, друга Востока.

Капитан Требоний внимательно слушал, ни разу не растянув широко рта в улыбку. Он ответил уклончиво, как Фронтон Шарбиллю:

— Взвешивать эти соображения приличествует царю, а не капитану.

— Меня удивляет, — вежливо ответил царь Филипп, — что мой Требоний ссылается на свой чин. В других случаях капитан Требоний и думал и действовал совсем не как капитан, а как один из властителей Коммагены. И, между прочим, разве это не яркое доказательство неблагодарности некоторых лиц, что мой Требоний не получил более высокого чина, чем чин капитана? Хороший солдат может претендовать на хорошее вознаграждение. Это — его право. Возможно, что было бы действительно более по-солдатски, в высшем смысле этого слова, драться за Нерона, за того, кто умел быть благодарным и щедрым, а не за некоторых других.

Требонию стало не по себе. Куда клонит этот человек? Как понять, что всегда такой податливый Филипп вдруг обнаглел и заупрямился? Филипп был человек без подбородка, слабак, но — лиса. И Варрон тоже лиса. Очевидно, у хитрецов этих есть свои соображения, если они решили не выполнять приказа Цейония. Над этим стоило призадуматься. Выполнение приказа не очень-то почетно для Филиппа, но зато принесло бы ему большую выгоду. Может быть, Нерон предлагает ему большую? Или Филипп заручился обещаниями парфян?

Требоний не любил неясностей. Грубо, напрямик спросил он:

— Что все это означает, молодой царь? Значит ли это, что вы отказываетесь подчиниться приказу Рима?

Филипп улыбнулся. Длинноногий, неловкий, подошел он к Требонию.

— Да что вы, Требоний? Может ли царь Филипп не подчиниться? Конечно, я подчинюсь. Варрон уже в наших

руках. А через две недели, если Маллук до тех пор не выдаст самозванца, мы пошлем в Эдессу войска.

— То-то же,— проквашал Требоний, но с трудом скрыл свое замешательство; он не понимал, подшутил над ним царь, или... Что же ему, собственно, нужно делать? Радоваться ли, что все идет гладко, или сожалеть об этом?

Его недоумению суждено было еще усилиться. Когда он стал прощаться, обнаглевший молодой царь снова завел свои двусмысленные речи:

— Итак, в нашем распоряжении еще целых две недели. Две недели — срок немалый. Поразмыслите за эти две недели: не Нерон ли все-таки этот человек в Эдессе, тот самый Нерон, который умеет благодарить и под чьей властью такой офицер, как Требоний, вряд ли оставался бы в чине капитана.

9

ВОЙНА НА ВОСТОКЕ

Эти слова не прошли мимо ушей Требония. Он стал размышлять.

Перед ним открывалось несколько соблазнительных возможностей. Он мог бы, например, написать о двусмысленных речах царя Филиппа в Антиохию, где против царя Коммагены собирали порочащий материал на тот случай, если решено будет аннексировать его страну. Требонию было бы вменено в заслугу, если бы он умножил этот материал.

Но что за польза ему от этого? Привилегий благородного сословия нынешнее римское правительство ему все равно не даст, а то, что оно может дать, у него и без того есть.

Если же он станет на сторону этого Нерона,— он, любимец армии, капитан Требоний! — то за такую поддержку можно потребовать любую цену — этот хитрый туземный царь совершенно прав. Его возведут в сан сенатора, сделают генералом, а может быть и главнокомандующим. А если дело провалится, если Нерон продержаться не сможет, для него всегда останется выход: заблаговременно, вместе со своими людьми, перебраться через Тигр и скрыться у парфян. Те, конечно, во всякое время найдут применение знаменитому военачальнику, да еще если он приведет с собой несколько тысяч хорошо вымуштрованных римских солдат.

Обычно, когда речь заходила о полковнике Фронтоне, Требоний только пожимал плечами. Но поведение Фронтонна, который все это время сидел один в большой Эдесской крепости, интриговало его. Требоний находил такое поведение странным, не солдатским. Теперь он задался вопросом, не учуял ли и Фронтон возможностей сделать карьеру при этом Нероне.

Требоний нетерпеливо сопел. Как поступить? Служба в армии Тита стала скучной. При этих мелочных, расчетливых правителях нечего и думать о горячей веселой войне. Другое дело — служба у Нерона. Там предстояли бои — бальзам для сердца старого солдата. Рискованно, что и говорить, переметнуться на сторону этого Нерона. Но жизнь, полная риска, — разве не в этом призвание солдата? Он всегда усмехался про себя, когда вколачивал в головы рекрутам многочисленные предписания об обеспечении безопасности, которые в «Наказе» Флавиев занимали особенно большое место.

Впервые услышав о появлении этого Нерона, он отпустил несколько сочных шуточек. Но, видимо, он поторопился — теперь все выглядело иначе. Варрон, Филипп и он, Требоний, — трое лис. Почему бы трем лисицам, поскольку дело идет о такой жирной добыче, как высшие посты при новом Нероне, не расправиться со старой, дряхлой, потерявшей зубы волчицей — Римом? А какая будет потеха, когда потом заявится к ним этот благородный полковник Фронтон! Поздно, дорогой полковник. Нельзя одной задницей сидеть и у Нерона и у Тита.

Не через две недели, а уже на третий день капитан Требоний явился к царю Филиппу. Губернатор Цейоний прислал ему точные инструкции. Инструкция поясняла: при всех условиях следует поддержать фиктивную версию, будто царь Коммагенский уполномочен только на полицейские меры. Рим не хочет давать парфянам повода для каких-либо обвинений: если дело дойдет до конфликта, он, губернатор Цейоний, хочет иметь возможность доказать, что царь Филипп превысил полномочия и действовал самовольно. Стало быть, Требонию надлежит побудить царя Филиппа обрушиться самым беспощадным образом на Эдессу, но при этом устроить все так, чтобы, в случае надобности, всю ответственность можно было свалить на царя. Длинное послание, в котором Цейоний излагал свой коварный план, Требоний принес с собой. Он не показал его царю, но несколько раз вытаскивал, читал про себя, усмехался, приводил из него отдельные фразы, давая возможность царю

Филиппу ясно уловить двусмысленность письма. Царь никогда не считал, что политика римлян отличается высокой нравственностью, но он обрадовался вероломству Цейония: оно служило лишним оправданием задуманного дела.

Поговорили о том о сем. Неожиданно капитан Требоний подошел, тяжело ступая, к царю Филиппу, дернул его за полу и чистосердечно проквашал, заглядывая ему прямо в глаза:

— А теперь, молодой царь, давайте поговорим начистоту, как мужчина с женщиной. Скажите мне по секрету: этот человек в Эдессе — действительно великий, щедрый, милостивый император Нерон? Так это или не так?

Царь Филипп, не шелохнувшись, стерпел неприятную близость дышавшего ему прямо в лицо капитана, открыто взглянул карими глазами в его серо-голубые глаза и сказал с веселым спокойствием:

— Мое чутье и свидетельство Варрона говорят за то, что это так.

Требоний отступил на шаг и, как в свое время Фронтон, заявил с достоинством:

— Я всего лишь простой капитан. В таком темном деле царь и сенатор разбираются, несомненно, лучше, чем скромный офицер. — Но тут же перешел на фамильярный тон, стал широко улыбаться, наконец, шумно расхохотался, хлопнул себя по ляжкам, заорал: — Вот это потеха так потеха! С нашим Нероном мы так прижмем этого Дергунчика — просто любо-дорого.

Он снова перешел на официальный тон.

— Итак, молодой царь, приказание генерал-губернатора будет, разумеется, выполнено и мной и вами. Карательная экспедиция в Эдессу состоится. Надеюсь, что боевые силы будут достаточно внушительны. Со своей стороны, предоставляю вам для моральной поддержки триста человек солдат. Остальное — дело ваше. Ответственность несете вы.

Он сощурил светлые, почти лишенные ресниц глаза.

Между тем Варрон содержался под почетным арестом, а царю Маллуку было отправлено послание, в котором Филипп Коммагенский вежливо, но недвусмысленно требовал выдачи человека, называвшего себя Нероном. В серьезных выражениях советовал он другу своему и брату Маллуку подчиниться, пока не поздно, справедливому требованию римского губернатора. Кончалось письмо ультиматумом: если в течение двух недель не последует выдача этого человека, Филипп вынужден будет, к своему сожалению,

поддержать, согласно договору с римским императором, требование губернатора посылкой войск в Эдессу.

Копия этого письма отправлена была в Антиохию. В приписке значилось, что сенатор Варрон находится уже в руках царя Коммагенского. Последний надеется заполучить в скором времени и второго преступника. Как только это произойдет, он тотчас же доставит обоих губернатору, согласно его, губернатора, желанию.

Само письмо царь Филипп, чтобы придать ему больший вес, отправил в Эдессу со своим двоюродным братом, молодым принцем Селевком. Принц этот имел с царем Маллуком и верховным жрецом Шарбилем продолжительную беседу, в которой устно комментировал содержание письма. Беседа велась так, как подобает беседовать восточным князьям, — под плеск фонтана, достойно и доверительно. Принц рассказывал, как почетен арест, под которым царь Филипп содержит сенатора Варрона. Какие интересные беседы царь Филипп ежедневно ведет с Варроном. Как мало римлян примет участие в предполагаемой экспедиции против Эдессы — всего только триста человек. Принц не скрывал своих опасений насчет туземных войск: жители Коммагены, приученные к тому, что большую часть военных тягот берут на себя римляне, вряд ли будут с большим воодушевлением драться против Эдессы и против императора Нерона. Сам принц придерживался взгляда, что если эти войска, перейдя Евфрат, встретят, скажем, у девятого столба, где отходит дорога на Батны, сильного и боеспособного неприятеля, — они скорее всего повернут назад и предоставят трем сотням римлян самим заканчивать битву. Между прочим, сказал принц, сам капитан Требоний не очень твердо уверен в том, что человек, который выдает себя за императора, — мошенник; и если император докажет императорскими наградами, что он действительно цезарь Нерон, то вряд ли Требоний останется глух к такого рода доказательствам. Царь Коммагены приветствует своего противника и друга, царя Эдесского, и вызывает его, если тот действительно не желает подчиниться требованию римского губернатора, на честный бой.

Несколько дней спустя у девятого столба на дороге из Самосаты в Эдессу, там, где отходит дорога на Батны, встретились персидские купцы с купцами арабскими. Как персидские, так и арабские купцы поразительно хорошо разбирались в военных вопросах. Они долго обсуждали, что было бы, если бы на этом участке разыгралось сражение между войском коммагенским и войском эдесским. Они

подробно рассматривали, что может случиться на той или другой стадии сражения, и пришли к выводу, что битва окончилась бы поражением Коммагены.

Эти понимающие дело купцы оказались хорошими про-роками. Когда спустя три недели произошло сражение, которого они опасались, оно действительно окончилось поражением коммагенцев.

Триста римлян, участвовавших в этом сражении, сначала вообще не могли понять, что, собственно, происходит. Капитан Требоний был того мнения, что солдат при всех обстоятельствах должен уметь с достоинством умереть за своего начальника, и считал поэтому правильным ни о чем больше солдат не осведомлять. Таким образом, римские солдаты никак не могли постигнуть, почему их коммагенские собратья делают столь странные маневры; римляне никогда не видывали таких несуразных битв и потеряли около сотни человек, прежде чем остальные поняли, в чем тут дело, и сдались в плен.

С бурным ликованием вошла победоносная армия Эдессы в Самосату. Разоружила тамошний римский гарнизон, освободила Варрона, посадила вместо него под почетный арест царя Филиппа.

Убито было в сражении у девятого столба римских солдат девяносто семь, коммагенских — шестнадцать, эдесских — двенадцать.

Эта победа, которую одержал Нерон при первом столкновении с врагом, толковалась во всей пограничной области как счастливый знак. Римские гарнизоны в Каррах, Батнах, даже в Пальмире дали себя разоружить, не оказав сопротивления, либо перешли к Нерону. Многие юридически свободные, а на деле зависимые от Рима города прикнули теперь к восставшему из мертвых Нерону и посылали римскому сенату поздравления с чудесным спасением великого императора.

НАГРАДА ЗА ТЕРПЕНИЕ

Полковник Фронтон очень скоро и с удовольствием убедился, что надежды, которые он возлагал на замужество Марции, оправдали себя. От прежних знакомых горшечника Теренция до него дошли кое-какие вполне определенные слухи; они дали ему право почти с уверенно-

стью предполагать, что в одном отношении, важном как для Марции, так и для него, Фронтон, — Теренций, безусловно, не «Нерон». Если Фронтон не будет торопить событий, если он выждет подходящей минуты, то, надо думать, такое терпение будет вознаграждено.

Он бывал у Марции так часто, как только можно было, однако ни разу не проявил навязчивости, держа себя чрезвычайно благовоспитанно, по-римски, и лишь маленькими изысканными знаками внимания обнаруживал свои чувства, никогда не обмолвившись о них ни словом.

Марция снесла разочарование, испытанное в брачную ночь. Она избегала объяснения, которого искал отец; остатки ее веры в отца угасали. Было безумием надеяться, что такой человек, как раб Теренций, может вступить на Палатин. Неспособный оправдать имя Нерона, он в такой же мере не в состоянии наполнить смыслом императорский титул, который на него навесили. Она не узнает могущества и славы, как не узнала любви. Ее предали, ей суждено всю жизнь прозябать на этом Востоке.

Все настойчивее, все тесней кружились ее мысли и грезы вокруг единственного римлянина, находившегося вблизи, — вокруг Фронтон. То, что Фронтон оставался верен данной Титу присяге и вместе с тем не уезжал из Эдессы, наполняло ее гордостью; она полагала, что он делает это ради нее, и чувствовала в нем родственную душу. Сходство характеров и судьбы связывало их. Он тоже жил в одиночестве, в огромной, пустой цитадели, как и она была одинока среди просторных владений Варрона. То, что этот изящный офицер, с красивыми седыми, отливающими сталью волосами, один среди пятимиллионного враждебного населения представляет римскую армию, казалось ей скорее возвышенным, чем смешным.

Она боролась с собой, не знала, довериться ли Фронтону. Он видел, что она борется, наблюдал, ни о чем не спрашивал, ждал. Наконец ей стало невмоготу.

— Как вы терпите, Фронтон, — вырвалось у нее, — эту фальшь вокруг, — в вещах и в людях, этот наглый пустой блеск? Вы, единственный среди нас, кто сохранил достоинство и не предался окончательно этому разнузданному Востоку. Почему вы не возвращаетесь в Антиохию или в Рим, чтобы после всей этой бессмыслицы и гнусности вдохнуть чистого воздуха?

Фронтон посмотрел на нее. Увидел стройное, тонкое тело, нервно дрожавшее под одеянием императрицы. Увидел удлиненные, горячие карие глаза, глаза Варрона,

блестевшие на белом лице. Ее строгий римский нрав, черты весталки в ней, и то, что она была дочерью такого отца, и ее необычайная судьба — все это пленяло его. Он желал ее. Но поможет ему терпение, только терпение. Надо дождаться подходящей минуты. «Выждать,— думал он,— пока она заговорит о своем Нероне. А пока — держать себя в руках. Только когда она начнет рассказывать о Нероне, можно пойти дальше. Тогда можно будет пойти очень далеко».

— Я не нахожу, Марция, что здесь все сплошь мишура,— ответил он.— Идея, за которую борется ваш отец, еще недавно, каких-нибудь четырнадцать лет тому назад, была весьма реальной, нисколько не утопичной. Правда, теперь не в почете гуманистическая цивилизация и мировое гражданство, теперь на Палатине исповедуют узкий национализм, отвратительное ханжество, обожествляют голую военную силу; но этот ограниченный национализм не становится приемлемее оттого, что его провозглашают на Палатине, а наша идея мирового гражданства нисколько не обесценивается оттого, что только в Самосате можно быть ее открытым сторонником. Я не знаю, удастся ли вашему отцу тем опасным путем, который он избрал для этого, осуществить свою идею. Откровенно говоря, я не верю в это. Но если вы ставите ему в вину неразборчивость в средствах, которыми он пользуется для осуществления своей идеи, то тут вы несправедливы, моя Марция. Когда-нибудь его идея восторжествует, это безусловно; но так же безусловно и то, что людям, которые будут содействовать этому торжеству, придется пользоваться такими же гнусными и грязными средствами, какими теперь пользуется ваш отец.

Спокойствие, с которым Фронтон говорил это, благородство, с которым он брал под защиту ее отца, хорошая, чистая латынь уроженца Рима, умное, мужественное лицо и седая, отливающая сталью голова — все это действовало на Марцию благотворно. Она почувствовала, как крепнет связь между нею и этим человеком. Она не сомневалась, что он остался в Эдессе только ради нее. Но ей хотелось услышать это из его уст.

— То, что вы говорите, благородно и великодушно. Но это не ответ на мой вопрос. Почему вы остаетесь здесь? Почему вы не уезжаете в Рим?

Фронтон знал, что именно хотелось бы ей услышать. Он знал, что нравится ей, и она очень нравилась ему. «Главное, не сказать теперь слишком много,— думал он.— Не

слишком много, но и не слишком мало. Впрочем, я даже не солгу, если скажу, что остался в Эдессе ради нее. В данную минуту это, безусловно, верно».

— Почему я не отправляюсь в Рим? — повторил он ее вопрос, искусно разыгрывая нерешительность. — Отвечу вам честно, Марция. Судьба захотела, чтобы ваш отец и я находились во враждебных лагерях. Но я уважаю вашего отца, и я ему друг. Возможно, что я смогу ему помочь, если дело его потерпит крах. — Тепло, но сдержанно он продолжал: — Вероятно, я смогу помочь и вам. Я ни для себя, ни для вас не вижу смысла в том, чтобы найти мученический конец здесь, в Междуречье. Я подготовил себе возможность, в случае нужды, вернуться на римскую территорию. Вы поедете тогда со мной, моя Марция? Теперь вы знаете, почему я до сих пор здесь, — закончил он, чуть улыбнувшись; слова его прозвучали почти как извинение.

Он напряженно ждал. «Теперь наконец она должна заговорить о своем Нероне, о том, как она несчастна. Если она это сделает, уже сегодня ночью я буду спать с ней».

Марция сказала:

— Для меня большое утешение, что вы остаетесь здесь, мой Фронтон. Быть может, признание мое и уничительно, но постоянно чувствовать себя одной среди говорящих животных — это невыносимо. Не думайте обо мне плохо, но я не в силах больше молчать. Вы не можете себе представить, что это значит — жить с человеком такого низкого происхождения. Этот Нерон... — И она стала рассказывать об его «тэте» и о том, как он развесил на стуле ее брачное покрывало...

Когда она очнулась от первых объятий, она с удивлением услышала, что этот благородный, благопристойный Фронтон, этот римлянин, теперь, когда он овладел ею, стал говорить обо всем, что касалось любви и пола, с крайним цинизмом, не боясь самых вульгарных выражений. И еще более удивило ее, что она, предназначенная в весталки, не очень сердилась на него за это.

Он же думал: «Умно было с моей стороны запастись терпением. Мужественно и порядочно, что я не пренебрег своим чувством и остался здесь. Удивительный мир этот Восток. Мужество и порядочность здесь еще вознаграждаются».

ИСКУШЕНИЕ ФРОНТОНА

Умиротворенная любовью Фронтон, Марция перестала негодовать на судьбу. Она дружелюбно разговаривала с отцом, вместе с ним обсуждала шансы на успех его дела, их общего дела. Какая-то стыдливость мешала ей произносить в его присутствии имя Фронтон, а когда отец упоминал о нем, она молчала. Улеглась и ненависть ее к Теренцию. Он стал ей чужим, безразличным, ей теперь нетрудно было, когда он обращался к ней, отвечать ему дружелюбно, спокойно и вежливо.

Был даже такой день, когда она посочувствовала ему. Он пожелал показать ей свои любимые места в Эдессе, прежде всего Лабиринт, и предложил пойти с ним туда. Они спустились в сопровождении нескольких факельщиков. Он повел ее в очень отдаленную пещеру, людям велел подождать у входа, так что свет факелов лишь слабо проникал туда. Они остались одни в мрачном подземелье, где метались испуганные летучие мыши, в полумраке она видела лишь неясные очертания его лица, но голос Нерона говорил ей о плане перестроить этот Лабиринт в гробницу для них обоих. Мрачное величие этой идеи произвело на нее впечатление. В первый раз она почувствовала, что ее муж не вовсе чужд имени, которое он носил теперь.

С этого дня он не вызывал в ней неприязни. Если раньше ее оскорбляло, что он не приближался к ней как муж, то теперь она была ему за это благодарна. Но больше всего она была ему благодарна за то, что он послужил поводом для ее сближения с Фронтоном.

Фронтон, со своей стороны, любил Марцию и считал себя счастливым, но счастье это не заполняло его целиком. Он питал пристрастие к политике и военному делу, был азартным наблюдателем удивительных, захватывающих и шутовских поступков разных людей, и битва у девятого столба дороги из Самосаты в Эдессу крайне интересовала его как специалиста. Хотя Марция, встревоженная опасностью, которой он без нужды подвергал себя, пыталась удержать его, он все же отправился в Самосату.

Варрон, разумеется, слышал об отношениях между его дочерью и Фронтоном, он был доволен, что Марция нашла себе настоящего друга. Его вдвойне радовало, что это был его друг — Фронтон. Варрон с искренней сердечностью приветствовал Фронтон в Самосате.

— Вас не удивляет, Фронтон,— подошел он к интересовавшей их обоим теме,— та быстрота, с которой наш Нерон возвращает себе прежнюю власть? Небеса явно покровительствуют ему. Он на лету завоевывает сердца.

— Это верно,— согласился Фронтон.— И меня очень интересует: как долго это будет длиться? Сколько времени достаточно казаться императором, чтобы быть им?

— Целый век,— убежденно ответил Варрон.— Когда речь идет о власти — где кончается видимость и начинается сущность? Совершенно безразлично, откуда властитель черпает свет, излучаемый им и ослепляющий массы. Вовсе не всегда хорошо, если свет этот исходит от него самого. Иногда лучше, если его можно извне осветить с нужной стороны. А это Нерон понимает сейчас не хуже, чем двадцать лет назад.

— Вы хотите сказать,— пояснил Фронтон,— что он понятлив и, следовательно, пригоден вам?

— Он всегда был понятлив,— двусмысленно ответил Варрон.

Фронтон признал:

— Во всяком случае, те, кто стоит за ним, отличаются смелостью и ловкостью. Они заслуживают удачи, которая пока не изменяет им.

Варрон от души обрадовался похвальному слову из уст столь сведущего офицера. Он подошел к Фронтому, протянул ему руку и сказал не без сердечности:

— Почему же вы не переходите на сторону этого Нерона?

Отправляясь в Самосату, Фронтон надеялся, что ему предложат перейти на сторону Нерона. Его подмывало даже напроситься на такое предложение, он ожидал его с веселым и слегка боязливым любопытством, твердо решившись отклонить его. Теперь же, услышав слова Варрона, он был поражен ими, словно чем-то неожиданным. Его решения как не бывало, он, всегда такой рассудительный и уверенный в себе человек, заколебался, впал в смятение.

Вот перед ним то, к чему он всю жизнь стремился: материал, дающий возможность проверить его теории на практике. Ему нужны были римские солдаты и противник, ему нужна была война или, по меньшей мере, одно сражение. Здесь все это было. Сенатор — умный, смелый, обаятельный, его друг и отец его подруги — предлагал ему все это. Правда, он предлагал ему не римских солдат, а лишь «вспомогательные войска», как их пренебрежительно называли в армии,— части, отряды варваров, лишь слегка

разбавленные римскими подразделениями. Но поработать и с этим материалом было большим искушением.

Полковника Фронтон можно было обвинить в чем угодно, только не в трусости. Но он был римский солдат, и некоторые принципы римского солдата вошли в его плоть и кровь. Он был надменен, как все римские офицеры. Он любил Восток, но варвар оставался для него варваром, и он считал недостойным вести варваров против римлян, хотя бы даже политика, которую защищали эти варвары, была полезна для империи, в то время как политика самих римлян была вредна для нее. Как римский солдат, он усвоил также, что неоправданного риска следует избегать. Солдат в походе, если даже не предвидится нападения, разбивает укрепленный лагерь и укрывается за валом. Солдату нужна уверенность в завтрашнем дне, право на пенсию, на обеспеченную старость необходимо ему, как воздух.

И вот полковник Фронтон стоит, охваченный колебаниями, борется с самим собой. Перед ним невероятный соблазн — организовать армию, преобразовать ее, заново сформировать, повести в бой, больше ему в жизни такая возможность, конечно, не представится. Но, чтобы получить эту армию, надо пожертвовать уверенностью в завтрашнем дне, гарантией, созданной трудом всей жизни. Вперед влекло его страстное желание наконец-то проверить свои теории, оправдать их перед всем миром, назад отбрасывал неподвластный разуму инстинкт, стремление сохранить завоеванные права.

Варрон видел, какая буря поднялась в душе его собеседника. То, что Фронтон так боролся с собой, придавало еще большую ценность его дружбе. Сенатор настойчиво уговаривал его:

— Вы отлично знаете наши шансы и степень нашего риска. Мы располагаем сейчас армией в тридцать пять тысяч человек, из них пять тысяч римлян. Материал этот вам хорошо знаком. Он не из лучших, в него входят контингенты из вашего Четырнадцатого и из Пятого, но плохим его тоже не назовешь. Три тысячи кавалеристов нашего Филиппа — это отборные войска. Возьмите на себя верховное командование этой армией, Фронтон. У Веспасиана, когда он начал войну с Вителлием, шансов было не больше. А имя Веспасиана не имело ведь такой притягательной силы, как имя Нерона.

Фронтон уклонился от прямого ответа.

— Чего вы хотите от меня? — возразил он. — Я — «кабинетный» офицер, я далеко не популярен.

— Разумеется, вы слишком умны,— ответил Варрон,— чтобы быть популярным. Но с меня достаточно, если будет популярен мой император. Полководец мне нужен не популярный, а понимающий свое дело. Возьмите на себя командование, мой Фронтон. Мы оба любим наш Восток. Вы — не меньше меня. Пойдемте вместе, полковник Фронтон. Скажите: да.

С лица Варрона на Фронтон смотрели глаза Марции. Если он откажется, Варрону не останется ничего иного, как предложить командование Требонию, любимцу армии. Неужели же самому отдать в руки человека, которого он не выносит, столь горячо желанный пост? Искушение терзало его. Еще мгновение — и он протянул бы руку Варрону и сказал бы: да, да, да. Но точно путами связали его глубоко укоренившийся страх потерять обеспечение, солдатское обостренное чутье к опасности. Он скрылся за своим валом.

— Благодарю вас, мой Варрон,— ответил он.— Не считите это за пустые слова, если я скажу вам, что в вашем доверии я усматриваю столь ценное для меня признание и что мне очень тяжело отказаться от вашего предложения. Но, видите ли, я прежде всего солдат. Мне нужен пятьдесят один процент усердности в завтрашнем дне. Я люблю и уважаю вас, ваша политика и ваше мужество увлекают меня. Но я не пожертвую ради вас моей уверенностью. Большого, чем доброжелательный нейтралитет, я обещать вам не могу.

— Очень жаль, Фронтон,— сказал Варрон угасшим голосом,— что вы не присоединяетесь к нам.

— Да, жаль,— ответил Фронтон.

Они сидели в расслабленных позах в одном из прекрасных покоев царского дворца Самосаты, утомленные, и глядели прямо перед собой.

— Вы нанесете визит царю Филиппу? — спросил спустя несколько минут Варрон, с огромным усилием меняя тему разговора.

— При всем желании не могу этого сделать,— ответил Фронтон.— Я римский офицер, и к мятежнику могу относиться только как к врагу. Я явился сюда, чтобы договориться с капитаном Требонием. О нашей с вами встрече никто не должен знать. Я не имел права вас видеть, мой Варрон.

— Боюсь,— печально сказал Варрон,— что, несмотря на всю вашу находчивость, вам придется, поскольку вы к нам не примкнули, вскоре вернуться в Антиохию.

— И не подумаю,— ответил он.— Моя приверженность вашему делу будет подсказывать мне все новые и новые доводы в пользу моего пребывания в Эдессе. Пока сохранится хотя бы искорка надежды на торжество вашего дела, я вас не покину. Я вам друг, Варрон. Верьте мне, прошу вас.

— Спасибо,— откликнулся Варрон.

Оба перевидали на своем веку много людей и много судеб и привыкли не верить словам — ни чужим, ни даже своим собственным, но на этот раз и Варрон и Фронтон чувствовали искренность собеседника.

— Кому же мне поручить командование, если вы отказываетесь принять его? — размышлял вслух Варрон.

— Требонию, разумеется,— сделав над собой усилие, посоветовал Фронтон.— Малый этот мне, пожалуй, еще противнее, чем вам. Кроме того, он меня терпеть не может. И конечно, получив власть, постарается насолить мне. Но при создавшемся положении он — наиболее подходящая кандидатура. Как офицер, как политик и как друг я советую вам взять Требония.

12

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ ОБРЕТАЮТ ДРУГ ДРУГА

Несколько дней спустя после этого разговора Нерон с большой пышностью переехал из Эдессы в Самосату. Он освободил царя Филиппа из-под почетного ареста, обнял его, назвал братом. Затем, после длительной беседы с Варроном, приказал первым вызвать к себе для аудиенции Требония.

Популярный капитан провел несколько неприятных дней. Появление Фронтоня в Самосате было совершенно некстати. Что нужно было здесь этому изнеженному жеребцу? Он, Требоний, своими руками сотворил императора Нерона, а теперь этот Фронтон,— потому только, что он по рождению принадлежит ко второму привилегированному сословию и носит чин полковника,— выхватит у него из-под носа жирный кусок? За эти несколько дней ожидание перемен и новых бурных событий сделало сухую гарнизонную службу окончательно невыносимой для Требония. В нем вновь проснулась юношеская необузданная жажда больших, опасных приключений. Он мечтал пронести орлов Нерона далеко на Восток, а может быть, и на Запад, если

прикажет Нерон, этот Александр навыворот. Но в чине младшего офицера он в это дело не полезет, он хочет, чтобы его поставили на подобающую высоту, хочет быть первым, вождем. И он знает, что все это не бред, что единственный соперник, который может быть опасен,— это Фронтон. Правда, его несколько успокоил визит Фронтонна: тот, видимо, считал себя офицером Тита, и только. Но это может быть уловкой. Ведь Требоний тоже еще не высказался ясно. Как только Фронтон ушел от него, он на минуту подумал — сейчас же открыто перейти на сторону Нерона и без дальних проволочек взять да арестовать этого белоруку, этого полковника, как врага императора, как лазутчика, подосланного узурпатором Титом. Но в следующую минуту снова побеждает дисциплина, невольная почтительность капитана к образованному, уверенному в своем праве на власть начальнику; Требоний не отваживается действовать против Фронтонна так грубо и прямолинейно.

То, что Нерон приказал вызвать к себе Требония первым, польстило, после пережитых сомнений и тревог, его самолюбию. Он понял: ему готовы предоставить то, на что он вправе претендовать. На смену неуверенности мгновенно пришли высокомерие и наглость. Прекрасно, он готов поладить с человеком из Эдессы. Но он знает себе цену и даст понять этому Нерону, что он, знаменитый капитан Требоний,— великий воин, а тот, несмотря на весь свой пурпур, всего лишь раб Теренций.

Он явился во всем блеске своих многочисленных наград, шумный и великолепный. Нерон сидел в кресле, когда Требоний со звоном и бряцанием вошел в покой. Кресло было самое обыкновенное, а Нерон, несмотря на очень широкую пурпурную кайму — знак высшей власти,— одет был с подчеркнутой скромностью, и все-таки это был он — спокойный, надменный, слегка скучающий, и произвел он на вошедшего с такой помпой Требония весьма величественное впечатление. Хотя кресло было ничем не примечательное, но он не сидел в нем, он восседал, словно на троне, и Требоний был глубоко поражен видом и осанкой этого человека. Императорские почести, которые воздал ему Требоний, не были пустым жестом. Выросший в казарме и в лагерях, капитан был поражен уверенностью, с какой носил сидящий в кресле человек атрибуты власти,— и, солдат до мозга костей, он автоматически повиновался этой власти. При всем том он, конечно, сознавал, что человек этот не подлинный Нерон, но как раз то, что он им не был

и все же так величаво сидел в этом кресле, импонировало ему. Восседавший, словно на троне, человек вызывал в нем солдатскую готовность повиноваться, восхищение и какое-то чувство воровского сговора, сообщничества, добровольного подчинения разбойника своему главарю.

Восседавший на троне тотчас же учуял, что явился истинный друг и почитатель. Горшечник Теренций, будучи маленьким человеком, всегда тянулся к вышестоящим, но свободно чувствовал себя только с равными. И он мгновенно почувствовал к капитану Требонию симпатию, влечение ничтожества к ничтожеству. Этот Нерон, этот император, которого чернь всюду встречала ликованием, ощутил что-то родственное в любимце армии, в популярном капитане Требонии. Он был благодарен Варрону за то, что тот остановил выбор именно на этом человеке, предназначив его на пост главнокомандующего.

Требоний решил было держать себя с Теренцием за панибрата, дать ему понять, что, соглашаясь поддержать его, он оказывает ему благодеяние. Но человек, сидевший напротив него и время от времени свысока и со скучающим видом взглядывавший на него сквозь свой смарагд, — человек этот не был горшечник Теренций. И когда этот человек объявил ему, что производит его в генералы и вручает ему высшее командование над своими войсками, Требоний почувствовал себя вознесенным на такую высоту, так незаслуженно благодетельствованным, точно подлинный Нерон, во всемогуществе своей власти, вверяет ему свои легионы. Глубокой, блаженной преданностью наполняло его сознание, что он призван завоевать для этого человека власть и положить эту власть к его ногам. Фигура властелина, сидевшего в кресле и свысока, с немного скучающим видом оглядывавшего его сквозь смарагд, так незабываемо запечатлелась в душе Требония, как самые яркие образы и переживания его юности.

Минуты, когда он приводил своих солдат к присяге этому Нерону и отдал приказ заменить изображения Тита на знаменах и под орлами изображениями Нерона, стали самыми возвышенными в его жизни. Хотя ему как верховному командующему не было в том нужды, но он дал обет богам: не щадя жизни первым взобраться на стену первого города, который он будет брать, и водрузить боевое знамя с изображением Нерона, снискав себе за это награду — Стенной венец.

Стража у входа в Библиотечный зал, служивший Нерону залом совещаний, торжественно взяла на караул и пропустила Кнопса. Кнопс, бывший раб, ныне — государственный секретарь, увидел, к своему огорчению, что он явился первым. Это проклятое усердие вьелось ему в плоть и кровь со времен его рабства. Остальные — знатные господа — не торопились.

Юркий, подвижной, он не мог усидеть на месте. Он стал осматривать шкафы, где хранились книги и свитки, ощупывал ценное дерево, металл статуй. Машинально оценивал и то и другое. Досада постепенно улетучивалась. Он чувствовал себя здесь, во дворце Филиппа, как дома. Разве у него нет всех оснований быть довольным?

О, он высоко взлетел, раб Кнопс. Он расточал самому себе похвалы за то, что так упорно верил в возвышение Теренция и не уходил от хозяина. Он и впредь его не покинет. Он искренне любит своего Нерона, хотя бы уже за то, что Нерон дал ему возможность развернуться. И еще: он считает Теренция глупым, и любовь его подогревается чувством собственного превосходства.

Он, Кнопс, — голова, и притом мытая в семи водах. Человек менее хитрый, знай он так много, как Кнопс, отправился бы в Антиохию и дал бы показания против Нерона-Теренция. За это губернатор Цейоний признал бы его свободным и назначил в награду солидную сумму. Человек менее хитрый сказал бы себе, что лучше быть скромным вольноотпущенником под властью Тита, чем государственным секретарем при Нероне. В глубине души Кнопс убежден, что безрассудно смелая авантюра, в которую пустился мастер горшечного цеха Теренций, дерзнувший объявить себя римским императором, не может хорошо кончиться. Но так как Кнопс — голова, он метит еще этажом выше. Тот же внутренний голос, который удерживал его около Теренция даже в те времена, когда дела обстояли очень плачевно, говорит ему, что его Нерон поднимется гораздо выше и что из него можно будет выжать еще гораздо больше. Поэтому Кнопс не выходит из игры и настолько увлечен ею, что порой даже начинает сомневаться, кто же все-таки его хозяин — Нерон или Теренций. Но в сокровенных глубинах своего сознания Кнопс всегда начеку, он все время припихивается. У него отличный нюх.

Он сразу учует приближение конца и сумеет заблаговременно унести ноги.

Он расхаживает по красивому залу, вынимает из шкафов то свиток, то книгу, у него хорошо на душе. Он думает о своем приятеле Горионе, ухмыляется добродушно и с сознанием превосходства. Этому-то он показал себя! Поговорку о трех «к» он опроверг основательно. Но он по-прежнему расположен к Гориону. За высокую мзду он переписал на его имя фабрику на Красной улице и предоставил ему еще и другие источники дохода. Малютке Иалте исполнилось четырнадцать лет, она в расцвете своей юности. Возможно, он на ней и в самом деле женится, как обещал Гориону. Он так высоко стоит теперь, что может себе это позволить. Во всяком случае, если он как-нибудь улучит свободный часок, он переспит с девчонкой. Старик Горион и за это должен быть ему благодарен.

Эти приятные размышления прервал приход капитана Требония. На Требонии было одеяние с пурпурной полосой и красные башмаки сенатора с черным ремнем и высокой подметкой. Он явно чувствовал себя еще неловко в новом облачении. Кнопс называл его про себя вороной в павлиньих перьях. Требоний чувствовал, что Кнопс в глубине души относится к нему с пренебрежением. Этот нахал с первой минуты одновременно и отталкивал и привлекал его. Он решил установить с Кнопсом приятельские отношения, так как тот, видимо, имел влияние на императора, но при этом быть постоянно начеку.

Сверкая великолепием одежд, Требоний широко расселся в кресле, Кнопс, худой и юркий, бегал взад и вперед. Третьего дня вечером они вместе здорово кутнули и наблудили в кабачке «Большой журавль». Они прекрасно спелись там. В ожидании прихода остальных Кнопс расписывал, как они с Требонием, взяв Антиохию, перевернут вверх дном аристократическое предместье Дафне. Требоний с удовольствием представлял себе, какие забавные штуки они будут откалывать, измываясь над Цейонием и его пленными приверженцами; Кнопс умелым штрихом довершал картины, нарисованные разнузданным воображением капитана.

— Вы действительно голова, мой Кнопс,— признавал Требоний и раскатисто смеялся своим громким жирным смехом. Однако он коротко произносил звук «о», и это отравило Кнопсу все удовольствие от комплимента.

В эту минуту вошли царь Филипп и Варрон, и раздражение Кнопса быстро исчезло,— он почувствовал себя заодно

с Требонием и против вошедших. За несколько дней эти четыре человека, составлявшие ближайшее окружение Нерона, успели разделиться на две партии. С одной стороны, знатные господа — сенатор Варрон и царь Филипп: они были представителями той либеральной, космополитически настроенной аристократии, которая всегда была сторонницей Нерона. Требоний же и Кнопс мнили себя представителями народа, тех миллионов, которые и прежде и теперь рукоплескали императору за то, что, при всем своем блеске и императорском величии, он не гнушался ими; за то, что он столь великолепен и бесстыден в своем комедиантстве и своей преступности, что он столь широк и трогателен, что он не брезгал спускаться к толпе и показывать ей свое искусство; за то, что он столь беспощадно посылал на казнь тысячи людей, но предпочитал казнить родовитых и знатных, а не простой народ; за то, наконец, что он был последний из дома великого Юлия Цезаря.

Царь Филипп и Варрон были одеты просто и скромно, их платье отвечало благородству Библиотечного зала. Сам Кнопс также одет был не броско. Ему было досадно, что Требоний вырядился, как настоящий выскочка, но, несмотря на легкую неприязнь, он именно поэтому чувствовал себя в союзе с ним.

Вошел Теренций. Несколько развинченной походкой скучающего Нерона он подошел к ожидавшим, на ходу без церемоний обнял каждого, открыл заседание, предложил приступить, без долгих проволочек, к делу. Он быстро и великолепно научился всюду быть первым, с корректной пресыщенностью человека, с юности привыкшего всюду первенствовать. Но Варрон и Кнопс очень хорошо знали, что их Нерон жаждет поклонения, как иссохшее поле дождя. Варрона позабавило, как Нерон пригласил его доложить о положении дел, — дружески вежливо, но с легкой ноткой властности в голосе. Однако нельзя было не признать — Теренций нашел правильный тон.

Варрон начал свой доклад. Пока все идет хорошо. Кассы полны. Большие доходы приносят императорские владения, месопотамские царьки не скупятся. Торговля, правда, страдает, — римские таможенные чиновники строят всякие каверзы. Кое-кто из крупных купцов подумывает уже вернуть транспорты со своими товарами.

Нерон слушал вежливо, но почти безучастно: именно так, по его сведениям, выслушивал доклады своих министров Нерон. Подперев голову рукой, он сказал небрежно:

— Благодарю вас, мой Варрон. Какой же генеральной линии вы рекомендуете нам держаться в нашей политике на ближайшие недели?

Варрон ответил:

— До тех пор пока Великий царь Артабан не окажет нам помощи людьми и деньгами, мне кажется, что правильно будет избегать всяких провокаций, как во внешней, так и во внутренней политике. Пока мы не подадим повода, Цейоний не осмелится пойти против нас. Поэтому я настоятельно рекомендовал бы, чтобы наша армия ограничилась удержанием уже завоеванных городов и не предпринимала, в опьянении достигнутыми успехами, новых походов. Что касается нашей внутренней политики, то я рекомендую не сеять более беспокойства среди населения. С тех пор как император Нерон вновь взял власть в свои руки, имели место некоторые эксцессы. Противников императора истязали, убивали, расхищали их имущество. Пусть прошлое остается прошлым, но в будущем не следует по произволу расправляться с врагами императора, их надо предавать суду. Нерон всегда был милостив и справедлив, он останется таким и впредь.

Последние слова Варрона относились, очевидно, главным образом к Кнопсу. В упоении первыми победами Кнопс люто разделался с личными врагами и конкурентами — одних подверг пыткам, других казнил и у очень многих конфисковал имущество. Как человек неглупый, он и сам понимал, что слишком далеко зашел, и решил впредь действовать умеренней. Но он не желал, чтобы умеренность эту ему диктовал Варрон, и ответил сенатору довольно резко. Сперва он пустился в принципиальные рассуждения о власти, ее захвате и утверждении. Вернейшее средство удержать власть — это натравить благонамеренную часть населения на злонамеренные элементы. Сторонников императора следует поддерживать всеми средствами, а врагов — беспощадно истреблять.

— Да,— заявил он,— я раздавил много врагов и горжусь этим, несмотря на возражения сиятельного сенатора Варрона. В случае надобности я бы и впредь не отказывался от террора. Показывая народу императорскую власть во всем ее могуществе, мы отвлекаем народ от тех низменных хозяйственных интересов, о которых упоминал сиятельный сенатор.

На лице царя Филиппа появилась гримаса страдания, точно слова Кнопса причиняли ему физическую боль. Он сказал:

— Здесь, на Востоке, у императора мало недругов, и они так слабы, что нет надобности запугивать их террором. Мне кажется, что лучшим способом укрепить власть императора Нерона в этой части света будет дальнейшее развитие и распространение его идеи, идеи слияния Востока и Запада.

Говоря, царь Филипп ни разу не взглянул на Кнопса. Высоко подняв брови, он смотрел в пространство с невероятной надменностью.

Требоний, которого очень обидели слова Варрона о необходимости держаться новой линии в военной политике, взглянул на царя Филиппа наглыми, почти лишенными ресниц глазами.

— Я присоединяюсь к мнению государственного секретаря, — проквакал он. — Я считаю, что выжидать — это далеко не лучший способ укрепления императорской власти. Власть — значит наступление. Власть — это значит брать города, убивать, грабить. Фасции — пук прутьев и секира — вот что такое власть. Ворваться в римскую Сирию, захватить Антиохию. Если мы не будем медлить, если двинемся вперед, если завтра же начнем поход — тогда, может быть, нам это и удастся. И вы увидите, милостивые государи, как быстро добрый старый царь Артабан забудет свои колебания и окажет нам поддержку.

Он говорил тем голосом, который — это показал опыт — производил впечатление на его солдат. Бляхи и цепочки на нем звенели, лицо излучало силу и самоуверенность. Физиономия и поза Кнопса выражали восторженное одобрение, даже Нерон слушал Требония с явным удовольствием. Но эти элегантные господа — Варрон и царь Филипп — сидели с совершенно безучастным видом, Варрон рылся в бумагах, Филипп разглядывал свои длинные пальцы. Наступило тягостное молчание.

Нерон понял, что должен вмешаться. Самая суть дела его мало занимала. Вся эта правительственная суеда не интересовала его, ему важно было только представлять. Верный инстинкт подсказал ему, как в данном случае следует поступить. Он должен был сказать что-нибудь значительное, не становясь, однако, ни на ту, ни на другую сторону. И вот, невзирая на присутствие Варрона, он медленно поднес к глазу смарагд и оглядел всех четырех своих советников одного за другим.

— Вы все правы, дорогие и верные друзья, — разрешил он наконец тягостную паузу и процитировал Еврипида: —

«Вовремя проявить силу и вовремя — справедливость, — вот в чем достоинство властителя...»

Правда, еще не кончив цитаты, он уже пожалел о том, что именно эти строки пришли ему на память, — в них четыре раза встречалась «тэта». Но зато слова эти служили хорошим отправным пунктом для дальнейшей его речи.

— Вы, мой Требоний, — продолжал Нерон, — и вы, мой Кнопис, в нужную минуту проявили силу. Если же сенатор Варрон и царь Филипп, со своей стороны, утверждают, что теперь своевременно будет проявить милосердие и справедливость, то и они правы. Я благодарю вас всех.

Так, вероятно, поступил бы и подлинный Нерон. Тот, однажды высказавшись за ту или иную линию в политике, предоставлял своим советникам управляться самим и довольствовался тем, что натравливал их друг на друга и не давал затухнуть их вражде. У него всегда все были правы. Так же точно поступал теперь и Теренций, причем делал это с импонирующей естественностью.

Варрон, поддерживаемый царем Филиппом, детально изложил свой план дальнейших действий. Император, советовал он, пусть пока останется гостем царя Филиппа в своей теперешней резиденции — Самосате. Требоний ни под каким видом не должен поддаваться соблазну похода против римской Сирии — его задача состоит в организации армии и удержании нынешних границ. Он же, Варрон, находясь в Эдессе, постарается возможно скорее довести до конца переговоры с Артабаном. Кнопису он предлагает, в контакте с ним и с верховным жрецом Шарбилем, взять на себя управление финансами.

Кнопис и Требоний с досадой увидели неприкрытое стремление благородных господ оттеснить их. Нерон придал лицу обычное, скучающее выражение; он, видимо, не все слышал, что говорилось.

— Очень хорошо, мой Варрон. Великолепно. Прикажете прислать мне бумаги на подпись. На нашем сегодняшнем заседании, — сказал он в заключение, — мы сильно продвинулись вперед. Мы выработали генеральную линию. — Он оживился. — Никогда не теряйте, дорогие и преданные друзья, этой линии из виду. Мы постараемся, поскольку возможно будет, проявлять одновременно и силу и справедливость. Если же это не удастся, будем проявлять попеременно то справедливость, то силу. Я надеюсь, что не возникнет разногласий, в какой момент нужно будет проявить одно или другое. Если, однако, они возникнут, то боги

помогут мне решить, что в тот или другой момент является правильным.

С этими словами он отпустил своих советников. Всех четырех смутило и встревожило искусство, с которым этот Нерон признал всех и правыми и неправыми.

14

КАК ФАБРИКУЮТСЯ ИМПЕРАТОРЫ

Умный парфянский царь Артабан медлил признать Нерона. Искусно пользовался он в своих письмах цветистыми восточными выражениями, чтобы избежать какого бы то ни было однозначного ответа. Агенты Маллука и Варрона сидели в прихожих парфянских министров. Но самое большее, на что согласился Артабан, была посылка каравана с почетными подарками, коврами и пряностями. Назначение каравана было определено весьма двусмысленно: в дар человеку, именуящему себя императором Нероном. Это можно было толковать и как признание и как непризнание. А для дела Нерона было крайне важно, чтобы царь решился окончательно. Если он не выступит немедленно в пользу Нерона, держаться дольше не будет возможности ни в военном, ни в финансовом отношении. Правда, весь Восток с облегчением вздохнул, увидев снова орлов императора, но подняться, взлететь эти орлы смогут только в том случае, если Артабан будет их кормить.

Агенты Варрона, подгоняемые им, работали лихорадочно. И тем не менее парфянские министры были по-прежнему неповоротливы, обстоятельны, до отчаяния медлительны.

Наконец через два месяца Варрон получил вразумительный ответ. «Царь царей,— сообщал ему великий канцлер и маршал Артабана,— готов дать своему другу, Римскому императору, тридцать тысяч человек вспомогательных войск, в том числе шесть тысяч тяжеловооруженных всадников из своего отборного войска. Он предоставляет ему также заем в двести миллионов сестерциев. Но лишь при том условии, если император Нерон будет признан населением не только Междуречья, но и римской Сирии. Если достаточное число укрепленных городов на территории Римской империи, на том берегу Евфрата, перейдет на сторону Нерона и он будет крепко держать их в руках, Артабан пошлет ему деньги и войска».

Когда Варрон в первый раз пробежал письмо, в котором сообщалось об этих условиях царя, он просиял: они показались ему умеренными, разумными. Но чем больше о них думал, тем труднее представлялось ему их осуществление. Можно было, конечно, как предлагал безрассудно смелый Требоний, вторгнуться в римскую Сирию и взять несколько пограничных городов. Но это было бы безумием. В ответ на такую провокацию Цейоний, с одобрения Палатина, может с полным основанием продвинуться за Евфрат с двумя или даже тремя легионами и разбить наголову Нерона, не рискуя вызвать войну с Парфянским царством. Ведь если римляне будут спровоцированы и выступят не как нападающие, а как защитники своей страны, Артабан не в состоянии будет объединить своих парфян для войны против них. Нет, это не так просто, как представляет себе какой-нибудь Требоний. Надо, чтобы римские города сами собой, добровольно перешли к Нерону. И таков, очевидно, смысл условия, поставленного хитрым Артабаном.

И вот несколько пограничных римских городов подверглись обработке с помощью денег. Они были хорошо подготовлены, но медлили и медлили. Не находилось удобного предложения отпасть от правительства Антиохии, а Цейоний был достаточно осторожен, чтобы такого предложения не дать. Варрон искал, искал до изнурения. Как подтолкнуть эти города? Как заставить их сделать решительный шаг, взбунтоваться против римского губернатора? Варрон сумел преподнести своему Нерону всю страну между Евфратом и Тигром и Коммагену в придачу. Неужели всему этому великолепному предприятию суждено рухнуть из-за ничтожной до смешного задачи? Неужели нет средств побудить к переходу несколько пограничных римских городов? Он искал, проводил бессонные ночи, мучился. Проходило драгоценное время. Он не находил выхода.

Явился Кнопс. Его юркие глаза скользнули по немного измятому лицу сенатора. Наслаждался ли Кнопс его беспомощностью? Во всяком случае, он не дал этого заметить.

— Условия парфян кажутся умеренными, но они жестки,— сказал он деловитым тоном.

— Правильно, мой мальчик,— насмешливо отозвался Варрон.

— Надо подумать,— констатировал Кнопс.

— Ну что ж, подумайте.

— Я уже сделал это,— ответил Кнопс.— У меня есть идея.

— Я слушаю,— вежливо и устало сказал Варрон и улыбнулся скептически, безнадежно.

Эта скептическая улыбка недолго оставалась на его губах. То, что измыслил этот сумасброд Кнопс, было подло и дерзко, но при всей своей фантастичности логично и обещало успех. Эти простолюдины обладают плодотворной фантазией, отметил про себя Варрон, с отвращением и удивлением слушая болтовню Кнопса.

План Кнопса был таков: чтобы побудить окраинное население римской Сирии отложиться от правительства Цейония и перейти на сторону законного императора Нерона, нужен был только внешний, каждому понятный повод, ибо внутренне население было к этому готово. Следовательно, дело сводится к тому, чтобы сделать для всех ясным и очевидным один из реально существующих поводов, а это не так уж трудно. Разве, например, бог, называвший себя Христом, не имел на сирийской границе многочисленных последователей, так называемых христиан, которые фанатически ненавидели законного императора Нерона? Разве эти христиане из одной лишь преступной ненависти и фанатизма не подожгли шестнадцать лет тому назад город Рим? По всей вероятности, они и теперь носятся с такими же дерзкими планами, поддерживаемые правительством Цейония, которое стремится расправиться с верным Нерону населением Сирии. Тот, кто знает настроения этих христиан, кто имеет представление о злобной жажде мести, обуевающей узурпатора Тита и его чиновников, может легко понять, куда направлены преступные устремления этих христиан и тех, кто их подстрекает. Например, весьма вероятно, что эти фанатики могут преступно открыть или как-нибудь повредить один из шлюзов на реке Евфрат или на одном из его каналов с целью затопить и разрушить какой-нибудь из окраинных римско-сирийских городов, тайно уже склоняющихся на сторону Нерона. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что в том случае, если такое преступление действительно будет совершено, все пограничное население, как один человек, восстанет против правительства Антиохии. Разве это не так? И Нерон мог бы тогда, опираясь на туземное население, по крайней мере, несколько месяцев держаться в перешедших на его сторону окраинных городах. Условия Артабана были бы выполнены, и мы получили бы обещанные войска — и обещанные деньги.

Варрон неподвижно уставился на Кнопса, который непринужденно болтал, будто речь шла о подготовке увесели-

тельной прогулки. Этот тип прав. То, что он изложил, было действительно идеей, находкой! Да, план этот в его ошеломляющей простоте был столь же великолепен, сколь и гнусен. Он сулил успех. Он должен был вызвать в народе требуемые сопоставления. Варрону не нужно было это долго растолковывать.

До сих пор еще не удалось установить истинных виновников поджога Рима шестнадцать лет тому назад. Варрон, имея на то веские данные, предполагал, что это сделали перекупщики земельных участков. Враждебная Нерону республиканская аристократическая партия утверждала, что устроил поджог сам Нерон исключительно из страсти чинить зло и из желания насладиться грандиозным зрелищем. Мнение народа разделилось. Многие считали виновником пожара Нерона; но даже у них размах самого преступления вызвал скорее восторг, чем ненависть. Большинство населения думало, однако, что Рим действительно подожгли христиане, которых Нерон впоследствии привлек к суду, потому что нужно же было на кого-нибудь свалить вину. Если теперь благодаря преступным образом вызванному наводнению погибнет один из римско-сирийских городов, массы,— тут Кнопс прав,— сразу свяжут это с Нероном. Будут говорить, что тут явно не обошлось без Нерона; вера, что Нерон жив, Нерон здесь, превратится в убеждение. Без труда можно будет внушить черни, которой чужда всякая логика, что фанатики-христиане, подстрекаемые чиновниками Тита, так же преступно, как в свое время подожгли Рим, устроили теперь наводнение. Конечно, допустить, чтобы Цейоний из одной ненависти к сирийцам пошел на разрушение города на своей же территории, было совершенно нелепо. Но именно благодаря своей нелепости версия имела шансы завоевать массы, которые будут рукоплескать Нерону, когда он вторично обвинит христиан в преступлении и раздавит их.

«Гнусный план,— признавал про себя Варрон,— но обдуман он с хорошим расчетом; этот малый знает душу черни. Какая плодотворная фантазия у этих простолудинов!» — подумал он еще раз. А вслух сказал:

— Не чересчур ли это грубо состряпано, милейший Кнопс?

— Конечно, грубо, мой Варрон,— ответил Кнопс.

Варрон слегка вздрогнул — даже этот позволяет себе в разговоре с ним фамильярное обращение «мой Варрон».

Кнопс между тем продолжал:

— Но в том-то и вся суть, что мы чересчур грубо это преподнесем. Чем грубее ложь, тем скорее в нее поверят,— заключил он убежденно.

Варрон втайне согласился с ним.

— А где, мой Кнопс,— спросил он, и это «мой Кнопс» наполнило Кнопса огромной гордостью,— можно было бы успешнее всего устроить такое наводнение?

— Где вам угодно,— с готовностью ответил Кнопс.— Повсюду есть каналы, шлюзы и плотины, повсюду есть друзья Нерона, чиновники Тита, христиане, части Четырнадцатого легиона, повсюду сирийские святыни, гибель которых особенно ожесточит население, повсюду колеса и рычаги, регулирующие воды Евфрата и его каналов, повсюду энтузиазм, повсюду неумение здраво мыслить, и повсюду есть руки, которые как угодно повернут колеса и рычаги плотин. Возьмите Бирту или Апамею, Европос или Дагусу. Каждый из этих городов, если часть его погибнет от вызванного злоумышленниками наводнения, возмутится против преступников. И кто бы после такого наводнения ни появился, кто бы — разумеется, вовремя — ни возник на горизонте,— любой будет встречен как спаситель. А если этот спаситель будет называть себя императором Нероном...— Он не закончил, удовольствовался лишь сдержанной, самоуверенной, хитрой улыбочкой.

Остальным советникам императора план Кнопса, как и Варрону, сразу же понравился. Предстоящее наводнение на Евфрате заливало сердце Требония волнами радости. У царя Филиппа, правда, когда он услышал об этом плане, лицо омрачилось. А царь Маллук вдруг решил, что он слишком долго занимался государственными делами и может себе позволить одно из своих обычных путешествий в глубь пустыни; без шума, незаметно понесся он верхом, в сопровождении немногочисленной свиты, туда, где ждало его уединение. Больше всего колебался верховный жрец Шарбиль. Он питал достаточно обоснованное подозрение, что пресловутые христиане изберут для своих преступных целей один из храмов богини Тараты; они даже, по-видимому, наметили себе древнюю святыню города Апамеи. Совесть Шарбиля восставала. Храм Тараты в Апамее воздвигнут был у древнейшего пруда с рыбами богини, у большой, давно отделившейся от Евфрата заводи. Поэтому он расположен был в глубокой ложбине, и любое наводнение затопило бы его окончательно. Можно ли оставить на произвол судьбы такой ценный храм, не оградив его от опасности? Но Шарбиль сказал себе: если заглянуть вдаль, то

богине все это может пойти только на пользу, ибо при Нероне ее будут почитать совсем иначе, чем при Тите. Шарбиль был, кроме того, любопытен и очень стар, и никогда в жизни ему не случилось увидеть еще такое зрелище, как затопление храма Тараты. К тому же — и это, пожалуй, было главным — ему нашептывал некий голос, который он старался не допускать даже до сознания: если прославленная святыня в Апамее будет надолго выведена из строя, то увеличится поток паломников к его храму в Эдессе. Издавна уже верховному жрецу Шарбилю приписывали дар пророчества. И вот теперь он принялся по движению священных рыб и по внутренностям жертвенных животных предсказывать суровые, мрачные времена, говорить о каких-то темных высоких водах, которые нанесут его богине глубокое оскорбление...

Тем временем Требоний и Кнопс рьяно взялись за выполнение плана. Требоний подготовлял его техническую сторону, Кнопс — психологическую: голос народа! Требоний, едва ли не так же, как и сам Кнопс, был горд тем, что в момент, когда эти благородные господа зашли в тупик и не находили выхода, именно Кнопс предложил свою спасительную идею. День и ночь мечтал капитан о том, как он первым поднимется на стены города, поглощаемого водами Евфрата, и добудет себе Стенной венец — отличие, которого ему как раз не хватает.

Императору лишь туманно намекали на то, что популярность его вскоре очень сильно поднимется, что в ближайшем будущем предстоит счастливый поворот событий. Достаточно будет устроить так, чтобы он вовремя показался в утопающем городе. Если он ни о чем не будет знать, тем более впечатляющим будет его гнев против виновных в столь низком злодеянии.

15

ВЕЛИКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Территория города Апамеи расположена была по обоим берегам реки Евфрата. На правом берегу по пологому склону холма поднималась Селевкия, более новая часть города, увенчанная цитаделью. На левом, низменном берегу разместился старый город. Здесь был тот самый пруд с рыбами Тараты, который сыграл роль в колебаниях Шарбиля; это была старица с солоноватой водой, над

которой и стояло древнее, чтимое святилище богини. Старый и новый город соединялись мостом. Население старого города состояло исключительно из сирийцев; в новом городе, Селевкии, большинство населения было тоже сирийское; безопасность города охранял сильный римский гарнизон.

Выше Апамеи от Евфрата отходил Канал Горбата, снабжавший водой всю округу. Уровень реки и канала истари регулировался плотинами и шлюзами, построенными, по преданию, легендарной царицей Семирамидой; теперь они назывались Плотинами Горбата и слыли техническим чудом. Опытные сторожа обслуживали хитрый и вместе с тем очень простой механизм этих плотин. Никто не помнил, чтобы здесь когда-либо случались более или менее серьезные повреждения.

Тем сильнее был ужас жителей старого города Апамеи, когда однажды в апрельскую ночь Евфрат внезапно вломился в их улицы и жилища и затопил все мгновенным мощным разливом. Раньше, чем можно было поверить в это, вся территория старого города превратилась в одно желтое, тихо плещущее озеро. Отделенный с незапамятных времен от реки водоем с рыбами Тараты соединился с нею вновь, священные рыбы уплыли, вся нижняя часть храма исчезла под kloкочущими водами. По озеру, которое было раньше старым городом, плыли между наспех снаряженными лодками домашняя утварь, скот, течением уже уносило первые трупы. Над тихо плещущей водой раздавались душераздирающие вопли застигнутых врасплох людей, рев и мычание скота. Нагие и полуодетые люди плыли на надутых мехах по улицам, по которым еще вчера двигались носилки, повозки, всадники.

Никто не постигал, как могла так внезапно разразиться катастрофа. Лишь через несколько часов где-то на берегу ниже по Евфрату нашли одного из сторожей Плотины Горбата, связанного и с кляпом во рту. Когда полумертвого от мук и ужаса человека развязали, он рассказал: один из его помощников вместе с кучкой неизвестных внезапно напал на него; его повалили, связали и бросили в реку; что было дальше, он не знает, это чудо и неслыханная милость богов, что его живым прибило к берегу и что он спасся. Имя помощника, напавшего на него, а затем, очевидно, в безумии или по злему умыслу обрушившего воды Евфрата на Апамею, — Симлай. Он христианин.

С тою же быстротой, с какой несколько часов назад воды Евфрата разлились по низменному старому городу, разнеслась по расположенной на холме Селевкии весть, что

потоп этот — деяние преступных рук. Уже и христианин Симлай признался, что его нанял для этой цели писарь Аристон, служащий римской администрации. Население города охватила бешеная злоба. Еще до полудня стало определенно известно, что христиане, эти отбросы человечества, подкупленные преступным правительством узурпатора Тита, взялись разрушить святыню богини Сирии и ее прекрасный город, так как сирийцы замыслили отказать в повиновении Титу и вернуться к своему законному императору Нерону.

О том, что христиане — бунтари, знал весь свет. Они не признавали собственности и семьи, от них можно было ждать любого злодеяния. Жители Апамеи обрушились на них, врываются в их дома, убивали, громили их убогий скarb.

Римские солдаты явно сочувствовали населению. Всеми силами старались они помочь тем, кому угрожала опасность. Перевозили людей на лодках и плотах на правый, высокий берег, спасали, что можно было спасти, из сил выбивались, чтобы восстановить мост, сорванный в первые минуты наводнения. Солдаты, которым пришлось остаться в крепости — она охраняла правый берег реки, — стояли на сторожевых башнях и бастионах и с любопытством глазели на потоп. Вчера еще их крепость стояла на берегу реки, сегодня она оказалась на берегу широкого озера. Станным было это желтоватое озеро под голубым небом с белыми набухшими весенними облаками. Причудливо торчали из воды верхушки домов. На крышах в важной и комической позе застыли на одной ноге цапли, между желтыми водами и светлым небом носились с криком стаи водяных птиц. По озеру, в котором утонул город Апамея, хлопотливо сновало между крышами все больше и больше лодок и надутых мехов, переполненных спасающимися, грабящими, отчаявшимися и всяким сбродом. Необычайное зрелище представлял собою храм Тараты. Крыша была сорвана, и солдаты могли заглянуть в целлу. Непристойные символы богини, высокие каменные изображения фаллоса почти покрыты были водой, торчали только самые их верхушки. Вода поднялась уже выше голых грудей гигантского бронзового уродливого изваяния богини, стоявшего в полунише, над алтарем; над водой оставалась только голова с короной да одна рука, держащая веретено. Тут же плавали куски дерева и всякая священная утварь. Призрачно и грозно высилась над водой голова богини, и когда кто-то из солдат

состриг насчет ее рыбьего хвоста, который мог бы ей теперь пригодиться, никто не посмел рассмеяться.

Но кто это плывет сюда, вон оттуда, с севера, на больших лодках? Римское оружие, римские доспехи — это свои! Наконец-то! Да, это они, ребята из других рот Четырнадцатого легиона, тех, что стояли в Эдессе и Самосате. А вот и сам общий любимец, великий капитан Требоний со своими людьми. Тысячу раз солдаты из гарнизона Апамен спрашивали себя с любопытством, с надеждой, со страхом: явится ли он? Скоро ли он явится? Отважится ли? И что делать, если он явится? Вступить с ним в бой? Или открыть ему ворота?

И вот он здесь. Он явился вместе с великим потопом. Как быстро они проплыли это огромное расстояние! Его саперы сразу же присоединяются к саперам из гарнизона, вместе с ними принимаются за восстановление моста. Понтоны всплывают, появляются веревки, летят в реку мехи, в воде протягиваются канаты, они натягиваются, волокут, поднимают. Тут же, смеясь, жестикулируя, стоит Требоний, приказывает, ругается, кричит, подгоняет. Мост — единственный подступ к цитадели.

Как будто все готово. Мост стал длиннее, он изгибается, плывет, шатается, но держится. И вот выезжает вперед толстый, молодцеватый и наглый капитан Требоний, любимец армии, герой; он хочет первым перейти по мосту, массивный, тяжелый, обвешанный оружием, верхом на коне Победителе.

Он скачет без всякого прикрытия впереди всех. Никаких предосторожностей. Небрежно висит сбоку его щит. Из орудий можно было бы без труда разнести в куски его и весь его отряд. Беззащитный капитан пошел бы, конечно, ко дну. Теперь уж и орудий не надо, теперь достаточно стрел, а скоро уж и дротиков довольно будет, чтобы расправиться с ним. Спокойно скачет он по гремящим бревнам над желтыми водами, на его панцире, на сбруе его коня сверкают под светлым весенним небом знаки отличия.

Вот они уж на этом конце моста, перед большими крепостными воротами, преграждающими путь. Что делать? Есть еще минута — последняя, — еще можно принять решение. Забросать «врага», как предписывает устав, камнями, этими огромными глыбами, которые всегда под рукой? Вылить на него кипящую смолу или масло, которые всегда наготове? Начальник, беспомощный, нерешительный, вместо того чтобы отдать четкий приказ, оглядывается на

солдат. Те бурно требуют: открыть ворота, впустить великого капитана!

Но это не входит в планы Требония. Он не желает просто пройти в ворота. Он хочет завоевать город, подняться на его стены. Стоящие на бастионе люди широко раскрывают глаза. Требоний приказывает своим солдатам поднять щиты над головами и сдвинуть их, построить «черепаху». Это адски трудно на шатающемся мосту, это настоящий фокус, мои милые. А теперь — клянусь преисподней и Геркулесом, он вскакивает — кто бы поверил! — на щиты крайнего звена, такой тяжелый, в таком тяжелом снаряжении. Кряхтя, неуклюже, широко расставляя ноги, шагает он по громыхающим щитам. Ему подают лестницу. Он приставляет ее к стене. Начинает взбираться.

Наверху солдаты в полной растерянности окружают молодого начальника. Несколько человек берутся за тяжелую каменную глыбу, собираются сбросить ее. Но, взглянув на товарищей, которые машут руками, что-то кричат, рукоплещут великому капитану, они не решаются. Это и впрямь захватывающее зрелище — восхождение капитана на стену. Ступенька за ступенькой. Все шатается — мост, солдаты со своими щитами, вся «черепаха», шатается лестница, — но капитан не падает, он сохраняет равновесие. Смеясь, кряхтя, взбирается он на стену. Бросает боевой клич Четырнадцатого легиона:

— Марс и Четырнадцатый!

Он карабкается выше.

Кладет руку на край стены. Переваливается через парапет. Он здесь!

— Вот и мы, ребята, — говорит он на славном, родном далматинском диалекте, и раскатисто гремит его знаменитый жирный смех. Ни один человек не подумал о том, что эта эффектная выходка была совершенно ненужной: при нынешнем положении вещей Требоний мог войти в крепость через главные ворота, ничем не рискуя. Ведь солдаты встретили его не только не враждебно, но с ликованием, с таким же ликованием и весь город приветствовал посланца цезаря Нерона, великого солдата и генерала Требония, который так поспешно спустился по реке, чтобы спасти Апамею от дальнейших бедствий. Не дожидаясь приказа, гарнизон сорвал с легионных значков изображения Тита и заменил их изображениями Нерона (их привезли с собой однополчане). Комендант крепости поздравил Требония с тем, что он, уже и раньше завоевавший все права, теперь, совершив у всех на глазах такой подвиг,

наверняка получит Стенной венец. Это была великая минута. В сердцах у всех Требоний навсегда запечатлелся таким, каким он был в тот день: словно восставшим из разлившихся вод, взбирающимся по щитам и приставным лестницам на стену апамейской цитадели, живым воплощением солдатского лозунга: «Живи рискуя!»

Через три часа в Апамею прибыл государственный секретарь Кнопс. На рыночной площади, не затронутой наводнением Селевкии, он произнес речь.

— Время преступлений миновало, — возвестил Кнопс. — Настала великая перемена. Император Нерон сумеет охранить своих верноподанных от злодеяний, творимых наемниками узурпатора Тита.

16

ПЕВЕЦ ВЕЛИКОГО ПОТОПА

Под вечер прибыл сам император, встреченный восторженными и бурными криками войск и населения. Наскоро приведя себя в порядок, он вместе с Варроном, Требонием и Кнопсом поднялся на башню цитадели. Башня имела восемь суживающихся кверху ярусов, каждый ярус обведен был каменной стеной. С верхней площадки император окинул взглядом погружающуюся в воду старую часть города. Советники растолковали ему, сколь велик нанесенный ущерб и сколь чудовищно содеянное здесь преступление, указали местонахождение наиболее важных зданий, доложили, какие спасательные меры приняты.

Через некоторое время император отпустил свою свиту. Советники собрались на площадке предпоследнего яруса. Император пожелал остаться один на вершине башни. Он надеется, пояснил он, что вид утопающего города вдохновит его и он, может быть, дополнит свой роман в стихах «Четыре века» песней о великом потопе, потопе, от которого спасся один только Девкалион.

Так одиноко стоял он на вершине башни. На площадках остальных семи ярусов теснились его придворные и солдаты; у подножия башни толпились со страхом и любопытством народ, с лодок и плотов, плывших по мутным водам, поглотившим старый город, многие тысячи глаз благоговейно и неотрывно смотрели на вершину башни, где стоял он. А он упивался страшным и возвышающим душу зрелищем погруженного в воду города.

Никто не осведомил его, как в действительности произошло это наводнение; но его внутренний голос, его «демон» безошибочно говорил ему, что эти могучие воды выпущены на свободу не случайно, а в его честь. Высоко вздымалась его грудь. Тот день в сенате, который до сих пор был вершиной его жизни, отошел в тень перед сегодняшним, еще более великим днем... Ради него гибнет этот город, а чернь вокруг, теснясь у его ног, робко, благоговейно приветствует его, как спасителя и избавителя. Сверх ожидания, исполнился сон его матери, исполнились его собственные сны.

Он начал декламировать стихи из эпоса о великом потопе. Он хорошо заучил эти стихи Нерона, они стали его собственными. В лицо гибнущей Апамен он произносит, он поет их, строки о Медном веке, который по велению Зевса погружается в воды. Он бросает стихи в светлую даль, в вечеряющее сумрачное небо, он читает под крики водяных птиц, ударяя в такт по струнам воображаемой кифары.

Народ у подножия башни, на плотках и лодках, не отрывая от него глаз. Народы Востока всегда надеялись, что император покажет свое искусство не только римлянам, коринфянам, афинянам, но и им. И вот час этот настал. Их император стоит во всем своем величии над утопающим городом, он — певец, спаситель, он внемлет голосу своего гения и являет им свой светлый лик. Зачарованные, полные благоговения, обращают они к нему свои взоры.

Он же, овеваемый вечерним ветром, глядя на широко разлившиеся воды, декламирует и поет под аккомпанемент воображаемой кифары. Пока знакомые стихи Нерона слетают с его губ, он предается мечтам. Он восстановит этот гибнущий город во всей его красе и назовет его Нерониадой. Разве в свое время он не отстроил Рим со сказочной быстротой и с необычайным великолепием? Всю эту страну он покроет чудесными зданиями и произведениями искусства. Он последует, как рисовалось ему в ту ночь в храме Тараты, примеру древних восточных царей и прикажет высечь на скалах Эдессы свое изображение, чтобы его, Нерона, лик был навеки запечатлен на утесах гор. Мечтая, он, однако, не мог удержаться, чтобы по старой привычке не подсчитать самым подробным образом, во что примерно должно обойтись такое колоссальное изображение, высеченное в скале. В глубине души он пожалел, что рядом не было Кнопса, который немедленно бы составил ему точный расчет. Против воли вспомнил он о дорогой статуе Митры, которую ковровый фабрикант Ниттайи отказался взять из

мастерской, так как стоимость изделия превысила предварительную смету.

Но по лицу Нерона нельзя было заметить, что в голове его роятся такие недостойные мысли. Наоборот, он продолжал петь и декламировать под вечеряющим небом, один на высокой башне,— вдохновляющее зрелище для народных толп. И дух снизошел на него, и он стал благословенным Девкалионом, который один остался в живых в дни Великого потопа, призванный богами творить людей из камня и вновь заселить опустевший мир.

На площадке, под ним, Варрон сказал царю Филиппу:

— Я видел подлинного Нерона, как он стоял на башне Мецената, упиваясь зрелищем пылающего Рима.

Царь Филипп сказал:

— Он удивительно правдоподобен. Мне самому иногда кажется, что это он и есть.

Варрон сказал:

— Подлинный Нерон, впрочем, поднялся на башню Мецената вовсе не из эстетических побуждений, а чтобы представить себе размеры пожара и соответственно этому правильно организовать спасательные меры. Подлинный Нерон никогда и не помышлял о поджоге Рима. Удивительное дело: из-за того, что по неведенью верят, будто подлинный Нерон поджег Рим, нужно в честь этого Лже-Нерона потопить город Апамею! Иначе мир не признает подлинным нашего Лже-Нерона.

— Да,— согласился царь Филипп,— вот какие извилистые, невероятные пути должен избирать разумный, стремящийся к добру человек, если он желает торжества разума. Идеи гуманности можно внести в этот мир явно лишь самыми глупыми и низкими методами.

И почти физическою болью отозвались в обоих отвращение и досада, которые вызывала в них мысль о суетности человеческой природы и о хрупкости человеческого разума.

Человек на вершине башни продрог. К тому же поездка была утомительной. Уже долго стоит он здесь и смотрит на желтую пучину, глаза у него разболелись. Уже давно он не Девкалион, и ему даже трудно сохранить жесты Нерона: в глубине души он стал горшечником Теренцием. Он слегка дрожит, убоявшись вдруг собственного величия. Глядя на погружающуюся во тьму Апамею, он думает:

«Какие огромные богатства гибнут здесь — десять миллионов, двадцать миллионов! Сколько хлеба, и сыра, и вина можно было бы купить на эти деньги, сколько глины и бронзы для статуй! И все это ради меня! Мой отец прав

был, что назвал меня этим гордым и смешным именем — Мáксим. Но если бы он предвидел все это, он, наверное, испугался бы и дал мне другое имя. Ибо хорошо это кончиться не может».

«НЕДЕЛЯ НОЖЕЙ И КИНЖАЛОВ»

Страшное преступление, которое совершили христиане, подстрекаемые императором Титом, вызвало волну возмущения по всей Сирии. Гарнизон за гарнизоном срывал со своих боевых значков изображения Тита и заменял их изображением Нерона. Большая часть Четырнадцатого легиона и многие части Пятого, Шестого, Двенадцатого перешли на сторону Нерона. Туземное население кипело злобой на Тита, Дергунчика и всю преступную шайку. Правительство с трудом подавляло беспорядки, вспыхивавшие в разных городах и даже в некоторых кварталах Антиохии. Пока нечего было и думать о выступлении против расположенных по берегу Евфрата крепостей, которые перешли к Теренцию,— тем более что и армия была ненадежна.

Варрон с полным правом мог сообщить Великому царю Артабану, что Нерон прочно держит в своих руках почти четвертую часть императорской провинции Сирии, с крупными городами и фортами. Согласно данному обещанию, Артабан послал войско и деньги другу своему, императору Нерону.

Кнопс гордился, что идея, породившая этот грандиозный успех, созрела в его голове. Он полагал, что имеет право на то, чтобы и в других вопросах следовали его советам, а не советам благородных господ, Варрона и Филиппа. На ближайшем заседании кабинета он внес предложение: чтобы закрепить достигнутые успехи, императору следовало бы прервать на время политику милосердия и на неделю предоставить ему и Требонию право творить скорый и суровый суд.

— Необходимо позволить тем приверженцам императора, верность которых вне всяких сомнений, без долгих проволочек покончить с его злейшими врагами,— заявил он в заключение.— Я предлагаю поручить мне и генералу Требонию организовать для этой цели своего рода добровольную полицию. Подготовительные меры уже проведены,

мы добыли вполне надежные списки. С помощью таких полицейских отрядов мы хотели бы, если император соизволит дать свое согласие, одним махом уничтожить опаснейших из его врагов.

Варрон и царь Филипп недовольно смотрели в пространство.

— Почему, — шепнул царь Филипп Варрону, — этот человек говорит «одним махом», а не «одним ударом»?

— Потому что безошибочный инстинкт подсказывает ему всегда самое безобразное и самое вульгарное слово.

Требоний между тем бурно поддержал предложение Кнопса. Император улыбнулся милостиво и рассеянно, ему нравилось мрачное, лихое и грозное выражение: «Неделя ножей и кинжалов». Кроме того, он был благодарен Кнопсу за гордые переживания той ночи — на башне Апамеи.

— Неделя ножей и кинжалов, — мечтательно сказал он, глядя в пространство.

Варрон и царь Филипп молчали, не было никакой надежды преодолеть упрямство этого сброда. Кто призывает на помощь чернь, должен делать ей уступки.

Император подписал документы, которые Кнопс и Требоний представили ему. Кнопс — в Эдессе, Требоний — в Самосате, собрав небольшие отряды людей, именуемых «Мстители Нерона», обрушились на своих врагов. Они легко могли любого, кто был им не по душе, заклеить как врага императора, как приверженца Тита или Христа, бога этой отверженной бунтарской секты. Во всех городах на Евфрате, в Коммагене и в Эдессе «Мстители Нерона» врывались по ночам в жилища неугодных им людей, убивали, громили, бросали в тюрьмы, истязали, насиловали, забирали добычу и уводили в рабство.

Христиан Междуречья Кнопс не позволял убивать в большом числе. Он приберегал их для агитационных целей. Он хотел устроить на глазах всего света громкий, эффектный процесс против них. На суде он намерен был доказать, что узурпатор Тит и его чиновники заключили против добрых, честных сирийцев заговор, непревзойденный по своей подлости, чтобы отомстить им за верность законному их господину, цезарю Нерону.

Высокомерная прихоть ввела Кнопса в искушение: он решил приберечь для процесса Иоанна с Патмоса. Актера он терпеть не мог. Не нужно было презрительных высказываний Иоанна о Теренции, чтобы восстановить против него Кнопса. Кнопса раздражало все в Иоанне — его натура, его голос, его лицо, его христианство. Он хотел заполучить его

в руки, играть им, измываться над ним. Он дал задание одному из отрядов «Мстителей Нерона» во что бы то ни стало доставить к нему этого человека целым и невредимым.

Ночью посланцы Кнопса ворвались в жилище Иоанна. С самим жилищем и его содержимым они могли делать что угодно, только Иоанна им было велено доставить живым. Они стащили его и сына его Алексея с постелей и молча, деловито, мастерски принялись громить все, что было в доме.

Иоанн следил за ними с каким-то надменным интересом. Они взялись за его книги и рукописи. Это его грех, что он не мог расстаться с мирскими, с суетными вещам, что он сердцем предался языческим классикам, вместо того чтобы служить лишь слову божью, и если он вынужден теперь беспомощно наблюдать, как эти животные уничтожают книги, то это заслуженная кара. Сжав губы, смотрел он, как они рвут в клочья драгоценные свитки и пергаменты. Сейчас в их ручищи попали свитки с трагедиями Софокла — любимейшие из всей его библиотеки. Хороший пергамент не поддается, его нельзя изорвать так, как им хочется. Они топчут его, справляют над ним нужду. До этой минуты Иоанн стоял спокойно, но теперь, когда приходится молча смотреть, как они позорят эти свитки, эти творения, полные высокой, звучащей сквозь века мысли, — он не может сдержать тяжкого стога. Юный Алексей, несмотря на смирение и покорность воле божьей, которым учил его отец, был не в силах сдерживаться, услышав его стон. Он бросился на разбойников и варваров и молча, ожесточенно стал бить их слабыми кулаками. «Мстители Нерона», довольные, что, по крайней мере, с этим можно не церемониться, убили его. И вот он лежит распростертый среди изорванных книг. Иоанн закричал, завыл, страшно, дико. Но они помнили приказ Кнопса и не нанесли Иоанну ни одного удара. Они даже не велели ему замолчать, не заткнули ему кляпом рта, — только крепко держали его, чтобы он не мешал им, и потешались над бессильными стогами человека, глядевшего, как они молча и усердно заканчивают свое дело. Затем, согласно приказу, они доставили Кнопсу Иоанна целым и невредимым.

Так прошла «Неделя ножей и кинжалов» в Эдессе. Царь Маллук все еще путешествовал вдали от своей столицы. Глубоко дыша, он наслаждался в пустыне свободой, которой лишали его в Эдессе эти люди с Запада. С незнакомыми спутниками, сам никому не знакомый, он раскидывал лагерь под яркими высокими звездами и, сидя у водоема,

наслаждаясь покоем, рассказывал случайным спутникам запутанную глубокомысленную сказку о человеке, который был горшечником, потом, благодаря счастливому положению звездных богов Ауму, Азиса и Дузариса, стал на время повелителем мира.

СМИРЕНИЕ И ГОРДОСТЬ

Преступники-христиане предстали наконец перед претором; это была довольно значительная кучка людей, в большей своей части маленьких, невзрачных, простых. Их специально обрабатывали для процесса, истязали, всячески запугивали. Они и в самом деле дрожали. Но только телом. Душой они уповали на своего бога. Их священники и старейшины убедили их, что бог, обрекая их на мученичество, явил им особую милость. Многим действительно удалось сохранить стойкость и в смиренном уповании на бога неизменно отрицать свою вину. Были, конечно, и такие, которые кричали и молили о пощаде, готовые признаться во всем, что от них требовали. Впрочем, в этом не было надобности. Многие губернаторские чиновники, во главе с писарем Аристоном, и другие лица, застигнутые на месте преступления, со мздой в суме, давно дали требуемые показания, заранее зная, что им будет оказано снисхождение. Таким образом были раскрыты все разветвления заговора.

Кнопс с удовольствием предвкушал свое выступление на суде. Секта христиан, вместо могучего существа избравшая богом несчастного, распятого, издавна представлялась ему смехотворной, он всей душой презирал ее. Рожденный рабом, он испытывал огромное благоговение перед силой, могуществом, и ему казалось идиотизмом прославлять и обожествлять угнетенного бедняка. Присущая Кнопсу от природы злая, язвительная ирония всегда приносила ему большой успех, особенно когда он избирал своей мишенью христиан. Кнопс отлично знал душу черни. Он был убежден, что совсем нетрудно изобразить христиан как лицемерно-кроткую, а по существу преступную братию, которая с удовольствием потопила бы весь мир. Больше всего Кнопса радовало, что он разделается с Иоанном. Но прежде чем раздавить его, он хочет позабавиться: прежде чем прикон-

чить его, он хорошенько поиграет с ним, как кошка с мышью.

Он позаботился о том, чтобы допрос Иоанна происходил в его присутствии. В этот день ворота судебного зала были широко раскрыты и площадь перед ним черна от народа: всем хотелось услышать, как знаменитый актер будет держать ответ перед претором и Кнопсом за содеянное страшное преступление.

Но говорить начал Кнопс. Он обратился к Иоанну с присущей ему ехидной вежливостью:

— Так, мой Иоанн, а теперь скажите мне, зачем, в сущности, вы и ваши люди устроили наводнение и потопили храм Тараты?

— О том же я хотел бы спросить у вас, Кнопс,— с мрачным удовольствием ответил Иоанн.— Зачем, в самом деле, мне или любому из нас нужна была бы эта неслыханная глупость, если она на пользу только тебе и тебе подобным, да еще твоему так называемому цезарю Нерону?

— Ну, дорогой мой Иоанн,— кротко, чуть ли не весело возразил Кнопс,— на это могло быть очень много причин. Вы могли, например, сделать это, чтобы лишить богиню Тарату ее храма, изгнать ее из страны и тем самым оставить сирийский народ без покровительницы. Вы могли также предположить, что такое разрушение, такой преступный акт ненависти послужит сигналом для всех вредных элементов в стране и они, как те воды, которым вы дали волю, ринутся на законного императора Нерона. Возможно также, что вы это сделали просто из ненависти к цивилизации, ко всему высокому и прекрасному, к собственности, порядку и семье, из ненависти ко всем богам, кроме вашего распятого.

Слова Кнопса произвели впечатление. Иоанн намеревался говорить на суде как можно меньше. Но он видел, что его единоверцы, обвиненные вместе с ним, ждут его ответа, видел, что толпа слушателей не сводит с него глаз. Он должен был ответить.

— В нас нет нетерпимости к чужим взглядам,— начал он спокойно и с достоинством, словно поучая противника и слушателей,— даже если мы не считаем их истинными. Придет пора, и бог наш без нашего участия искоренит ложные вероучения. Мы также не противники цивилизации. Но мы ненавидим роскошь, обжорство, неумеренность. По нашему мнению, цивилизация — это мера, цивилизация — это стремление жить сообразно божественным законам.

Мы никого не хотим лишать его бога. Пусть каждый сохранит своего бога, а нам оставит нашего.

— Скажи на милость,— ответил с коварной любезностью Кнопс,— вы, значит, вовсе не враги собственности. Однако некий Иоанн отказался от собственности, роздал ее, выбросил вон.

— Этого я тебе объяснять не стану, Кнопс,— презрительно сказал Иоанн.— Этого твоему рабскому уму не понять.

Кнопс не потерял спокойствия.

— А я-то думал,— сказал он с благодушным удивлением,— что вы стоите за бедных и угнетенных.

— Так оно и есть,— ответил Иоанн.— Но есть и среди бедняков и рабов такие, которых мы презираем. Это те бедняки, которые хотят разбогатеть, и те рабы, которые алчут власти. Наш бог и учитель имел в виду как раз такую гадину, как ты, когда учил нас: «И раб да останется рабом».

И он взглянул на Кнопса так презрительно, что тому, при всей его наглости, стоило большого труда не опустить глаз.

Но Кнопс не опустил взгляда, а, наоборот, после секундной заминки ответил вежливо-ехидным, кротким голосом, который, однако, всем был слышен:

— Я бы на твоём месте, Иоанн, не подчеркивал с такой надменностью, что небо, разделив мир на верх и низ, на господ и рабов, тем самым являет свою волю и отмечает избранных. Ибо если внешнее благополучие является знаком благоволения небес, то ты, Иоанн, к числу избранных наверняка не принадлежишь. Где сын твой Алексай, Иоанн? И в каком виде ты сам стоишь здесь?

Жгучий яд и глубочайшее торжество были в этом вопросе, произнесенном тихим голосом.

Слушатели стояли, затаив дыхание. Иоанн был полон муки. Наклонив огромную голову с оливковым лицом, заросшим всклокоченной бородой, он резко обернулся к Кнопсу, сверкнул на него мрачными миндалевидными глазами, широкая грудь его вздымалась и опускалась. Но он сдержал себя.

— Бедняга,— сказал он.— Таковы твои триумфы. Да, ты убил его, моего сына, невинного. И этим ты надеешься доказать, что мы открыли шлюзы? Бедняга! Однажды загорелся Рим. И некий Нерон тоже не нашел ничего лучшего, как обвинить в поджоге моих братьев. И единственным доказательством их виновности было то, что Нерон велел казнить их. Где он теперь, этот Нерон? Он погиб самой жалкой смертью.

Иоани, идя на суд, решил молчать. Но сейчас он распался и поддался порыву. Не думая о логической последовательности мыслей, беспорядочно бросал он в лицо этим судьям, этому Кнопсу, этой толпе слушателей все, что рождалось у него в голове и в сердце.

— Берегитесь,— обратился он к судьям,— вы все, пришедшие сюда судить нас именем того, кто есть лишь жалкое подобье Нерона, который, по крайней мере, был подлинным императором. Не судите да не судимы будете. Ибо предстоит еще Страшный суд. Мир,— обратился он снова к Кнопсу,— где судьи — такие существа, как ты и твой господин, ничтожное подобье великого зверя, такой мир должен погибнуть. Он придет скоро, очень скоро, последний суд, Страшный суд! Тогда предстанут перед судьями те, кто действительно открыл шлюзы жестоким водам, а те, кто теперь унижен и угнетен, будут свидетельствовать против них. Ты же, Кнопс, и тебе подобные будете стоять, жалкие и трепещущие в наготе своей, в какой вы родились. Бедные, бедные, гонимые и осужденные, будете вы стоять, ты, и твой Теренций, и твой Требоний.

Он говорил, не повышая голоса. Он не бранился, но презрительное, смешанное с брезгливостью сострадание так живо слышалось в его гибком, хорошо поставленном голосе, так ярко проступало на его изборожденном морщинами лице, что все — судьи, обвиняемые, слушатели — устремили на Кнопса взгляды, полные физически ощутимого ужаса и отвращения.

Кнопс, представший во всем своем ничтожестве и наготе, не мог сдержаться: вся его важность, все его взятое напрокат великолепие слетело с него. Побагровев, срывающимся голосом он стал орать и сквернословить, как в кабаке:

— Собака, падаль, попрошайка, ублюдок! Ты думаешь, испугались мы твоего жалкого бога, этого распятого? Скоро ты явишься перед ним, разбойник, лгун, перед ним и перед его Страшным судом. Ты думаешь, наверно, что тебя ждет райское блаженство? Скоро, очень скоро ты увидишь твой рай, узнаешь, чем он пахнет и каков он на вкус! Его нетрудно будет измерить: не так уж он будет велик. Один локоть в ширину и три локтя в длину, ровно столько, сколько займет твоя проклятая туша на свалке, где ты будешь смердеть на всю округу.

Он долго еще ругался, не в силах остановиться.

Толпа почтительно расступилась перед ним, когда он покинул судилище, никто не произнес слова осуждения вслед ему, наоборот, некоторые громко приветствовали его:

— Да здравствует Кнопс, наш добрый и великий судья! И все же он в бессильной ярости чувствовал, что уход его из суда отнюдь нельзя назвать победоносным.

СОПЕРНИКИ

Само собой разумеется, Иоанн вместе с остальными обвиняемыми был приговорен к смерти.

Ожесточенный своей неудачей, Кнопс размышлял, как бы превратить казнь в последнее унижение ненавистного Иоанна. Кнопс был «голова» и быстро нашел то, что нужно. На цирковых играх, которыми Кнопс собирался ознаменовать победу императора над его врагами, Иоанн, в соответствии со своей профессией, даст последнее, великое представление. Будет представлен потоп, которым Зевс уничтожил поколение Медного века. Осужденные христиане, по плану Кнопса, будут изображать обреченное на смерть поколение, арена медленно наполнится водой, а христиане самым настоящим образом захлебнутся и потонут, во главе с Иоанном, привязанным к скале, беззащитным, — так, чтобы все видели, как он корчится и захлебывается.

К сожалению, план этот встретил возражения. На заседании, где под председательством императора обсуждалась участь осужденных, господ аристократы, Варрон и царь Филипп, решительно воспротивились надругательству над актером. Они заявили, что казнить подобным образом столь великого артиста, как Иоанн, значит посеять недовольство среди населения.

— Я нахожу это предложение столь же неудачным, сколь и безвкусным, — кратко сформулировал свое мнение Варрон. — Иоанн уже на процессе произвел впечатление на массы. Если же мы предадим его такой грубой казни, то народ и после смерти Иоанна будет с любовью оплакивать его, а нас считать варварами.

Царь Филипп, с присущим ему спокойствием, обратился непосредственно к Кнопсу и наставительно сказал ему:

— Вы не услугу оказываете, а только вредите императору такой неприкрытой ненавистью к Иоанну.

Кнопс, когда речь заходила об Иоанне, терял свою рассудительность. Гневный, оскорбленный, он заявил, что нельзя всякими гуманистическими бреднями сводить на нет успех, достигнутый в Апамее. Требоний бурно поддержал

его. Варрон холодно заметил, что «Неделя ножей и кинжалов» кончилась, а сейчас полезно было бы показать, что снова наступила пора милосердия и справедливости. Кнопс резко возразил, что в данном случае сила и справедливость совпадают: пощадить артиста — значит проявить не милосердие, а слабость и пристрастность. Многословно, бесконечно повторяясь, приводил он все те же доводы. Все смотрели на Нерона.

Тот был в нерешительности. Ненавидя Иоанна, он готов был примкнуть к Кнопсу и Требонию. С другой стороны, он не был глух к возвышенному, и возражения аристократов произвели на него впечатление. Подобно Варрону и Филиппу, он считал варварством так позорно казнить великого артиста; он соглашался с ними, что артист не должен быть судим по законам, обязательным для рядовых людей. Ему хотелось и натешиться над ненавистным Иоанном, и вместе с тем показать Варрону и Филиппу, да и самому себе, что он — из тех, кто даже во враге уважает служителя искусства.

Но был ли действительно Иоанн великим актером? Вот в чем суть. Сомнение это можно было использовать как довод против аристократов. И он начал хулить искусство Иоанна, доказывать, как бездарно исполняет Иоанн большой монолог Эдипа, который начинается словами:

Что было здесь, то было справедливо,
И никогда меня в противном ты не убедишь.

Подробно разбирал он и другие роли Иоанна, показывал его неспособность возвыситься до истинного пафоса. Но там, где дело касалось искусства, с царем Филиппом были шутки плохи. Он видел в Иоанне величайшего актера Востока, а возможно, и всего мира. Он стал спорить с императором, твердо отстаивая свое мнение. Совет грозил превратиться, к досаде Кнопса и Требония, в диспут по эстетике.

Но тут Варрон, отлично знавший своего Теренция, взглянул на дело с новой точки зрения. Если император, сказал он, велит так позорно утопить Иоанна, то Цейоний и обитатели Палатина скажут, несомненно, что он это сделал исключительно из зависти и актерской ревности. Теренций, правда, тотчас же запальчиво ответил, что обитатели Палатина — варвары и мнение их его совершенно не интересует; тем не менее видно было, как задела его слова Варрона, и Кнопс встревожился. Вся эта затея с Иоанном оказалась неудачной: и императору, и всем остальным она,

конечно, поневоле напомнила о попытке подлинного Нерона уничтожить родную мать, подстроив с этой целью мнимое кораблекрушение. Нет, с этим проклятым Иоанном Кнопсу положительно не везет. Но прежде всего нужно отвести удар Варрона. И чтобы положить конец спору, Кнопс извлек наиболее ядовитое оружие: он напомнил, что Иоанн обвиняется в оскорблении величества.

Сам-то он, сказал о себе Кнопс, скромно вступая в спор о мастерстве Иоанна, мало что смыслит в искусстве. Все же он осмеливается утверждать, что Иоанн не обладает истинным призванием к искусству. Ведь этот проклятый богами человек ~~идеализируется~~ — и, по-видимому, искренне — над императором. Он говорит, что горшечник Теренций одинаково бездарен и как актер, и как император. Его Нерон жалок.

Иоанн был неправ. В ту же минуту подтвердилось, что Нерон Теренция отнюдь не жалок, что он подлиннен до мозга костей. Теренцию удалось сделать рукой отстраняющий жест, милостиво-добродушно, очень свысока улыбнуться и даже, как будто его забавлял этот чужак Иоанн, покачать головой. Затем он спокойно попросил своих советников немного потерпеть. Он хочет вынести решение о судьбе Иоанна лишь после того, как боги, его внутренний голос, его «демон», заговорит с ним и боги подадут ему совет.

Варрон и Филипп были, однако, уверены, что стрела Кнопса попала в цель и что совет богов совпадет с его предложением.

20

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА

Иоанн между тем сидел в камере отдельно от остальных осужденных, полный горя и отчаяния.

Он вспоминал свое поведение на суде и горько упрекал себя. Все это не было угодно богу: и то, как он держал себя перед претором, и то, как он расправился с этим жалким Кнопсом. Он, Иоанн, не уподобился тем пророкам, которые, проникшись духом своего бога, гневно изобличали людей и призывали к покаянию. Нет, он «играл», он играл пророка, он был актером, может быть, актером во имя божие, но, в сущности, ничем не лучше этого горшечника... Тот играет императора, он точно так же играл пророка. В чем разница? Оба комедианты. Каждый «играет», каждый

кого-то изображает, вместо того чтобы попросту быть тем, чем сотворил его господь,— ничтожеством, которому приличествует смирение, а не гордыня.

Суета сует. Царство антихриста. Антихрист принял крайне опасный облик, облик актера, спекулирующего на глупости мира. Что за век наступил! Раб играет императора, плохой актер — плохого актера, а мир верит этому комедианту, копирующему другого комедианта, рукоплещет ему, открывает в его честь шлюзы, и страшные воды поглощают храмы, города, самое человечество. Какой мерзостный триумфировать: этот горшечник, копирующий, как обезьяна, императора, по правую руку от него — жирный, страдающий манией величия фельдфебель, по левую — маленький, продувной, снедаемый тщеславием мошенник, черпающий всю свою силу в убеждении, что люди еще глупее, чем думает самый закоренелый скептик! И самое безобразное: перед этим трехглавым адским псом мир в экстазе склоняется в прах.

Почему бог создал мир таким жалким? Может быть, из желания позабавиться, как этот сенатор Варрон забавляется своим Лже-Нероном? Но тогда мы — печальные, беззащитные игрушки. Частичка этого балагана — я, Иоанн, и Алексай, мой сын. О Алексай, юный, нежный, робкий и все-таки сильный Алексай! Он растоптан, он брошен на свалку, как падаль, и кровь его выпущена из жил, как прокисшее пиво из бочонка. Что есть человек?

Иоанн сидел, согнувшись в своей камере, раздираемый муками Иова и сомнениями Кохэлета, но он не гордился этим, он не рядился в яркий плащ, перешитый из отрепьев их одежд. Иоанн не казался себе лучше других оттого, что он больше страдает и глубже сознает свою муку. Чем ты отличаешься от других? У тебя нет ничего такого, что возвышало бы тебя, ничего, чем бы ты обладал один, будь то твои страдания, или твои сомнения, или твое тщеславие, или даже твое лицо, как доказывает пример этого проклятого императора и его обезьяны, горшечника Теренция.

Мы, как муравьи или как пчелы, неотличимы друг от друга, мы обречены трудиться, не зная, для чего. Они — пчелы или муравьи — с усердием тащат всякую всячину, крохи отбросов или же мед из цветов, и не знают, для чего; над ними властвует таинственный закон. Закон этот гонит их повсюду, играет ими, заставляет каждого вечно нести свое бремя. Каждое из этих существ само по себе ничто, оно лишь жалкая частица целого, обреченная на гибель, если отделить ее от ей подобных, обреченная на труд,

смысл которого ей недоступен, если она остается в пределах целого. «Иди к муравью, ленивец», — говорит Проповедник. Для чего? Если ты будешь как муравей, что пользы от того? Добро увядает и гибнет. Зло живет вечно. Нерон бессмертен.

Иоанн углубился в думы. Он спросил своего бога:

— Почему мир отдан в жертву язычникам и глупцам?

И он испугался, ибо ему было откровение. Он услышал голос Господа своего. Тайнствен был ответ Бога.

— Творение, — сказал он ему, — стареет, молодость его миновала. Я решил обновить его. Близится смена времен.

Иоанн погрузился в тайну этого ответа. Его посещали страшные сны, видения конца состарившегося мира и видения смены времен. О, тропы его века стали узкими, печальными и трудными! Но самое страшное, пожалуй, — это был переход из его века в грядущий, ибо переход этот и был Страшным судом.

Он все глубже погружался в эти жуткие видения Страшного суда и до нестерпимой боли наслаждался их ужасом. Никто, говорил он себе, не мог бы вольно дышать и секунды, знай он, что его ждет. Только домашний скот и дикие звери могут ликовать, ибо их минует суд. Если даже мне будет даровано райское блаженство, что мне в нем, коль скоро я обречен пройти через терзания этого несказанно мучительного Страшного суда? Несчастное поколение все мы, отверженное поколение, над которым царствует антихрист и его обезьяна.

21

СУЕТА СУЕТ

В сны эти ворвалось нечто весьма реальное — долговязый, тощий, закутанный в серое человек.

— Вставайте, Иоанн с Патмоса, — сказал закутанный, — ступайте за мной.

— Вы посланы прикончить меня? — спросил Иоанн. — Почему же вы так вежливы? — И вдруг, в яростной злобе, он закричал: — Расправляйся скорее! Бей, не тяни!

— Я не палач, — сказал долговязый человек и задумчиво, с некоторым смущением посмотрел на свои длинные пальцы. — Я хочу вывести вас отсюда, Иоанн: все готово — лошади, бумаги, а также люди, которые доставят вас в надежное место.

Иоанн взглянул на долговязого человека с двойственным чувством. Что это, шутка? А если он говорит правду, если он действительно явился спасти ему жизнь, что делать тогда — соглашаться или воспротивиться? Что бы ни ожидало его на том свете, самые страшные муки лучше суетности и ничтожества этого мира. Мрачный, порывистый, всегда алчущий новых сильных переживаний, Иоанн, несмотря на чудовищный страх перед судом там, наверху, ждал его с жгучим любопытством. И разве сам бог и судьба не призывали его кончить земное существование и предстать перед высшим судом? Иоанн хотел ответить искусителю отказом, хотел с насмешкой указать ему на дверь.

Но внезапно его осенила новая мысль. Разве случайно сейчас же вслед за страшными и великолепными видениями минувшей ночи бог послал ему этого странного, с ног до головы закутанного незнакомца? Не было ли это, наоборот, знамением? Да, это знамение. Это божья воля, приказывающая ему жить, дабы запечатлеть неповторимые видения этой ночи и, странствуя по свету, возвещать о них. Разве не крылось в каждом пророке нечто от актера? Иоанна бог сотворил актером, в котором есть нечто от пророка. Наступил час, когда пророк должен заговорить устами актера. Иоанн познал свое призвание.

Он поднялся с нар, подошел к незнакомцу.

— Вы похожи на аристократа, — сказал он. — Кто вы? Кто вас послал? Кто заинтересован в том, чтобы с риском для жизни вырвать меня из рук этого сброда?

— Зачем вам знать это? — спросил незнакомец, и в его длинном бледном лице что-то дрогнуло. — Мало вам того, что есть некто, кто хочет спасти вас? Разве вы не можете представить себе, что даже в этом одичавшем, озверелом мире существует несколько человек, которые не могут примириться с тем, чтобы скотина, подобная Кнопсу, в угоду черни прикончила на арене Иоанна с Патмоса? — И тихим голосом, так просто, что это сразу же убедило актера в искренности пришельца, он сказал: — Я с этим примириться не могу.

Иоанн снова присел на нары.

— Это в самом деле необычайно, — сказал он изумленно, обращаясь скорее к себе, чем к незнакомцу. — Я всегда думал, что таких, слепо одержимых искусством, как я, больше нет. Вам следует знать, дорогой мой, — продолжал он, — что страсть к искусству — не повод для гордости. Верьте мне, я знаю это по собственному опыту. Это — дьявольски порочное, греховное и тщеславное свойство,

надо стараться избавиться от него. Это болезнь. Кто страдает ею, тот заклеймен.— Он умолк. Затем продолжал уже доверчиво: — Вы ставите меня перед неприятным выбором, незнакомец. Быть может, бог призывает меня на свой суд, и я согрешу, если попытаюсь уклониться. Но, быть может, это и вправду угодно пред лицом господа,— чтобы я остался жив и боролся против этого зверя, против антихриста. Мне были разные видения, и, быть может, стоит описать их и рассказать о них миру, дабы они не сошли со мной в могилу. Кто может знать? На всякий случай вы, незнакомец, будьте осмтрительны и не восхищайтесь мною только потому, что я — артист. Может быть, ваше поклонение мне ничуть не лучше поклонения той черни, которая ползает на брюхе перед горшечником, перед обезьяной Нерона, который устроил это ничтожное наводнение в ничтожном городе, чтобы иметь случай прочесть дилетантские стихи подлинного Нерона.

Незнакомец облегченно вздохнул.

— Простите меня, что я недостаточно внимательно слежу за вашими словами,— сказал он.— Я понял лишь, что вы решили жить, и от радости я больше ни о чем не могу думать. Вы сняли с меня большое бремя.— Он помедлил. Затем продолжал: — Разрешите мне кое о чем попросить вас. То, что я для вас делаю, не вполне безопасно. То, о чем я прошу, значит для меня очень много, для вас же это не составит труда.

— Говорите,— сказал Иоанн. Губы его искривила надменная, горькая усмешка. Человек этот действует, значит, не из любви к искусству, а предлагает ему спасение ради какой-то личной выгоды; недаром его безвольный подбородок с первого мгновения не понравился Иоанну.

Но Иоанн ошибся.

— Вам придется,— робко и почтительно сказал незнакомец,— ради собственной безопасности прожить некоторое время вдали от людей. Кто знает, когда мы сможем снова услышать самый вдохновенный голос, когда-либо звучавший на греческой сцене! Не будет ли это нескромно с моей стороны, если я попрошу вас прочесть большой монолог из «Эдипа»?

Улыбка исчезла с лица Иоанна, ее сменило выражение мучительного разлада, страшной боли.

— Так любите вы мой голос? — сказал он, потрясенный.— Вы — безнадешный глупец.

— Называйте меня глупцом, дураком, чем хотите,— упрямо настаивал царь Филипп,— только прочтите стихи!

И Иоанн совершил величайший в своей жизни грех, поддавшись искушению самой суетной из своих суетных страстей. Он прочитал не стихи из «Эдипа», — он облек в слова видения минувшей ночи, видения своего горя и сомнений, своего уничтожения и покаяния и тем обесценил в глазах бога свое горе, смерть сына и собственное страдание.

Потом он скрылся в ночь, в пустыню для новой борьбы.

22

ИТОГ

Кнопс вышел из себя, узнав о бегстве Иоанна. Он подозревал, что кто-нибудь из двоих — Варрон или царь Филипп — замешан в этом деле, но к ним подступиться не смел. Тем сладострастней мстил он за бегство Иоанна остальным христианам. Для осуществления задуманного им зрелища — наводнения — он использовал лучших техников и самые хитрые механические приспособления. Зрители игр, устроенных в честь торжества правого дела Нерона над преступными замыслами узурпатора Тита, были довольны; с любопытством, с каким дети радостно и возбужденно наблюдают, как топят щенят, смотрела толпа на тонущих христиан. Представление затянулось до глубокой ночи. Чтобы осветить арену, часть преступников вывалили в смоле, облепили паклей и зажгли, превратив их в живые факелы. Этот последний оригинальный трюк ошеломил зрителей чуть ли не сильнее, чем самый спектакль, живые факелы произвели впечатление не только на Междуречье, но и на всю Римскую империю и жили в памяти человечества гораздо дольше, чем значительно более серьезные и чреватые последствиями события, происшедшие при настоящем и при поддельном Нероне.

Восемьсот человек, погибших на этом представлении, — не такое уж большое число. Но в общем итоге во имя идеи Варрона, во имя его борьбы за шесть тысяч сестерциев налога или, если угодно, во имя его идеи слияния Востока и Запада погибли уже многие тысячи человеческих жизней, и неисчислимые бедствия обрушились на Сирию и Междуречье. И раньше, чем игре Варрона пришел конец, еще очень многим людям суждено было погибнуть и многим несчастьям обрушиться на эти страны.

1

РАЗУМ И ВОЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Губернатор Цейоний читал и выслушивал донесения о происшедшем на границе у Евфрата, и удивление его было так велико, что почти заглушало гнев. Мыслимо ли? Неужели Минерва, богиня разума, совершенно покинула этот мир, предоставила его самому себе? Неужели возможно, чтобы такой нелепый фарс, как наводнение в Аламее, заставил взбунтоваться целую провинцию? Неужели нашлись люди, способные поверить, что Цейоний затопил святилище богини Сирии ради того, чтобы отомстить двум-трем жалким туземцам? Нашлись головы, которые можно было одурачить небылицей о том, что это «сигнал»? Сообщения с границы говорили: да, именно так. Донесения из Месопотамии убеждали его: метод Варрона — правильный метод. Чем решительнее делаешь ставку на человеческую глупость, тем больше шансов выиграть.

Это открытие глубоко поразило его, тем глубже, что он понял: средств для действенной борьбы с этим мошенничеством у него нет. Послать войска в Месопотамию нельзя, не рискуя вызвать войну с парфянами. А вступить в переговоры с Артабаном о выдаче Лже-Нерона опять-таки нельзя, так как Артабан им не признан. Договариваться можно лишь с Пакором, но Пакор недостаточно силен, чтобы разбить Нерона. Это был заколдованный круг, из которого не было выхода.

Робко проходил теперь Цейоний мимо задернутого тканью ларца с восковым изображением того предка, который так позорно дал одолеть себя варварам. Губернатор стал осмотрителен. Лишь изредка проглядывал в нем прежний Дергунчик. Его приближенным уже не приходилось жаловаться, что он действует слишком опрометчиво, подчиняясь порыву. Напротив, если прежде он принимал слишком поспешные решения, то теперь его лишь с трудом можно было побудить на какой-нибудь шаг, он не осмели-

вался пальцем пошевелинуть, не заручившись предварительно согласием Палатина. Его курьеры отправлялись за море, мчались в Рим. Но Рим давал расплывчатые директивы, означавшие не решение, а отсрочку решения. Пусть Цейоний ограничится обороной, пока самозванец тревожит лишь границы Сирии и не угрожает столице. Частным образом ему сообщали, что император все больше впадает в апатию и что решений, подписей от него добиться очень трудно. При таких обстоятельствах нельзя рисковать серьезным конфликтом с парфянами, а тем более войной.

Эта политика была разумна, но и недостойна. Он, Цейоний, командующий армией из семи корпусов, вынужден сидеть сложа руки и наблюдать, как глупцы и обманщики во главе полчищ варваров нападают на его города, грабят их, срывают орлы и знамена римского императора, растаптывают их, заменяют боевыми значками проклятого мошенника. Порой Цейоний почти задышался от гнева, так велика была разница между тем, что ему приходилось делать, и тем, что он порывался предпринять, и случалось, он не мог вынести этой двойственности, в нем просыпался прежний Дергунчик. Однажды он вскочил среди ночи и вызвал своего секретаря. Маленький, тощий, в ночном белье, стоял он, судорожно распрямив плечи, закинув сухую, костлявую голову, с лихорадочными пятнами на бледном лице; тонким, скрипучим голосом диктовал секретарю приказы: Пятому, Шестому, Десятому легионам выступить, сосредоточиться в Лариссе, перейти Евфрат у Суры. Но раньше еще, чем эти приказы были заготовлены, разум победил, и Цейоний отменил их.

Скрежеща зубами, он убеждался, что Минерва — строгая богиня, что она требует от своих почитателей терпения и терпения. Разум не в почете. Массы венчают успехом неразумного, а разумного осмеивают, как труса. А ведь немного надо мужества, чтобы дать себе волю; но терпеливо выносить насмешки и оскорбления, выжидать, пока придет время пожать наконец позднюю жатву, — для этого нужна храбрость, нужна железная выдержка. Ему приходится теперь учиться самообладанию, проходить нелегкую школу мудрости. Ибо вряд ли Лже-Нерона легко будет устранить. Он все прочнее водворяется на границах Сирии. Одна за другой переходят к нему маленькие крепости на Евфрате.

Офицеры Цейония роптали. Непрерывные стычки на границах раздражали их до бешенства. Им казалось, что смешно сложа руки смотреть, как горсть бандитов бес-

препятственно ведет свою игру, посягая на мировую державу. Многие открыто говорили, что если так будет продолжаться, то они предпочтут перейти на сторону претендента — Нерона, кто бы он ни был.

Видя, что Цейоний явно не осмеливается перейти Евфрат, нероновский фельдмаршал Требоний становился все более наглым. В конце концов он стал даже готовиться к нападению на крепость Суру, господствующую над средним течением Евфрата, стянул войска на правом берегу, к северу от Суры, возвел укрепления на левом берегу, подвел тараны и катапульты, приступил к регулярной осаде крепости.

Генерал Ауфидий, командир южного участка, может быть, и хотел бы, повинаясь досадным указаниям из Антиохии, ограничиться обороной. Но если наглый противник наступает тебе на ноги, можно ли не ответить? Можно ли спокойно смотреть, как вокруг срывают холмы, строят укрепления и валы, подвозят осадные машины и материалы для постройки плавучего моста, если чувствуешь себя достаточно крепким для того, чтобы хорошей атакой положить конец всему этому мороку? Не обязан ли добросовестный офицер своевременно помешать приготовлениям к осаде, пока можно еще дать отпор врагу относительно небольшими силами? Если генерал Ауфидий так и поступит, как это следует квалифицировать: как наступление или только как оборону?

Генерал Ауфидий назвал это обороной, неожиданно перешел с многочисленными силами Евфрат, уничтожил укрепления и машины Требония, продвинулся до реки Белих. Здесь стояли, на другом берегу, парфянские тяжело-вооруженные конники, отборное войско, не меньше половины полка. Так же, как римляне, и по тем же причинам парфяне получили приказ ограничиться обороной. Они поэтому не нападали; но они были рядом — мощная железная стена.

Полковника Фронтон мучило любопытство профессионала, ему хотелось взглянуть на приготовления Требония к осаде. Пользуясь странным нейтралитетом, который все еще соблюдала Эдесса по отношению к его особе, и при посредничестве Варрона он получил пропуск.

Как раз в то утро, когда Ауфидий предпринял атаку, Фронтон, любознательный путешественник, верхом объезжал окрестности Суры. На одном из возвышений к западу от Белиха он присоединился к маленькому отряду войск Требония. Это была рота из эдесского гарнизона под ко-

мандованием некоего лейтенанта Луция. Отряд был отброшен сюда атакой Ауфидия.

Полковник Фронтон придержал коня, остановился на маленькой возвышенности, наблюдал, смотрел. Долину под ним окутывала пыль,— атака Ауфидия, действия его войск и войск неприятеля превратили всю местность в сплошное пыльное облако, в котором двигались бесформенные людские массы. Но у Фронтона был зоркий глаз, и он отчетливо видел все. Он видел, что атака Ауфидия создала положение, описанное им в «Учебнике военного искусства» — то тактическое положение, которое давало возможность армии Б, в данном случае Требонию, отрезать противника А, в данном случае Ауфидия, от его базы, в данном случае — от крепости Суры. При удаче крепость, лишенная своих лучших сил, приводилась таким маневром в состояние, когда ее легко можно было взять штурмом. Бездарный Требоний, разумеется, не проштудировал «Учебника», не понял этой великолепной возможности и не использовал ее.

У Фронтона забилося сердце. Тут был случай на ярком примере доказать правильность одной из смелых новейших теорий его «Учебника», — противники называли их безрассудными. Войска Ауфидия оставались на этом берегу Белиха. Дальше они не двинутся. На парфян они не нападут. Они достигли своей цели, разрушили укрепления и машины, они вернутся в Суру, довольные успехами и добычей, в полном порядке. Теперь надо их атаковать, несмотря на ничтожные, до смешного ничтожные силы, надо обрушиться на них с тыла и одновременно напасть основной массой с обоих флангов. Это та возможность, о которой он тосковал всю жизнь, второй раз такой не представится. В его распоряжении еще десять, еще пять минут. Ибо через десять, может быть, даже через пять минут Ауфидий даст сигнал «медленно отступать», и тогда будет поздно.

Фронтон сидел на коне, не шевелясь, со спокойным лицом, хотя каждый нерв его дрожал от напряжения. «Спокойствие, Фронтон, — приказал он себе. — Не будь безумцем, Фронтон. Тебе минуло сорок восемь, и ты всю свою жизнь не изменял разуму. Не изменяй ему и на этот раз. Не изменяй ему только пять или десять минут. Тогда искушение минет. Не рискуй хорошей жизнью, которая у тебя впереди, приятной старостью. Не бросай на ветер всего, что с трудом добыто, вырвано у судьбы за эти сорок восемь лет».

Было без семнадцати минут одиннадцать, когда Фронтон говорил себе эти слова. Без пятнадцати одиннадцать

он обратился к молодому офицеру, который командовал отрядом:

— У вас хорошее зрение, лейтенант Луций? Можете вы разглядеть в этой пыли, что происходит?

Полковника Фронтон не любили, но чрезвычайно уважали, и лицо молодого офицера, когда к нему обратился великий военный теоретик, запылало румянцем.

— У меня хорошее зрение, полковник Фронтон,— ответил он.

— Видите вы вот это? А это? А это? — И он с молниеносной быстротой, но вместе с тем с величайшей точностью очертил ситуацию. Фронтон напал на неглупого человека, лейтенант Луций понял его. Он понял, как неповторима эта возможность, он смотрел в рот полковнику, возбужденный, счастливый.

— Согласны вы доверить мне ваших людей, лейтенант Луций? — спросил его наконец полковник, и в тоне его вопроса была столь повелительная сила внушения, что Луций без колебания ответил по уставу:

— Слушаюсь.

— Скажите к генералу Требонию,— снова приказал Фронтон,— обрисуйте ему положение. Предложите ему обрушиться всеми силами, которыми он располагает, на оба фланга. Если вы сумеете ему объяснить, что здесь происходит, то мы — вы и я — изменим положение империи на много лет.

Лейтенант слушал внимательно, готовый повиноваться.

— Слушаюсь, полковник Фронтон,— ответил он. — Марс и Нерон! — выкрикнул он пароль этого дня и галопом умчался прочь.

Все шло так, как излагал Фронтон в своем «Учебнике». Было и в самом деле более чем смело с такими незначительными силами броситься с тыла на неприятеля. Но, как сказано было в «Учебнике», сил этих оказалось достаточно, чтобы задержать неприятеля на десять минут, от которых зависело все. Луций был умен и энергичен, Требоний — офицер с большим опытом, быстрый на решения. Он в один миг поборол ненависть и недоверие к Фронтому и успел вовремя отдать необходимые приказания.

Потери нероновских войск в этом решающем сражении были ничтожны. Серьезные потери понес только тот небольшой отряд, с которым полковник Фронтон предпринял тыловую атаку. Сам Фронтон до последней минуты оставался невредим. Лишь в тот момент, когда победа нероновских войск была уже решена, его поразила стрела.

Он упал, застонал, попытался переменить положение, его вырвало кровью. Врачи пожимали плечами. Переносить его уже не имело смысла.

Вокруг него ползали муравьи. Напрягая зрение, он пытался следить за их суетой. Он завидовал муравьям. Ненавидел их. У него не было сил даже раздавить их. Они будут ползать, Нерон-Теренций будет сидеть на своем престоле, Дергунчик будет злиться и дергаться, вытягиваясь во весь рост. Он, Фронтон, не будет ни ползать, ни сидеть, ни злиться. Он только вытянется — и умрет.

Он победил. Найденное им решение особенно интересной задачи было проверено и доказано, метод навсегда сохранит название «тактики Фронтона». И что же? Чем он заплатит за эту «победу»? Мечта о спокойной, мудрой старости развеяна, его «Учебник» никогда не будет закончен, тысяча или, на худой конец, двести — триста приятных ночей с Марцией отменяются, как и многое другое. Но Нерону удастся продержаться несколько дольше, а в военных академиях будут говорить о «тактике Фронтона».

Он был глупцом. Сорок восемь лет! Он мог прожить еще тридцать. Проклятый Восток! Какое ему дело до Нерона и Суры? Ему не следовало заражаться бессмысленной энергией деятельных глупцов, окружавших его. Он усмехнулся безнадежно-насмешливо. Флавии, значит, правильно утверждали в своем «Наказе»: в случае сомнения лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг.

Его снова вырвало, он заметался, застонал. Последние слова, которые удалось уловить вернувшемуся лейтенанту Луцию в предсмертном лепете стонавшего, плевавшего кровью Фронтона, были:

— Подлинный или нет. Все гниль и дерьмо...

Когда Варрон узнал о победе под Сурой и о смерти Фронтона, его бросило в жар и холод. Значит, и Фронтон, холодный, расчетливый Фронтон, перешел на его сторону. Перешел на его сторону и умер. Это была издевка судьбы — подарить ему друга и вместе с ним важную пограничную крепость Суру, но в тот же миг отнять этого друга, единственного, который понимал его.

Он думал о том, как много прошло времени, прежде чем разговор, который он мысленно вел с Фронтоном многие годы, вылился в слова, произнесенные вслух. Он думал о том, как сдержанно, намеками выказывал ему свою дружбу Фронтон, как много понадобилось времени — это время длилось до самой смерти Фронтона, — пока его дружба претворилась в деяние. Ясно, до мельчайших подробностей,

видел он перед собой человека с седыми, отливающими сталью волосами, видел, как он машинально передвигал мяч ногой, обутой в светло-желтую сандалию, в сферистерии фабриканта ковров Ниттайи, как он задумчиво прислушивался к словам Варрона, улыбался ему. Так живо чувствовал Варрон присутствие друга, что он, дальнотзорный, невольно откинулся назад, чтобы лучше видеть Фронтон. И с ним произошло то, что бывало с ним очень редко: он почувствовал раскаяние. Он раскаивался, что не насладился этой дружбой. Ему было жалко каждого упущенного часа, который он мог бы провести с убитым.

Не он один потерял друга. Что будет с Марцией теперь, когда Фронтон не стало?

Раньше, чем он собрался к дочери, к нему явилась испуганная служанка. С императрицей творится что-то неладное. Девушка не знала, что делать. Она не смела доверить то, что видела и слышала, никому, кроме самого Варрона. Дело в том, что с Марцией, когда она узнала о смерти полковника Фронтон, приключился припадок, она долго истерически смеялась, пронзительно вскрикивала. Когда припадок кончился, она заперлась, и вот уже несколько часов она сидит, ничего не ест, не отвечает на вопросы. Но служанка слышала, как она разговаривает сама с собой.

— Что же,— спросил Варрон, когда девушка запнулась,— что же она говорит?

— Вот в этом-то и дело,— колеблясь, ответила девушка.— Я не смею никого впускать в соседнюю комнату. Она говорит такие странные вещи.

— Что же? — нетерпеливо настаивал Варрон.

Девушка отвернулась.

— Это... это непристойно, я не все понимаю, и трудно даже представить себе, чтобы императрица говорила такие непристойности.

Варрон сам пошел узнать, в чем дело. И действительно, сквозь запертую дверь доносились слова, непристойные слова. Циничные, грубые ласкательные имена. Это были имена, которыми покойный называл Марцию в часы любви. Марция обменивалась словами ласки со своим умершим другом, покойный говорил с ней, как он привык, и она отвечала по-своему.

Отцу не удалось проникнуть к Марции. В конце концов пришлось взломать дверь. Марция была в оцепенении, она потеряла рассудок, и, когда отец попытался приблизиться к ней, она начала истерически кричать.

Теперь Варрон остался один.

Он страдал. Но если бы боги позволили ему снова обрести друга и дочь ценою отказа от Суры, он удержал бы Суру и отказался бы от дочери и друга. С тех пор как обратный путь был для него отрезан, он очертя голову ринулся в борьбу. Он проиграл свои деньги и имущество, достоинство, имя, принадлежность к западной цивилизации, свою дочь и своего друга и готов был, если придется, пожертвовать еще больше: ногу, руку, глаза, жизнь.

Вернувшись с похорон Фронтонa, он достал из ларца с документами расписку о взносе шести тысяч сестерциев. В графу «Убыток» он записал: «Марция сошла с ума, Фронтон погиб», в графу «Прибыль»: «Завоевана Сура».

2

НЕВЕРУЮЩАЯ

После завоевания Суры оба берега Евфрата и все Междуречье, от армянской границы вплоть до арабской, по всей форме признали римским императором Варронова Нерона.

Среди всеобщего ликования оставалось мало сомневающих. Но была женщина, которую и самая блестящая победа не могла заставить поверить, что боги будут долго еще покровительствовать мнимому императору. То была женщина, с которой жил Нерон, пока ему угодно было оставаться в шкуре горшечника Теренция: Гайя.

Гайя со времени последней своей встречи с Теренцием, точно забитое животное, жила в полном уединении, растерянная, впавшая в отчаяние. Всеобщее торжество, мнимая милость богов выгнали ее из норы, в которую она забилась, ибо она была уверена, что это кажущееся счастье — начало катастрофы.

Она явилась в дом сенатора Варрона. Ему не было неприятно ее посещение. Теперь, когда господство его Нерона было закреплено, по крайней мере, на несколько месяцев, у него оставалось достаточно досуга, чтобы заняться внутренним положением, теми опасностями, которые крылись в природе его «твари». Угар победы мог завлечь «тварь» в такую бездну глупости, что она возмутилась бы против своего «творца», — такая возможность не была исключена. На этот случай не мешало обезопасить себя,

подготовить пути, которыми в случае надобности можно было бы связать «тварь». Поэтому Варрон принял Гайю.

Женщина производила впечатление обезумевшей, одичавшей.

— Что вам нужно от моего Теренция? — набросилась она на сенатора. — Мало вам того, что вы тогда в Риме совсем вскружили ему голову? Зачем вы снова его морочите?

Варрон спокойно выслушал ее.

— О ком ты, собственно, говоришь, добрая женщина? — спросил он. — Об императоре Нероне? Ты что, не знаешь, что по закону тебя следовало бы за такие слова подвергнуть бичеванию и казнить?

— Убейте меня, — крикнула Гайя, — пусть глаза мои не видят, что вы тут натворили!

Сенатор был удивлен.

— Ты не веришь, — спросил он, — что он — император Нерон?

Гайя взглянула на него с ненавистью, прохрипела:

— Со мной вы эту чушь оставьте. Меня вы не одурачите!

— Послушай-ка, милая Гайя, — серьезно и настойчиво сказал сенатор. — Ведь тебя и твоего Теренция я знаю с давних пор, и я лучше, чем кто-нибудь другой, знал и цезаря Нерона. И вот, — он подчеркивал каждое слово, — Теренцию известны такие вещи, которых, кроме императора Нерона и меня, никто знать не мог.

— Значит, все-таки кто-то третий знал о них, — упрямо ответила Гайя. — А Теренций подслушал их и подхватил. Да и не говорите же вы со мной как с какой-нибудь идиоткой! Ведь быть того не может, чтобы такой человек, как вы, дал обвести себя вокруг пальца.

— А разве не может быть, — терпеливо продолжал уговаривать ее Варрон, — что человек, который вернулся тогда из Палатинского дворца, был в самом деле император?

— Этому мы и сами не верите, — резко ответила Гайя. — Ведь он спал со мной и до того и после того, и это был тот же самый человек. Точно так как Теренций поворачивал меня на бок, когда кое-чего от меня хотел, — это бывало довольно редко, — и точно так щипал меня за правую грудь. Откуда мог знать император Черон, как это проделывал мой Теренций? Объясните мне это, пожалуйста. И чтобы я больше не давала ему белья с зелеными пятнами, сказал он мне в ночь смерти Нерона. Трудно поверить, чтобы император в последнюю ночь на Палатине именно об этом разговаривал с ним. А как он грубо бранился за то, что я положила слишком мало чеснока в жаркое

из козьей ноги, и что, мол, это уже в четвертый раз за месяц,— настоящий Нерон не мог бы так ругаться, да и знать об этом не мог.

— Это не лишено некоторого смысла,— признал Варрон после хорошо разыгранного размышления.— Об этом и в самом деле надо подумать. Покамест оставайся у меня в доме. Мне еще не раз понадобится говорить с тобой об этом.

Гайя сказала:

— Обещайте мне, что с ним не случится ничего плохого, когда все кончится. Однажды вы оказали ему покровительство. Этого я не забуду. Если вы дадите мне такое обещание, я останусь у вас в доме и буду делать все, что вы найдете нужным.

Варрон обещал. Он был доволен, что может приютить у себя эту женщину как свидетельницу, которая пригодится ему, если «тварь» в один прекрасный день взбунтуется.

3

ВЫХОДЦЫ ИЗ НИЗОВ

Был еще один человек, которого, как ни странно, именно в тот момент, когда всеобщее ликование достигло наивысшего предела, стали одолевать сомнения насчет судьбы Нерона. Это был Кнопс. Он знал жизнь и нюхом улавливал, когда вещи и люди начинали загнивать. Тот же инстинкт, который так долго заставлял его верить в счастливую звезду хозяина, теперь говорил, что вершина достигнута, что Теренций созрел и перезрел и попахивает гнилью.

То, что горшечник Теренций вот уже несколько месяцев был для целого края императором Нероном и страх перед ним все ширился, проникая всюду вплоть до резиденции Тита, само по себе было достаточно фантастично и противоречило здравому смыслу. Он, Кнопс, вправе похвалить себя, что вовремя счел это невозможное возможным и сделал на это ставку всей своей жизни. Но теперь повозка взобралась на гору, а когда она перевалит через вершину, не покатится ли она слишком быстро под гору, не перевернется ли? Умному человеку надлежит своевременно высадиться и с добычей укрыться в безопасном убежище. Он вспоминал о тех, кто в старину, доверившись своему

счастьем, зазнался и был настигнут жестокой карой,—о Ниобе, о Поликрате.

Но беда была в том, что Кнопс отведал сладость власти, власть была приятна на вкус, трудно было от нее отказаться. Он уже учуял опасность, но у него не хватало сил отступить. Ведь может он позволить себе подождать еще немного, совсем немного. Он поставил себе срок. Как только Нерон завоюет Антиохию, столицу Сирии, Кнопс тотчас же даст ходу.

Пока надо было понадежней спрятать возможно большую долю захваченной добычи. Через третьих лиц он перевел деньги и ценные вещи в безопасное место. Затем он закончил дело с девчонкой Иалтой. Все произошло так, как он и предвидел. Он взял Иалту к себе, стал спать с ней. Она понравилась ему. Она не жеманничала. Ей, очевидно, было приятно то, что он делал с ней, и она этого не скрывала. Она стонала, учащенно дышала, вскрикивала. Утонченной ее нельзя было назвать,— Иалта была даже, пожалуй, грубовата, но она нравилась ему. Ему захотелось показать свое великодушие. Отец Иалты, его друг Горион, не осмелился и пикнуть, когда Кнопс стал с видом знатока распространяться о прелестях Иалты, он лишь смущенно улыбнулся. А Кнопс благосклонно похлопал его по плечу и покровительственно сказал:

— Ну, старик, теперь ты увидишь, что за человек Кнопс. Я женюсь на твоей Иалте.

Горшечника Гориона охватил блаженный испуг. Конечно, ему было досадно, что Кнопс сдержал слово и действительно переспал с его дочерью. Но за эту досаду он был с избытком вознагражден выгодами и почестями, которые принесла ему связь Кнопса с Иалтой. А узнав, что Кнопс к тому же еще женится на этой вшивой девчонке, горшечник Горион почувствовал себя на седьмом небе.

В глубине души Кнопс гордился скромностью, которую он проявил, обручившись с Иалтой, и надеялся, что такая неприхотливость зачтется ему богами. Не следовало пренебрегать и тем, что связь с простолюдинкой подогреет симпатию к нему черни, среди которой он уже и без того был популярен благодаря своему проворному, острому языку.

Один только человек не одобрил этого обручения. Капитан Требоний, хотя и ценил хитроумие Кнопса, хотя и был заодно с ним, в особенности когда вспоминал о знатных господах, но в глубине души всегда завидовал ему и его проворному остроумию. Требоний ничего не боялся: иногда, в пьяном виде, он осмеливался даже приводить по-

словицу: о «трех «к», от которых с души воротит». Намерение Кнопса жениться на безродной, вшивой девчонке тщеславный Требоний, который чванился своими отличиями и титулами, воспринимал как упрек самому себе и как позор для всего двора Нерона. Он решил высказать свое мнение Кнопсу.

Они сидели в своем любимом кабачке «Большой журавль». Низкая комната пропахла дешевым салом, чесноком и едким дымом очага. За грубыми столами густо сидели мелкие торговцы, ремесленники, рабы, а полуголый хозяин с деловым видом бегал от одного к другому. Кнопс был одет просто, но Требоний даже здесь носил одежду хоть и поскромнее, чем обычно, но все же украшенную пурпуром и всякими металлическими побрякушками. Кнопс пил, пил и Требоний.

Не понимает он, злобно сказал Требоний, как человек, подобный Кнопсу, может опуститься так низко. Не далека та пора, когда они вступят в Рим и смогут выбрать любую сенаторскую дочку. Тут найдется не один лакомый кусок. Когда к белому и нежному женскому мясу, которое столетиями школили и холили для тебя, будут еще приложены деньги и знатное имя, то в постели все это будет совсем по-особому горячить кровь, это вознаградит за все тяготы жизни. Совершенно ни к чему губить такие заманчивые возможности, как это собирается сделать Кнопс. А может быть, Кнопс просто хочет сам себя некоторым образом кастрировать, подобно сирийским жрецам? Короче, если он хочет говорить как мужчина с женщиной, то пусть знает: его помолвка для всех друзей — большое огорчение и даже обида.

Кнопс бросил на Требония быстрый злой взгляд.

Если женщина в постели способна на все, чего хочет от нее даже такой бывалый парень, как он, ответил Кнопс, то ей не нужны деньги и знатное имя, — он и без того со своим делом справится. Он не знает, кто из них более требователен в известном смысле — он, Кнопс, или его друг Требоний. Но одного он не терпит: когда вмешиваются в его отношения с женщинами. Если ему что по вкусу, он не станет считаться со вкусами других. Он женится, на ком захочет. Если, впрочем, ему придет охота спутаться с аристократкой, то он сделает это, невзирая на брак с простолудинкой.

Кнопс пил, Требоний пил, и они смотрели друг на друга пристально, с вызовом, как враги, как друзья, как сообщники.

Но постепенно взгляды их утрачивали злобное выражение. Слишком многое их соединяло: происхождение, общность их судьбы с судьбой Нерона. Требоний пил, Кнопис пил. Требоний еще немного поворчал, но вскоре умолк. Они обнимали друг друга, горланили песни, спали с одними и теми же женщинами, держали себя друг с другом по-приятельски и смертельно друг друга ненавидели.

14

КАКОЙ ВЕЛИКИЙ АРТИСТ...

«Какой великий артист во мне погибает!» — будто бы сказал, умирая, Нерон. «Какой великий артист живет во мне!» — говорил Нерон-Теренций своим приближенным, делая вид, что находит полное счастье в обладании своим императорским титулом и своим талантом. Но, несмотря на все свои успехи, он не был вполне счастлив. Лишь выступая перед толпой, держа речь, Теренций обретал уверенность в себе, чувствовал себя «императором до мозга костей», как он уверял себя словами одного классика. Но перед отдельными лицами — перед Марцией, перед Варроном, перед царем Филиппом, его все еще одолевало чувство собственной неполноценности. Он рад был, что умер, по крайней мере, Фронтон, ибо в присутствии Фронтонна его временами подавляло сознание чудовищности его собственных притязаний.

Больше всего пугала его одна встреча, рано или поздно предстоявшая ему, — встреча с могучим союзником Артабаном, Великим царем парфян. Он, разумеется, говорил всем и самому себе, что всей душой радуется этой встрече и глубоко сожалеет, что Артабан, втянутый в данное время в трудную борьбу со своим соперником Пакором и удерживаемый на далеких восточных рубежах своей страны, все откладывает эту встречу. Но на самом деле для Нерона-Теренция эта отсрочка была облегчением. В глубине души этот человек, чувствительный ко всякому внешнему блеску, испытывал страх перед «ореолом», перед врожденным величием царя царей, перед светом, который он излучал, и символом которого был огонь, всюду носимый впереди него. Теренций-Нерон боялся, как бы в блеске этом не обнаружилось его собственное темное, низкое происхождение, как бы это сияние не обнаружило миру его наготу.

Однажды он отвел в сторону своего опаснейшего друга Варрона. Он схватил его за одежду, как это делал обычно Требоний, и таинственно, вполголоса, сказал ему:

— Знаете ли, Варрон, странный был со мной случай. Я сошел недавно в Лабиринт, чтобы обдумать, как построить там свою гробницу. Мне захотелось остаться одному, и я отослал факельщиков. Было темно, и тут-то оно и произошло.

Он приблизил свою голову к голове Варрона, еще более понизил голос, придав ему еще больше таинственности.

— Пещера,— шепнул он,— осветилась. Свет исходил от моей головы, это был мой «ореол», в пещере стало совершенно светло.

Он не смел взглянуть на Варрона. Что делать, если Варрон улыбнется? Теренцию останется только убить его или самого себя. Однако Варрон не улыбался. В душе Варрон содрогнулся.

Цезарь Нерон был сыт и счастлив. Внешнее счастье уже давно стало для него привычным и уж немного прискучило ему; но пресыщенность сделала его еще более похожим на Нерона. Однако теперь, когда Варрон без улыбки выслушал его рассказ о случае в пещере, чувство счастья проникло в самые скрытые тайники его души.

Да, Нерон грелся в лучах милости богов. Аполлон оделил его талантом щедрее, чем остальных смертных. Марс даровал ему победу в сражении и друга — Требония, Минерва ниспослала ему ум и друга — Варрона, Гермес одарил хитростью и другом — Кнопсом.

Порой, правда, донесения его советников были не особенно благоприятны. Они, например, рассказывали ему, что некоторые речи Иоанна с Патмоса проникали в народ из пустыни, куда скрылся этот проклятый, и восстанавливали массы против императора. Толпа тосковала по Иоанну, называла его без всякой иронии «святым актером», ибо император, святой и актер — это были три высшие формы, в которых толпа представляла себе своих любимцев. Поэтому странные пророчества Иоанна об антихристе и звере, который явится или уже явился, чтобы поглотить мир, возбуждали народ и сеяли смятение. Но Нерон смеялся в ответ, он смеялся над Иоанном с Патмоса, произносившим эти речи, и над его богом Христом.

Он смеялся и над тем, что все в большем количестве появлялись списки трагедии «Октавия», в которой злодеяния Нерона изображены были в столь патетических стихах и которая послужила поводом для первой овации, устроен-

ной Теренцию. Все эти хулители не могли причинить ему вреда. С тех пор как Варрон не посмел улыбнуться, Нерон сам уверовал в свой «ореол». Когда Кнопс приказал предать публичному сожжению экземпляры «Октавии», которыми ему удалось завладеть, и некоторые другие пасквили, Нерон нашел, что слишком много чести оказано жалким потугам его недругов, и, уверенный в своем «ореоле», разрешил себе истинно императорскую шутку.

Он торжественно пригласил своих друзей и придворных на рецитацию и сам прочел им эту враждебную стряпню — «Октавию».

Он не собирался исказить «Октавию» карикатурным исполнением. Это было бы слишком дешево. Но он задумал приправить свою декламацию легкой, чуть заметной иронией, из «Октавии» в его передаче должно было струиться высокое духовное веселье.

В этом тоне он и начал рецитацию. Но в нем сидел слишком хороший актер, и он не мог долго выдерживать этот тон. Против воли он вложил в стихи «Октавии» все свое подвижное, изменчивое, как у Протея, существо. И как прежде Теренций перевоплотился в надменно-пресыщенного Нерона, так теперь сияющий, кроткий повелитель Нерон-Теренций перевоплотился в героя «Октавии» — Нерона мрачного и преступного, насильника, страдающего от своих злых страстей. И, читая песни хора, Нерон-Теренций, обличитель собственных злодеяний, серьезно, гневно и убежденно предсказывал себе горестный конец.

С изумлением и легким испугом слушала его блестящая аудитория. Не было и в помине той возвышенной веселости, которой ждал Нерон. Хотя Требоний изо всех сил старался как можно чаще хохотать своим знаменитым жирным смехом, хотя Кнопс пытался поднять настроение острыми словечками, веселье, которое силилась выказать публика, носило какой-то судорожный характер, и на маленькое блестящее собрание легла мрачная тень подавленности.

Нерон чувствовал, что не достиг желанного эффекта. Тем развязнее и надменнее держал он себя по окончании рецитации. Говорил о том, что в этом году приступит к работе над новым произведением, гораздо более обширным, чем его поэма о «Четырех веках». Он намерен изобразить всю римскую историю в двухстах больших песнях. Кнопс, пытаясь разогреть публику, позволил себе маленькую шутку.

— Когда римский народ, — сказал он, — получит двести песен его величества, ему придется столько читать, что

у него уже не хватит времени для труда, для завоевания остального мира, и римская история кончится именно вследствие того, что она воспета императором.

Но смеяться никто не решался, ибо сам Нерон не смеялся. Он не метал грома и молний, он даже не обнаружил признаков гнева, он просто пропустил мимо ушей слова Кнопса, но Кнопс почувствовал, что сделал ошибку. Насколько опасна была эта ошибка, ему суждено было узнать лишь гораздо позже, ибо у Теренция — и это следовало знать Кнопсу — была хорошая память и он точно вел свои счета.

Нерон отпустил гостей. Остался один в пышном зале. Слуги, не зная, что император еще здесь, пришли тушить огни. Они с испугом разбежались, увидев его мрачное лицо. Но он позвал их и велел делать свое дело. Они погасили светильники.

И вот цезарь Нерон сидит один, в полной темноте, на подмостках — в белом одеянии актера, с венком на голове, страдальчески и гневно выпятив нижнюю губу. Он чувствует себя непонятым и очень одиноким. Какой ему толк в обладании «ореолом», какой ему толк в том, что от него исходит сияние и из головы его, точно рога, растут лучи? Глупый мир хоть и признал его великим императором, но не понял, что он был чем-то еще большим — великим артистом.

5

КЛАВДИЯ АКТЕ

В эту пору распространилась весть, что Клавдия Акте, подруга Нерона, после долгого отсутствия собирается посетить свою сирийскую родину. Это известие наполнило ожиданием Сирию и Междуречье, ибо Клавдия Акте была одной из популярнейших в империи личностей.

Она родилась в рабстве, детство у нее было тяжелое. Ее хозяин намерен был сделать из нее акробатку, ей пришлось пройти через суровую школу — ругань, побои, голод. Когда ей минуло девять лет, красивую гибкую девочку купил императорский двор. Нерон, сам еще юноша, увидел Акте, когда ей было пятнадцать лет, и страсть, с первого мгновения связавшая обоих, устояла перед всеми бурями его жизни и царствования.

Акте была несколько выше среднего роста, нежного и в то же время крепкого сложения. У нее была матово-белая, прозрачная кожа. Под чистым лбом — густые черные разлетающиеся брови и зеленовато-карие глаза, светлые и любопытные, с острым взглядом. Большой, благородного рисунка рот изгибался над своевольным подбородком. Нерон воспел Акте в изящных стихах, и некоторые из них стали популярными, в особенности два стихотворения, где он славил Акте за то, что в ней сочетаются дитя и женщина, целомудрие и страсть.

Порой в кругу друзей Нерона она демонстрировала искусство, которому ее учили в детстве. Это было нечто среднее между акробатикой, пантомимой и танцем. На лице ее лежала обычно какая-то тень печали — след сурового детства, но когда она танцевала теперь, не чувствуя над собой угрозы, свободно отдаваясь движениям, печаль эта исчезала. Тогда она снова становилась ребенком, которым ей запрещалось быть в ранней юности, и детская наивность ее искусства заставляла забывать об утонченной, с таким трудом и страданиями приобретенной технике. Особенно известна была одна из ее маленьких пантомим, пустячок, детская игра. Она изображала ребенка, запускающего нечто вроде юлы на маленьком шнурке, радующегося своей ловкости и еще больше — своей неловкости. Она вращала юлу на шнурке, высоко подбрасывала ее, ловила, серьезная, нежная, глубоко погруженная в игру, сердито смеясь неудаче, счастливая удачей. Играя, она не то приговаривала, не то напевала своим тонким голоском: «Кружись, моя юла, — рада ли ты, когда я кружу тебя, — рада ли ты, когда кружишься, — ведь я так рада». Все население обширной империи напевало эти глупые детские стихи, даже люди, не знавшие ни слова по-гречески. Стихи Гомера — и те не были так широко известны.

Акте была любимицей города Рима, любимицей империи. Видя императора рядом с очаровательной, серьезной, веселой девушкой, которую он, по-видимому, любил так же сильно, как и она его, толпа, ликуя, приветствовала его и не хотела верить мерзостям, о которых рассказывали враги Нерона. Акте первая стала называть его старинным родовым именем «Рыжебородый», прибавив ласковое «Малыш». Массы подхватили это имя. Акте, молодая, воздушно-легкая, шла через кровь и грязь, которыми господство над миром наполнило Палатин, и мрачные события царствования казались невероятными рядом с сиянием, которое она излучала.

При этом она ничуть не старалась выставлять себя безупречной. Она не скрывала, что была любопытна, и проявляла откровенный интерес к сплетням — не только к тем, которые занимали Рим, но и к долетавшим из Александрии и Антиохии. Она была порой зла на язык и ради красного словца могла уничтожить человека. Когда она сидела на играх в императорской ложе, она увлекалась не меньше, чем простой народ, и, вопреки приличиям, громко кричала вместе с народом, с жадным любопытством высовывалась из ложи, чтобы лучше видеть, как умирают люди и животные. И народ ликовал, ибо она, Клавдия Акте, была как сам народ. Она была и капризна, как чернь, и не скрывала своих капризов. Случалось, что в цирке, когда кругом все бурно требовали помилования гладиатору или борцу, Акте, со своим чистым лбом и детской улыбкой на устах, вытягивала руку, повернув книзу большой палец, неся смерть побежденному.

Она отлично вела денежные счета, эта юная девушка, и гордилась этим. Ее поставщикам опасно было попадаться в просчетах. Она занималась строительством с большим размахом, владела поместьями, великолепными виллами в ПUTEОЛАХ, в ВЕЛЕТРАХ, содержала двор. Но Акте откладывала гораздо больше денег, чем тратила. Воспользовавшись доброй минутой, она убедила Нерона переписать на ее имя доходнейшие из императорских кирпичных заводов и, где просьбами, где нажимом, достигла того, что большая часть общественных зданий возводилась из материалов, поставляемых ее заводами, и, конечно, уж не по самым дешевым ценам.

Но Рим и мир все прощали Клавдии Акте. Все хорошее, что делалось Нероном, исходило от нее, все злое, что совершалось в его царствование, творилось против ее воли. Она мила и весела, пел Нерон, она умное, пленительное дитя богини РОМЫ. И такой видел ее мир.

Акте была отважна и настойчива в своей страсти. Когда Нерон, преследуемый сенатом, погиб, она потребовала у новых властителей выдачи его тела. Чтобы достигнуть своей цели, она не побоялась вызвать чуть ли не восстание, хотя это грозило ей смертельной опасностью. Отказать ей не посмели. В тот момент, когда кругом, по приказу сената, уничтожались бюсты Нерона, гермы с его головой и другие изображения, она с великолепной смелостью публично сложила в своем поместье на АППИЕВОЙ ДОРОЖЕ погребальный костер для своего царственного возлюбленного. Костер в семь ярусов, как и подобало императору; с верхнего яруса

она пустила ввысь орла, который унес бессмертного усопшего к его предкам-богам. А урну с прахом она похоронила в своем парке и воздвигла над ней мавзолей.

Полгода она соблюдала траур. Затем возобновила свою прежнюю жизнь, спокойная, веселая, точно дитя. Ее друзья находили, что искусство ее стало еще более легким, воздушным. Публично она никогда не выступала, но знатоки заявляли, что и теперь еще, в тридцать два года, через тринадцать лет после смерти Нерона, она была первой в искусстве пантомимы. Народ все еще радостно приветствовал ее всюду, где она ни появлялась, и императоры из дома Флавиев не смели лишить ее привилегий, отличий, почестей.

И вот Клавдия Акте прибыла в Сирию, чтобы снова повидать родину, которой она не видела со времени своего сурового детства.

6

ЦЕЙОНИЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРЕДВИДЕННОГО

Для губернатора Цейония ее посещение было некстати. Клавдию Акте он уже в Риме ощущал как нечто стеснительное, некое враждебное начало, существо, совершенно противоположное его собственной натуре. Простота, с которой она всегда достигала всего, чего хотела, ее благословенная легкость казались ему насмешкой неба над его собственным суровым трудом. С тех пор как распространилась весть о ее прибытии, на улицах Антиохии снова стали распевать глупую песенку о юле, которая уже и в Риме злила Цейония. Ее пели все — его рабы и чиновники, уличные мальчишки, римляне, сирийцы, греки. Для Цейония она звучала насмешкой. Он сам был юлой, которую кружили, а эта глупая, дерзкая песенка требовала, чтобы он еще радовался этому.

Он охотно не обратил бы внимания на приезд Клавдии Акте. Но это было невозможно. С Палатина ему дали понять, что надо использовать пребывание Акте в Антиохии, чтобы склонить ее выступить главной свидетельницей против самозванца Теренция. Как этого добиться? Не исключено, что женщина, любившая подлинного Нерона, поможет раскрытию обмана. Но кто поймет душу девушки, сочинившей нелепую песенку о юле?

Акте тотчас же откликнулась на приглашение Цейония. Принятая с почетом, стояла она в его рабочем кабинете, оглядывая быстрыми любопытными глазами комнату, обставленную с несколько пресной пышностью, смеялась своим знаменитым непринужденным, веселым смехом. Цейоний вежливо задал ей вопросы, какие полагались в таких случаях: давно ли она не видела родины, понравилась ли ей теперь Антиохия, долго ли она собирается оставаться здесь. Она дружелюбно отвечала ему, улыбалась, поглядывала на него и под конец сказала с еще более широкой улыбкой:

— А теперь, Цейоний, спросите же меня о том, что вас все время угнетает с той минуты, как вы услышали о моем приезде.

Губернатор, несколько озадаченный ее беспечным тоном, но вместе с тем испытывая облегчение, сначала сделал вид, что не понимает, о чем речь. Затем признался, что обеспокоен мыслью о ее дальнейших намерениях — собирается ли она переехать через границу и встретиться с так называемым Нероном, — ведь приглашение она, по всей вероятности, получила.

— Конечно, — сказала Акте, с серьезным видом кивнув головой. — Представьте себе, мой Цейоний, — продолжала она, — я и сама еще не знаю, приму ли приглашение. Любопытно мне, надо признаться, взглянуть на этого человека, и я почти уверена, что встречу с ним.

Но легкий, беспечный тон, каким были сказаны эти слова, подействовал на Цейония хуже, чем если бы она решительно заявила о своем намерении стать на сторону противника: в этом случае можно было бы угрожать, — пожалуй, даже наложить запрет. Но приказывать такому воздушному и неуловимому существу было бы смешно.

— Я не советую вам ехать в Междуречье, моя Акте, — сказал он наконец довольно холодно. — Уже самый факт, что вы посетите самозванца, будет истолкован нашими противниками как доказательство вашей веры в то, что Нерон, быть может, жив; скажут, что вы считаете этого человека Нероном. Не будет ли нелояльным по отношению к императору Титу, если вы дадите повод к такому предположению? Ведь никто не знает лучше вас, что Нерон умер.

Против воли он напряженно выпрямился, этот сухой, пожилой офицер, и Акте поняла, почему его прозвали Дергунчиком. Она встала, оперлась о тахту в восточном вкусе, на которой только что сидела. Но когда неподвижно

сидевший Цейоний хотел подняться — было неприлично сидеть в присутствии дамы, — она легко и энергично нажала на его плечо, заставив его снова опуститься в кресло, посмотрела маленькому, измятому человечку в лицо, на котором все сильнее выступали чахоточные пятна, и сказала, улыбаясь:

— Вы забываете, мой Цейоний, что я любопытна. Если пять миллионов людей думают, что этот человек — Нерон, неужели подруга Нерона не имеет права взглянуть на него?

— Нет, — проскрипел Цейоний. — Не думаю, — прибавил он вежливее, — перед богами, перед императором, перед сенатом и римским народом она, я считаю, не имеет этого права.

Он сидел прямо, поглаживая пальцами одной руки ладонь другой.

Акте опустила на тахту и подобрала ноги, не усаживаясь, — она не любила сидеть, — а скорее полулежала.

— Императора и сената я никогда не боялась. Народ вряд ли имеет что-нибудь против того, чтобы я взглянула на так называемого Нерона, — пожалуй, даже желает этого, а боги уж наверняка ничего не имеют против. Остается, значит, в крайнем случае спросить: как посмотрит на такое посещение губернатор Цейоний? И что вы, в самом деле, предпримете, мой Цейоний, если я решусь на это?

— Я и сам еще точно не знаю, — деревянным голосом сказал губернатор. — Возможно, что я этому воспрепятствую.

— Силой? — с любопытством спросила Акте, широко улыбаясь.

— Если бы я решил помешать вам, то, в случае надобности, действовал бы даже силой.

Акте расхохоталась от всей души (этот ее смех был знаком всему Риму).

— Вы — храбрый человек, — сказала она. — Но разрешите мне продолжить этот разговор в другой раз. Сейчас я должна на два часа прилечь. Императрица Пoppея брала с собой, отправляясь в путь, целое стадо ослиц, чтобы по ночам мыть лицо их молоком. С меня довольно двух часов послеобеденного сна. Но уж это непременно. Как-никак, а мне уже тридцать два. Итак, до скорого свидания, Цейоний.

Вечером того же дня губернатор нанес ей ответный визит. Молодая, уверенная в себе, сидела она против изнуренного, подавленного человека. Если бы он петушился, как утром, она бы просто посмеялась над ним. Но очарование,

исходившее от Акте, коснулось даже его, он понемногу постигал ее сущность. Он решил до конца довериться этой женщине и, вместо того чтобы донимать ее и понапрасну угрожать ей применением силы, откровенно поведать ей угнетающую его тяжелую заботу.

Осторожно, чтобы не задеть ее и не оскорбить память усопшего императора, он разъяснил ей, что политика Нерона была великолепна, но неразумна. Стремиться включить запутанный, капризный Восток в стройную, размеренную систему империи было утопией. Рим не мог взять от Востока и переварить больше того, что уже проглотил. Пусть даже политика Флавиев на Востоке неправильна, — есть ли в настоящий момент хоть малейшие шансы превратить в жизнь идеи Нерона? Если политика энергичной экспансии на Восток провалилась уже при первой попытке, тогда, когда ее направляли из центра империи и подчиняли ей весь государственный аппарат, можно ли довести ее до конца теперь, действуя отсюда, с периферии, и располагая лишь ничтожной долей прежних средств? Нет, это было бы безнадежно даже в том случае, если бы за этим проектом стоял не жалкий раб, а подлинно великий человек. Из этого могли бы родиться лишь неисчислимые бедствия.

— Я взываю к вашему разуму, моя Акте, — сказал губернатор с непривычной живостью, — к вашему всем известному здравому смыслу. На опьянении можно строить ослепительную политику, но лишь на короткое время. Нерон, без сомнения, был более блестящим, если хотите, более крупным человеком, чем грубый и расчетливый старик Веспасиан. Но Нерон оставил сорок миллиардов долгу, а у Веспасиана оказалось семнадцать миллиардов накоплений. Теперь, когда, после долгих и тяжелых усилий, Восток удалось до некоторой степени успокоить, попытка вернуться сызнова к политике Нерона может повредить противникам Нерона разве что на несколько месяцев, так как в итоге тот, кто проводит в наши дни нероновскую политику, неизбежно проиграет. — И угрюмо, погрузившись в себя, он признался: — Я сам в одном ничтожном деле поддался личной страсти, вместо того чтобы уступить разуму, и боюсь, что это маленькое отклонение от прямой линии — одна из причин бессмысленной месопотамской затеи. Позвольте мне предостеречь вас, Акте, и позвольте надеяться, что вы исполните мою просьбу. Наша эпоха склонна к опьянению. В опьянении большой соблазн. Но одно из двух: либо привести к гибели римскую цивилизацию, либо вернуться к разуму окончательно и всем, а опьянению отвести

уголок в частной жизни и в искусстве. В политике ему места нет.

Акте слушала безмолвно и серьезно. Может быть, человек этот и прав. Но ей-то какое дело? Разве она собирается заниматься политикой? Она попросту хочет видеть этого удивительного Нерона, увидев его, она решит, что делать. Разве она не имеет права на личную жизнь? Политика, здравый смысл — отлично, превосходно. Но если время от времени не позволить себе минуты опьянения, то весь этот здравый смысл гроша ломаного не стоит. Когда под конец задаешься вопросом, что же, в конце концов, было стоящего в твоей жизни, то оказывается, что именно немногие часы опьянения. Но нет смысла втолковывать такую истину этому нищему, обиженному судьбой человеку, — он никогда ее не поймет.

Она любила Нерона. Нерон потерпел крах. Многие говорят, что содеянное им, вся его жизнь — безумие, и мнение этих благоразумных жестоко подтверждено событиями. Но разве не это самое безумие, не романтика императорского могущества, богоподобия, власти — разве не они создавали ореол, привлекавший к нему сердца? Разум можно уважать, но любить можно лишь другое — вот это сияние, «опьянение», как выразился жалкий Цейоний. Ради этого опьянения она и любила Нерона. Ради этого опьянения она и сейчас еще любит его. Правильна или ошибочна его политика, вся его жизнь, он был, без сомнения, великий человек, достойный любви. Все в нем было достойно любви — его богоподобие, тщеславие, жестокость, блеск, улыбка, его капризные, чувственные губы, его серые глаза, то слегка скучающие, то бурновосторженные, его гладкая белая кожа. Как она любила его за нетерпеливую жадность, которая заставляла его внезапно прерывать пир или заседание сената, потому что ему внезапно, сейчас, сию же минуту хотелось ее. А неумеренность его планов, их размах, дерзкое презрение к трудностям, неразумность его проектов — как она любила его за все это!

Акте не была ханжой и после смерти Нерона не разыгрывала из себя весталки. Среди мужчин, принадлежавших к кругу ее близких друзей, был один поэт по имени Италик. Он писал стихи, жесткие, чистые, величественные, точно высеченные из мрамора. Его любовь к Акте была ровнее, постояннее, разумнее, чем любовь Нерона. У него было много похвальных качеств — ум, образование, поэтический талант, даже юмор. С ним было хорошо за столом

и в постели, и она не без удовольствия сознавала, что этот опытный, обычно такой спокойный человек, один из первых поэтов эпохи, а быть может, и первый, любил ее до беспамятства. Вероятно, многим непонятно было, почему она не отвечала на эту любовь более горячо. А это было так просто: живой поэт не мог победить мертвого Нерона. Когда она думала о глазах Нерона, о том, как они заволакивались дымкой гнева или желания, о том, как жестоко ее стискивали его белые руки, о голосе, который от металлических раскатов опускался до детски нежного шепота; когда она приходила в его мавзолей и старалась вызвать перед глазами образ Нерона, хотя Нерон уже тринадцать лет назад стал прахом, тогда всякий другой рядом с ним становился ничтожной тенью. И теперь, хотя она чувствовала почти сострадание к бедняге Цейонию, этому убогому адвокату разума, ее вдруг властно захватило воспоминание о покойном — именно после протеста Цейония против опьянения. Желание видеть человека, которого столь многие принимали за Нерона, выросло в неодолимое искушение, оно было гораздо сильнее, чем простое любопытство. Если в нем будет хоть что-нибудь от Нерона, хотя бы частица той неопишуемой смеси величия, безумия, императорского блеска и мальчишества, — как она будет счастлива!

— Может быть, это Нерон, — сказала она. Она говорила как бы про себя, мечтательно, с той чуть заметной, самодовольной, непонятной улыбкой, с которой она некогда обрекала на смерть борца или гладиатора, взиравшего на нее с мольбой о пощаде.

— Не бойтесь, мой Цейоний, — продолжала она, улыбаясь шире при виде того, как ее собеседник испугался и побледнел перед столь откровенным проявлением безрассудства и злой воли. — Я никому не буду «мстить», ни Титу, ни кому-либо из сенаторов, насмерть затравивших моего друга и императора; и я знаю, что Нерон умер, я видела его труп и черную дыру на шее, через которую ушла его кровь, его жизнь. Я сожгла прах Нерона, и урна с пеплом стоит в моем парке на Аппиевой дороге. Но, может быть, я полюблю того, кто называет себя теперь Нероном, — и тогда он будет Нерон.

Она произносила эту бессмыслицу ясным, спокойным голосом. Она смотрела на Цейония ясным, ничуть не помутившимся взглядом. Но Цейония охватил страх и трепет перед этим миром, где повсюду царил безумие и где не было места разуму. Под его началом было семь римских легионов, но он с ужасом понял, что совершенно бессилен.

Что могли сделать его солдаты против улыбки, против сумасбродных капризов этой женщины? На недели, на месяцы отдана была судьба его провинции в руки этой потаскухи, этого ребенка.

Он ничего не мог сделать против нее. Она была — как река Евфрат — равнодушна и полна неожиданностей; никто не мог предвидеть, что она принесет, — благословение или проклятие. Бессмысленно было возмущаться ею. Оставалось сложить руки и ждать, что она предпримет.

И он в самом деле не почувствовал гнева против Акте, узнав через несколько дней о ее отъезде в Междуречье.

7

КРУЖИСЬ, ЮЛА!

Они стояли друг против друга — Акте и Варрон. Они не виделись почти тринадцать лет. Он смотрел на ее нежное, привлекательное лицо; чувствовалось, что она стала опытнее и чуть-чуть смиреннее. В былые времена Акте часто ревновала возлюбленного к Варрону, его интимнейшему другу, отнимавшему у нее немалую долю чувств и времени возлюбленного. Но сейчас, когда она увидела знакомые черты — крепкое мясистое лицо, умные глаза, хорошей лепки лоб, — она поняла, как много общего их соединяло. Никто не знал императора лучше их, никто не любил его сильнее, чем Варрон и она. С такой силой пронзило ее воспоминание о Нероне, таким осязательно близким стал вдруг его образ, что она побледнела. Она испугалась и того, что Варрон так постарел. На самом деле он был удивительно моложав для своих пятидесяти лет, но она хранила в памяти его прежний образ, и ей сразу бросились в глаза новые морщины, которых другие не замечали.

— Вот мы и свиделись, мой Варрон, — сказала она, и на ее живом лице, отражавшем малейшие изгибы чувства, можно было прочесть радость, удивление, самоотречение.

Варрон же думал: «Почему я не любил ее? У меня был зоркий, опытный глаз. Разве я не видел, как она красива? Только повинувшись разуму, я запрещал себе любить ее. Люблю ли я ее теперь? Еще несколько месяцев тому назад я отказался бы ради нее от всей этой нелепой игры, стал бы помогать ее, завоевал бы ее и жил с ней год, два, а может быть, и пять. Теперь эта дурацкая игра отняла у меня все силы. Я опустошен, изможден, я — старик».

Но на его лице, в его словах нельзя было уловить и следа этих мыслей.

— Дайте-ка на вас посмотреть,— сказал он.— Зубы у вас, право же, выросли и стали умнее.— Они с Нероном часто подтрунивали над мелкими, ровными зубами Акте, и Варрон полущутя уверял, что такие зубки придают ей глуповатый вид.

— Подросли ли мои зубы, я не знаю,— сказала Акте.— Но умнее я действительно стала. Это уж наверняка. А вы, мой Варрон?

Она попыталась улыбнуться, но это ей не удалось. Ее волновало воспоминание о том времени, когда они втроем — Нерон, Варрон, она — подтрунивали друг над другом и ссорились, часто в шутку, порой — всерьез.

Она рассердилась на собственную сентиментальность.

— Расскажите,— сказала она живо,— что вы такое тут затеяли? Чего ради вы устроили эту историю с Нероном? Чего вы ждете от нее? Растолкуйте мне все это хорошенько. Вы ведь знаете, что я ужасно любопытна.

Она полулежала на тахте, закинув за голову обнаженную руку, голубая ткань ее одежды падала широкими складками. Лоб был открыт, черные, тонкие, не очень густые волосы, вопреки моде, локонами спускались на затылок.

Варрон стал рассказывать. Он не скрыл, что непосредственным поводом ко всей этой истории была его антипатия к Цейонию. Он говорил легко, ровно. И все же в его словах сквозила та страсть, которую он вкладывал в свое предприятие, и та вера в идею, которая крылась за всем. Он говорил о принесенных жертвах, о своей дочери Марции, о своем друге Фронтоне, о деньгах, времени, нервах, жизни, вложенных им в дело, и о том, что он ни в чем не раскаивается.

Акте вдумчиво слушала.

— Мотивов много,— сказала она.— Но, к сожалению, все это мотивы, подсказанные страстью.

— К сожалению? — отозвался Варрон.— Вы думаете, к сожалению? — И они дружески и в то же время испытующе взглянули друг на друга, стараясь разгадать, в какой мере они связаны прошлым и разделены настоящим.

— В Антиохии мне убедительно доказали,— сказала Акте,— что предприятие ваше глупо и безнадежно. Люди, растолковавшие мне это,— серенькие, неприятные люди, но разум на их стороне.

— Разум.— Варрон пожал плечами, и на лице его появилось выражение того победного легкомыслия, которым он всегда завоевывал людей.— «Кружись, юла»,— смеясь напомнил он Акте.— Что такое разум? Всякий считает разумным то, что служит к утверждению его собственной сущности, а то, что противоречит ей, он отрицает. Я создал этого Нерона, потому что без Нерона, без его дела жизнь для меня теряет свою прелесть. Вы любили Нерона по-своему, по-женски, Акте, и любите его по сию пору; вы похоронили его и чтите его память. Я люблю его на свой лад: я продолжаю его дело. Разве это не разумно?

— Ах, Варрон,— сказала Акте,— я часто вас ненавидела. Но я знаю, как вы любили Рыжебородого Малыша и как он любил вас.

— Я люблю его по-прежнему, Акте,— сказал Варрон.

Они посмотрели друг на друга понимающим, радостным, серьезным взглядом.

8

БЕЗУМИЕ

Варрон с радостным изумлением убедился, что приезд Акте вызвал счастливую перемену в его дочери. Марция, которая после смерти Фронтоня почти помешалась и точно съезжилась, замкнувшись в непроницаемую оболочку, вдруг пришла к нему и заговорила о Клавдии Акте. К удивлению Варрона, она не отступала от этой темы. Ей хотелось побольше услышать об Акте, узнать о ней тысячу подробностей. Наконец она выразила мнение, что такой гостье, как Акте, нельзя не устроить почетной встречи, и так как поездка по вновь завоеванным городам еще на некоторое время задержит императора вдали от его резиденций, Эдессы и Самосаты, то ей следовало бы самой принять важную и желанную гостью. Удивленный Варрон колебался, возражал, не понимая, что заставляет Марцию тянуться к Акте. Но Марция настаивала, пришлось ей уступить.

Дело было в том, что Марция видела в Акте и ее судьбе отражение собственной участи. У этой Клавдии Акте умер подлинный Нерон, и вот она приехала сюда, на Восток, смирившись, готовая довольствоваться Лже-Нероном. Но и у нее, Марции, умер подлинный Нерон, ибо император и Фронтон слились для нее воедино, так что вместе с Фрон-

тоном ушел от нее и Нерон. У них обеих, у Акте и у Марции, осталась только оболочка Нерона.

Акте, со своей стороны, было интересно увидеть Марцию. В Риме и Антиохии много толковали о Марции, аристократке, которой выпала на долю странная судьба — стать женой раба, разыгрывавшего роль императора. Даже слухи об импотенции этого человека проникли за море — как и слухи о связи Марции с полковником Фронтоном. Акте с любопытством ждала встречи с Марцией.

С обеими женами подлинного Нерона она сумела поладить — сначала с Октавией, потом с Поппеей. То великолепное бесстыдство, с которым Акте держалась, все время оставаясь с Нероном, безрассудно уверенная в своем Нероне, дружелюбно принимая каждый его брак — и пережив обеих его жен, — очень помогло ей завоевать симпатии толпы. Толпа любила Акте за смелость ее страсти и за презрение к знакам внешнего достоинства, радовалась спокойствию, с которым она предпочла быть и оставаться подругой Нерона, хотя стоило ей захотеть — и она могла бы стать римской императрицей. И вот теперь Акте явилась взглянуть на супруга нового Нерона, решив установить с ней такие же хорошие отношения, как с женами подлинного Нерона.

Акте повела себя непринужденно. В несколько судорожной любезности и величавой осанке Марции она сразу почувствовала всю ее опустошенность, ее оцепенелое помрачение. С первого взгляда Акте поняла, что нелегко будет снискать дружбу Марции; но трудность задачи привлекала ее, и она стала выказывать Марции еще большую сердечность. Весело и доверчиво расспрашивала ее об интимных вещах, как женщина женщину, но без навязчивости, постепенно разрушая ее броню. Марция, правда, смотрела на Акте свысока, как на рабыню по рождению. Но разве муж ее не стал из раба императором, и если в самом императоре сидел раб, то почему бы ее подруге не быть рабыней? К тому же она видела в Акте естественную союзницу, ибо не приходится ли Акте, как и самой Марции, отречься от подлинного Нерона ради этого несчастного горшечника? Беседы с Акте действовали на Марцию благотворно. Вскоре они сблизились друг с другом, вскоре Акте могла уже заговорить о Нероне, о Неронах, принадлежавших им обоим, с чуть заметной, грациозной и легкой иронией, так что неясно было, говорит ли она об императоре Нероне или о самозванце.

До сих пор Марция откровенно говорила о своем Нероне только с самой собой и с Фронтонем. Но осторожные, легкие шутки Акте все больше лишали ее брони, и она уже не боялась говорить о своем позоре с подругой — сперва сдержанно, потом все откровеннее. Тихо, горько, доверчиво смеялась она над удивительной судьбой, которую послали ей боги. Понизив голос, со странной улыбкой на гордых губах, искривленных мукой, она говорила Акте о свойствах Нерона — свойствах подлинного Нерона, о которых она знала от других, и о свойствах Нерона-Теренция, в которых она убедилась на личном опыте.

Акте внимательно и участливо слушала. Она не старалась отличить правду от вымысла. Но, слушая речи подруги, она особенно ярко вспоминала о настоящем Нероне, своем друге и императоре, и, как ни странно, его облик благодаря речам этой полупомешанной понемногу менялся. Она спрашивала себя, не влились ли незаметно в образ ее возлюбленного, который она хранила в душе, черты других мужчин, как в образ Нерона, созданный этой безумной? Не перенесла ли она, не переносит ли сейчас на своего умершего возлюбленного все то, что казалось ей прекрасным и достойным любви в других мужчинах, и не оставалась ли она слепа к таким его качествам, которые в других отталкивали ее? Не то чтобы она теперь меньше любила своего мертвого Нерона, но она лучше, яснее судила о нем.

Марция, со своей стороны, говоря с Акте об императоре, все больше думала о Фронте. Все сильнее к воспоминанию об умершем Нероне и об умершем Фронте примешивалось представление о живом Теренции, она уже не в состоянии была отделять один от другого эти три образа. Доверчиво, таинственно и сладострастно рассказывала она удивленной Акте о том, что Нерон любил употреблять в постели непристойные слова. Она говорила «Нерон», — а думали: «Фронтон». То, что Нерон, невольник по рождению, в минуты упоения имел право говорить непристойности и даже не мог не говорить их, делало Фронтоня еще милее для нее. То, что Нерон-Теренций был императором, делало императором Фронтоня, живой и мертвый сливались воедино.

В душе Марции, как и в душе Акте, вырастал образ достойного любви мужчины, обе они украшали его лучшими чертами многих мужчин, и обе называли этот образ «Нероном».

И образ этот позволял им обоим — очоченной, безумной Марции и умной, трезвой Акте — глубоко проникать

чувством в чувства подруги. Марция, как бы угадав все, что пережила и передумала подруга, говорила:

— Это и в самом деле неправда, что Нерон умер. Он жив. Если вы хотите его по-настоящему почувствовать, то не надо слишком глубоко заглядывать в сердце нашего здешнего Нерона. Но я знаю место, где вы можете найти подлинного Нерона, то есть, я хочу сказать, его тень, его «идею».

И Акте сразу поняла, что Марция употребила слово «идея», которое она выговаривала с таинственной и лукавой улыбкой, в платоновском смысле, что она подразумевала неразрушимый идеальный образ Нерона, который они обе носили в душе.

— Где же, моя Марция,— спросила она, глубоко тронутая странными словами подруги,— где же я найду его, этого подлинного Нерона? -

Марция с многозначительным и загадочным видом, приложив палец к губам, шепнула ей:

— В Лабиринте, дорогая. Он скрывается в Лабиринте. Если вы очень упорно о нем думаете, если вы всей душой призываете его, то он приходит на ваш зов, он с вами, он называет вас теми ужасными, непристойными и милыми сердцу именами, которыми он любил называть нас, когда еще пребывал среди нас во плоти. Хотите ли, дорогая сестра, спуститься как-нибудь со мною в Лабиринт, чтобы увидеть и услышать его? — спросила она настойчиво, жадно.

И Акте, увлеченная этой навязчивой идеей подруги, ответила, также понизив голос:

— Да, дорогая, ведите меня туда.

9

ДВОЕ РАЗОЧАРОВАННЫХ

Государственный секретарь Кнопс в своей Эдессе и генерал Требоний в своей Самосате с приятным нетерпением ждали приезда Акте. Оба они умели обращаться с женщинами, оба были уверены в своей мужской силе, и оба на опыте убедились в своей неотразимости. Спать с женщиной, чары которой были прославлены по всему миру, казалось им обоим целью, достойной того, чтобы потрудиться.

Кнопс, который чувствовал себя в Эдессе наместником императора, первый нанес ей визит. Он сразу попытался

пустить в ход наглое, циничное остроумие, которое не раз помогало ему, еще в пору рабства, завоевывать женщин. Но Акте сохраняла холодно-любезный тон. Она разглядывала этого хоряка — Кнопса — с любопытством, но явно без всякой теплоты. Кнопс, раздраженный ее сдержанностью, стал выставлять напоказ свои заслуги. Постарался блеснуть перед нею своими политическими талантами. Цинично намекнул, что именно в его голове родилась идея потопления Апаimei, — замысел, который решил победу Нерона. Но упоминание об этом событии, казалось, лишь огорчило Акте. В свое время Нерон мало горевал о том, что его называли виновником пожара, несмотря на непричастность его к этому событию. Ее же этот глупый, изобретенный врагами Нерона навет очень огорчал; ей неприятно было, что потопление Апаimei, измышленное этим второразрядным плутом, снова воскресило этот слух. Она кивнула Кнопсу, все такая же безучастная, любезная.

— Нужна изрядная порция дерзости, — сказала она задумчиво, — чтобы разнуздать такую стихию. Кто строит все свои расчеты на глупости черни, тот бьет наверняка, тому минутный успех обеспечен. Мне только любопытно знать, как долго толпа позволит дурачить себя и удастся ли вам сыграть на этом до конца. А теперь позвольте поблагодарить вас за интересную беседу, — сказала она в заключение. — Настал час, который я посвящаю отдыху. — И она вежливо и решительно попрощалась с ним. Кнопс очутился за дверью, уязвленный в своем мужском тщеславии, и его мало утешала мысль, что, по существу, Акте не что иное, как претенциозная стареющая восточная женщина.

Требоний не поленился приехать из Самосаты в Эдессу, чтобы приветствовать Клавдию Акте. Конечно, он вошел, звеня и гремя своими знаками отличия; он было взял еще более победный тон, чем Кнопс. Он петушился, громко и недвусмысленно восхищался красотой Акте, смеялся своим знаменитым жирным смехом, угощал собеседницу своими лучшими остротами. Акте с интересом наблюдала это шумное явление: ничего подобного она еще не видела. Она пощупала знаки отличия, заставила Требония рассказать историю о Стенном венце, весело провела с ним полчаса. Считая себя уже у цели, он вдруг с довольным видом обхватил ее за плечи крепкой, покрытой рыжеватым пухом рукой.

— Ну, малютка, а ведь неплохо было бы нам...

Она отшатнулась, даже не возмущаясь, но с таким безмерным удивлением, что он, в свою очередь, отчаялся в успехе.

Вечером, сидя в своем кабачке, Кнопс и Требоний делились впечатлениями от встречи с Акте. Впечатления эти, однако, успели сильно измениться в их глазах. Теперь оба они находили, что Акте делала им авансы; но для такой несколько уже потрепанной дамы она слишком претенциозна, и претензии ее отнюдь не соответствуют ожидаемому удовольствию. У них, занятых людей, попросту не хватит времени для такой жеманной козы.

Они говорили, напрягая голос. Люди, сидевшие вокруг, почтительно прислушивались к речам и деловито разносили их слова по городу.

10

ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ

Теренций, узнав, что Клавдия Акте приехала в Месопотамию повидаться с ним, отнюдь не ускорил объезда вновь завоеванных городов. Он боялся этого «нового» свидания с Акте. Правда, желание Акте посетить его свидетельствовало о ее доброй воле. Тем не менее он ожидал этой «новой» встречи с тем же чувством, с каким в свое время ждал брачной ночи с Марцией. Акте знала Нерона лучше, чем кто-либо на свете. Нерон означает — «Муж», «Мужественный», и Акте было известно, что Нерон носил это имя с честью.

Но, утешал он себя, разве он не Нерон? Разве он не стал Нероном «до мозга костей», так, что все побуждения Теренция неизбежно становились побуждениями Нерона? Если на мужскую силу Теренция Акте не действует, то в худшем случае это только доказывает, что Нерон потерял к ней влечение. Этот вывод вернул ему бодрость.

Он счел уместным не самому отправиться в Эдессу, а пригласить Акте к себе в Самосату. Акте была изумлена. Разве подлинный Нерон поступил бы так? Вероятно, нет. Но трудно было заранее предвидеть его поступки. Нельзя было с уверенностью сказать, что он сделал бы это, а того не сделал бы. Одно мгновение она колебалась — ехать ли ей в Самосату. Она рассказала Марции о приглашении императора, не скрывая своих сомнений. Марция сказала ей доверчиво:

— Не поехать ли мне с вами, дорогая сестра?

Так как Акте промолчала, она не упорствовала. Но лишь настойчиво попросила:

— Возвращайтесь поскорее. Я покажу вам Лабиринт.

О Лабиринте она не заговаривала с той первой встречи.

Итак, Акте одна уехала в Самосату. Она ждала встречи с императором в мучительно-счастливым напряжении, которого не испытывала уже долгие годы. В то утро, когда ее предупредили, что император посетит ее, она принялась ходить по всем комнатам, нарядившись как бы для подлинного Нерона, взбудораженная ожиданием. В сотый раз старалась она представить себе, что сделал бы настоящий Нерон, если бы снова свиделся с ней при таких обстоятельствах, после столь долгой разлуки. Он рассмеялся бы тихо, добродушно, по-мальчишески, он подошел бы к ней близко, близко, потянул бы носом, обнюхивая ее, приблизил бы серые близорукие глаза к самому ее лицу, пристально взглянул бы на нее и только затем обхватил бы ее милыми мясистыми руками, рассмеялся, засиял, бросил несколько торопливых греческих слов. Затем замолчал бы, сопя, учащенно дыша, взял бы ее руки, крепко пожал и сказал бы на простом латинском языке:

— Здравствуй, Акте. Здравствуй, маленькая Акте.

Да, так именно он сказал бы, хотя ростом он и был не больше ее самой.

Клики перед домом, слова команды и звон оружия. Шаги вверх по лестнице. Знакомые шаги. Дверь распахнулась, портьера отброшена. Входит незнакомец.

Нет, не незнакомец: в комнату входит Нерон. Это его лицо, его широкий лоб, его рыжеватые волосы, его серые прищуренные близорукие глаза, его толстая, по-детски оттопыренная нижняя губа. Он идет к ней, он смеется добродушно, по-мальчишески, он подходит близко, близко, пристально смотрит на нее, хватает ее белыми мясистыми руками, сияет. И вот звучит голос Нерона, он бросает несколько торопливых греческих слов. Его ли это голос? И как странно он произносит «тэту».

Нет, только не придирайтесь, не хулить, не сомневаться. Она хочет, чтобы это был его голос. Это его голос. И вот этот голос произносит на простом латинском языке:

— Здравствуй, Акте, здравствуй, милая Акте.

Красивое удлинненное лицо Акте побелело, как будто она превратилась в одну из своих статуй. Безвольно, почти бессильно принимала эта обычно так хорошо владеющая собой женщина юношески бурные ласки незнакомца. Воз-

можно ли это? Она видела на шее Нерона рану, через которую вытекла его кровь, его жизнь,— она помогала обмыть его труп, она поцеловала его, она присутствовала при возложении тела на костер и сожжении, его пепел торжественно хранился в мавзолее ее парка в Риме. И вот этот человек здесь, его близорукие глаза, его дерзкие, детские, чувственные, царственные губы. Все было толще, массивнее, пышнее,— ведь он стал на тринадцать лет старше,— но это было его лицо, его облик. Могли ли боги вторично создать тот же образ? Она, конечно, знала о шутке, которую сыграл тогда Нерон с горшечником Теренцием, и в обострившем все ее чувства напряжении она замечала не только неправильное произношение «тэты», но и все малейшие оплошности. И все же она испытывала страх, счастливый и отчаянный. Комната была полна Нероном, ее возлюбленным, так именно ее руки касались Нерона, так проникало в нее дыхание Нерона. Но если это так, то принадлежит ли ей умерший? Испуг и блаженство привели ее в такое смятение, что она почти лишилась чувств.

Она приказала себе проснуться. Она сказала себе, что тело, лицо, маска могут повториться. Но если она хорошенько присмотрится, то заметит, что движения, походка этого человека — иные, что всей своей сущностью он не похож на погибшего. Но она не хочет этого слышать,— по крайней мере, до поры. Она тихо высвободилась из объятий незнакомца. Нежным голосом, еще теплым от возбуждения, спросила:

— Где же ты был все это время? Почему ты не позвал меня?

Теренций подготовился к подобным вопросам и составил ответы в стиле Нерона. Но, актер до глубины души, он сосредоточил в приветствии все, что в нем было нероновского, и в первую минуту выложился так, что теперь был совершенно пуст. Правда, он достаточно владел техникой, чтобы в ответах не сбиться с тона, но воодушевление ушло. Акте пришла в себя, Акте увидела перед собой смешного маленького комедианта. Она смотрела на него с таким же чувством, как на свою любимую птичку, из которой велела сделать чучело и которая стояла в ее комнате, жалкая и немая. Очарование было нарушено, она стыдилась великой, блаженной и полной отчаяния минуты, пережитой ею. И все же она была благодарна Теренцию за эту минуту и не дала ему заметить своего неслыханного разочарования.

В общем, эта первая встреча прошла так, что даже для тонкого наблюдателя могла бы сойти за свидание между

подлинным Нероном и его подругой. Но Акте была рада, что его посещение было недолгим. После встречи она почувствовала себя усталой и легла отдохнуть, как всегда. Она приучила себя даже после волнений спать свои два часа; спала она и сегодня. Но через ее сны прошел какой-то дикий, искаженный образ Нерона, и проснулась она более утомленной, чем легла.

В этот день Акте впервые почувствовала себя старой.

Она снова ощущала руки Нерона на своих плечах, кожа ее содрогалась от его дыхания, ее слух, ее сердце полны были голосом Нерона. Чьим голосом? Истинного или поддельного Нерона? Не все ли равно, какое имя носит этот человек? Не довольно ли того, что он существует? Разве это не было неожиданной, невообразимо великой милостью богов? Она готова была принять этого человека — кто бы он ни был — за Нерона, все видя, все слыша. И если порой она сердцем отшатывалась от него, потому что он был грубее, чем тот, кто жил в ее памяти, если ее ум высмеивал ее за то, что она поддавалась его игре, — лоно ее тосковало по нем.

Вечером того дня, когда произошла их встреча, Нерон дал в честь Акте пир. Некоторое время он не чувствовал подъема, но потом на минуту его вдруг снова осенило вдохновение великого актера. Осчастливленная этой минутой, она ждала, что он, подлинный Нерон, неожиданно грубым окриком вышлет гостей и жадно на нее набросится. Но он разочаровал ее. Пробыв на пиру положенное по этикету время, он церемонно попрощался и удалился.

То же самое произошло на следующий и на третий день. Тогда она сама сказала ему с естественным бесстыдством любящей женщины:

— Когда же ты переспишь со мной, Рыжебородый Малыш?

Он ждал этого вопроса и заранее подготовил ответ. Он сказал, смеясь:

— Желание вырвать у богов слишком много счастья преступно. Я дал обет, что буду воздержан и лишь тогда лягу с тобой, когда завоюю Антиохию.

Она с болью почувствовала, до какой степени он чужой, до какой степени не похож на Нерона.

Она решила отправиться в Эдессу, а оттуда, не задерживаясь, в Антиохию и Рим. Но, как это ни странно, ей оказалось трудно расстаться с этим человеком. Она осталась — на день, и еще на день, и еще на неделю.

Нерон, как ни был он примитивен и поглощен собой, тонко улавливал чувства окружающих, поскольку они касались его. Он понял, как обстояло дело с Акте и как она смотрит на него. Его прельщала мысль утвердиться именно в ее глазах. От него не укрылось, что Акте, на первый взгляд такую расчетливую и трезвую, он сильнее всего волновал тогда, когда погружался перед ней в свои романтические фантазии. Однажды он предложил ей посетить вместе с ним то место в Междуречье, которое ему дороже всего, — эдесский Лабиринт.

Акте была глубоко удивлена. Когда Марция говорила с ней о Лабиринте, она не думала, что это связано с ее новым Нероном, и сочла слова Марции за бред полупомешанной; тем не менее они наполнили ее любопытством и страхом. Когда же Нерон упомянул о Лабиринте, ее опять охватило волнение, и самое слово «Лабиринт», так гордо и таинственно звучащее в устах Нерона, показалось ей загадочным и страшным.

В сопровождении Нерона Акте вернулась в Эдессу. Она не хотела утаить от Марции, что Нерон предложил ей спуститься в Лабиринт, но Марция, по-видимому, ничуть не сочла для себя обидным, что не она, а император будет сопровождать Акте. Нерон же ничего не имел против того, чтобы Марция пошла вместе с ними.

Таким образом, они втроем покинули город, перешли через реку Скирт и отправились в Лабиринт. Они были просто одеты и шли без свиты; Нерон не хотел, чтобы народ видел, как они спускаются в Лабиринт. С одним только факельщиком они проникли в огромную, погруженную во мрак пещеру с ее перепутанными ходами. Нерон прекрасно ориентировался здесь. Он шел впереди, не обращая внимания на факельщика, довольно быстро, так что Марция и Акте с трудом поспевали за ним по извилистым, неровным тропам. Наконец Нерон приказал факельщику остановиться и ждать их возвращения.

— Не бойтесь, — сказал он женщинам, велел Марции взять его за руку, подать другую руку Акте и пошел дальше по темному коридору.

Акте была смела, она не раз доказывала это, и все-таки ей было не по себе, когда она с трудом, неуверенно шла в темноте с этими двумя полубезумными людьми по тес-

ным, низким, пахнувшим плесенью ходам, то и дело наклоняясь, чтобы не удариться головой. Она ничего не видела, но время от времени слышала короткий противный писк.

— Это летучие мыши,— сказал Нерон.— Я приручил некоторых из них; у них интересные лица. Не бойтесь, моя Акте, они не цепляются за волосы. Это нелепое суеверие. Мир, к сожалению, полон нелепых суеверий.— Он вздохнул, слегка рассмеялся.— Вот,— сказал он с удовлетворением,— теперь мы пришли на мое любимое место.¹ Тут несколько ступенек вниз, почти как лестница.

Марция и Акте, ошупью и с трудом передвигаясь, пошли на его голос. От затхлого воздуха и почти осязаемого мрака у Акте все сильнее спирало дыхание.

— Вот мы и пришли,— донесся из темноты голос Нерона.— Садитесь, прошу вас,— сказал он вежливо, будто принимая гостей в своем дворце. Марция выпустила руку Акте. Акте хотелось остаться возле нее, чувствовать ее близость, теплоту тела, но она больше не могла найти Марции и не решалась окликнуть ее в присутствии Нерона. Она присела на корточки.

— Вы видите меня, моя Акте? — спросил немного погодя Нерон; судя по голосу, он был где-то слева, наискось, довольно далеко; пещера, куда он привел их, была, вероятно, просторна.

— Нет,— с удивлением откликнулась Акте,— как я могу вас видеть? Ведь здесь темно.

— Темно? — переспросил Нерон.— Ну так я буду вам светить,— гордо возвестил он.— Теперь-то вы видите меня? — продолжал он со злым торжеством и легкой угрозой в голосе.

Так как Акте молчала, Марция ответила за нее:

— Конечно, она тебя видит.

— Пусть скажет сама,— настаивал Нерон.

— Да, конечно, я вижу,— смущенно сказала Акте.

— Вы видите, как я подымаю руку? — спросил Нерон.

— Вижу,— ответила Акте.

— Вы расположены шутить,— рассмеялся Нерон.— Я вовсе не поднимал руки. Но это место вообще настраивает на веселый лад. Здесь очень уютно, не правда ли? Да, здесь я чувствую себя привольно и именно здесь хочу остаться навеки. Это то место, которое словно создано для меня. Здесь реют тени великих древних царей Востока,

здесь их погребли, здесь они хотели быть погребенными, и когда у меня появляется желание быть среди равных, я иду сюда и беседую с древними царями и богами.

Акте не ответила. Ее подавленность росла. Это был явно помешанный человек, и в своем безумии он мог на нее наброситься, принести ее в жертву какому-нибудь богу, своему гению или кому-нибудь еще, Лабиру, например, быкоглавому божеству Лабиринта. И все-таки в его голосе, даже в его словах была притягательная сила. Ибо так мог говорить и подлинный Нерон.

Немного погодя снова раздался голос Нерона.

— Теперь мы вернемся обратно,— сказал он, и Акте с облегчением вздохнула. Но он прибавил весело: — На обратном пути я не буду вести вас за руку. Я предпочитаю светить вам.

Акте испугалась. Она поднялась и стала ощупью пробираться вдоль неровных стен. Голос Нерона доносился уже издалека и с высоты; Нерон, видимо, уже вышел из нижнего зала пещеры. Весело болтая, он довольно быстро двигался вперед; его голос затихал вдалеке. Но теперь, по крайней мере, возле Акте была Марция.

— Мы будем здесь вместе,— сказала Марция ободряюще.— Разве здесь не хорошо?

— Да, да,— поспешно подтвердила Акте и судорожно схватила руку Марции. Она смутно вспоминала рассказы о людях, которые заблудились в Лабиринте, не могли найти дороги назад и умерли ужасной голодной смертью. Она крепче сжала руку Марции. Но вскоре Марции потребовались обе руки, чтобы ощупывать стены, и через несколько секунд Акте потеряла спутницу. Она звала ее, Марция отвечала, но и ее голос скоро затих.

Акте осталась одна в Лабиринте. Ощупью шла она то вперед, то назад. Попала в длинный, довольно ровный ход. Вспомнила совершенно точно, что прошла здесь сейчас же после того, как Нерон-Теренций велел факельщику остановиться. Подбадривала себя: вот уж скоро блеснет свет факела. Но нигде не было ни проблеска, и голоса Нерона и Марции совершенно замолкли.

Нет смысла идти дальше. Память обманула ее, Акте окончательно заблудилась. Остается только ждать, пока за ней придут.

Она присела на корточки в темноте. Надо запастись терпением. Ей придется прождать час, а может быть, и два и три. Быть может, Рыжебородый Малыш хочет отомстить

ей за то, что он перед ней спасовал. Акте знала мир и людей, она знала, что сильнее всего ненавидишь того, перед кем ты спасовал. Говорят, что в Лабиринте три тысячи пещер. Зачем она согласилась на эту безумную затею — спуститься сюда с двумя сумасшедшими? Ведь обычно она так рассудительна. Зачем она вообще сюда приехала? Разумеется, был какой-то смысл в том, что она сюда приехала, но теперь она этого смысла уже не видит. Она так же запуталась в самой себе, как в этом проклятом Лабиринте.

Немного логики. Прошу тебя, Акте. Не впадать в панику. Зачем понадобилось бы этому человеку оставить тебя здесь, во мраке? И если бы ему пришла в голову такая сумасшедшая мысль, разве Варрон и другие не вправили бы ему мозги? Ведь было бы весьма вредно для дела Нерона, если бы Акте, приехавшая для свидания с ним, внезапно исчезла.

Вдруг она с испугом схватила за волосы. Не запуталась ли в них летучая мышь? Глупости. В последней, самой темной пещере живет божество Лабиринта, быкоглавый Лабир. Он заставлял эдесский народ посылать в Лабиринт юношей, он питался их кровью. Давно ли она сидит здесь?

— Рыжебородый Малыш,— крикнула она внезапно, и в ее голосе звучал великий страх,— где ты? Помоги же мне.

— Вы все еще здесь, Акте? — спросил он вежливо и удивленно. Он говорил в темноте так легко, как будто бы держал перед глазами смарагд и сквозь него рассматривал Акте. — Почему же вы не идете за мною? Но, может быть, вы и правы: нимб, излучаемый императором, слишком хорош, чтобы просто освещать дорогу. Я пошлю вам факельщика.

Явился фиксел, явился свет, и наконец они выбрались из Лабиринта. Акте недолго помнила страх, испытанный ею там, и охотнее вспоминала об увлекательной стороне этого переживания. Нерон в Лабиринте, Нерон, который сначала растревожил и напугал ее, а потом явился в роли избавителя, — это был подлинный Нерон. Подлинный Нерон чувствовал себя в Лабиринте не хуже, чем в своем мавзолее, в парке Акте, в Риме. И Акте теперь уже не сомневалась, что была права, отправившись в Междуречье.

Она жила почти месяц в Эдессе. Друзья Нерона находили, что она превосходно поступила, приехав сюда, но если она какой-нибудь решительной демонстрацией не подтвердит подлинности Нерона, то ее приезд принесет больше вреда, чем выгоды. Они находили, что для Акте существует только один способ дать показания в пользу Нерона.

Естественно было, что они возложили на Варрона задачу склонить Акте к тому, чтобы она прибегла к задуманному средству.

— Я с радостью вижу, очаровательная Акте, — сказал он, — что вы проводите много времени с нашим Нероном. Поняли ли вы наконец, как я дошел до нелепого плана снова пробудить к жизни Нерона?

Акте слушала его с выражением внимательного ребенка, она задумчиво и одобрительно кивнула в ответ на его слова.

— Если наш Нерон, — продолжал сенатор, — минутами умеет даже вас, моя Акте, перенести в прошлое, то не сумеет ли он перенести в это прошлое и Рим, который несравненно грубее вас?

— Времена, — выразила опасение Акте, — стали суровее, трезвее. Теперь нужны сильнодействующие средства, чтобы вызвать подъем. Быть может, в том, что у нас, когда мы глядим на этого Нерона, двоится в глазах, повинен не он, а мы сами. Тогда наше предприятие бессмысленно, безнадежно.

Она сказала — «наше предприятие», это было для Варрона высшим триумфом.

— Помните ли вы еще, Акте, — спросил он, и это была скорее просьба, чем вопрос, — как вся жизнь озарялась верой в Нерона? Помните ли вы, как подавлен, оглушен был мир, когда умер Нерон? Не казалось ли, что мир сразу стал голым, бледным, бескрасочным? Люди на Палатине хотели украсть у меня, у вас нашего Нерона. Разве не чудесно было бы показать им, что они бессильны? Они разбили вдребезги его статуи, соскребли его имя со всех надписей, даже на исполинскую статую его в Риме вместо головы Нерона насадили мужицкую рассудительную голову старого Веспасиана. Разве не чудесно было бы доказать им, что все это было ни к чему? Надо признать, в немногие годы они достигли многого. В немногие годы они стерли с лица

земли все фантастическое, окрыленное, чрезмерное, все, ради чего стоит прожить жизнь. Но теперь, вместе с Нероном, все это снова вернулось. Неужели это не увлекает вас, Акте? Боги помогли нам преодолеть первую, самую трудную часть пути. Идемте с нами, Акте. Мы завоюем Антиохию, Александрию, Коринф, Палатин.

— Вы грезите,— сказала Акте, но в тоне ее не было протеста. Она сама гредила вместе с ним, она говорила приглушенным голосом, точно в полусне.— Хорошо бы,— продолжала она тем же мечтательным тоном,— снова жить с Нероном на Палатине. Но не бывать этому. Нельзя поддаваться чарам, как вы, Варрон. Когда чары спадают...— Она умолкла, погруженная в свои мысли.

— Когда чары спадают?..— спросил Варрон, глядя на нее, захваченный пророческой печалью, исходившей от нее.

— Когда чары спадают...— повторила она, все еще не заканчивая фразы.

— Что же, что же тогда? — торопил Варрон, не в силах отвести от нее глаз.

— Тогда... вместо юной красавицы видишь перед собой старуху,— закончила Акте своим ясным голосом, спокойно улыбаясь.

И с присущей ей логикой она твердо и трезво разъяснила ему, каким ей представляется его Нерон.

— Вы сделали правильный выбор,— сказала она.— Ваш Нерон способен многих ввести в обман. Ему удалось обмануть даже меня. Вы знаете, как любит меня Италик. Он, поэт и мужчина, обычно такой разумный, порой становится смешон — так по-детски ведет он себя, чтобы показать свою любовь ко мне; я не была бы женщиной, если бы это мне не нравилось. Но я должна вам признаться: ваш Нерон, когда я впервые увидела его, за полминуты достиг большего, чем мой Италик — усилиями нескольких лет. Однако — и в этом слабая сторона вашего расчета — ваш Нерон может обмануть только на одну минуту, да и то надо добровольно поддаться этому обману. Он насквозь искусствен, это шутка богов, которые потехи ради создали нечто вроде восковой фигуры, способной говорить и двигаться. И все же он остается тенью, он лишен настоящей человеческой души. Он даже не может спать с женщиной, он не «Нерон», не мужчина, он лишен производительной силы. Живым по-настоящему он становится только в своем Лабиринте. Он призрак, такими я представляю себе мертвых в Аиде, он — ничто. Ведь это мука — видеть перед собою мужественный, царственный, величавый образ, такой род-

ной, точно сбылась сказка, а внутри — пустота, ничто. Я пугаюсь самой себя, своих собственных движений, походки, голоса, когда вижу этого призрачного Нерона.

Варрон понимал ее, и, прежде чем высказать свою просьбу, он уже знал, что Акте откажет ему.

— Когда я вижу ваше живое лицо, Акте,— все же начал он снова,— я не могу поверить, что вы так трезвы, как прикидываетесь сейчас. Если я позволил себе увлечься, поддайтесь увлечению и вы. Не будьте слишком благоразумны. Оставайтесь в нашей ладье, Акте. Разве не чудесно мчаться в ней? И если вы будете с нами, эта ладья не разобьется.

— Скажу вам откровенно, Варрон,— возразила Акте.— Вы знаете, что я любила Нерона. Так сильно, что всякий другой бледнеет рядом с его тенью. Ваш Нерон был первый, кто снова зажег все то, что погасло во мне со смертью Рыжебородого Малыша. Я не выношу вашего Нерона. Я схожу с ума оттого, что мне снова и снова приходится видеть этот призрак во плоти, из которого, едва только к нему прикоснешься, тотчас же улетучивается дух. Я не вытерплю этого. Я не люблю опьянения: вы ошибаетесь. Я ничуть не люблю опьянения, которого надо достигать такими средствами. Я здесь не останусь.

И, видя его глубокое разочарование, она продолжала, изменив тон, в одно и то же время расчетливо, шутливо и серьезно:

— Я не хочу оставлять вас на произвол судьбы, Варрон. Мне хочется помочь вам. Вы знаете, я богатая женщина, я люблю богатство, а если я предприму что-нибудь для вашего Нерона, то предвижу лишь единственный практический результат: Тит конфискует мои прекрасные земли и мои кирпичные заводы в Италии. И все же, если я могу оказать услугу вашему делу, если я могу сделать нечто во имя Нерона, скажите мне, что я должна сделать. Я готова.

Вот теперь было бы кстати заговорить о той просьбе, с которой хотели обратиться к ней сторонники Нерона. Ведь она сама дала ему к этому повод. Но тот самый Варрон, который без малейших колебаний посылал на смерть тысячи людей, который принес в жертву своей игре родную дочь, который с сожалением, но без раскаяния смотрел, как умирает его друг Фронтон, который часто рисковал собственной жизнью ради менее значительных целей,— этот Варрон не мог сказать в лицо Клавдии Акте, чего он от нее хочет. Он зажегся от соприкосновения с ней. Он теперь сам не понимал, как мог он, пока был еще молод,— из одного

лишь благоразумия, только чтобы не портить отношений с императором, — запретить себе видеть ее красоту, ее неповторимое своеобразие, насладиться им. А теперь этот постаревший человек увидел — и пожалел о прошлом. Он, который так долго принимал свою жизнь такой, как она есть, который не хотел бы отказаться ни от чего из того, что было им сделано, и не хотел бы сделать ничего из того, от чего он отказался, — теперь, за короткий промежуток, вторично чувствовал сожаление. Он раскаивался, что в свое время — как бы ни посмотрел на это Нерон — не постарался изо всех сил завоевать эту женщину, Клавдию Акте. Он почувствовал огромное искушение забыть на время свое смешное и великолепное предприятие, стать прежним Варроном и отдаться радости встречи с изумительным существом, которое по воле судьбы оказалось на его пути.

И поэтому, вместо того чтобы воспользоваться случаем и изложить ей просьбу, он сказал без всякой связи с предыдущим:

— А вы помните еще, моя Акте, как мы пускали пестрых китайских рыбок в новый пруд Золотого дома?

И он почувствовал себя молодым, как в свои лучшие времена, легкомысленным и глубоким, злым и уверенным в своем очаровании, готовым дорогой ценой заплатить за радость, ибо он хорошо знал, что жизнью можно вполне насладиться лишь тогда, когда перестанешь считать. Он чувствовал глубокую близость с Клавдией Акте, близость, которой он никогда раньше не ощущал. В сущности, казалось ему, их в комнате трое: умерший подлинный Нерон был с ними в своем лучшем образе, не мешая им, и между ними тремя протянулись нити глубокой, более чем дружеской близости.

Но Акте не стала ему подыгрывать. Она, напротив, повторила, резко и с намеренной сухостью, положив конец его фантазиям:

— Скажите же, что я могу сделать для вашего Нерона?

Тогда Варрон овладел собой и сообщил ей, в чем именно он и его друзья видели единственную важную услугу, которую Акте могла бы оказать их делу.

Они рассуждали так: если Нерон жив, то в урне, которую Акте хранила в мавзолее своего парка в Риме, был прах какого-то неизвестного. Если Акте убеждена, что Нерон жив, то хранить эту урну смешно. Если Акте хочет показать миру, что она верит в воскресение Нерона, надо, чтобы она разрушила памятник и рассеяла прах по ветру. Пока Варрон излагал ей свою просьбу в намеренно сухих

словах, прозрачная кожа на лице Акте побелела, казалось, она светится. Но голос Акте был чист и спокоен, как всегда, когда она в тон Варрону сухо подытожила:

— Вы требуете, чтобы я рассеяла по ветру все, что еще осталось от истинного Нерона, чтобы доказать мою веру в вашего Лже-Нерона?

— Да,— деловым тоном сказал Варрон. Но, еще прежде, чем это «да» отзвучало, он устыдился того, что предлагал, и с обычно не свойственной ему неуклюжестью прибавил: — Речь идет о деле Нерона, это, поверьте, стоит горсти пепла.

Зеленовато-карие глаза Акте долго смотрели на сенатора, друга Нерона, ее плечи чуть-чуть опустились, ее изогнутые губы задрожали.

— То, что вы говорите,— возразила она с чуть заметной насмешкой,— конечно, очень разумно. Но, пожалуй, лучше бы вам этого не говорить.

Наступило неловкое молчание, сразу ощутилось все то, что разделяло Акте и Варрона.

Акте оцепенела от гнева, все ее существо восставало против предложения Варрона. Тщетно убеждала она себя со своим обычным здравомыслием: если Варрон хочет продолжать дело Нерона и править миром в его духе, может ли его остановить какая-то урна? Ведь для него и в самом деле там нет ничего, кроме горсти пепла. Но в глубине души она знала, что это его не оправдывает и что он не прав перед ней и перед Нероном. Пусть его соображения правильны для него,— они неправильны для Акте. У нее другая логика. То, что она тогда, без колебаний, с риском для жизни, спасла мертвое тело Нерона от поношения и похоронила его с императорскими почестями,— это был величайший, разумнейший поступок всей ее жизни. Что значит — действовать разумно? Действовать разумно — значит действовать так, как свойственно природе данного человека. Благоговение,— может быть, пустое слово для Варрона, но не для нее. Для нее развеять по ветру прах Нерона — это значит попусту пролить собственную кровь. Гречанка, отдавшая жизнь за то, чтобы похоронить тело брата, не была просто театральным образом, она жила не только милостью поэта. Акте никогда не позволит, даже знай она, что от этого зависит изгнание Флавиев из Рима, разрушить гробницу в ее парке, гробницу, где жил усопший Нерон. Останки ее возлюбленного, ее императора, были лучшим ее достоянием, без них она не могла бы жить.

— С прахом я не расстанусь,— сказала она тихо, твердо, зло.— Это невозможно.

Варрон отступил. Он понял, что никакая сила на земле не сломит сопротивления Акте. Он простился, ушел.

Акте между тем поспешно готовилась к отъезду. Если прежде она каждой частицей своего тела ждала близости с Нероном-Теренцием, то теперь она уже не могла дышать одним воздухом с ним. Одно воспоминание о его коже, о его запахе вызывало у нее тошноту.

13

«ТВАРЬ» ВОССТАЕТ ПРОТИВ ТВОРЦА

Намерение Клавдии Акте вернуться в Антиохию и Рим ошеломило друзей Нерона. Требоний и Кнопс настаивали на том, чтобы устранить ее, уничтожить раньше, чем она вернется в Рим и распространит там сказку, будто бы Нерон вовсе не Нерон. Даже самим себе они не признавались, что рады были найти предлог отомстить женщине за ущемленное мужское самолюбие.

Теренций благосклонно выслушивал предложения своих приближенных. Его злило, что Акте одним своим появлением покорила массы Месопотамии, он ревниво завидовал ее популярности. Он хорошо знал, что были моменты, когда она принимала его за Нерона. Возможно, говорил он себе, он и мог бы завоевать ее, если бы не спасовал как мужчина. Он не прощал ей того, что его мужская и актерская сила оказалась мала, он не забывал, что она не хотела увидеть его «ореол», блеск царского величия, исходивший от него в Лабиринте. Приятно было бы стереть эту шлюху с лица земли, а если того же требуют государственные интересы, то это — удачное совпадение. Легче всего было бы, конечно, убить Акте из-за угла. Но это казалось ему слишком грубым и простым. Его месть должна быть изощренней, изящнее. Он вспомнил об искусно подстроенном кораблекрушении, с помощью которого Нерон пытался убрать с пути свою мать. Теренций мечтал устроить «несчастный случай», в результате которого Акте была бы изувечена: пусть лицо ее останется навсегда обезображенным, пусть ее походка утратит всю свою прелесть. Конечно, все это надо организовать так утонченно-искусно, чтобы даже Акте не заподозрила ничего, кроме злого случая.

Акте тем временем закончила приготовления к отъезду. Но, так как у нее было деликатное сердце, она не хотела покинуть Эдессу, не простившись с человеком, который после долгих лет засухи снова вызвал в ней расцвет большого чувства. Она посетила Нерона.

Нерон в этот час возился со своими дрессированными летучими мышами, для которых был устроен специальный грот. Прощальный визит Акте был для него неприятной неожиданностью. Если бы она пыталась уехать тайком, украдкой, это более соответствовало бы его планам. Он уже принял на этот случай меры, и она не ушла бы живой из его владений. То, что теперь она стояла перед ним, такая спокойная, веселая, не укладывалось в его представления о мире, смущало его, и он еще сильнее ненавидел ее за то, что живая Акте не совпадала с тем образом, который он создал себе.

Он заставил ее некоторое время ждать, затем принял ее, но не во дворце, а в гроте, в полумраке. Призраками реяли летучие мыши или висели, уцепившись за потолок, за выступы. Это были животные разных пород: они свисали отовсюду, уродливые, с человеческими руками, огромными ушами, отталкивающими собачьими или обезьяньими мордами, мохнатыми тельцами разнообразнейших цветов. Нерон предполагал, что эта жуткая обстановка смутит Акте. Но Акте была скорее удивлена. Поэтому Теренцию не удалось во время этой прощальной аудиенции быть Нероном. Он, правда, многословно, полуиронически выражал свою печаль по поводу того, что Акте так быстро покидает его, припомнил цитаты из классиков, не хуже, чем это сделал бы подлинный Нерон. Но в общем Теренций сам чувствовал, что он не в ударе. Акте же находила его убогим, она не понимала, как мог этот человек пробудить в ней такие сильные чувства.

Она собиралась уходить, когда Нерон наконец почувствовал, что на него снизошло вдохновение и ему достанет сил овладеть собой. Да, на него снизошел дух подлинного Нерона. Он ощутил себя императором, который прощается с человеком, некогда ему близким, близким еще и теперь. Но он, император, хочет, чтобы их разлучила смерть, о чем другой еще не подозревает. Темно и таинственно заговорил он о своих летучих мышах. Говорил о том, как души убитых Одиссеем женихов, подобно летучим мышам, следуют в подземный мир за вожатым мертвых Гермесом. Цитировал Гомера:

...Как мыши летучие в недре глубокой пещеры,
Цепью к стенам прикрепленные,— если одна, оторвавшись,
Свалится наземь с утеса,— визжат, в беспорядке порхая;
Так, завизжав, полетели за Эрмием тени...

Глубокомысленно и таинственно шутил: кто, мол, из умерших общих знакомых скрывается теперь в этих уродливых животных,— вот в этом или в том? Он смотрел на Акте близорукими глазами, злым и в то же время печальным, нежным взглядом, точно навсегда с ней прощаясь. Он играл Нерона, знающего, что его мать Агриппина, что его жена Октавия готовятся в путь, из которого им не суждено вернуться. Он любил эту Агриппину, эту Октавию, он любил и Акте, потому что она была для него уже мертва, потому что он наслаждался беседой с умершей, которая думает, что она еще жива. Он мог быть особенно нежен с нею, зная то, чего не знала она, исполненный злого чувства превосходства. Он был особенно нежен с Акте.

Акте испугалась. Сначала этот человек, игравший с прирученными летучими мышами и кормивший их с ладони, показался ей смешным. Теперь он был ей страшен. О, она знала этого Нерона. Знала его ужасающую, бездонную жестокость. Знала страсть Нерона к такого рода злобной игре. Да, теперь она понимала, каким образом этот человек мог так глубоко взволновать ее. Она видела маленькую, презрительную, милую и злую складку в уголках его губ. В Теренции, игравшем со своими летучими мышами, она узнала Нерона, игравшего с мертвецами, которых он посылал в подземный мир. Она узнала Нерона и поняла, что приговорена. На нее дохнуло холодным дыханием подземного царства, и она удалилась с ужасом в душе.

Ни Нерон, ни Требоний, ни Кнопс ни слова не сказали Варрону или царю Филиппу о своих замыслах относительно Акте. Нерон хорошо понимал, что Варрон и царь Филипп сделают все, чтобы помешать выполнению его плана. И все-таки против воли Нерона они об этом узнали, и очень скоро после ухода Акте от императора Варрон настойчиво попросил у него аудиенции.

— Я слышал,— сказал Варрон,— что, к сожалению, Клавдия Акте хочет нас покинуть.

— Да, мой Варрон,— любезно сказал император,— нам не удалось ее удержать — ни вам, ни мне.

— Раз нельзя ее удержать,— сказал Варрон,— надо по возможности облегчить такой очаровательной и любезной даме путешествие в Рим.

— Да,— отозвался Нерон,— это надо сделать.

— Я хочу предоставить в ее распоряжение один из моих дорожных экипажей,— сказал Варрон как бы мимоходом,— и почетную стражу в сто человек.

— К сожалению, вы опоздали, мой Варрон,— сказал император,— я сам предоставил ей дорожный экипаж и охрану.

Сенатор чуть-чуть побледнел.

— Я буду крайне обязан вашему величеству,— сказал он,— если мне будет дарована привилегия оказать Клавдии Акте эту маленькую услугу. Я у нее в долгу с прежних времен, и, кроме того, ведь ваше величество,— прибавил он с лукавой фамильярностью,— всю неделю принимали нашу Акте в интимнейшей обстановке.

Намек разозлил Теренция, но он не показал своей досады.

— Нет, мой Варрон,— улыбнулся он и даже потрепал Варрона по плечу, на что до сих пор никогда не отваживался,— ничего не выйдет. В оставшийся короткий срок мы хотим оказать нашей Акте эту последнюю услугу.

Слова его, несмотря на любезный тон, прозвучали так угрожающе, что Варрон, боясь раздражить его, не решился уклониться от прикосновения этого человека, как оно ни было ему противно.

— Не настаивайте на этом,— сказал он тоном убедительной просьбы.— Это может плохо кончиться,— прибавил он,— если Акте не будут сопровождать до границы безусловно надежные люди. Дорога в последнее время не совсем безопасна.

— А моих людей вы не считаете надежными, Варрон? — спросил император.

— Я считаю моих людей более надежными,— возразил Варрон.

— Вы очень смелы, мой друг,— сказал Нерон, делая вид, что на его царственное лицо набегает тень мрачного облака.— Неужели вы думаете, что такие доводы сделают меня благосклоннее к вашей просьбе?

Варрон сдержался.

— Подумайте о том,— еще раз попросил он,— какое впечатление это произвело бы — если бы с нашей Акте приключился в пути несчастный случай, к какой клевете это подало бы повод. Весь мир скажет, что Акте узнала в нашем Нероне не его величество императора, а некоего горшечника Теренция. Это было бы неслыханным торжеством для Цейония и людей на Палатине. С нашей Акте ничего приключиться не должно,— заклинал он императора.

— Вот потому-то я и даю ей для охраны моих людей,— с дружеской улыбкой сказал Нерон.

Но теперь Варрон потерял самообладание. Он подошел близко к Нерону и сказал ему прямо в лицо:

— Плохо это кончится, если Акте поедет с твоими людьми, плохо и для тебя,— этому не бывать.

Он говорил тихо, но таким решительным, даже яростным тоном, что Теренций испугался. И все же он не хотел замечать, что вновь стал для Варрона Теренцием, а не Нероном. Он ответил:

— Как ты этому помешаешь?

— Я не допущу,— сказал Варрон,— чтобы Акте попала в руки твоей сволочи,— скорее предпочту, чтобы она всем рассказала, кто ты такой. И некая Гайя скажет, кто ты такой, да и сам Варрон это скажет.

Теренций побледнел. Но он продолжал оставаться Нероном и сохранил свой легкий тон, тон императора, который поддразнивает своего друга.

— Варрон очень волнуется,— улыбнулся он,— из-за этой малютки. Я еще никогда не видел его в таком волнении. Кто мог бы подумать, что наш Варрон способен еще так влюбиться. Я прощаю влюбленному его выходку. Но твою просьбу я, как ни жаль, на этот раз исполнить не могу,— закончил он не то насмешливо, не то с сожалением.— Не ты, а я дам охрану Акте.

Теренций ожидал, что Варрон раскричится, разбушует-ся, он ожидал взрыва. К этому он был готов: в один прекрасный день все равно надо было выдержать этот бой. Он этого и боялся и хотел. Он всей душой ненавидел Акте и всей душой ненавидел Варрона и знал, что эта ненависть даст ему силу одержать верх в споре с Варроном, остаться Нероном.

Но Варрон не вспылил. Варрон не впал в бешенство. Напротив, с его лица исчезли последние следы гнева. Он несколько отступил, чтобы ему, дальнозоркому, лучше разглядеть собеседника, его губы сложились в невероятно высокомерную, добродушно-презрительную усмешку, и, не повышая голоса, но уверенный в действии своих слов и в немедленном повиновении, он бросил:

— Куш, Теренций.

И ушел.

Теренций смотрел вслед Варрону, весь оцепенев, неподвижный, бледный, с искаженным лицом. Затем, очень скоро, он решительно вычеркнул из сознания эти чудовищные слова. Этого не было. Этого он не слышал. Если бы это

было, если бы он это слышал, его месть была бы невообразимо страшна, он публично подверг бы невиданным пыткам Варрона, Акте, Гайю и потом казнил бы их. Но он не мог этого сделать. Пока еще — не мог. А следовательно, он не слышал слов Варрона, их не было.

Клавдия Акте поехала с охраной, которую предоставил ей Варрон, и благополучно вернулась в Антиохию, в Рим.

14

ОРЕОЛ

Отъезд Акте, казалось, не задел императора. Нерон становился все неуязвимее под броней веры в свой божественный ореол, в свое царское величие.

Он окружил себя великолепием, как это сделал бы настоящий Нерон. Деньги были. Их доставляли завоеванные сирийские города. Имущество общин и отдельных лиц, объявленных сторонниками Тита и противниками Нерона, подвергалось конфискации. Артабан, царь Филипп, другие цари, верховные жрецы, шейхи Междуречья и Аравии давали деньги в большом количестве. Нерон мог предаться своей страсти к монументальному строительству. Он восстановил потопленную Апамею, великолепно отстроил ее, назвал Нерониадой. Выстроил там стадион, театр, храм своему гению; и богине Тарате он отстроил новый пышный храм.

Вместе с тем он приступил к осуществлению своей заветной мечты. Скала, которая высилась над Эдессой, по его замыслу, должна была превратиться в гигантский барельеф, который, по образцу восточных памятников, сохранит для вечности черты императора. Обожевленных императоров обыкновенно изображали уносящимися в небеса на орле. Нерон дал скульптору более смелое задание. Он хотел унести верхом на летучей мыши и требовал реалистического изображения: не приукрашивать его собственных черт; уродливую, жуткую морду и обезьяньи когти оседланного им животного передать во всем их безобразии; все увеличить до исполинских размеров.

Советники императора покачивали головой, находя этот символ слишком смелым. Правда, большая часть населения верила, что летучая мышь приносит счастье, но многие связывали с ней понятие о подземном царстве, о смерти.

Нерон смеялся над этими опасениями. Что — смерть, что — подземный мир? Предрассудок, бессмыслица. Разве он не был, говоря словами известного классика, «императором до самого мозга костей»? То, что он думал, то, что он чувствовал, — это были императорские, божественные идеи, и если его «демон» приказывал ему избрать мотив с летучей мышью, то перед этим его внутренним голосом все возражения были только смешны.

Он был дерзок до безрассудства, как Нерон в годы своего расцвета. Следуя примеру Великого царя парфянского, он приказал — на что не отваживался до сих пор ни один римский император, — чтоб впереди него несли огонь, как символ царского сияния. Затем он велел отчеканить золотую монету, на которой его лицо было изображено двойной линией, — смелый намек на то, что он дважды Нерон, умерший и воскресший, как бог Озирис. С трудом министры уговорили императора отстрочить пуск этой монеты в обращение, они боялись, что двойной Нерон, изображенный на ней, даст насмешливым сирийцам повод к злым шуткам. Но сам Нерон любил эту монету с двойным профилем и часто ею любовался.

Как прежний Нерон публично выступал в греческих городах, так и новый выступал в театрах Самосаты, Лариссы, Одессы и сиял от удовольствия, когда судья приговаривал ему венок. Толпа ликовала, толпа была счастлива видеть своего императора на сцене, а он, окрыленный его энтузиазмом и чувством своего величия, превосходил самого себя.

Теперь он сам искал общества своего опаснейшего друга-врага, Варрона. Варрон не улыбнулся, когда он доверил ему тайну пещеры. Варрон был покорен им. Варрон знал, что он, Нерон, обладает «ореолом». Нерон заигрывал с ним, искал новых и новых подтверждений того, что этот человек в него верит. Он старался вызвать в нем раздражение, кольнуть его, чтобы уловить в его словах, в его поведении что-нибудь, напоминающее о мятеже, какой-нибудь намек на прошлое.

Но Варрон оставался смиренным, оставался царедворцем, который счастлив тем, что его величество допускает его пред свои светлые очи. Слова: «Куш, Теренций», — не были произнесены. Нерон нередко нуждался в наставлениях, в подсказках, как надо вести себя в тех или иных случаях. Варрон неприметно давал ему советы. Нерон следовал им везде — только не в присутствии Варрона.

Нерон становился все более дерзким в своих намеках.

Однажды сенатор нашел его погруженным в созерцание золотой монеты с двойным профилем.

— Скажите откровенно,— вызывающе спросил Нерон,— вы не находите этот рисунок слишком нескромным?

— Это гордый, смелый символ,— возразил с непонимаемым видом Варрон, переводя взгляд с оригинала на двоящееся золотое изображение.

Но Нерон-Теренций ответил мечтательно, самодовольно:

— Да, мой Варрон, надо спуститься к летучим мышам, чтобы отважиться на такую мудрую смелость.

15

БОГ НА ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ

Как бы ни укрепилось на вид господство Нерона, внутреннее сопротивление в стране нарастало. В подвластных Нерону областях жилось нехорошо. Внешне царил порядок, но он достигался произволом и лишениями.

На главных площадях городов поставлены были бронзовые и каменные доски, где пышно, широковещательно перечислялись привилегии, предоставленные Нероном вновь покоренным областям и городам. Но пока это были лишь пустые формулы. Пока присутствие нового императора было сопряжено для маленьких властителей Междуречья с тяготами, гораздо более чувствительными, чем прежние налоги. Князья старались взвалить эти тяготы на плечи арендаторов и предпринимателей. Те, в свою очередь, на крестьян и ремесленников, которые опять-таки нажимали на рабов; таким образом, все ощущали это новое бремя.

И торговля шла плохо. Рим чинил всякие затруднения на сирийской границе. Караваны, возившие китайские шелка, арабские пряности, жемчуг Красного моря, товары Индии в Римскую империю в обмен на римские изделия, искали других путей. Главные источники дохода Месопотамии иссякали.

Все ждали, что вместе с Нероном придет благоденствие, изобилие, ждали, что, когда страна избавится от римских пошлин и налогов, каждому будет пирог вместо хлеба, вино вместо воды. Но никаких пирогов не было, напротив, даже хлеба стало не хватать, а в вино приходилось подливать все больше воды. Конечно, тот, кто имел дело с Нероном и его приближенными, тот жирел, у того прибавлялось денег и спеси. Таких было немало: его чиновники и поставщики,

его солдаты и полиция, те, кто строил для него и его приближенных замки, дома и дороги, те, кто шил мундиры для его армии и ковал для него оружие. Их было немало, не меньше, чем один на десять. Но пирог и жаркое, которые они ели, которые ел каждый десятый, были вырваны изо рта у других, у девяти из десятка.

Ропот недовольных не умолкал. Мрачные пророчества Иоанна с Патмоса, святого актера, который по-прежнему был неуловим в своей пустыне, все более тревожили массы. Теперь уже никто не хотел верить, что Апамею затопили действительно христиане. Отъезд Клавдии Акте, любимицы народа, также возбуждал сомнения в подлинности Нерона. Люди, ограбленные Кнопсом и Требонием или как-нибудь иначе притесняемые и униженные, ненавидели и сеяли ненависть. У убитых были друзья и сторонники, которые не забывали и не молчали.

К тому же начались нескончаемые трения между офицерами и чиновниками Требония и туземными сановниками и военными. С давних пор римские офицеры смотрели сверху вниз на своих восточных товарищей, восточные солдаты были для них лишь «вспомогательными войсками»; римляне и теперь со снисходительным пренебрежением относились к туземным генералам. Филипп и Маллук возмущались магией величия Нерона, произволом и наглостью его приближенных. Ведь в конечном счете именно они дали власть римскому императору и помогали ему держаться на поверхности. Они с гневом убеждались, что обманщики, дураки и разбойники, которых они вынуждены были призвать на помощь для охраны своего суверенитета и своих старых владений, берут над ними верх. Поддерживая Нерона перед внешним миром, они внутри вели медленную, подспудную, изматывающую, подлинно восточную войну против Нерона. Варрон старался по мере сил сгладить противоречия; но это плохо удавалось ему, вражда между восточными и западными офицерами и чиновниками переплескивалась через край.

Нерон-Теренций не хотел замечать всех этих трудностей. Он опьянялся звучанием слов «империя», «власть», «армия», «народ», «Восток»; но, по существу, вопросы политики и хозяйства были ему безразличны и интересовали его лишь постольку, поскольку служили предлогом для звонкой риторики. Императорская власть, роль вождя означали для него блеск, стечение народа, парады, возведение построек, празднества, «ореол» и прежде всего — речи, речи. Когда же дело касалось политических и экономических вопросов,

он снисходительно кивал головой и укрывался за броней своего «царского величия» в убеждении, что если бы действительно угрожали значительные трудности, то внутренний голос подсказал бы ему правильный путь.

Серьезно он относился только к одному: к охране своего императорского величия. Он возобновил и усилил законы об оскорблении величества, упраздненные Флавиями. Его сенат вынужден был судить за этого рода преступления с такой строгостью, как бывало лишь во времена Тиберия и Калигулы. Были изданы суровые указы. Никто, кроме императора, не смел пользоваться смарагдом, чтобы лучше видеть. Запрещено было браниться и рыгать перед изображением императора. Малейшая провинность, даже нечаянная, каралась. Сословие доносчиков процветало.

За оскорбление величества в конце концов был осужден и фабрикант ковров Ниттайи. Он давал много денег на развитие спорта, устроил на своей вилле тот красивый двор для игр, где в свое время встречались иногда Варрон и полковник Фронтон, покровительствовал искусству. Но однажды он не к месту проявил бережливость: из-за превышения первоначальной сметы отказался взять из мастерской на Красной улице заказанную им статую Митры. Теперь против него было выдвинуто обвинение: он якобы, перед тем как справиться нужду, не снимал с пальца перстня, в который была вделана гемма с изображением головы Нерона. Сенат присудил его к ссылке. Император удовольствовался тем, что конфисковал его имущество. Нерон и Кнопс посмеивались. Теперь торговец коврами Ниттайи уже не сможет притеснять честных горшечников, если те перерасходуют скудную сумму, которой скрига предполагал отделаться.

Распространение слухов о мужском бессилии Нерона император также толковал как оскорбление величества. Так как эти слухи нельзя было заглушить запретами, он пытался действовать другими путями. На глазах у всех к нему в спальню приводили по его приказанию женщин — знатных и простолюдинок; а затем через несколько дней эти женщины исчезали. Всюду шепотом, на ухо рассказывали, что боги, завидуя счастью Нерона, не позволяли ему наслаждаться утехами любви и умерщвляли каждую женщину, к которой он прикасался. Когда небо вернуло ему власть, император надеялся, что это проклятие будет с него снято, но теперь оказалось, что оно все еще в силе. Поэтому император решил окончательно отказаться от женщин. По той же причине — не желая, чтобы это проклятие поразило его подругу, Клавдию Акте, — он расстался с ней и, не-

смотря на свою любовь, отослал из пределов своей империи. Были люди, которые этому верили.

Нерон чувствовал себя в безопасности, счастливым, и ему казалось, что власть его упрочена на вечные времена. Он принимал парады, солдаты с ликованием встречали его. На Евфрате поднялся, точно из-под земли, его город Нерониада, в столицах подвластных ему областей повсюду вырастали белые и золотые здания. Его окружал «ореол», впереди него несли огонь. Не было никого, кто бы усомнился в том, что в Лабиринте становилось светло, когда он туда спускался; он отправлялся в свой искусственный грот, кормил своих летучих мышей, в которых жили души людей, посланных им в подземное царство, вел с ними разговоры. Он созерцал, сытый и счастливый, свой двоящийся профиль на золотой монете. Он все больше проникался своим призрачным величием.

А на реке Скорт, над городом Эдессой, с каждым днем все отчетливей выступало на скале изображение: Нерон верхом на летучей мыши. Зеваки толпились вокруг и глазели на рабочих и на гигантский рельеф. Императору это изображение казалось прекраснее, чем статуя всадника Митры. Народу оно, быть может, внушало страх, а быть может, казалось смешным. Этого никто не знал: ибо никто не осмеливался гонорить, стоя перед изображением императора, — из страха перед шпионами Кнопса и Требония.

Работа подвигалась вперед. Уже можно было назначить день, когда барельеф будет открыт и освящен: 21 мая.

16

РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Кнопс теперь часто встречался со своим тестем, горшечником Горионом: у него он выведывал, что думают массы о Нероне. Грубая фамильярность Гориона, все возраставшая, уже сама по себе была для Кнопса мерилom, по которому он мог судить о недовольстве императором в народе.

Вскоре дело дойдет до того, что тесть его осмелится даже вспомнить бесстыдную поговорку о трех «к», от которых воротит с души; мысленно Горион, должно быть, уже давно повторяет ее.

Нет, Кнопс не закрывал глаза на ежедневно возраставшие трудности. Не было ли его решение ждать, пока Нерон

завоюет Антиохию, слишком смелым? Не умнее ли было бы заранее, уже сейчас, соскочить с колесницы Нерона?

Но была одна вещь, которая удерживала его. Его девочка, его жена, его маленькая упругая аппетитная Иалта, была беременна. То, что у него будет законный, свободно-рожденный, богатый сын — хитрый, сильный Клавдий Кнопс, перед которым будут открыты все пути, наполняло его сумасшедшей радостью. Он грубо ласкал Иалту, мать этого будущего Клавдия Кнопса, окружал ее лейб-медиками, банщицами, прислужницами, отчаянно бранился, если она требовала огурцов или других солений и отказывалась есть сладкие полезные пироги из миндаля и полбы, которые должны были сделать его сына приятным в глазах людских. Нет, он не смеет удирать. Его долг перед маленьким Кнопсом — проявить выдержку. Он должен сделать последнее отчаянное усилие и оградить своего сыночка золотой стеной от опасностей жизни. Из конфискованного имущества торговца коврами Ниттайи он урвал немалую долю, но тут предстоял улов еще пожирнее. Был некто Гиркан, откупщик, скряга, который почему-то не торопился пожертвовать, как от него ожидали, крупную сумму на храм, посвященный гению Нерона. Разве это не доказательство, что деньги богача Гиркана лежали не в той кошнице, в какой следовало! Ему, Кнопсу, предстояло передать их в более достойные руки, в маленькие любимые ручонки его будущего сына Клавдия Кнопса.

Нет, пока это не сделано, он не имеет права покидать Нерона. Но если оставаться при Нероне, то надо срочно принимать меры против мятежных настроений, которые растут с угрожающей быстротой. Все остальные беспомощны, у них нет фантазии. Они и не видят размеров приближающейся опасности, и не находят средств против нее. От него зависит найти настоящее средство. Один за другим рождались у него в голове проекты — много разнообразных проектов. В конце концов он остановился на одном, который сулил и спасение для Нерона, и желанный улов для Клавдия Кнопса.

Он рассматривал свой проект со всех сторон. Проект был хороший, смелый, радикальный. Конечно, Кнопсу становилось не по себе, когда он вспоминал о Варроне и царе Филиппе. У них, конечно, будут тысячи всяких придирок. С Варроном у него и без того постоянные трения. С тем большим энтузиазмом встретит его план Требоний. Жаль, конечно, что ему волей-неволей придется посвятить в дело Требония: Кнопс ревновал к нему Нерона, привязанного

к капитану, завидовал популярности, которой тот пользовался; кроме того, он страдал от своего раболепства, и уверенные повадки Требония вызывали в нем зависть. Но он сомневался, сможет ли без помощи Требония привлечь на свою сторону Теренция, а главное — ему нужен был для осуществления замысла твердый, опытный в военном деле человек, способный приказывать, поддерживать дисциплину и не пугаться при виде льющейся крови.

С Требонием нетрудно было сговориться: он давно уже мечтал о повторении «недели мечей и кинжалов». Они вдвоем отправились к Нерону.

Кнопс начал свою речь с того, что, по сути дела, народ и теперь еще любит Нерона так же, как в первые дни после его появления. Если существует видимость недовольства, то в этом виновата маленькая горстка завистников и хулителей. Это люди, которые после возвышения Нерона были оттерты в сторону, или же те, кто сначала с энтузиазмом его встретил, но затем был обманут в своей безмерной алчности. Таких подстрекателей не очень много, но у них посты, влияние, голос, деньги. Если их устранить, воздух сразу очистится. После неудачного опыта с процессом христиан рекомендуется на этот раз действовать быстро и покончить с противниками и хулителями без канительного судебного разбирательства, сразу, в одну заранее назначенную ночь. Юридическая допустимость такого сокращенного судопроизводства не подлежит сомнению. Император — верховный судья и потому вправе, однажды убедившись в справедливости обвинения, без всяких проволочек осудить обвиняемых и приказать их казнить. Если ему будет угодно, он может задним числом изложить свои мотивы сенату. Действуя энергично, вскрывая без промедления нарыв, можно добиться того, что недовольство в стране за одну ночь будет в корне пресечено. А ужас этой ночи благотворно повлияет на тех недовольных, которые уцелеют, заставит придуматься всех, кому придет охота распространять глупые, клеветнические измышления о режиме.

Кнопс излагал свой проект ясно, без запинки. При этом он переводил с Нерона на Требония дружески-лукавый взгляд своих блестящих, быстрых карих глаз. Проект, очевидно, забавлял его самого, и он ожидал, что и другим проект доставит удовольствие. Так бывало еще в те времена, когда они с Теренцием работали на Красной улице: он развивал планы, как надуть компаньона; обычно эти планы осуществлялись весьма удачно.

Все трое смотрели друг на друга — Теренций, Требоний и Кнопс. И еще прежде, чем Кнопс закончил свою речь, всем трем было ясно, что проект превосходен, что он достоин инициатора наводнения в Апамее. Молча сидели они, даже шумный Требоний затих, он только чуть-чуть подмигивал Теренцию, и все трое с глубоким удовлетворением думали одно и то же: «Утопить в крови всю эту сволочь». А Нерон формулировал эту мысль еще точнее: «Передавить всех, передавить, как мух».

Вслух он сказал:

— Благодарю тебя, мой Кнопс. Я передам твой совет богам; посмотрим, что скажет мне мой внутренний голос.

Однако оба, и Кнопс и Требоний, знали, что этот внутренний голос уже сказал свое слово и оно в точности совпадает с тем, что произнес их собственный внутренний голос; мысленно каждый из них уже составлял свой список.

17

ТРИ РУКИ

И в самом деле, в ту же ночь голос богов говорил Нерону, а на следующий день они опять собрались втроем, чтобы обдумать план уже в деталях. С тех пор как они взяли власть, немало их врагов успело перемереть. Но ведь им троим было вместе сто тридцать четыре года, немало неприятного повстречалось им на пути, у них была хорошая память, за сто тридцать четыре года они нажили много врагов. Можно было еще собрать богатую жатву.

К тем, кого они сильнее всего ненавидели, они, разумеется, не могли и не смели подступиться. Хорошо, например, было бы взять Иоанна с Патмоса за глотку, из которой излетали в мир наглые пророчества. Чудесно было бы сдавить пальцами тонкую гордую шею Клавдии Акте, этой шлюхе, этой проклятой, и замечательно было бы посмотреть, как хрипит Варрон, высокомерный аристократ, такой вежливый и умеющий так глубоко, от всей души их презирать. Да и осанистого Маллука было бы приятно хватить по башке; интересно бы поглядеть также на этого чисто-плюя, этого потомка древних царей Филиппа: сохранятся ли у него утонченные манеры и тогда, когда он будет хрипеть,

протягивая ноги? Но боги завистливы, самого лучшего они не дают человеку.

Все же боги дали им многое. Все трое сидели за красивым столом, выточенным из дерева ценной породы, перед каждым лежали стиль и навощенные дощечки, а перед Кнопсом, кроме того, были чернила и пергамент. Они записывали, стирали написанное, размышляли. Время от времени один из них небрежно произносил какое-нибудь имя, другие улыбались, — они уже наметили у себя то же имя; Кнопс заносил его на пергамент в окончательный список. Иногда кто-нибудь из троих возражал, тогда имя на пергамент не вписывалось — до окончательного решения. Но возражения были редки, список Кнопса заполнялся. Они не торопились, эти трое, имена называли медленно, после долгих пауз; когда то или иное имя вносилось в окончательный список, Нерон произносил подходящую цитату из какого-нибудь классика, чаще всего из Софокла или Еврипида.

Самые глубокие, истинные мотивы — личные, по которым имена и вносились в список, — упоминались редко; охотнее приводились какие-нибудь политические доводы. Требоний, например, предложил лейтенанта Луция. Он терпеть не мог молодого офицера, обнаружившего такую расторопность и решимость в битве при Суре; терпеть не мог за то, что тот был очень элегантен, происходил из старинного рода, и за то, что он оплакивал Фронтон, и за то, что женщины строили ему глазки. Ах, если бы жив был сам Фронтон, — с каким бы удовольствием Требоний донес на него и предложил включить в список! Как жаль, что надменный Фронтон уже умер, этот хвастун, который, умирая, все еще притязал на звание победителя в битве при Суре, между тем как выиграл бой он, Требоний; и вот Требонию, как ни жаль, приходится довольствоваться Луцием. Обвинения, которые он выдвигал против Луция, — ведь о настоящих причинах ему пришлось умолчать, — звучали не особенно убедительно. Луций, говорил он, распространяет злостные слухи, болтает, будто Нерон — друг черни и преследует ненавистью всякого аристократа. Кнопс не видел ни одной веской причины, по которой следовало бы расправиться с молодым блестящим офицером, который пользовался всеобщей любовью, ему было не по себе. Но если он не выдаст Требонию Луция, то Требоний начнет подкапываться под Кнопса и его кандидатов. Поэтому он внес Луция в список, а Нерон процитировал: «Смерть положит конец всякой борьбе».

И у Кнопса, когда пришел черед, все прошло гладко с откупщиком Гирканом. Разумеется, он ни слова не сказал о том, что, по его мнению, деньгам Гиркана будет лучше в руках его будущего малютки Клавдия Кнопса, чем в сундуках нынешнего владельца; он лишь упомянул об отказе откупщика пожертвовать крупную сумму на храм, посвященный гению императора, и о том, что Гиркан вообще саботирует финансовые мероприятия правительства. Но этого было совершенно достаточно. Нерон и Требоний довольно безучастно кивнули, и Нерон процитировал Софокла: «Боги ненавидят дерзкое высокомерие». И вот имя Гиркана уже стоит в списке, написанное быстрым, аккуратным почерком Кнопса, и сердце Кнопса исполнено радости.

Они писали на своих навощенных дощечках медленно, вдумчиво, словно играя в сложную игру, и когда какое-нибудь имя вносилось в окончательный список, на пергамент,—они тщательно стирали его с дощечек, чтобы освободить место для нового. Писала мясистая, белая, пахнущая благовонными маслами и водами рука Нерона, писала узкая, костлявая, с тупыми ногтями рука Кнопса, писала огромная, покрытая рыжеватым пушком, красная лапа Требония. Они вписали много имен, большею частью арамейских, но также и римских, греческих, арабских, парфянских, еврейских, имена мужчин и женщин, очень молодых и очень старых. В список уже занесено было около трехсот имен.

Это было долгое заседание, приятное, но утомительное. Приходилось усердно шарить во всех уголках памяти, чтобы никого не забыть. Пока легко можно добраться до любого, а потом будет труднее. Поэтому они, не жалея сил, ломали себе голову, искали, рылись, вынюхивали, находили. Наконец произнесено было последнее имя. С удовольствием слушая, как перо скрипит по пергаменту, Нерон мечтательно процитировал: «Не родиться — вот наилучшая участь». А про себя он думал: «Передавить всех, как мух, передавить».

— Готово? — спросил Кнопс.

— Готово,— откликнулся Требоний.

— Готово,— подтвердил Нерон.

Во всех трех голосах прозвучало легкое сожаление. Кнопс начал считать.

— Триста семнадцать,— заявил он.

Нерон поднялся, чтобы закрыть заседание.

— Триста семнадцать ложных друзей,— сумрачно ска-

зал он, печально посмотрел на Кнопса и Требония и со вздохом взял список.

Когда Кнопс и Требоний ушли, он стал изучать список. Это были четыре пергаментных свитка. Пергамент — не особенно благородный, а имена были разбросаны в беспорядке, некоторые всажены туда, где еще оставалось место, — вверху, внизу, на полях, но все были написаны разборчиво. Нерон вспомнил о той мучительной ночи в храме Тараты, когда он старался скоротать тяжелые минуты, намечая своих недругов, которых должно будет уничтожить. С нежностью он погладил пергамент, посмотрел на него удовлетворенным и мечтательным взглядом, улыбнулся полными губами. Затем тщательно, почерком Нерона, поставил на отдельных свитках номера — первый, второй, третий, четвертый — и на каждом надписал: «Проскрипционный список». Потом взял список номер один, искал свободное местечко и очень тщательно вывел: «Читал, взвесил, проскрибировал». Но ему показалось, что это неподходящее слово, и на следующих списках он написал: «Читал, взвесил, приговорил». Подписал каждый из четырех списков: «Нерон Клавдий Цезарь Август». Скатал все четыре пергамента — один в другой — и сунул за пазуху.

В этот день он обедал наедине с Варроном. После обеда Варрон заговорил о политических и экономических трудностях. Он выработал подробный план преодоления этих трудностей. В первую очередь предложил повысить жалование чиновникам и ввести мораторий для экспортеров. Император слушал с большим, чем обычно, вниманием, он, казалось, был в хорошем настроении.

— Вы очень прилежны, мой Варрон, — сказал он, — и вы, конечно, самый умный из моих государственных деятелей. Но в конечном счете успех в политике достигается не умом, а интуицией, и последнее, самое ясное понимание боги даруют только своим избранныкам, носителям царственного «ореола».

Варрон с глубоким церемонным поклоном принял к сведению изречение императора.

— И все-таки, — возразил он сухо и вежливо, — я считаю нужным прежде всего повысить жалование чиновникам и назначить мораторий для экспортеров.

— Да, да, — ответил со скучающим видом Нерон. — Вы, конечно, очень умно все это придумали. Но верьте мне, мой Варрон, в решительную минуту приносят пользу только воля и дела того, от кого исходит ореол величия. Быть

может,— заключил он туманно и глубокомысленно,— советники придут в ужас от беспощадности и прямолинейности его воли и дел, но в конечном счете весь народ поймет их величие, люди воспримут их как судьбу, ниспосланную богами, да это и в самом деле так.

Варрон почтительно слушал.

— Я, следовательно, могу,— спросил он с деловым видом, вместо всякого возражения,— представить на подпись документы о моратории и повышении жалованья чиновникам?

Нерон не рассердился на своего собеседника за то, что тот так дерзко пропустил мимо ушей его изречения.

«Дай только время, мой милый,— думал он.— Кое-кому уже не понадобится твой мораторий и твое повышение жалованья». И он с удовольствием ощутил через ткань одежды прикосновение драгоценного свитка.

Позднее он отправился в искусственный грот, к своим летучим мышам. Велел прикрепить факел к стене, отослал факельщика, остался один со своими животными. Они слетались к нему, потревоженные, с легким птичьим писком, в ожидании кормежки. Но он лишь вытащил свой свиток и прочел отвратительным мохнатым тварям заголовок: «Проскрипционный список номер один» — и затем перечень имен. Кнопс записывал имена в той последовательности, в какой они назывались, и их случайные сочетания при медленном чтении вслух иногда производили странный звуковой эффект. Это нравилось Нерону. Он повторял отдельные имена, играл ими, смаковал их, произносил их полным голосом. Со вкусом продекламировал свои любимые гомеровские стихи: «Словно летучие мыши, когда одна, оторвавшись, свалится наземь с утеса, порхают вокруг в беспорядке, так в Аид полетели тени». Он посулил своим животным: «Вы получите пополнение, друзья». И все время у него кружились в голове слова: «Передавить всех, как мух, передавить». И порой — почти одновременно: «Благо государства — отщепенцы — гнусные заговорщики — верховный повелитель правосудия». При звуке этих последних слов — «верховный повелитель правосудия» — он особенно воспламенился и уже слышал эти слова, произносимые перед своим сенатом в большой речи, доказывающей необходимость кровавой ночи.

ИМПЕРАТОР И ЕГО ДРУГ

Кнопс также не переставал обдумывать список. Он уже видел мысленно ночь расправы и, при всей своей глубокой удовлетворенности, чувствовал себя немного смущенным из-за того, что плохо переносил вид крови. Но ему было приятно представлять себе, какие изумленные лица будут у этих людей, когда их внезапно разбудят и стащат с постели.

От мыслей о списке Кнопс никак не мог отделаться. Он лежал возле своей Иалты, с удовольствием чувствуя рядом ее округлившийся живот. Конечно, он вспомнит еще несколько имен, которые не мешало бы занести в список, — но теперь уже поздно. Жаль, что нельзя вписать туда Варрона и Филиппа. На бедрах Иалты написал он: «Варрон», написал: «Филипп». И рассмеялся, когда она сердито запретила ему щекотать ее.

На другое утро он спозаранку отправился во дворец Нерона. Император был еще в постели, но тотчас же принял его. По-видимому, он был в хорошем настроении. Когда вошел Кнопс, он блаженно потягивался.

— Тебе пришла в голову превосходная идея насчет списка, — сказал Нерон и, достав драгоценную бумагу из-под изголовья, стал разворачивать листы. — Триста семнадцать, — размышлял он вслух, сдвигая брови над близорукими глазами. — Мало и много. — Он стал просматривать список.

Но в эту минуту, когда он лежа читал список, Нерон вдруг перестал быть Нероном. Его лицо невольно стало вновь лицом расчетливого хозяина; таким оно бывало, когда Теренций проверял на Красной улице счета, в которых Кнопс подытоживал долг заказчика или сумму взносов поставщику. Да, на какую-то долю секунды Нерон внезапно превратился в горшечника Теренция, который проверяет, не надул ли его раб.

Он почувствовал, что утратил «божественный ореол», и испугался. Быстро, искоса взглянул на Кнопса — не заметил ли тот? Кнопс стоял, как всегда, почтительно-благоговейно, и на его лице Теренций не уловил ни малейшей перемены. «Но у него в душе, — спросил себя Нерон, — как выгляжу я у Кнопса в душе?» Кнопс знал о нем много. Слишком много. Нехорошо, когда кто-нибудь слишком много о тебе знает. Разве, например, Кнопс не позволил

себе наглую шутку насчет того, что римский народ, если займется чтением стихов своего императора, совсем забросит работу? Только человек, который слишком много знает, может позволить себе такую шутку. Негодование императора по поводу ненадежности его «ореола» внезапно обратилось на ненадежного Кнопса.

Разумеется, на лице Нерона нельзя было прочесть этих мыслей. «Ореол» давно уже вернулся, перед Кнопсом снова было сытое лицо Нерона, когда тот в хорошем настроении.

— Триста семнадцать, — повторял Теренций, довольный, внимательно углубившись в список. — Хороший список, — но кое-кого мы, наверное, упустили из виду. Что и говорить, — пошутил он, указывая на листы, густо исписанные даже по краям, — мы исписали немало пергамента. Места тут осталось всего ничего, посмотри-ка. Трудно вписать хотя бы еще одно имя. Впрочем, вот свободное местечко, и еще вот тут. Сюда можно вписать еще два имени. И притом коротенькие — иначе их и не прочтешь. Но тогда уже список действительно будет заполнен. Дай-ка подумать. — Он задумался, прикусив нижнюю губу. — Нашел, — сказал он весело. — Мой внутренний голос подсказал мне на ухо эти два коротеньких имени. Он редко говорит в присутствии посторонних, но на этот раз заговорил. Тебе, конечно, хочется знать, — прибавил он с лукавым видом, который встревожил Кнопса, — что это за имена. Но я тебе не скажу, а сам ты, конечно, не догадаешься.

Листы лежали перед ним на одеяле, он потянулся блаженно, весело. Кнопсу стало не по себе.

— Дай мне чернила и перо, — приказал император.

Кнопс, услужливый несмотря на тревогу, исполнил приказ императора. Нерон поудобнее устроился в постели, поднял колени под одеялом, чтобы положить на них пергамент, и снова приказал:

— Достань-ка мне дощечку и подержи, чтобы я мог писать.

И он вписал два имени.

Но он так держал перо и пергамент, что Кнопс не мог разобрать самих слов, он видел только движения его руки и пальцев. Это действительно были два коротеньких имени. Когда он вписывал первое имя, Кнопсу удалось лишь уловить, что император писал его греческими буквами. Что касается второго, написанного по-латыни, он ясно видел, что оно начинается буквой «Г». Еще прежде, чем император дописал его, догадка Кнопса превратилась в уверенность: это второе имя было «Гайя».

Со вздохом Нерон снова свернул списки в тонкую трубочку, вложил один в другой, сунул их себе под подушку. Снова вытянулся и, удобно лежа, долго и витиевато болтал о том, каких многочисленных и тяжелых жертв требует «ореол» от своего носителя.

Кнопис благоговейно слушал. Но пока он стоял в смиренной позе, прислушиваясь к словам Теренция, в его душе беспорядочно, с невероятной быстротой вставали и снова исчезали тысячи образов, мыслей. «Конечно, это Гайя, — думал он. — То, что он болтает о жертвах, может относиться только к Гайе. Совершенно ясно, что он написал «Гайя». Но ведь это бессмыслица — губить ее. Ведь при теперешнем положении Варрон не может и помышлять о том, чтобы натравить на него Гайю. Чистое безумие, что он ее губит. Это только повредит ему. Она, быть может, единственный человек, который любит его, если не считать меня, дурака, который, несмотря ни на что, тоже к нему привязан». Так он думал, но сквозь эти мысли и где-то глубоко под ними вставал мучительный вопрос: а второе имя, то, что написано раньше?

— Величайший дар, — разглагольствовал между тем Нерон, — которым боги могут наделить смертного, — это «ореол». Но вместе с тем это и тягчайшее бремя. Жертвы, жертвы. «Ореол» требует жертв.

«Это все еще относится к Гайе, — думал Кнопис. — Какой вздор вбил он в свою жирную голову? Но что же это все-таки за имя, второе, греческое? Если он был так глуп, что внес в список Гайю, то кто же может быть вторым?» И хотя Кнопис в глубине души уже знал, чье это имя, все же он старался мысленно представить себе белую мясистую руку императора и восстановить в памяти все ее движения в то время, как она писала. И он видел движения этой руки. Видел, как эта рука написала букву «каппа», — вертикальный штрих и две косых палочки, — увидел и угадал простые очертания буквы «ню», пузатую, точно беременную, «омегу», замысловатый крючок «пси». Как ни странно, но он не очень испугался, когда это всплыло в его сознании. «Тут не может быть «Кнопис», — думал он. — Совершенно непонятно, зачем ему вносить меня в список. Ведь именно я сделал из него то, чем он стал, и если существует человек, который может помочь ему продержаться, так это я». Но в то же время ему вспомнилась маленькая шутка, которую он потролил себе после чтения «Октавии», чтобы подогреть настроение, — глупая шутка о римском народе, который, читая поэмы императора, не сможет работать за отсутствием

времени; уже тогда он почувствовал, что совершена ошибка. Вдруг ему стало ясно, как серьезна была эта ошибка, и четко встала в его воображении рука писавшего: три палочки «каппы», простые очертания «ню», пузатая, точно беременная, «омега», замысловатый крючок «пси». До боли ясно увидел он перед собой написанное почерком Нерона слово «Кнопс».

Нерон, со своей стороны, говоря о «жертвах, жертвах», действительно думал о Гайе и о том, что, в сущности, жалко уничтожать ее. «Что она любит меня,— думал он,— не подлежит сомнению. А что она слепа и глупа и не видит дальше своего носа, в этом она неповинна. Но и я в этом неповинен. Может быть, и глупо, что я приговариваю ее к смерти, может быть, когда-нибудь я в этом расскаюсь. Но нет, это не глупо. Она не видит, что я Нерон. Она этого не понимает. Она оскорбляет мой «ореол». Не ее это вина, но и не моя вина в том, что, к сожалению, я вынужден ее убрать. Меня ничто не может связывать с женщиной, которая оскорбляет мой «ореол». Кто оскорбляет мой «ореол», тому не жить на свете. И пусть эта проклятая Акте покамест от меня ускользнула,— по крайней мере, Гайя здесь. Передавить всех, как мух, передавить. В сущности, жалко мне и эту муху — Кнопса. Преданный и забавный человек. Как почтительно он стоит предо мной. Предан, как собака, и притом хитер. Но он позволил себе гнусную шутку, и боги не хотят, чтобы человек, позволивший себе такую шутку, оставался в живых. Кроме того, он очень много знает. Он знает о теперешнем Нероне столько, сколько теперешний Нерон знает о Нероне, жившем на Палатине. Это слишком много. Но все-таки мне его жалко. Надо в него хорошенько взглядеться. Вскоре я увижу его только в образе летучей мыши. Передавить всех, как мух, передавить».

Между тем перед глазами Кнопса танцевало маленькое, но четкое и грозное словечко: «Кнопс». «Конечно, вписано имя «Кнопс»,— думал он.— Но зачем он его написал? Адская получилась шутка — я попал в список, который сам же придумал. Как же это вышло? Глупость все это! На кой мне черт знать причины? Передо мной теперь единственная задача — выбраться из этого списка.

Самое простое — это, не показывая вида, уйти, исчезнуть. Ушел — и поминай как звали. Прежде чем он успеет дать приказ Требонию, я уже улечусь. А как только выберусь из Эдессы, дам знать Иалте, чтобы она отправилась вслед за мною с маленьким Клавдием Кнопсом. Взять

ли с собой Гориона? Это лишнее бремя. Но если дело обернется плохо, для маленького Клавдия Кнопса будет лучше, если хотя бы Горион будет с ним. Дело, конечно, плохо не обернется, но страховка не помешает. Что за чушь, почему Горион не выходит у меня из головы? У меня, клянусь Геркулесом, есть теперь дела поважнее. «Кариец, киликиец, каппадокиец — все хороши: три «к», от которых воротит с души». Нет, не следовало бы брать с собой Гориона.

Чушь. Просто невозможно, чтобы он меня убрал. Нерон не убьет своего Кнопса. Он слишком его любит. Было бы идиотизмом поддаться панике и дать тягу. И ведь деньги здесь. Не могу же я бросить на произвол судьбы деньги маленького Кнопса. Это было бы преступлением. Только не терять головы. Кто у кого в руках? Нерон у Кнопса или Кнопс у Нерона? Странно, что я даже в мыслях всегда называю его Нероном. Он великий человек, несмотря на свои злые шутки. А я разве не позволяю себе злых шуток? Не будь он великим человеком, я бы теперь, конечно, не называл его мысленно Нероном. Я его люблю, а раз я его люблю, я смогу его переубедить. И я это сделаю».

— Говорил я тебе,— произнесла массивная голова, лежавшая на подушке,— что уже решил, на какую ночь все назначить? Это произойдет в ночь на пятнадцатое мая.

«Ночь на пятнадцатое мая,— думал Кнопс.— Еще четыре дня, но я не могу ждать четыре дня. Я должен решить сейчас, сию же минуту, что делать. Самое умное — просто говорить правду. Иногда правда приносит наибольшую выгоду. Надо показать ему, что я действительно люблю его. Пусть он поймет, что ему нечего бояться, если он оставит меня в живых, и, наоборот, многого придется ему бояться, если он потеряет меня. Я буду говорить с ним совершенно искренне».

В фамильярной, лукавой и раболепной позе стоял он перед Нероном.

Итак, в ночь на пятнадцатое мая, начал он задумчиво, произойдет великая проверка. Естественно, что при такой проверке император захочет основательно прощупать людей, даже близко к нему стоящих, какого-нибудь Требония или даже самого Кнопса,— так сказать, устроить суд над ними. Он, Кнопс, сам проверил себя, не было ли хоть когда-нибудь, хотя бы где-то в самой сокровенной его глубине, какой-нибудь нечестивой мысли, не неисполненной подobaющего благоговения перед императорским «ореолом». И он не мог обнаружить в себе ничего такого. Но ведь он — простой смертный, мысли его неуклюжи, взгляд, которым

он смотрит в собственную душу, недостаточно зорек, не обладает той остротой, какая присуща благословенному богами взгляду императора. Он убедительно просит Нерона сказать ему, не открыл ли в нем Нерон нечто такое, что не сможет выдержать последнего испытания.

Кроткая, коварная улыбка мелькнула на пухлых губах Теренция. Его жирное, довольное лицо утопало в подушке, под которой лежали драгоценные списки. Теренций самодовольно поглаживал холеными пальцами одеяло. Сильнее обычного прищурил он близорукие глаза, потом внезапно складки вокруг них разгладились, он пристально взглянул на Кнопса и сказал тихим, самодовольным, грозным голосом:

— Ты знаешь слишком много, мой Кнопс. Одному лишь императору полагается знать так много.

Кнопс был и прежде уверен, что император включил в список его имя; однако сейчас, когда Нерон прямо и без околичностей сказал об этом, его точно громом поразило. Но он все же силился не побледнеть, не утратить способности логически мыслить. Хуже всего было то, что названная Нероном причина не зависела от воли Кнопса и не была заложена в нем самом, — она связана была только с характером их отношений, а они были не в его власти, в них уже ничего нельзя было изменить. И все же он нашел возражение, быть может, единственное, которое могло парализовать выдвинутый Нероном аргумент.

— Разве нельзя, — спросил он смиренно, — выжечь знание любовью?

Императора, по-видимому, тронул этот ответ. Массивное лицо на подушке стало задумчивым.

— Может быть, и можно, — произнесли полные губы. — Вопрос лишь в том, стоит ли императору решать задачу: что больше — любовь знающего или его знание? Проще было бы для императора «выжечь» человека, который слишком много знает.

Ему доставляло глубокое наслаждение играть с человеком, который позволил себе ту дерзкую шутку. Но Кнопс видел, что его довод все-таки даром не пропал.

— Разве императору не нужен друг? — настойчиво продолжал он свою атаку на Теренция. — Разве друг, который верно служил еще переодетому императору, не дороже нового?

— Не задавай слишком много вопросов, — самодовольно осадил его Нерон, смакуя ревнивый намек Кнопса на Требония.

— Слушай,— сказал он вдруг возбужденно, приподнявшись на постели.— Мне пришла в голову мысль. Я задам тебе вопрос. Даю тебе право ответить три раза. Если ты в третий раз не дашь правильного ответа, значит, ты не выдержал испытания и цена тебе не больше, чем летучей мыши.

— Спрашивай, мой господин и император,— смиренно попросил Кнопс.

Нерон снова лег. Сделал вид, что зевает, и вдруг в упор спросил:

— Кто я такой?

Кнопс с минуту размышлял.

— Ты — мой друг и вождь,— ответил он громко, убежденно.

— Плохой ответ,— зевнул Нерон,— так может ответить любой. От тебя я жду лучшего.

— Ты — император Нерон Клавдий Цезарь Август,— на этот раз неуверенно ответил Кнопс. Это был уже второй из трех предоставленных ему ответов.

— Еще хуже,— презрительно сказал Нерон.— Это знает всякий. Дешево, как мелкая монета.

Этим он, быть может, бессознательно навел Кнопса на след. Кнопс вспомнил о золотой монете с двойным изображением и на этот раз без колебаний, с бьющимся сердцем, но уверенный в успехе, дал третий ответ:

— Ты — мой император Нерон Клавдий Теренций.

Еще не кончив, он испугался дерзости своего ответа. Но голова на подушке улыбнулась, и по этой улыбке Кнопс увидел, что дал именно тот ответ, которого ждал от него Нерон-Теренций.

И в самом деле, Нерон хоть и молчал, но улыбался все более довольной, веселой улыбкой.

«Кнопс действительно знает очень много,— признал он.— Кнопс понял, что родиться Нероном — это немало, но еще больше — самому из Теренция сделаться Нероном». Он потянулся, сказал:

— Подойди-ка поближе, Кнопс. Ты молодец.

Кнопс был полон ликования. Труднейшую задачу из всех, которые ставила перед ним судьба, он решил превосходно. Теперь уж он наверняка завладеет уловом: можно считать, деньги старого скряги, откупщика Гиркана, уже в руках маленького Клавдия Кнопса.

Он подошел к постели Нерона с сердцем, полным преданности императору и господину.

— Ты любишь меня больше, чем Требония? — сказал

он настойчиво. — Его ты не внес в список, — заметил он с гордостью. — Он не стоит этого. Скажи, ты любишь меня больше?

Нерон вместо ответа похлопал его по руке. Затем ударил в ладоши:

— Эй, кто там, позвать Требония!

Лениво вытащил он из-под подушки список и перечеркнул имя Кнопса так, чтобы тот видел. Затем — всё в присутствии Кнопса — принял ванну, подставил свое тело массажисту, весело болтая о всякой всячине.

Когда явился Требоний, он выслав всех, кроме Кнопса.

— Вот список, мой Требоний, — сказал он. — Здесь триста девятнадцать имен, но одно зачеркнуто. Зачеркнутое не в счет. Остается, значит, триста восемнадцать. Больше ничего не прибавлять и не вычеркивать. С теми, кто включен в список, поступить, как мы договорились. Срок — ночь на пятнадцатое мая.

Он зевнул, повернулся на бок, и оба осторожно удались, чтобы не потревожить его.

19

В НОЧЬ НА ПЯТНАДЦАТОЕ МАЯ

Ночь на 15 мая была теплая, почти душная, и «Мстители Нерона», которым было поручено ликвидировать людей, внесенных в проскрипционный список, порядком потели. Но они выполнили свою работу по-военному добросовестно.

Гайя, когда ее схватили, не поняла, что происходит. Она думала, что пришел тот день, которого она все время с трепетом ждала, день, когда обман раскроется, когда Теренций и его друзья, а стало быть, и она, будут схвачены. Она плакала оттого, что в этот роковой час ей не суждено быть со своим Теренцием.

— Не губите моего Теренция, не губите моего доброго, глупого Теренция! — так кричала она, так она думала, чувствовала, когда ее убивали.

А в общем, в эту ночь на 15 мая все произошло так, как было предусмотрено. Из трехсот восемнадцати человек, внесенных в список, ускользнуло только четырнадцать, и произошло одно-единственное недоразумение. Спутали горшечника Алкада, человека, попавшего в список за то, что однажды на празднестве горшечного цеха он грубо

раскритиковал распоряжения руководителя игр Теренция, с музыкантом, носившим то же имя. Это была ошибка, столь же роковая для музыканта, сколь благотельная для горшечника. Взятому по недоразумению Алкаду не помогли никакие уверения, что он — музыкант Алкад. Люди Требония действовали, как им было приказано, и прикончили Алкада. Нерон, когда ему рассказали об этом недоразумении, громко расхохотался. Он вспомнил поэта Цинну, которого после убийства Цезаря умертвили вместо Корнелия Цинны. Неудачливость поэта вошла в поговорку: десять лет работал он над маленькой стихотворной новеллой «Смирна» и был убит по недоразумению как раз в тот момент, когда довел свое произведение до полной неудобопонятности. Вспомнив о нем, Нерон рассмеялся, пришел в хорошее настроение и даровал жизнь горшечнику Алкаду.

Варрон, когда «Мстители Нерона» пришли за Гайей, напрасно пытался воспротивиться им. Он набросился на них, возмущенный, властный, — ведь он умел повелевать. Напрасно. Поднятый с постели, наспех одевшись, он в гневе отправился к Теренцию. Но попасть к нему не удалось. Вежливо, решительно разъяснили ему дежурные лакеи и офицеры, что император работает над речью, которую он завтра произнесет в сенате, и что он дал строгий приказ не впускать никого — кто бы ни добивался аудиенции. С трудом сохраняя выдержку, Варрон вынужден был удалиться.

Сначала он рассердился на себя — как мог он так плохо следить за «тварью», как мог допустить, чтобы Теренций попал в руки Кнопса и Требония. Потом им овладел бешеный гнев на Теренция. Всем существом своим рвался он покончить с «тварью». Но по нелепой иронии судьбы все, чем он владел, было связано с «тварью», и, покончив с нею, он покончил бы с собой.

Много часов просидел он в одиночестве, думал, размышлял, спорил с самим собой. Но гнев его утихал, оставалось лишь ощущение пустоты и бессилия. Варрон достал из ларца расписку об уплате шести тысяч сестерциев и установился неподвижным взглядом в графу «Убыток». Он потерял очень много: достоинство, принадлежность к западной цивилизации, друга Фронтонa, в сущности — и дочь Марцию, большую часть своего состояния, почти все иллюзии. По существу, единственное, что оставалось, был он сам.

Царь Маллук, услышав о резне, встал, приказал одеть себя, прошел в покой с фонтаном. Там он уселся, скрестив ноги по-восточному; спокойно, с достоинством сидел он

среди ковров. Но в душе его звучали вопли убитых, их не могли заглушить ни ковры, ни плеск фонтана. Была еще ночь, когда пришел верховный жрец Шарбиль и молча уселся рядом с ним. К утру Шарбиль осторожно сказал, что если кто-нибудь прибегает к таким средствам, как эта кровавая ночь, значит, он сам махнул на себя рукой. Шарбиль умолчал о том, какой, собственно, вывод следовало сделать из его слов: надо бы выдать человека, который сам в себе отчаялся. Маллук очень хорошо понял недоговоренное. Но он сохранял достоинство; даже в мыслях своих не хотел он взвешивать того, что предлагал ему верховный жрец. Так, молча, сидели они, пока не настало утро. Когда Шарбиль, ничего не добившись, удалился, тоска Маллука усилилась. У него было богатое воображение; сказка, которую он в оазисе рассказывал неведомым людям, сказка о горшечнике, который стал императором, полна была причудливых эпизодов; но такого мрачного, кровавого эпизода он не предвидел. Долго сидел он, удрученный мрачными фантазиями. Он тосковал по своей пустыне, но в такую минуту он не мог покинуть страну. Ему очень хотелось сесть на коня, но в это утро он боялся смотреть в лицо жителям Эдессы. Наконец он со вздохом отправился в свой гарем.

Когда царь Филипп услышал о кровавой бане, его охватило отвращение, доходившее почти до тошноты. Он бросился в библиотеку, к своим книгам. В произведениях поэтов и философов были прекрасные стихи, возвышенные изречения, слова, звучавшие глубоко и красиво: «Восток, глубина, красочность, гуманность, мудрость, фантазия, свобода», — но слова и стихи не утешили его. В действительности ко всем этим понятиям примешивались грязь и кровь. Гордые, утешительные слова поэтов были только покровом, за которым скрывались кровь, грязь, горе. Слишком тонким покровом: взор мудрого проникал сквозь него.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛАСТИ

Нерон созвал свой сенат — и в ту минуту, когда он в большой речи обосновывал перед ним необходимость проскрипций, он, пожалуй, ощущал еще большее блаженство, чем на башне Апамейской цитадели, когда он с высоты

созерцал и воспевал гибнущий город, или чем в Риме, когда впервые читал перед сенатом послание императора.

Он говорил о тяжелых обязательствах, которые налагает власть на своего носителя.

— Как боролся я с собой,— воскликнул он,— прежде чем решился убить столько людей, в том числе и таких, которые мне были друзьями и больше, чем друзьями! Но я думал о величии империи, я совладал со своим сердцем, принес жертву, стер с лица земли заговорщиков.— Он распалялся, пьянел от собственных слов, он верил в них, верил в свои страдания и в величие своей жертвы, с бешенством обрушивался на преступников, на ставленников узурпатора Тита, на секту бандитов-христиан. Он бушевал, неистовствовал, выворачивал себя наизнанку. Он метал громы и молнии, бесился, умолял, проливал слезы, бил себя в грудь, заклинал богов. Он закончил:

— Я не несу ответственности ни перед кем — лишь перед небом и своим внутренним голосом. Но я слишком почитаю вас, отцы сенаторы, чтобы уклониться от вашего суда. Вы знаете, что именно произошло, вы слышали, почему оно произошло. Судите. И если я не прав, повелите мне умереть.

Конечно, ему не повелели умереть, а постановили устроить празднество, дабы возблагодарить богов за спасение империи и императора от огромной опасности.

Кровавая ночь возымела на сенат и на народ именно то действие, на которое заранее рассчитывали Кнопс, и Требоний, и Нерон. Деяние Нерона, мгновенное и страшное, вызвало ужас, благоговение, удивление. «Одним махом», — сказал Кнопс, характеризуя свои и Нерона действия, и слова «одним махом» заняли отныне важное место в словаре населения Сирии.

Оправившись от первого испуга, толпа еще больше стала любить и почитать Нерона за его энергию и мрачное великолепие, она забывала растущую нужду, ослепленная величием своего императора. Только теперь поняла она, что значил мрачный символ Нерона — всадник на летучей мыши. Летучая мышь — отвратительное исчадие ночи — это было единственное средство, при помощи которого власть могла вознестись к небу.

Толпа это почувствовала и одобрила, и, когда 21 мая, в положенный срок, состоялось освящение барельефа на скале, она с ликованием приветствовала, полная благоговейного трепета, того человека, черты которого на вечные

времена были запечатлены на скале в исполинском и весьма реалистическом виде.

Во всем мире кровавая ночь вызвала омерзение. Но не на долгий срок,— потому что, если сила на стороне тех, кто его вызывает, люди хоть и осуждают их омерзительные действия, но скоро о них забывают.

Император Тит в своем дворце на Палатине вначале не осуждал Нерона. Хотя его называли и сам он себя называл отрадой рода человеческого, но он знал, что невозможно дать людям счастье без силы. Он сам был полководцем в двух войнах, подготовил государственный переворот, приведший к власти его отца, посылал на смерть многих людей и не высоко ценил человеческую жизнь. И все же, когда он просматривал список убитых, лицо его исказила гримаса отвращения. Он нашел имя Гайи, нашел имена других, которые были убиты только из-за личного тщеславия и мстительности составителей списка. То, что этот мелкий негодяй и его сброд натворили в Междуречье, было лишь на одну десятую политикой и на девять десятых — взрывом злобного безумия. Император Тит тихо, с глубоким отвращением произнес:

— Мелкая рыбешка — и так воняет!

Секретарь Тита передал эти слова дальше. И с тех пор, если человек мелкого пошиба становится вождем широких масс и сеет вокруг себя зло, обычно говорят:

— Мелкая рыбешка — и так воняет!

Книга четвертая

ПАДЕНИЕ

1

НЕПРИСТОЙНАЯ ПЕСЕНКА

Однако не эта кровавая ночь, на взгляд современников, знаменует начало падения Нерона-Теренция, но событие, куда менее значительное, даже совершенно не приметное — появление маленькой песенки.

«Боги сразили мужа Максима Теренция, называвшего себя Нероном, его же собственным оружием,— пишет некий историк.— Искусство декламации и пения, которым он владел, вознесло его, и пал он из-за маленькой песенки».

Кто сочинил эту песенку и кто спел ее первым, неизвестно. Она появилась как-то вдруг, дерзкая песня, каких на Востоке было тысячи, меланхолические, насмешливые куплеты на арамейском языке. Их мелодия или, точнее, напев, монотонный, как все напевы кочевников пустыни, придавала словам особое насмешливое бесстыдство. Слова эти были такие:

Горшечник некую вещь закрутил,
Одну большую вещь закрутил,
Ей только бы закрутиться.

Акте приехала. Вот беда.
Смотрят: а вещь ни туда, ни сюда,
Никуда не годится.

Горшечнику место на улице Красной.
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

Если горшечнику мудрость не впрок,
Он получит урок,
Хороший урок, настоящий урок.
Не знаешь, в чем дело,
Пока не влетело.

Будет, горшечник, тебе укорот!
Хвост подожми, не то попадет!
Сам император приедет вот-вот.
Во многом ты грешен.

Вещь докрутилась твоя,
Звезда закатилась твоя,
Будешь повешен!¹

Под аккомпанемент кифары и барабана она звучала особенно эффектно, но и без аккомпанемента она легко лезла в уши. Ее мелодия была изысканна и вместе с тем проста — напев на арабский лад, но с крохотными двусмысленными непристойными паузами, например, перед словом «вещь» и перед заключительными словами, благодаря чему конец как-то меланхолически и нагло повисал в воздухе, и все то печальное, жалкое, обреченное на гибель, что скрывалось в заемном императорском величии, сразу проступало наружу ошутимее, чем под ударом самых убедительных доказательств.

Требоний мог запретить людям обсуждать события 15 мая, мог жестоко расправиться с любым, кто порицал императора, но он не мог запретить, например, крохотную нахальную паузу перед словом «вещь» или помешать тому, чтобы мелодия меньше чем в две недели завоевала всю страну. Все, и говорившие и не говорившие по-арамейски, знали слова этой песенки. Стоило лишь промурлыкать два-три такта, и каждый уже понимал, что хочет сказать собеседник, злобно и невесело усмехался и думал о своем.

Популярность песенки объяснялась тем, что положение в Междуречье и в той части Сирии, которая управлялась Нероном, становилось все хуже. Ночь на 15 мая укрепила, правда, престиж режима, но хозяйственного положения страны она не улучшила. Хлеба стало меньше, а пироги и вовсе исчезли. Вдобавок росло озлобление, вызываемое произволом ставленников Нерона, насилиями Требония, Кнопса и их помощников, привилегиями, которыми пользовалась небольшая клика за счет всего населения. «Песня о горшечнике» звучала в ушах и сердцах всего народа. Ее пели на улицах больших городов: Самосаты, Эдессы, Пальмиры, Апамеи, Лариссы. Пели ее лодочники, бороздившие Евфрат и Тигр, пели крестьяне и рабы, которые пахали, сеяли и снимали урожай, пели ремесленники и те, кто работал на мануфактурах предпринимателей, пели прачки у колодцев и дети, играющие на улицах, пели бедуины в пустыне — те, что везли на верблюдах тюки с товарами, и те, которые подстерегали караваны, чтобы напасть на них и разграбить.

¹ Перевод В. Микушевича.

Это была маленькая песенка, «Песенка о горшечнике», но было в ней что-то такое, что не на шутку подтачивало устои Неронова господства. Правда, императора восторженно встречали, где бы он ни появлялся. Но стоило прислушаться внимательнее, и можно было уловить сквозь возгласы: «О ты, всеблагой, величайший цезарь Нерон», — бесстыдные стишки:

Горшечнику место на улице Красной.
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

И ^{на}конец, так печально, так смешно, так жалко и так злобно повисавший в воздухе:

Будешь повешен!

2

ЗАНАВЕШЕННЫЙ ЛАРЬ

Губернатор Цейоний музыкальностью не отличался. Однако в ожидании гонца, который должен был доставить ему с только что прибывшего корабля почту из Рима, он напевал без слов песенку о горшечнике. Обутый в высокие сандалии сенатора, в тяжелой, украшенной пурпурными полосами верхней одежде, он сидел за письменным столом, напряженный, прямой, и мурлыкал про себя нахальную, глупую песенку.

Цейоний был неузнаваем. Подавленность, летаргия последних месяцев исчезли. Получив сообщение о событиях 15 мая, он впервые за долгое время дернулся и выпрямился. Как и князя Востока, он усмотрел в кровавой ночи жест отчаяния, на который способен лишь человек, чувствующий приближение конца.

Правда, с этих пор прошло уже довольно много времени, а во владениях мнимого Нерона все еще ничего не изменилось. Больше того, Нерон-Теренций достиг даже еще каких-то местных успехов в Сирии. И все же Цейоний был уверен, что закат Теренция наступил, и наивный текст песенки о горшечнике вполне подтверждался теми отчетами о внутреннем положении в Междуречье, которые он получал от своих экспертов.

Цейоний стал мудр, он остерегался проявлять слишком большой оптимизм. Он не думал, что власть Теренция

вскоре сама собой рухнет. Он знал, что Требоний со своей прекрасно вооруженной, дисциплинированной армией еще долго мог держать в руках Междуречье. Но власть мошенника Теренция была поколеблена изнутри, и сам он созрел, нужен был лишь внешний толчок, чтобы он пал.

И толчок этот будет дан. Цейоний ждет почты из Рима, он не сомневается, что она принесет ему ответ, разрешающий все вопросы. Время подавленности, бездействия, равнодушия миновало. Цейоний очистил свою армию, он проверил насквозь каждого офицера и солдата, выкинул всех, кого можно было заподозрить в сочувствии движению так называемого Нерона. Полгода тому назад легионы Цейония представляли собой скандальное зрелище, теперь же опасность того, что среди офицеров найдутся такие, которые польстятся на обещания Варрона или Требония, устранена полностью.

Но где же гонец? Собственно, ему давно бы пора быть здесь. Цейоний взялся за документы, но читать он не мог. Если бы в военном министерстве вняли его доводам и решились отозвать Четырнадцатый легион, который заражен больше других, а взамен послали ему Девятый, тогда все обстояло бы прекрасно, тогда ему нечего было бы бояться, хотя бы даже дело дошло до войны с парфянами.

Вещь докрутилась твоя,
Звезда закатилась твоя,
Будешь повешен!

Цейоний заканчивает так, что мелодия повисает в воздухе, — не потому, что он умсет петь, нет, его голос звучит фальшиво, но его слух и сердце улавливают верный тон.

Гонец. Наконец-то. Распечатывая письмо императора, Цейоний не мог удержать дрожи в пальцах. Он пробежал длинное послание. Налоговые вопросы, административные мероприятия, указания по поводу культа бога Митры. А где же о главном? Вот, оно здесь: «Что касается ваших предложений, мой Цейоний, относительно замены нашего Четырнадцатого Девятым, то мы, обсудив, одобрили это и отдали соответствующий приказ».

Цейоний не дочитал письма до конца. Девятый, он получит Девятый легион! Какое признание проделанной им работы, какая награда за нее! Обязанности главнокомандующего больше всего привлекали Цейония в его должности. О, чего только он не сделает, имея в своем распоряжении

Девятый легион, этот чудесный материал! В голове Цейония зарождаются тысячи планов. Он бодр, как в лучшие годы юности. Пусть сколько угодно называют его Дергунчиком — и здесь, в Антиохии, и по всему Востоку. За последние месяцы прозвище это приобрело другой смысл, и сейчас, пожалуй, дело близится к тому, чего ему в свое время иронически пожелал Варрон, — чтобы имя это произносилось не с издевкой, а доброжелательно, почти ласково.

Не терять ни минуты. Порадоваться можно будет после. Цейоний перебирает полученную корреспонденцию. Вот письмо друга его Пэта, который обычно держит его в курсе римских дел. Если его друзьям в военном министерстве понадобилось столько времени на то, чтобы добиться замены Четырнадцатого легиона Девятым, писал Пэт, то виновата в этом лишь злополучная пассивность императора. Но недалеко время, когда это препятствие отпадет. По сведениям, которые Пэт почерпнул непосредственно у лейб-медика доктора Валента, — император не протянет и года. Цейоний прерывисто вздохнул, лицо его покрылось пятнами. Как это просто сказано, всего несколько небрежных каракулей: «Не протянет и года». Просто, как слова «сердечный привет». А между тем ведь это нечто грандиозное, ошеломляющее, это величайший дар богов! Если только Тит действительно умрет, если его место на престоле займет молодой, энергичный Домициан, тогда песенка о горшечнике станет реальностью, тогда его вещица докрутится; Цейоний, под прикрытием Палатина, перейдет Евфрат, вытащит всех этих молодчиков, вздернет их на крест.

Надо бы, в сущности, сесть за письменный стол. Цейоний работает с удовольствием, добросовестно, а теперь, после письма императора, дел целая куча. Но сейчас он не в состоянии работать. Ему хочется движения, он должен переварить свою удачу. Он поедет верхом за город.

Он пересек зал. Вот и задернутый тканью ларь с восковым изображением предка. Нет, сегодня он не старается поскорее проскользнуть мимо этого ларя. Он даже замедляет шаг, он выпячивает грудь, выпрямляется и, проходя мимо предка, кивает ему, улыбается. Он победит, он уничтожит этого проходимца. А победив, он испросит себе награду, — в присутствии императора и сената он сдернет с ларя завесу.

ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ

Пока правительство Тита бездейтельно взирало на возвышение Нерона, никто не осмеливался громко заговорить о своих сомнениях в подлинности этого Нерона, но как только распространилась весть о том, что Девятый выступил в Сирию, языки мгновенно развязались. Даже те, кто до этой поры верил в Нерона, стали сомневаться в своем бравом императоре.

Так как правительство упорно замалчивало события по ту сторону границы и препятствовало распространению правильных сведений, то возникали слухи, которые, передаваясь тайно из уст в уста, становились все невероятнее. Причудливо сплетались предсказания святого актера Иоанна с Патмоса со слухами о военных приготовлениях в Сирии и о предстоящей карательной экспедиции, которую готовит губернатор Цейоний. Трехглавым псом ада называл Иоанн триумвират — Теренций, Требоний, Кнопс, прозвище это распространилось в народе. Теперь все говорили, что Геракл пустился в путь, чтобы изловить трехглавого пса. Деятельность противников Нерона усилилась, надписи на стенах — насмешливые, негодующие — умножились, песенка о горшечнике была у всех на устах и у всех в сердце.

Но в городах стояли войска Нерона. Они маршировали по улицам, крепкие, сытые, прекрасно вооруженные, нечего было и думать о том, чтобы крестьяне и горожане, при всей своей многочисленности, неорганизованные и недисциплинированные, могли бы вступить в борьбу с такой армией. И жизнь текла по-старому. Чужестранец, попав в Самосату или Эдессу, вряд ли заметил бы признаки внутренней неурядицы в стране, наоборот, у него создалось бы впечатление, что народ доволен властью Нерона и счастлив.

Туземные князья и знать в официальных заявлениях по-прежнему выражали радость по поводу пребывания в их странах высокого гостя. Но те же князья и знатные господа плохо спали и косо смотрели на Варрона. Они знали, что среди их народов растет глухое недовольство, они видели, что хлеб, вино, пироги и деньги иссякают, а гнет Теренция, Требония, Кнопса чувствовался сильнее, чем раньше гнет огромного и безликого Рима.

Из советников Нерона Кнопс яснее других чувствовал, как пошатнулись основы нероновского режима. Он замечал это прежде всего по поведению ближайшего своего окруже-

ния. Его тесть Горион осмелился даже затянуть в его присутствии грубым, некрасивым голосом песенку о горшечнике, хотя она задевала его самого как владельца фабрики на Красной улице и как тестя Кнопса.

Кнопс, однако, пропускал мимо ушей эти наглые выходы. Он знал, что даже такое сильное средство, как проскрипции, подействует лишь ненадолго, и решил сразу же после кровавой ночи скрыться, он хотел лишь поместить в надежное место деньги Гиркана, точнее, деньги будущего маленького Клавдия Кнопса. Но именно эти деньги, этот чудесный, желтый, огненный металл, задерживали его. Правда, откупщик Гиркан был убит в ночь на 15 мая, но миллионы его оказались совсем не такими доступными, как думал Кнопс. Они вложены были в многочисленные, более или менее разветвленные предприятия, лежали в векселях и иных обязательствах, частью переведены были за границу, чтобы не платить с них налогов, или просто хорошенько припрятаны. Помимо этого Варрон не спускал глаз с Кнопса, а Варрон был неприятный противник, с ним нельзя было войти в сделку. Кнопсу пришлось прибегнуть к тысяче ухищрений, чтобы прикарманить золото убитого Гиркана. Из-за этого его отъезд все оттягивался. Он чуял, что опасность уже близко, и тосковал по безопасному убежищу. Кнопс был не из храброго десятка, он знал, что, если запоздает, его ждет ужасная, мучительная смерть; когда он слышал заключительные слова песенки о горшечнике: «Будешь повешен», — страх царапал ему каждый нерв. Но он был хорошим, заботливым отцом, он не мог бросить на произвол судьбы деньги своего сыночка, он стиснул зубы и остался.

4

ПОГИБШИЙ ТОВАРИЩ

Фельдмаршал Требоний расхаживал по городу, как всегда, шумный, в хорошем настроении. Со сотысячной, хорошо организованной армией можно на..ать на то, что «аристократы» называют «психологическими затруднениями», и он грубо насмеялся над бреднями этих господ. Не пугал его и численный перевес легионов Цейония. Втайне, правда, ему становилось не по себе при мысли о том, как обогнали его в знании теории офицеры Цейония в своих военных академиях. Если смотреть с этой

точки зрения, то смерть полковника Фронтонна и лейтенанта Луция была не так уж выгодна, а фельдмаршал Требоний втайне проводил немало часов над головоломным чтением «Учебника военного искусства».

Убийство лейтенанта Луция имело неприятные последствия еще в одном отношении. Умер храбрый и заслуженный лейтенант, который столько сделал для победы Нерона, и это вызвало недовольство в армии. Офицеры и солдаты попросту отказывались верить, что их товарищ Луций изменил делу императора, за которое он боролся, не щадя жизни. Кто мог быть спокоен за себя, если этого Луция столь гнусно, без суда, уничтожили? Везде слышались ругательства и зажигательные речи, решено было не оставлять без внимания такого перегиба.

Армия послала депутацию к своему фельдмаршалу с вопросом, знал ли он об убийстве Луция, дал ли он согласие и в чем провинился их товарищ и каковы доказательства его вины; если же убийство Луция совершено было без ведома Требония, то что фельдмаршал намерен предпринять для того, чтобы виновники убийства понесли наказание?

На мгновение у Требония мелькнула мысль, не задержать ли депутацию и не предать ли ее затем военному суду. Но он чувствовал душу солдата и быстро сообразил, что лучше не покрывать убийство Луция. Пусть солдаты любят и ненавидят кого хотят. Лейтенант Луций был любимцем армии, следовательно, он был ни в чем не виновен, убийство его есть преступление. Требоний дал промах, внеся Луция в проскрипционные списки, и вынужден теперь проглотить последствия своей ошибки. Он заявил, что осуждает убийство лейтенанта, и обещал, что армия получит удовлетворение.

Он пошел к Нерону. Тот, когда Требоний явился, лежал на тахте, ленивый, хмурый. Правда, слушая донесения своих советников о военных приготовлениях Цейония, он на вид оставался безучастным, пропускал все мимо ушей, но стоило ему остаться в одиночестве, как он тотчас мрачнел, массивное лицо его темнело, нижняя губа выпячивалась еще более капризно и раздраженно, чем обычно.

Песенка о горшечнике угнетала его. Евреи, как ему рассказывали, верят, что их бог в отместку за разрушение храма поселил в голове Тита насекомое, которое, не переставая, мучает его,— в этом и заключается болезнь императора. Песня о горшечнике жужжала в ушах Нерона, как это самое насекомое в мозгу у Тита. Нерон не мог избавиться от этой песни, она терзала его, подтачивала его «ореол».

Он обрадовался приходу Требония, это отвлекло его.

— Боги не говорят со мной сегодня,— сказал он,— мой внутренний голос молчит. На такие дни не худо бы иметь какого-нибудь типа вроде горшечника Теренция: в свое время он умел неплохо развлечь меня. Но на худой конец и ты хорош.

Требоний не знал, как ему истолковать приветствие императора,— как добрый знак или дурной; обычно не трусливый, он сейчас испытывал какое-то замешательство. Нерон по-прежнему был для него императором, богом. А чтобы потребовать от Нерона того, чего собирался потребовать Требоний, во всяком случае, нужна была храбрость.

— Мои солдаты,— начал он,— беспощаднее прежнего расправляются с населением за известную бесстыдную песенку. В одной Самосате мы схватили и отдали под суд триста двадцать четыре человека. Но теперь придумали новый фортель. Они поют дурацкую «Песню о юле», песню этой шлюхи Клавдии Акте, но на новые слова.

— Что за новые слова? — спросил Нерон.

— Очень глупые слова,— неохотно ответил Требоний.— Не стоит даже повторять их.

— Говори! — приказал Нерон, не повышая голоса.

И Требоний произнес эти слова, которые гласили:

Юла уже не кружится, горшечник,
Рад ли ты, что она уже не кружится?
Рад ли ты, что всему конец?

Я рада...

Нерон внимательно слушал.

— Слова действительно дурацкие,— подтвердил он.

— Может быть, запретить эту песню? — спросил Требоний ретиво.

— Песню о юле ты запретить не можешь,— деловито возразил Нерон,— в Риме над нами будут смеяться. Неумно было запрещать даже ту непристойную песенку. Нельзя отдать под суд песню.

— Да, это затруднительно,— угрюмо согласился Требоний.— Они напевают мелодию без слов. А когда схватишь их, они заявляют, что это не та мелодия, и никак нельзя уличить их.

— В самом деле нелегко, наверно, преследовать песню,— размышлял вслух Нерон.— Есть тысячи песен на одно лицо, и никогда нельзя знать, попал ли ты на настоящую или только на похожую.

— Я, значит, не буду больше преследовать песню,— смиренно сказал Требоний.

— Вздор! — возмутился Нерон.— Ты обязан ее преследовать. Ее нужно вырвать с корнем. Но ты не способен на это.— Требоний покорно проглотил пилюлю.

— Твой слуга Требоний, о великий император,— сказал он,— верен тебе, но он прямолинеен и неуклюж. Оказалось, к сожалению, что он поступил несправедливо, когда предложил в свое время проставить в известном списке одно имя.

Нерон сдвинул брови.

— Как так несправедливо? — сказал он.— Я одобрил списки. Тем самым все в них стало справедливым.

Требоний отступил, испуганный. Но он обещал своим солдатам удовлетворение и потому был настойчив. Через некоторое время он стал опять осторожно пробираться вперед.

— Армия любила Луция,— сказал он.— И сейчас еще любит.

— Луция? — повторил Нерон.— Кто это — Луций?

— Это тот самый, о котором я говорил,— ответил Требоний, и так как император не разгневался, он собрался с духом и скороговоркой продолжал: — Армия — рука императора. Когда руке больно, когда, скажем, на ней царапина, разве не следует императору приложить к больной руке мазь?

«Если Нерон вспылит,— подумал Требоний,— если он рассердится, я не буду настаивать. Мне жаль моих людей, но я предам их военному суду».

Нерон не рассердился. Нерон рассмеялся. Требоний поэтому продолжал:

— Император давно не удостаивал речью своих солдат. Армия жаждет слова императора. Милостивое слово императора удваивает мощь армии.

— Что же случилось с твоим Луцием? — милостиво спросил Нерон.

Теперь Требонию предстояло выполнить труднейшую часть задачи.

— Было бы хорошо,— осторожно начал он,— если бы император рассказал своим солдатам об их однополчанине Луции, если бы император разъяснил своей армии, что считает этого Луция хорошим офицером и сожалеет, что его нет более в живых.

Нерон оглядывал сквозь свой смарагд Требония с ног до головы.

— Гм,— сказал он,— я, стало быть, должен хоронить твоих мертвецов. Ты знаешь, Требоний, что ты наглец?

Но слова эти прозвучали не очень грозно. Нерон погружился в раздумье, и Требоний знал, что в эти минуты принимаются решения, которые могут весьма существенно повлиять на его, Требония, популярность в армии. Он внимательно следил за лицом императора, напряженно ожидая слов, которые слетят с уст его. Вот уста эти разомкнулись, сию минуту император заговорит, ответит ему. Требоний слушал в напряженном ожидании. Но то, что слетело с этих уст, не было ответом ему: Нерон вполголоса напевал что-то — да, он мурлыкал проклятую наглуую песенку о горшечнике. Требоний был немзыкален и часто не мог отличить одну мелодию от другой. Но на этот раз он не мог перепутать,— это, несомненно, была пресловутая песенка, и сердце у Требония сжалось от испуга.

Император же, внезапно оборвав песню, улыбнулся и сказал:

— В сущности, это не столь уж неблагоприятная задача — оплакивать смерть храброго солдата, и я полагаю, что подобная траурная речь будет выглядеть совсем неплохо среди прочих моих сочинений.

И снова, видимо, уже обдумывая каждый период в своей речи, он машинально, без слов, замурлыкал песенку о горшечнике. Требоний удалился скорее угнетенный, чем ошастливленный.

Нерон созвал в свой маленький придворный театр цвет офицерства. Прежде всего он показал офицерам героическую оперу — о том, как Александр Великий в опьянении убил Клита, человека, спасшего ему жизнь. После этого символического зрелища Нерон в большой, местами трогательной, местами патетической, речи принес извинение за убийство лейтенанта Луция. В мужественных словах он славил доблесть и военный талант лейтенанта. Но затем он заговорил о дисциплине, напомнил, что время военное, что ведется тяжелая борьба с узурпатором Титом, а на войне дисциплина — первое требование. Луций же неоднократно в присутствии заслуживающих доверия свидетелей, как римлян, так и местных жителей, произносил заговорщические речи, распространял глупые и лживые слухи о якобы низком происхождении императора и о предпочтении, оказываемом цезарем людям из низов. Свидетельские показания, скрепленные присягой, налицо. Протоколы, в которые они занесены, в любую минуту могут быть предъявлены фельдмаршалу Требонию и другим генералам. Возможно,

что глупые мятежные речи лейтенанта были лишь мальчишеской болтовней, и в мирное время они были бы простительны. Но не в военное. Император все проверил, взвесил — и осудил. Нелегко было вынести такой приговор, ибо император любил молодого офицера, как сына. Но как Брут осудил своих сыновей, так и ему, Нерону, пришлось подчиниться велению богов и приговорить к смерти лейтенанта. Наряду со многими другими это была тяжелая жертва в ряду жертв, принесенных императором ради блага государства и армии. Может быть, одна из самых тяжелых. Но император надеется: своими будущими подвигами армия докажет, что кровь лейтенанта пролита не напрасно, что кровь эта питает новыми соками дисциплину.

Он был в форме: вовремя благозвучно всхлипывал, где нужно было — гремел и сам распалялся от собственного красноречия. Этот удивительный человек, Нерон-Теренций, был и в самом деле искренне опечален смертью своего храброго солдата. Но офицеры, заполнявшие зал театра, слушали его с каким-то чувством неловкости, скорее встревоженные, чем растроганные. Многие втайне спрашивали себя, не умнее и не достойнее ли было бы стоять по ту сторону Евфрата, в рядах однополчан, против которых, вероятно, придется в ближайшее время биться, чем воевать под знаменем этого комедианта. И офицер, который по выходе из дворца резюмировал свое впечатление от речи императора, заявив: «Две оперы подряд — это уже слишком», — выразил, вероятно, мнение большинства.

Сам Требоний, который слушал эту речь из императорской ложи, должен был бы, в сущности, радоваться, ибо, «бедив Нерона извиниться перед армией, он разрешил свою грудную задачу. Но и он испытывал скорее замешательство, чем удовлетворение. Сквозь высокопарные слова императора ему слышалось, как Нерон мурлычет песенку о горшечнике, песенка заглушала красивые слова, и Нерон был уже не Нероном, а всего лишь Теренцием.

5

ДЕЙСТВОВАТЬ И НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ

Варрон не присутствовал на этом спектакле. Это было оскорбительно и, следовательно, неумно, но он не в силах был превозмочь своего отвращения к Кнопсу и Требонию. Когда-то он слишком сильно презирал обоих, чтобы

ненавидеть. Теперь же в нем чувство собственной беспомощности перерастало в злобную враждебность к ним.

Он не мог сказать, что идея проскрипций была неудачной, но его отталкивала свойственная черни глупость, с какой ее осуществили. Варрон не был сентиментален, он отделял личные чувства от политики. Смешивать политику с личной мстостью — это, по его мнению, было в такой же мере дилетантством, как и безвкусицей. Расправа с такими людьми, как Гайя и лейтенант Луций, была, с его точки зрения, не столько даже преступлением, сколько просто идиотизмом.

Ему не следовало допускать, чтобы его собственные креатуры взяли над ним верх, этих людей необходимо было обезвредить. Сделать это не так-то просто. Требоний был скор на расправу и популярен, Кнопс был бессовестен, изобретателен, хитер. Варрон обзавелся агентами, чтобы собирать против Кнопса и Требония обличительный материал. В особых протоколах, составленных ими, на многочисленных примерах доказывалось, что Кнопс и Требоний злоупотребляли властью во имя личной мести и наживы. Варрон сам не лишен был присущего римлянам здорового корыстолюбия, он не знал жалости к эксплуатируемым и угнетенным и сам, не задумываясь, содрал в свое время семь шкур с целой провинции. Но методы Варрона, столь изящные и энергичные, делались грубыми, попадая в неуклюжее руки Кнопса и Требония. Варрон искренне, убежденно отвергал приемы Требония и Кнопса.

Чтобы подготовить падение Кнопса и Требония, требовались время и труд. Сложное и нелегкое дело управления поглощало много сил. Надо было измышлять все новые и новые средства для борьбы с растущим среди населения недовольством, надо было изыскивать все новые и новые денежные источники, так как неизбежное увеличение армии требовало средств. И Варрон работал, работал много, работал со страстью. Неутомимым, почти неистовым трудом он пытался отогнать от себя мрачное чувство безнадежности, нередко сжимавшее ему горло.

Когда не помогала работа, он спасался в своем последнем убежище. Марция, с тех пор как Клавдия Акте побывала в Эдессе, перестала бояться отца, не чуждалась его, как прежде, и это сближение продолжалось и после отъезда Акте. Марция допускала его, когда он приходил к ней, и иногда даже сама приходила к нему. Он проводил с ней долгие часы, она сидела, а он ходил по комнате из угла в угол, говоря о вещах, заботивших его. Он вслух

размышлял о том, как это дерзко и глупо, когда один человек мнит себя способным изменить течение мировой истории. Разве действия человека, даже самого могущественного, не определяются на девять десятых обстоятельствами? Он сам волен в своих действиях ничуть не больше, чем его Нерон. План его так удался не благодаря его государственному уму, а благодаря «конъюнктуре», счастливому стечению обстоятельств, от него не зависящих. Где вообще кроются факторы, определяющие политический успех? В большинстве случаев — очень далеко, в сфере, которую не в состоянии познать тот, кто активно действует, кто неразрывно связан с ходом реальной политики. Каким же образом можно влиять на большие политические события? От чего зависит, например, будущее его затеи, судьба Нерона и его собственная? Ведь не от настроений же народов Междуречья и не от военных приготовлений Цейония! Так могут думать только близорукие люди, не видящие дальше своего носа. Наступит ли смерть Тита сегодня или через год, выйдет ли Артабан победителем из тяжелых боев, которые он ведет на восточных границах, или потерпит поражение — от этих обстоятельств зависит его судьба и участь его Нерона, а это вещи, ход которых вряд ли кто-нибудь может затормозить или ускорить, рассчитать и учесть. Он сделал все возможное, чтобы повернуть ход событий себе на пользу, и впредь сделает для этого, что будет в его силах. Но то, что он в состоянии бросить на чашу весов, ничтожно, и он был бы дураком, если бы думал, что это имеет значение.

Эти и подобные мысли высказывал он перед молчаливо сидевшей Марцией. Глаза ее следили за ним, как он шагал из угла в угол, но он не знал, слушает ли она его, а если слушает, то понимает ли. Однажды, когда он говорил ей что-то в этом роде, она сказала ему:

— Знаешь, с кем тебе надо поговорить об этом? С нашим Фронтонем. Он умен и хорошо разбирается в этих вещах.

— С Фронтонем? — переспросил Варрон растерянно.

— Да, с Фронтонем, — ответила Марция просто.

— Где же я его найду? — осторожно спросил Варрон.

— Нужно, конечно, — задумчиво ответила она, — обладать настоящими глазами, чтобы видеть его. Многие не узнают его, принимают его за Нерона. Если бы ты, дорогой отец, отдал меня в весталки, я бы его, наверное, всегда могла видеть.

Она сказала это, однако, улыбаясь, без горечи или укоризны. Потрясенный Варрон не нашелся что ответить и вскоре ушел.

Некоторое время он избегал бесед с Марцией. Но ему не хватало этих бесед,— пусть даже его слова оставались без ответа,— и он посещал Марцию так часто, как только мог. В ее присутствии ему легче было уговорить самого себя, внушить себе уверенность.

— Просто удивительно,— говорил он, например,— как много мы успели за такое короткое время. Мы создали сильную, боеспособную армию, мы даже из туземных войск, с помощью римской муштры, получили хороший людской материал, мы укрепили союз с Артабаном, превратив его в надежное тыловое прикрытие. Города выглядят по-новому, в них больше порядка, в управлении нет прежней расхлябанности, оно действительно неплохо организовано. Мы научили римлян и греков, живущих здесь, смотреть на людей Востока иными глазами, чем до сих пор, лучше обращаться с ними. Еще никогда в этих краях отношения между Западом и Востоком не были так дружественны, как теперь. Было бы очень горько, если бы все это снова рухнуло; это не должно рухнуть. Недовольство, охватившее страну, идет на убыль. Дай только прогнать этот сброд, этих Кнопсов, Требониев и как их там еще зовут. То, что мы здесь делаем, хорошо и разумно и непременно увенчается успехом.

На этот раз Марция, видимо, слушала его, ее красивое, светлое лицо улыбалось, и улыбка эта, казалось ему, была улыбкой понимания и сочувствия. Но когда он кончил, Марция ничего не сказала. Она что-то напевала очень тихо. Если он не ошибался, это была песенка о горшечнике.

6

РОКОВАЯ ВАННА

Четвертого сентября цезарь Тит, как это он делал каждый год, отправился в свое поместье под Косой. Уже во время короткого переезда он жаловался на удручающую дурноту, прибыв же на место, он тотчас слег и уже больше не поднимался. 13 сентября жар угрожающе поднялся, и лейб-медик Валент прописал императору снеговую ванну. В этой ванне, в присутствии лишь врача и иудея Иосифа Флавия, император Тит скончался.

Многие говорили, что лейб-медик Валент, назначая роковую ванну, действовал против предписаний своей науки, так как был подкуплен неким лицом, заинтересованным в смене императора на престоле. Была ли доля правды в этом слухе, сказать трудно. Доктор Валент слыл ученым медиком во всей империи; определить, какова должна быть продолжительность снеговой ванны, очень трудно; здесь легко мог допустить ошибку и самый лучший врач. Как бы там ни было, но император Тит, приняв снеговую ванну, умер. С означенного 14 сентября он был богом, а императором стал брат его Домициан.

Весть об этом событии разнеслась по всему миру. С невероятной, непостижимой быстротой перелетела она море и достигла Сирии, Антиохии.

Когда явился гонец, неся знак несчастья — перо на жезле, Цейоний, прежде чем гонец открыл рот, уже знал, с какой вестью он прибыл. Непроизвольно расправил он плечи, вытянулся, с головы до пят — Дергунчик. Нетерпеливо, властно кивнул он гонцу, чтобы тот удалился. И, оставшись один, он целиком отдался своему невероятному счастью.

Ему, лояльному чиновнику Луцию Цейонию, чуть-чуть неловко, что он не испытывает ни малейшего огорчения по поводу смерти Тита — своего повелителя и императора, которому он присягал на верность. Но тут ничего не поделаешь. Он чувствует лишь огромную радость. Тит называл себя миротворцем. Мир — великое дело, но если за мир нужно платить, — теперь, когда императора нет в живых, Цейоний может позволить себе подобные мысли, — такой мерой трусости, поношений, смирения, то мир этот губит, отравляет всю вселенную. Теперь с этими бреднями покончено. Минерва, богиня разума, снова берет землю в свои сильные, спокойные руки, он, Цейоний, — наместник Минервы в этой части света, и дело свое он сделает хорошо. Армия его стоит наготове, она сильна, боеспособна, и теперь он, спаситель, с помощью армии восстановит в этой части света подлинный мир.

Он улыбнулся. Он представил себе гладкое, мясистое, иронически улыбающееся лицо Варрона. Да, теперь настал черед улыбаться ему, Цейонию. Столько месяцев казалось, что верх берет этот пропащий человек, но в конце концов победил все-таки Цейоний, а с ним — долг, дисциплина, Рим, разум.

В Междуречье весть о вступлении на престол Домициана породила зловещие слухи. Говорили, что Цейоний

собирается перейти Евфрат во главе двухсоттысячной хорошо обученной армии, жестоко покарать города Месопотамии, называли даже дату, когда это произойдет, говорили об ультиматуме, срок которого истекает 10 октября.

Если раньше деяния Нерона — потопление Апамен, преследования христиан, проскрипции — «одним махом» завоевали ему поклонение черни, то теперь, когда власть его как будто пошатнулась, те же деяния «одним махом» обратились против него, сделали его вдвойне презренным и ненавистным. Нерон был Нероном, пока в него верили. С той минуты, как возникли сомнения, он стал Теренцием. То, что казалось возвышенно и благородно, поскольку было совершено Нероном, стало отвратительно и низко, коль скоро это сделал Теренций. Больше того, если до сих пор деяния его доказывали, что он был Нероном — только император способен на такие бессердечно-возвышенные поступки, — то теперь те же деяния свидетельствовали, что он не мог не быть Теренцием, только подонок, вольноотпущенник мог унизиться до таких лютых мерзостей.

По улицам Самосаты, Эдессы тянулись потоки демонстрантов, улица оглушительно, вразброд и хором пела песнь о горшечнике. Вспыхнули беспорядки. Требоний без лишних церемоний объявил осадное положение, железом и кровью восстановил авторитет Нерона. Но он не мог помешать тому, чтобы на захваченной Нероном территории Сирии многие римские гарнизоны перешли на сторону Домициана. Солдаты убивали верных Нерону офицеров, срывали его изображения со знамен и посылали депутации к Цейонию с изъявлением раскаяния, покорности, послушания.

7

«ТВАРЬ» ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД ОПЕКИ

Нерон возлежал за трапезой, когда ему доставили депешу с известием о смерти Тита. Хотя его окружало множество людей, ему на этот раз не удалось разыграть равнодушие. Он изорвал депешу в клочья, опрокинул стол, расшвырял кубки, грубо разогнал гостей.

Но наутро он уже обрел свое прежнее спокойствие, и, когда ему в последующие дни докладывали о политическом положении, он слушал с обычным выражением пресыщенности, скуки. Однажды, когда Требоний доложил ему, что

в одной из воинских частей, которая оказалась ненадежной, он приказал казнить каждого десятого, Нерон кивнул массивной головой и сказал кротко, со смаком:

— Ты хорошо сделал, мой Требоний. Поступай так и впредь. Передавать, передавать всех, как мух.

Ему доложили, что Сура снова перешла в руки Флавиев. Он принял этот факт с полным самообладанием. Но на следующий день он велел вызвать к себе некую Лидию, слышшую в Сирии лучшей специалисткой по составлению ядов, и потребовал у нее быстро и безболезненно действующий яд. Она доставила ему отраву в золотой шкатулочке, но шкатулочка ему не понравилась, пришлось долго искать такую, какая пришлась бы ему по вкусу.

Когда он оставался один, его все больше одолевали мрачные предчувствия. Он утрюмо скандировал строки из Гомера, в которых мертвый Ахилл оплакивает в Аиде участь уопших:

Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать,
мертвый.

Он погружался в бесконечное раздумье. Когда, в сущности, изменило ему счастье? Долго искать ответа не приходилось. Он сам накликал на себя свои беды. Он точно знал ту минуту, то мгновение, когда это произошло: когда он взял перо в руки, чтобы вписать в проскрипционный список имя Гайи. Список был отличный. Он сам испортил список, в этом была основная его ошибка, этим он прогневил богов и навлек на себя гибель. До мельчайших подробностей помнил он это злосчастное мгновение: как он согнул колени, как Кнопс подложил ему дощечку, чтобы удобнее было писать, как он брался за перо. Не боги водили тогда его рукой. Не божественный голос нашептал ему это имя — глупая, бездарная рука Теренция вписала его.

Теперь, когда злые силы все теснее обступали его, он с особой болезненностью ощущал, какое давящее одиночество окружает его с тех пор, как Гайи не стало. Он знал, что пока она есть на свете, есть и последнее убежище, куда он может спастись, когда все рухнет, и в этом знании черпал свою величавую уверенность. С той минуты, как Гайя сошла к теням, Нерон сразу стал Теренцием; но Теренцием без Гайи, бедным, беззащитным рабом, который слишком высоко занесся.

Будет, горшечник, тебе укорот!
Хвост подожми, не то попадет.

Гайя была как шерстяная одежда зимой: царапает, но греет. Как это ни смешно, но волшебную уверенность, которая позволяла ему пребывать императором, давала ему неласковая близость Гайи. И он сам, глупец, отправил Гайю к теням, сам разрушил чары.

Он отправился к своим летучим мышам. Боязливо всмотрелся в безобразные морды. Которая из мышей — Гайя? Он пытался гладить их, но они отлетали от него с противным писком. Они ненавидели его. Гайя рассказала им обо всем, что он по глупости своей совершил, и они теперь его ненавидят. Гайя не успокоится, пока не принудит его самого сойти к ней, ибо с ней он связан неразрывно. В писке летучих мышей ему слышался пронзительный вой, с которым фурии у Эсхила гонятся за Орестом: «Лови, лови, лови, держи», — и короткий, отрывистый, резкий писк животных терзал ему нервы.

Он очень жалел себя. Гайя сама во всем виновата. Она не верила в него. Если бы она верила, он никогда бы не совершил этого безумия, этого преступления — он никогда бы не убил ее. Почему она не верила в него? Быть может, потому, что иссякла его мужская мощь. А иссякла она потому, что сила нужна была ему для его искусства и для его народа. Он был жертвой своего искусства и своего человеколюбия.

Жертва, да, да, он жертва, и с точки зрения истории также. Не он оказался несостоятельным, — несостоятельны были другие. Ему было предначертано богами блистать, произносить речи, излучать «ореол». Давать народу хлеб, вино, деньги — это не его дело, это дело его советников. И они оказались несостоятельны: он же делал и давал все, что подобало делать и давать человеку его сана.

Одно он сделал неправильно, и за это теперь платится: не надо было вносить имя Гайи в список.

Порой, особенно по ночам, когда он лежал в постели, его посещали в высшей степени неимператорские мысли и образы. Его отец был добродушный человек, он скорее баловал его, чем держал в строгости. Но одну вещь он ему решительно запрещал. Маленькому Теренцию не дозволялось входить одному, без взрослых, на склад, где были выставлены статуи для продажи. Отец опасался, как бы мальчик не разбил чего-нибудь. Стоило ему застать ребенка одного на складе, отец, обычно такой ласковый и нежный, порол сына. Но маленький Теренций упрямо стремился проникнуть в запретное помещение: глиняные статуи притягивали его, ему хотелось поближе рассмотреть их без

докучного надзора взрослых. Он ощупывал их, постукивал по ним, чтобы услышать приятный звон, издаваемый статуями, их голоса. Часто он фантазировал при этом. Несомненно, у каждой статуи был свой голос, и статуи мужских божеств звучали не так, как статуи женских. К сожалению, они стояли рядами: ряд статуй Митры, ряд статуй Тараты; поэтому нельзя было, постучав по какому-нибудь богу, сейчас же постучать по богине, чтобы сравнить звук. И вот однажды, незаметно прокравшись на склад, маленький Теренций собрался с духом, схватил одну из статуй Тараты и попытался перетащить ее к статуе Митры. Фигуры были довольно тяжелые, и мальчик пыхтел вовсю. Он был уже почти у цели, как вдруг, в последнюю минуту, Тарата выскользнула у него из рук, упала, ее высоко поднятая рука с бубном отломилась. Маленький Теренций страшно испугался. Сию минуту придет отец, накажет его, избьет его до смерти за то, что он испортил статую. На него напал дикий страх, все внутри у него обмякло, он заранее ощущал побои, которые его ожидали; они были гораздо больнее, чем могли быть на самом деле.

Так и теперь, в видениях, посещавших его в полудремоте, Нерон предчувствовал несчастье, видел, как врывается во дворец толпа, видел, как люди бросаются на него, бьют, топчут ногами насмерть. И он боялся ночи, боялся больше всего тех нескольких минут дремоты, которые предшествовали сну.

Часто он уже не в состоянии был отличить, кто он: Теренций, которому не терпится принять свой подлинный облик — облик Нерона, или Нерон, которому не терпится вернуться к своему подлинному облику — облику Теренция, опекаемого Гайей. Две шкуры были у него — которая из них настоящая?

Маленький, пустяковый случай разрешил этот вопрос. Случай этот заставил его действовать по собственному почину, без совета со стороны, заставил заговорить его подлинный внутренний голос, голос Теренция, и тот, кто начал действовать, был не Нерон.

А случилось вот что Прохожие по-прежнему почтительно, с легким трепетом взирали на гигантский барельеф, изображавший императора на летучей мыши. Однажды несколько молодых людей стали громко острить насчет монумента. Никем не останавливаемая, поощряемая сочувственным молчанием окружающих и удовлетворением, написанным на лицах, молодежь все больше и больше смелела. Наконец, кто-то бросил камень в скульптуру, за

первым камнем полетел второй, третий, множество. Камни эти не могли нанести барельефу большого вреда. Но вот кто-то, уже с ломом в руках, начал взбираться на скалу с барельефом. Человек взмахнул ломом, ударил по носу императора, отколол кусок носа. За первым смельчаком полезли другие, все больше и больше людей с яростью и сладострастием принялось разрушать монумент. Сделать много им не удалось: камень был крепкий, к тому же вскоре явились солдаты Требония и положили конец бесчинству.

Во многих городах еще раньше происходили демонстрации гораздо более серьезного свойства, и император никак не реагировал на них. Но, узнав об этой ребяческой выходке, он сразу потерял всякое самообладание. Он сник, заплакал, завыл, не стесняясь присутствием растерявшихся секретарей, камергеров, лакеев.

Наконец, все еще бурно всхлипывая, он отослал всех, лег, стал прислушиваться к своему внутреннему голосу. Голос говорил:

— Беги. Улепетывай. Вон из Эдессы. Уноси ноги. Удирай. Это последний знак. Беги. Улепетывай.

Голос говорил с ним тоном Гайи и ее словами, а он лежал, окаменев, и слушал, как Гайя неласково твердит ему:

— Беги. Улепетывай. Уноси ноги. Удирай.

Он долго лежал так, исполненный страха. Наконец с большим усилием приподнялся. Сел. Стал размышлять. Хлопнул в ладоши, позвал слуг, велел прислать Кнопса.

В ожидании Кнопса он ходил по комнате тяжелыми шагами, что-то бормоча про себя, глубоко погруженный в свои мысли, порой прислушиваясь, точно они уже пришли, его враги, чтобы схватить его. Наконец явился Кнопс. И тотчас же, без предисловий, без объяснений, Нерон предложил ему бежать, тайно, переодетыми, немедленно, этой же ночью, в Ктесифон, к Великому царю Артабану.

Кнопс слушал сбивчивые речи Нерона молча, внимательно; но у него перед глазами завертелась комната, весь мир. В глубине души он давно знал, что из любви к сыну упустил время и теперь, после вступления на престол Домициана, уже не сможет соскочить с бешено несущейся под гору колесницы Нерона. Но то, что Нерон, пребывающий всегда в блаженной уверенности сумасшедшего, сам признал, что всему конец, поразило его как громом.

Нерон между тем сыпал словами, полными страха, настаивал, предлагая бежать вместе.

— Бежим,— говорил он.— Давай улепетывать. Надо смываться. Надо удирать.

Кнопс слушал его вполуха, он презирал этого глупого человека. Бежать! Какая бессмыслица. До Артабана далеко, а как только Нерон покинет Эдессу, всюду немедленно вспыхнет открытый мятеж, и ему ни за что не добраться живым до юго-восточной границы. Здесь, в Эдессе, у него есть, по крайней мере, его сильная, надежная гвардия.

Мозг Кнопса, пока Нерон говорил, сам собой продолжал четко работать. Один из принципов, на которых Кнопс строил свое благополучие, состоял в убеждении, что из глупости ближнего можно всегда извлечь выгоду. Какую же выгоду он может извлечь из глупости Теренция? Его острый ум работал с полной ясностью. Вот уже план возник, вот уже выход найден.

Хорошо. Он согласится на предложение Теренция, он бежит с ним. Но не к Артабану. Не только потому, что далекий путь к парфянской границе лежит через мятежное Междуречье и полон опасностей. Пусть даже ему удастся добраться до Ктесифона, что ждет его там? Жалкое существование человека павшего, человека, которого терпят. Ибо большая часть его имущества находится на территории Рима и Месопотамии и недостижима для беглеца, скрывающегося у парфян. Нет, уж лучше игра рискованная, но сулящая лучшие виды. Он не поведет Нерона через Тигр к Артабану, а переправит его гораздо более коротким путем через Евфрат к римлянам и выдаст римским властям. Тогда у него будет хоть какая-то надежда на помилование.

Все эти мысли бурей пронеслись в его голове, пока Нерон говорил. Глаза Нерона, когда он кончил говорить, с тревогой уставились на Кнопса. Нерон явно почувствовал облегчение, когда Кнопс, поколебавшись всего несколько секунд, сказал «да». Мало того, с быстротой и решительностью опытного человека Кнопс взял выполнение плана в свои руки. Он сейчас же заявил, что раздобудет широкий простой плащ с капюшоном, чтобы укутать императора с ног до головы, за четверть часа до полуночи зайдет за ним и устроит так, чтобы у юго-восточных ворот их дожидались надежные слуги.

При других обстоятельствах Нерон, обычно очень чуткий, пожалуй, и заметил бы, что, при всей решительности тона, голос Кнопса звучит принужденно и как-то сдавлено. Но в паническом страхе он не учуял того, что про себя задумал Кнопс. А может быть, он не хотел этого учуять, не хотел — поскольку Гайи на свете не было — потерять еще и этого самого давнего своего друга. Он цеплялся за него. Он поблагодарил его, обрадованный.

ТЕРЕНЦИЙ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ НУТРО

Незадолго до полуночи Кнопс, как было условлено, зашел за Теренцием; укутанные в темные плащи, они направились к дальним юго-восточным воротам. На улицах было почти пусто, лишь изредка показывались патрули, и Нерон жался, прячась от них, к стенам домов.

Светила ущербная луна, дома были залиты неверным молочным светом, на пустынной площади, которую им пришлось пересечь, спали собаки; когда они приблизились, псы зашевелились, заворчали. Нерон почувствовал страх: ведь его светилом было солнце, не луна.

Гулкие шаги. Кто это там, в конце улицы? Разве в городе еще остались солдаты? Напрасно уговаривал его Кнопс, что на гвардию можно положиться. Нерон, охваченный паникой, не слышал его слов. Им овладел такой же страх, как тогда, когда он бежал с Палатина. Если вооруженные люди его увидят, он погиб.

Вот они на бедной улочке, в квартале христиан, около маленького, запущенного, на вид нежилого домика. Нерон прижимается к двери, дверь поддается. Кнопс хочет его удержать. Нерон вырывается, оставляет плащ в руках Кнопса, вбегает в дом, захлопывает дверь, всей своей тяжестью наваливается на нее; вот большой деревянный засов, он задвигает его. Так. Здесь, по крайней мере, темно, хотя бы на короткое время он укрылся от солдат. Он доволен, что избавился от этого проклятого лунного света. Рад и тому, что избавился от Кнопса. Он забивается в угол, в желанную темноту, туда, в самый густой мрак. Застывает с бьющимся сердцем.

С улицы слышен звон оружия. Возможно, что солдаты ведут переговоры с Кнопсом. Долго, целую вечность, стоят они около дома. Наконец шаги их удаляются.

Так. Теперь можно перевести дыхание. Тишина. Но нет. Кто-то возится у двери. Дом запущенный, ветхий, деревянный засов не выдержит напора. Нет, пока что он не поддается, тот человек возится напрасно. Может быть, это Кнопс. Вот он тихонько окликает Теренция. Да, это голос Кнопса. Впустить? Нет, Кнопс слишком отчаян. Из-за него Нерон чуть было не столкнулся с вооруженными людьми — тогда все погибло бы! Он загадывает. Если Кнопс откроет дверь, он доверится ему, если же нет, Нерон один пустится в путь к Великому царю. Снаружи все еще доносятся тихие,

настойчивые призывы. Долго. Наконец они стихают. Все решилось. Нерон остается один.

Он притаился в своем углу. Он доволен. Но постепенно — это была одна из первых осенних ночей — ему становится холодно. Он встает, разводит руки, снова сводит их, но трещит пол, и он пугается. В углу что-то прошуршало. Возможно — крыса. Он снова забивается в свой закуток, растирает застывшие колени, клянет Кнопса за то, что тот взял его плащ. Гайя никогда бы не забрала у него плащ. Ах, если бы Гайя была с ним.

Что это еще за Гайя? Зачем ему Гайя? Ведь он Нерон. Или — нет? Ведь это он тогда читал перед сенатом послание императора, ведь это он воспевал на башне Апамейской цитадели потоп, это он оправдывал в большой речи проскрипции. Или ему все это приснилось?

Наверняка можно сказать вот что: одно время он был Нероном и одно время — Теренцием. Отчетливо, ясно вставляли в памяти картины того, как он произносил речи перед своим сенатом, перед своими войсками, перед цехом горшечников, как он величаво и блистательно шествовал перед своим народом, как он подписывал правительственные указы и торговался из-за статуи Митры. Все это было. Но этого больше нет. Кто же он теперь? Не Теренций и не Нерон.

Он ложится на пол, скрючивается в три погибели. Теперь он будет спать. Он считает до ста, до пятисот. Машинально произносит заученные наизусть стихи. И внезапно он оказывается мальчуганом, который украдкой забрался на склад статуй и разбил статую Тараты; теперь оттуда, из ночи, должен прийти отец, а когда дело касается статуи, отец не помнит себя, отец убьет его.

Нет, в этом холоде и на этом твердом полу не уснешь. Все тело затекло. Можно получить ревматизм, насморк, воспаление легких. Но на этом дело и кончится — умереть достойной смертью от этого нельзя. Он снова стал растирать тело. Неожиданно ощутил под руками что-то твердое, многогранное — коробочку с ядом? Выпить? Конечно, надо выпить. Но кто знает, достойная ли это смерть? Он понюхал порошок — ничем не пахло. Он слышал, что людей, принимающих яд, рвет, что они умирают некрасиво, посинев и корчась в судорогах среди собственной блевотины. И он не выпил яда, он сидел в закутке и ждал своей судьбы.

И судьба его явилась. Опять у двери завозилась чья-то рука, на этот раз более умелая. То, что не удалось Кнопсу,

несмотря на долгие старания, этой руке удалось тотчас же. Дверь отворилась. Послышались шаги.

Тот, кто вошел, был здесь, видимо, у себя дома. Шаги были сильные, уверенные. Человек сразу же принялся высекать огонь. Теренций забился поглубже в самый угол, затаил дыхание, чтобы не выдать своего присутствия. Брызнули искры, вспыхнуло пламя. Теренций смотрел, полумертвый от страха. Он увидел мужчину в широком изжелта-белом валяном плаще, какие носят бедуины. Затем он разглядел часть лица, изборожденного морщинами. Сердце его замерло. Он узнал его, не увидев еще даже всего лица. Это было лицо человека, которого он теперь меньше всего хотел бы встретить, лицо Иоанна с Патмоса.

Ибо Иоанн вернулся. Ему долго пришлось довольствоваться тем, что голос его доносился сюда из далекой пустыни, но теперь исполнились сроки, царство антихриста рушится, и он, Иоанн, явился нанести ему последний удар.

Теренций не отрываясь смотрит из своего угла на это оливково-смуглое лицо. Оно еще сильнее заросло бородой, миндалевидные глаза еще грознее светятся из-под косматых бровей. Несказанный страх захлестывает Теренция, нечеловеческий ужас, до мозга костей пронизывающий его.

И вот Иоанн замечает его. На мгновение он застывает, уходит в себя. Но затем спокойно всматривается. Он видит человека. Видит Теренция, Нерона, обезьяну, антихриста, двуногое олицетворение лжи, воплощение зла. Он выпрямляется. Его изрытое резкими складками бородатое лицо кажется человеку, забившемуся в угол, огромным, гигантским. Но он не в состоянии отвернуться от этого лица, он не может не смотреть в горящие глаза под косматыми бровями, хотя он трижды умирает, заглядывая в них.

Иоанн встает. Он не маленького роста, но и не чрезмерно высок. Теренцию же он кажется гигантом. Вот он поднимает ногу, огромную ногу гиганта, он приближается к нему, приближается мучительно медленно; пока он сделает шаг, проходит вечность.

Да, Иоанн наслаждается каждым своим движением. Стало быть, ему в руки нежданно-негаданно отдан этот антихрист, его враг и враг человечества, убивший его сына. Иоанн испытывает огромное блаженное желание убить, задушить, отомстить врагу. И медленно, чтобы не расплескать этого блаженства, ступает он шаг за шагом.

Но наконец он все-таки проходит это длинное, это короткое, это чудесное расстояние и останавливается перед своим врагом. Тот, скорчившись, сидит в своем углу, его мясистое, залитое потом лицо обращено к Иоанну, бледное, обрюзгшее, — застывшая маска страха. Иоанн поднимает руки, большие кисти рук, смуглые, сильные. Чудесно будет сжать ими глотку врага. Иоанн взглядом примеривается к жирной шее. Все зло мира схватит он за горло, когда стиснет глотку этого человека, и он заранее наслаждается прикосновением к шее Теренция.

Теренций между тем трижды умирает от страха в эти бесконечные секунды. Его кишки ослабели и не могут удержать своего содержимого, но он не замечает этого, он уже чувствует эти руки на своей шее, со страшным, смешанным чувством боли и наслаждения. Да, наслаждения, ибо он уже хочет испытать это трижды пережитое удушье, он не может больше вынести муки ожидания, он всей душой молит о конце. Ну вот, вот сейчас... Эти смуглые, огромные руки отделяет от его шеи расстояние не больше, чем в локоть, в следующее мгновение они стиснут ее.

Неожиданно из горла его выдавливается звук. Голос, который, как казалось Теренцию, совсем пропал, вдруг вырывается наружу. Это не обычный красивый, поставленный голос Нерона, это жалкий, запинаящийся, невнятный голос, и, помимо воли Теренция, помимо его сознания, голос произносит членораздельные слова, бормочет:

— Я ведь горшечник Теренций.

Иоанн слышит это жалкое бормотание и останавливается. Он прозрел. И это — антихрист? Этот вот?.. Да здесь ничего нет, кроме несчастной, трепещущей плоти. Он благодарит бога за то, что бог вовремя ниспослал ему прозрение. Выбросить его на свалку — разве это подвиг, разве это победа? Это работа для живодера, а не для пророка, для святого актера.

Он прозрел. А теперь он почувствовал и запах. Он опустил руки, отвернулся, сел на корточки перед очагом. Взглянул на Теренция. То, что лежало в этом углу, это ничтожество, этого жалкого общипанного воробья, он принимал за великое воплощение зла, а мир принимал за орла. Иоанн замотал огромной головой. Губы его под спутанными усами искривились. Он рассмеялся. Негромко, глубоким, почти добродушным смехом — так велико было его презрение.

Перепуганный Теренций ничего не понимал. Это лицо

было не только лицом Иоанна. Оно соединяло в себе лица всех людей, которые когда-либо внушали ему страх,— отца, Гайи, Нерона, Варрона. Безмерное удивление охватило его, когда это лицо отодвинулось, стало меньше, отдалилось. Лица этого давно уже не было над Теренцием, а Теренций все смотрел на него, ничего не понимая, не в силах отвести глаза.

Прошло бесконечно много времени, прежде чем он решился пошевелинуться. Лицо, видимо, оставило его в покое, оно не застилает ему больше света, он может выйти на волю из темницы, из царства теней. Он поднялся с таким чувством, будто сбросил небывало тяжелый груз, шатаясь, удивляясь тому, что стоит. Он потащился к двери, с трудом волоча ноги, не отрывая глаз от лица другого, страшного. Самое ужасное было — как пройти мимо него? Но ему удалось, он прокрался, втянув голову в плечи, с глазами, полными смертельного страха. Потом он рванулся и короткое расстояние до двери промчался бегом, гонимый ужасом, что вот сейчас, сейчас кулак Иоанна опустится ему на темя или, еще хуже, Иоанн схватит его сзади за шею, задушит.

Но ничего не было. Ни кулака, ни пальцев на горле, ни удара. Только смех, смех Иоанна, глубокий, презрительный, негромкий. И Теренций был безмерно удивлен, когда очутился за дверью, целый и невредимый, унося в ушах смех Иоанна.

9

ГОЛОС НАРОДА

Стремительное бегство Нерона из Эдессы нанесло его делу больше вреда, чем могло бы принести самое ужасное поражение. Сторонникам Нерона казалось, что над ними насмеялись, что их нагло обманули. Их воодушевление обратилось в ярость. Они валили статуи Нерона с постаментов, швыряли их наземь, разбивали вдребезги. Многотысячная толпа двинулась к скалам на берегу реки Скирт разрушать каменного всадника на летучей мыши. Злые шутки, разгульный смех сопровождали разрушение, а когда рухнувшие глыбы погребли под собой несколько человек, это скорее увеличило веселье, чем остановило его. Разрушение барельефа вылилось в настоящую оргию. Люди обнимали друг друга, празд-

новали освобождение от ига чужеземного деспота, пели, ликовали, напивались допьяна.

Позже, без всякого уговора, точно по чьей-то команде, толпа ринулась к дому Кнопса. Популярность его исчезла так же, как возникла, «одним махом», и народ теперь видел в нем злого духа Нерона и его дела.

Увидя собиравшуюся перед домом возбужденную, грозную толпу, Кнопс послал гонца к другу своему Требонию просить у него помощи. Но раньше, чем помощь подоспела, толпа смяла стражу, охранявшую вход. Кнопс счел за лучшее выйти к ворвавшимся. Он принял их, по-простецки подшучивая, стараясь их облагородить, удержать. Но сердце его прыгало от страха. Он еще ночью хотел бежать, сейчас же после того, как не удался его ход с выдачей Теренция; но Иалта, которая была уже на сносях, чувствовала себя очень плохо, и врачи ни в коем случае не советовали пускаться в путь; Кнопс медлил, и вот как раз в ту минуту, когда семейство уже собралось в дорогу, нагрянула эта чернь и помешала укрыться в безопасное место, уйти на заслуженный покой. Он вел переговоры с толпой, смотрел с благодушным безразличием на начинавшийся грабеж, раздавал вино. Спокойно, прямо-таки с довольным видом, похаживал он среди непрощенных гостей. Но на душе у него был мрак. Ах, на друга его Требония положиться нельзя. Тот, верно, не имел бы ничего против, если бы толпа вот так, добродушно, под шутки и прибаутки, разорвала Кнопса на куски.

Нет, он несправедлив к другу. Он слышит звон оружия, видит солдат, полицию. Нет, к сожалению, Кнопс справедлив к другу. Это не полиция Требония, это сомнительная помощь — солдаты царя Маллука. Правда, они вызволили его из рук толпы и поставили около него охрану, но лишь затем, чтобы самим захватить его и взять под стражу.

Кнопс правильно рассудил. Требоний не торопился посылать ему подмогу; он бы не возражал, если бы помощь пришла очень поздно или даже слишком поздно. Но то, что в дело вмешались люди Маллука, резко меняло положение. Это уж чересчур. Если туземные солдаты осмелятся поднять руку на сановников Нерона, куда это приведет? То, что с чернью будет канитель, можно было заранее предвидеть. Но чернь хлопнешь по башке — и все опять спокойно. Если же солдаты, если чиновники Маллука станут вести себя как изменники, то это уже нетерпимо, это надо немедленно пресечь. Он забыл, что сам довел до этого, он чувствовал полную солидарность с Кнопсом. В гневе, бря-

чая и звеня, отправился он требовать ответа у царя Маллука.

У Маллука он встретил и верховного жреца Шарбиля. Шарбиль уже несколько раз за последние недели, когда власть Нерона явно пошатнулась, разъяснял царю — не только намеками, но и в недвусмысленных словах, — что пора бы выдать Цейонию Нерона, а за это получить гарантию сохранения «статус кво». Но у Маллука, араба, были твердые взгляды на святость гостеприимства, и он теперь с таким же достойным видом, сидя столь же неподвижно, пропускал мимо ушей слова своего жреца, как в ночь на 15 мая — его намеки. В последние дни, впрочем, стало казаться, что лояльность его будет вознаграждена и в политическом отношении. Были получены достоверные вести с крайнего Востока о том, что Артабан достиг решительных успехов в войне с Пакором. А как только Великий царь получит возможность бросить на западную границу достаточное количество войск, римские генералы, даже после вступления на престол Домициана, трижды подумают, прежде чем перейти Евфрат. Следовательно, они хорошо сделали, что сохраняли верность Нерону и не предприняли никаких поспешных шагов. А теперь бессмысленное бегство Нерона сразу разрушило все надежды. После такой стихийной вспышки народного гнева Нерона нельзя было ни на минуту оставлять в Междуречье.

Кое-что, впрочем, можно было извлечь и из этой вспышки народного гнева. То, что гнев этот прежде всего обратился против Кнопса, дало Маллуку и Шарбилю желанную возможность задержать этого человека. Он был теперь в их руках, и это было хорошо. Ибо если Артабан одержит на крайнем Востоке — на что теперь есть виды — окончательную победу, то Рим при всех обстоятельствах, прежде чем двинуть войска за Евфрат, поведет переговоры, и тогда, чтобы доказать свою добрую волю, можно будет предложить Риму на худой конец нероновского канцлера. Так как дело шло об отвратительном рабе Кнопсе, то царь Маллук, как ни тверды были его взгляды на гостеприимство, не возражал.

Все эти вопросы царь и жрец как раз и обсуждали, когда со звоном и бряцанием ввалился Требоний. После трусливого бегства мошенника Теренция царь Маллук и жрец Шарбиль чувствовали себя с его ставленниками очень уверенно и поэтому с еще большей неподвижностью и важностью, чем обычно, приняли шумливого, разгневанного капитана.

На жалобу Требония Шарбиль ответил, что офицер, арестовавший Кнопса, действовал не самочинно, а с ведома и по поручению правительства. Понятно, что население Эдессы взбунтовалось против алчности и произвола Кнопса, что оно не пожелало больше терпеть издевательств после того, как император Нерон бежал, оставив своих чиновников на произвол судьбы.

Только теперь понял Требоний, каким угрожающим стало его собственное положение после бегства Нерона. Он был человеком горячим, но в то же время и в достаточной мере солдатом, чтобы мгновенно учесть военные шансы. И тут он понял, что в уличном бою с населением Эдессы и войсками Маллука у него нет никаких видов на победу.

— Если вы так думаете, — вызывающе ответил он жрецу, в душе, впрочем, готовый на уступки, — то вы в конце концов и меня можете арестовать.

Старец промолчал и, как показалось Требонию, усмехнувшись, повернул свою птичью голову к Маллуку. Царь же в первый раз с тех пор, как вошел Требоний, открыл рот и сказал:

— Не бойся, капитан. Мы тебя не арестуем.

Он произнес это глубоким голосом, спокойно, без насмешки. Но Требонию показалось, что его ударили по голове. Больше всего потрясло его, что царь назвал его не «маршалом», а просто «капитаном». Проще и лучше нельзя было поставить все на свое место. В ту же минуту, как царь Маллук назвал его капитаном, Требоний сразу превратился из всесильного фельдмаршала в рядового провинциального офицера, точно так же, как император Нерон, бежав, сразу стал снова рабом, каким и был по рождению; Маллук же родился царем. Требоний не дерзнул возмутиться, он чуть было даже не поблагодарил царя. Но смолчал.

После короткой паузы Шарбиль разъяснил слова Маллука. Царь Эдессы, пояснил он, предоставляет капитану Требонию возможность стянуть свои войска в цитадель и дает ему на это три часа сроку. Царь не хотел бы, чтобы Требония, попавшего в руки толпы, постигла та же участь, что и Кнопса. Поэтому пусть капитан использует предоставленный ему срок.

Согнувшись, подавленный, сбитый с толку, кляня и подчиняясь, Требоний удалился.

ПРОЩАНИЕ С ЭДЕССОЙ

Единственный человек в Эдессе, не усмотревший в бегстве Нерона краха его режима, был Варрон. Успехи Артабана на крайнем Востоке вновь разожгли его почти угасшие надежды, и Варрон никак не хотел признать того, что дурацкая выходка «твари» уничтожила все те преимущества, которые получило его предприятие благодаря победе Артабана. Наоборот, он считал выгодным временное исчезновение Нерона, так как попутно навсегда сбрасывались со счетов Кнопс и Требоний.

Он и не думал принимать всерьез мятеж в Эдессе. Как только всем станет доподлинно известно о победе Артабана, можно будет без всякого труда убедить население, будто Нерон вовсе не бежал, а лишь отправился к Великому царю Артабану, чтобы обсудить с ним, как использовать победу на Востоке для нанесения такого же решительного удара на Западе.

Размышляя вслух, он шагал взад и вперед перед молча сидевшей Марцией. Он подошел к ней вплотную, взял в руки ее светлую голову, бережно отогнул ее назад, сам откинул голову, чтобы лучше видеть.

— Ты не напрасно отдала себя «твари»,— уверял он ее,— все, что я обещал тебе, сбудется: ты вступишь на Палатин.

Приспосабливаясь к изменившемуся положению, он мысленно уже переносил центр своего предприятия из Эдессы в Ктесифон, столицу Артабача, и оттуда, из Ктесифона, оно выглядело совсем по-новому огромным и процветающим.

Да, излагал он Марции свои планы, он покинет теперь эту жалкую Эдессу и перенесет свою резиденцию в Ктесифон. Не потому, что он чувствует себя в Эдессе под угрозой, словно какой-нибудь Кнопс или Требоний, дело в том, что ему теперь нужно наконец связаться лично с Артабаном. В сущности, упущение, что он не устроил уж давно встречи с Артабаном, чтобы побеседовать с ним непосредственно. Ведешь переговоры тослами, с министрами, а о личности самого царя имеешь весьма смутное представление, не знаешь даже черт его лица. Варрон хочет видеть царя Артабана. Он рассчитывает открыть царю глаза на многое и дать ему несколько полезных советов.

Что касается «твари», то она, вероятно, блуждает где-нибудь в степи. Более точных сведений пока получить не

удалось, но такой малый, как Теренций, не пропадет, он для этого слишком ничтожен; о таком ничтожестве боги не заботятся, а Варрон слишком уверен в своей звезде, чтобы хоть на минуту допустить возможность гибели «твари». Несомненно, наш Теренций, поскитавшись по свету, очутится целым и невредимым при дворе Великого царя. Хорошо будет, если Варрон сможет его там встретить и взять под более строгую опеку.

Да, бегство Нерона, нагнавшее панику на всех его приверженцев, Варрона лишь подстегнуло. Он немедленно принялся за сборы, готовясь переселиться ко двору Великого царя. Он не хотел только, чтобы его отъезд из Эдессы мог быть истолкован как бегство. Потому он явился к царю Маллуку, желая перед тем, как покинуть Эдессу, поговорить с ним спокойно и начистоту.

Это было смело. Как бы-оптимистически ни смотрел Варрон на все свое предприятие в целом, он все же видел, какие опасности сулит тот или иной его этап. Возможно, что царь Маллук захочет задержать его как объект для обмена при переговорах с Римом. Но на этот риск Варрон должен был пойти. Он не мог появиться при дворе Артабана как беглец. Нужно, чтобы в Эдессе после его отъезда все было ясно.

И вот они снова сидят втроем — Маллук, Шарбиль, он — в покое с журчащим фонтаном. Говорят, как полагается, о вещах безразличных, и ни Варрон, ни они не упоминают о том, что их больше всего тревожит, — о бегстве Нерона. Наконец, выждав сколько положено, Варрон начал:

— Я прошу моего двоюродного брата и могучего царя дать мне отпуск. То, что император удалился, заставляет также и меня покинуть на некоторое время Эдессу.

Последовало долгое молчание. Шарбиль смотрел на царя, ждал, пока тот заговорит. Царь наконец сказал, и ответ его прозвучал скорее печально, чем иронически:

— Ты называешь это — «удалиться», брат мой?

А Шарбиль прибавил высоким, злым старческим голосом:

— Нам было бы более по душе, чтобы он «удалился» не так скоропалительно и чтобы мы, так долго предоставлявшие императору охрану и гостеприимство, заблаговременно были оповещены о его намерениях. Нам следует позаботиться о том, чтобы в будущем нас не застигли врасплох внезапные решения западных людей.

И хитрая высохшая голова Шарбиля грозно придвинулась к Варрону.

Варрон не подался назад.

— Значит ли это, — спросил он, — что вы хотите меня задержать? — Он медленно перевел взгляд на царя.

Тот грустно и с едва уловимой насмешкой ответил:

— Ты ошибаешься, западный человек и гость мой.

И Шарбиль, которому явно хотелось услышать другие слова, вынужден был пояснить:

— Ты плохо знаешь могучего царя. То, что я тебе сказал, не означает, что мы хотим задержать тебя. Наоборот, да будет это извинением, что мы недостаточно противимся желанию нашего гостя покинуть нас. Ибо я не хочу скрывать от тебя: мы даже до некоторой степени рады твоему отъезду. После того как Нерон «удалился», как ты это называешь, могучему царю не легко было бы поручиться, что в будущем сон твой будет спокоен. Мы далеки от того, чтобы сравнивать тебя с такими мутными звездами, как Кнопс или Требоний. Но у толпы не столь уж острый глаз, все западные люди для нас на одно лицо. Никогда бы царь не прогнал тебя от своего очага; но так как ты сам выразил желание уйти, он не удерживает тебя.

— Нет, я не удерживаю тебя, — произнес тихо, серьезно, едва ли не грустно глубокий голос царя Маллука.

Варрону после слов Маллука стало ясно, что его затея с Нероном, с точки зрения властителей Эдессы, самым жалким образом провалилась и что они были бы правы, если бы силой задержали его, втянувшего их в эту авантюру. Они же отпускали его на все четыре стороны да еще просили у него извинения за то, что были недостаточно вежливы. Где еще можно было найти такое великодушие, как не здесь, на этом непостижимом Востоке? Варрон, обычно столь несентиментальный, сейчас был тронут и поклонился глубоко и благодарно, скрестив по восточному обычаю на груди руки.

После долгого молчания Шарбиль начал снова:

— Куда же, о мой Варрон, ты пойдешь? Не много есть дорог, открытых для тебя.

— Так как мой император Нерон держит путь к Великому царю Артабану, — ответил Варрон, — то и я считаю правильным направиться на Восток.

— А разве он держит путь туда? — насмешливо спросил верховный жрец; его желтый и сухой, как пергамент, лоб сморщился больше обычного, треугольная борода, крашенная черным, безжизненно свисала, обрамляя сухие губы и позолоченные зубы. А царь Маллук сказал:

— Ты поступаешь мудро, отправляясь на Восток. Для тебя, да и для меня, пожалуй, лучше, если император Домициан обратится с требованием выдать тебя к Артабану, а не к нам; ибо столица Великого царя расположена дальше от Антиохии, чем моя, и завеса, за которой он может спрятать тебя, гуще моей. Я предоставлю в твое распоряжение слуг и охрану, которые в целости доставят тебя ко двору Великого царя. Быть может, твоя дорога не так безопасна, как ты предполагаешь.

Слушая царя, Варрон испытал чувство, которого давно уже не знал, нечто вроде благоговения. Как величественно и достойно этот восточный царь прощался с ним, покидавшим город из холодного расчета. Люди Востока лучше римлян, человечнее, цивилизованнее. Варрон отступил на шаг и в упор взглянул на царя и жреца, на тихое лицо Маллука с кроткими глазами навывкате и горбатым мясистым носом, и на изрытое морщинами лицо Шарбиля, точно сросшееся с остроконечной шапкой священнослужителя.

— Я благодарю тебя, о мой брат и могучий царь,— сказал он искренне, сердечно,— и тебя, верховный жрец, что вы не сердитесь на меня за совет в деле Нерона.

Маллук посмотрел на него таким же прямым и открытым взглядом и сказал:

— Я не сержусь на тебя.

И почтительно, простирая обе руки с вытянутыми, повернутыми книзу ладонями, царь и Шарбиль поклонились своему гостю, западному человеку, который покидал их,— быть может, навсегда.

Варрон же, взяв ларец с документами и свою дочь Марцию, направился на юго-восток, ко двору царя Артабана.

11

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ

Дальше Ктесифона, западной столицы царства, парфянские власти Варрона не пустили; ему предложили дожидаться, пока Великий царь, после победоносного завершения войны, вернется в свою резиденцию.

И Варрон стал дожидаться. Он ходил от министра к министру, говорил о своем Нероне, показывал известное послание усопшего царя, великого Вологеза, в котором тот благодарил Варрона за умное содействие в деле окончания войны между Римом и парфянами. Министры, однако,

при всей своей вежливости далеко не так серьезно расценивали дело Варрона, как он на это рассчитывал. Только мало-помалу он понял, что его затея, если ее рассматривать отсюда, из Ктесифона, выглядит куда более ничтожной. Он привык к толчеё народов в Риме; но в Ктесифоне мир открывался гораздо шире, парфяне сносились с народами, имена которых Варрон даже не всегда знал или никогда не выговорил бы, если бы и знал. Послы скифов, аланов, даже послы Китая дожидались возможности предстать перед Великим царем и изложить ему свои просьбы. Варрон понял, что даже подлинный Рим не был для двора Артабана центром мира, не говоря уж об искусственном Риме Нерона. Порой он чувствовал себя весьма незначительной фигурой, провинциалом, и его планы, связанные с Ктесифоном, казались ему безнадежными.

Но когда царь прибыл, Варрон получил аудиенцию неожиданно быстро.

Церемониал соблюдался неукоснительно. Часть огромного тронного зала отделялась занавесом. Вдоль стен выстроена была царская гвардия, царедворцы стояли лицом к занавесу, образуя большой полукруг. Раздался голос:

— Его величество царь царей воссел на трон.

Занавес раздвинулся, Великий царь явился миру. Он восседал на золотом, сверкающем драгоценными камнями престоле, окруженный священнослужителями; рядом горел священный огонь. Тяжело и неподвижно лежали складки царского облачения. Корона, спускавшаяся с потолка на толстых шнурах, висела над головой царя. Лицо его больше чем наполовину скрывала огромная, искусно заплетенная борода, густо осыпанная золотой пудрой.

Сановники, когда голос возвестил, что царь воссел на трон, пали ниц, прикасаясь лбом к земле; опустился на колени и Варрон. Он передал свое прошение. Артабан милостиво велел прочесть его вслух и ответил, что обдумает его содержание. Занавес сдвинулся, и золотое видение восточного владыки скрылось раньше, чем Варрон услышал его голос. Аудиенция, по-видимому, окончилась.

Но это было не так. Варрон, разочарованный тем, что царь не сказал ему лично хотя бы несколько слов, был приятно поражен, когда ему сообщили: его величество даст ему тотчас же вторую, неофициальную аудиенцию.

Царедворцы и гвардия удалились. Варрон остался один в огромном зале.

Неожиданно из-за занавеса вышел небольшого роста человек. У него была круглая голова, его безбородое лицо,

оттененное очень черными волосами, казалось особенно белым. Только по облачению Варрон узнал царя.

А тот вместе с короной и бородой сбросил с себя церемонность и превратился в человека с приятными и обходительными манерами. Без долгих слов он перешел к делу, заговорил об «эксперименте», как он назвал затею Нерона. Его греческий язык хромал, ему приходилось часто искать подходящее слово, и все же он умел выразить все оттенки мысли. В неудаче «эксперимента» повинна была, по его мнению, ненадежность «ореола» Нерона.

— Этот «ореол», — пояснил он с легкой иронией, — иногда, по-видимому, перестает выполнять свое назначение. Мой главный маг, правда, утверждает, что это невозможно. Но он ошибается. Пример вашего Нерона доказывает, что он ошибается. Когда Нерон решился согласиться на ту кровавую ночь или бежать из Эдессы, несомненно, «ореол» бездействовал. Вам, мой Варрон, как опытному государственному мужу, надо было позаботиться о том, чтобы в те минуты, когда «ореол» изменял ему, Нерон не принимал никаких решений.

Варрону не очень-то приятно было слушать эти примечательные политические и теологические рассуждения; он чувствовал за ними скрытую насмешку человека, сознающего свое превосходство. С досадой увидел он, что царь, хоть и наблюдал события издалека, понял главную ошибку Варрона, которую сам он никак не хотел признать. Из-за мелочной личной ненависти к Требонию и Кнопсу он упустил из виду главное: перестал следить за «тварью», за всеми его шатаниями и побуждениями. В непонятном ослеплении он забыл о том, что, даже лишенный собственных мыслей и собственной индивидуальности, человек в ту самую минуту, когда его наделяют властью, приобретает сущность и содержание. Функция властвования меняет нутро носителя власти. Власть, кредит, слава наделяют индивидуальностью и лицом того, кого природа лишила этих свойств. Варрону следовало это знать, следовало сказать себе это раньше. Но он не знал этого или не хотел с этим считаться. Как бы ни были дружелюбны и мягки речи царя Артабана, его витиеватые богословские рассуждения — они показывают, что Артабан ясно понял ошибку Варрона и его непростительное упущение.

А он-то тщеславно и заносчиво думал, что здесь, при парфянском дворе, только и ждут его поучений! Этого царя собирався он наставлять, царя, который видел людей и политическую действительность куда более остро, чем

сам Варрон! Ему он намеревался «на многое открыть глаза», подать «несколько полезных советов»!

Но Варрон был, по крайней мере, человеком, который не упорствует в своих ошибках. Бессмысленно было бы прятать их за туманной болтовнёй, за глупыми оправданиями. И он честно, мужественно, не пытаясь обелить себя, признал:

— Вы правы, ваше величество. Ваши упреки попадают прямо в цель.

Артабану, видимо, понравилось это деловое признание. Он оставил неприятную тему и ласково спросил Варрона:

— Таа, мой милый Варрон, а теперь скажите, каковы, по-вашему, шансы Нерона в настоящий момент, после того как он смылся из Эдессы.

Он так и сказал «смылся», он употребил это простонародное слово, и в его с трудом построенной греческой фразе оно прозвучало особенно странно. Это «смылся» окончательно уничтожило Варрона. До какого идиотского положения довели его все эти ухищрения! Вот он сидит, самонадеянный, занесенный сюда случаем римлянин, и хочет что-то внушить прекрасно разбирающемуся во всем царю парфян: вашему царству угрожает серьезная опасность, если вы не пойдете на огромные материальные и человеческие жертвы, чтобы поддержать Нерона. Как сказать об этом? Это попросту глупо и совершенно безнадежно. Но — «здесь Родос, здесь прыгай».

Варрон превозмог себя и сказал Артабану кое-что из того, что подготовил и что было изложено в объемистых докладных записках, написанных для парфянского двора.

Нерон и его Рим, в противоположность Флавиям, по вполне понятным внешне- и внутривполитическим причинам, будут скрупулезно соблюдать договор о дружбе с парфянами. Нерон знает, что только в союзе с парфянами можно действительно отстоять цивилизацию от нашествия северных варваров.

Варрон говорил без всякого подъема, ему неприятно было произносить перед царем Артабаном такие дешевые фразы.

Артабан, впрочем, очень скоро прервал его болтовню вежливым, но очень решительным жестом.

— Мой милый Варрон, — сказал он, — все эти общие соображения мне известны. Но мне известно и другое: нет никаких резонов всаживать в ваше предприятие новые войска и деньги и после того, как ваш Нерон с его никудышным «ореолом» наделал столько глупостей. Если мне что-нибудь и неясно, то только одно: какие резоны могут

заставить меня и сейчас помогать вам в вашей затее? Об этом мне бы и хотелось услышать от вас, как от представителя Нерона.

Перед такой трезвой постановкой вопроса Варрон почувствовал себя школьником, не выучившим урока, и деликатность, с которой Великий царь указывал на его ошибку, не облегчала ему ответа. Здесь могли помочь только честность, деловитость. Сухо и без прикрас признал он, что после того, как по его небрежности цезарь сумел бежать, он отказался от своего первоначального мнения, будто власть Нерона можно распространить до самого Палатина. Но он полагает еще и сегодня, что вполне возможно спаять все мелкие царства между Тигром и Евфратом, прихватив вдобавок значительную территорию по ту сторону Евфрата, в одно большое буферное государство под властью императора, который с престижем имени «Нерон» соединяет сердечную преданность Великому царю Артабану.

— Да,— ответил Артабан,— совершенно так же и я смотрю на создавшееся положение. В лучшем случае я достиг бы усиления нашего влияния в Месопотамии. А это значит,— заключил он, вежливостью тона смягчая резкий вывод,— и вы сами это признаете, что, взяв на себя жертвы и риск, связанные с активной поддержкой вашего Нерона, я добьюсь выгоды, которая ни в каком разумном соотношении с огромными затратами на нее не находится.

Варрон не ответил. Что можно было ответить на это заключение? Оно правильно. Он проиграл игру. Он конченный человек.

— Значит, мне надо вернуться в Эдессу? — спросил он, и его померкшее лицо разительнo не соответствовало спокойствию этого логического вывода.

— Не разыгрывайте предо мной героя,— почти с досадой ответил царь.— Вы ведь отлично знаете, что для вас вернуться в Эдессу — значит быть выданным Риму и погибнуть. Само собой разумеется, что мне приятно иметь при своем дворе человека, который заслужил благодарность моего великого предшественника Вологеза и который признал меня, когда я был еще слаб и ничтожен. Вы и ваш Нерон для меня — желанные гости. Но, к сожалению, я должен заранее ограничить мое гостеприимство. Если оно будет грозить миру моего государства, я вынужден буду его нарушить.

— А разве такая возможность мыслима? — оторопело спросил Варрон.

— Да, и даже весьма,— серьезно ответил Артабан.— Если Домициан будет умен, он предложит мне выгодные торговые договоры и не станет сопротивляться разумному разрешению военных вопросов в Междуречье. Если он при этом поставит условием, чтобы я отступился от вас и вашего Нерона, я не сочту себя вправе это условие отклонить. Нельзя ради благополучия одного лица ставить под угрозу мир двухсот миллионов. Такой человек, как Луций Теренций Варрон, должен это понять.

Да, Варрон это понимал. Рассуждения Великого царя были так же прямолинейны и ясны, как неровен его греческий язык. И все же этот умный, порядочный и гуманный царь, по мнению Варрона, предъявлял к его разуму слишком высокие требования. Он не только хотел выдать Варрона, он хотел, чтобы Варрон сам признал необходимость этого.

Перед молчаливой Марцией Варрон пытался разобраться в своих впечатлениях.

— Мне остается,— сказал он, печально и иронически улыбаясь,— одна надежда: что Дергунчик наделает глупостей и вынудит тем самым Артабана снова вступить за дело нашего Нерона. Но, к сожалению, я сам многому научил Дергунчика и выбил из него охоту делать глупости.

И Варрон оглянувшись на прошлое, вспомнил, как он затевал свое дело, свой «эксперимент», и осудил себя за то, что мерил все западной мерой, позабыв о Востоке. Он, например, всегда считал себя дальновиднее всех, на самом же деле он с истинно римской ограниченностью не умел взглянуть за пределы империи. В сущности, он проявил себя таким же националистом, как и все прочие, надменным и уверенным в том, что Рим осчастливит мир, если займется его устройством. Теперь, слишком поздно, он понял, как велик мир и как мал Рим.

И вот уже в этом неисправимом жизнелюбце вновь воскресает радость созерцания, радость игры.

— Сколько ни старайся, всего никогда не познаешь,— заключил он.— Я проучил Дергунчика, теперь он учит меня. Когда мы высылали из Рима писателей, вроде Музония или Диона из Прусы, слово «ссылка» было для меня пустым звуком. А теперь, став по воле Дергунчика эмигрантом, я начинаю понимать, что центр мира находится вовсе не там, где ты родился, что в мире столько же центров, сколько людей.

Нерон-Теренций — один из этих центров мира — между тем уходил все дальше и дальше. Он тронулся в путь еще в ночь встречи с Иоанном и уже углубился далеко в степь. Днем он прятался, следующей ночью шел опять, все время на юго-восток, и третью ночь тоже. Он был доволен, что остался один. Одиночество пустыни помогало ему восстанавливать весьма потрепанный «ореол». На третий день он сильно страдал от голода и жажды; но к этому времени его «ореол» полностью восстановился, так что Теренций чувствовал себя словно облеченным в броню. Он говорил себе, что только свет, излучаемый им, помешал неистовому Иоанну посягнуть на него и что судьба, конечно, не хочет его гибели. И действительно, на следующий день его, очень изнуренного, подобрала бедуины.

Это были угрюмые люди. Когда он сказал, что желает попасть ко двору Великого царя, они недоверчиво спросили, что ему там нужно, и, услышав в ответ вычурные и темные речи, решили, что это проходимец, беглый раб или что-либо в этом роде, и дали ему самую унижительную и тяжелую работу. Но он, в сознании могущества своего «ореола», не удостоил их даже возражений, попросту повернулся спиной, отошел на несколько шагов и присел на корточки. Они стали его бить, он продолжал упорствовать в протестующем молчании. В конце концов спокойствие и величие, с каким он сносил побои и унижения, сыпавшиеся на него, произвели впечатление на бедуинов. Правда, когда у него вырвалось признание, что он император Нерон, они лишь презрительно усмехнулись. Но втайне, сравнив его лицо с головой, вычеканенной на монетах, испугались, не совершили ли они большой оплошности. Они продали своего неудобного пленника соседнему племени.

Нерон воспринял это с полным равнодушием. Испытания, постигшие его, как раз и доказывали, что боги признают его притязания. Чтобы полностью почувствовать, что значит быть императором, чтобы до конца стать Нероном, он должен испытать и падение Нерона,—не только его возвышение и блеск. И поэтому все то зло, что обрушилось на него, он принимал с такой же готовностью, как и благо. Без внутреннего протеста примирился он с тем, что и второе племя бедуинов обращалось с ним не лучше, чем первое. Но и на новых хозяев стало постепенно действовать его

молчаливое упорство, они склонялись к мысли, что это скорее безумец, чем мошенник, и так как душевнобольные одновременно считались у них и святыми, и достойными презрения, то они в одно и то же время и потешались над Теренцием, и почитали его. Непокойно им было с этим человеком, болтающим всякий диковинный и высокопарный вздор, и они рады были при случае развязаться с ним, точнее, они бросили его в пустыне.

Так началось долгое, мучительное странствование Нерона по пустыне. Много раз он был на грани полного истощения, но именно это тяжкое скитание завершило его окончательное превращение в Нерона. Он испивал чашу крайних лишений и унижения и утверждался в вере, что стал «до мозга костей» совершеннейшим представителем человечества — императором.

После многих тяжелых и смешных приключений он попал в подземный город Гому, расположенный в пустыне. В ту пору там находились одни женщины, дети и старики: мужчины выехали в ежегодный разбойничий набег. В Гоме Нерону неплохо жилось. И здесь несовершеннолетние и женщины не знали, считать ли его проходимцем, дурачком или попавшим в беду знатным господином. Но он им нравился. Этот человек, молчаливо сидящий в пещере, излучал царственное спокойствие, кротость и величие. Дети, женщины и старики собирались и разглядывали его с боязливым любопытством. Иногда, когда его очень просили, он начинал рассказывать. Он рассказывал великолепно, как лучшие сказочники. Жители города Гомы слушали своего удивительного гостя и охотно давали ему приют — пока вернутся мужчины и решат его дальнейшую судьбу.

Но еще до того, как вернулись мужчины, явились посланцы Великого царя. Решив пока что не отречься от Нерона, Артабан разослал своих лучших сыщиков и агентов, чтобы разыскать пропавшего без вести, и им удалось то, что не удалось людям Варрона, — они напали на след скрывшегося Теренция. И они явились сюда и, к большому удивлению города Гомы, бросились ниц перед чужестранцем и, касаясь лбом земли, приветствовали его как повелителя западного мира.

Самого Нерона несколько не поразило то, что посланцы Великого царя приветствуют его, распростершись в прахе. В одиночестве и в нужде покинул он Эдессу. В блеске и великолепии, окруженный императорской свитой, он вступит в Ктесифон. Так ему подобало, и ничего достойного удивления в этом не было. В мире царит порядок, и все, что

с Нероном произошло, полно сокровенного смысла. Боги хотели, чтобы миру явился новый, до этой поры неизвестный Нерон, совершенный Нерон, и поэтому случилось то, что случилось. Теперь круг замкнут. Его душа, как полагается душе императора, защищена броней от искушающего блеска и от изнуряющих бедствий. Он в ладу со своей судьбой, он понял ее смысл, ничто более не может отнять у него уверенности.

Снисходительно и с величайшим спокойствием позволил он посланцам Артабана облачить себя в пышные одеяния и торжественно препроводить в Ктесифон. На всем длинном пути ему оказывались величайшие почести. Народ чувствовал лучи царственного величия, исходившие от этого человека, который, гордо замкнувшись в себе, со скучающим и важным видом следовал в Ктесифон. Люди без числа падали перед ним ниц, касаясь лбом земли, как перед самим Великим царем.

Даже Варрон поразился, увидев своего Нерона. После внутренних и внешних потрясений последних месяцев Нерон этот похудел, лицо его потеряло округлость, в рыжеватые волосы вплелись первые белые нити, а на губах часто витала мягкая, усталая, божественно гордая улыбка. Трудно было устоять перед этой улыбкой. Легким безумием веяло от этого человека, оно окружало его, как панцирь, сотканный из воздуха. Это не была прежняя «тварь», и Варрон стал сомневаться, удастся ли ему, при всем напряжении воли и призвав на помощь всю свою хитрость, опять приручить этого нового Теренция.

Нерон говорил меньше, медленнее, более мудро. Очень редко подносил смарагд к глазам. Он не был более любопытен; он видел все, что мог видеть человек, и ему незачем было особенно присматриваться, чтобы кого-нибудь или что-нибудь узнать. Гордость его не была такой злобной, неприступность приобрела оттенок благожелательности. Его, измерившего все высоты и глубины, ничто больше не удивляло, ничто не могло уязвить.

Теперь его несколько не пугала и встреча с Великим царем, от которой он прежде уклонялся, как от некоей угрозы.

Правда, когда он очутился в тронном зале, его «ореол» стал чуть-чуть меркнуть. Рельефный фриз с изображением подвигов древних персидских царей, украшавший стены зала, сделан был — этого Нерон не мог не признать в душе, — несмотря на огромные размеры, с таким изысканным, истинно царским вкусом, что ему ничего подобного не

приходилось до сих пор видеть. Но еще сильнее поразили его купол зала с гигантской мозаичной фигурой всадника Митры, поражающего злого демона. Очутившись под этим куполом, Нерон весь съежился и с грызущим чувством собственного ничтожества вспомнил о статуях Митры, которые были специальностью фабрики керамических изделий на Красной улице.

Затем началась та обстоятельная, великолепная церемония, предназначенная для того, чтобы каждому внушить мысль о неповторимости и божественности восточного властителя. Занавес раздвинулся, корона реяла, торжественно стояли священнослужители в золотых своих бородах, пламя «ореола» светилось, пали ниц сверкающие царедворцы. Нерону нелегко было остаться на ногах среди повалившихся наземь сановников, и в ушах у него словно издали зазвучала песенка:

Горшечнику место на улице Красной,
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

Но когда Артабан снизошел до него и собственными устами произнес несколько слов в ответ на приветствие своего друга, западного императора, угасло все ослепительное великолепие, перед которым даже Нерону пришлось опустить глаза. Нет, человек с таким будничным, негибким, сухим голосом лишен величия. С чувством глубокого удовлетворения увидел Нерон, что на этой земле он был единственным, кто обладал подлинным «ореолом».

13

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — ФУНДАМЕНТ ГОСУДАРСТВА

Цейоний сиял. Теренций и Варрон бежали, Филипп и Маллук «готовы были начать переговоры», это значило, что они в туманных, цветистых выражениях заявляли о своем решении сдаться. Оставался, правда, еще победитель Артабан. Но Цейоний превозмог себя, он намерен был отменить свое прежнее решение и признать Артабана. Опираясь на свое боеспособное войско, Цейоний надеялся за это признание выжать из Великого царя побольше, и прежде всего добиться выдачи Варрона и Теренция. Его радовала возможность выкурить этих молодчи-

ков из их последней норы. Но он подавил свое нетерпение, чтобы предварительно по возможности укрепить позиции. Лишь тогда он начнет переговоры с Артабаном, когда тот будет знать, что Цейоний облечен полномочиями в случае необходимости выступить против парфян. Со счастливым, мальчишеским нетерпением ждал он депеши из Рима.

Депеша была иного содержания, чем предполагал Цейоний. Правда, император Домициан предписывал ему держать армию в боевой готовности на случай похода в Месопотамию. Но дальше в депеше значилось: «Более никаких заданий мы для вас не предусмотрели. Мы приказываем вам: приведя армию в боевую готовность, передать знаки власти — секиры и розги — новому губернатору, которого мы назначим для управления нашей провинцией Сирией. После передачи знаков власти мы ждем вас в Рим».

Дергунчик в буквальном смысле слова лишился чувств. Был сверкающе-яркий весенний день, для него же свет померк. Если за последние несколько месяцев он помолодел на пять лет, то в эти несколько минут он постарел на десять. Безумные планы теснились в его голове. Он, сухой, добросовестный чиновник, подумал было — это длилось несколько мгновений, — не перейти ли и ему самому на сторону мятежников, Варрона и Нерона. Но, думая об этом, он уже знал, что все это пустой бред, и некоторое время сидел совершенно опустошенный. «Вертись, юла». Новый повелитель поведет армию, его армию, которую он так великолепно вымуштровал, через Евфрат и с триумфом — обратно, в Антиохию. Он же, Цейоний, будет прозябать в Риме со своим ларем, задернутым покрывалом, стареющий, никчемный человек, и все, что останется от него на Востоке, — это веселые остроты и прозвище Дергунчик.

Жизнь Цейония потеряла смысл. Но он был добросовестный чиновник и по-прежнему исполнял свой долг и свои обязанности.

Уже спустя несколько недель прибыл новый губернатор. Это был Атилий Руф, молодой еще человек, с бесстрастным лицом, очень спокойный по характеру, с безупречными манерами. Деловито и холодно признал он заслуги Цейония в организации армии и попросил не торопиться с передачей знаков власти — фасций, пока сам Атилий Руф не войдет обстоятельно и без поспешности в дела управления.

Это были мучительные недели. Цейоний еще сидел в своем дворце, облеченный знаками власти. Но распоряже-

ния императора и сената посылались другому, более молодому, пока незаметному, но подлинному властителю, и весь свет знал, что Цейоний отставлен. Он оказался не на высоте положения, он был повинен во всей этой великой кутерьме, и ему на смену пришлось послать другого, который должен выправить то, что Цейоний искривил и испортил. Он же должен пока по-прежнему представлять, устраивать приемы, подписывать приказы.

Всей душой призывал он день, когда ступит на корабль, когда очутится в море и больше не будет видеть этих насмешливых восточных лиц. Но он был воспитан в духе стойков, он плотно сжимал губы и исполнял свой долг. Атилий Руф покровительственно сообщал в Рим, что они с Дергунчиком ладят; Дергунчик — добропорядочный чиновник.

Однажды все-таки добропорядочный чиновник неожиданно изменил своей так бережно хранимой корректности, — причем без видимой причины. Атилий Руф осведомился лишь, как лучше всего, не вызывая дипломатических осложнений, сообщить Варрону о решении сената. Цейоний покраснел и, с трудом сдерживаясь, спросил, можно ли ему знать, о чем идет речь. Конечно, ему можно знать, ответил Атилий Руф и рассказал, в чем дело. Сенат вынес решение по поводу жалобы Варрона на неправильно взысканный инспекционный налог. Сенат постановил: жалоба справедлива, двойное обложение доказано, казна обязана вернуть Варрону неправильно взысканные с него шесть тысяч сестерциев. В Риме придают большое значение тому, продолжал Атилий, чтобы Варрону вручены были по всей форме как это решение сената, так и обвинение в государственной измене.

И тут случилось невиданное. Цейоний, стойк, о котором рассказывали, что он не один удар судьбы принял с достойным удивления самообладанием, несколько раз глотнул воздух, провел, глубоко взволнованный, кончиками пальцев одной руки по ладони другой, и, когда Атилий, желая помочь ему справиться с волнением, заговорил о чем-то безразличном, Цейоний вдруг встал, выдал: «Извините!» — и бросился вон из комнаты.

Атилий Руф покачал головой. Значит, было какое-то зерно правды в разговорах о том, что Восток доводит до расстройства нервов и лишает рассудка даже самого трезвого чиновника.

Еще не успев принять знаки власти, Атилий Руф начал переговоры с Артабаном. Сомнения в законности притязаний Артабана, писал он ему, устранены его победой, явившей смертным волю богов, и Рим в принципе готов возобновить с Артабаном, как с признанным повелителем Парфянского царства, традиционный договор о дружбе. Предварительно, однако, необходимо ликвидировать разногласия, которые в последнее время возникли между обеими державами. Рим — признанием Пакора, Артабан — признанием самозванца Теренция нарушили взаимную дружбу. Новый губернатор надеется, что Артабан так же энергично постарается избавиться от-этого самозванца, как Рим от претендента Пакора. Он просит поэтому Великого царя отказать мошеннику в праве убежища, которым тот злоупотребил, и выдать его, а также бывшего сенатора Варрона, дружественному Риму.

Артабан ответил уклончиво. Он готов рассмотреть вопрос о выдаче Риму человека, которого многие признают законным императором, но пусть Рим сначала даст обязательство ни под каким видом не мстить дружественным Артабану князьям и властителям Месопотамии, которые, следуя его примеру, признали Нерона.

На основе этих посланий начался длительный торг. Руф Атилий заявил, что готов освободить от наказания месопотамских князей, но за это он требует полномочий на усиление римских гарнизонов в их княжествах. В ответ на это Артабан потребовал разрешения укрепить свои собственные стратегические позиции в Междуречье. Обе стороны знали, что ни одна из них не допустит срыва переговоров, каждая сторона всячески старалась обойти другую, ни одна не поддавалась на обман, и обе умели выжидать. Проходили недели за неделями, прежде чем договор принял окончательную форму.

Наконец все было готово, и оставалось лишь определить день для обмена грамотами.

Когда переговоры стали приближаться к концу, Артабан пригласил к себе Варрона. Варрон знал — царь предупредил его заранее, — что Артабан не пойдет на риск вызвать войну с Римом ради того, чтобы спасти Варрона и Нерона; Варрон знал, конечно, о переговорах с Римом и о том, что их завершение означает его выдачу. Поэтому

он был готов к худшему и принял для себя решение. Он любил жизнь и не очень заботился о сохранении «достоинства»; тем не менее, если договор будет подписан, ему не останется ничего другого, как проглотить золоченые пилюльки или вскрыть вены. Он понимал и одобрял позицию Великого царя; все же, переступая теперь порог покоя, где ждал его царь, он видел в нем лишь судью, палача, врага, и тяжкое ощущение дурноты подступило к горлу этого в общем не трусливого человека, а ноги у него подкашивались.

Царь с присущей ему деловитостью рассказал о ходе переговоров, протянул Варрону проект соглашения, попросил спокойно прочесть документ и сказать свое мнение о нем.

И Варрон стал читать — и увидел. Он увидел, что договор, который детально регулировал военные, политические и хозяйственные отношения между обоими государствами, составлен был людьми, убежденными, что соглашение предпочтительнее войны; они готовы были ради этого соглашения отдать больше, чем это было неизбежно, и выгадать меньше, чем они могли бы выгадать. Это был умный и достойный договор, дальновидный, не слишком прямолинейный и не слишком гибкий, на основе его между Римом и Парфянским царством можно было установить длительный мир. Конечно, в этом разумном договоре был также и пункт, гласивший, что Великий царь обязуется выдать римским властям Максима Теренция и Теренция Варрона.

Манускрипт договора был объемист, со многими приложениями. Варрон читал долго, царь молча сидел рядом и не мешал ему. Варрон брал листы, один за другим, его карие удлинненные глаза внимательно пробегали по строчкам слева направо, а затем быстро назад — справа налево, от строчки к строчке. Так сидел он в непринужденной позе, скрестив ноги, и читал. Он читал внимательно, не пропуская ни одной частности. Это удивляло его: ибо попутно он думал о многом. «Вот, значит, мой смертный приговор, — думал он, например. — Очень разумно обоснованный приговор, любая апелляция тут бессмысленна. Проглотить мне золоченые пилюльки или вскрыть вены? Сердце у меня бьется очень сильно. Замечает ли это царь? Надо попытаться дышать ровно и спокойно, чтобы ему не было слышно, как оно бьется. Какой смысл показывать ему, что я взволнован, это бы только повредило мне. А почему, в сущности, я изволнован? Ведь я все это предвидел».

Такие и подобные мысли мелькали у него в голове, но он умел владеть собой, и ему удалось ответить царю деловым тоном:

— Этот договор — самый умный из тех, которые когда-либо заключались между римлянами и парфянами.

— Да, — сказал Артабан, — было бы безумием и преступлением, если бы я сорвал его подписание.

— Верно. Это было бы безумием и преступлением.

Артабан взглянул на него своими выпуклыми, хитрыми, задумчивыми глазами и сказал:

— Вы нравитесь мне, Варрон, и в свое время вы немало сделали для установления мирных отношений между римлянами и парфянами. Мне очень не хотелось бы выдавать вас.

«Куда он клонит? — подумал Варрон. — Хочет подслать мне смертный приговор, что ли? Он не из тех, кто болтает зря. Лучше всего промолчать». И он ограничился тем, что пожал плечами.

Наступило короткое молчание. Затем Артабан медленно заговорил снова:

— Вы показывали мне какое-то послание, мой Варрон, в котором мой великий предшественник Вологез выражает вам благодарность за содействие в восстановлении мира между Римом и Парфянским царством. Мне хотелось бы присоединить это письмо к моему архиву. Я предлагаю вам сделку: вы предоставите мне это письмо, а я, прежде чем подписать договор, дам вам возможность покинуть мой двор и направиться на восточную окраину моего царства.

Варрон не был тугодумом. Но на этот раз, хотя он и слушал внимательно, он не понял или боялся понять; все в нем плясало — кровь, мысли, чувства. Наконец — царь молчал каких-нибудь две секунды, ему же показалось, что прошла вечность, — он понял. Он был уже, можно сказать, мертв, и вдруг пришел человек и сказал: «Встань и живи», — человек, обладавший властью говорить такие слова.

Обладает ли он этой властью? Не раздумает ли он? Не переменит ли свое решение? В душе Варрона поднимались то сомнения, то вера, как корма и нос корабля в бурю.

На этот раз ему не удалось заговорить спокойно; он сказал неуверенно, запинаясь:

— Простите, ваше величество, но я не вполне понял вас. Если я покину ваш двор и направлюсь на Восток, как вы милостиво мне предлагаете, разве это даст мне что-нибудь, кроме короткой отсрочки? — И он сделал робкую попытку пошутить: — Вы переоцениваете нас, западных

людей. Мы очень обстоятельны и очень мстительны. Я не думаю, чтобы Рим, если вы подпишете эту бумагу, оставил в покое вас и меня, покуда я буду видеть солнце.

С едва заметной улыбкой повелитель Востока ответил на своем плохом греческом языке:

— Вы ошибаетесь, мой Варрон. Я знаю вас, западных людей. Но вы не знаете моей восточной окраины. На границах моего царства, там, где начинается Индия, есть такие паломники и монахи: лишенные потребностей, они странствуют, избрав своей участью бродяжничество. У людей этих нет имени, они приходят и уходят, неотличимые друг от друга. Если вы станете одним из этих людей, вас никто никогда не выследит, даже искуснейший западный агент.

В Варроне все заходило ходуном. Он слышал о людях, о которых говорил Великий царь. Они были одеты в желтые, цвета охры, плащи, ходили босиком, в руках носили сделанные из скорлупы чужеземного плода большие чаши, в которые собирали подаяние. Еще не успело улечься в душе Варрона волнение от внезапного поворота его судьбы, еще весь он дрожал от ликования, повторяя: «Я не умру», — но уже вспыхнуло в нем отвращение к этой жизни бедняка и попрошайки. И тут же шевельнулось и любопытство: испробовать и такую жизнь! Разве не в этом заключался смысл этих последних недель, что ему дано было обогатиться новыми познаниями, что ему дано было увидеть мир из иного центра? Если его занесет теперь еще глубже на Восток, то это будет только логично. Он так долго жил в самом водовороте жизни, так долго «действовал»! Если судьба перебрасывает его теперь на другой берег, к «созерцающим», то у него нет основания жаловаться, он может быть только благодарен за это. Конечно, он и не помышляет покончить счеты с жизнью, как эти люди в желтом. Он не растворится в их массе, как человек, стоящий по ту сторону желаний и стремлений, он по-прежнему будет полон этих желаний и стремлений. Если так подойти к делу, то предстоящая ему жизнь вовсе не так мерзка, она даже соблазнительна. Стоять на другом берегу. Не по эту сторону — по ту. Не наверху — внизу. Ему это пойдет на пользу — стать одним из тех, кого он не знает, одним из массы, которую он всегда видел лишь сверху.

Артабан между тем продолжал:

— Среди этих бездомных вы встретите не только людей из низов. Наоборот, есть среди них и такие, которые до того, как они избрали — добровольно — бродяжничество, имели над головой прочную крышу, может быть, даже

золотую; там есть бывшие префекты, князья, полководцы, и наши предания говорят, что бывали среди них и цари.

В сердце Варрона, слушавшего царя Артабана, шевельнулось и другое чувство, даже не вылившееся в мысль. Он еще не стар, ему пришлось совершить на своем пути немало крутых поворотов. Жизнь на Востоке, которую предлагает Великий царь, не будет последним этапом. Несомненно, Варрон из «бродяжничества» снова вынырнет на поверхность, вернется в стан «действующих» и будет действовать в соответствии со своими наклонностями, шире и глубже познав мир, чем до сих пор.

Артабан же, так как Варрон молчал, неправильно истолковал его молчание и стал опасаться, как бы Варрон не принял каких-либо мрачных решений, которые могли бы лечь бременем на совесть царя. И тоном, которому он хотел придать легкость, но в котором на самом деле сквозила напряженность, он продолжал:

— Я слышал, да мне и самому приходилось быть свидетелем таких случаев, что римляне, оказавшись в вашем теперешнем положении, легко отказываются от жизни и избирают добровольную смерть. Я был бы огорчен и разочарован, если бы вы поступили подобным образом. Я плохо знаю, как представляет себе римлянин потусторонний мир. Что касается меня, то я в этом смысле настроен скептически и склонен опасаться, что ждет нас лишь черное ничто.

И как человек, который хочет отговорить собеседника от невыгодного дела и посоветовать ему нечто лучшее, Артабан стал убеждать Варрона, улыбаясь и слегка вздыхая, совсем не по-царски.

— Для меня было бы удобнее всего предоставить вам действовать в соответствии с учением ваших стоиков и позволить вам умереть. Но вы заслужили иного, и вы мне нравитесь. Будьте благоразумны, Варрон.

Варрон насторожился. До чего же это забавно! Царь не только предлагает ему возможность избежать смерти, но еще упрощает его этой возможностью воспользоваться. Разве не обернулось все, без малейшего нажима с его стороны, так, словно он сделает царю одолжение, если останется жить? Эта счастливая шутка капризной Фортуны развеселила и окрылила его. Но он старался скрыть свое состояние от царя, он хотел до конца насладиться создавшимся положением. И все вышло так, как он хотел. Артабан, помолчав немного, продолжал доверительным тоном, с чуть заметной лукавой улыбкой:

— Впрочем, и бродягой можно быть по-разному. Бродяжничают под покровом царского благоволения, бродяжничают и в то же время чуть-чуть греться в лучах «ореола» — это, например, сравнительно с другими, весьма удобный вид бродяжничества.

Варрону приходилось сдерживать себя, чтобы не закричать от счастья, не излить свою неистовую радость в ликующих возгласах, не бить себя в восторге по ляжкам. Он достиг того, что этот царь, повелитель всего Востока, не только настойчиво уговаривал его принять дар, но соби~~ра~~лся еще еретически облегчить ему благочестивый подвиг бродяжничества. К Варрону вернулась его всегдашняя самоуверенность, и он спросил с наигранной нерешительностью и так фамильярно, как вряд ли кто-либо осмеливался за несколько последних лет говорить с Великим царем:

— А есть разве средства осведомить власти вашего величества на крайнем Востоке о том, что на меня, как вы говорите, падают лучи вашего «ореола»?

И Артабан, довольный, что его собеседник, видимо, переменял решение, с живостью ответил:

— Разумеется, я поставлю в известность тех лиц моей пограничной провинции, от которых многое зависит, и дам им понять, что некий нищенствующий монах с Запада — не простой монах, но пользуется покровительством Великого царя.

И только теперь Варрон решился великодушно принять то, что за час до того казалось ему несбыточным счастьем, и он скромно, но тоном человека, исполняющего просьбу, проговорил:

— Я не смею противоречить желанию вашего величества.

Артабан же с той тихой, обаятельной вежливостью, которая спускала ему любовь народа, сказал сердечно:

Благодарю вас за то, что вы решились принять мое предложение. А мне всегда доставит радость взглянуть на письмо, с которым великий Вологез обратился к вам и которое вы мне оставили. Гостеприимство для меня — долг, вдвойне приятный по отношению к вам, и мне очень не хотелось нарушить его. Но скажите сами, Варрон: разве я мог бы, если бы вы вели себя менее разумно, соблюсти законы гостеприимства, которые в этом случае угрожали бы столь высокому делу, как сохранение мира?

И Варрон, внутренне ликуя, счастливый таким исходом, великодушно подтвердил:

— И на Западе и на Востоке может быть на этот счет одно лишь мнение: было бы преступно при таких условиях блюсти гостеприимство. Я восхищен милосердной мудростью вашего величества, нашедшей выход.

Царь не старался скрыть свое удовлетворение.

— Да,— весело заключил он,— это очень приятно, что мы все же изловчились и нашли способ, как соединить законы политической мудрости с законами гостеприимства.

Он сказал: «изловчились», и это простонародное выражение странно прозвучало в его с трудом построенной греческой фразе. Варрон же ласково и радостно рассмеялся; еще немного — и он похлопал бы царя по плечу.

15

ВАРРОН ИСЧЕЗАЕТ НА ВОСТОКЕ

На следующий день после беседы с царем Варрону доставлен был с нарочным приговор сената по поводу его жалобы на двойное обложение. Тот же нарочный одновременно принес ему запечатанный мешок с шестью тысячами сестерциев, шестьдесятю золотыми монетами. Варрона это послание развеселило до глубины души, он прочел приговор, распечатал мешок, набрал пригоршню золота, пропустил монеты между пальцами. Потом он спросил у нарочного, не возьмет ли тот письмо, чтобы на обратном пути через Антиохию доставить его Цейонию, и дал ему в награду мешок с шестьдесятю золотыми монетами.

И вот он пишет свое последнее письмо на Запад:

«Разве мы с вами, мой Цейоний, не поступили оба, несмотря на наши пятьдесят лет, как зеленые юнцы? Игра кончена. Это была глупая игра, мы оба проиграли. Выиграли другие.

Я исчезаю навсегда, милый Цейоний, и вы будете избавлены от человека, которому обязаны прозвищем Дергунчик. Но я солгал бы, впрочем, если бы сказал, что раскаиваюсь: да, и сейчас еще, готовый исчезнуть, я улыбаюсь, вспоминая вас и ваше прозвище.

Наша игра стоила мне дорого. В приложении к этому письму вы найдете точный подсчет, сколько именно. Вы увидите: это почти все, что у меня было. Я ничего не оставляю здесь, кроме моей дочери. В том состоянии, до которого я довел ее, Марция не столь уж приятная дама. Но Востока она никогда не любила, и я очень прошу вас, Цей-

оний, принять в ней участие и доставить ее в Италию. Сделав это, вы очень бы утешили меня. В конце концов, игра наша велась из-за этих шести тысяч сестерциев, и формально вы проиграли.

Я никогда не питал к вам ненависти, любезный Луций, и думаю, что в глубине души и вы сохраняли ко мне немного симпатии. Примите же последнюю улыбку и искренние пожелания от вашего Варрона.

К письму он приложил расписку на шесть тысяч сестерциев со счетом прибылей и убытков на оборотной стороне. Последней статьей в графе «Убыток» значилось: «Варрон исчез».

И он стал готовиться к уходу в бродяжничество.

В последний раз он открыл душу перед западным человеком — перед Марцией. Он сказал Марции, белолицей и прямой, что она будет пользоваться у Артабана добрым и верным покровительством. Если же она хочет вернуться на Запад, в Рим, она сможет сделать и это; деньги ей обеспечены, к ней, вероятно, явятся, ее позвуют и отвезут. Затем он передал ей ларец с документами — содержание всей его жизни.

— По всей видимости,— продолжал он,— игра моя окончательно проиграна. Повинен в этом бедный дурачок Теренций, который единственный раз в жизни захотел действовать самостоятельно и, конечно, натворил глупостей. Но я не сержусь на него, и, если тебе придется говорить с ним до того, как они доставят его в Антиохию, передай ему, что Варрон ему кланяется и желает легкой смерти. Если тебе кто-нибудь скажет, что я затеял все из-за ссоры с Дергунчиком, промолчи. Но я надеюсь, ты понимаешь, что это вздор. Я не такой уж идеалист, но если бы мной не руководила идея, я не стал бы действовать. Вольно и в то же время невольно я служил идее. Все равно: не я — другой явился бы и попытался восстановить царство Нерона. Если бы я не создал этого Нерона, другой создал бы другого Нерона: может быть, более корыстный творец создал бы еще худшую тварь.

— В сущности,— сказал в заключение этот неисправимо легкомысленный оптимист,— хотя исход дела не говорит в мою пользу, я действовал все же правильно и разумно. Идея устранения различий между Западом и Востоком выросла и окрепла во всем мире, и в этом есть и доля моей заслуги. Вполне логично, что я теперь окончательно растворяюсь в Востоке. Я не жалею об этом.

Марцию, молча слушавшую отца, охватил хаос мыслей и воспоминаний. То, что отец погружается в это нелепо пестрое море Востока, логически завершает его беспутную, необузданную жизнь. И ее бессмысленное одиночество — такая же логическая развязка ее жизни. Так должна кончить жизнь женщина, которая предназначена была стать сначала весталкой, потом супругой какого-нибудь претора, консула, губернатора и которая вместо этого провела краткие годы своей молодости среди полулюдей Востока и стала женой импотента, мошенника и раба. До этого пункта она мыслила еще четко. А дальше в мыслях и чувствах Марции начинался хаос: в запутанный клубок сплетались видения жизни и смерти, весталки и продажной девки, Нерона, Теренция и Фронтон, и все эти обрывки представлений, мыслей и чувств перемешивались с непристойными словами, которые Фронтон любил говорить в минуты страсти. Когда отец кончил говорить, Марция стала улыбаться своей странной, безумной улыбкой и что-то тихо напевать. Варрон смолк, а она все еще продолжала что-то мурлыкать. Варрону показалось, что на мотив песенки о горшечнице она пела свои, какие-то непонятные слова. Слова эти, монотонный напев и образ загадочно улыбающейся Марции — было то последнее, что Варрон унес с собой в бродяжничество.

Несколько дней спустя царь Артабан облачился в свое тяжелое сверкающее царское одеяние, нацепил золотую бороду, уселся за занавесом на трон, велел повесить над головой у себя корону и обменялся с послами римского губернатора грамотами, в которых изложены были условия продления договора о дружбе между его царством и Римской империей.

Цейоний, еще не дочитав до конца письмо Варрона, решил просьбу его исполнить. Но это легче было решить, чем сделать. Марция отказывалась ступить на корабль, если ей не разрешат взять с собой урну с прахом Фронтон. Урна же эта была установлена в Эдессе и свято чтилась. Царь Маллук не хотел выдавать прах гостя, которому он чем-то был обязан. Шарбилю пришлось многократно обращать внимание царя на то, как сильно тот компрометирует себя, не отдавая прах Фронтон; наконец Маллук уступил. И вот Цейоний и Марция сели на корабль, отплывавший в Рим, Атилий Руф хотел было из вежливости проводить на корабль эту необычную пару, но Цейоний поблагодарил и отказался.

Едва он прибыл в Рим, как император вызвал его на аудиенцию. Свидетелей на этой аудиенции не было, но известно, что молодой император любил зло поиздеваться над беззащитными партнерами. Надо полагать, что эта аудиенция была не из приятных для губернатора, у которого оказалась столь несчастливая рука. Те, кто видел Цейония, когда он вышел из рабочего кабинета императора, где пробыл очень долго, рассказывали, что он шатался, как пьяный.

О дальнейшей судьбе Луция Цейония, консула и генерал-губернатора императорской провинции Сирии, и Марции Теренции, супруги Теренция Максима, некоторое время называвшего себя Нерон Клавдий Цезарь Август, ничего не известно.

16

ЗАВИСТЬ БОГОВ

За всю жизнь у Нерона-Теренция не было лучшего времени, чем это его сорок пятое лето. Великий царь предоставил в его распоряжение прекрасный загородный дворец на берегу одного из каналов Евфрата, расположенный в часе езды от Ктесифона. К его услугам был также пышный двор — казначеи, виночерпии, стольники, слуги всякого рода, и Нерон затратил много труда, чтобы соединить воедино греко-римский придворный церемониал с парфянским.

То, что он потерял свое царство, угнетало его. Но вернуть ему царство — это было не его делом, об этом следовало позаботиться Варрону и Артабану. Если царство досталось ему, когда Артабан поглощен был тяжелыми боями с соперником своим Пакором, то вернуть его теперь, когда Артабан победил, было вдвое легче.

Правда, ему не хватало иногда прежних советников, но он быстро примирился с этим. Кнопис спасовал в ту ночь, когда они покинули Эдессу, а Требоний начал в нем сомневаться — это Нерон отлично чувствовал. Впрочем, и без них можно обойтись. Варрон в первое время пребывания Нерона под Ктесифоном изредка бывал у него, но в последние недели он не появлялся больше. Нерона это беспокоило, но он ни о чем не расспрашивал. В Эдессе он нуждался в услугах такого государственного мужа, как Варрон, здесь же, в Ктесифоне, ему служит более могуще-

ственная особа, сам Великий царь. Раз в месяц повелитель Востока и повелитель Запада обменивались официальными визитами.

В общем, Нерон был доволен, что его теперь вместо прежних советников посещает царедворец Вардан. Он бывает у него примерно раз в две недели и по поручению Великого царя кратко докладывает ему о положении дел. Нерон был ленив, когда дело касалось реальных вещей, и ему было приятно, что больше его вопросами политики не утруждали.

Это веселое и мирное лето принесло Нерону-Теренцию неожиданную радость. Его постоянно грызла досада, что греческое и арамейское *th* звучит у него недостаточно чисто. Десятки лет он добивался безупречного произношения этого проклятого звука, иногда он ему удавался, но чаще всего выходил не так, как следует, и никогда Нерон не владел им так же свободно, как всеми остальными звуками в обоих языках. Если могли возникнуть сомнения в его подлинности, то исключительно из-за этого неподатливого *th*. И вот наконец в это лето он овладел произношением. Надо было только приложить язык к зубам, и все получалось как надо, по всем правилам — этот сюсюкающий звук, нечто среднее между «т», «с» и «в». Теперь можно быть спокойным за те слова, которых он раньше старался избегать, — например, слова, означавшие по-гречески «море» или «смерть» — «*thalatta*» и «*thanatos*». «*Thalatta, thalatta*», — много раз повторял он, наслаждаясь звучанием слова. Десять тысяч воинов Ксенофонта, вернувшиеся из сердца Азии и увидевшие после полного опасностей пути родное море, восклицали, вероятно, с меньшим восторгом, чем он: «*Thalatta, thalatta!*»

Чудесное лето близилось к концу. И вот однажды царедворец Вардан в докладе своем сделал как бы мимоходом некое сообщение, способное нарушить покой императора. Римляне, сказал он, угрожают Великому царю Артабану войной, если он не перестанет навязывать им императора, которого они не желают. Царедворец Вардан долго думал, пока нашел эту формулировку, рассчитанную на то, что Нерон начнет расспрашивать о подробностях. Вардан намерен был в осторожных словах намекнуть Нерону, чтобы тот скрылся из Ктесифона. Артабан хотел оттянуть его выдачу и полагал, что, если Нерон скроется, ему удастся на некоторое время удержать римлян от решительных шагов. Человеческие отношения непостоянны. Очень скоро они могут сложиться так, что иметь под руками своего Нерона

окажется весьма кстати. Но царь не хотел нарушать буквы договора. Он строго-настрого наказал своему царедворцу, чтобы тот ни в коем случае не говорил о бегстве прямо. Наоборот, царедворцу Вардану предложено было выражаться туманно и деликатно, так, чтобы Нерон сам пришел к мысли о бегстве.

Вардан был для такого задания человеком подходящим. Он выбирал мягкие, туманные, почтительные выражения, но всякий, кто захотел бы проникнуть в тайный смысл этих слов, почувствовал бы, что положение становится угрожающим. Нерон понял, конечно, что Рим нажимает на Артабана и Артабан предлагает ему, Нерону, бежать. Но он не пожелал серьезно отнестись к этому. Пусть Артабан ломает себе голову над тем, как выйти из затруднительного положения. У Нерона одна лишь обязанность — излучать свой «ореол», остальное его не касается. Это была дерзость со стороны Великого царя — намекнуть на то, что Нерону надо исчезнуть. Нерон даже и не помышляет о том, чтобы доставить царю это удовольствие.

Он мирно уснул в эту ночь. Во сне ему было видение. С лугов подземного царства поднялась и стала приближаться человеческая фигура; резкая, решительная, шла она по призрачным, бледным, туманным лугам, и с умилением, с нетерпением, с любопытством и радостью всматривавшийся в нее Нерон узнал свою Гайю. Она заговорила с ним так, как говорила всегда.

— Не делай глупостей, идиот! — прикрикнула она на него своим въедливым голосом. — Стоит на минуту оставить тебя одного, и ты сейчас же натворишь дел! Но теперь хватит. Вставай, дурень, и чтобы духу твоего здесь не было! Время не ждет. Беги, улепетывай, — сказала она еще, как в свое время говорила ему в Риме и позже в Эдессе.

Говоря, она становилась все более призрачной; было странно и невероятно смешно смотреть, как эта крепкая, пышнотелая женщина истаивает в призрак, — но призрак толстый, дородный, с сочным и грубым, въедливым будничным голосом, повторяющим:

— Беги, улепетывай.

Ее речь тихо-тихо, нагло и угрожающе сопровождали звуки струнных инструментов и барабанов, и на самом деле Гайя говорила стихами:

Вещь докрутилась твоя,
Звезда закатилась твоя,
Будешь повешен!

Нерона не встревожило это видение, скорее развеселило. Она, значит, не превратилась в летучую мышь, а осталась прежней, славной Гайей, и худо ей не было оттого, что он послал ее в царство теней. Это обрадовало Нерона, и он не рассердился на Гайю за то, что она по-прежнему считает его маленьким человеком. Ума в подземном царстве, видно, людям не прибавляется. А предостережения Гайи его только рассмешили. Так мало было сделано из того, что боги определили ему совершить; бесчисленное количество произнесенных речей, неисполненных ролей, непостроенных зданий ждало своего воплощения. Боги ни за что не допустят, чтобы погиб человек, которого они предназначили для свершения столь великих дел. Слова его Гайи: «Беги, улепетывай», — были попросту смешны.

Песня о горшечнике, вернувшаяся вместе с Гайей, была не столь забавна. В последнее время это насекомое оставило его в покое, досадно, что оно вернулось. Он вступил с песней в жестокий спор, он издевался над ней: «Звезда закатилась твоя», — какая ерунда... Много лет назад ему тоже говорили, что, мол, поздно уж теперь учиться правильно произносить «тэту»; если ребенком этого не усвоить, то выговорить как следует этот звук никогда не удастся. Ну, и что же? Выучился он произносить этот звук или нет? И, злорадствуя, звучно, чисто и красиво он бросал в ночь: «Thanatos, thanatos».

На этот раз царедворец Вардан очень сократил промежуток между посещениями, он был у Нерона уже на следующее утро. Снова заговорил о войне, которой римляне угрожают его господину и царю, если тот будет упорствовать и по-прежнему признавать Нерона. Вардан говорил вежливо, почтительно, но настойчивей вчерашнего. Нерон же не слышал того, чего не хотел слышать.

Еще через несколько дней явился посланный Великого царя и торжественно пригласил Нерона во дворец Артабана, где царь в присутствии двора желал сообщить Нерону нечто важное.

Это встревожило Нерона больше, чем донесения царедворца Вардана и предостережения Гайи. Ему вдруг стала ясна игра Артабана. Угроза войны с Римом — это лишь предлог. На самом деле Великий царь просто хочет избавиться от него, опасаясь, как бы «ореол» Нерона не затмил его собственное жалкое парфянское величие. Возможно, что Артабан предложит ему переселиться в более отдаленную резиденцию, в Сузы или еще куда-нибудь; возможно, он собирается сократить его двор или даже спла-

вить его в один из своих дворцов на крайнем Востоке, где он будет окружен темнокожими вместо цивилизованных людей. Когда какой-нибудь царь начинает завидовать «орелу» другого, от него можно всего ожидать.

Нерон стал думать, как помешать Артабану осуществить свое намерение. Он нашел способ. Аудиенция произойдет в присутствии всего двора. Он произнесет перед всеми этими блестящими сановниками речь, которая заставит Артабана отказаться от своих низких планов, он напомним повелителю парфян в сдержанных и тем не менее неотразимых словах о долге гостеприимства.

Он тотчас же принялся за подготовку речи. Вернуть задумавшего злое дело царя на путь, предписываемый великим долгом гуманности. Это была трудная, но вдохновляющая задача, она по силам только Нерону. Он работал с увлечением. Писал, декламировал, отшлифовывал, делал заметки, исправлял. «Речь о гостеприимстве» становилась все совершенней. Если бы он сам решил устранить соперника и тот произнес бы такую речь, Нерон привлек бы его к себе на грудь, обнял бы и, растроганный, попросил бы у него прощения и дружбы. В уединении своего парка, в пустом парадном зале он репетировал речь. Речь становилась все округленней, звучней, значительней, трогательней и грозней. Он чувствовал что-то вроде благодарности Артабану за то, что тот дает ему повод произнести такую речь.

И вот он стоит в тронном зале Ктесифонского дворца, празднично-возбужденный, но все же нервничая больше обычного. Древние персидские цари на фризе, опоясавшем зал, всадник Митра на мозаичном куполе будут слушать сегодня его мастерскую речь.

Занавес распахнулся, корона реяла над головой Великого царя. Речь Артабана была короткой.

Снова возникли, сказал он, сомнения в подлинности мужа, воззавшего к его гостеприимству. Уже и раньше были поводы, которые давали пищу этим сомнениям. Боги не только допустили, чтобы муж, называвший себя Нероном, потерпел поражение, он, кроме того, бесславно удалился из Эдессы, своей резиденции. Эти аргументы, однако, были опровергнуты свидетельством Варрона, человека, который в свое время завоевал доверие и дружбу великого Вологеза. Теперь же Варрон исчез, быть может, удрученный тем, что не распознал личности мнимого Нерона, а вместе с Варроном исчезла и вера в подлинность этого Нерона. Западные люди заявляют решительно и единодушно, что они никогда не признают этого Нерона своим

императором, и даже грозят Великому царю войной, если он по-прежнему будет покровительствовать самозванцу. Все эти соображения вынуждают его препроводить человека, который называет себя Нероном, на границу своего царства. Дальнейшее он должен предоставить богам. Если этот человек действительно Нерон, боги явят тому доказательство.

Когда Нерон услышал первые слова Артабана, он обрадовался, что речь царя так суха и прозаична, — отличный фон для его собственного выступления. Но когда царь говорил, ему стало не по себе. То, что он приготовил, не есть ответ на доводы царя: его речь состоит лишь из рассуждений об этике, о гуманности. Это и был прежде всего вопрос гуманности — может ли царь отказать в защите ему, молящему о защите. Но Артабан, видимо, был глух к таким вещам. Он говорил исключительно о политике, об этой ничтожной политике, вопросы которой Нерон всегда предоставлял решать своим советникам, об этой низшего порядка дисциплине, которой царям не пристало обременять себя.

И вдруг — и сердце у Нерона замерло — ему пришло в голову: может быть, и в самом деле выдача его Риму всего лишь вопрос политики, может быть, Артабан живет в мире реальном, а он, Нерон, в мире грез. Он тотчас же отмахнулся от этой мысли. Нет, нет, этого не могло быть, это не так, не может быть, чтобы они говорили на разных языках. В конце концов, Артабан — царь по рождению, повелитель Востока, он обладает «ореолом» и не может не понять Нерона.

А если все-таки он не поймет его? Нет, Нерон не должен такими мыслями сбивать себя с толку. Поддавшись таким сомнениям, он может испортить свою речь. Он попросту не будет больше слушать того, что говорит Артабан, — всех этих «итак», «следовательно», «так как» и «потому что». Тут сплошная логика, противный, сухой рассудок, он же обратится прямо к сердцам собравшихся.

Он старался не слушать. Но против воли слух воспринимал слова Артабана, они проникали в мозг. Несколько реальных прозаических доводов ему все-таки следовало вплести в свою речь. Дион из Прусы, Квинтилиан — все они пользовались прозаическими тезисами, облекая их в пышные уборы риторики. Он досадовал, что не сделал этого. Стараясь не показать виду, он следил за лицами сановников. Царедворцы внимательно слушали речь царя, явно сочувствуя ему. Эти лица ему предстоит преобразить своей речью. Удастся ли ему?

Внезапно, точно озаренный молнией, он понял свое положение. Все эти царедворцы — сплошь недруги, а Великий царь Артабан — исконный его враг, и слова его — отравленные стрелы. Он же, Нерон, чистый и незлобивый, пришел в стан врагов, пришел без панциря, и теперь он погиб. Он сидел и внимательно слушал, но сердце его неистово билось и руки взмокли от пота.

Но тут царь кончил свою речь, слово было за Нероном.

«Я не знаю,— так строил он мысленно свою речь,— как мне обратиться к тебе, блистательный. Сказать ли мне: из праха смиренно возносится к тебе мой голос, о сын богов? Или я смею еще сказать: склони ко мне свой слух, о брат мой?»

Это было хорошее вступление, и он отлично отрепетировал смущенную улыбку, с которой следовало произнести эти первые фразы. В эффекте можно быть уверенным, нужно только сосредоточиться, и сейчас он начнет.

— Я не знаю,— произнес он. Но что это? Кто сказал эти слова? Неужели он? Из его ли горла выходит хриплый шепот, пропадающий в огромном тронном зале раньше, чем его услышит ближайший сосед? Он откашлялся, начал вторично, охваченный паническим страхом.

— Я не знаю,— сказал он. Но это было еще хуже, чем в первый раз, сплошное нечленораздельное урчание. Артабан затих на своем троне, слушая, вежливо ожидая. Царедворцы переглядывались, встревоженные.

В третий раз он начал:

— Я не знаю.— Ни одного внятного звука не было, одно безобразное кудахтанье.

Он стоял, как человек, вокруг которого рушится мир. В сердце и в голове звучала приготовленная несравненная речь. Он знал, что, если бы удалось произнести ее, все эти сумрачные, враждебные лица вокруг засветились бы, сердце этого холодного, занятого лишь политикой царя, сердца всех парфян устремились бы к нему, весь народ парфянский взялся бы за оружие, чтобы защитить его. За все сорок пять лет его жизни всего два раза голос изменил ему, и именно сегодняшний день, именно этот решающий час избрали боги, чтобы наказать его хрипотой и погубить его. В одно мгновение он из римского императора превратился в последнего, самого жалкого и смешного из смертных.

Он стоял, облаченный в царские одежды. Но под этими одеждами был бедный, преследуемый римскими властями, дрожащий за свою жизнь Теренций. И на лице человека на

троне, и на лицах священнослужителей и сановников он читал то, что жужжало у него в голове, словно надоедливое насекомое:

Горшечнику место на улице Красной,
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

17

ТРЕХГЛАВЫЙ ПЕС

Артабан снарядил поезд, который по его приказу доставил Нерона к границе, чрезвычайно пышно, точно ехал какой-нибудь князь, а не пленник в сопровождении конвоя. Граница, где он был передан римским властям, шла по небольшому холму, и отсюда, с предпоследней в его жизни высоты, пока римские чиновники писали акт, подтверждающий его передачу, он смотрел на расстилавшийся внизу Евфрат, который недавно еще был его рекой, и на город, который меньше чем год тому назад восторженно встречал его.

Губернатор Атилий Руф не был жесток, но он считал необходимым как можно глубже унижить Теренция, чтобы никому не могло прийти в голову: а не Нерон ли это все-таки? Поэтому с Теренция тотчас же и на глазах у всех сорвали пышные одежды, заковали его в кандалы по рукам и по ногам, провели в грязных отрепьях самой длинной дорогой по улицам города, который забрасывал его насмешками и грязью, провожал плевками, и бросили, наконец, в подвалы крепости.

В этот день Теренций был еще довольно представителен с виду, между пятнами грязи просвечивала еще блекло-розовая кожа. Широкое лицо пока оставалось гладким и более или менее тщательно выбритым, многочисленные тумачи и щипки еще не испортили аккуратно завитых и припомаженных лучшими маслами, зачесанных на лоб локонов. Все происшедшее повергло его прежде всего в безмерное изумление и испуг. Дыра, в которую его бросили, была сырая, темная, кишмя кишела крысами. И все же он уснул после этого полного волнений дня, и, несомненно, эту первую ночь в неволе он провел лучше той, когда убили Нерона, или той, когда он лежал в храме Тараты, или той, когда он очутился в доме Иоанна.

Наутро к нему присоединили второго пленника, также в отрепьях, оборванного, худого, в рубцах и кровоподте-

ках — Кнопса. Маллук наконец, после долгих переговоров, выдал его, но путь Кнопса до римской границы был менее приятен, чем путь Теренция. Конвоиры со злым умыслом близко подпускали толпу, и Кнопс прибыл на римскую границу в сильно растерзанном виде. Его держали на скудном пайке, он страдал от голода, были раны; все же он не был особенно подавлен. Еще до того, как его увезли из Эдессы, он достоверно узнал, что Иалта благополучно бежала из города. Правда, это было все, что ему удалось узнать. Иалте давно уже полагалось родить, но об этом он не получил известия. Самое важное, однако, то, что она успела скрыться от этой сволочи. Маленький Клавдий Кнопс, наверно, давно уже увидел свет, и живется ему наверняка неплохо. Папаша Горион знает, куда Кнопс рассовал свои деньги, а Горион не из тех людей, которые не сумеют эти деньги вызволить. Голода и холода его сыночек, конечно, не узнает, он будет защищен надежным золотым панцирем. Его маленький Клавдий Кнопс пойдет в него, он поднимется высоко, выше креста, который будет последней вершиной в жизни самого Кнопса; сын его наплодит новых Кнопсов, людей его породы, хитрых, изворотливых, способных строить на глупости других свое благополучие. Кнопс не был храбрцом, он трепетал от страха перед тем, что ему предстояло. Но сознание, что все совершенное им и все предстоящие страдания — все это для блага его маленького наследника и сына, следовательно — для цели благородной, придавало ему силы, поддерживало в нем живость и склонность к злым остроумиям, проворно слетающим с языка.

В полумраке подземелья он узнал своего бывшего господина и императора раньше, чем тот его. Он дотащился в своих цепях до Теренция, оглядел его, ощупал, насколько позволяли цепи, установил:

— Ну, Рыжебородый Малыш, с вами дело пока что не так плохо. На вас, видимо, кое-что осталось. С тела вы еще не очень спали. Но, боюсь, надолго вам свои приятные формы сохранить не удастся. Много вам еще предстоит всякой всячины. И в конце концов ваши объемистые тела вам дорого обойдутся. Привяжут ли вас к кресту или привьездят — жирному труднее висеть, чем тощему. Жирному больше достается. Правда, у жирного нервы крепче.

Кнопс ткнул Теренция в живот своими цепями. Он был страшно зол на этого человека, которому так неслыханно везло и который своим идиотским бегством погубил и себя, и своих товарищей.

Теренций не ответил. Он страдал, правда, от голода, но еще больше от отсутствия ванны и парикмахера. Однако «ореол» его не покинул. Он высоко взлетел после первого своего падения, из пещер подземного города в пустыне он был снова вознесен на прежнюю высоту, переживает он и это падение. Грубая реальность близкого конца, представшая перед ним в резких, пискливых словах Кнопса, тотчас же преобразилась в его сознании в нечто более возвышенное. Он видел себя пригвожденным к кресту, но он не был обычным авантюристом, он был героем трагедии, которого сама судьба избрала своим врагом. И речи Кнопса не могли уязвить его.

Еще через день в подземелье ввели третьего гостя. Но капитан Требоний вошел иначе, чем Кнопс, — он вошел незакованный, статный, чистый, упитанный и по-прежнему полный злобного юмора. Он держал в руках Эдесскую цитадель до последней минуты. В сущности, он должен был бы, когда его взяли в плен, броситься на меч. Но капитан Требоний считал, что он не раз доказал свою храбрость и что офицер должен быть героем, а не дураком стойком. Он и не помышлял о том, чтобы в угоду злому гению подохнуть раньше положенного срока. Ему приходилось видеть в своей жизни удивительнейшие капризы судьбы, сражения, когда казалось, все неизбежно шло к гибели — и вдруг чудесный оборот событий в последнюю минуту приносил спасение. Тот не настоящий солдат, кто не верит в свое счастье, без этой веры ни один солдат не пошел бы в бой.

В данную минуту, однако, он был здесь, в темнице, и коротал время, оглушительно хохоча над своими товарищами по несчастью. Они лежали в цепях, жалкие, униженные, он же, любимец армии, даже в неволе не потерял своей популярности, и обращение с ним было соответствующее. И правильно. Те двое, рабы, подонки, заслуживают, чтобы их вздернули на крест. Он же — свободнорожденный, у него, любимца армии, капитана Требония, есть свой дух-покровитель, и народ и армия попросту не потерпят, чтобы с ним расправились.

Сумерки подземелья наполнились громовыми раскатами его голоса, полнокровность капитана оживляла этот призрачный полумрак, его сильное дыхание, его запах побуждали близость потустороннего мира. Капитан гонял крыс и радушно, по-простецки, шутил со стражниками, переговариваясь с ними через стены. И потом снова, громко, фальшиво, жирным голосом пел песенку о горшечнике, в такт ударяя Нерона по плечу или по ляжкам или тыча его

в живот. Подобно всему народу, и он попался на приманку этого поддельного императора, и, как весь народ, он мстил теперь за свое легковерие разоблаченному и свергнутому.

И Кнопсу он старался отплатить за то, что столько времени вынужден был относиться к нему, как к равному. У Кнопса же от присутствия бывшего приятеля и собутыльника настроение поднялось. Хотя обращались с Требонием лучше, хотя Требоний мог безнаказанно дразнить и мучить его, Кнопс теперь даже больше, чем раньше, чувствовал свое превосходство. Куда этому чванливому дураку Требонию до него, он, Кнопс, видит вещи в их настоящем свете. Они оба погибли, он и Требоний. Но от Требония, когда его распнут, ничего не останется, а Кнопс будет жить в своем маленьком сыночке. Значит, чья взяла?

Разумеется, умнее было бы чувства эти скрыть. Но Требоний уж очень большой наглец. Кнопс должен сбить с него спесь. И вот однажды, когда Требоний со всей присущей ему наглостью взялся за него, Кнопс не вытерпел.

— Не заблуждайся, старина, — начал он язвительно. — Твою фельдмаршальскую тушу точно так же выбросят на свалку, как и мою канцелярскую, и одни и те же псы будут обгладывать наши кости. Но тогда-то и обнаружится, кто из нас был умнее, — ты, который советовал мне дожидаться сенаторских дочек, приготовленных нам в Риме, или я, который уже сделал моей Иалте сына. От тебя, капитан Требоний, ничего не останется. А я кое-что оставляю на земле: удачного сына, с крепким телом — от матери, хорошей головой — от отца и вдобавок с кучей золота.

Требоний сидел на своих нарах, слушал, соображал, ухмылялся. Он припомнил совершенно точно, что Кнопса арестовали, когда его Иалта еще не разрешилась от бремени. Требоний знал обычаи Востока, знал, что на Востоке престованных лишают всякой возможности общения с внешним миром. И поэтому, помолчав, он коварно, со злобной мягкостью спросил Кнопса, получил ли он хорошие вести о Иалте и об их отпрыске. Кнопс промолчал, Требоний сразу понял, что у Кнопса никаких сведений нет. И он развязно и нагло стал над ним издеваться.

— Да, да, наш Кнопс — это голова. Тебе, наверное, боги во сне открыли, что вылезло из чрева твоей Иалты? Или ты по яйцу можешь сказать, что из него вылупится — петух или курица? Разве тебе не сказали, что твоя Иалта ощенилась девчонкой, жалкой, маленькой крысой, такой же щуплой, как папаша?

Кнопс убеждал себя, что капитан просто-напросто нагло врет. И все-таки его слова попали в цель. Всякий раз, когда Кнопсу приходило в голову, что Иалта может родить ему девочку, он отгонял от себя эту мысль. Он раскаивался в своей слабости, в том, что заговорил с Требонием. Надо держать язык за зубами. Не показывать этому подлому псу, как он уязвлен. Но он не в силах был сдержать себя; робко, умоляюще прозвучал вопрос:

— Тебе что-нибудь точно известно, Требоний? Ты действительно что-нибудь знаешь? Скажи же, прошу тебя, Требоний.

Требоний злорадствовал. Он рассказывал стражникам о надеждах и опасениях Кнопса, и те день и ночь донимали заключенного солеными остротами насчет его потомства.

Теренций почти не замечал присутствия Кнопса и Требония. Когда его оставляли в покое, он сидел в своем углу, скорчившись, насколько позволяли цепи, и погружался в себя. Однажды, к удивлению Кнопса и Требония, он сказал очень вежливо:

— Вы оказали бы мне услугу, если бы не так шумели.

Он по-прежнему страдал от голода и еще больше от грязи; это, очевидно, входило в ту роль, которую определила ему судьба. Но уж безусловно не входила в эту роль тоска по Гайе, мучившая его день ото дня все сильнее. О, как он хотел бы, чтобы Гайя пришла к нему ночью, во сне, как он был бы благодарен ей за сердитые увещания и окрики! Он горевал по ней, призывал ее мысленно, чтобы она накормила, испекла бы его.

Проходили день за днем, не принося заключенным ничего нового. Наконец при свете факелов в камеру вошел человек, которому суждено было целиком заполнить собой последние дни заключенных, даже во сне не давая отдыха их слуху и зрению,— капитан Квадрат. На этого Квадрата губернатор Атилий, который хотел превратить закат Лже-Нерона в занятное зрелище для толпы, возложил казнь. Потому что капитан Квадрат славился своими забористыми шутками и слыл знатоком народной и солдатской души; его любили и армия и население, у него были все шансы стать преемником Требония.

Квадрат был невысокого роста, но широк в плечах и очень мускулист. Телом он был неимоверно волосат, на черепе же красовалась лысина, обведенная, словно венком, кустиками черных волос; причудливое впечатление производила эта голова с утиным носом, посаженная на короткую шею.

— Привет тебе, о всеблагой величайший император Нерон,— с такими словами капитан Квадрат предстал перед Теренцием.

Он сказал это бесцветным, флегматичным голосом, но при этом с такой силой шлепнул Теренция по задку, что тот со стоном отскочил. Кнопса и Требония капитан Квадрат приветствовал подобным же образом. По сравнению с его коварной, сухой веселостью шутки Кнопса были детской забавой, а Требоний рядом с благодушным соперником живо утратил свою бодрость.

Капитан Квадрат пожелал прежде всего получить представление, как он выразился, о физических возможностях своих «пансионеров», и с этой целью он заставил их проделывать солдатские упражнения. Кнопс живо повиновался, прыгал и приседал по команде Квадрата. Нерон же, в сознании своего «ореола», и Требоний, в сознании своей силы, не слушали команды и упорно оказывали пассивное сопротивление. Флегматичного Квадрата это радовало. У него были время и средства сломить это сопротивление. И он сломил их. Сначала — Теренция, потом — Требония. Кожа Нерона очень скоро потеряла свою гладкость, лицо заросло свалявшейся, бурой щетиной, и прозвище Рыжебородый Малыш теперь никак не подходило к нему. Требоний тоже быстро потерял свой мужественно-статный вид, и рыжие полоски, пушком покрывавшие его тело, приобрели грязный, блекло-желтый цвет. Вскоре все трое весили меньше, чем раньше двое из них.

Натешившись над заключенными в одиночку, капитан Квадрат принялся готовить зрелище для толпы, о котором говорил губернатор.

Однажды все трое выведены были во двор, где их ожидали люди с досками, рубанками и пилами.

— Вот, господин фельдмаршал,— сказал Квадрат,— ты и отпрыгал свое. Вы же, милейший секретарь,— обратился он к Кнопсу,— снова сможете показать свой не раз испытанный дар зажигать массы воодушевлением. А вы, ваше величество,— обратился капитан к Теренцию, и голос его был все так же раздражающе медлителен и сух,— будете, несомненно, мне благодарны. Вы получите особенно приятную возможность показать своему народу ваше искусство.

И люди принялись пилить и строгать, они изготовили деревянные шейные колодки на всех троих, так что затылки забитых в колодки почти соприкасались, лица же их смотрели в разные стороны. Затем все трое пленников были посажены в повозку, прикованы к ней, на шею им надели

колодки, тела их скрывала как бы коробка из дерева и гипса, над которой возвышалась лишь трехликая голова. Обшивка имела форму туловища сидящей собаки; стенки этой коробки долго и тщательно обивали и оклеивали собачьими шкурами, пока все вместе не приняло вида фантастического и в то же время реального гигантского трехголового пса.

На эту счастливую идею Квадрата натолкнули слова о трехглавом псе ада, как назвал Иоанн с Патмоса на процессе христиан триумвират Теренция, Требония и Кнопса.

Кто бы ни увидел этих троих людей, забитых в дощатую и гипсовую оболочку, всякий тотчас же понимал, что имелось здесь в виду. Стражники хлопали себя по ляжкам, весь город шумно радовался, бурно приветствуя капитана Квадрата, которому пришла в голову эта блестящая идея.

«Трехглавый пес ада» пропутешествовал на своей повозке по всей стране — император, его маршал и его канцлер. Капитан избрал не прямой путь, он возил свою телегу с востока на запад, с севера на юг, через всю провинцию. За двадцать лет, со времени пышного проезда армянского царя Тиридата, который в сопровождении многих царей Востока направлялся с визитом к римскому императору, Сирия не видела более интересного зрелища. Огромные толпы шли за повозкой, это была невероятная потеха, многие считали, что мало посмотреть на трехглавого один раз, и отправлялись за ним в соседнее или даже более дальнее селение.

Прибытие трехглавого превращалось повсюду в народный праздник. Города предоставляли свои стадионы, цирки, самые большие площади для этого зрелища. И действительно, было на что смотреть.

Трехглавый пес капитана Квадрата очень отличался от того, каким рисовал его себе Иоанн с Патмоса, — он был гораздо потешней и гораздо страшней. Три лица, которые смотрели с туловища пса на толпу, были старческими лицами, грязными, сморщенными, жалкими, заросшими щетиной, при этом настолько затравленными, злыми и озверелыми, что многие, хотя трехглавый был скован и окружен стражниками, не отваживались приблизиться; дети испуганно цеплялись за платье матерей, женщины падали в истерике.

Разумеется, тот, кто подходил близко, не жалел об этом. Можно было не только ощупать эти лица, подергать их за бороды или дать затрещину. Капитан Квадрат поза-

ботился о том, чтобы зрелище не надоедало своим однообразием. Он приказал просверлить в обшивке отверстия, и кто хотел, мог велеть трехглавому «дать лапку». И еще трехглавый должен был лаять, когда ему приказывали. Если он не повиновался, стражники пиками кололи его через отверстия.

— Гав-гав! — кричала толпа. — Полай, Рыжебородый Малыш! Полай, фельдмаршал! Дай лапку, водяных дел мастер. — Так называли Кнопса в память наводнения в Апамее.

Нерон почти все время молчал, его серые воспаленные глаза были по большей части закрыты, от него было мало толку. Самым потешным был капитан Требоний. Он обменивался крепкими словечками со своим соперником и тюремщиком Квадратом. Главной мишенью для его насмешек служили голос капитана и его утиный нос. Человек с таким трухлявым, сонным голосом, издевался Требоний, никогда в жизни не добьется настоящего авторитета у солдат, да и у баб тоже; ведь по голосу можно судить и еще кое о чем. Если вблизи находились дети, Требоний советовал им оседлать утиный нос Квадрата и покататься на нем верхом. Особенно возбуждался Требоний, когда ему, потехи ради, давали выпить. Тогда он принимался горланить, орал самым задорным и хорошеньким женщинам непристойности, предлагал переспать с трехглавым. Вокруг стояли визг и хохот.

Кнопс больше интересовался детьми. Он оглядывал их своими быстрыми глазками, очень пристально, главным образом маленьких, и с такой жадной нежностью, что матери с испугом уносили их. Он, по-видимому, не сердился на детей, даже когда они его дразнили, дергали за бороду, щипали и колотили его по лицу своими маленькими ручонками. Только однажды, когда какая-то женщина поднесла к его лицу своего смуглого трехлетнего мальчугана, чтобы тот положил ему в рот пирожок, он неожиданно укусил ребенка за палец.

Долгие часы, почти по целым дням, торчали эти трое в своей уродливой и потешной оболочке из дерева и гипса, скованные друг с другом. Если они чуть-чуть опускали напряженно вытянутые головы, колодки впивались им в шею. Веревки, цепи, обшивка из досок и гипса вынуждали их к неподвижности и больно оттягивали назад голову, шею и плечи.

Для зрителей это была единая голова, поднимающаяся над собачьим туловищем. Но у головы этой было три лица,

в ней думали три мозга, и сидела она на трех телах. Три сообщника составляли одно целое с того самого мгновения, как они увидели друг друга, с этого мгновения они были и друзьями и недругами. Теперь же они были связаны тесней, чем кто-либо на свете, в постоянном соприкосновении, настолько сросшиеся, что каждый с содроганием ощущал естественные отправления остальных, и они стали друг другу невыносимы.

Один и тот же воздух вдыхали шесть ноздрей, одно и то же проходило перед взглядами шести глаз, один и тот же шум слышали их шесть ушей. Их мозг неизбежно думал об одном и том же. «Долго ли еще?» — думали они, и: «Когда наконец мы будем в Антиохии?», и: «Проклятые скоты!» Но наряду с этим у каждого были свои мысли: «О, мой сыночек», — думал Кнопс. «О, моя Гайя», — думал Требоний. «О, мой дух-покровитель и мое счастье», — думал Требоний.

Они лаяли и давали лапки, они проклинали мир и самих себя, они плакали в бессильной ярости и утешали себя, они ненавидели друг друга, скрежетали от ненависти зубами, и все же каждый из них чувствовал, что нет в мире существ более близких ему, чем те двое, с которыми его соединяют внутреннее родство, удача, взлет, преступление, падение и грядущая гибель.

Но все это они чувствовали лишь в первые дни. Затем впали в апатию и только уколами, тумаками и подзатыльниками можно было их на время вернуть к жизни.

Они перестали также любить и ненавидеть друг друга. Они ждали лишь ночных часов, когда их освобождали от цепей.

Много недель подряд длилось это странствие по Сирии. День за днем Нерона и его сообщников высмеивали, оплевывали, забрасывали грязью. Они уже не чувствовали этого. Они не видели злорадных и ненавидящих лиц в толпе, едва ли замечали они даже лицо капитана Квадрата. Они не слышали криков и визгов сотен зрителей, вряд ли даже доходил до их слуха их собственный лай. Единственное, что они иногда еще воспринимали своим сознанием, была мелодия песенки о горшечнице, эта простая и все же изысканная мелодия с ее короткими, наглыми, циничными паузами, и однажды даже сам немзыкальный капитан Требоний, когда ему скомандовали залаять, вместо этого машинально загорланил хриплым голосом: «И ты повиснешь».

И ОНИ СЛУЖИЛИ РАЗУМУ

В Антиохии всех троих подкормили, чтобы во время казни они не выглядели слишком жалкими. понадобилось две недели, пока они пришли в себя.

На рассвете дня казни их, по обычаю, выпороли в зале суда, потом подвергли публичному осмеянию. Нерона обули в императорские котурны, его лохмотья вымазали на том месте, где полагалось быть пурпурной полосе, кровью из его ран, на шею ему повесили доску с надписью «Клавдий Нерон Цезарь Август», вместо смарагда вставили в глаз кусок стекла, вместо короны надели на голову ночной горшок и в таком виде усадили на высокий стул. Кнопсу, о тоске которого по сыночку все знали, стражники втиснули в руки соломенную куклу и посадили его в ногах у Нерона. Требонию же прикрепили к голой груди жестяные бляхи, изображавшие все его знаки отличия, и тоже посадили — по другую сторону — в ногах у Нерона. Когда все было устроено, стражники стали кричать:

— Привет тебе, о всеблагой величайший император Нерон!

Они очень веселились.

Место, где распинали преступников, расположено было в северной части города, довольно далеко от зала суда; это был голый холм, служивший свалкой; назывался он Лисья гора. Их повели по богатейшей главной улице, с ее колоннадами. Улица была унижена народом; люди стояли на всех крышах и выступах домов, стремясь увидеть Нерона и его сообщников, поглядеть, как, истерзанные бичеванием и издевательствами, вымазанные кровью, они тащат на Лисью гору доски, предназначенные для поперечин их крестов.

Был ясный день начала октября, не знойный, но все трое жестоко страдали от жары и жажды. Хорошему ходу до Лисьей горы был добрый час пути; те же, кто должен был тащить на себе свои кресты, шли три часа. Кнопс упал еще в черте города, вслед за ним через короткое время упал Теренций; их подняли ударами и пинками и погнали дальше. Толпа вокруг ревела от восторга и пела песенку о горшечнике.

В этот час, когда «тварь» совершала свой последний путь, Варрон был под далекими восточными небесами. Было девять часов утра, но там, где он находился, солнце поднялось уже на полдень. Он присел отдохнуть на краю

пыльной дороги, в тени дерева, и принялся за еду. Обед его состоял из чашки риса с кусочками жесткой баранины. Он ел с апатитом. Он доволен был своей жизнью. Он увидел немало нового, и еще много нового ему предстояло изведать. Дорога, на краю которой он сидел, была оживленной, и он никуда не торопился. Он не спеша поел и долго еще не трогался с места. Прохожие говорили на чужом, трудном языке, он улавливал лишь обрывки слов и понимал из услышанного лишь малую часть. Все же звуки эти давали ему материал для размышлений. Его привыкший к методическому мышлению ум систематизировал слова, размещал их по категориям. Он думал о том, как непривычное звучание слова меняет и его смысл, и ни одна его мысль не возиращалась к прошлому в этот час, когда в Антиохии под его «экспериментом» подводилась итоговая черта.

Но если бы он и знал, если бы он и задумался над тем, что вот в эти минуты его Нерона распинают на кресте, он в крайнем случае с удовлетворением констатировал бы, что судьба заставляет менее ценного и менее виновного расплачиваться за проигрыш более ценного и более виновного человека и, следовательно, судьба эта в высшем смысле справедлива.

От этой иронии игрока был далек царь Филипп, вспоминавший в этот час о Теренции в своей Самосате и глубоко потрясенный. Он бродил по красивым комнатам библиотеки: его обуревали смятенные мысли и чувства... Ему не следовало поддаваться на уговоры Варрона. Он не рожден бунтарем. Он не знает, плохо или хорошо то, что произошло; кончилось все, во всяком случае, иначе, чем Филипп ожидал. Несмотря на усилия Артабана, губернатор Атилий Руф еще больше ограничил суверенитет Коммагены. Может быть, это и хорошо для Филиппа. Действовать — это низко, благо только в созерцании. В глубине души Филипп призывал день, когда грубый, рожденный для господства Рим окончательно лишит его короны и он сможет свободно отдаться своим мыслям и грезам, своим постройкам и книгам.

И царь Маллук думал в этот час о Теренции. Ему признание Нерона принесло больше пользы. Верховный жрец Шарбиль проявил себя в нелегких переговорах с Римом стойким и гибким государственным мужем, и Эдесса при активном содействии Артабана вышла из перестройки Месопотамии более сильной и независимой, чем прежде. Маллук слушал лепет фонтана и думал о том, какой прекрасный, умиротворяющий конец получила сказка о горшечнике, которого звездные боги на время сделали императором.

Эдесса расширяла свои владения, а этот Теренций окончил земное существование, не обременив совести царя нарушением святости гостеприимства.

Между тем Нерон и его сообщники продолжали свой нелегкий путь. У выхода из города, там, где начинался подъем на Лисью гору, стояли женщины и протягивали всем трем сосуды с болеутоляющим, наркотическим напитком. Тот, кто поил осужденных этим питьем, должен был по закону заявить о своем намерении и во всеуслышание назвать себя. Женщины же сказали:

— Этот напиток мы подаем вам от имени Марции, дочери Теренция Варрона.

Наконец они взошли на Лисью гору. По всему склону холма, от подножия до вершины, голова к голове, стояла густая толпа. Капитан Квадрат долго думал, пригвоздить ли троих к крестам или привязать. Если пригвоздить, то мученья будут сильнее, но короче: заражение крови ускорило смерть. Если же человека привязывали к кресту, то случалось, что он жил и два и три дня. Квадрат решил в конце концов привязать своих «пансионеров». Солдаты сорвали отрепья, прикрывавшие их тела, привязали их раскинутые руки к поперечинам, а доски прибили к вертикальному столбу. Жадно вытягивали шеи тысячи людей, с щекоцущим чувством, боясь что-либо упустить; они разразились оглушительными криками, когда наконец Нерон, его канцлер и его фельдмаршал аккуратно повисли на своих крестах, как предсказывала песенка о горшечнике. Солдаты же, по обычаю, разыграли в кости платье осужденных, и многие из толпы обступили выигравших, чтобы выторговать остатки одежды Нерона, — одни из страсти к коллекционированию, другие — потехи ради или из суеверия, а может быть, и из чувства благоговения: вдруг распятый и в самом деле был императором Нероном — кто мог знать?

И вот все трое висят. С Лисей горы открывался красивый вид. Распятые видели у своих ног реку Оронт с ее островами, многочисленные дворцы, портики, памятники, виллы и сады прекрасной Антиохии, в которую они еще так недавно надеялись вступить триумфаторами. Теперь только Требоний вспоминал об этой надежде; он и на кресте не потерял ее. Между тем как Нерон и Кнопс едва реагировали на насмешки, которыми осыпали их солдаты и толпа, Требоний не давал спуска своему сопернику, капитану Квадрату, обмениваясь с ним солеными ругательствами. Требоний был наделен могучей волей к жизни, он попросту

не хотел верить, что должен умереть. Он считал хорошим знаком, что его привязали, а не пригвоздили ко кресту: выходит, жить ему остается дольше. Насмешливая надпись, которую они прикрепили к его столбу — «фельдмаршал Требоний», — его не задевала: он еще оправдывает эту надпись; а жестяные медали, которые они пришили ему на грудь, жгли и зудели меньше, когда он думал о том, что он и в третий раз заслужит Стенной венец. Нет, они его не одолеют. Вися на кресте, он вытягивал шею и устремлял взгляд к подножию Лисьей горы, высматривая, не спешит ли наконец вестник с приказом снять по требованию армии с креста любимого капитана.

Солнце поднялось. Наркотический напиток перестал действовать, и вскоре после того, как их повесили, все трое почувствовали оцепенение и судороги в теле, хорошо знакомые им со времени трехглавого пса. С невероятной быстротой росли их мучения. Первым закрыл глаза и уронил голову набок Нерон, затем — Кнопс, и последним — Требоний. Так висели они с белыми, пересохшими губами, отваливающимися челюстями, вымазанные кровью, бесчувственные. Мухи облепили беззащитных. Ноги посинели, все тело зудело невыносимо, мускулы сводило судорогами, разрывавшими нервы, мозг раскалывался. От жажды вспухли небо и язык. Время от времени они теряли сознание, но лишь ненадолго.

В толпе бились об заклад, кто из троих первым испустит дух и подохнут ли они еще до захода солнца. Большинство полагало, что Теренций и Кнопс не переживут и дни, не то что здоровяк Требоний. То тот, то другой из толпы то и дело пытались вызвать их на какую-нибудь реплику. Требоний еще иногда откликался, остальные же, к всеобщей досаде, оставались немые.

Солнце поднялось, и солнце стало спускаться, а трое висели, привязанные веревками, уронив набок головы с отвалившимися челюстями, становясь все недвижимее. Когда же солнце приблизилось к горизонту, по телам распятых вновь пробежал трепет, вновь затеплилась жизнь в их костенеющих телах. Опытный капитан Квадрат ожидал этого. Чтобы подбодрить их еще, он велел протянуть распятым падетую на длинный шест, пропитанную водой с вином губку. Солдаты подносили губку сначала ко рту, чтобы умирающие могли проглотить капли освежающей влаги, затем вытирали этой губкой лицо.

Нерон пососал губку, голова его дернулась. Эта голова объята была пламенем. Под действием живительной губки

он понял, что означает это пламя. Погибнуть в нем, сохраняя ясное сознание,— в этом состоял последний высокий долг императора.

Увидев, как жадно Теренций сосет влажную губку, солдаты отняли ее, поднесли снова, отняли опять. Для них это была забава, для Нерона же это было падением от восторга к муке — новым взлетом, новым падением. Он не должен забывать о своей задаче. Он должен пройти сквозь пламя, он должен проглотить солнце. Они хотят помешать ему, но он все-таки добьется своего. Солнце опустилось уже очень низко. Он уже проглотил большую часть его, как подобало Нерону. Если они еще раз поднесут ему губку, то ему хватит сил, он проглотит все солнце.

Но они не поднесли ему губки.

«Губку»,— хотел он сказать. И еще: «Я — император». Он открыл рот. Но слова выговорились другие, и он был доволен, что они другие: ибо эти другие слова он очень любил, это были его слова. Он думал, что произносит их очень громко, но стоявшие внизу ничего, кроме слабого стоны, не слышали. Надо было очень близко поднести ухо к губам Нерона, чтобы услышать эти слова. Но тогда можно было бы разобрать два слова, которые очень красиво выговаривал Нерон почти в экстазе. Это были слова «thanatos» и «thalatta» — греческие слова, обозначающие «смерть» и «море», и так как мечта и ее осуществление слились для него воедино, то, вероятно, и оба слова спаялись в одно понятие. «Thanatos» — вздыхал он, и — «thalatta» — и так хорошо выучил он заданный урок, что даже в предсмертные часы выговаривал звук th по всем правилам.

Столь же, сколь тих был Нерон, стал шумлив капитан Требоний, когда ему ко рту поднесли влажную губку. К общей радости, он сызнава во весь голос начал проклинать все и вся, он поносил зрителей, солдат, своих сообщников, висевших рядом на крестах. Стражники находили, что это настоящий парень, слава его в армии вполне им заслужена. Теперь уж наверняка можно сказать, что он продержится дольше всех, что он переживет ночь, и кто утверждает обратное, тот может отправляться восвояси, тот проиграл спор.

Больше всего досталось от Требония его сопернику Квадрату.

— Солдаты,— крикнул он стражникам,— если вам придется взбираться на стены осажденного города и этот Квадрат подаст вам команду своим ржавым, как старое мельничное колесо, голосом, вы же с места не сдвинетесь от холода, верно, а?

Квадрат отозвался своим обычным сухим, бесцветным голосом:

— Валяй, валяй, старина Требоний! Выпусти побольше желчи, прежде чем подохнуть, чтобы собакам не было горько, когда они на свалке будут жрать твои потроха!

Требоний напряг волю. С большим усилием он собрал всю слюну, какую мог насосать в своем высохшем рту, нацелился и со вкусом, метко плюнул Квадрату на самую середину лысины. Толпа взвыла от восторга, забила в ладоши. Даже солдаты смеялись, глядя, как Квадрат вытирает лысину. Квадрат сам был доволен, что Требоний оживил зрелище казни, он понимал шутки, даже если их отпустили на его счет.

Он не обозлился на Требония.

Среди общего веселья, однако, большая голова Требония неожиданно поникла, Требоний замолк, застыл в неподвижности.

Квадрат был разочарован. Неужели Требоний кончился? Капитан велел пощекотать Требония копьем. Требоний не шевелился. Он приказал переломать ему ноги; ничто не помогало — Требоний и в самом деле испустил дух. Популярный капитан, который так мощно, не зная никаких преград, шагал по земле, оказался слабее шуплого Кнопса и размазни Нерона и обманул тех, кто ставил на него в споре. Квадрат о смерти своего соперника сожалел по многим соображениям. Прежде всего Квадрат, несмотря ни на что, питал к нему товарищеские чувства и высоко ценил его, а кроме того, он надеялся получить от казни своего соперника больше удовольствия.

Наступила ночь. На небе светил лишь узкий серп луны, и тот был на закате. Капитан Квадрат приказал зажечь факелы. Его удручало, что Требоний обманул его ожидания. Может быть, удастся раззадорить Кнопса, чтобы он отпустил одно из своих знаменитых словечек. Он велел поднести еще раз ко рту Кнопса губку.

Но и Кнопс разочаровал его, и Кнопс замолк. Правда, в голове его еще копошились всякие мысли, но вряд ли мысли эти доставили бы удовольствие Квадрату и другим, если бы Кнопс даже высказал их во всеуслышание. «Уже ночь, — думал Кнопс, — а я все еще не умер. Просто гнусно, какая сила и цепкость в таком слабом теле. Но это и хорошо. Мой маленький Клавдий Кнопс будет сильным мужчиной. Где ты, сыночек мой, и существуешь ли ты вообще? Если бы я мог увидеть тебя, я тотчас же умер бы с миром».

И вдруг его охватила ненависть, гнев против Требония, который отнял у него твердую веру в существование сына и наследника. С невероятными усилиями он попытался повернуть облепленную мухами голову в ту сторону, где висел Требоний, чтобы излить на него свою ярость, свое негодование. Но его шейные мускулы были слишком слабы, язык, зубы и губы не повиновались ему, только землисто-зеленое лицо, поросшее страшной щетиной, несколько раз дрогнуло самым жалким образом.

Неужели это конец, неужели бессильный гнев против Требония — последняя вспышка его сознания? Внезапно ночь опасилась зовом, не громким, но очень ясным и внятным:

— Мир тебе, Кнопс. Умри с миром. У тебя родился сын, который будет помнить о тебе, здоровый, живой.

Лицо Кнопса больше не дрогнуло, и никто не знал, достиг ли этот голос его сознания: ибо, когда капитан Квадрат велел переломать ему ноги, оказалось, что и он мертв. Но если существовал в мире голос, который способен был проникнуть напоследок в его сердце и сознание, то это был только этот голос, звучный, хорошо поставленный голос Иоанна с Патмоса.

Да, Иоанн с Патмоса покинул Эдессу и прибыл в Антиохию, чтобы видеть смерть Теренция и его сообщников; и вон он сидит на вершине Лисьей горы, прямо на земле, и смотрит на кресты. Весь день он просидел здесь, он все слышал и все видел. Многие узнавали его и заговаривали с ним, но он никому не отвечал. Он молчал все эти долгие часы; только Кнопсу он крикнул несколько лживых утешительных слов.

Была ночь, и, так как споры насчет того, кто умрет первым, а кто последним, решились, большинство зрителей разошлось. Факелы угасали, луна закатилась. Квадрат и стражники расположились прямо на земле, бражничали, играли в кости и тупо смотрели, как умирает Теренций.

Иоанн, глядя, как бьется на кресте Теренций, как он призывает смерть, испытывал одновременно и радость и страдание. Стало холодно, Иоанн продрог; он плотнее завернулся в плащ, съежился, но не ушел. Он хотел видеть конец этого жалкого Теренция, он хотел впитать в себя картину его смерти, не упустив ничего. Он чувствовал, что это поможет ему постичь мучительный, глубочайший вопрос: откуда исходит страдание и зло и зачем существует оно в мире? Если он хочет доподлинно запечатлеть в словах

откровение, полученное им, благую весть, услышанную им, он должен неотступно смотреть на смерть этого Теренция.

Потому что и смерть этого жулика — часть вселенских страстей.

Не богохульство ли то, что он думает сейчас? Нет, все это тоже принадлежит откровению.

Ясно увидел Иоанн, что и он человек «Века пятой печати», проклятый и благословенный, обреченный жить и быть мертвецом в одно и то же время, и пятая печать, до сих пор закрытая для него, раскрылась ему. И эта жалкая обезьяна Нерона, — гласило откровение, — она также служила конечной победе разума, его возвышение, его падение и страсти также приближали царство добра.

Подобно тому как один человек должен испытать немало зла, чтобы стать воистину добрым, так и человечеству необходимо пройти через царство зла, чтобы подняться в царство добра. Без Сатаны, без Антихриста немислим Христос, без тысячелетнего царства греха, без кары за грехи не может осуществиться обетованное спасение. Поэтому и царство Нерона и его обезьяны неизбежно и полно смысла.

И открылся Иоанну смысл загадочного и жуткого завета иудейских учителей: «Да послужишь ты Господу и дурными твоими помыслами». Он постиг, что и дурной помысел существует лишь для того, чтобы помочь разуму и добру.

Те, что стояли за этим горемыкой Теренцием, хотели объединить обе половины мира ради своих низких, ничтожных целей. Но все, что осталось от них и от их жалкого орудия, — это идея объединения, не зло, но ожидание мессии. В конечном счете, если взглянуть с высоты, безумие одного служит лишь разуму, который движет времена.

Без тьмы не было бы понятия о свете. Для того чтобы свет осознал себя, он должен иметь перед собою свою противоположность — тьму.

В уме Иоанна складывались слова благой вести, которую он призван принести миру, он отыскал ее первые фразы: «В начале было Слово, Дух святой, Разум. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Теренций жил еще всю ночь. Только когда забрезжил рассвет, умер Максим Теренций, бывший для многих миллионов людей много лет подряд императором Нероном.

За известную плату разрешалось приобрести тела казненных и похоронить их. По некоторым источникам, труп Теренция был якобы выкуплен за установленную сумму у римских властей, снят с креста, обмыт и сожжен. Урна же отправлена в Рим.

Достоверно известно, что Клавдия Акте в своем поместье на Аппиевой дороге, в Риме, где стояла урна с прахом Нерона, установила вторую урну, которую хранила с почетом до конца своей жизни,— урну с прахом неизвестного, без надписи.

1

Сведения о Лже-Нероне можно найти у Тацита, Светония, Диона Кассия, Зонары и Ксифилина, а кроме того, в Апокалипсисе Иоанна и в четвертой из Сивиллиных книг.

ИЕФФАЙ И ЕГО ДОЧЬ

Роман

Перевод

Е. МИХЕЛЕВИЧ

JEFTA UND SEINE TOCHTER

Roman

1957

1

Я честно старался не смеяться над людскими делами, не жаловаться на них и не испытывать к ним отвращения: я старался их понять.

Спиноза

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Около трех сотен человек собрались, чтобы проводить в последний путь Галаада. Совсем не много для такого знаменитого военачальника и судьи. Правда, этот сильный человек, не доживший до шестидесяти лет, скончался удивительно быстро, и лишь немногие узнали о его недолгой болезни.

Утром, как только он умер, сыновья закрыли его глаза и подвязали подбородок; волосы они обрили, чтобы те не мешали отцу в его будущей жизни. Потом они согнули его ноги в коленях, чтобы ему удобно было сидеть, и завернули его в грубое полотно. И вот они вынесли отца на наскоро сколоченных носилках из дверей его дома в Массифе, спустились по склону холма, на котором раскинулся город, и вновь поднялись, направляясь к Овоту, месту захоронения усопших, чтобы впредь дух его жил там, в пещере, вместе с другими духами.

Полдень давно миновал, жара спала, подул легкий ветерок. Тем не менее похоронная процессия двигалась с трудом. Сыновья покойного и уважаемые люди рода несли носилки, сменяя друг друга. Каждый с готовностью выполнял свой долг и подставлял плечо, чтобы подхватить не слишком тяжелую ношу; и все же в их душах жил какой-то смутный протест, какой-то страх перед покойником.

Родственники и друзья разодрали на себе одежды, обрили волосы и посыпали головы пеплом. Так они шли по залитой солнцем ласковой земле, босые, с непокрытыми головами, сперва по узкой извилистой тропинке вниз с холма, потом по еще более узкой — вверх, на другой холм. Мужчины двигались молча, женщины же оглашали окрестности плачем и воплями; они тоже разодрали на себе одежды и посыпали пеплом распущенные волосы, они били себя в грудь и царапали ее ногтями.

В толпе женщин выделялась своей безутешной скорбью жена покойного, Зильпа. Это была статная женщина лет пятидесяти; однако волосы ее еще не поблекли, энергичное лицо с резко очерченным носом не тронули морщины, а горящие мрачным огнем глаза под низким и широким лбом излучали властность и силу. Обычно Зильпа, супруга первого человека в Галааде, держалась гордо и с достоинством. Но нынче она рвала на себе волосы и терзала ногтями грудь, а ее жалобные вопли, то переходящие в визг, то kloкочущие гортанной угрозой «Увы мне!» и «О горе!», заглушали стенания других женщин.

Она хотела оказать покойному достойные его почести, хотела показать, что он был великий человек. Он был не только главой семьи и рода, он был не только судьей Галаада: многие величали его «судьей в Израиле». И хотя кое-кто не признавал за ним этого звания, покойник его заслужил. Ибо в их земли то и дело вторгались полчища соседей из Моава, Аммона и земли Мадямской, они захватывали скот, опустошали возделанные поля, сжигали дома, убивали мужчин, насиловали женщин, уводили к себе в рабство детей и наводили ужас не только на колено Галаада, но и на весь Израиль к востоку от реки Иордан. Вот почему этот покойник, супруг Зильпы, много раз отбивавший набеги врагов на свою страну, поистине имел право называться судьей в Израиле.

Она оплакивала себя, оплакивала колено Галаад, оплакивала весь Израиль. И плакала столь же искренне, сколь громко. Но сквозь эту ее пронзительную скорбь помимо ее воли прорывались явные нотки облегчения и даже радости.

Любой покойник обладал огромной властью, поэтому нужно было заслужить его благосклонность, иначе он мог причинить много вреда. Покойник, еще не водворившийся в погребальную пещеру, был опасен вдвойне, поэтому ей и в голову не могло прийти вызвать гнев именно этого, любимого ею и могущественного покойника. И все-таки будет к лучшему, когда он окажется там, где его отцы, и будет лежать в пещере, вход в которую завален такими огромными камнями, что и могучему духу будет трудно выбраться наружу.

Судья Галаад доказал, что он искусный в военном деле и доблестный военачальник, что в эти времена было самым главным; другими своими обязанностями, обязанностями судьи, он занимался куда меньше. Поэтому ей, Зильпе, пришлось взять на себя эти заботы. Она следила, чтобы

повсюду строили дома и каменные загоны для скота, копали колодцы и канавы. Это она давала советы «длиннобородым» — старейшинам, когда они разбирали спор между соседями, и чувствовала себя истинной матерью своего рода. Судье Галааду все это очень нравилось. Правда, иногда в нем вдруг возникал гнев, и тогда он мог вспылить с такой бешеной силой, что второй раз к нему и подойти было боязно. Может быть, именно эта бешеная энергия и сделала из него столь славного воина. Навеки останется в Израиле память о той безумной храбрости, с которой он захватил в стане врагов и вернул на родину Ковчег Завета Господня. Так что к лучшему, что впредь его бурные вспышки не будут больше мешать мирным делам людей. Кто бы из ее сыновей или других уважаемых семейств в Галааде ни стал его преемником, он будет послушно следовать ее советам и наставлениям.

В сущности, странно, что Ягве именно ее супруга предпочел всем другим и благословил одерживать победы, ибо покойник отнюдь не был особо ревностным приверженцем Господа. Он сохранил жизнь кое-кому из плененных им врагов, попавших в немилость к Ягве, которых ему следовало бы убить. А к захваченным в плен женщинам и вовсе проявлял кощунственную мягкость. Никто не возражал, когда мужчины Израиля брали плененных девушек себе в наложницы; однако к наложницам следовало относиться как к служанкам, а вовсе не как к полноправным соплеменницам.

Слава и почет покойному, скорбь и плач о его уходе. Но когда Зильпа вспоминала о наложнице своего мужа аммонитянке Леване, в ее душе шевелилась какая-то слабенькая и смутная, но злобная радость оттого, что Галаад завернут в пелены и направляется в свой последний путь. Правда, аммонитянка Левана уже четыре года как умерла. Но всего лишь четыре года минуло с того дня, а до этого Галаад жил с ней целых двадцать три года. И все эти годы он оказывал этой Леване не меньшее внимание, чем ей, Зильпе, своей законной жене, происходившей из самого уважаемого рода в их колоне. И наверняка любил эту Левану больше, чем ее. Ему хотелось видеть вокруг только веселье, только смех и беззаботность. Он не понимал, что ей, Зильпе, приходилось быть строгой и твердой, волевой и взыскательной, чтобы не дать сбиться с пути семье, роду и всей стране, и он много раз уходил от нее к той, другой.

Зильпе было даже немного обидно, что та умерла. Эта Левана всегда держалась так, словно она — законная жена

Галаада, а теперь, когда можно было бы поставить ее на место, той не было в живых, и Зильпа уже не могла показать ей, что, несмотря на все ее наглые замашки, она осталась тем, чем была, когда ее сюда привезли: аммонитянкой, пленницей, рабыней, наложницей Галаада.

Но пока еще в живых оставался приплод Леваны, дочь и сын, этот ублюдок Иеффай, который для Галаада значил больше, чем три его законных сына.

И Зильпа вопила: «Увы мне!» и «О горе!» И стенала: «Умер Галаад, великий судья Израилев!» и «Сгинула его храбрость, его благословенная победоносная сила!» Так она вопила вслух, а сама невольно думала про себя: «Но сгинула и его страсть и слабость к чужой женщине, с ее строптивостью, идолами и всем ее приплодом. И теперь мы покончим с любимцем Галаада, этим ублюдком Иеффаем».

Мужчины молча двигались в похоронной процессии, в ушах у них звенели скорбные вопли женщин, а в голове копошились невеселые мысли. Покойный Галаад был хорошим судьей и великим главой их колена, он наголову разбил разбойничьи племена аммонитян и моавитян и вернул украденный ими Ковчег Завета. Правда, в своей богоугодной храбрости он иногда слишком безоглядно наступал, из-за чего многие полегли на поле брани, и теперь в земле Галаада беззвучно и безжизненно покоилось множество воинов, которым бы еще жить и жить на этой земле. Они недружелюбно примут судью в свой круг. И все же: увы, горе мне, что его больше нет. Галаадитяне не чувствовали себя в безопасности здесь, земли на восток от Иордана не имели четких границ, отовсюду из степей и пустынь могли ворваться враги, их отпугивало лишь имя могущественного военачальника Галаада. Где теперь найти того, кто смог бы заменить усопшего, внушил бы страх врагам и вселил покой в души израильтян?

Так, с пронзительными воплями и мрачными мыслями, продвигалась траурная процессия по узкой тропе, извиравшейся по плодородной долине в сторону холма Овот. Вот слева показался уже Ремет-Хабоним, «Холм мертвых детей», где под тяжеленными остроконечными камнями покоились в глиняных сосудах останки младенцев, которых прежние поколения, населявшие эту землю, принесли в жертву своим богам, чтобы заслужить их благоволение. В тягостном молчании миновала процессия этот холм. Будущее было неясно; почем знать, не потребует ли один из богов и от кого-то из них принести тяжкую жертву?

И вот они у цели. Огромные обломки скал скрывали вход в пещеру. С трудом отвалили мужчины тяжелые глыбы. Изнутри повеяло затхлостью, холодом и смрадом. Пещера была низкая и темная, каменный пол неровный. Согнувшись в три погибели, с большим трудом и осторожностью они понесли в глубь пещеры завернутый в пелены труп; уронить его значило накликать на себя беду. Ход разветвлялся, в стенах были высечены ниши, почти все они были уже заняты. Мужчины шепотом посоветовались, куда поместить Галаада. И нашли подходящее место. Теперь он сидел в ряду других. Мужчины постояли подле ниши, как полагалось по обряду. Им не терпелось поскорее выйти наружу. В пещере было жутко.

Они вышли, невольно ускоряя шаг. С наслаждением вдохнули чистый воздух. Вновь придвинули камни ко входу. Лишь в день поминальной трапезы, когда усопший получит свои дары, можно будет вновь наглухо завалить вход; до того дня он имел право беспрепятственно покидать погребальную пещеру.

Все отправились в обратный путь — спустились с холма Овот, потом поднялись по городскому холму и вернулись в Массифу. Всем им придется поститься до поминания, которое состоится только на следующий день или даже позже. И все-таки на душе у них полегчало: покойник присоединился к своим предкам.

2

Авиям, первосвященник Галаада, не участвовал в погребальной процессии; ему не полагалось приближаться к трупам, дабы не утратить свою чистоту. Но с крыши своего дома он провожал процессию взглядом. Город Массифа — «сторожевая вышка» — раскинулся на высоком холме, а дом первосвященника стоял на самой вершине холма. Авиям жил здесь как служитель Ягве, ибо дом этот принадлежал Богу; он назывался «шатер Ягве» — сохранил старинное название, которым именовалась обитель Бога в те времена, когда он сопровождал детей Израиля в их странствиях.

Итак, священник Авиям сидел на циновке на плоской крыше этого дома, глядел вослед процессии, провожавшей усопшего судью в погребальную пещеру, а в голове его теснились разные мысли.

Галаад был избранником Божиим; Ягве благословил его меч, даровал ему великие победы и поручил ему вернуть стране Ковчег Завета. Священник Авиям давным-давно уяснил себе Божию волю. Но все эти годы его мучил вопрос, почему Господь избрал для всего этого именно Галаада. Ибо главной своей задачи — объединить колена Израилевы под властью Ягве, — этой великой задачи истинного судьи покойник так и не понял.

Авиям сидел на своей циновке, закутавшись во множество покровов, старый, тощий и низкорослый. Но щуплое его тело венчала громадная голова; лицо его было худощаво, умные глаза пронзительно глядели из глубоких глазниц под густыми сросшимися бровями, крупный горбатый нос нависал над большим тонкогубым ртом. Авиям не был воином, он не смог выдержать одного-единственного похода, в котором дерзнул участвовать, и очень страдал от хилости своего тела — тяжкого порока в эти времена великих войн. Но если Ягве и обделил его здоровьем, он все же и вознаградил его, вдохнув в этот жалкий сосуд плоти сильную струю собственного дыхания. Иногда, принося очередную жертву, Авиям ощущал свое кровное родство с Богом, ощущал, как это родство всякий раз воссоздается через кровь жертвенного животного, и чувство это было настолько сильно, что он едва не терял сознание. Ягве подавал ему знак, говорил с ним.

Вот и сейчас, до времени призвав Галаада под землю, в погребальную пещеру, Господь подал ему, Авияму, знак. Он поручил ему найти другого, лучшего судью.

Ох как нужен был его народу такой судья и вождь! Уже седьмое поколение израильтян жило в этих землях на восток от Иордана, люди стали сытыми и ленивыми, разжирили от обилия молока и оливкового масла, от множества жареных баранов и позабыли о Боге. И хотя они по-прежнему признавали его своим Богом и приносили ему положенные жертвы, все же их Ягве уже не был тем могущественным богом, который защищал их в тяжкую непогоду и во время странствий по пустыне, не был он уже и грозным богом с горы Синай; он стал для них одним из многих богов, обитавших на окрестных холмах, уютным богом плодородия и сытной жизни. Мужчины Галаада позабыли о своем союзе с Ягве и о своем предназначении, они радовались богатству, вволю ели, пили и дружески общались с народами, раньше их здесь поселившимися, спокойно глядя, как те почитают своих чуждых и смешных идолов;

они смешивались с местными людьми и спали с их дочерьми.

И даже сам судья, покойный Галаад, был ничем не лучше их и вел себя таким же образом. И теперь в ушах Авияма все еще звучит веселый, сытый хохот, которым разразился Галаад, когда Авиям заклинал его порвать с аммонитянкой Леваной. С кощунственной самоуверенностью он отмахнулся от священника: «Успокойся, Авиям. Ягве не убудет от того, что я сплю с этой женщиной, ведь он и создал ее на радость мне».

Смерть Галаада возложила на Авияма еще одну задачу. Не столь важную, как назначение нового судьи, однако тоже довольно щекотливого свойства, требовавшую немедленного решения. Как поступить с богатыми земельными наделами в Маханаиме, которые Галаад подарил покойной аммонитянке и которыми ныне владели ее дети, ублюдок Иеффай и его сестра Казия?

У Авияма перехватило дыхание. Он вспомнил о собственных детях. Его дочь рано вышла замуж и умерла первыми родами; сын погиб в одном из военных походов Галаада, а вдова сына, родом из ефремлян, вместе с обоими детьми переехала на западные земли за Иорданом, на свою родину, где люди недоброжелательно относились к колону Галаад и его священнику.

Авиям прогнал мрачные мысли и вновь принялся соображать и рассчитывать. Галаад любил детей своей наложницы больше, чем детей Зильпы, Иеффай был его любимцем. Что ж, он был прав. Иеффай был парень что надо, полный сил и подкупающего жизнелюбия, привлекавшего к нему всех окружающих. Но он совершил возмутительный поступок. Можно было бы простить ему, что он был сыном наложницы-аммонитянки, но он и сам привел к себе в дом аммонитянку и взял ее в жены. Так что же — признать за ним все права на наследство? Никогда больше не подвернется столь удачный случай указать ему, где его место. Но, с другой стороны, этот Иеффай был человек, наделенный многими достоинствами, плоть от плоти и кровь от крови Галаада, а много ли таких найдется среди соплеменников? Разумно ли будет изничтожить его?

Священник почувствовал, что его знобит, несмотря на множество покровов, хотя было еще тепло. Он весь сжался, потом встал и потянулся. Чтобы лучше видеть, загородил высохшей ладонью глаза от солнца. Впился взглядом в тянущуюся внизу погребальную процессию, а то, чего не смогли разглядеть его глаза, дополнило воображение.

Он увидел семейство покойного, его жену и трех сыновей. Он увидел, как решительно вышагивает Зильпа вверх по холму, он хорошо ее знал и мгновенно догадался, чем заняты сейчас ее мысли. Она продумывала, как надо действовать, чтобы судьей в Галааде стал один из ее сыновей и с его помощью сохранить главенство в земле ее предков.

Наверное, несмотря на все, наилучшим выходом было бы помочь ей осуществить свой план. Наверное, ему следовало бы уговорить старейшин назначить Самегара судьей. Самегар, младший из сыновей Зильпы, был человеком созерцательным; люди называли его мечтателем. Он изучил знаки древнего письма и старался доискаться до смысла древних таблиц и свитков. И всегда искал совета и помощи у него, у Авияма. Став судьей, он по-прежнему будет послушно следовать его наставлениям.

Горячая волна стыда накатила на священника. Ведь, в сущности, он прикидывал, не сесть ли ему самому на место судьи в облике Самегара. Позорно столь позднее тщеславие.

Однако где найти достойного преемника Галааду?

Авиям пожал плечами и тяжело вздохнул; его живое, подвижное лицо выражало досаду, растерянность и уныние. Господь поручил ему назначить преемника Галаада, но словно в насмешку лишил его своего божественного наития.

3

В тот же вечер Авиям навестил семью усопшего.

Простой приземистый дом был полон людей. Здесь собрались дочери Галаада со своими мужьями, жены трех его сыновей и множество внуков. Все они лениво и вяло сидели на корточках либо слонялись без дела, кто во дворике, кто в пышущей жаром духоте комнат. Поскольку до поминальной трапезы все должны были соблюдать пост, они были голодны, а кроме того, еще и встревожены тем, что принесут им грядущие дни.

Зильпы и ее сыновей среди них не было. Священник обнаружил их на плоской крыше дома, обвеваемой вечерней прохладой. Он хотел обсудить с ними, когда следует быть поминанию — вопрос по некоторым причинам весьма щекотливый. Поэтому он начал говорить о другом, выжидая, кто из четверых первым заговорит о деле, ради

которого он пришел; кто это сделает, тот и претендует на роль главы семьи и дома.

Никто из сыновей не проявил такого желания. Старший из них, Гадиил, унаследовал от отца крепкую, немного грубоватую фигуру, широкое открытое лицо и шумливый вспыльчивый нрав. Однако не было у него той лучезарности, той порывистой горячей сердечности, которая привлекала к Галааду души мужчин и женщин. Гадиил показал себя хорошим воином, он не знал страха в бою и не избегал опасностей. Но он был скорее склонен исполнять чьи-то приказы, чем приказывать самому, и мысль, что ему, может быть, придется унаследовать должность отца, была ему неприятна; он не хотел взваливать на себя ответственность перед строгим и недоступным его пониманию богом Ягве.

Точно так же и среднего сына Галаада, Елека, отнюдь не прельщала возможность занять место отца. Он тоже унаследовал его коренастую фигуру, но она у него округлилась и расплылась, а мясистое лицо глядело на мир глазами спокойными, рассудительными и немного сонными. Он с ранних лет проявлял интерес к управлению богатыми владениями семейства — к глубокому удовлетворению матери, предоставлявшей его заботам все большую часть хозяйства. Он следил, чтобы содержались в порядке дома и поля, принадлежавшие семейству Галаада и разбросанные по всей стране, а также присматривал за виноградниками и оливковыми рощами, стадами, работниками и работницами, и под его началом владения семейства процветали. Он был рад, что теперь сможет еще больше заниматься этими делами, чем раньше; но других обязанностей брать на себя не хотел.

А уж Самегар, младший сын, медлительный созерцатель и мечтатель, и вовсе не желал быть главой рода.

Зильпа неодобрительно оглядела своих сыновей, из которых ни один и слова не проронил, и священник не без некоторого удовольствия понял, что в конце концов она сама займет главенствующее положение в доме.

— Думаю,— сказала она своим гортанным, решительным голосом,— мы устроим поминальную трапезу завтра, когда наступит вечерняя прохлада.

Решение ее было разумным и правильным, ни к чему было заставлять родственников поститься слишком долго. Но было и еще одно обстоятельство, на которое в этом доме, очевидно, хотели закрыть глаза: ведь жил на свете еще один сын Галаада, самый младший из наследников, и жил он далеко от Массифы.

— А ты подумала о том,— спросил Авиям,— что от Маханаима сюда путь не близкий? Иеффаю вряд ли удастся прибыть ко времени, которое ты предлагаешь.

Второй сын, Елек, склонен был поддержать мать, но с одной оговоркой. Ему бы очень хотелось округлить владения семьи жирной землей в Маханаиме, но сделать это надо было честь по чести, не вызывая злобной молвы, так что он предпочел бы видеть своего сводного брата Иеффая среди участников трапезы. Но пока он, как всегда неторопливо, обдумывал свой ответ, Зильпа успела возразить:

— Было бы несправедливо,— сказала она,— если бы мы все постились дольше, чем положено по обычаю, и покойник дольше, чем положено, ожидал, когда принесут дары, и все это ради ублюдка, рожденного аммонитянкой.

Напряженно взгляделись братья в лицо Авияма. А тот равнодушно, даже чуть ли не обрадованно, заметил:

— Сдается мне, усопший охотно подождет. Он очень любил своего сына Иеффая.

Тут уж Зильпа не сдержалась и не без обиды в голосе бросила:

— Да и ты, первосвященник, видимо, очень расположен к отпрыску аммонитянки.

На что тот спокойно возразил:

— Ты знаешь, что это не так. Но на твоем месте я бы не стал сердить покойного, Зильпа. Ведь тебе небезызвестно, как он привязан к Иеффаю, и радость его последней трапезы была бы испорчена, если бы на ней не было его младшего сына. Да и Ягве вряд ли благосклонно посмотрит на то, что сыну помешали оказать последние почести отцу.

Зильпа, нахмурившись, промолчала. А священник не без лукавства спросил:

— Вы ведь не известили Иеффая? — И, не получив ответа, закончил свою мысль: — Не корите себя за эту оплошность. Слухи распространяются быстро, а Иеффай молод, полон сил и легок на подъем. И уже через день может быть здесь.

— Слишком многого от нас требуешь,— злобно буркнул Гадиил.

Но Авиям парировал:

— Не я этого требую, а бог Ягве, а также уважение к памяти судьи Галаада.

И вновь Елек хотел поддержать священника, но оговорив права семьи на наследство. Однако опять его опередили. На этот раз слово взял мечтатель Самегар, младший сын Зильпы, и сказал смиренно и простодушно:

— Раз Ягве так решил, мы охотно подождем нашего брата Иеффая.

Мать бросила на него взгляд, пылавший скорее презрением, чем злобой, и все по ее лицу поняли, что она подумала: «Глупец!»

Но вслух она сказала с вызовом:

— Вот что я скажу тебе, священник: поспеет ли этот ублюдок на поминание или нет, ему от этого будет мало проку. Он не останется жить в том доме, где живет благодаря слепой любви престарелого отца.

— Так тому и быть, аминь,— гневно и убежденно подтвердил Гадиил.

Но Авиям сказал:

— Я его ни люблю, ни ненавижу. А ты, Зильпа, не позволяй ненависти ослепить тебя. И попридержи язык, хотя бы пока покойник не насытится последней трапезой.

4

Уже к вечеру следующего дня Иеффай явился в Массифу — раньше, чем можно было ожидать.

Он так торопился, что не успел обрить голову, как полагалось по обычаю для всех скорбящих по покойнику. К тому же приехал на белой ослице. Это был явный промах: право ездить на животных благородных пород имели лишь «адири́м», члены уважаемых семейств, а вот принадлежал ли он к их числу, представлялось сомнительным. Но еще большим промахом было проявлять такое высокомерие скорбящему. Несмотря на все это, ему оказали в доме Зильпы полагающийся гостю прием. Щедро покормили его ослицу, а ему самому предложили опуститься на циновку у входа, и дочери Зильпы омыли ему ноги.

Обычай предписывал не обременять гостя вопросами. Поэтому обитатели дома, мужчины и женщины, молча обступив, разглядывали его хмуро и пристально, но не слишком назойливо, в то время как дети усталились на прибывшего с нескрываемым любопытством. Правда, Цилла, жена Самегара, щуплое и низкорослое создание, протолкавшись сквозь толпу детей, оказалась чуть ли не рядом с Иеффаем, так что даже мешала другим женщинам мыть ему ноги, и глядела на него горящими ненавистью глазами.

Но он как бы ничего этого не замечал. Сидя на циновке, он с наслаждением шевелил пальцами ног, даже слегка потягивался. Его крупное лицо с широким лбом, умными карими глазами и очень яркими губами, за которыми видне-

лись белоснежные зубы, выражало раздумье и сдержанное ожидание.

Улыбнувшись добродушно и в то же время насмешливо, он наконец спросил:

— Послали ли вы кого-нибудь сообщить мне о смерти отца?

— Мы этого не сделали, — ответил Гадиил с вызовом.

Но Елек поспешил сгладить резкость ответа, добавив:

— Мы полагали, что слух об этом достигнет твоих ушей быстрее любого гонца.

— Вы не ошиблись, — дружелюбно заметил Иеффай.

Но Самегар, младший сын Зильпы, сказал правду:

— Поминальную трапезу перенесли на завтра, чтобы ты мог принять в ней участие.

— Значит, вам пришлось из-за меня дольше поститься, — с лукавым сожалением заключил Иеффай. — А я не постился, — добавил он. — Не ожидал от вас такого внимания к моей особе. — И, все еще улыбаясь, закончил разговор словами: — Однако я, как видите, тут. — И при этом посмотрел дерзким и все понимающим взглядом прямо в лицо враждебно уставившейся на него Циллы.

Правда, тут же печально сник. Да и как было не сникнуть, когда вместо отца, всегда встречавшего сына с нескрываемой и шумной радостью, он увидел в этом доме одних недоброжелателей.

Самегар проводил его наверх, где на плоской крыше был разбит для Иеффая шатер, чтобы он мог выспаться в приятной прохладе. Иеффай с наслаждением растянулся на циновке, ухмыльнулся, еще раз порадовавшись тому, что сумел приехать так быстро, к досаде остальных, и, почувствовав приятную усталость во всех членах, уснул.

Спал он долго и крепко. Разбудил его тот же Самегар: пора было готовиться к трапезе. К младшему из сводных братьев Иеффай относился с приязнью и потому позволил себе слегка его поддразнить:

— Наверное, вовремя приехав на поминки, я вас всех тут раздосадовал?

Но Самегар ответил:

— Я бы очень сокрушался, если бы ты опоздал. — И по тону его было заметно, что говорит он искренне.

— А вот твоя Цилла не стала бы сокрушаться, — улыбнулся Иеффай. — Но ты и впрямь хороший парень.

Поглядев на него внимательно, Самегар осторожно спросил:

— Не следует ли тебе перед трапезой сбрить бороду?

— Ты прав, — сразу согласился Иеффай.

С помощью Самегара он сбрил свою короткую, торчащую вперед бороду и волосы на голове. Работа была довольно трудная, и Иеффай болтал при этом с Самегаром. Он рассказал, что у него дома, в Маханаиме, есть бритва, сделанная из нового, великолепного материала, называется «железо». Бритва эта твердая и острая и бреет бороду намного быстрее и ровнее; правда, иногда она прихватывает и кусочек кожи. Трех козочек пришлось ему отдать за эту бритву; уж очень он любит новые, полезные в жизни вещи.

Пока перед домом Зильпы делались приготовления к трапезе, родственники и друзья усопшего вновь поднялись на холм Овот, на этот раз и Иеффай был в их числе. Вновь отвалили камни от входа в пещеру, и братья с трудом отыскивали место, где опустили на землю тело отца. Потом потоптались возле него, пригибая головы под низкими сводами, и, стоя в неловких позах, шепотом переговаривались. С почтением, грустью и чем-то похожим на страх глядел Иеффай на нечто бесформенное, скорчившееся в нише, бывшее некогда его отцом. Потом к ногам покойника поставили принесенные с собой дары, которые могли пригодиться ему в его новой жизни, — одежду, домашнюю утварь, блюда с кушаньями, кувшины с вином и пряности. Иеффай, собравший в глиняный сосуд срезанные с себя волосы, плавным, полным нежности к отцу жестом поставил сосуд посреди прочих даров.

Братья еще некоторое время постояли молча в окружении духов предков. Потом, еще раз поклонившись покойному, направились к выходу. Вновь завалили камнями пещеру, на этот раз наглухо, чтобы оградить мертвых от грабителей и голодных зверей, а себя самих от мертвецов.

На обратном пути Иеффай едва проронил несколько слов. Он не знал страха перед смертью и не раз видел на полях сражений множество искромсанных и обезображенных трупов, не ощущая при этом ни подавленности, ни душевного трепета. Но вид жутких и жалких мертвецов, скорчившихся в мрачной, сырой пещере, произвел на него сильнейшее впечатление. Он очень любил своего отца, они жили душа в душу, он мог говорить с отцом обо всем на свете, большом и малом. Отныне он никогда больше его не увидит или же увидит, но в новом, смутном обличье, как нечто, состоящее не из плоти, а из воздуха, обитающее в каком-то чуждом и наверняка неуютном мире. Отныне он, Иеффай, будет одинок и надеяться сможет только на себя. Он не боялся будущего, но мысль о нем очень его тревожила.

Перед домом в Массифе все уселись за трапезу. На земле были разостланы циновки, а для наиболее почетных гостей поставлены столы и скамьи. Зильпа велела забить множество баранов и даже двух телят, чтобы показать простому люду богатство своей семьи. И гости, в большинстве своем постившиеся из любви и уважения к покойному судье, принялись поглощать вкуснейшие яства, поначалу сдерживая себя, чтобы не повредить пустому желудку, но затем со все большим азартом и жадностью. То и дело приходилось им вытирать рот и руки, блестевшие от жира. Поначалу все пили только воду, потом стали подмешивать в воду вино, позже перешли на чистое вино, а под конец на «шекер», крепкий беловатый напиток — подслащенную медом смесь перебродившего гранатового сока, сока моченых фиников и ячменя.

Они ели, пили, беседовали между собой. Обменивались взглядами на то, что теперь будет. Давным-давно они жили в этой земле, семь поколений сменилось с тех пор, как сюда вторглись их предки-кочевники, все уже привыкли владеть землей и ее обрабатывать, привыкли копать колодцы и жить в настоящих прочных домах, перенимая все это у прежних жителей этих мест и смешиваясь с ними. Те, в свою очередь, привыкли к богу Ягве, а они, пришельцы, не задевали местных богов; тем более что боги эти были очень покладистые и, не скупясь, одаривали новых жителей своим благоволением и щедрыми дарами земли. Судья Галаад позволял каждому, живущему здесь, жить и поступать по-своему, но стоило сынам Аммона и Моава напасть на кого-либо из жителей, он обрушивал на их головы свой разящий и победоносный меч. Удастся ли вновь найти такого судью, покладистого со своими, безжалостного и несгибаемого с врагами? Сперва украдкой, потом все чаще и уже открыто жители Массифы поглядывали на тех, на кого выбор мог пасть в первую очередь, — на сыновей Зильпы; они раздумывали, прикидывали так и этак, взвешивали все «за» и «против» и не могли прийти к единому мнению.

Не забыли они и Иеффая и сравнивали его со сводными братьями. Теперь, без волос и бороды, на его крупном широколобом лице еще четче проявились резкие и решительные черты — крутые скулы, необычайно плоский нос, мощный подбородок и полные, легко раздвигающиеся в улыбке губы. И большинство подумало, а кое-кто даже сказал вслух: «Жаль, что Зильпа не родила Галааду такого сына».

Зильпа усадила Иеффая не за тот стол, за которым сидела сама со своими сыновьями, а за тот, где пировал ее управляющий. Место это было не то чтобы оскорбительное, но и не самое достойное. Иеффай воспринял это со смешанным чувством — Зильпа и рассердила и позабавила его — и вскоре утешился тем, что гости чаще и приветливее поглядывали на него, чем на его братьев.

Когда с наступлением темноты пиршество закончилось, Зильпа с сыновьями и Авиям поднялись на плоскую крышу дома, чтобы насладиться вечерней прохладой. По приглашению священника к ним присоединился и Иеффай.

После недолгого молчания он заявил:

— Я не буду долго надоедать вам своим присутствием. Завтра утром как можно раньше я отправлюсь назад, в Маханаим. Теперь, когда судья Галаад в погребальной пещере, мне придется стать главой семьи и одним из отцов города в Маханаиме, так что у меня там много дел.

Молчание было ему ответом. Снизу доносились голоса женщин и детей, убиравших остатки трапезы и наводивших порядок во дворе и в доме, в соседних домах и на улице тоже еще слышались затихающие звуки позднего вечера. И Зильпа нарушила молчание, бросив безразличным тоном, как бы невзначай:

— Боюсь, ты с самого начала неправильно понял свое место в роду Галаада, Иеффай, сын Леваны.

Но тот возразил, нимало не заботясь о том, что его грубоватый низкий голос наверняка будет слышен на улице:

— Послушай, женщина, я сын или не сын Галаада, причем его любимый сын, кому он подарил дом и земли в Маханаиме?

Гадиил и Елек одновременно открыли рот для ответа. Но священник жестом приказал им молчать и сам взял слово.

— Ты сын Галаада,— сказал он,— но в то же время ты и сын Леваны, дочери Аммона. Как ни смотреть на ее положение в доме Галаада, но уж законной его женой она, конечно, не была.

Тут Гадиил вскочил и перебил священника звенящим от гнева голосом:

— К чему все эти слова? Он не сын Галаада, а его ублюдок.

Иеффай не встал с циновки, ничего не сказал и только обвел присутствующих долгим, внимательным, испытующим взглядом. Потом сказал небрежно, почти спокойно, обращаясь ко всем и ни к кому:

— Вижу, вы посягаете на мое наследство. Вижу, вы хотите украсть у меня мой дом, земли и стада в Маханаиме.— Уже не сдерживаясь, он тоже вскочил и крикнул так, что слышно было далеко окрест в покрытом ночным мраком городе: — Говорю вам, этому не бывать. И не вы, а я буду сидеть у ворот Маханаима как первый среди отцов города!

Но вскочил он так стремительно, что развязался и упал к его ногам мешочек, висевший у него на поясе; из мешочка высыпались желтые и красные камешки, полудрагоценные лунные и солнечные камни грубой шлифовки, изображающие зверей и людей; желтые и красные фигурки засверкали в свете восходящего месяца. И все увидели, что среди них был и бык с большой головой и могучими рогами, и женщина с огромными грудями и торчащим из живота острым пупом, и мужчина с громадным членом, и все поняли: это были священные фигурки, амулеты и талисманы, посвященные богам, чуждым и враждебным Израилю.

Молча, ошеломленно уставились все на уродцев, сверкавших и мерцавших в лунном свете у их ног. Эти фигурки принадлежали покойной матери Иеффая, Леване, они были ее «терафим», ее покровители, и жена Иеффая Кетура дала их ему с собой, чтобы боги его матери, которым и она сама поклонялась, защитили его во время рискованной поездки в Массифу.

Смущенный тем, что рассыпал талисманы, Иеффай присел на корточки, чтобы их собрать, и заявил дрогнувшим голосом:

— Украшения эти принадлежали моей матери, она очень ими дорожила.

На что Авиям возразил с почти дружелюбной насмешкой в голосе:

— Охотно верю этому, Иеффай. Но вряд ли тебе неизвестно, что такие каменные изображения обладают злой магической силой, что они знаки Милхома и его сестры Астарты, лжебогов аммонитян.

А Гадиил злобно воскликнул:

— Считаешь себя сыном Галаада, а сам оскверняешь его дом этой мерзостью! Ублюдок!

И даже деликатный Самегар огорченно и настойчиво потребовал:

— Брось эти талисманы, брат мой Иеффай! Откажись от них! Выбрось!

Иеффай ничего не ответил и продолжал собирать камешки.

Между тем Авиям одернул Гадиила:

— Не оскорбляй гостя в своем доме. А ты, Иеффай, собери скорей свои камешки, раз считаешь это правильным, и сядь опять на циновку.

Когда Иеффай уселся, священник сказал:

— Пойми, Иеффай, твои притязания на имущество в Маханаиме не просто спор о наследстве между тобой и братьями. Вопрос стоит так: можно ли отдать часть наших земель в руки человека, который носит на своем теле чуждые нам амулеты.

Иеффай же упрямо, но без прежнего подъема только повторил:

— Камешки принадлежали моей матери.

Первосвященник пропустил его слова мимо ушей. И тогда заговорил Елек; приветливым и спокойным голосом он стал урезонивать Иеффая:

— Дело обстоит именно так, как сказал первосвященник, и тебе придется с этим смириться. Кому бы ни принадлежали нечестивые изображения, твоей ли матери, или твоей жене, или же им обеим, человек, терпящий такую мерзость в своем доме, не может входить в число «адирим» города Маханаима и не может получить место и право голоса в их кругу. Но поскольку твоя мать заслужила благосклонность нашего отца и поскольку мы не враги, а друзья твои, сводный мой брат Иеффай, я предлагаю тебе наши стада в Маханаиме и должность надсмотрщика над всеми работниками там.

Иеффай сдержал свой гнев и ответил как можно спокойнее:

— Я не стану учить тебя уму-разуму на глазах твоей матери, скопидом и стяжатель, хотя ты собрался отнять у меня и дом, и землю, едва успев поместить отца в погребальную пещеру. Но ничего у тебя не выйдет. На границах моих земель стоят межевые столбы, и мое имя вытесано на них по приказу судьи Галаада; пусть первосвященник Авиям прочтет эти знаки, если пожелает, прочти и ты, брат мой Самегар, благо ты умеешь читать.

Елек возразил:

— Все это так, и я своими глазами видел эти знаки. Однако незаконный сын может наследовать любое движимое имущество, но дом и земля возвращаются в лоно законной семьи. Разве не так гласит закон Израилев, священник?

— В спокойные времена, — начала Зильпа, тоже обращаясь к священнику, а не к Иеффаю, — смотрели сквозь

пальцы на то, что сын иноплеменной женщины наследовал плащ или несколько козлят, а то и целое стадо коров, принадлежавших его отцу из народа Ягве. Но вот приходит этот и требует себе и дом, и все земли, и загоны со скотом. А времена сейчас трудные, сыны Аммона и Моава сговариваются сообща напасть на землю Галаада, предстоит новая война в защиту Ягве. Может ли в такое время сын аммонитянки, к тому же носящий изображения чужих богов на своем теле, быть облеченным властью в Галааде? Нет, не может. Ты сам это сказал, первосвященник, и совет старейшин у ворот Массифы согласится с тобой.

Иеффай мрачно возразил:

— На чьей стороне право, решал мой отец, женщина. И он был судьей в Израиле. Его право и его воля вытесаны на межевых камнях Маханаима.

Священнику Авияму, даже как бы против его воли, нравился Иеффай. Кое-что из того, что тот говорил или делал, представлялось Авияму сомнительным, этот юноша все еще блуждал в потемках или, по крайней мере, в сумерках, да еще и таскал с собой этих божков своей жены-аммонитянки. Но поступок его была тверда и взгляд ясен. Наверняка он знал, что рискует, но не выказывал ни тени страха и не впадал в бессмысленный гнев. Воинам Галаада очень бы кстати пришелся такой человек с сильной волей и ясным умом; ведь смерть судьи наверняка подтолкнет сыновей Аммона к новым разбойничьим набегам.

Поэтому Авиям принялся мягко наставлять Иеффая:

— Дело обстоит совсем не так просто, как тебе кажется, Иеффай. В Маханаиме ты был не главой дома, а лишь представителем Галаада, так же, как твои братья были его представителями в Массифе. Со смертью отца ты получил кое-какие права, но ведь и его семья тоже получила новые права и тоже в связи с его смертью и в связи с опасностями, которые могут из-за нее возникнуть. У тебя есть часть прав, но и у семьи Галаада тоже есть часть прав, причем весьма значительная. Зильпа дала хороший совет. Пусть старейшины решат, кто будет наследником в Маханаиме.

Заметив, что Иеффай вот-вот взорвется, Авиям стал потечески увещевать юношу:

— Встань у ворот Массифы, и пусть твои братья тоже встанут. Выскажи все, что ты хочешь, старейшинам, защищай сам свое дело. Приходи к воротам завтра или, если хочешь хорошенько обдумать свои слова, то послезавтра.— И не без теплых ноток в голосе заключил свою речь слова-

ми: — Если тебе неприятно дольше оставаться под этим кровом, будь моим гостем в доме Ягве.

Иеффай заколебался. Он не ожидал услышать столь дружеские речи от Авияма. Он задумался. Но, собравшись с мыслями, сказал:

— Благодарю тебя, первосвященник. Я останусь в Массифе. Но не хочу ночевать ни в этом, ни в твоём доме. Я буду спать под открытым небом, под звездами.

5

Иеффай улегся спать на одном из холмов в окрестностях города. Он лежал под деревом, вблизи журчал ручеек. Он радовался шелесту листвы над головой, радовался журчанью воды, равномерный шум действовал успокаивающе на его душу. Вероятно, в роднике или в кроне дерева жил один из богов, и Кетура, жена Иеффая, наверняка приветствовала бы его ласковыми словами.

Надо же было случиться такой незадаче — уронить «терафим», амулеты. Ведь каменные фигурки в самом деле не имели никакого отношения к его верности народу Ягве; они были для него всего лишь милой игрушкой. Мать его благоговела перед этими яркими диковинными камешками, да и в глазах Кетуры, когда она перебирала их своими тонкими нежными пальцами, появлялось благостное выражение. Она бы обиделась, если бы он отказался взять с собой священные вещицы, а что плохого он сделал Ягве, заткнув их за пояс? Но теперь массифская родня не преминет возвести на него напраслину и постарается представить невинную забаву злым умыслом.

Тьма стояла кругом хоть глаз выколи. Тем не менее он вытащил из мешочка и чуткими пальцами ощупал знакомые фигурки. Поиграл ими, достал еще нескольких, опустил обратно в мешочек. Задумался. Улыбнулся в темноте своим мыслям. Засмеялся.

Вот он и сообразил, что им сказать. Ягве будет им доволен, и покойный отец порадует, и Зильпе, братьям и священнику придется согласиться. С этой мыслью он спокойно уснул.

На следующий день он сделал так, как задумал.

Рано утром он подошел к воротам Массифы. Одиннадцать старейшин, бородатых мужчин в зрелых годах, были уже на месте и готовы выслушать жалобу братьев на Иеффая, хотя и семи было бы достаточно для вынесения при-

говора. Принесли скамьи, и все уселись. Только высокий каменный престол судьи Галаада остался пустым.

От имени Зильпы и братьев слово взял Елек; он тщательно продумал свою речь. Начал с того, что любит своего сводного брата Иеффая, но сомневается, можно ли оставить за ним собственность семьи в Маханаиме, не заручившись заранее согласием старейшин. Иеффай, сын аммонитянки, взявший в жены аммонитянку, с детства был окружен чужими богами; их имена и знаки соседствовали в его доме с именем и знаками Ягве. При жизни отца можно было закрывать на это глаза, ибо отец настаивал и защищал своего незаконнорожденного сына. Но теперь возникает вопрос, можно ли такому человеку дать право голоса в совете старейшин города.

Было раннее утро, многие жители подходили к воротам, направляясь на поля или к загонам со скотом. Но, услышав, в чем дело, из любопытства поворачивали обратно — всем хотелось знать, чем закончится разбирательство между сыновьями Зильпы и Иеффеам.

Они стояли или сидели на корточках вокруг скамей старейшин. Глядели на сыновей Зильпы, глядели на Иеффая и пустой каменный престол судьи, слушали точно рассчитанные слова Елека. То, что он сказал, было и верно, и разумно, и они поняли то, на что он только намекнул: что скоро вспыхнет война с сынами Аммона, и потому человек, тесно связанный с Аммоном, не может сражаться в первых рядах израильтян. Но жители Масифы видели Иеффая, сравнивали его мысленно с братьями, и сравнение было в его пользу: Иеффай им нравился. Слова Елека упали на землю и не достигли их сердец.

Потом слово взял Иеффай. Могучий, крупноголовый, он встал в лучах утреннего солнца и, упрямо набычившись, сказал:

— Судья Галаад, мой отец, подарил мне дом и земли в Маханаиме и велел высечь мое имя на межевых камнях. Я всегда любил своего отца и был послушен его воле. Что бы я ни делал, молился, сражался или брал женщину себе в жены, я делал это с ведома и одобрения отца, а ведь он был судьей нашего народа. Все обвинения, выдвигаемые против меня моим сводным братом Елеком, направлены на самом деле против отца. И слова его — сплошное бесстыдство. Не успел отец занять свое место среди предков в погребальной пещере, как Елек уже марает его честь из корыстных побуждений своей алчной души.

Слова Иеффая были просты и доходчивы. И хотя в них не содержалось никаких доводов, опровергающих обоснованные возражения Елека против права Иеффая на отцовское наследство, слова эти явно пришлись по душе старейшинам. Впрочем, большинство их отнюдь не были стариками; уже по достижении тридцати лет можно было отрастить длинную бороду и войти в число «длиннобородых», то есть старейшин. Однако был среди них и очень древний старик по имени Манассия. Он был дружен с Галаадом. За свою долгую жизнь он участвовал во многих битвах и однажды военной добычей его стала девушка-аммонитянка, с которой он переспал, не дожидаясь конца военных действий; ему пришлось молча смотреть, как ее предали проклятию и принесли в жертву Ягве, ибо того требовали священники и закон. Во второй раз он поступил умнее; он смирил свою плоть и не дотронулся до добытой им девушки, пока война не кончилась, а потом взял ее к себе в наложницы. У него были от нее дети, а у детей свои дети и даже уже внуки. Наложницы этой давно не было в живых, как и первой, большинство ее детей тоже уже умерли, и память дряхлого старца часто ему отказывала. Но одно он помнил твердо: он помнил, как священники настойчиво предостерегали его от связи с аммонитянкой. Тем не менее он не послушался их, не порвал с нею и был рад, что так поступил, ибо ее бог Милхом тоже оказался могущественным богом: даже правнуки его аммонитянки были удачными детьми. И если дух его друга Галаада сидел сейчас на каменном престоле, он наверняка благосклоннее внимал голосу сына, рожденного аммонитянкой, чем голосу деловитого и разумного Елека. Поэтому старец Манассия ласково произнес своим надтреснутым голосом:

Говори же, Иеффай, сын моего друга Галаада. Скажи нам все, что собирался сказать. Твой отец был достойный человек, и ты, сдаётся, пошел в него.

Среди слушателей находился и священник Авиям. Неказистый и щуплый, он с трудом стоял на своих больных ногах, прислонясь к городской стене и опершись на посох. Он внимательно смотрел и слушал. В словах Иеффая было мало смысла, зато чувствовались душевность и сила. Это и тронуло старца Манассию, тронуло большинство стоявших вокруг людей, тронуло и его самого. Однако Авиям не забыл о мешочке с гнусными каменными фигурками и пристально оглядел пояс Иеффая: неужели он и сейчас держит их при себе? Авиям не мог решиться, на чью сторону ему

встать — то ли сыновей Зильпы, то ли Иеффая. Ягве все еще молчал.

А Иеффай тем временем сказал:

— Благодарю тебя, о старец, друг моего отца, однако мне осталось добавить совсем немного. Этот алчный сын Зильпы утверждает, что мать и жена старались вытеснить Ягве из моего дома. Все это злобная ложь и клевета. Судья Галаад в свое время обрил голову моей матери Леване, как предписывает наш закон, а с новыми волосами Левана стала новым человеком и была принята в союз народов Ягве. И зачала меня, уже будучи израильтянкой. Я тоже поступил так, как велит закон, по праву и обычаю я тоже обрил голову Кетуре и сделал ее новым человеком, прежде чем взять ее в жены.

Жители Массифы выслушали его речь внимательно и скорее благосклонно, чем недоверчиво. На этот раз отвечать Иеффаю взялась Зильпа, и говорила она гневно и напористо:

— Не пытайся скрыть правду за словесами, незаконный сын Галаада. Ты и сам не меньше твоих женщин насквозь пропитан гнилым дыханием Милхома, ложного бога. Разве не дерзнул ты принести на своем теле амулеты этих женщин в дом покойного отца? Своими глазами я видела, как они сверкали в лунном свете. Мы все их видели, видел их и первосвященник Авиям. Может, они и сейчас еще лежат в твоем поясе, идолопоклонник.

Это обвинение показалось жителям Массифы серьезным. И теперь они смотрели на Иеффая и его пояс уже другими глазами, полными страха, растерянности и возмущения.

Но странно: этот человек не прятал глаз и встретил их взгляды с видом хоть и немного смущенным, но отнюдь не виноватым, и даже улыбнулся. Он сказал:

— Фигурки принадлежали моей матери, и она очень ими дорожила. Отец знал об этом и не раз видел, как она перебирала их. Он не имел ничего против.

Эти слова не убедили слушателей. Галаад мертв, может, сын клеветает на отца, чтобы выгородить себя? Зильпа громко и презрительно рассмеялась в ответ на столь грубую ложь. А Гадиил высказал то, что другие подумали:

— Еще и оскорбляет покойного отца!

Но Елек спросил спокойно и деловито:

— А зачем ты сунул мешочек с терафим за пояс, сводный мой брат Иеффай, и взял их с собой в Массифу?

Этот вопрос сразу все прояснил. Кое-кто из слушателей рассмеялся, потом смех подхватили все, насмешливый хохот огласил площадь.

Но Иеффай, выдержав паузу, заявил не без некоторого смущения, вероятно, наигранного:

— Я не хотел никому говорить об этом, потому что это никого не касается, кроме меня и отца. Но раз ты подозреваешь меня в чем-то позорном, любопытный Елек, я тебе скажу. Я принес эти фигурки отцу, чтобы он там, в погребальной пещере, порадовался им, как радовался им в Маханаиме в свои счастливые дни. Мне казалось, что это будет лучшим из даров.

Объяснение было неожиданным для всех. Но звучало вполне убедительно и растрогало слушателей, как женщин, так и мужчин, а древний старец Манассия сказал своим надтреснутым голосом:

— Да, это принесет радость Галааду, моему юному другу, в погребальной пещере...— И похвалил Иеффая: — Ты оказался достойным сыном своего отца.

Священник Авиям не поверил Иеффаю. Изображения божков наверняка дала ему в дорогу аммонитянка Кетура, и, только когда они принесли ему вместо пользы одни неудачи, он придумал задним числом это объяснение. Но придумал умно, и расчет его удался. Ведь по лицам слушателей было видно, что они поверили в этот обман. Да и преподнес Иеффай свою лживую выдумку с таким искренним видом, что, наверное, и сам верил в нее, пока говорил. Да, надо признать, юноша этот был находчив. Ничего не скажешь: Ягве вдохнул в этого человека, зачатого на нечестивом ложе, дух более сильный и изощренный, чем в законных сыновей Галаада. Но зачем? Зачем Ягве понадобилось дать ему сомнительную мать, да еще внушить ему мысль самому взять к себе в постель нечестивую женщину? Мучимый сомнениями, не мог ни на что решиться священник Авиям. Хоть и знал, что все ждут его вмешательства.

Тем временем Елек, досадуя на легковерность старейшин и толпы, вновь подступился к Иеффаю.

— Мы все,— начал он, ехидно улыбаясь, и сонливость его как рукой сняло,— чтим твои добрые намерения, благочестивый сын Галаада. Но одного я никак не могу понять: почему ты сразу не оставил своих дорогих божков в отцовской нише, когда мы все были в погребальной пещере? Ведь, наверное, немалых трудов стоило во второй раз отвалить от входа тяжелые камни. И вообще — как ты с этим справился?

— Я позвал на помощь двух пастухов,— ответил Иеффай,— пасших стада поблизости, то были пастухи моего отца, Хананья и Намер. Сначала они боялись, но потом я их уговорил. Они сильные парни, да и я не из слабых. Позовите же их, обоих, Хананью и Намера, пусть они подтвердят.

Зильпа злобно прошипела:

— Нерадивые пастухи, им не следовало бросать овец. Как они смели помогать этому ублюдку нарушить покой пещеры? Накажу их обоих.

Но жители Массифы вновь поверили Иеффаю. Он не пожалел сил, чтобы оказать почтение Галааду и принести ему особый, с любовью выбранный дар. Он был хорошим сыном хорошего судьи.

Но Елек и не думал отступить.

— Ты не ответил на мой вопрос, брат мой Иеффай. Почему ты не оставил амулеты в пещере, когда был там с нами? Признайся, ты лишь потом все это придумал.

Иеффай и в самом деле взял с собой ярких каменных божков лишь потому, что был тронут глубокой верой Кетуры в их чудодейственную силу, так что каверзный вопрос Елека на миг смутил его. Но прежняя уверенность тут же вернулась. Да, мысль принести амулеты в дар отцу пришла ему в голову позже, когда коварных братьев не было рядом. Лежа под деревом в тишине ночи, он подумал, как, наверное, обрадуется отец этим камешкам, зримому напоминанию о любимой жене, и хотя Иеффай знал, что Кетура будет сильно тосковать по любимым божкам, он все же отнес их отцу. И сознание величия и чистоты собственных помыслов заставило его голос зазвенеть благородным гневом, когда он возразил хитроумному и недоверчивому Елеку:

— Я не хотел преподносить отцу свои дары, когда между мной и им стояли вы, во всем сомневающиеся, с вашими грязными мыслями. Я не хотел, чтобы ваши наглые глаза видели это. Я — любимый сын Галаада. И я хотел говорить с ним один на один, без помех.

Так убедительно прозвучали эти его слова, что у слушателей рассеялись последние сомнения. И они с восхищением взирали на юного храбреца, не побоявшегося в одиночку войти в жуткую пещеру и беседовать там со своим отцом.

Но Зильпа и тут нашлась:

— Он лжет, этот человек, лишь на одну треть относящийся к народу Ягве, а на две трети аммонитянин, он лжет. И даже если эти колдовские игрушки сейчас в пещере, я уверена, что в его доме в Маханайме найдется еще много

всякой языческой мерзости. Скажи же нам, Иеффай, поклянись именем Ягве, если сможешь: не хранит ли аммонитянка в твоём доме других кощунственных божков?

Иеффай негромко ответил, чеканя каждое слово: «Не смей оскорблять мою жену!» И тут его прорвало. Гнев вспыхнул в нём с такой неистовой силой, что все в ужасе отпрянули назад, как случилось и прежде при бешеных вспышках покойного Галаада.

— Мне ли оправдываться перед вами, несчастные выродки? — выкрикнул он в бешенстве. — Это вам придется оправдываться предо мной! Отец отдал мне свое сердце, и вы все это знаете. У него были на то причины. Меня родила ему вторая, молодая жена, она была красива, и он любил ее. А я — его младший сын, и многие считают, что главным наследником отца должен быть младший сын, как самый любимый. И разве наш праотец Израиль не предпочел старшим сыновьям сына своей младшей жены Рахили, нашего родоначальника Иосифа? Оправдайтесь-ка вы предо мной, сыновья Зильпы, замыслившие урвать для себя дом в Массифе!

Поначалу такая чудовищная дерзость ошеломила людей. Но потом они пришли к выводу, что Иеффай, в сущности, прав. Все, что он сказал о родоначальнике их колена Иосифе, не было лишено смысла. Жители Галаада вели свой род от Иосифа, а тот действительно был любимым сыном старого Израиля. Он подарил ему драгоценный плащ и дал ему лучшее благословение, и это благословение снизошло и на них, жителей Галаада, потомков Иосифа, ведь именно галаадитяне первыми достигли Земли Обетованной.

Вот о чем подумали жители Массифы, и речь Иеффая пришлась им по душе. После его гневной вспышки площадь у ворот надолго погрузилась в молчание. Где-то раздался крик осла, издали слышались голоса играющих детей, высоко в небе кружил ястреб.

Наконец старец Манассия нарушил молчание; тряся головой и хрипло хихикая, он отрывисто выдохнул:

— Младший сын... Любимец отца... Удачный сын. — Но потом, собравшись с силами, сказал внятно и связно: — Трудный случай. Очень трудный. Сыновья Зильпы правы, но и Иеффай по-своему прав, и он мне нравится. — Старик посмотрел на пустой каменный престол. — Жаль, нет с нами судьбы Галаада, он сумел бы разрешить этот спор.

Зильпа бросила на шамкающего старца взгляд, полный нескрываемого презрения. До чего же жалки эти длиннобо-

родые, до чего ничтожны все мужчины здесь на площади, в том числе и ее собственные сыновья. Галаад, по крайней мере, имел и характер, и силу, но и он сошел бы в пещеру бесславным, не помогая она ему советом и делом. Во все века именно женщины Израиля выказывали подлинную силу духа в трудное для народа время. Израильтянам не удалось бы завладеть этими землями, если бы Мириам и Девора не поддержали в них боевой дух. Сообразят ли наконец эти длиннородые, что слушаться надо ее, Зильпу, а не этого наглого юнца и ублюдка.

Но тут одному из старейшин пришла в голову новая мысль. Он прошептал что-то на ухо дряхлому Манассии, и тот обратился к Авияму:

— А тебе нечего нам сказать, первосвященник? Ягве не сообщил тебе свою волю?

Зильпа почувствовала горький вкус во рту. Ее задело, что эти глупые старцы, минуя ее, обратились за советом к священнику. Тот, тщедушный и сгорбленный, опираясь на посох, отделился от стены, вступил в круг и остановился перед старейшинами на самом солнцепеке. Он мучительно сознавал свою полную беспомощность. Они требовали, чтобы он сообщил им волю Ягве; что ж, они были правы, ведь он был служителем Ягве, посредником между ним и этими людьми. Но Ягве молчал.

В ярости он подумал: «Ты все же ответишь мне, Ягве. Заставлю ответить». А вслух пророкотал с деланной решительностью в голосе:

— Повремените выносить решение, старейшины. Я спрошу совета у Ягве через его священные знаки.

6

Ранним утром следующего дня Авиям начал готовиться к общению с Ягве при помощи «урим» и «тумим» — камней света и совершенства. Дело это требовало особой чистоты. Помощники принесли прозрачной родниковой воды и омыли Авияма с головы до ног. Затем надели на него белое облачение. Потом прикрепили к поясу и наплечникам «эфод» — короткий четырехугольный нагрудник из тяжелой ткани голубого цвета с отверстием для головы; на нем было двенадцать драгоценных камней — «урим» и «тумим», передающих священнику волю Божью.

Облачившись во все это, священник развязал веревки, державшие завесу, отделявшую заднюю часть скинии, отки-

нул тяжелый темный полог и вошел в «святая святых» — шатер, в котором Ягве сопровождал израильтян в годы странствий.

Там не было ничего, кроме Ковчега Завета и каменного престола Ягве. Ковчег стоял справа от входа; это был простой деревянный ящик, в котором хранились свидетельства союза колен Израилевых с Ягве, — скрижали, на которых Бог собственноручно начертал слова Завета. Каменный престол Ягве, эта святыня святынь, высокий и черный, стоял у задней стенки шатра; на нем, невидимо для глаз, восседал Ягве, когда посещал страну Галаад.

За тяжелыми завесами, пахнувшими затхлостью, было сумрачно, прохладно и душно. Священник ощутил робость и растерянность. Общение с Ягве требовало от спрашивающего полного самоотречения. Он должен был до конца доверить богу ответ и решение. А он, Авиям, со всех сторон обдумал и не раз взвесил, какого ответа можно ждать от Ягве, перебирал и оценивал самые разные варианты. Выбросил ли он начисто из ума и души дерзостные мысли и соображения смертного человека, кощунственные перед волей Божьей? Отринул ли от себя даже слабые поползновения на собственную волю и предубежденность? Достаточно ли он чист душой и телом? Готов ли его ум запечатлеть и хранить решение Ягве, как свежая глиняная таблица хранит начертанное? Он весь напрягся от страха и робости. Явится ли Ягве и захочет ли с ним говорить?

Он задрожал. Ибо всем своим существом почувствовал: Бог сошел с Синаи и, невидимый, присутствует здесь, на своем престоле в Массифе. Священник закрыл глаза. Все его тщедушное тело содрогалось, пот лился градом, с закрытыми глазами он явственно видел грозный лик Ягве, излучавший одновременно строгость и милосердие, видел огромные горящие глаза Бога, а над ними мощно выступающий изо лба рог силы и изобилия.

Он пал ниц и прижался лбом к земле, дабы не погибнуть, узрев Невидимого, сидящего на каменном троне. Он лежал на земле и спрашивал: «Будешь ли ты милостив к рабу твоему и ответишь ли ему?» Слабыми пальцами он вцепился в священные камни, чтобы приобщиться к их святости, замер в ожидании. Почувствовал, как их сила вливается в его жилы. И услышал глухой голос Бога: «Я здесь».

Он имел право задать всего три вопроса; он знал об этом от своего предшественника, а тот — от своего. И вопросы эти надо задать с умом, ибо Бог отвечал только «да» или

«нет». Каждый следующий вопрос должен быть точнее предыдущего, если хочешь получить ясный ответ на тот, который станет последним.

И Авиям спросил: «Должен ли я объявить, что Иеффай теряет права на наследство, как того требуют его братья?» Переведя дух, он вновь замер, ожидая ответа. Невидимый беззвучно ответил: «Нет».

Священник задал второй вопрос: «Значит, я должен лишиться наследства в Маханаиме законных сыновей Галаада, рожденных Зильпой?» Замирая от страха, он ждал, и минута показалась ему вечностью. Бог ответил: «Нет».

Перед третьим, решающим вопросом Авиям, жалкий и обессиленный, ощущал лишь болезненную слабость во всем теле. Он еще крепче вцепился пальцами в священные камни, их сила помогла ему, войдя в голову и грудь. Бог погнал кровь по его жилам. И он задал свой последний вопрос, но уже не губами, которые его не слушались, а прямо сердцем: «Должен ли я подвергнуть Иеффая искушению, дабы узнать, воистину ли изгнал он мерзкого Аммона из души своей и дома своего?» Старческие руки Авияма так дрожали, что священные камни выскальзывали из его пальцев, тощее тело сжалось в судорожном напряжении. В тишине скинии слышалось лишь его хриплое дыхание. Наконец последовал ответ Бога: «Да».

Руки Авияма выпустили камни. Он простерся на земле, совершенно без сил, смертельно усталый, без единой мысли в голове. Долго лежал он так. Потом с трудом поднялся и сел, поджав под себя ноги, слегка наклонившись вперед и покачиваясь с закрытыми глазами. Он обдумывал ответ Ягве. Ответ был мудр и полон высокого смысла, однако смысл этот человеческий разум еще в силах был постичь.

Границы Израиля здесь, на восток от Иордана, не были четкими, поля постепенно сменялись пастбищами, пустошами и степью и наконец переходили в «тоху», голую мертвую пустыню; из этой пустыни враги израильтян, сыны Аммона и Моава, вновь и вновь вторгались в их плодородные земли. Чтобы род Галаада не растворился в народах пустыни, он должен надежно ограждать себя от них. Но мужчины Галаада не могли устоять перед женщинами враждебных племен, они совокуплялись с ними и открывали свои души чуждым богам. И сердце Иеффая тоже впустило в себя богов Аммона. Поэтому требование братьев низвести его в низшее сословие, к рабам и слугам, было не так уж несправедливо. Но, с другой стороны, Ягве явно отметил этого Иеффая своей божественной благодатью;

он дал ему силу и дар привлекать к себе сердца людей, и поэтому было бы опять-таки несправедливо начисто отвергнуть его. Бог указал Авияму единственно правильный путь: Иеффая надо испытать, подвергнув искушению.

Какая честь для него, Авияма, что Ягве именно на него возложил эту задачу. Теперь в его руках судьба этого юноши, а значит, и судьба сыновей Зильпы. Теперь только он один имел право обдумывать и решать, кому быть судьей в Галааде.

Он испуганно вздрогнул. Подумать только: неужели его вопросы к Богу были продиктованы одним лишь тщеславием? В страхе он прислушался к своей душе. Нет, не тщеславие и не себялюбие руководили им, вопросы к Богу родились сами собой в глубине его ревностной веры. Он не обманывал ни Бога, ни себя самого.

Он открыл глаза и бросил робкий взгляд на огромный темный камень. Ужас, сковывавший его члены во время беседы с Богом, исчез. Бога в шатре не было. Авиям облегченно вздохнул.

И тут же послал сказать Иеффая, чтобы тот немедленно явился к нему.

7

Иеффай пришел. Роста он был среднего, но рядом с тщедушным священником казался высоким и могучим, заполняющим собою все пространство шатра. Густым басом, в котором слышались веселые нотки, он спросил: «Ну что, священник, говорил с тобою твой Ягве?»

Авиям не спешил с ответом. Он молча разглядывал юношу. От отца тот унаследовал жизнерадостную беззаботность и силу, но и пренебрежение к вере. И все же судья Галаад никогда не посмел бы произнести столь дерзкие слова в скинии Ягве. Но священник подавил раздражение. Он обдумывал слова, сказанные ему Богом. Чтобы Иеффай делом доказал свою преданность вере предков, Авиям должен был подвергнуть его трудному испытанию; заодно он убедил бы юношу, что Ягве — бог грозный и требовательный. С другой стороны, Ягве вряд ли хотел, чтобы Иеффай не выдержал испытания, он явно благоволил к младшему сыну Галаада. Следовательно, священнику надлежало терпеливо и осторожно подобраться к его душе и склонить юношу на свою сторону.

— Я был очень привязан к твоему отцу,— начал он,— ты был его любимцем, и я сам тоже высоко ценю твои достоинства. Если ты приглядишься, то увидишь, что перед тобой твой друг. Твои права на наследство спорны; однако, если ты исповедуешь нашу веру, я поддержу тебя от имени Бога, и твое право на земли в Маханаиме навек останется вытесанным на межевых камнях.

Но Иеффай переспросил, как бы не веря своим ушам:

— Ты сказал: «Если ты исповедуешь нашу веру». Разве я не родился в этой стране? Разве я не сын Галаада?

Авиям ответил осторожно и пространно:

— Я хорошо знал Левану еще в ту пору, когда ты не родился на свет, избавь меня Бог сказать хотя бы слово против женщины, которая была любимой женой твоего отца и твоей матерью. Но, будучи слугой Ягве, я не могу утаить от тебя: мне всегда было не очень ясно, насколько крепка была ее вера в Ягве, и осталось неясным до самого конца. Вчера ты сказал, что твой отец обрил ей волосы и она стала новым человеком, так что ее можно было принять в союз колен Израилевых. Я не возразил тебе, потому что в ту минуту ты защищался против несправедливых обвинений. Но здесь, где нас с тобой слышит только Ягве, я должен тебе сказать: было весьма сомнительно, можно ли твою мать принять в наш союз. Ведь твой отец познал ее и спал с нею до того, как кончилась война, так что ее полагалось бы по закону подвергнуть проклятию и принести в жертву Ягве. Но получилось так, что в той битве Бог не участвовал, Ковчег Завета был далеко, и людям хотелось назвать эту битву именем Галаада, а не Ягве. В таком объяснении много снисходительности, и если бы речь шла не о твоем отце, благословенном Галааде, Бог повелел бы мне отнестись к этому с большей строгостью. Ведь Ягве, в сущности, так и не допустил, чтобы евреи приняли твою мать в общину Израиля. Не могла она оторвать свое сердце от чуждых нам богов, даже хотела назвать тебя по имени одного из Ваалов, и мне лишь с трудом удалось уговорить твоего отца дать тебе то имя, которое ты носишь: счастливое имя Иеффай, что означает «Бог открывает путь». Признаюсь уж,— сокрушенно заключил священник,— я даже подозреваю, что после родов мать принесла в жертву Милхому твои волосы и крайнюю плоть.

Иеффай вскипел от гнева; в его карих глазах засверкали злые зеленые искорки, и он вскочил:

— Ты сказал, что не будешь оскорблять мою мать,— выкрикнул он,— и так подбираешь слова, что каждое в от-

дельности не является оскорблением. Но дух и смысл твоих слов оскорбителен!

— Не поддавайся буре чувств, клокочущей в твоём сердце,— попытался успокоить его Авиям.— Послушай, Иеффай, я хотел бы назвать тебя своим другом, я чувствую, что и имя твоё было божественным внушением. Ты избран Небом для великих дел, но только в том случае, если ты воистину состоишь в союзе колен Израилевых. Ты должен теснее связать себя с ним, дабы Ягве уделил тебе толику своей крови.

Подвижные черты Иеффая исказились досадой и недоверием.

— Ты тратишь слишком много слов, священник,—возразил он,— это не к добру. Скажи честно и ясно, чего ты от меня хочешь.

Сжавшись в комок на циновке, Авиям не сводил напряжённого и пронзительного взгляда со стоявшего перед ним юноши. Он слишком хорошо знал, как слабо и беспомощно его собственное тело, и завистливо восхищался могучим сложением Иеффая; но в то же время самолюбию его льстило, что он читает мысли юноши, и его радовал наказ Бога руководить им на тернистом пути познания и величия. Ровным, бесстрастным голосом он вновь принялся уговаривать:

— Ты умен и, если захочешь, легко поймешь, что я имею в виду. Надвигается новая война. Ягве нужны смелые воины, и ты достоин был бы стать во главе его воинства. Но прежде чем народ Галаада и его священник доверятся тебе, они должны убедиться, что ты ни малейшей своей частичкой не привязан к какому-либо из чуждых богов.

— Скажи же наконец, чего ты хочешь,— упорствовал Иеффай.

— Загляни в свою собственную душу,— строго ответил Авиям.— Вчера ты во всеуслышание заявил, что принес эти лживые камни Милхома как жертвенный дар отцу. Но разве таково было твоё намерение изначально, когда ты покидал свой дом? Разве не Кетура дала их тебе, чтобы её бог Милхом защитил тебя в пути? И разве не верил ты каким-то закоулком своей души в магическую силу талисманов? — С трудом поднявшись на ноги, старик подошел вплотную к Иеффая. Тщедушный, согбенный и тем не менее грозный, стоял он перед юношей, опершись на посох.— Неужели и здесь, в скинии Ягве, ты станешь утверждать, что взял с собой эти кощунственные изображения

только ради отца? И неужели думаешь, что Ягве захочет увидеть среди своих лучших воинов человека, носящего за поясом поганных божков?

Сбитый с толку пронизательностью священника, заглянувшего на самое дно его души, Иеффай ответил:

— Ты прав, моя Кетура в самом деле любит эти фигурки. Не думаю, чтобы Ягве мог разгневаться из-за каких-то игрушек.

Теперь пришел черед вспылить Авияму. Уставившись на собеседника горящим взглядом из-под густых сросшихся бровей, он ткнул его посохом в грудь и гневно воскликнул:

— Игрушки! Да твоя жена Кетура в союзе с богом этих лживых камней! — И поскольку Иеффай промолчал, пораженный неистовой яростью этой вспышки, старик продолжал наседавать: — Может, скажешь, что эти игрушки — единственные амулеты чужого бога, которые жена хранит в твоём доме? Только не вздумай лгать в шатре Ягве! Так как же — чтут или не чтут чужих богов в твоём доме, Иеффай, сын Галаада? Неужели ты думаешь, что в той войне, которую Ягве поведет против Милхома, он осенит своей милостью человека, в доме которого обитает Милхом?

Иеффай упорно стоял на своем:

— Но ведь войны пока нет и вряд ли будет. У нас нет причин враждовать с людьми Аммона.

Авиям с горьким удовлетворением смотрел, как извивался и выкручивался юноша. И, выждав момент, взялся за него по-настоящему: — Оставь пустые слова, в которые и сам не веришь! Нельзя быть в союзе с Ягве и одновременно с его врагом Милхомом. И ты это знаешь. Ягве — ревнивый бог. Он растопчет чужих богов. — И, понизив голос, многозначительно добавил: — И тех, кто их чтит.

Раньше Иеффай лишь смутно догадывался, куда клонит священник; теперь он понял это вполне. Авиям хотел оставить за ним наследство, но за это Иеффай должен был выбросить в выгребную яму все, что осталось у него на память о матери, и выгнать из дома любимую жену. В груди его заклокотал такой неистовый гнев, что он уже был готов резко осадить зарвавшегося старика.

Авиям видел, что юноша взбешен до крайности, что на его крупном массивном лице с плоским носом, придающим ему сходство со львом, глаза сверкают от злости. Этот Иеффай все больше нравился священнику, и теперь, когда возникла опасность окончательно его потерять, желание привлечь юношу на свою сторону завладело душой Авияма. Как обидно, что он может сделать помыслы Бога

и свои собственные мысли приятными и близкими какому-то там Самегару, а этому вот не в силах. А ему так бы хотелось возвести Иеффая в судьи!

Теперь он уже заклинал его:

— Не торопись, обдумай свой ответ. Подумай о том, чего ты лишишься, если откажешься изгнать из своего дома чужих богов.— И указал рукой в глубь шатра: — Там, в Ковчеге, лежат Скрижали, на которых Ягве своей рукой начертал заповеди, которые должны соблюдать израильтяне, но также и свои заветы им. Там написано, что ты угоден богу. Не отказывайся, покажи, на что ты способен. Новая война принесет наивысшую награду тому, кого Ягве изберет главным военачальником. Он станет главенствовать не только над Галаадом, но и над всеми коленами и родами Израиля по эту сторону Иордана: Рувимовым и Гадовым, Махировым и Авиезеровым. И не кому иному, как тебе, Иеффай, суждено будет объединить и повести за собой все это бесчисленное воинство.

Иеффай жадно внимал его словам и вбирал их в свою душу.

А священник вкрадчиво и настойчиво продолжал:

— Не отвергай своего будущего величия, Иеффай! Разорви связь с чужим богом! Побереги себя! Очисти свой дом от знаков чуждого бога: всех этих амулетов, фигурок и талисманов... И от тех, кто их чтит.

Но как только священник четко и ясно высказал свое требование, сразу рассеялись чары соблазнов, которые окутали Иеффая, словно теплые облака, принесенные ласковым западным ветром.

— Я отказываюсь!..— успел выпалить он.

Но Авиям вновь оборвал его и мягко, по-отечески, но в то же время настойчиво сказал:

— погоди отказываться! Дай улечься гневу! Обдумай и взвесь, прежде чем возражать!

Иеффай овладел собой. Старик был прав. Не следовало в этом подражать отцу, не следовало поддаваться первому порыву. Нужно все продумать. Мрачный и напряженный, он, сощурившись, глядел в одну точку. Думал.

В сущности, Авиям поставил его перед выбором: прогони прочь жену, и я возвышу тебя над братьями и сделаю тебя великим человеком в Галааде, во всем Израиле. Или же останься с женой, и тогда... Да, что тогда? Хитрый старик не угрожал ему. Он не нуждался в угрозах. Но если Иеффай не встанет на его сторону, старейшины откажутся

признать его права на наследство, а сыновья Зильпы выставят его из дома и превратят в слугу.

Авиям не был его врагом и не обманывал, он сдержит свое обещание, и сделать это в его власти. Но будет настаивать на своем требовании. Он поставил его перед выбором: либо военачальник — но без Кетуры, либо с Кетурой — но слуга.

Иеффай поднял голову. Посмотрел на священника. Тот стоял, опираясь на посох, бессильно подавшись вперед и скрыв жалкое свое тело под просторным одеянием. Иеффай улыбнулся. И улыбка — дерзкая, гневная и презрительная — стыла на его лице, пока он думал: «Что сделал бы он, этот жалкий, беспомощный старик, если бы старейшины поставили его самого перед таким выбором? Ему пришлось бы уступить. Но я — не он. Ягве даровал мне силу, даже этот старик признает в этом знак его особого благоволения, а крылатый каменный бык — бог моей матери — еще больше укрепил меня. Ни от чего не откажусь. Не откажусь ни от дома, ни от любимой жены».

Авиям прочел по лицу Иеффая, что тот ускользнул. И с болью осознал свое одиночество. Ему так хотелось обрести в Иеффаете юного друга, сына. И он сказал:

— Не решай ничего сразу, Иеффай. Выбор труден, даже умному нужно время, чтобы решиться. Я сделаю все, чтобы старейшины подождали выносить приговор еще несколько недель. Возвращайся в свой дом в Маханаиме. Он останется твоим вплоть до второго полнолуния. Тогда дашь ответ.

Иеффай ответил с едва заметной насмешкой:

— Ты очень терпелив, первосвященник Авиям. — И направился к выходу из шатра.

Но священник остановил его словами:

— Подойди ко мне, Иеффай, сын мой, прежде чем уйдешь.

Старик возложил ему на голову легкую костлявую руку и голосом, полным участия и приязни, сказал:

— Да уподобит тебя Ягве Манассии и Ефрему.

В тот же день Иеффай покинул город Массифу и направился на север, в Маханаим.

По дороге он вновь и вновь мысленно возвращался к разговору с Авиямом. Разум подтверждал правильность

первого порыва чувств, что он отметил с горьким удовлетворением. Никто и ничто не заставит его прогнать от себя Кетуру и дочь Иаалу.

И все-таки живое воображение продолжало рисовать ему картины того, чего он мог бы достичь, заключив союз с умным и влиятельным священником. Без сомнений, тому удалось бы поставить Иеффая во главе войска. А у него самого, без сомнений, хватило бы сил создать по эту сторону Иордана единое войско из всех способных носить оружие. Отец был очень горд, когда ему удалось однажды собрать восьмидесятичное войско. А он, Иеффай, чувствовал, что осилит и пятнадцать тысяч. И пусть тогда сунутся к ним сыны Аммона даже вкуче с Моавом. И пусть им несть числа и у них будут боевые кони и железные колесницы, а за спиной крепость Раббат-Аммон, пусть его израильтяне будут плохо вооружены, он верил, что у него достанет искусства и находчивости, чтобы раздробить и расчленить, разгромить и уничтожить врагов.

Глупые мечты. Священник никогда не вступит с ним в союз. Такого не перехитришь. Священник никогда не согласится поставить его во главе войска, если он не откажется от жены.

В сущности, все это странно. Ведь он, Иеффай, поступал точно так же, как отец. Дознавшись, что жена продолжала чтить своего бога Милхома и его священные изображения, отец лишь рассмеялся, погрозил матери пальцем и поддразнил ее, и священник смотрел на это сквозь пальцы. А от Иеффая требовал, чтобы он прогнал жену. Гнев охватил его. Они просчитались, Авиям и сыновья Зильпы.

Так, отдаваясь смене чувств, мыслей и воспоминаний, держал Иеффай путь на север. Когда дорога шла по равнине, он ехал на ослице, когда поднималась на холм, он шагал рядом с ней. На его лице отражалось все, что теснилось у него в голове; оно было то бешеным и решительным, то ехидным и плутоватым. Время от времени он вслух говорил сам с собой. Иногда раздражался громким раскатистым хохотом, то злобным, то грубоватым, полным жизненной силы, и белая ослица вторила ему пронзительным криком.

То и дело мысли его возвращались к тому, что теперь будет. Он точно знал, чего он не сделает; но что ему делать, не знал.

Так двигался он по холмам и долинам и, переправившись вброд через реку Иавок, извивавшуюся по дну глубокого ущелья, добрался до северной части Галаада, где

галаадитяне жили вперемешку с коленами Гадовым и Манассиным.

Он поднялся на Бамат-Елу, «Холм фисташкового дерева». Отсюда открывался широкий вид. Там, внизу, раскинулись уже окрестности Маханаима. Справа были его загоны для скота и его поля, и хотя он не мог разглядеть то, что лежало в спящей полосе у края неба, но твердо знал: там был город Маханаим и его дом.

Он присел отдохнуть под деревом, давшим название холму.

Он любил это место и часто сживал здесь. Дерево было старое, не слишком высокое, но могучее, крепкое, с раскидистой кроной, одно из тех вечнозеленых деревьев, в которых обитали боги. Это дерево тоже было священным: в нем жил местный Ваал, по воле которого урожайные годы сменялись неурожайными. Поэтому под деревом лежал огромный плоский камень, и люди оставляли на нем дары и жертвоприношения. Некоторые утверждали, что теперь это дерево стало святилищем Ягве; однако особо истовые ревнители Ягве требовали, чтобы Иеффай срубил дерево — оно, мол, осквернено присутствием в нем чужого бога. Однако Иеффай воспротивился; дерево это было дорого многим его соплеменникам и прежде всего Кетуре. Он горько улыбнулся. Послушайся он Авияма, и ему пришлось бы уступить и срубить дерево. Он поднял голову и взгляделся в густую листву: поздоровался с богом, который там жил.

Потом спустился с холма. За час пути до города начались земли, которые Галаад подарил им с матерью. Там и сям торчали высокие и узкие межевые камни; они имели форму мужского члена и посвящались Ваалу Маханаима, могущественному богу плодородия. Камни эти стояли здесь с незапамятных времен, и на их поверхности за века были высечены имена многих, владевших этими землями; одни имена стесывались, другие вырезались. Теперь на них стояло его имя, имя Иеффая. Он провел пальцем по выбитым в камне значкам — треугольникам и клиньям, то лежащим на боку, то стоящим на острие; знаки говорили о том, что эти поля принадлежали ему. Значит, теперь, после второго полнолуния, эти знаки уничтожат и вместо них высекут имена сыновей Зильпы.

Иеффай шумно задышал. Он им покажет, что превышает всего — воля отца, а покойный Галаад подарил эти земли ему, а не им.

Дорога полого поднималась к Маханаиму. Иеффай мог бы и дальше ехать на ослице, но он спрыгнул на землю — так будет быстрее. Весь долгий путь он проделал без спешки, но теперь ему не терпелось поскорее оказаться дома.

Но кто это неожиданно появился впереди на дороге, что за счастливое предзнаменование? Это они, Кетура и Иаала, размахисто шагали ему навстречу в лучах заходящего солнца. Но вот и они его увидели, бросились бегом и прижались к нему. Он поцеловал жену, поцеловал жарко, как не полагалось целовать жену вне дома, на глазах у посторонних. Потом поцеловал дочь, свою девочку, свою Иаалу. Она глядела на него во все глаза, влюбленно, почтительно, восхищенно и счастливо. Погладила его подбородок и щеки — борода уже начала отрастать. Потерлась лицом о жесткую щетину и залилась беззвучным счастливым смехом: щетина кололась и щекотала. Потом жена и дочь заспорили, кого из них посадить на ослицу: каждая уступала это право другой; Иеффай решил их спор, посадив на ослицу жену, Кетуру. Теперь он одной рукой вел животное, другой держал за руку дочь, а когда дорога сужалась, Иаала выбегала вперед.

Кетуре не терпелось узнать, что произошло в Массифе, но она удержалась от расспросов, как и предписывалось приличиями, поинтересовалась только его здоровьем и стала рассказывать о мелких событиях, произошедших за время его отсутствия в доме и в городе. Он глядел на нее и не мог наглядеться: какая она тоненькая, смуглая и прелестная. Прогнать такую жену! Да не может того быть, чтобы она пришлась не по вкусу Ягве! Он вдруг громко и радостно рассмеялся, не объяснив ей причину.

Они вошли в город, потом в свой дом. Сестра Иеффая Казия и ее муж Пар приветствовали прибывшего, сияя от радости. Женщины омыли хозяину дома ноги. Наступил вечер, с полей возвращались работники, и каждый приветствовал хозяина почтительно, но без раболепства, кое-кто даже шутливо. Покойный Галаад любил посмеяться, да и Левана была веселого нрава, так что их дом в Маханаиме всегда полнился смехом и радостной болтовней.

Пора было ужинать. Сначала на циновки вокруг низенького столика уселись мужчины, а женщины только подавали и убирали. Все шумно и оживленно беседовали.

И все сгорали от любопытства, но никто не осмеливался расспрашивать Иеффая.

Нет, один все же осмелился: то был старый Тола, дряхлый, седой как лунь старик; родом он был из Вавилона, великого северного царства; некогда попал в плен к израильтянам, Галаад давным-давно отпустил его на волю, а Иеффай, несмотря на его годы и дряхлость, доверил ему надзирать за слугами. Старый Тола долго шамкал что-то себе под нос, жестами давая понять, что собирается говорить, наконец открыл рот и спросил прямо в лоб:

— Наверное, твой братец Елек, эта жадная и хитрая лисица, по своему обычаю, увидев тебя, просиял? Не зря сказано: «Если тебя поцелует Елек, пересчитай свои зубы».

Иеффай сделал вид, что не слышит, но Тола не отставал:

— Надеюсь, ты дал им всем отпор, господин. Ты молод, но и молодая крапива жжется.— Старик любил ввернуть в свою речь пословицу, давно всеми забытую.

Когда мужчины поужинали, за стол сели женщины. А мужчины тем временем вышли из дому и в сгущающихся сумерках уселись вокруг колодца, чтобы поговорить по душам, как принято между мужчинами. Но Иеффай и тут не стал рассказывать о том, что произошло в Массифе.

Только на следующий день, оставшись с глазу на глаз с Кeturой, он поведал ей все. Они шли по полю, он держал ее руку в своей, потом обнял за плечи. Он старался как можно точнее передать то, что там произошло, и мучительно подыскивал нужные слова. Но в то же время всем своим существом чувствовал близость женщины, нежность ее смуглой кожи, пружинистость ее легкой походки.

Когда он умолк, она высвободилась из его объятий, преградила ему путь, поглядела прямо в глаза и с улыбкой, тронувшей ее крупные пухлые губы, спросила, даже чуть игриво, словно все это было лишь невинной шуткой: «И как же ты поступишь? Прогонишь меня?»

Она стояла перед ним — хрупкая, упругая, легкая, он чувствовал, что любит ее, любит в ней всё, и больше всего — серые ее глаза.

— Прогнать тебя! Лишиться моего главного сокровища! — ответил он и тоже рассмеялся.— Ишь чего захотел, священник!

Они двинулись дальше, дорожка сузилась, он пропустил ее вперед и радовался, глядя, как уверенно и легко ступает она по земле. Оглянувшись через плечо, она сказала, и ее гортанный голос на этот раз звучал полушутливо-полусерьезно:

— Видимо, он очень высоко тебя ценит, иначе не наобещал бы так много. Судья в Израиле, Верховный судья, такой чести никто не удостоивался после судьи Гедсона. Ты был бы пятым в их ряду.

— Это не совсем верно, — возразил Иеффай, тоже шутливым тоном. — Ты забыла о моем отце, правда, его титул не был признан всеми. И еще: когда Девора вершила суд в Израиле, Варах делил с ней этот пост, да и Иаира нужно к ним прибавить, хоть он и не был великим судьей. Вот видишь, я был бы уже восьмым.

— Сдается мне, ты успел все это обдумать, — все так же шутливо бросила Кетура.

Дорожка вновь расширилась, так что они опять могли идти рядом, правда лишь плотно прижавшись друг к другу. И Кетура вновь заговорила:

— Мне жаль амулетов твоей матери, но я охотно уступаю их судье Галааду, сидящему в погребальной пещере. Не думаю также, что Ягве на тебя гневается за то, что ты взял их с собой, и за то, что терпишь в своем доме мои амулеты. Во всяком случае, Бог ни разу не дал нам понять, что гневается. Мне кажется, дела у нас тут в Маханаиме обстоят совсем неплохо. Пшеница дает прекрасный урожай, оливковое масло так и брызжет из-под пресса, стада множатся, ко времени стрижки овец в дом съезжается множество гостей, они веселы и рады нас видеть. Да и дочь твоя Иаала удалась на славу; и мы с легкостью подберем ей в мужья человека с добрым нравом и достаточным состоянием.

Легкая тень пробежала по лицу Иеффая. Кетура не родила ему сына, но он любил дочь не меньше, чем любил бы самого лучшего сына. И все-таки сердце его сжималось от боли, когда он вспоминал, что судьба обделила его; может, это и было мстью Ягве, о которой предупреждал священник. А ведь Иеффай, впервые увидев Кетуру, обуздал свою похоть, чтобы строго и точно соблюсти требование Ягве. И сейчас еще жива была в нем память о том, как обожгла его тогда жажда обладать ею. Битва только что кончилась, сердце еще горело азартом боя, когда они, преследуя врагов, вихрем налетели на вражеские шатры. Женщины и дети бросились врассыпную, и быстрее всех бежала она. Но он догнал и схватил ее, молодая кровь, кипевшая в его жилах, властно звала утащить девушку за первый попавшийся куст и, сорвав с нее одежды, сделать с ней то, что хотел. Но тут он встретился с ней взглядом и увидел, какой жгучей ненавистью, больше, чем нена-

вистью, горели ее расширенные от дикого ужаса глаза на смуглом исхудавшем лице, и похоть его вдруг перебороло другое, еще более острое желание: «Хочу, чтобы она вся была моей, хочу завладеть не только ее девичьей честью, а «познать» ее до конца, хочу подчинить ее себе вместе с ее чуждым мне богом и с ненавистью, которой она дышит». И пока плоть его бурлила и пылала, разум спокойно и веско рассудил: «Если я возьму ее тут же, на месте, на нее падет кровавое заклатье, ее убьют и принесут в жертву Ягве вместе с другими пленными». Из этой мешанины мыслей и чувств вдруг родилось и сразу подавило все прочее единственно верное решение: «Отведу ее обратно в их лагерь нетронутой, девственницей, тогда она достанется мне по закону, обычаю и праву Ягве и нашего народа, и она будет принадлежать мне целиком». Так он и сделал, и вот она здесь, с ним, и принадлежит ему телом и душой, и ему хорошо с ней, и он не нанес обиды Ягве. Почему же Бог не дал ему сына? Может быть, своенравный и переменчивый Бог все-таки гневается?

Словно угадав его мысли, Кетура вновь обратилась к нему, сказав не то в шутку, не то всерьез:

— Подумай хорошенько, и ты поймешь, что священник пообещал тебе очень много и в глубине души ты жаждешь все это иметь. Может быть, тебе все же стоит прогнать мня, мой Иеффай, меня и нашу Иаалу.

Иеффай взмолился:

— Такими вещами не шутят, Кетура.

Тогда Кетура спросила:

— Но как ты собираешься поступить? Что с нами будет, если ты останешься со мной?

И Иеффай, окаменев лицом, ответил:

— Что ж, скажу тебе, раз ты этого хочешь. После второго новолуния они явятся сюда от имени Ягве и старейшин и выгонят нас из нашего дома. И высекут на межвых камнях имена сыновей Зильпы. А если захотят сделать широкий жест, оставят за мной один-два загона, так что я стану правителем над тремя сотнями овец. И Елек вознаградит меня за труд тремя сиклями в год, а если будет в духе, и тебе перепадет один сикль.

Улыбнувшись своим мыслям, Кетура сказала:

— Никак не могу представить себе Иеффая работником Елека.— И, по-детски радуясь своей прозорливости, добавила: — А я знаю, как ты поступишь.

— Как же я поступлю? — спросил Иеффай.— Скажи мне, Кетура, умная моя женушка.

И Кетура, медленно шагнувшая впереди него, ответила так же неторопливо, как ступали ее ноги по тропе:

— Прекрасны белые дома Маханаима, приятно глядеть с крыши нашего дома или со сторожевых вышек возле загонов на земли, раскинувшиеся вокруг города. Радуют глаз спелые колосья, колышущиеся на ветру, и оливки, выглядывающие из листвы. Но прекрасны и бурые шатры кочевников, вольно пасущих свои стада в степи, прекрасны их радости и страхи, с которыми они встречают каждый день, не зная, что он им принесет, прекрасно жить в надежде на воду и пальмы оазиса и в страхе перед сухими песками, и счастливы люди, у которых над головой — просторный купол неба, а вокруг — степи без конца и края. — Внезапно остановившись, она воздела руки к небу и, дико сверкнув глазами, издала громкий пронзительный крик.

Иеффай молча смотрел и слушал. Это из его груди вырвался ее крик.

Мысленно он и сам не раз прикидывал, как ему поступить. Подумывал и о том, чтобы уйти в степи на севере Галаада и собрать вокруг себя друзей, возмущенных совершенным над ним насилием. Но планы эти оставались лишь смутной мечтой. А вот сейчас все прояснилось: у него был лишь один выход. Вместе с женой и дочерью уйти в дикие края и ждать своего часа.

Священник поставил его перед выбором: власть или подневольный труд. И не подумал о том, что такой человек, как Иеффай, мог выбрать третье: вольную волю в диком краю.

Всю жизнь Иеффай прожил под защитой прочных стен отчего дома. Но сколько раз его тянуло вырваться отсюда, теснота родного гнезда сковывала его. Он не хотел больше день за днем наталкиваться на межевые камни соседа и все время помнить о законах и запретах. Он хотел поступать так, как считал правильным, только и всего. И уже радовался, что будет жить в степи, среди бескрайних просторов.

Авиям потому и хотел разлучить его с Кeturой, что она была вольной дочерью степей. А священник стремился держать его на привязи подле священных Скрижалей с Заповедями Ягве.

В отличие от священника Кетура не употребляла высоких слов. Она говорила о доме и поле, о шатрах кочевников, воде и степи. И все же Иеффай посмотрел на нее, как на ясновидящую. Она подсказала ему правильный выход.

Иеффай хорошо представлял себе опасности, которым подвергал себя и свою семью. Ведь Кетура, говоря о кочевой жизни в пустыне, вспоминала, как странствовало ее родное племя. Все кочевавшие с ним не чувствовали себя беззащитными. Все члены племени составляли единое целое, и обида, нанесенная одному из них, воспринималась как общая, и все мстили за одного, ударом за удар, раной за рану, и мысль об этом сдерживала врагов. Но он, Иеффай, не мог присоединиться к какому-либо кочующему племени аммонитян, не мог отказаться от собственного Бога. Значит, он будет с женой и ребенком один на один с пустыней, без защиты и прикрытия, и некому будет ни помочь, ни отомстить. Да и покрытая сочными травами степь, где пасли свой скот племена кочевников, была им заказана: им оставалась только «тоху», дикая пустошь.

Но и в «тоху» жили люди. То были отверженные, сбегавшие от своих соплеменников. Были и такие, кто по своей воле предпочел кочевую жизнь. Ибо, хотя оседлые народы и насмехались над кочевниками и обзывали их «прыгунами, бродягами, дикарями», многим людям надоело и наскучило вечно оглядываться на бесчисленные мелочные предписания и запреты, так что часто доводилось слышать о новых и новых беглецах, укрывшихся в «тоху».

Их называли «анашим реким» — разбойниками, гиблыми, пропащими людьми, их презирали и боялись, и одним из таких суждено стать Иеффаю. Его живая фантазия тотчас принялась строить планы будущей жизни. Он умел привлекать к себе людей, к его словам охотно прислушивались, может быть, ему удастся убедить кое-кого из этих «пропащих» объединиться. Сбившись в стаю под водительством находчивого человека, будет как-никак легче выжить, чем в одиночку. Иеффай злорадно улыбнулся. Разве священник не жаждал сделать из него военачальника? Вот он им и станет, сплотив «пропащих» в отряд, и даст начало новому роду, новому колену!

Сызмальства Иеффай и его сестра были очень привязаны друг к другу; он всегда доверял ей, откровенно говорил с ней о своих делах и часто просил у нее совета. С ее мужем Паром он тоже очень сдружился еще в юности. Пар был отпрыском одной из самых уважаемых семей Галаада и не раз доказывал свою осведомленность как в мирных, так и в военных делах. Он был на два года старше Иеффая и обладал нравом спокойным и рассудитель-

ным. Несмотря на это, он никогда не насмехался над порою странными выходками Иеффая, наоборот, быстрый, стремительный Иеффай, обуреваемый сложными и смелыми замыслами, с детства привлекал к себе невозмутимого Пара, он без тени зависти признавал превосходство младшего приятеля и был его самым надежным другом.

Им обоим, сестре Казии и ее мужу Пару, Иеффай раньше, чем всем остальным, в скупых и ясных словах объявил о своем решении покинуть земли Галаада еще до наступления назначенного срока.

Плечистый, приземистый Пар задумался, подперев ладонями круглую как шар голову; ему надо было время, чтобы переварить услышанное. А Казия, немного помолчав, робко спросила:

— И куда ты отправишься, Иеффай? Присоединишься к аммонитянам, родному племени Кетуры?

Иеффай только вскинул на нее удивленный взгляд. Вместо него ответил Пар, словно Иеффая не было рядом, и одернул жену:

— Что ты говоришь, Казия! По-твоему, он способен приносить жертвы Милхому?

И Казия, набычившись, как делал это брат, сказала в свое оправдание:

— Уж и спросить нельзя. В конце концов, у него есть причины обидеться на галаадитян.

Они сидели на краю колодца, погружившись в свои думы. Иеффай ожидал, что решит Пар. Наконец тот сказал, как всегда степенно и рассудительно, опять-таки словно не замечая Иеффая и обращаясь только к жене:

— Иеффаю не годится быть работником у сыновей Зильпы. Так что ему не остается ничего другого, как уйти в дикую пустошь, к «пропащим».

Иеффай просиял. То, что осмотрительный и благоразумный Пар пришел к такому же заключению, что и он сам, принесло ему большое облегчение.

Пар тем временем продолжал рассуждать:

— Слушай, Казия, если начнется война с Аммоном, они, пожалуй, потребуют, чтобы и я расстался с тобой, раз у тебя мать аммонитянка.

Его умные карие глаза глядели ей прямо в лицо, и он сразу понял, что она думала о том же, что и он; они улыбнулись друг другу, и он сказал Иеффаю:

— Знаешь, что я тебе скажу, Иеффай: мы уйдем вместе.

А ведь Пар был законным отпрыском влиятельного рода, его жена Казия — дочерью судьи Галаада, истово преданной Ягве, так что на него никогда не посмели бы посягнуть враги Иеффая. И если Пар предложил уйти вместе, то сделал это только по дружбе. У Иеффая точно камень с души свалился. Он обнял обоих и спросил своим теплым, несколько грубоватым голосом:

— Вы в самом деле хотите уйти со мной? А что станется с детьми?

На этот раз ответила Казия:

— Естественнo, возьмем их с собой. Ведь и ты не бросишь Иаалу.

Пар заметил:

— Следовательно, нас будет восемь: двое мужчин, две женщины и четверо детей.— Он вопросительно глянул на Иеффая.

А тот, обрадовавшись, что Пар думал о том же, что и он, ответил:

— Ты прав, нас будет и слишком мало, и слишком много.— И, лукаво прищурившись, закончил свою мысль: — Мы не станем кричать на всех углах, что уходим в степи, но и таиться не будем.

— Вот именно,— ухмыльнулся Пар,— и в городе, и в его окрестностях найдутся люди, которым не улыбнется стать работниками у сыновей Зильпы.

А Казия, тоже весело блеснув глазами, заверила:

— Многие скажут: лучше с Иеффаем в дикой пустыне, чем под властью Зильпы у теплого очага в Маханаиме.

В общем, они решили готовиться к отъезду обстоятельно и на глазах у всех. И получилось так, как они ожидали. Тяга к кочевой жизни, присущая предкам галаадитян, все еще сидела в крови у их потомков, и весть о том, что теперь даже любимый сын покойного судьи собирается променять отчий дом на вольную жизнь под открытым небом, взбудоражила многих молодых мужчин, и с каждым днем все больше было желающих присоединиться к Иеффаю.

Отцы семейств, старейшины города, всполошились. Они пришли к Иеффаю и сказали:

— Мы огорчены твоим решением нас покинуть. Обуздай свое беспокойное сердце и останься с нами, дорогой друг Иеффай, сын Галаада. Потерпи немного, и мы добьемся, что ты будешь вершить суд в Маханаиме и сидеть у ворот города среди старейшин.

Но тот возразил:

— Не я покидаю вас, дорогие старейшины и друзья, а сыновья Зильпы гонят меня из дома. И не кто иной не сможет добиться, чтобы я вершил суд в Маханаиме, как только я сам.

Молодых мужчин, пожелавших уйти вместе с ним, Иеффай подверг тщательной проверке. Он никого не уговаривал, наоборот, рассказывал, какая суровая и полная опасностей жизнь ожидает их в диком краю, и согласился взять только тех, кого счел достаточно крепкими и надежными и чьи лица внушали ему доверие.

Старый Тола, главный среди слуг, настаивал, чтобы его тоже взяли.

— Тебе это будет не по силам, старый мой друг и отец,— предупреждал его Иеффай.— Прошу тебя, останься здесь и грей у очага и на солнышке свои старые кости. Я заставлю старейшин клятвенно обещать мне, что тебе не причинят никакого вреда.

Но Тола, обиженный и несчастный, сказал:

— Нехорошо с твоей стороны, Иеффай, сын мой и господин, что ты не чтишь старость. Знаю, я немного одряхлел, но, как говорит древняя мудрая пословица: «Жизненный опыт — все равно что третья нога».

У Иеффая просто язык не повернулся отказать старику и оставить его на произвол сыновей Зильпы, так что он согласился взять того с собой.

Наконец пришло время решить, куда им всем податься. То ли на север, изобилующий недоступными горными хребтами? То ли на запад, где простиралась обширная, выжженная солнцем пустыня, такая бесплодная, что кочевые племена обходили ее стороной?

Когда Иеффаю было десять лет от роду, кто-то из колена Рувимова, общий любимец, молодой и прыткий, в драке ненароком убил человека. Убитый был отпетый негодяй, к тому же сам затеял драку, осыпав того оскорблениями. Однако судья Галаада был обязан выдать убийцу родственникам убитого, чтобы те побили его камнями, как того требовал закон их народа. Но убийца в ту же ночь исчез. Как выяснилось позже, он сбежал в землю Тов. И Галаад сказал, что поступил он правильно: в земле Тов он найдет надежное прибежище. С той поры Иеффай связывал свои мечты о свободе и независимости с этой землей.

Но прежде чем принять окончательное решение, Иеффай посоветовался с Паром и другими мужчинами, с мнением которых считался. Земля Тов лежала на севере, там,

где не было четкой границы меж землями колена Манасиина и царствами Васан и Сова. Это была дикая пустошь, пользовавшаяся дурной славой из-за суровых зим, ни одно из колен Израилевых не пыталось объявить ее своей, и никто не претендовал стать там судьей. В земле Тов люди были свободны. Именно к такой жизни стремились Иеффай и его сторонники.

Когда окрест разнеслась весть о том, что беглецы избрали своим пристанищем этот суровый край, их родственники и друзья наконец поняли, на какую тяжкую, полную тревог и лишений жизнь обрекают они себя, и даже у тех, кто только что горел решимостью последовать за Иеффаем в бескрайние вольные просторы, испуганно сжалось сердце. Их толкала в путь тяга к чему-то новому, и они лишь теперь по-настоящему осознали, сколь благословенна страна Галаад. Почти поголовно все они поднялись на холм Бамат-Елу, дабы в последний раз воздать почести обитающему в священном дереве Ваалу, богу и покровителю этих мест. Покидая его, они чувствовали себя виноватыми перед богом, живущим в могучем дереве, и молили его их простить. Но за то, что поднялись на холм Ваала, они ощутили свою вину и перед Ягве, в помощи которого будут теперь нуждаться больше, чем прежде, потому они и ему принесли жертвы.

Иеффай разделял чувства своих людей. И хотя сознавал, что теперь должна начаться совершенно новая жизнь, старая тоже не отпускала. Злость на мачеху и братьев и в пустыне будет жечь огнем его сердце, и придет день, когда он заставит их испытать до дна горькую чашу унижения. И еще много всяких других дел осталось у него в Галааде. Он еще вернется сюда.

И ни в коем случае он не станет рвать узы, связывающие его и жителей Маханаима. Они не причиняли ему никакого зла, уважали его и были ему друзьями; пусть же и впредь ими останутся.

Он устроил особый пир, пир дружбы, который должен был освятить своим присутствием Ягве как «Эль-Берит», Бог единства и братства. В честь Ягве забили годовалого теленка, а его внутренности разрезали на куски; остававшиеся в городе отцы семейств и вожаки двенадцати семерок, на которые Иеффай разбил свой отряд, переступая через эти куски, поклялись: пусть их самих разрежут на куски, как этого теленка, если они нарушат верность друг другу.

Пиршество удалось на славу. В Маханаиме и его округе не было еще столь обильной трапезы по случаю свадьбы,

похорон или стрижки овец, на которой было бы столько съедено и выпито, как на этом великом дружеском пире прощания с «бродягами». Двадцать «еф» муки тонкого помола, в четыре раза больше обычного, было израсходовано на пироги, кроме годовалого теленка забили упитанного бычка и бесчисленное множество овец и баранов. Каждый, уходивший из города с Иеффаем, получил заднюю часть бараньей туши и две чаши вина, а под конец пира — еще и чашу шекера.

На следующее утро, едва выглянуло солнце, Иеффай покинул город. По настоянию старого Толы сведущие люди вырезали на воротах Маханаима несколько слов, а потом покрасили их красной краской. Мало кто смог их прочесть, но все знали, что там написано: «Благословен будь твой уход, благословен и приход». С этим напутствием Иеффай отправился в дикий необжитый край.

И он сам, и Кетура ехали на белых ослицах. Его короткая жесткая борода четко вырисовывалась в лучах восходящего солнца, длинные волосы Кетуры развевались, тронутые легким ветерком. Их дочь Иаала сидела на спине пожилой спокойной ослицы. Боевые семерки были отлично вооружены, за отрядом следовало два стада овец и обоз, состоящий из двенадцати тяжело груженных ослов.

Нет, это совсем не походило на бегство человека, отринутого обществом; то вождь вел своих людей в поход к великой цели.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В земле Тов, среди густых дубовых рощ, крутых склонов и бурных горных речек Иеффай и его отряд чувствовали себя в полной безопасности. Но климат здесь был так суров, что зимой им пришлось худо. Три женщины и двое мужчин умерли. Большая часть скота погибла.

Кое-кто из отряда тайком сбежал в более теплые края. Но большинство без стонов и жалоб мужественно выносили холод, голод и лишения. Даже женщины и дети, которых в отряде было немного, держались стойко. Они ловко карабкались по скользким от дождя скалам и продирались по глинистым склонам сквозь густой кустарник. Никто из них не выказывал страха перед дикими зверями, которыми кишели заросли. Как-то раз, когда Кетура разыскивала

отставшего ягненка, на нее напал волк и нанес ей тяжелые раны. Две недели пролежала она, испытывая нестерпимые боли. Казия, знавшая толк в искусстве врачевания, заботливо ухаживала за ней, смазывая раны живительным бальзамом, из сока целебных трав, смешанного с оливковым маслом, меняла повязки. На плече и бедре Кетуры остались грубые рубцы. Кетура посвятила пролитую ею кровь своим богам и отныне, глядя на эти рубцы, испытывала гордость и чувствовала себя в безопасности под их защитой.

Наконец пришла весна и открыла им всю красоту здешней природы. Со склонов, журча и пенясь, устремились вниз зеленые и голубые ручьи, сильные ветры принесли упоительные запахи, на севере ослепительно засверкала снежная шапка на горе Хермон. С каждого следующего холма открывался новый вид на извилистую реку Иармук, вгрызавшуюся в волнистые предгорья Васана. Мужчин уже не сиделось на месте, какое-то радостное возбуждение гнало их из лагеря. Женщины распрямились, походка их стала упругой, и они легко носили на голове тяжелую поклажу.

Суровая зима еще больше сблизила Иеффая с его людьми. Он сидел с ними у костра, равный среди равных, смеялся и шутил, как и они, и каждому казалось, что к нему лично он относится с особым теплом.

С Паром они жили душа в душу. Иеффай чувствовал себя увереннее, убеждаясь, что этот знающий и рассудительный человек безоговорочно признавал его главенство. Высоко ценил Иеффай и благочестие Пара, у которого искренняя вера и преданность Ягве не сопровождались многословием и хитрыми уловками Авияма. Как удачно, что рядом с ним был такой человек, он внушал надежду, что Ягве не отвернется от них и благословит их начинания.

А они очень нуждались в его благословении. Жестокая нужда в самом необходимом для жизни не ослабла и в теплое время года, она даже ужесточилась, когда иссякли припасы, захваченные из дому. «Анашим реким», вольные птицы степей, какими стали здесь Иеффай и его люди, жили в основном за счет дани, которую собирали с поселений и отдельных крестьян в обмен на покровительство и защиту от набегов. В этих местах со скудными пастбищами поселения представляли собой несколько жалких, сбившихся в кучу шатров, так что, явившись туда в пору стрижки овец и получив в качестве дани двух-трех ягнят, трудно было рассчитывать на что-нибудь большее.

Несмотря на все это, отряд Иеффая рос. В него вливалось пополнение даже с другого берега реки Иармук, где не утихали волнения и шла страшная смута. В свое время, когда израильтяне достигли этих мест, они захватили все земли на север от Иармука вплоть до Дамаска, но за истекшие с той поры годы прежние жители этих краев, амореи, вернули себе большую часть земель и восстановили на них древние царства Васан и Сôва. В отдельных городах власть то и дело менялась, они оказывались то в руках израильтян, то под царем Васана, и при каждой смене властей многим жителям приходилось спасаться бегством. Кто был полон сил и жажды действий, старался примкнуть к отряду Иеффая.

Тот приветливо их встречал, но отбирал весьма строго. Некоторым он говорил: «Жизнь здесь слишком сурова для тебя, брат мой, тебе придется переносить и голод, и холод, и жару, и тяжелые переходы, а мой слух не терпит жалоб. Поищи себе кров, очаг и ложе где-нибудь в другом месте, для нашей бродячей жизни ты не годишься».

Явившиеся к Иеффаю амореи в большинстве своем были богатырского сложения. Увидев их, Иеффай понял, почему израильтяне, впервые повстречав жителей Васана, назвали их «рефаим», великанами, и был очень доволен, что такие доблестные воины хотели присоединиться к нему. Но существовало одно препятствие. Его отряд спланировала вера в Ягве, а новоприбывшие чтили бога Ваала, крылатого быка, и его жену Астарту. Иеффай готов был посмотреть сквозь пальцы на то, что они принесли с собой своих идолов, если они признают Ягве главным богом. Некоторые не соглашались. Но большинство выразило готовность вступить в союз с Богом, у которого столь доблестный военачальник. Они брали задаток, приносили в жертву Ягве ягненка, выпивали чашу вина пополам с его кровью и становились воинами Ягве и Иеффая.

А тот, при всей своей простоте в обращении, требовал их беспрекословного подчинения. Нарушившие его приказ немедленно изгонялись из отряда и из земли Тов. Случались с ним и приступы внезапного дикого гнева, такие же, как у его отца, причем от сказанного в минуты гнева он и потом не отступал. Однажды, в ответ на протест своего шурина, Иеффай заявил нахмурившись, что отряду придется принять своего предводителя таким, каков он есть. «Разве нам не приходится,— зло пошутил он,— нам всем, тебе, мне и всему народу израильтянскому, принимать Ягве таким, каков он есть, со всеми его при-

страстями и причудами?» У Пара даже язык отнялся от такого святотатства.

Весна окончательно вступила в свои права, и Иеффаю, как и остальным, не сиделось на месте. В одиночестве он бродил по окрестностям, уносясь мыслями в дальние дали.

Частенько вспоминался ему разговор с Авиямом в скинии Ягве. Священник не был его врагом, но не был и другом, он причинил ему много зла и за это заплатил. И все-таки слова, сказанные им тогда, прочно засели в мозгу Иеффая и не давали покоя.

Уж очень заманчива была мысль — объединить все израильские колена к востоку от Иордана. Да только как это сделать? Его отец Галаад даже в лучшие свои годы мог выставить лишь несколько тысяч ополченцев из собственного народа. Как одному человеку собрать под свое предводительство взрослых мужчин всех семейств и колен, обитающих на этих землях? Такой военачальник и судья должен делом доказать, что строптивым не поздоровится. Если он с этим справится, тогда, конечно, сумеет набрать войско в пятнадцать, а то и в двадцать тысяч, и его собственная сила возрастет в тысячи и тысячи раз. Ибо они будут его продолжением, как его рука или нога, они будут частью его самого.

Воображение рисовало ему все новые и новые картины. Он видел, как объезжает поселения, одно за другим. Слышал, как уговаривает старейшин, потом угрожает им, а под конец посылает воинов насильно вытащить их из домов. Закрыв глаза, увидел, как все они собираются на поле за стенами Массифы. Увидел тысячи шатров, целое море шатров, и толпы вооруженных мужчин. И он был их предводителем, его воле они все были подвластны.

Он с усилием отогнал от себя это видение.

В эту весну он исходил землю Тов вдоль и поперек. На каждый холм тянуло его подняться. И он долго стоял там на голой вершине под бездонным небом, залитый ослепительным солнечным светом, широкоплечий, могучий. И взгляд его жадно впитывал необозримые просторы, раскинувшиеся вокруг. Люди называли этот край «Тов», что значит «хороший», называли в насмешку, ибо сочли его суровым и неприветливым. Но на самом деле земли эти хорошие, и стоящему человеку здесь есть за что взяться. Он упрямо выпятил челюсть с короткой бородкой. И улыбнулся своим белозубым и ярким ртом далекой заснеженной вершине Хермона.

Среди амореев, примкнувших к отряду Иеффая, был некий Нусу, силач необычайно высокого роста, но вялый и ума небольшого. Иеффая он подкупил своим грубоватым простодушием и чисто дикарской резкостью; кроме того, Иеффай был рад любому аморею. Нусу был неразговорчив, да и язык его, угарит, хоть и был похож на еврейский, однако не всегда понятен. Остальные поначалу пытались было как-то оживить и растормошить его, но ничего не вышло; а поскольку парень он был услужливый и с готовностью выполнял все, что ему поручали, то вскоре от него отступились.

Однажды между людьми Иеффая и пастухами кочевья Суккот-Калев возник спор. Речь шла о жалком клочке пастбища, и пастухи, несомненно, были в своем праве. Однако люди Иеффая заупрямились; внезапно неуклюжий аморей Нусу издал глухой рокошущий вопль «Хедад, Хедад!», призывая на помощь своего бога войны, и обрушил на голову ближайшего к нему пастуха свой сокрушительный кулак. Тут уж и остальные завопили что есть мочи «Хедад, Хедад!» и накинулись на пастухов. Те бросились бежать, но двое рухнули наземь под могучими ударами Нусу. Люди Иеффая во главе с Нусу преследовали бегущих, ворвались в Суккот-Калев, надругались над женщинами и разграбили шатры, хоть грабить там, в сущности, было нечего.

Все это длилось совсем недолго, а когда кончилось, участники набега не могли взять в толк, зачем они все это сделали. Что это вдруг нашло на недоумка Нусу, и почему они последовали его примеру? Они боялись, что навлекли на себя гнев своего предводителя. Однако Иеффай не произнес ни слова упрека. Он понял. В этой дикой и суровой местности становилось все труднее добывать мясо, муку, шатры, циновки и одежду для увеличивающегося день ото дня отряда, среди людей росло недовольство, и, хотя сам он держал себя в руках и спокойно выжидал, когда пробьет его час и голову озарит счастливая мысль, он понимал, что остальные тоскуют от безделья и клопочущие в них силы ищут выхода.

Но аморей Нусу с этого дня как с цепи сорвался. Очевидно, ему надоела скучная размеренная жизнь в лагере Иеффая, и, не получив от военачальника нагоняя за налет на кочевье, он совсем распоясался. Как-то вечером, когда все сидели вокруг костра и на ужин опять были одни пресные лепешки, он спросил злым голосом, ни к кому в от-

дельности не обращаясь, сколько еще можно терпеть над собой такого никчемного вожака. Кто-то ему ответил: «Видимо, ты считаешь, что долговязый Нусу больше годится в вожаки?» Нусу утвердительно кивнул своей огромной головой и раздумчиво ответил: «Что же, я бы не отказался». Но не успел он закрыть рот, как на него бросился Пар, маленький, приземистый — на высоченного и мускулистого, и, подскочив, вцепился ему в горло — да так неожиданно, что тот и пальцем не успел шевельнуть в свою защиту и рухнул на землю, недвижимый и бездыханный.

Тут же позвали Иеффая и рассказали ему, как было дело. Тот взглянул на лежавшего без чувств великана и вдруг разразился раскатистым смехом. Потом, явно придя в хорошее настроение, велел позвать искусную врачевательницу Казию, дабы она занялась поверженным; но как только тот мало-мальски оправится, пусть побыстрее убегает из этих мест.

— Дайте ему на дорогу несколько лепешек и фиников,— добавил он добродушно.

Собравшиеся у костра подивились его веселости. А объяснялась она тем, что именно в эту минуту у него и сверкнула мысль, которую он так долго ждал. Увидев распростертое на земле бездыханное тело аморея, он сразу сказал себе: «Уж если моему bravому шуруну запросто удалось свалить такого детину, то, может, и мне самому удастся немного пощипать жителей Васана?» И он вспомнил о знаменитом подвиге израильтян, про который ему часто рассказывал отец: во время великого похода, вторгшись в земли на восток от Иордана, они разбили в пух и прах царя васанского Ога, величайшего из великих, вместе со всем его войском, так что от этого царя ничего не осталось, кроме песен о его разгроме и огромного одра из черного камня, который все еще можно было увидеть в Раббат-Аммоне.

Вот о чем думал Иеффай, и из мелькнувшей мысли сложился план и созрело решение.

Он послал троих верных людей на север, через реку Иармук в страну Васан, в небольшой, но богатый город Афек. Все трое оделись попроще, чтобы не бросаться в глаза, выдавали себя за пастухов, накупили себе еды, потом отправились к продажным женщинам и провели с ними веселую ночь. А в это время Иеффай со ста двадцатью отборными воинами переправился через Иармук: после полуночи те трое открыли ему ворота города, и утром он во главе своего отряда стоял на рыночной площади Афека

перед отцами города, беспомощно и растерянно взиравшими на его войско.

Большинство жителей города были израильтяне из рода Иаирова, из колена Манассиина, но много было и амореев, поклонников могущественного бога Ваала, имевшего образ крылатого быка. Иеффай сказал старейшинам:

— До меня дошла весть, что вам грозит опасность. Царь Васана Авир, отторгнувший у нас удел Аргов, теперь поглядывает и на ваш прекрасный город. Поэтому я и пришел. Я хочу вас защитить. Я привел с собой часть своего войска, дабы вы убедились, что я в силах это сделать. Мои воины придут сюда по первому вашему зову. Думается, за это стоит раскошелиться.

Старейшинам больше всего на свете хотелось прогнать наглеца за ворота. Но они уже прослышали о налете его людей на кочевье Суккот-Калев и поняли, что этот Иеффай не станет церемониться. Они посоветовались между собой, мрачно хмурясь и замирая от страха. Может быть, удастся послать гонцов в соседние, дружественные города за помощью и выгнать грабителей силой. Главное — выиграть время. И они сказали Иеффаю:

— Останься в городе до утра, брат наш Иеффай, сын Галаада, завтра мы дадим тебе ответ.

Но Иеффай возразил, все так же приветливо улыбаясь:

— Ну что вы, уважаемые старейшины. Не хочу причинять вам лишних хлопот.

Тогда они спросили с тяжелым вздохом:

— А сколько же ты хочешь за эту защиту, брат наш Иеффай?

Иеффай ответил:

— Шесть тысяч сиклей серебром в год и договор на два года.

Старейшины стали белее своих бород и сказали:

— Не слишком ли высокая плата для такого маленького города?

Но Иеффай вежливо возразил:

— Не скромничайте, братья мои. Слава о ваших искусных умельцах и вашем богатстве далеко разнеслась по свету. Кроме того, благодаря вашей чистейшей воде к вам заворачивает множество караванов, и все платят вам пошлину. Такой город стоит охранять и защищать.

На это они ответили:

— Будь по-твоему. Но чтобы раздобыть так много сиклей, потребуется время. Две тысячи сиклей мы дадим тебе

сейчас, еще часть — через шесть месяцев, а остальное — спустя год.

Но Иеффай возразил:

— Опять вы скромничаете. У мужей, облаченных в столь дорогие и красивые одежды, наверняка найдется в сундуках несколько тысяч сиклей. А в случае, если у вас и в самом деле не хватит какой-то малости, пошлите гонца в соседний город и попросите в долг. Покамест он не вернется, я запру городские ворота, и, если к ним подступится враг, откуда бы он ни пришел, мы с вами будем вместе сражаться, а уж кому Ягве уготовил смерть на поле боя, тот и отправится к праотцам.

Тут они еще раз тяжело вздохнули и сказали:

— Хорошо, мы постараемся собрать сразу нужную сумму.

На что Иеффай ответил:

— Мудро сказано, братья мои. Давайте же отпразднуем наш союз и пригласим Ягве на праздничный пир, а если есть среди вас такие, кто хочет пригласить и Ваала, я ничего не имею против.

Так Иеффай стал покровителем города Афек.

И не успели еще жители Афека оправиться от испуга, как он вторгся в следующий город, по имени Голан, а потом и в третий, по имени Гессур, и заставил эти города тоже заключить с ним сходный союз.

Слух о нем разнесся далеко, наводя страх на жителей городов.

Чуть поодаль от границы земли Тов проходил торговый путь, Великий путь фараона. Иеффай со своими людьми стал появляться вблизи караванов и сопровождать их часть пути, внушая тревогу торговцам и охране. Однако Иеффай и не думал прибегать к силе, он честно расплачивался за все товары, которые ему приглянулись. Зато от правителей северных городов, которым караваны платили пошлину за покровительство, потребовал, чтобы те поделились с ним, ибо на пути от реки Иармук до реки Иавок, кроме него, некому защитить караваны от разбоя.

Северные города подчинились, и могущество Иеффая возросло.

Эти успехи, однако, не смогли выманить его из надежного прибежища в земле Тов. В труднодоступных горах и теснинах он часто менял место своей стоянки, так что лишь ближайшее окружение знало, где он находится. Пополз слухок, что он невидим и вездесущ, что было ему весьма на руку, и он старался, чтобы слухок этот не угас.

Чтобы разведать, как обстоят дела у соседей, он под вымышленным именем и в одежде с чужого плеча частенько переправлялся через реку Иармук в сопровождении загадочного друга Пара. Вдвоем они исходили страну Васан вдоль и поперек. Какая жалость, что амореи вернули себе большую и лучшую часть земель! Как богато жили здесь люди, как много было среди них искусных мастеров! Бог Ваал в дар своим приверженцам исторгнул из огнедышащих подземных владений черную землю и черные камни; над землей и камнями и теперь еще иногда курился дымок. Черная земля была жирна и плодородна, жители Васана собирали обильные урожаи зерна, винограда и оливок. Черный камень был прочен и крепок, в Васане строили из него дома, большей частью в два этажа; в верхнем жили хозяева, в нижнем, подвальном, размещались припасы и слуги. И повсюду, куда ни кинешь взгляд, виднелись мощные дороги, бассейны и каналы, везде хватало свежей, вкусной питьевой воды. В достатке было здесь и изделий из необычайно твердого, темного материала, называвшегося тут «барсель», — из железа; у плотников были железные топоры и пилы, у крестьян — железные серпы и косы. А в Галааде люди дивились, ежели кто имел такое оружие.

А какое оружие было у жителей Васана! Тут были медные и бронзовые шлемы, нагрудники, наколенники! Иеффай и Пар уже видели такое оружие раньше, во время битв с сынами Моава и Аммона, случалось и кое-кому из воинов Галаада добыть его, сняв с убитого врага. Но здесь, в Васане, никто не обращал на него внимания, оно было обычным явлением, его запросто можно было купить.

А боевые колесницы! Окованные бронзой, они в бою наводили ужас на врагов, в чем не раз убеждались сыны Галаада. Иеффай и Пар вступали в беседы с воинами, на чьем попечении были колесницы; те гордились своими чудодейственными повозками и позволяли чужакам вволю их разглядывать, ощупывать и трогать.

Иеффай посоветовался с Паром, как раздобыть такое оружие и такие колесницы. Оба решили, что сумеют без особых усилий снабдить отряд добротными железными мечами, дротиками и пиками. Но заполучить колесницы казалось Пару делом трудным, прямо-таки невозможным, ибо правители Васана очень ими дорожили, и если бы кто попытался завладеть ими силой, они обрушили бы на грабителей целое войско. Иеффай возразил:

— В таком случае придется колесницы купить; разве в Васане не все продается?

Пар, в ведении которого находилась казна отряда, заметил, что колесница должна стоять никак не меньше шестисот сиклей, да еще две лошади по сто пятьдесят сиклей; где взять такую прорву денег?

Иеффай начал терять терпение:

— Город Афек заплатил нам шесть тысяч сиклей, да Голан — пять тысяч.

Пар спокойно ответил:

— Девять тысяч из этих денег ты роздал нашим людям, остальное я потратил на провиант. — Потом, подумав, оживился: — Воины отряда преданы тебе, Иеффай, и не станут ворчать, если ты будешь менее щедр.

По натуре Иеффай не был прижимист, но вооружить всех было важнее, чем щедро вознаградить каждого. И он смирился с тем, что при дележе добычи Пар начал строго придерживаться закона и обычая своей страны. Впредь лишь половину добытого стали раздавать воинам. Потом выделялась доля Ягве, десятая часть, и Пар бдительно следил, чтобы ее не урезали. Все остальное пошло на покупку оружия, в первую очередь боевых колесниц.

Вскоре Иеффай уже имел в своем распоряжении несколько таких колесниц. В горах они были ни к чему, и он держал их на равнине, в трех городах Васана, которые взял под свою защиту и покровительство. Это дало ему столь желанный повод разместить в этих городах своих вооруженных людей.

И тут выяснилось, что его воины не могли самостоятельно овладеть приемами боя с колесниц. На каждой из них нужны были трое: один управлял лошадьми, второй вел бой, третий, защитник, держал щит, причем троица эта должна была действовать так согласованно, словно была одним существом. Для этого требовалось терпение, ловкость и длительная тренировка. Стало ясно, что этого не достичь без помощи амореев, сведущих в этом искусстве.

Не просто было переманить на свою сторону опытных в этом деле бойцов. Случалось, что такой воин, почти уже поддавшись на уговоры Пары предать своего царя и старейшин, в последнюю минуту менял решение, убоявшись требования вступить в союз с Ягве: не хотел прогневить своего Ваала. Но когда Иеффай сам брался за уговоры, ему это обычно удавалось. Бог такого храброго и веселого военачальника наверняка сильно благоволил к нему, раз тот неизменно одерживал победы, приносившие ему славу и богатство.

Четыре года спустя после исхода из Галаада Иеффай стал покровителем трех городов в Васане и предводителем отряда из шести сотен хорошо вооруженных и опытных в военном деле бойцов, к тому же обладателем девяти боевых колесниц. Он отобрал из своих воинов самых отважных, не делая различия между израильтянами и амореями; эти герои, двадцать один человек, стали его телохранителями.

3

По мере того как сила Иеффая росла, росла также и опасность, что царь Васана когда-нибудь выступит против него, чтобы вернуть себе захваченные города.

Правда, покамест царь Авир увяз на востоке. Он лишь недавно освободил свою страну из-под власти Вавилоня и пребывал в страхе, что великий царь Вавилонский двинет на него свое войско, потому был вынужден держать свои силы наготове и еще многие годы не мог бы ничего предпринять против Иеффая. Но когда он сможет вновь свободно распоряжаться своим войском и колесницами, он наверняка выступит против Иеффая с силами, намного превосходящими его собственные.

Тревожные мысли не давали Иеффаю покоя. И он заговорил об этом с Паром. Без мощной поддержки Ягве, считал он, они пропали. А разве Ягве не обитает далеко на юге, на горе Синай, и разве его власть простиралась сюда, до реки Иармук? А васанский Ваал пребывает поблизости, на горе Хермон, так что в любое время успел бы на подмогу царю Авиру. Но ведь и Ваал тоже могущественный бог, такой же огненный бог, как Ягве, не говоря уж о том, что в его распоряжении неисчислимое множество боевых колесниц — их у него более сотни, а то и двести.

Пар отчитал его за слабость веры. Ведь когда израильтяне вторглись в земли амореев, те тоже были в десять раз сильнее, а у израильтян не было ничего, кроме жалких луков и пик. Но Ягве пришел к ним на помощь, он выдул огненный смерч из своих ноздрей и обратил в пепел богатей амореев вместе с царем Огом, лошадьми и колесницами, и израильтяне захватили все шестьдесят городов Васана и Собы, все земли вплоть до Дамаска.

Это все верно, ответил Иеффай, тогда Ягве и вправду прибыл сюда с Синая на туче и разметал громом и молнией наших врагов. Но с той поры он ни разу не показывался

здесь, на севере, и допустил, что амореи вновь отвоевали большую часть своих земель. Ягве — бог капризный и своенравный, и весьма сомнительно, чтобы он пришел на помощь ему, Иеффаю, когда царь Авир пойдет на него войной.

Но тут обычно сдержанный Пар всерьез рассердился.

— Как ты можешь нести такую чушь! — воскликнул он. — Не из каприза Бог отказался помочь израильтянам здесь, на севере, а лишь потому, что они стали лениво и небрежно служить ему и терпимо относиться к прежним богам этих мест. Недостаточно крепка была наша вера в Ягве, вот в чем причина его немилости. Ослабела наша верность ему и наш с ним союз. И виновны в этом женщины-амореянки, которых взяли мы на свое ложе. Мы не изгнали чужих богов из их сердец и впустили их в наши дома и шатры. Никому не известно это лучше, чем тебе.

Удивленный и раздосадованный такими речами, Иеффай не сдавался.

— А разве ты сам не взял в жены Казию? — спросил он.

Но Пар оборвал его:

— Твоя сестра тут ни при чем. Во всем Израиле нет более истовой поборницы Ягве, чем она.

Иеффай не стал продолжать разговор. Вот оно что! Значит, даже этот надежный друг иногда питает те же подозрения, что Авиям. Предостережение Пара взбесило его — именно потому, что было, наверное, обоснованным. Ягве не был покладистым богом, он быстро впадал в гнев, был жесток и ревнив, любил лесть и вечно требовал все новых и новых восхвалений, жертв и клятв.

Иеффай раздраженно втянул ноздрями воздух. Он не чувствовал в себе тяги к такому служению. И если то был изъян его души, Ягве не мог об этом не знать, но тем не менее благоволил к нему. Значит, Бог принял его таким, каков он есть. Пусть принимает и дальше.

И Иеффай прогнал мрачные мысли.

4

Кетура обрела в диких просторах земли Тов ту свободу, по которой тосковала ее душа. Здесь не было скинии Ягве со скрытыми от людских глаз и свято охраняемыми грозными Скрижалями, предписывавшими, что следует и чего не следует делать, и требовавшими разлучить мужа с женой, которой он предан душой и телом.

Здесь, в этом диком краю, она чувствовала себя в безопасности. Ее боги жили в кронах деревьев и в реках, здесь они окружали и защищали ее, куда бы она ни пошла и где бы ни прилегла отдохнуть. Ее главный бог Милхом был богом и для сынов Васана, они почитали его под именем Ваал, да и обиталище бога на горе Хермон было неподалеку. Она глядела на рубцы, оставшиеся на ее теле после нападения волка, и радовалась, что принесла богам «тоху» щедрую жертву.

В Маханаиме она всегда была охвачена страхом: боялась священника Авияма, боялась его угроз и соблазнов, боялась его бога Ягве, этого жестокого зверя, всегда готового напасть на ее Иеффая. Теперь его отделяли от Ягве бесчисленные горы и реки и много дней пути, теперь она могла думать о священнике и его боге чуть ли не с насмешкой.

Ненависть переполняла ее, когда она вспоминала о Зильпе и ее сыновьях, ослабивших ее как недостойную женщину, близость с которой позорит мужчину. Она жаждала мести и знала, что Иеффай разделяет эту жажду. Они не говорили об этом, но иногда, взглянув ей в глаза, он вдруг одаривал ее улыбкой, таившей в себе обещание. И она ждала, глубоко затаив свою ненависть и молча предвкушая унижение надменных обидчиков.

Ее дочь Иаала, так же как и мать, всей душой радовалась бескрайним просторам. Иаале исполнилось двенадцать лет, годы, прожитые в Маханаиме, отодвинулись куда-то далеко и были забыты, теперь ее родиной была вольная земля Тов, без конца и без края. Жизнь среди гор и лесов обострила ее зрение и слух, привила сметливость и решительность. Уверенно и ловко лазала она по крутым склонам, бродила по лесам и долинам, не зная усталости. Тело ее стало таким же упругим и ладным, как у матери, от нее она унаследовала и матово-смуглую кожу, и узкий овал лица; как и мать, она казалась нежной и хрупкой, несмотря на выносливость и силу.

В отряде было совсем мало детей, и Иаала часто и подолгу бывала одна. Она любила одиночество. С удовольствием болтала и играла сама с собой. У нее было живое воображение, наделявшее человеческими свойствами все, что ее окружало. Деревья и животные в ее глазах обладали способностью думать, у каждой скалы была своя жизнь. Она придумывала песни и с чувством напевала их самой себе, тихо и невнятно. Иеффай как-то привез ей из страны Васан цитру; она быстро научилась на ней играть и была счастлива.

Мать и дочь чувствовали свое родство с живыми существами, населявшими эти дикие места. Они знали наперечет все протоптанные зверями тропинки и места их водопоя, притаившись, они слушали, как пасется дичь, понимали язык зверей и знаки, которые они подавали друг другу. А открыв что-то новое, заливались счастливым беззвучным смехом. Иногда Иеффай или кто-нибудь из его людей брал Иаалу с собой на охоту. Как радостно замирало и в то же время терзалось жалостью ее сердце, когда стрела или дротик попадали в цель! Подолгу простаивала она подле силков или капкана, притягиваемая и отталкиваемая видом попавшего туда зверька.

Кетура очень любила Иаалу; часто, бродя вместе с ней по окрестностям, она чувствовала, до какой степени они схожи. Но чувства свои она редко выражала словами; дочь Кетуры свободно росла среди дикой природы, мать редко ее ласкала и обращалась с ней, как с мальчиком, — сдержанно, почти сурово.

Ей бы очень хотелось воспитать дочь в своей вере. Но это возмутило бы Иеффая, и Кетура не мешала Иаале всей душой верить в Ягве. А сама втайне завидовала чистоте и искренности ее веры, ревновала дочь к ее Богу и скрывала свой страх перед ним: дочь ничуть не боялась Ягве — так же, как и ее отец. И когда Иаала спрашивала мать о богах, та замыкалась в себе и отмалчивалась.

Иеффай же, наоборот, распахивал перед дочерью душу, обнаруживая много ребяческого. Он хвастался перед ней своими подвигами, а все бои и рискованные вылазки, в которых он участвовал, приобретали необычайный размах, обрастали удивительными подробностями и становились такими, какими он рисовал их себе в мечтах. Уж он-то не увиливал от ответа, когда дочь спрашивала его о богах, он все про них знал. Боги были из того же теста, что он сам и другие люди в их отряде, обладали теми же достоинствами и недостатками, только в гораздо большей степени. И чтить их стоило, но в определенных пределах; ибо над теми, кто их боялся, они были не прочь подшутить.

Могущественнее всех был бог Ягве, Бог богов; он носился по небу на тучах и поражал врагов громом и молнией. Сознывая свое могущество, он был своенравен и переменчив больше других богов, но ему, Иеффаю, и его сподвижникам это оборачивалось благом. Ведь Ягве принял народ Израилев в свое сердце, причем дороже всех колен Израилевых ему был народ Галаада, а из галаадитян — судья Галаад, из семейства же судьи он избрал его, Иеффая. Поэтому ему

и его дочери незачем бояться грозного бога Ягве. Жертвы ему приносить, конечно, надо почаще и воздавать хвалу за его милости, это он любил, это ему по нраву.

Как-то раз Иеффаю посчастливилось убить медведя, и все принялись уплетать вкусное сочное мясо. Откусывая большие куски крепкими белыми зубами, Иеффай поведал Иаале, что сила убитого животного переходит в того, кто ест его мясо, но в первую очередь — в того, кто этого зверя убил. И в Ягве перешла сила всех тех, кого он убил и кто был убит в его честь, а таких с незапамятных времен были тысячи и тысячи. Вот почему Ягве так необычайно силен и так ужасен в гневе, во много раз ужаснее, чем Ваал и Милхом, потому и народ Галаада, его любимец и избранник, победит всех врагов, какие бы имена они ни носили — Аммон или Моав, Васан или Сова.

Однажды Иеффай принес в лагерь тимпан, род барабана. И люди его с удовольствием играли на нем, извлекая ударами пальцев или палочек гулкие звуки. Все очень веселились. И Иаала упросила отца подарить ей этот инструмент. Она брала тимпан с собой в лес и, сидя в одиночестве где-нибудь на поляне, играла на нем, оглашая лес и горы странными, тревожными звуками.

Так, под сладостные звуки цитры и глухие удары тимпана, Иаала пела и сочиняла вслух сказки, навеянные рассказами отца и рожденные собственной фантазией. Иногда ей случалось рассказать их отцу, и тот всякий раз радостно изумлялся: то были события его собственной жизни, но выглядели они совсем по-другому. Сам Иеффай не был особенно красноречив; зато дочь его умела найти нужные слова для всех чувств, волнующих сердца людей. И еще одного человека посвятила Иаала в тайну своих лесных мечтаний — старого Толу. Частенько сживали они рядом, старик и ребенок, что-то оживленно рассказывая друг другу и понимая лишь малую долю в этих рассказах.

Тола был когда-то рабом — сперва в огромном городе Вавилоне, потом в Дамаске, еще позже — в Раббат-Аммене; сопровождая своего господина-аммонитянина на поле брани, был взят в плен судьей Галаадом, оставлен при доме и стал свидетелем большинства событий в жизни покойного. Множество передраг, которые случилось ему пережить, множество богов, которым он поклонялся, множество людей, которых он за свою долгую жизнь любил или ненавидел, перемешались у него в голове, бормотанье его почти невозможно было разобрать, он то и дело вворачивал в свою речь чужеродные слова. Но Иаале нравилось

слушать его путанные рассказы, нравилось размышлять над ними, толковать их по-своему и вплетать их в истории собственного сочинения.

Тола любил животных и мог поведать о них много необычайного. Он участвовал в охотах на львов, преследовал стада диких коз в Ливане, знал толк в лошадях и одnogорбых верблюдах — дромадерах, огромных животных, которые, будучи приручены, верой и правдой служили людям, но покамест почти не были известны израильтянам. Тола был другом животных и уважал их всех, в том числе диких и опасных хищников. И лишь одно живое существо он ненавидел: то был аист. Именно в аистов превращались плохие люди после смерти. В глазах Тола аисты были самыми жестокими и кровожадными тварями на земле. Они заглатывали свои жертвы — лягушек, рыб или змей — с такой жадностью, что часто, не в силах протолкнуть в желудок, изрыгали их еще живыми. Но тут же вновь хватали клювом полумертвую жертву и, если не могли сожрать, расклевывали на мелкие куски. Их кровожадность не щадила даже сородичей. Тола своими глазами видел, как аисты, готовясь к ежегодному дальнему перелету, несколько раз собирались и держали совет, щелкая кроваво-красными клювами, издавая отвратительные хриплые крики; кончилось тем, что они разодрали в клочья трех старых и слабых собратьев. «Видишь ли,— заключил Тола,— я стар, жизнь моя прожита. Но я не хочу, голубка моя Иаала, дорогая моя правнучка, чтобы люди обошлись со мной, как те аисты. Я не хочу попасть в пещеру предков разрубленным на куски. Поэтому и не захотел остаться с сыновьями Зильпы, а пошел за Иеффаем, моим другом и господином. Ибо отец юноши — старик, а отец старика — юноша».

Так они беседовали, поверяя друг другу свои мысли, и им было хорошо вдвоем. Тола выразил это, сказав: «Ты, доченька, действуешь на старого Толу, как теплое весеннее солнышко на лысого».

5

Однажды, когда Иеффай и Пар с женами, детьми и семеркой телохранителей сидели за обедом, ему доложили о приходе чужака, требовавшего немедленной встречи с Иеффаем.

Пришелец — коротышка лет под пятьдесят — кипел от злости и с порога потребовал:

— Выдай мне моего раба Дардара, который сбежал к тебе.

Иеффай, не отрываясь от еды, небрежно заметил:

— Будь почитительнее к хозяину, незнакомец. Ты на моей земле.

Но тот продолжал:

— Его видели в твоём отряде. Я спрашиваю: у тебя мой беглый раб или нет? Не покрываешь ли ты беглых рабов?

Иеффай ответил:

— Тут моя земля, незнакомец, и я не помню, что звал тебя в гости. Второй раз прошу тебя: говори вежливо, как требуют приличия.— И спокойно занялся едой.

Тогда пришелец объяснил:

— Я житель города Голана, и раба Дардара я купил за сто тридцать серебряных полусиклей. Люди из Бет-Нимры напали на наш город, мы их отбросили и сами на них напали, захватив около двух сотен рабов. Этот Дардар, что у тебя в отряде, мой раб. Он принадлежит мне по закону всех народов, населяющих эти земли.

Слово «закон» лучше было бы ему не упоминать. Иеффай ответил, уже с трудом сдерживаясь:

— Здесь моя земля. В этих горах я один решаю, что законно, а что нет. Так что иди и не испытывай дольше мое терпение.

Но коротышка не тронулся с места и, трясаясь от бешенства, заверещал:

— Никуда я не пойду. Я проделал долгий и трудный путь, одежда моя, сам видишь, изодрана в клочья, осел сдох по дороге, обувь порвалась, и ноги мои сбиты в кровь. Я требую, чтобы ты выдал мне моего раба, как предписывает закон Голана. Разве ты не обязался защищать наш город? Разве мы не платим тебе пять тысяч сиклей в год, из них тридцать — я лично? Я требую то, что полагается по закону! Отдай мне моего раба Дардара.

Опять дернуло несчастного за язык, опять он произнес это слово «закон». Именем этого самого закона Зильпа и ее сыновья оскорбили Иеффая и вынудили его покинуть отчий дом. И Авиям тоже угрожал ему именем закона. Разве для того он удалился в «тоху», чтобы опять слышать все ту же чушь? Гнев заклокотал у него в груди, и он сказал:

— В последний раз предупреждаю тебя, чужак: придержи язык! От меня зависит, захочу я терпеть твоё при-

существование здесь или нет. Кто пребудет тут вопреки моей воле, с тем я поступлю по обычаю войны. Вы обратили в рабство людей из Бет-Нимры, потому что они пришли в ваш город против вашей воли. Смотри, как бы я не поступил с тобою так же. Тогда Дардар станет твоим господином, а ты — его рабом.— И он вскочил, крикнув: — А теперь уходи! И поскорее!

Но коротышка взвизгнул:

— Так велит закон! Отдай моего раба! Не уйду, пока не получу его из рук в руки! Так велит закон!

Иеффай промолвил негромко, но с хриплой угрозой:

— Я его остерег, причем трижды, вы все это слышали, друзья мои. Но он не одумался и своей наглостью вывел меня из себя.— Тут он наклонился и поднял с земли камень.— Не уйти отсюда тому, кто ослушается моей воли! — Он взвесил на руке камень.— Вот тебе твой закон! — воскликнул он и запустил камнем в голову коротышки. Остальные подхватили его возглас и тоже стали бросать в чужака камни; таков был обычай в этих краях. Растерявшись от неожиданности, коротышка зашатался, стараясь удержаться на ногах, и рухнул на землю.

Все это время Иаала сидела полуоткрыв рот и, замирая от ужаса, глядела на отца. Глаза его горели холодным, мрачным огнем и метали зеленые искры, как глаза разъяренного зверя. Иаала видела это совершенно отчетливо. Наверное, такой взор был у Ягве, когда он, примчавшись на туче, разил огнем и сковывал ужасом.

Потом, уединившись в лесу, она сочинила хвалебную песнь отцу. Он правил в своей стране подобно Ягве. Но он не только сеял смерть, он был еще и добр, и весел. Ягве гремел и крушил, и люди чтили его и боялись. Отец тоже умел греметь и крушить, но он умел и другое: он умел смеяться так, что люди вокруг смеялись и любили его.

Иеффай был доволен собой. Но полагал, что рассудительный Пар не одобрит эту расправу. Однако тот поддержал его. «Что бы случилось с тобой и отрядом, Иеффай,— сказал он,— если бы всякий, кто считает одного из твоих людей своей собственностью, стал предъявлять к тебе такие требования?» Он пояснил свою мысль: «Закон существует для городов и селений, где права одного сталкиваются с правами другого. Но мы потому и здесь, что хотим

уйти из-под власти закона. Эту землю Ягве отдал тебе. И правит здесь не закон, а твоя воля».

— Правда, — продолжал он, помолчав, — в Васане вряд ли обрадуются, прослышав, какая судьба постигла этого человека из Голана. — И вдруг предложил: — А не послать ли тебе две сотни воинов в твои новые северные уделы?

Иеффай заметил:

— Без двух сотен я могу обойтись. Но столь малочисленный отряд вряд ли внушит надлежащий страх Васану. — И вдруг оживился: — А я поделю отряд на группы, и каждая спрячется в укромном месте. Они будут внезапно появляться и вновь исчезать — всякий раз там, где их меньше всего ожидают. Тогда две сотни сойдут за целое войско.

На том и порешили.

Иеффая захотелось проехаться по северным окраинам, чтобы самому присмотреть места, подходящие для засад. Поездка предстояла вполне безопасная, скорее развлечение и отдых, чем военный поход, и он без всяких колебаний взял с собой Кетуру и Иаалу.

Они тронулись в путь в сопровождении семерки телохранителей и двух ослов с поклажей. Погода стояла отличная, ехать было легко и приятно, и место для ночлега часто выбирали задолго до наступления ночи. К тому же они действительно обнаружили дикие, безлюдные уголки, вполне пригодные для замыслов Иеффая.

Иаала радовалась поездке больше, чем остальные. В местности, по которой они двигались, люди селились с сотворения мира, здесь обитали многие народы и правили ими многие боги; в густых чащобах вдруг обнаруживались рухнувшие строения, остатки поселений, покинутые святыни. Иаала забрасывала отца вопросами и жадно впитывала новые впечатления — пищу для мыслей и воображения. Она увязывалась за теми, кто выезжал вперед, чтобы разведать путь в чаще леса, а когда останавливались на ночлег и разбивали шатер задолго до наступления темноты, она отправлялась одна побродить по новым местам.

Как-то вечером, отделившись от остальных, Иаала не вернулась. Местность здесь не была особенно опасна, но все же кругом были поросшие лесом горы, где на каждом шагу можно было наткнуться то на отвесный склон, то на непроходимые заросли кустарника либо на скрытую от глаз расселину, да и ночь была безлунная. В лесу водились опасные хищники — горные львы, дикие собаки. Кроме

того, по слухам, здесь жили разбойники — гиблые, пропащие люди, сбежавшие из родных мест.

Наступило утро, Иаалы все не было. Иеффай и его люди бросились на поиски. Час шел за часом, лицо Кетуры осунулось, губы плотно сжались, в огромных глазах застыл ужас. Солнце склонилось к закату, стемнело, наступила вторая ночь. Кетура мало говорила, но страх ее был велик. Иаала была единственной дочерью Иеффая. Ягве не дал им с Кетурой сына: неужели он решил отнять у них и дочь?

А Иаала в это время лежала в густых зарослях, совершенно беспомощная. Чтобы вернуться вовремя на стоянку, она решила сократить путь и свалилась с высокой скалы, причем сильно ударилась головой и повредила ногу. Когда она, едва придя в себя, попыталась встать, ногу пронзила такая острая боль, что она чуть было вновь не потеряла сознание. Сердце ее бешено колотилось, к горлу подступала тошнота, ее вырвало. Была ночь, ее знобило, сквозь густые заросли виднелось несколько звезд. В голове бродили обрывки мыслей, ощущения утратили привычную четкость. Она только удивлялась, как могло случиться, что она лежит здесь одна, не в силах сдвинуться с места. Ведь она любила все живые существа, и они любили ее, почему же никто не придет ей на помощь, где же отец, где Ягве, где мать? Рассвело, сквозь кусты проглянуло яркое чистое небо, стало жарко, а она все лежала, не двигаясь и испытывая отвращение к себе самой за то, что обмаралась.

Она так ослабла, что испытывала боль во всем теле, жажда мучила ее, мысли вновь стали путаться. Пришла вторая ночь. С наступлением прохлады ей стало лучше, но тут ее начал мучить нестерпимый голод. Она стала тихонько постанывать, голод прошел, она хотела крикнуть, но не смогла. Как жаль, что она не взяла с собой тимпан. Неужели она так и погибнет здесь от голода и жажды, в полном одиночестве, и лесные звери сожрут ее тело? Она замотала головой. Нет, этого она не могла себе представить. Наоборот, почему-то возникла уверенность, что вскоре кто-нибудь придет к ней на помощь, вернее всего — отец, и она улыбнулась и тихонько запела.

Тут кустарник затрещал под тяжестью кого-то большого и неуклюжего. Сердце ее сжалось, она вся замерла от страха — наверняка то был огромный зверь, скорее всего медведь. Но из зарослей вышел человек, высокий и сильный юноша из племени «великанов», по всей видимости, один из тех «пропащих», что обитали в этой глуши. Страх ее не уменьшился, только возник еще и стыд — ведь она обмара-

лась. Великан наклонился над ней, она закрыла глаза и вновь лишилась чувств. Человек попытался поднять ее с земли. Боль пронзила ее, она очнулась и застонала. Высокий голос спросил ее что-то на малопонятном языке. Она собралась с силами и произнесла: «Шатер там», — слабо шепельнув рукой в ту сторону, где находилась стоянка. Человек повторил: «Шатер там» и осторожно попробовал поставить ее на ноги. Она взвизгнула. Тогда он взял ее на руки, она ухватила за его шею, и он медленно и осторожно понес ее туда, куда она указала.

А вот и шатер. Какая радость охватила всех, когда они вновь увидели Иаалу! Мать дала изнемогавшей от усталости и испуга дочери напиться и вымыла ее с ног до головы водой с уксусом. Потом смазала распухшую ногу настоем из целительных трав и туго ее перевязала. Вскоре Иаала уже спала.

Тем временем Иеффай расспросил высокого юношу, вернувшего ему Иаалу. Кожа и глаза у великана были светлые, как у всех амореев. Говорил он на угарите, том древнем наречии, которое еще существовало на севере Васаана и очень походило на язык евреев, отличаясь от него лишь обилием высокопарных, давно вышедших из употребления слов. К тому же парень робел и запинаясь, так что из его рассказа Иеффай лишь с большим трудом уяснил, как было дело. Оказалось, что тот ставил капканы в самой глухой чаще, слышал тихие стоны и обнаружил в густом кустарнике лежащую на земле девушку. Иеффай сердечно поблагодарил юношу и просил быть его гостем.

Они уселись и принялись за еду. Иеффай спросил юношу, как его зовут, откуда он родом и что делает в здешних краях. Звали его Мериваал, и родом он был из царства Сова. Родители погибли во время войны, он был в семье младшим сыном и, лишенный всего, всеми гонимый и презираемый, не выдержал жизни в каменных стенах родного города и бежал на волю, в дикие, не обжитые людьми земли. Все это он рассказал скупой и неохотно. А когда понял, что с ним говорит сам Иеффай, знаменитый предводитель, он от смущения чуть вообще не утратил дар речи. Но не спускал восхищенных глаз с лица гостеприимного хозяина; ибо перед ним был тот человек, которому он, покидая город, задумал подражать.

После трапезы Иеффай и Кетура, еще раз взглянув на спящую Иаалу, улеглись на циновке.

Но сон не шел к Кетуре. Вдруг опять заныли раны, полученные в стычке с волком; да и тревога, снедавшая ее

последние два дня, не прошла даром. Она никак не могла понять, что же произошло. Дикий край, ее любимый, благодатный и вольный край вдруг обратился в средоточие всех бед. Нет, дело не в здешних лесах, это разгневанный Ягве решил помешать ее счастью. Однако Ваал, Милхом и другие небесные защитники подросли на помощь и послали этого юношу из Собы. Она поднялась с циновки и пошла посмотреть на спящую Иаалу, ей надо было еще раз убедиться, что дочь ее тут, что она жива.

На следующее утро Иаала проснулась раньше всех. Она понимала, что вновь находится в шатре с отцом и матерью, среди своих. Но обычно, едва открыв глаза, она сразу вскакивала, ей никогда не сиделось на месте. А нынче она даже обрадовалась, что боль в ноге приковывает ее к ложу. Прикрыв веки, она стала вспоминать, как этот великан нес ее через чащобу. Как ловко он ее нес, как бережно, при всей своей силе, держал ее на руках. А путь его был нелегок — по горам и долинам, по скалам и зарослям; но препятствия расступались, а неровности сглаживались, и земля сама стлалась ему под ноги.

Иеффай и Кетура заговорили с ней, но ни словом не обмолвились о пережитых накануне тревогах, и оба светились от радости. День выдался ясный, в воздухе веяло свежестью и теплом, и все уселись на землю у входа в шатер. Иаале очень хотелось узнать, тут ли еще ее спаситель, но прямо спросить она стеснялась. Тут он как раз подошел к ним, и вид у него был такой потерянный, что и она смутилась.

Он просидел подле нее большую часть дня. По мере того как солнце передвигалось по небу, он переносил ее на руках с одного места на другое: ей нравилось лежать в полутени.

После трапезы, за которой теперь присутствовала и Иаала, Мериваал заявил, что не смеет дольше злоупотреблять гостеприимством своих новых друзей и желает им мира и благополучия, а сам на рассвете тронется в обратный путь. Иеффай заметил, что речь эта далась ему с большим трудом, заметил также, как опечалилось лицо Иаалы, и спросил Мериваала:

— А не хочет ли спаситель моей дочери быть гостем в моей земле Тов?

Иаала при этих словах просияла, и лицо Мериваала тоже радостно преобразилось. Он несколько раз порывался ответить и наконец выдал с видимым усилием:

— Значит ли это, что я должен остаться в твоём лагере?

Иеффай имел в виду нечто другое. Если Мериваал навсегда останется в отряде, не захочет ли он потом, когда Иаала подрастет, получить ее в жены? Он спас ее, да и дочери он явно пришелся по сердцу, так что Иеффайю пришлось бы согласиться; он и сам этого хотел. Но юноша этот был аморей и звали его Мериваал, уже само имя говорило о том, что он приверженец бога Ваала. И недруги Иеффая в Массифе непременно скажут: «Смотрите, этот Иеффай, сын аммонитянки, взявший в жены аммонитянку, теперь и дочь свою отдает язычнику, поклоняющемуся богу Ваалу. Разве мы не были правы, когда требовали изгнать его из Галаада?» Нельзя этого допустить.

Как бы то ни было, он должен был взять Мериваала с собой в землю Тов. Но великан чувствовал себя там чужаком. Он отличался от всех, даже от амореев. Его сутулая, долговязая фигура, размашистая походка и высокий голос вызывали у окружающих смех. С другой стороны, парень оказался сильным и быстрым, а руки его — ловкими и искусными. Кроме того, он безошибочно ориентировался и в чаще леса, и в бескрайних просторах степей, умел пробираться сквозь самые густые кустарники и знал необычайно много полезного о животных, населяющих эти места. Вместе с тем он был робок, стеснителен и с трудом привыкал к языку и грубым повадкам воинов отряда.

Иеффайю он показывал безграничную преданность. С ним и его близкими он вскоре уже мог беседовать об очень сложных вещах. Он был трогательно искренен, и на его открытом лице ясно читалось каждое движение его души. Иеффай втайне слегка презирал юношу за это излишнее, на его взгляд, простодушие.

А наивная и доверчивая Иаала, наоборот, любила в нем именно эту черту. Она относилась к своему спасителю как к старшему брату, с которым можно было поделиться всем на свете. Нога ее еще слегка побаливала, и она с удовольствием пользовалась этим поводом, чтобы гулять по лесу в сопровождении Мериваала.

Иногда за ними увязывался и старый Тола. Тогда они сидели втроем где-нибудь на лесной поляне, старик и юноша рассказывали разные истории о могуществе северного царства, откуда они оба были родом. И оба называли имена трех великих героев: то были Этана, Адапа и Таммуз. Однако названия и вид одиннадцати чудовищ, которых победили эти герои, — драконов, крылатых змей, морских баранов и многохвостых людей — вызывали у них беско-

нечные споры, и обиженный Тола однажды с упреком сказал:

— Если бы старец имел силу юноши, а юноша — мудрость старца, люди были бы равны богам. А так — я всего лишь Тола, а ты — всего лишь Мериваал.

Спустя примерно месяц великан сказал Иеффаю в присутствии Иаалы:

— Теперь я увидел твою страну и твоих людей и опять прошу тебя о том же: прими меня в свой отряд.

Иеффаю надо было что-то ответить. Он перевел взгляд с Мериваала на Иаалу, вновь посмотрел в лицо Мериваалу и сказал: ¶

— Ты спас мою дочь, и мое благодарное сердце радо тебе. Но мой отряд входит в союз колен Ягве, а разве твой бог Ваал не враждовал с Ягве?

Лицо великана дрогнуло, черты его исказились, было видно, как душа его заметалась между желанием и страхом. Но он прямо посмотрел в широкое, львиное лицо Иеффая и, с великим трудом подыскивая слова для ответа, промолвил:

— Я чту Ягве, ибо ему поклоняется Иеффай. Но не хочу отречься и от своего бога Ваала, рука которого твердо вела меня, пока я не нашел твою дочь и тебя. Не хочу отречься и от великих героев моей родины, победивших одиннадцать чудовищ.

Иеффаю нравился аморец Мериваал, он с радостью перестал бы наседать на него. Но именно этого требовал от него долг. С какой-то горькой насмешкой над собой он осознал, что говорит с этим юношей так, как в свое время говорил с ним Авиям.

Он сказал:

— Я далек от того, чтобы отрывать тебя от твоих богов и героев. Чти их и дальше; но если ты хочешь вступить в мой отряд, Ягве должен стать для тебя главным богом; ибо именно он соединяет всех нас воедино. Тебе придется отказаться от имени Мериваал. В моем отряде не может быть воина, носящего имя чуждого бога.

Мериваал заикнулся было:

— Значит, звать меня будут не...? — Он не договорил фразу до конца. И молча стоял, то и дело меняясь в лице и тяжело дыша, долго стоял так и все молчал и молчал. Иаала слушала их разговор, замирая от тревоги и нетерпения. Она буквально впилась глазами в лицо Мериваала. Он почувствовал это и так разволновался, что Иеффаю стало его жалко. Но помочь ему он не мог.

Наконец Мериваал выдал: -

— Как же меня будут звать?

Иаала облегченно вздохнула, от радости по-детски хлопала в ладоши и попросила:

— Отец, дай ему красивое имя.

Порадовавшись ее радости, Иеффай сказал:

— Его будут звать Емин. Это имя означает «друг правой руки», то есть «моя правая рука». Довольна ли ты, дочь?

Великан расправил плечи. Называться другом и помощником Иеффая не было предательством прежнего бога. И тот, кто только что носил имя Мериваал, промолвил:

— Емин, твоя правая рука, благодарит тебя, Иеффай.

В честь Ягве забили теленка, кровь его смешали с вином, все ели и пили, Иаала тоже пиновала вместе со всеми; так Мериваал остался в отряде Иеффая и звался теперь Емином.

7

Кетура всегда и во всем держала сторону Иеффая, ни словом не перечила ему и тогда, когда он дал Мериваалу новое имя. Но ее мучила мысль, что юноше, ради того чтобы вступить в отряд мужа, пришлось отречься от своего бога. И она решила искупить его вину. А для этого совершить паломничество к их общему богу. Бог обитал на вершине горы Хермон, посреди белых бескрайних снегов. Она не побоится трудностей и лишений, поднимется на вершину и поклянется Ваалу в верности; он вознаградит ее, придав ей силы и мудрости.

Покрывив душой ради столь святой цели, она заявила Иеффая, будто ей не нравится, что гора Хермон взирает на ее мужа сверху вниз, как бы насмехаясь над ним. И ей не терпится подняться вместе с ним на ее вершину, дабы гора лежала у его ног.

А Иеффая давно, еще в Галааде, манила к себе белая сверкающая вершина Хермона, видная отовсюду, куда ни пойдешь. Потом, уже в Васане, он наслышался диковинных историй про эту гору. В незапамятные времена стояло на той вершине священное изображение Ваала. Но потом люди прогневили бога, гора сотряслась, и далеко вокруг все города и веси были разрушены до основания. С тех пор никто не поднимался на гору, люди боялись холодной

снежной вершины, и святыня стояла, покинутая и заброшенная. Только Ог, царь васанский, а потом и Иошуа, израильский военачальник, осмелились подняться на гору. Но немногие последовали их примеру. Ибо что ждало их там, наверху, после всех мучений и опасностей? Лишь злые духи да белизна.

Когда Кетура предложила Иеффаю подняться на гору, он сразу понял, что она хочет совершить паломничество к своему богу. Но давнее желание побывать на белой вершине крепло в нем, пока она говорила. Жена его жаждала униженно склониться перед Ваалом, он же, Иеффай, был воином Ягве и радовался случаю показать чужому богу, что не испытывает перед ним страха. И он весело сказал напряженно ожидавшей его ответа Кетуре:

— То, что ты предлагаешь, довольно опасно и не слишком необходимо. Но я вижу, что моей Кетуре очень этого хочется. Признаюсь: теперь, когда ты об этом сказала, мне тоже захотелось.

И они отправились в путешествие, столь же радостное, сколь и бессмысленное. С собой они взяли лишь Емина. Он долгое время скитался по склонам Хермона из любви к странствиям и неумного любопытства, поднимаясь иногда до покрытых снегом высот.

Молодой аморец все больше привязывался к предводителю отряда, обожание его доходило порой до смешного. Он подражал походке Иеффая, его манере говорить, его жестам, подобно Иеффаю даже стал выпячивать вперед подбородок. Он не сводил с Иеффая глаз, сгорая от желания оказать ему какую-нибудь услугу. Даже Кетура не могла порой удержаться от улыбки, видя такое его старание. И теперь его просто распирало от гордости и счастья: ему представился случай быть проводником своего кумира, и куда? К горе Хермон!

Они переправились через Иармук, минуя города и селения, пересекли плодородную долину, поднялись по склону, покрытому виноградниками, и повсюду видели изображения Ваала и Астарты.

На третий день пути они добрались до последнего селения — города Ваал-Гад, названного в честь Гада, бога счастья. Вскоре начались снега. Они удивлялись, как далеко вниз спускались снега и как долго не таяли. Они медленно поднимались по лесистым склонам. Попадались места, поросшие кедром, и везде было много подлеска. На ночлег они расположились в небольшой впадине, со всех сторон окруженной высокими скалами.

Дальнейший путь был невероятно труден. Издали вершина горы представлялась обширной, слегка закругленной плоскостью. А оказалось, что под снегом таились глубокие провалы и трещины и что сам снег был то твердый, покрытый скользкой ледяной коркой, то мягкий как пух, и люди неожиданно проваливались в него. Задыхаясь от напряжения, карабкались они все выше и выше, к сверкающей на солнце вершине. Кетура, очень крепкая от природы, совсем выбилась из сил. Емину то и дело приходилось вытаскивать ее из снега, то подпирая плечом, то неся на руках; этот неуклюжий на вид великан оказался ловким, быстрым и очень отзывчивым. Кетура прониклась благодарностью к юноше. Какое счастье, что Мериваал — мысленно она по-прежнему называла его этим именем — так подружился с ее дочерью. Если Иаала станет женой аморея, бог Ваал не исчезнет из их семьи.

Наверху они обнаружили почти совсем развалившееся, засыпанное снегом изваяние Ваала. Емин посоветовал здесь заночевать; он был уверен, что на следующий день они доберутся до самой высокой вершины. Все завернулись в одеяла и заснули.

На следующее утро, еще до рассвета, Емин тихонько, чтобы не потревожить Кетуру, разбудил Иеффая и попросил его следовать за собою, полный радостного возбуждения и сознания своей важности. Холод стоял пронизывающий, они тащились по глубокому снегу, скользили по твердому насту, продирались сквозь засыпанный снегом кустарник; вдруг Емин дал знак Иеффаю пригнуться и замереть. И тут Иеффай увидел животное, стоящее на выступе скалы по ту сторону узкой расселины; то был горный козел с огромными загнутыми рогами, козерог, акко. Несмотря на сильный ветер, он стоял неподвижно, как изваяние, и казался совершенно нечувствительным к холоду и непогоде. Скорчившись в снегу, Иеффай и Емин долго наблюдали за гордым животным, четко вырисовывавшимся на фоне быстро светлевшего неба. Вдруг козел, вспугнутый чем-то, спрыгнул с выступа и взлетел вверх по отвесному склону, будто взмыл на невидимых крыльях, не касаясь ногами скалы, и вмиг исчез из виду, словно растаял в воздухе.

Они пошли обратно. Емин, захлебываясь словами, рассказывал Иеффаю о повадках и обычаях акко. Часами стоит такой козел на пронизывающем ветру, не обращая внимания, что уши у него прихватило морозом. Козероги — необычайно гордые животные, они всегда взбираются на самые неприступные вершины и подолгу стоят в полном

одинокости. Во многих из них живут души героев, полубогов, после смерти переселившиеся в этих животных. Охотиться на козорогов — пустое занятие; но тот, кому посчастливится убить одного из них, сохранит силу до глубокой старости.

Иеффай и раньше слышал об этих акко. А теперь своими глазами увидел, как гордо возвышается горный козел на скале, упрямо подставив грудь ветру. И тут же с презрением вспомнил о домашних козах, послушных и смиренных, которых в Галааде держали в загонах, пасли и кормили люди. Горный козел пришелся ему по душе. После смерти он хотел бы превратиться в такого акко. В тот же день, как и предвидел Емин, они еще до полудня достигли манящей и пугающей вершины, все эти дни ослепительно сиявшей над их головами. За время подъема они не раз попадали в плотный туман, но сегодня воздух был чист и прозрачен, и глубоко внизу они увидели залитые ярким светом плодородные поля Васана и его черную каменистую полупустыню, а вдали — земли Израиля: на востоке — Галаад, на западе — Ханаан.

Острым, приметливым глазом Иеффай узнавал знакомые горы и долины, города и реки. Он проследил взглядом течение Иордана, разглядел множество вливавшихся в него рек. И там, далеко на юге, где небо смыкалось с землей, увидел Мертвое море, а прямо под собой — справа — волнующуюся гладь богатого рыбой озера Киннарет и его берега, покрытые пышной растительностью; дальше на западе он увидел бескрайнее море, а далеко на юге смутно виднелась Вирсавия и за ней — пустыня.

Иеффай жадно вбирал в себя все это разнообразие, пестроту, бесконечность. И туманная картина, вызванная тогда, в скинии Ягве, словами священника, а быть может, самим Духом Господним, стала явью. Вот она, эта земля, перед его глазами. Зримо раскинулась у его ног. Он сжал кулаки, снова разжал и вытянул вперед руки, словно собираясь охватить ими все, что видел; потом вновь сжал кулаки. Все эти бескрайние земли и разделяющие их реки и горы были единой страной. И он, Иеффай, избран Богом, чтобы их воссоединить. Мысль эта овладела им, вытеснила все остальное и окрылила. Он увидел свою цель. И цель эта была прекрасна; она обладала магической силой и была достойна героя — человека, на треть равного Богу.

Чепуха все это. Призрачные картины, порожденные горным воздухом. Пускай Авиям, немощной плотью обреченный на бездействие, предается подобным смутным меч-

таньям. А мужчине, способному сражаться и побеждать, не к лицу тратить себя на пустые досужие домыслы.

А впрямь ли они пусты? Вот она, эта страна. А вот он, Иеффай. И то, что он наметил, можно продумать и рассчитать, шаг за шагом. Он подчинил себе Афек, Гессур и Голан. В его силах покорить и другие земли Васана и укрепиться на севере. Потом он переправится через реку Иавок и станет судьей в Галааде. Потом — шаг за шагом — объединит свои владения на севере с восточными землями Израиля. Потом переправится через Иордан и сплотит разъятые части в единое целое. И тогда судья Израиля станет вровень с египетским фараоном и царем вавилонским, называющим себя «царь царей».

Бредни! Тщеславные бредни! Но, с другой стороны, как часто вполне возможное поначалу принимают за бред. В Массифе и Маханаиме желание взойти на Хермон показалось бы безумным; но вот стоит же он, Иеффай, сын Галаада, на крыше дома, в котором живет Ваал, бог Васана, и окидывает взглядом весь Израиль, и погружается в думы, и руки его тянутся схватить все, что объемлет глаз.

Сопротивляясь сильным порывам ветра, он шире расправил плечи, слегка набычился, выставив вперед голову с короткой квадратной бородкой, громко рассмеялся, и смех его гулко обрушился в ледяной простор.

Ночью — было очень холодно, и Кетура под одеялами прижалась к нему всем телом — он не мог заснуть, несмотря на усталость после трудного дня. Через некоторое время Кетура спросила его:

— Ты не спишь, Иеффай? — И шепотом, выдававшим ее ликование, сказала: — Я знаю, почему ты не спишь. Я знаю, почему ты смеялся. Я тоже смеялась в душе. Я тоже почувствовала, что Ваал, сидя внутри горы, обрадовался нам и приветствовал нас в своих владениях. Он хочет нам добра. Он хочет тебе добра. И если Ягве этого священника тебе не поможет, Ваал выйдет из горы, чтобы тебе помочь.

Иеффай крепче прижал ее к себе. Его поразило, как мало она его понимает. Он был воином Ягве, а не Ваала. И не хотел помощи чужого бога. Пределом его притязаний была не река Иармук, где кончалась власть Ваала: ему предназначены были все земли вплоть до Синайской пустыни, земли по обе стороны Иордана, вся страна Ягве. С ним благословение и помощь Ягве. Потому-то Ваал Васанский не посмел и пошевелинуться, когда он, Иеффай, стоял на крыше его дома, над самой его головой.

На пятый год жизни в глухих лесах Иеффай подчинил себе город Рамот со всеми его окрестностями.

Несмотря на то что теперь в его владения входили четыре города севернее реки Иармук, сам он по-прежнему скитался по лесам, как бродяга, и домом ему служил шатер кочевника. Лишь три семерки его телохранителей точно знали место его пребывания.

Весной следующего года он взял приступом город Суккот. Многие его жители были амореями и оказали упорное сопротивление захватчику. Иеффай был серьезно ранен в плечо. Он помрачнел. Может быть, рана эта — свидетельство козней бога Ваала, могущество которого здесь, на севере, было велико. А может, то было предостережение, ниспосланное Ягве? Ведь Пар просил его поостеречься. Но кто бы ни подстроил ему эту неприятность, Ваал или Ягве, Иеффай она возмутила. Он не обратил внимания на рану и решил сразу же отправиться назад, в землю Тов.

Когда он добрался до своего шатра, его бил озноб, он весь горел. Казия принялась лечить его, окружив любовью и заботой. Она настояла на том, чтобы он отдыхал от дел и подолгу лежал в шатре или на воздухе. Мрачный, торчал он теперь целыми днями дома, теряясь в догадках.

Близкие — жена с дочерью, Пар, Казия, Емин — все время были подле него. Иеффай бесило, что время уходит, скоро лето, а до зимы надо успеть сделать такую прорву дел. Пар попытался его успокоить:

— До той поры больше двухсот дней, все успеется, Иеффай.

Но тот, перебив его, язвительно спросил:

— А ты что, точно знаешь, чем я собираюсь заняться летом?

Пар, смущенный оттого, что приходится отвечать прилюдно, возразил:

— Думаю, ты собираешься захватить еще город Мааху с прилегающими к нему землями, чтобы округлить твои владения в Васане: земли, сомкнутые воедино, будет легче защищать от царя Авира.

Заметно повеселев, Иеффай сказал:

— В самую точку попал, умник. Мааху я, разумеется, возьму, а заодно прихвачу, наверное, и город Рехов с окрестностями. У нас получится семь уделов, а семь — число счастливое.

Казия обратилась к мужу, словно не замечая присутствия Иеффая:

Наверное, он хочет объединить под своей властью весь западный Васан и стать главой и родоначальником колена Иеффая.

Все взоры обратились к Иеффаю. Но он только рассмеялся в ответ и бросил Пару:

— Ну, что ты на это скажешь? Ответь своей умной женушке, умник.

И Пар ответил:

Когда-нибудь он наверняка объединит семь своих уделов и положит начало колену и стране Иеффая. Но тогда уж не преминет присоединить к ней и землю Тов. Ибо все мы, собравшиеся здесь, не любим тесноты и несвободы городов, и больше всех сам Иеффай. Он захочет остаться в этих диких краях и отсюда управлять своими владениями на севере. Правда, ему придется проводить по многу месяцев в подвластных ему городах. — Немного подумав, он заключил: — В молодости человека тянет странствовать и скитаться. А в зрелые годы он склонен к покою и порядку.

Иеффай зло усмехнулся. Какие же скромные замыслы приписывает ему этот Пар и какое жалкое царство!

— Ты прав, — язвительно заметил он, — землю Тов я, пожалуй, присовокуплю к нашим северным землям. Но в этой земле всего две реки текут в Иордан, зато в земле Галаадской — целых одиннадцать! Представь себе, славный мой Пар, эту землю я тоже собираюсь прихватить! — Он выпрямился и бросил им всем в лицо: — Или вы полагаете, что я навеки оставлю Галаад во власти этих трусливых лисиц, сыновей Зильпы?

При этих словах Кетура вспыхнула, Иаала просияла, а на лице великана Емина, обычно довольно неподвижном, словно деревянном, отразились мгновенно вспыхнувшие в его душе чувства. И даже осторожный и осмотрительный Пар не выдержал и попросил:

— Договаривай, Иеффай. Ты явно не все нам сказал. Говори же. Мы все жаждем услышать больше.

Иеффаю и самому не терпелось высказаться. Не терпелось поведать им о том, что он увидел с вершины Хермона, о том, чем наполнилось его сердце.

— И опять ты прав, друг мой Пар, — сказал он. — Васан, Тов и Галаад — все это маловато для меня. Мой Израиль должен объять и все колена на востоке от Иордана — Рувимово, Гадово, Манассино, а также и амо-

реев, живущих между ними. Все это должно стать единым. Не союзом разрозненных колен, а единым народом.— Он стоял, гордо выпрямившись и глядя в необозримую даль, как тогда, на вершине Хермона, а потом, широко раскинув руки, завершил свою речь словами: — После этого мы переправимся через Иордан и присоединим израильские земли в Ханаане к владениям израильтян на востоке. И возникнет единое великое царство, простирающееся от Дана до Вирсавии и от Великого моря на западе до пустынь Аммона и Моава на востоке: царство Израиль.

Иаала не могла больше сдерживаться. Вне себя от восхищения, она воскликнула:

— Дай Господь силу отцу моему Иеффаю! Дай Господь силу Иеффаю, сыну Галаадову!

Но Казия перепугалась и сочла нужным предостеречь:

— Не говори так громко, брат мой Иеффай. За каждым деревом, за каждой скалой притаились злые духи, они всегда роятся вокруг тех, кто болен, а сильных и гордых норовят заманить в ловушку.

Но все пропустили ее слова мимо ушей, у них дух захватило от речей Иеффая, и даже в ровном, спокойном голосе Пара, когда он заговорил, звучало нечто похожее на восторг:

Объединить все колена Израилевы в единый народ — и надменных ефремлян, и строптивых сынов Вениамина, и медлительных жителей Галаада! Такой план может родиться только в голове великого судьи и героя. Это Ягве внушил его тебе и вдохнул в тебя дух свой.

Иеффай возликовал, заметив, что его слова воодушевили даже рассудительного Пара. И в тот же миг его обдала холодом мысль: разве то, что он сейчас сказал, сильно отличалось от туманных речей, которыми пытался его одурманить священник Авиям? Но тут же решительно отбросил эту мысль. Ведь он-то *видел* эту страну, единую и неделимую. Он видел ее с вершины Хермона. Она действительно существовала, и он ее возжаждал. То, что он чувствовал, к чему стремился, о чем говорил, отличалось от пустопорожных речей Авияма, как дуб отличается от своего слабого ростка.

Он должен был донести это до них. И сожалел, что говорил об этом с излишним пылом. Поэтому он добавил:

— Не считите мои речи за хвастливые пророчества одержимого. Я не бросаю слов на ветер. И все как следует продумал. Я возьму Мааху и завладею всем Васаном. Толь-

ко после этого перейду Иавок и завладею всем Галаадом. Только после этого переправлюсь через Иордан.

Он опустил на циновку, подвигал раненым плечом, пересилил боль и буркнул:

— Ну вот, теперь вы все знаете. До вас я поведал об этом лишь деревьям в лесу. Забудьте мои слова и вспомните их только тогда, когда мы перейдем Иавок.

9

Зильпа и ее сыновья сочли доходившие до них слухи о подвигах и победах Иеффая пустыми выдумками и рассказами. Но одно не вызывало сомнений: этот ублюдок и впрямь не сгинул в диком краю, дела его шли в гору, владения ширились, он нагло загребал себе все кругом, у него были и земли, и войско, и боевые колесницы, и власть.

Зильпу, жестоко обманувшуюся в своих ожиданиях, все же не оставляла надежда на то, что Ягве в конце концов покарает и обратит в прах отродье Леваны.

Гордого Гадиила успехи Иеффая не задевали. Если он чему и завидовал, то лишь его вольной и полной приключений жизни в диком краю. Гадиилу не давала покоя память о скитаниях предков; его влекло к переменам, к кочевой жизни и вольнице в просторах степей.

Расчетливого Елека тем более не вывел из равновесия счастливый оборот в судьбе Иеффая. Пусть себе этот ублюдок воюет и побеждает со славой, лишь бы совершал свои подвиги подальше от них, где-то там в горах за рекой Иармук. Если бы он остался здесь и все время маячил у всех перед глазами, недоброжелатели пользовались бы любым предлогом, чтобы упрекнуть сыновей Зильпы в злокозненности, приведшей к разорению брата. А поскольку Иеффая не было, семья могла спокойно пользоваться прекрасными землями в Маханаиме. Он, Елек, особенно радовался этому. Для матери и братьев почет и уважение значили больше, чем благосостояние семьи, они возложили на Елека управление всем отцовским наследством, и он с удовольствием взвалил на себя эту тяжкую обязанность. С утра до вечера объезжал он семейные владения, осматривал разбросанные по округе постройки, поля, виноградники, оливковые рощи, загоны для скота. Наводил порядок, восстанавливал, множил. Приказывал расширять и надстраивать дома, копать каналы и водоемы, проверял состояние

земли и указывал, что надо и чего не надо сеять. Пустил в стадо новые породы козлов с Изреельской равнины и быков из Маахи. Купил у бродячих торговцев необходимые в хозяйстве орудия труда и раздал их работникам. В полях зрел богатый урожай, в стадах множилось поголовье, солнце и дождь приходились на самое благоприятное время. И в каждое новолуние Елек с удовольствием убеждался, как обширны и доходны его владения, и выражал свою благодарность Ягве тем, что старался их умножить.

Самегар, младший из сыновей, часто и подолгу раздумывал о судьбе Иеффая. Его приводило в ужас безбожие брата, и в то же время что-то в этом странном человеке его привлекало. Для Самегара, любившего во всем мир и согласие, жизнь в пустыне, в диком безлюдном краю, казалась невыносимой; он был убежден, что Ягве затмил разум брата, добровольно избравшего такую жизнь. Но тогда почему Ягве именно его, отступника, удостоил чести отвоевать для Израиля некогда утраченные города на севере? Наверное, Ягве имел какие-то виды на этого человека, если и отметил его своей благодатью, и покарал упрямством.

Священник Авиям тоже полагал, что Ягве связывает с Иеффаем какие-то особые свои цели. А он, Авиям, в тот раз неправильно истолковал Господню волю. И испытание, которому он подверг Иеффая, было порождением человеческого разума, а не Господней мудрости; очевидно, Ягве хотел испытать Иеффая как-то иначе. И все же резкие слова, которыми он, Авиям, тогда отчитал Иеффая, возымели кое-какое действие: несмотря на возмущение якобы причиненной ему несправедливостью, Иеффай не бросился напрямиком в страну Аммона, откуда родом его жена, и при всем своем бунтарстве сохранил верность Ягве и колену Галаадову. Нет, Авиям не отвернулся окончательно от непокорного сына. Правда, временами изнемогал от того, что ждать приходилось слишком долго. Ибо он был стар, каждый год мог стать для него последним, и большая часть его жизни прошла в ожидании.

Среди галаадитян было много разговоров о подвигах Иеффая, и все вспоминали о нем с приязнью. Но никто не решался поднять голос против сыновей Зильпы. Ибо под управлением рачительного Елека людям Галаада жилось совсем неплохо. Многие построили себе новые дома, лучше тех, что были при прежнем судье, лучше питались и обзавелись лучшей утварью и лучшими орудиями труда. И все же благосостояние не принесло им довольства. Сколько време-

ни еще продержится мир с соседями? Не пора ли кому-то возглавить народ, чтобы защитить людей от Аммона? Старейшины не раз заводили речь о том, что надо бы избрать нового судью. Но разговоры эти ни к чему не приводили. Ибо думали все об Иеффае, но имя его не решались проинести вслух, и не было в Галааде другого человека, которого бы все с почетом и уважением хотели бы назвать «иши шофет», Верховный судья. Поэтому в каждом городе старейшины сходились в круг, судили и рядили по своему разумению, а в особо трудных случаях обращались за советом к священнику Авияму, Зильпе или тому же Елеку. И каменный престол судьи у ворот Массифы оставался пустым.

Так продолжалось четыре года, пошел уже пятый; и все это время умный и предприимчивый царь Аммона Нахаш ожидал своего часа у незащищенных и неясных границ соседей. Но на шестой год набеги аммонитян участились. Враги все дальше заходили в глубь Галаада, опустошали поля и виноградники, угоняли скот, а селения грабили. И не было в стране судьи, не было сильной власти, чтобы дать отпор врагу. Страх и недовольство поползли по всей стране, и у всех на устах появилось имя Иеффая. Горожане в своих каменных домах, крестьяне в хижинах, пастухи у костров говорили о его деяниях, о городах, которые он отвоевал, о войске, которое создал, и боевых колесницах, которыми его вооружил.

Авиям и Зильпа понимали, что престол судьи не может более оставаться пустым. Оба они, однако, уже привыкли к виду пустовавшего камня. И в глубине души хотели, чтобы он оставался незанятым. Зильпа ощущала себя матерью и главой рода, преемницей тех знаменитых женщин, которые в древние времена возглавляли народ Израиля. Авиям, в свою очередь, считал себя негласным судьей, ибо, опираясь на волю Ягве, незаметно для Зильпы руководил и ею самой.

Но оттягивать назначение судьи было уже нельзя.

Сначала предложили занять этот пост Гадиилу. Дескать, теперь, когда страна со дня на день ожидает вторжения аммонитян, именно он, мужественный воин, достоин возглавить народ. Но Гадиил отказался. Воин он и впрямь неплохой, что правда, то правда, но в военачальники, а тем более в судьи не годится. «Смерти на поле боя я не боюсь,— заявил он.— Но не хочу умереть военачальником. Когда погибает простой вояка или даже глава отряда в тысячу воинов, духи предков с любовью встречают

его под землей, и есть надежда, что Ягве впоследствии вернет его на поля сражений. А военачальник должен держать ответ за исход битвы, и если мое войско будет разбито, то мне и после смерти не будет покоя».

Елек тоже отказался, вежливо и решительно.

Из сыновей Галаада оставался Самегар.

Обдумывая сложившееся положение, Авиям колебался. Самегар будет мягкой глиной в его руках, и священник опасался, что не удержится и воспользуется этим больше для удовлетворения собственного властолюбия, чем для блага своего народа и вящей славы Ягве. Он был честолюбив, и ему хотелось еще что-то совершить, прежде чем отправиться в погребальную пещеру. Но он может и сбиться с верного пути, и свершения его пойдут не на пользу, а во вред Израилю. Однако, сколько ни думал, ни на ком не мог остановиться, кроме Самегара. Значит, то была воля Ягве, и галаадитянам надлежало избрать Самегара судьей. Священник смирился.

Но вопреки его ожиданиям Самегар заупрямился. Все его уговаривали: человек он благочестивый и справедливый, а потому и достоин занять этот пост больше, чем его братья. Самегар же возражал: именно будучи благочестивым, он знает, что не заслуживает такой чести и не обладает ни волей, ни чувством собственного превосходства, чтобы решать участь других людей. Священник клятвенно заверил его в помощи Ягве. Самегар долго мялся и медлил, увиливая от ответа, а потом совсем сник, не в силах ни согласиться, ни отказаться.

И Авиям нашел выход. Он предложил Самегару вначале принять лишь жезл судьи; обряд же помазания Авиям совершит над ним позже, когда Самегар с Господней помощью докажет, что способен справиться с обязанностями судьи. И отвечать он будет сначала лишь перед людьми, а не перед Богом.

Ночью, лежа рядом с Самегаром на циновке, жена его, тощая Цилла, принялась нашептывать ему на ухо злые, завистливые слова. Священник, мол, строит против него козни и отказывается помазать его на должность судьи лишь потому, что хочет сохранить ее для этого ублюдка, идолопоклонника. В словах ее звучала жгучая ненависть к Иеффаю. Но Самегар уловил в них некое утешение для себя. Ведь он-то по-прежнему любил Иеффая. И вот оказывается, есть надежда, что брат в один прекрасный день вернется в дом Ягве и снимет с Самегара тяжкое бремя судейства.

Все произошло так, как задумал священник. Самегара назначили судьей, но без пышных празднеств, полагающихся по обычаю, и без обряда помазания.

Не чувствуя себя способным исполнять другие обязанности, возлагаемые на судью, Самегар с неистовым рвением принялся искоренять идолопоклонство. Надежные люди сообщали ему, на каких холмах люди поклоняются чужим богам, и он приказывал сжигать деревянные изображения богини Астарты, валить на землю и осквернять каменные столпы, посвященные местным Ваалам, и рубить под корень священные деревья. Но жители Галаада бросились защищать свои святыни: ведь жившие там боги делали их нивы плодородными, а скот плодовитым. И люди не хотели обижать и изгонять добрых богов. Иногда они защищали их кулаками и даже с оружием в руках, так что посланцам Самегара не раз приходилось с позором возвращаться обратно. Самегар сердился и сокрушался, но братья равнодушно отмахивались от его жалоб. А Елек даже заступался за людей, не желавших лишаться своих богов-покровителей.

Однажды Самегар сам взялся срубить старый дуб, который жители окрестных селений защищали с особым упорством. Дерево было суковатое и никак не поддавалось топору. В угрюмом молчании наблюдали люди, как надсаживался судья. Но никто ему не помог. И когда он, мрачный и взмокший, пошел прочь с холма, никто не пожелал ему доброго пути.

10

В это лето особенно много мужчин покинуло Галаад; все они пришли к Иеффаю, чтобы влиться в его отряд. Они рассказали, что аммонитяне все чаще вторгаются в пределы Галаада и что новый судья Самегар не способен дать им отпор. Что царь Нахаш готовится следующей весной напасть на них со всем своим войском. И что весь народ взывает к Иеффаю.

Кетура торжествовала:

Значит, весной они заявятся к тебе — те, кто называл твою мать блудницей, а меня — наложницей. Они будут целовать твою бороду и жалобно скулить, моля о помощи.

Исфайл возразил:

— Это ты говоришь.

Но Кетура не унималась:

— И ты спасешь их, и они будут стоять перед тобой, смиренные и униженные. А мы поселимся в доме твоего отца, и Зильпа склонится пред тобой и предо мной, и все они будут мыть нам ноги.

На это Иеффай вновь ответил:

— Это ты говоришь.

Он и сам не меньше Кетуры мечтал о том, когда сможет вкусить сладость мести. Но теперь, когда до этого оставались считанные дни, радость его была омрачена печальным известием: весной, как раз в то время, когда к нему явятся сыновья Зильпы, чтобы униженно просить о помощи, царь Васана Авир собирается выступить против Иеффая, чтобы отбить захваченные им города.

Все эти годы Васан не платил дани Вавилону лишь потому, что тот был ослаблен войной с Ассирией. Но теперь царь царей Мардук уничтожил ассирийское войско, возродил бывшее величие Вавилона, и царю Авиру пришлось склонить перед ним голову. Он уже дал знать Мардуку, что признает над собой власть Вавилона, более того, посланец царя царей уже находился на пути в Едрею, столицу Васана, дабы принять присягу и забрать дань. Как только это произойдет, царь Авир уже ранней весной сможет бросить войско против Иеффая, дабы выместить на нем унижение, причиненное Вавилоном.

Следовательно, весной Иеффаю понадобятся все его воины и боевые колесницы для битвы с Васаном. Пошли он хотя бы часть своих сил на помощь Галааду, он неизбежно потеряет земли за рекой Иармук. Гнев охватил Иеффая. Вся его кипучая и властная натура восстала против того, чтобы без боя уступить завоеванное, но и желание помочь Массифе жгло его душу огнем.

Пришла весть, что посланец Вавилона, принц Гудеа, на следующей неделе прибудет в Едрею. Затем он направится в землю Ханаанскую, чтобы и от тамошних городов потребовать присягу и дань.

Дорога, по которой он должен был проследовать к озеру Киннарет, проходила по землям, в свое время признавшим Иеффая своим защитником и покровителем. В голове Иеффая зародился смелый до безумия план. Но он был должен, он был обязан решиться на отчаянный риск, ибо другого выхода у него не было.

Он отправил гонца в Едрею к царю Авиру. И потребовал три тысячи сиклей в уплату за охрану вавилонского посла на пути через западный Васан. Он был уверен, что царь

отклонит его требование: ведь в противном случае царь признает право Иеффая на эти земли.

Царь Авир приказал отрезать уши гонцу и с тем отослал назад. Грубый ответ обрадовал Иеффая: он развязал ему руки и подтолкнул осуществить свой замысел.

11

Посол вавилонского царя принц Гудеа, прибыв в Едрею, потребовал и получил причитающуюся дань. Затем приказал установить на рыночной площади каменную плиту с надписью, восхваляющей царя царей Мардука. Покончив с этим, он тронулся дальше, держа путь к озеру Киннарет, дабы принять присягу на верность и соответствующую дань также и в городах ханаанских.

Миссия его была столь же почетна, сколь приятна. Победа Мардука над Ассирией вызвала страх во всех странах вплоть до границ Египта, и древний его титул «Царь царей, повелитель четырех стран света» обрел новый смысл. Поэтому принц Гудеа, посол повелителя, пребывал в полной уверенности, что отцы городов в Ханаане примут его с подобающими почестями и изъявлениями преданности. Он ехал спокойно и безмятежно навстречу новым, уже слегка наскучившим ему клятвам.

Важная персона, двоюродный брат царя царей, был изнежен. Он ехал в сопровождении огромной свиты. При нем находились два личных слуги, два повара, завиватель бороды и несколько человек для установки шатра. Кроме того, его сопровождали прорицатель, певец, несколько музыкантов, а также два писца и резчика по камню и один художник. Были там и трубач с глашатаем, дабы заблаговременно возвещать о прибытии высокой особы с титулом «уста повелителя четырех стран света». Поклажу тащила длинная вереница вьючных животных, были среди них и лошади, и даже несколько диковинных длинношеих и высокогорбых тварей, недавно прирученных человеком и получивших название «верблюды».

В свиту входила и вооруженная охрана, не слишком многочисленная, ибо высокая миссия принца Гудеа должна была обеспечить его безопасность надежнее любых телохранителей; так что вооруженные люди лишь подчеркивали особую важность посла. Впрочем, царь Васана, к легкому удивлению надменного принца, позволил себе несколько усилить охрану.

В северной части земли Тов путь принца пролегал по ущелью, с обеих сторон ограниченному крутыми, поросшими кустарником склонами. Иеффай распорядился перекрыть выход из ущелья, а как только процессия втянется в него, также и вход. Его люди, укрывшиеся за кустами на склонах, сначала поразили стрелами животных под всадниками, а потом, выскочив из засады, врукопашную обезоружили охрану. Обошлось почти без кровопролития — было приказано щадить попавших в ловушку. Принца захватили целым и невредимым и тотчас препроводили в укрытие, расположенное в самом сердце земли Тов.

Пленники в большинстве своем вообще не поняли, что произошло. Тем более ничего не понял сам принц. Он довольно долгое время полагал, что отцы городов Ханаана отрядили своих людей, дабы загодя с почетом встретить высокого гостя. Писцам едва удалось втолковать ему, что горстка каких-то негодяев, диких и невежественных разбойников, осмелилась сыграть глупую шутку с такой важной персоной, как он. Принц был оскорблен до глубины души.

Однако невежды и дикари обращались с посланцем царя царей изысканно вежливо, хотя и не без лукавства. Они вели разряженного вельможу сквозь густой лес, то и дело сокрушаясь из-за скверной дороги, а тот на каждом шагу спотыкался о корни и пни; не обошлось также без синяков и царапин, а когда добрались до первого привала в какой-то пещере, оказалось, что драгоценные одежды посла изодраны в клочья. Но слуг ему тотчас доставили, равно как и завивщика бороды и втирателя благовоний. Вслед за ними пред очью важной персоны явился Пар и рассыпался в извинениях: высокому гостю придется удовольствоваться для омовений водой из близлежащего пруда; в остальном же они постараются предоставить в его распоряжение все доступные в здешнем краю удобства. Высокий гость пообещал, что царь царей спустит с них шкуру, посадит на кол и будет истязать два дня кряду, прежде чем отправить в преисподнюю. На это Пар почтительно заметил, что высокий гость изволит заблуждаться: повелитель земли Тов распорядился доставить его в это безопасное место именно для того, чтобы оградить его особу от разбойников и прочего сброда. А пока он предложил бы гостю отведать мяса дичи, в изобилии водящейся в здешних лесах, а также вкуснейших ягод.

— Кто ты такой, наглец, уж не предводитель ли этих разбойников? — спросил принц.

Но Пар, обернувшись к старому Толе, владевшему многими языками, сказал:

— Я не совсем понял нашего высокого гостя. Поясни мне, что он изволил молвить.

Язык Вавилона, во многом схожий с еврейским, отличался от него главным образом тем, что гортанный звук «х» не произносился, его заменяло легкое придыхание. Старый Тола, заговорив с вавилонским принцем, старался выдыхать этот звук едва слышно, так что иногда вообще ничего нельзя было разобрать, и старик извинился перед гостем такой фразой: «Где бедняк ветры пускает, там у бога гром громыхает».

— Приведите-ка сюда главаря банды! — грубо обрезал его принц. — Я ему разъясню, как повелитель четырех стран света поступит с ним и всей этой сворой, в том числе и с тобой, выживший из ума плешистый старик!

Иеффай засвидетельствовал высокому гостю свое почтение, поцеловал ему бороду — принц при этом брезгливо отшатнулся — и вообще выказал величайшее уважение к его персоне. В ответ принц описал Иеффая истязания, которым тот подвергнется на глазах жителей Вавилона. Иеффай сделал вид, что ничего не понял, и выразил сожаление по поводу того, что высокому гостю не понравилась вода для омовений. Принц Гудеа заявил, что лишь презренный безумец, покинутый собственным богом, может так безоглядно стремиться к своей же гибели. В ответ Иеффай принялся восхищаться печатью принца, воспроизводившей башню, храм Этеменанки. На это принц заметил, что кол, на который посадят разбойника, расщепят и надрубят, дабы продлить его муки. Тогда Иеффай заверил принца, что утром вновь придет осведомиться о его здоровье.

Все следующие дни Иеффай провел в напряженном ожидании. Что предпримет царь Васана? И вновь и вновь задавал себе один и тот же вопрос: что сделал бы он сам на его месте? Сначала царь, конечно, попытается освободить пленника. Однако в густых лесах земли Тов хватало укромных мест, и принца можно было прятать то тут, то там; но даже если воинам Авира удастся напасть на его след, царь наверняка сообразит, что такой человек, как Иеффай, без малейших колебаний заставит пленника разделить собственную участь и убьет его. А вот этого Авир ни в коем случае допустить не может. Ибо царь царей именно с него взыщет за гибель своего посла: пойдет на него войной, выколует ему глаза, а может, и казнит. Нет, Авир не рискнет применить силу против Иеффая, и, значит, ему придется

вступить с ним в переговоры. Авир не осмелится признать, что посол царя царей угодил в западню. Слишком уж жалок и смешон окажется он сам, если выяснится, что не сумел оградить своего гостя от нападения разбойничьих орд земли Тов. Иеффай охотно помог бы царю сплести паутину спасительной лжи: мол, принц вовсе не пленник, а дорогой гость, или что-нибудь еще в этом роде.

Дабы убедить царя в своих благих намерениях, Иеффай немедленно отослал назад пленных васанских воинов, вернув им оружие и щедро одарив на прощанье. А на словах велел передать царю, что повелитель земли Тов принял посла Вавилона как гостя и намерен предоставить ему охрану на весь оставшийся путь. Если царь Васана желает узнать подробности, пусть пошлет одного из своих советников в город Афек. Сам же Иеффай направил туда Пару в качестве своего доверенного лица, снабдив его точными указаниями.

В ожидании ответа царя Иеффай старался скрасить время, навещая принца Гудеа. Он еще ни разу в жизни не видел подобного существа. Принц был облачен в одежды из тяжелых тканей искусной работы и весь увешан золотыми украшениями; руки его были унизаны золотыми кольцами и браслетами. Он был умащен благовонными маслами до такой степени, что его окружало облако ароматов. Даже в этой глуши, среди дикой природы, в пещере, укрывшейся в чаще девственного леса, его непрерывно натирали и умащали благовониями и опрыскивали настоями душистых трав. Если слуги не блюли в точности церемониал омовения его ног, он грозил отстегать их плетью. И он ни разу не принял Иеффая, не нацепив тщательно завитую бороду. Чтобы поддразнить гостя, Иеффай держался с нарочитым подобострастием и всякий раз поражался тому, что принц, привыкший к неумеренным восхвалениям, совершенно не замечает, что над ним смеются.

Пришло известие, что отряд воинов царя Авира направился в землю Тов. Иеффай предвидел, что в первом приступе гнева царь может отдать такой приказ. И все-таки испугался. Но тут же взял себя в руки: он рассчитывал на то, что здравый смысл вскоре вернется к царю. Авир подвергал себя серьезной опасности, угрожая человеку, в руках которого оказался заложником представитель царя царей.

Случилось то, что Иеффай и предполагал. Через три дня Пар сообщил, что васанское войско с полпути повернуло назад. А спустя еще два дня посредник царя Авира прибыл в Афек.

Все это время Иеффай делал вид, что вполне доволен ходом событий. Теперь же он ликовал и радовался от души. Значит, замысел этот был внушен ему Ягве. И значит, он победит вдвойне. Он может достичь одного, не отказываясь от другого. Пусть только наступит весна. Он и удержит свои города, и сумеет спасти и унижить братьев.

12

Посредник, присланный царем Васана в Афек, выслушал сообщение Пара о том, что приключилось с принцем Гудеа. Пар рассказал, что принц сделал остановку в земле Тов по собственной прихоти — ему пришлось по нраву дикая природа тех мест, и Иеффай оказал принцу подобающее гостеприимство. Но если царь Авир желает, чтобы посол поскорее продолжил свой путь, то Иеффай, идя навстречу желанию царя, готов попробовать его уговорить. Посредник мигом смекнул, насколько эта небылица выгодна для его господина и для самого посла, и только поинтересовался, какой ответной услуги требует Иеффай.

Пар передал посреднику предложение Иеффая: царь Васана, которого Иеффай безусловно признает верховным правителем царства, должен подтвердить права Иеффая на владение семью уделами, захваченными им ранее, после чего оба они торжественно поклянутся каждый своим богом три года хранить мир. Иеффай знал, что такая клятва надежнее обеспечит его безопасность, чем многочисленное войско. Ибо если царь Авир хочет всерьез разгромить Иеффая, он нуждается в помощи и покровительстве своего бога Ваала. Нарушив клятву, он смертельно обидит своего покровителя и окажется бессильным перед Иеффаем и его богом Ягве.

Царь Авир всячески противился и увиливал. Он готов был признать права Иеффая лишь на три удела из семи, а клятву блюсти мир не хотел давать ни при каких условиях или, в крайнем случае, на один год, но никак не на три. Переговоры шли туго. Царь упорствовал. Но Иеффай твердо стоял на своем. Ему незачем было торопиться.

Зато его гость, принц Гудеа, изнемогал от нетерпения. Он начисто утратил выдержку, приличествующую столь важному лицу и при самом скверном обороте дел. Посол изрыгал такие грубые ругательства, что старый Тола не верил своим ушам. А при виде Иеффая погружался в мол-

чание и сидел, брезгливо поджав губы, утопающий в пышной, искусно завитой бороде.

Он не давал покоя своему прорицателю, требуя ответить, когда кончится эта недостойная затея. Прорицатель Ану, знаменитый мастер своего дела, каждый раз заверял принца, что тот со славой вернется в Вавилон целым и невредимым, но от точного указания сроков воздерживался. В ответ принц разражался проклятиями и угрозами. Однако прорицатель Ану, готовый скорее расстаться с жизнью, чем изменить своему искусству, отказывался назвать даты или сроки. А поскольку принц наседал, Ану в конце концов объяснил, почему он не может ответить на этот вопрос. По звездам можно предсказать только далекое будущее, а предсказания на ближайшее время делаются только по чаше. Однако для этого здесь, в глуши, не было самого необходимого: святой воды из Евфрата и освященного масла из оливковой рощи Астарты. Недовольство и раздражение принца лишь усилились, когда он узнал, что ко всем лишениям добавилось еще и это: его лишали такого удовольствия, как предсказание.

Находчивый Иеффай велел доставить из Афека бурдюк со святой водой и кожаную флягу с освященным маслом. Принц просиял, но тут же нахмурился, заподозрив обман, и потребовал, чтобы Иеффай поклялся в подлинности воды и масла.

— Каким богом прикажете клясться? — спросил Иеффай.

— Твоим, твоим богом, разбойник! — взорвался принц. Иеффай поклялся.

После этого прорицатель Ану занялся необходимыми приготовлениями. Сперва он наполнил чашу водой из Великой Реки. Затем влил туда же масло Астарты, дабы по рисунку растекшегося по воде масла предсказать будущее. Принц с большим интересом наблюдал, как масло растекалось по поверхности и просачивалось вниз. Были известны сто тридцать девять различных форм масляного пятна. Принц тупо глядел в чашу, ничего не понимая. Но Ану не зря слыл выдающимся знатоком: все сто тридцать девять видов он держал в голове. Он следил за быстро меняющимся масляным пятном взглядом, в который вложил всю душу. Ану искренне верил в свое искусство; он знал, что при малейшей лжи Бог лишит его дара ясновидения, и был полон решимости открыть принцу истину, какой бы та ни была. Он испустил вздох облегчения, увидев, что с чистой совестью может объявить: принц покинет здеш-

ний суровый край раньше, чем луна успеет трижды смениться.

Принц прикинул, что попадет в Вавилон лишь после утомительной зимней поездки по всему Ханаану и, значит, вряд ли успеет вернуться к началу лета. Тем не менее он повеселел. Теперь уже можно считать дни, которые придется пробыть в обществе этого сброда.

Иеффай же, в отличие от принца, ожидал поворота в своей судьбе в веселом и ровном расположении духа. И пользовался случаем узнать от своих гостей как можно больше о жизни в Вавилоне. Он мог без конца слушать рассказы об огромных размерах, о дворцах и храмах этого густонаселенного города, о его прямых, как стрела, улицах, о высоких домах, о нравах и обычаях его жителей. Он просил рассказать ему и о других городах великого северного царства — о Сиппаре и Аккаде, о Борсиппе и Ниппуре и многих других; выходило, что самый мелкий из этих городов был больше, чем самый крупный в Ханаане.

Интересовался он и управлением Вавилонского царства, его законами. Оказалось, что там существуют двести двадцать восемь основных законов, восемь веков назад установленных великим царем Хаммурапи и высеченных на каменных плитах; законы эти действуют и поныне, правда, с поправками и дополнениями в духе времени.

Жить в мире, стиснутом таким множеством законов, показалось Иеффаю тягостным, а управлять таким необозримым царством и крепко держать его в руках — и во все непосильной задачей. Тут мало одних счастливых озарений и выигранных битв. Глава такого царства вынужден поступиться значительной долей своей свободы, а его душа и ноги — радостями вольных скитаний и странствий.

Послушав рассказы писцов, Иеффай опять в ином свете воспринял сказанное ему Авиямом в доме Ягве. Смысл этих слов расширился и уплотнился, обрел зримые очертания, они манили и таили угрозу. И было отрадно думать, что ему еще не пришлось изведать удел судьи, что он еще не связан по рукам и ногам древними мудрыми и жестокими законами, что ему свободно дышится на вольных просторах его земли Тов.

Но, сочувствуя царю царей, вынужденному нести на своих плечах тяжкое бремя власти, он уже живо представлял себе и беспредельное могущество Мардука, восседавшего на престоле своего огромного дворца в Вавилоне, жители которого превосходили числом весь народ Израиля. Царь царей требовал от своих подданных большего по-

клонения, чем бог Ягве от своих слуг. Даже самые видные люди царства должны были трижды падать ниц, прежде чем они удостоятся чести поцеловать его бороду; смертная казнь грозила всякому, кто заговорит раньше, чем царь царей движением руки разрешит ему говорить. Мардуку стоило обронить лишь несколько слов сквозь пышную бороду, лишь несколько раз выдохнуть свое царское «х», и тысячи воинов, лошадей, колесниц приходили в движение, рушились крепостные стены, пламя пожирало целые города, мужчины без числа гибли на полях сражений, а женщин и детей угоняли в рабство. И все это делалось по мановению руки царя царей, восседавшего на троне где-то там вдали, — так длинна и сильна была его рука.

Однако эта длинная и сильная рука не помешала Иеффаю захватить в плен столь важную персону, как принц Гудеа, родственник и уста царя царей. У него, Иеффая, не было ни древних законов, высеченных на каменных плитах, ни мудрых советников. Он один все продумал и рассчитал. И что же: он точно и верно оценил и собственные возможности, и пределы власти далекого царя. И теперь был достаточно силен, чтобы одной рукой удержать свои города на севере, а другой сломить сопротивление нерешительных братьев и заставить их явиться к нему с повинной и униженной просьбой о помощи.

13

В отряде Иеффая всегда царила радость, но никогда еще не было так весело, как теперь. Его людей очень забавляли чудные жители далекого Вавилона. Во все глаза глядели они на диковинные кушанья, которые готовил повар принца. Перебрасывались беззлобными шутками с чужестранцами, трогали их одежды и одеяла, добродушно смеялись, когда возникали недоразумения, и покачивали головами, по-детски удивляясь всему новому.

На принца Гудеа они глазели, словно на пойманного льва, радовались, когда слышали его речь, и пытались подражать его непривычному выговору. Старый Тола все время норовил побеседовать с принцем, расспросить, целы ли еще те или иные дома, башни и храмы Вавилона, жив ли еще тот или иной вельможа. Если принц презрительно отворачивался, старик с грустной улыбкой просил его извинить, говоря: «Остывшие кушанья юности — любимые лакомства старости».

Кетура тоже с удовольствием разглядывала странного гостя, но только издали; врожденное достоинство удерживало ее на почтительном расстоянии. Рискованная выходка Иеффая вернула ей былую веселость. Она гордилась, что хитрость ее мужа удалась, принеся столь богатый улов. И окончательно поверила, что день великой и сладостной мести близок.

Для Иаалы эти недели были самыми прекрасными в ее жизни. С жадным любопытством приглядывалась она к скопищу странных, богато разодетых людей, которых заманил в ловушку ее отец. Какие они все смешные и важные! Она засыпала Емина вопросами, и он объяснял ей те или иные особенности чужаков, известные ему по прошлой жизни. Иаала быстро освоилась с их диковинной внешностью и манерами и даже переняла у них некоторые слова и жесты.

К этому времени Иаале исполнилось четырнадцать лет, нога ее зажила, походка вновь обрела былую легкость, что она, проведя несколько недель в полной неподвижности, ценила теперь вдвойне. Исходившая от нее радость жизни привлекала к ней сердца окружающих.

Она упростила музыкантов из свиты принца обучить ее игре на их инструментах. Те везли с собой арфы, лютни, цимбалы, бубны, тамбурины и флейты. Они играли для нее, пели ей свои песни и танцевали по-своему. Их искусство было служением богам, они кружились в экстазе, как «антеранна, хоровод звезд», и объясняли девочке, жадно впитывавшей каждое слово, как велика может быть власть музыки: она смягчала нрав самых злобных великанов, укрощала львов, делала человека подобным звучащему солнцу.

Иаала понимала не все слова и приемы чужестранцев, но быстро улавливала главное и обучалась игре на новых для нее инструментах с таким рвением и успехом, что опытные, холеные музыканты из Вавилона только диву давались, слыша, какие дивные звуки извлекают пальцы этой юной девушки из их инструментов, как искусно и вдохновенно видоизменяет она ритмы сообразно с настроением своей души. Изумленно, чуть ли не испуганно внимали они ей, а она придавала вавилонским напевам совершенно иное звучание и придумывала для них новые слова.

При всем том Иаала оставалась ребенком. И хотя старалась не обижать чужестранцев, порой не могла удержаться и, глядя на их чудачества, прыскала в кулак, а то и за-

ливалась веселым и по-детски искренним смехом. Музыканты сначала недоумевали, даже, наверное, сердились на девочку; но вскоре, заразившись ее беззлобной веселостью, тоже принимались хохотать.

Иаала понимала, что, именно отцу обязана обществом этих чудесных музыкантов. И отец все больше возвышался в ее глазах. Насколько ничтожны были герои и полубоги, про которых рассказывали ей Тола и Емин! Куда труднее живьем заманить в лес высокоученых, искусных и велеречивых вавилонян, чем одолеть какого-то там крылатого змея или огнедышащего дракона. Отец был здесь богом: кто бы ни ступил в лесные чащи земли Тов, попадал в его власть. И какой он был веселый, ее богоподобный отец! Когда он смеялся, она ликовала, и ей казалось, что она парит над землей.

В честь отца она сочинила песнь, подражая хвалебным гимнам во славу богов, которые пели люди из Вавилона. Песнь Иаалы была исполнена того же почтительного преклонения, что и вавилонские гимны, но в ней было больше искреннего чувства, больше радости и ликования. Самой Иаале песнь очень нравилась, но она не решалась исполнить ее перед посторонними и пела только самой себе и своему ближайшему другу Емину.

14

В свите посла особое внимание Иеффая привлек к себе художник Латарак; он сопровождал принца, дабы во время путешествия увековечивать в глине или камне события, достойные памяти потомков. Например, он изобразил на глиняной пластинке сцену торжественной встречи посла царя царей с царем Васана Авиром в его столице Едрее. Властитель Васана казался карликом рядом с могучим великаном Гудеа, а по бокам два трубача трубили в трубы.

Потрясенный Иеффай долго не мог оторваться от картины. Принц Гудеа, величественно возвышавшийся над другими фигурами, в самом деле был тем человеком из Вавилона, которого Иеффай видел изо дня в день. Именно так, надменно красуясь, взирал он на окружающих. Именно так выгибал спину, чтобы казаться выше ростом. Да, этот художник Латарак — его имя происходило от названия одной из звезд и означало «Сладчайший» — владел искусством воплощать смертного человека в глине и камне, более

долговечных, чем брeнная плоть. «Как тебе это удастся, чужестранец?» — спросил Иеффай не без робости.

По натуре Латарак был общителен. Ему нравился Иеффай, этот необычайно одаренный дикарь, и откровенное восхищение Иеффая льстило самолюбию художника. Латарак всегда работал увлеченно, он не переставал трудиться и здесь, в лесу. На глазах Иеффая, затаив дыхание следившего за его работой, под руками Латарака мертвые камни и глина оживали. Он не только изображал живых, деревья и растения, но по памяти, необычайно цепкой и точной, воспроизводил целые сцены. Руки его орудовали резцом с такой необычайной быстротой, что живая жизнь вскоре уже теплилась в камне. Вот священники в торжественном облачении поднимаются по ступеням храма Этеменанки, купол которого вздымается высоко в небо. Вот царь царей шествует, держа в руках кирку и корзину кирпичей: он идет закладывать храм. Вот крылатый бог с головой орла ведет героя на битву. А вот некий царь охотится на льва: он стоит в колеснице, запряженной тремя лошадьми, и целится в зверя из лука. Целые истории ухитрялся Латарак извлекать из глиняной плиты или каменной глыбы. К примеру, слева он изображал город, крепостные стены которого рушатся под ударами таранов, а в середине — вооруженных воинов, увозящих пленных, скот и другую добычу, справа — писцов, ведущих счет и список трофеев. Но больше всего понравилась Иеффаю умирающая львица. Хотя он своими глазами видел, как Латарак сначала вылепил ее из глины, а потом резцом нанес отдельные штрихи, он всем своим существом ощутил могучую силу взывавшего зверя, в тело которого вонзилось три копыя; ощутил, правда, и радость победы, словно на львицу охотился он сам, и сочувствие к могучей и прекрасной умирающей твари. А общительный художник то ли в шутку, то ли просто так предложил Иеффаю:

— Постой немного не двигаясь, гостеприимный еврей, и я вылеплю тебя из смеси глины с землей точь-в-точь таким, каков ты есть, а если продержишь нас здесь подольше, попытаюсь высечь тебя в камне.

— А ты не хвастаешь? — засомневался Иеффай. — Ты в самом деле думаешь, что сумеешь так меня изобразить, чтобы каждый узнал?

Художник приготовил смесь, принялся мять, лепить и орудовать резцом, и глина ожила. На поверхности плиты появился Иеффай; он размашисто шагал, задиристо выставив вперед квадратную бородку, а его плосконосое лицо,

видимое, правда, лишь с одного бока, выдавало ум и хитрость и в то же время пронзительное сходство со львом. Иеффай во плоти смотрел на Иеффая в глине, говоря самому себе: «Так вот, значит, какой он, Иеффай, сын Галаада и Леваны, Иеффай, презренный ублюдок, Иеффай, младший и любимый сын своего отца, Иеффай, умыкнувший у царя царей Мардука его родственника, советника и друга». И в душе решил: «Когда-нибудь и меня изобразят так, чтобы главы родов и колен казались рядом со мной ничтожными карликами — как царь Авир рядом с посланцем царя царей на камне Латарак».

Знакомство с Латаракom напомнило Иеффаю старую полузабытую мечту. Он всегда завидовал воинам Аммона, Моава и Васана, которые, идя на войну, несли с собой свои войсковые знаки. И там, где во время битвы возникала опасность, над головами воинов вздымался этот войсковой знак: древко, увенчанное медным львом, змеем или еще каким-нибудь животным — изображением того или иного бога; так бог участвовал в битве на их стороне. Как только вверх взмывал такой войсковой знак, воины стремглав устремлялись к нему, часто предрешая этим маневром исход сражения. В Галааде же таких войсковых знаков не было.

И вот Иеффай сказал Латараку:

— Вижу, что ты великий художник, и прошу тебя оказать мне большую услугу. Не сделаешь ли для моего отряда войсковой знак из меди?

На что Латарак ответил улыбкой, в которой сквозила ирония:

— Какого же бога я должен изобразить?

— Мой Бог — это туча и молния, это смерч и пламя.

Художник подумал, прикрыв глаза, и сказал:

— Туча и пламя... Что ж, из сверкающей меди может получиться прекрасный, невиданный и впечатляющий знак. Если мне удастся его создать, твой Бог наверняка возрадуется и ниспослет твоим воинам силу и волю к победе.

— Значит, ты сделаешь мне такой знак? — уже загорелся Иеффай.

Но Латарак возразил:

— Может, и сделаю, еврейский главарь, раз ты так просишь. В городах Ханаана, наверное, есть и медь, и необходимый для работы инструмент. А нет, так сделаю после, по возвращении в Вавилон.

И Иеффай отозвался своим грубым, заметно потеплевшим голосом:

— А уж я сумею тебя отблагодарить, великий художник.

— Благодарность обойдется тебе в тысячу сиклей,— заявил Латарак.

Слегка озадаченный этой суммой, Иеффай пробормотал:

— За тысячу сиклей я могу купить боевую колесницу и двух лошадей в придачу.

На что художник ответил без тени обиды:

— Вот и купи.

Но Иеффай быстро сообразил, что магическое действие знака, сделанного руками такого мастера, наверняка стоит тысячи сиклей, и сказал:

— Я дам тебе за него тысячу сиклей, художник.

В Афеке Пар тем временем пришел к соглашению с посредником васанского царя. Иеффай обязывался признать главенство Авира, доставить принца Гудеа, своего гостя, в то ущелье, где он его встретил, и выделить вооруженных воинов для охраны. Царь Авир со своей стороны обязывался подтвердить право Иеффая на владение землями в Западном Васане и торжественно поклясться в течение трех лет не нарушать мир. Кроме того, он должен был выплатить Иеффаю три тысячи сиклей, которые тот в свое время потребовал за охрану посла, и еще тридцать сиклей за отрезанные уши гонца.

Царь Авир и Иеффай встретились на границе их владений, под деревом, считавшимся святилищем не то Ягве, не то Ваала. Иеффай был в простой одежде и привел с собою лишь три семерки своих телохранителей. А царь Авир прибыл на место встречи с тремя сотнями воинов, множеством лошадей и большой свитой. Авир, типичный аморей, был выше Иеффая на целую голову. Держался он холодно, был немногословен и учтив, дал Иеффаю поцеловать его бороду и сам наклонился, дабы оказать Иеффаю такую же честь. Писцы прочитали вслух текст соглашения, Авир и Иеффай скрепили его своими печатями. После этого оба дали торжественную клятву, совершили жертвоприношения, вместе сели за стол, поклонились богам, незримо присутствовавшим при трапезе — Ягве с Синая и Ваалу из Васана, — отведали мяса жертвенных животных и вина, смешанного с их кровью. Потом поднялись из-за стола, обменялись прощальными поцелуями, пожелали друг другу мира и благополучия и расстались. Царь Авир направился на северо-восток, Иеффай — на юго-запад.

Воины Иеффая и жители подвластной ему области, увидев с изумлением, что могущественный повелитель Васана обращается с Иеффаем как с ровней, приветствовали их обоих радостными возгласами и ликованием. Но сам

Иеффай держался скромно и не выражал вслух охватившую его радость.

Даже прибыв в свой лагерь, он весь первый день еще сдерживался. Но потом, когда его люди улеглись спать, он отвел Пара в сторонку, и в сгущающейся темноте они удалились в глубь леса, а когда отошли на достаточное расстояние, чтобы их не могли услышать, Иеффай ткнул своего друга локтем в бок и сказал, задыхаясь от радостного возбуждения: «Ну, разве плохо мы с тобой потрудились, друг мой Пар? Думаю, совсем не плохо. Или даже отлично. Разве ты другого мнения, муж моей сестры?» Он сильно хлопнул Пара по плечу, засмеялся, взмахнул руками, давясь от хохота, притопнул и вдруг закружился в каком-то бешеном танце, высоко вскидывая ноги, бормоча нечто нечленораздельное, издавая дикие крики и смеясь, смеясь до упаду. Обхватив своего друга, он и его закружил в танце. Пар не противился и тоже пустился в пляс. Так, под покровом ночи, они отпраздновали успех своего хитроумного плана и победу над Васаном и Вавилоном.

Советники и писцы убедили принца Гудеа, что в дикую землю Тов он заехал по собственному желанию, внушенному ему Ваалом во время сна. И принц уже смотрел на свое пребывание у Иеффая как на забавное приключение, о чем повелел сделать соответствующую запись в летописи, дабы и грядущие поколения пытались его истолковать. Принц пришел в хорошее расположение духа и милостиво согласился принять участие в прощальной трапезе.

На другой день Иеффай сам проводил его до ущелья, где произошла их первая встреча. Там уже стояли наготове выючные животные вавилонян — лошади и одnogорбые верблюды, дромадеры; по распоряжению Иеффая все это время их держали в Афеке. Под радостные клики процессия тронулась, держа путь в Ханаан.

Произошло все это на шестой год жизни Иеффая в земле Тов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Весной седьмого года царь Аммона Нахаш со всем своим войском вторгся в Галаад. От имени судьи Самегара брат его Гадиил призвал всех мужчин, способных носить оружие, в Массифу. Костры, зажженные на верши-

ных холмов, оповестили жителей о надвинувшейся опасности. Во все концы разослали гонцов, огласивших призыв и строжайший приказ Гадиила. Он сам объезжал дома уклонившихся. Но воины, не веря в него, стягивались к Массифе крайне медленно и неохотно. А в северных областях, которым покуда не грозила опасность, большинство способных носить оружие под любыми предложениями оставались дома.

Аммонитяне подступили к стенам Иоквехи. Город не стал обороняться и открыл ворота. Затем они подошли к городу Иазеру; жители его не захотели сдаваться. Царь Нахаш отрезал доступ к водоему и родникам, оставив город без воды, разорил богатые виноградники и поля вокруг города. Кончилось тем, что он разрушил крепостные стены, но славу своего бога Милхома перебил всех мужчин, а женщин и детей увел в рабство. После этого направился в Елеалех. Этот хорошо укрепленный город находился недалеко от прославленного некогда Хешбона. Хешбон был столицей страны, когда она еще принадлежала амореям. Вторгшись в долину Иордана, израильтяне разрушили Хешбон до основания и порешили оставить город в развалинах на память о своей великой победе. Впоследствии праотцы галаадитян расширили и сильно укрепили близлежащий Елеалех, и при жизни нескольких поколений он считался столицей Галаада. Теперь царь Нахаш осадил эту крепость, дорогую сердцу всех жителей страны: было ясно, что, взяв ее, он пойдет на Массифу.

Тут уже вся страна, от гор Галаада до горы Нево, от реки Иармук до реки Арнон, воззвала к Иеффаю. Старейшины городов собрались в Массифе и потребовали, чтобы сыновья Зильпы пошли на поклон к Иеффаю и упросили его вернуться. Яростнее всех настаивали на этом старейшины Маханаима, хотя их городу, расположенному дальше к северу, не угрожала серьезная опасность. Под конец даже старейшины Массифы потребовали, чтобы во главе войска был Иеффай. Но Зильпа только злилась от бессилия и не хотела об этом слышать, да и Самегар оставался глух.

И только Авиям, в свое время ложно истолковавший слова Ягве, обрадовался случаю загладить свою вину. Последние события показали всем и каждому, что Ягве отвернулся от сыновей Зильпы и так же, как люди, отдал предпочтение Иеффаю. Следовательно, он, Авиям, правильно поступил, не помазав Самегара на должность судьи и сохранив ее для человека, которому сам некогда дал имя Иеффай, что значит «Ягве открывает путь». Без лишних

слов он потребовал, чтобы в этот грозный час сыновья Зильпы вернули Иеффая, дабы тот возглавил войско Галаада. Робкий Самегар мрачно спросил:

— А не прогневим ли мы Ягве, поставив над его войском человека, не отрекшегося от ложного бога аммонитян?

И Зильпа, бледная от кипящей в ней злобы, овладев собой, сказала:

— Ты хочешь унижить нас, первосвященник Авиям, нас и себя самого. Говорю тебе, унижение будет напрасно.

Авиям же возразил:

— Я не требую, чтобы твои сыновья отправились на поклон к Иеффаю. Пусть пойдут к нему длиннобородые из Маханаима, с ними он в дружбе.

Так и порешили.

2

Иеффай не поднимал много шума вокруг своей бескровной победы над васанским царем, а принц Гудеа имел все основания не особенно распространяться о приключении в земле Тов. Тем не менее слава Иеффая гремела громче труб, трубивших в Ханаане в честь царя царей, и люди Иеффая почитали его героем и полубогом.

Пришла зима. Седьмая зима Иеффая в этом диком краю, и была она долгой и суровой. Но Иеффай не проявлял нетерпения и с мстительной радостью ожидал событий, которые принесет с собою весна.

Первым событием весны был войсковой знак, сделанный Латаракком. Художник постарался на совесть и очень быстро выполнил заказ, принесший ему тысячу сиклей, так что Иеффай получил медный знак раньше, чем рассчитывал: из тучи вырывался столб пламени — ослепительная молния Ягве, вселяющая трепет и повергающая ниц. Но сердце Иеффая она наполнила ликованием. Долго и восхищенно разглядывал он творение мастера, и злые зеленые искорки вспыхивали в его глазах. Отныне Ягве на самом деле становился его Богом, и как сам Иеффай принадлежал Богу, так и Бог теперь принадлежал ему. Не зря Иеффай принес ему в жертву огромную сумму денег: отныне Бог будет всегда с ним, совсем рядом.

С тех пор как между ним и Васаном был заключен договор о мире, Иеффай не старался хранить место сво-

его пребывания в тайне. И где бы ни находился, открыто выставлял свой войсковой знак перед шатром или пещерой — даже в здешних безлюдных местах. Он и прежде ничего не боялся, а теперь, гордый покровительством своего Бога, стал беззаботен вдвойне.

Вскоре, вместе с долгожданной весной, в лагерь пришли люди с юга и принесли весть о вторжении аммонитян в Галаад. Иеффай услышал об этом в своем шатре, где была и Кетура.

Ночью Кетура сказала ему:

— Не могу заснуть от нетерпения и счастья. Я думаю о Массифе. Думаю о Зильпе. Она сейчас тоже не спит, но не от счастья, а оттого, что стыд и досада грызут ее сердце.

Огненные дни Кетуры наполнились страстным и радостным ожиданием, и ее большие серые глаза на смуглом и узком лице сияли от счастья.

Наконец в лагерь прибыли старейшины Маханаима. Но Иеффай не оказалось на месте — он отлучился, может быть, даже нарочно, в город Афек. Они пошли туда, но Иеффай там уже не было. Зато там были его лошади и боевые колесницы, старейшины увидели их и сказали друг другу: «Неужто человек, которому все это принадлежит, и есть наш Иеффай, сын Галаада, ушедший от нас к бродягам? Да он здесь, на севере, стал богат, как царь!»

Когда старейшины наконец предстали перед Иеффаем в его шатре, он тепло приветствовал их и сказал:

— Какой прекрасный пир устроили мы тогда на прощанье в знак нашей дружбы! Вспоминали ли вы обо мне хотя бы изредка? Как вам живется теперь под управлением моего сводного брата Елека? Выжимает ли он из вас последние соки?

Старейшины ответили:

— Он, конечно, прижимист, твой брат Елек, и ухо с ним надо держать остро, не успеешь оглянуться, как выдернет циновку из-под ног. Но он слушает то, что ему говорят, с ним можно иметь дело. Кроме того, он знает толк в рытье колодцев, равно как и в строительстве домов, разведении овец и рогатого скота. Но сейчас речь не о делах в Маханаиме, нас привела к тебе совсем другая нужда. Для всего нашего народа настала лихая година: на нас напали сыны Аммона.

Иеффай ответил неспешно, как бы смакуя каждое слово:

— Слышал я, будто царь Нахаш взял Иоквеху и Иазер. Правда ли, что он сровнял Иазер с землей и опустошил все

поля и все прекрасные виноградники в округе? И правда ли, что его войска уже осадили Елеалех?

Старейшины ответили:

— Все это правда. И сейчас, когда мы с тобой говорим, Елеалех, может быть, уже пал. Неужто ты допустишь, чтобы Нахаш захватил и Массифу? И чтобы на землях нашего народа хозяйничали аммонитяне? Как-никак, мы с тобой в свое время заключили договор о дружбе.

Но Иеффай возразил:

— Договор у меня только с Маханаимом. Маханаим расположен далеко на севере. Думаю, аммонитяне принудят вашего судью Самегара заключить мир задолго до того, как угроза надвинется на Маханаим.

Тогда старейшины сказали:

— Неужто твой меч будет покоиться в ножнах, когда в нашу страну вторгся бог Милхом и теснит нашего бога Ягве?

Начиная терять терпение, Иеффай возразил старцам:

— Если угроза надвинется на Маханаим, я приду и помогу вам, как обещал. Но договора с народом Галаада у меня нет. Этот народ изгнал меня, как вам известно. И вы видите перед собой не воина своего народа. Я, как и мои люди,— всего лишь «анашим реким», пропащие и презираемые, бродяги и ничтожества.

Старейшины тяжело вздохнули и взмолились:

— Не смейся над нами, Иеффай, наш сын и брат. Вспомни, как жгло у нас в груди, когда эти люди в Массифе так плохо обошлись с тобой. Ты очень умен и знаешь, как сейчас обстоят дела в Галааде. Стоит тебе сказать: «Хочу, чтобы мне вернули мой дом и мои земли в Маханаиме»,— и на межевых камнях вновь высекут твое имя.

Иеффай, не без видимого удовольствия растягивая каждое слово, ответил:

— Это было бы очень на руку моим добродетельным законнорожденным братьям. Грянула беда, и им понадобилась моя помощь войском, лошадьми и колесницами, дабы выгнать врагов из страны; а наступит тучное время, и они сожрут весь тук, а меня прогонят прочь.

Он засмеялся, и смеялся так заразительно, что его люди, присутствовавшие при разговоре, тоже засмеялись; в конце концов засмеялись даже старейшины Маханаима. Но потом сказали:

— Мы пришли не с пустыми обещаниями, Иеффай. Твои братья прислали нас к тебе. Они собираются призвать

Ягве в свидетели, что впредь будут считать тебя законным наследником Галаада.

Иеффай возразил все с той же дружелюбной усмешкой в голосе:

— Ешьте и пейте, дорогие друзья. Я попотчую вас всем, что только может дать человеку этот дикий край. А потом вы отправитесь восвояси и скажете сыновьям Зильпы, которые выгнали меня из отчего дома: ежели хотят, чтобы я вернулся, пусть сами ко мне явятся. Священник Авиям и Зильпа могут остаться дома, коли по старости труден им столь дальний путь. Но братья должны сами договариваться со мной, лицом к лицу. И скажите им сразу: торг будет нелегкий; если не желают платить настоящую цену, пусть лучше сидят дома.

Когда старейшины передали ответ Иеффая Зильпе и ее сыновьям, те выслушали их с мрачным видом и с трудом выдавили скудные слова благодарности.

Они послали за Авиямом, прося его прийти и дать им совет.

Священник пришел. Войдя в ворота, пересек двор. Елек успел основательно перестроить и расширить дом отца. Теперь обширный двор обрамляли три строения: в одном из новых домов жил Гадиил, в другом — Елек, а на крышу главного дома, в котором осталась мать с семьей Самегара, вела красивая наружная лестница с такой же оградой, как и на самой крыше.

Опираясь на руку Самегара, священник поднялся по лестнице.

Долго сидели они на плоской крыше — Авиям, Зильпа и ее сыновья. Вечерний воздух был прозрачен, видно было далеко окрест, и они смотрели поверх своих красивых домов — долго ли еще те будут им принадлежать? — вдаль, где за стенами города раскинулись шатры галаадитян, и дальше, туда, где на краю неба виднелись шатры Аммона. Ибо царь Нахаш захватил и разрушил древнюю столицу страны Елеалех и теперь расположился станом на холмах недалеко от Массифы.

Рассудительный Елек сказал:

— Братья мои, боюсь, нам придется препоясать чресла и отправиться в землю Тов.

Но Зильпа бросила едва слышно, сиплым от сдерживаемой злобы голосом:

— Хотите еще раз претерпеть унижения, причем впустую? Этот идолопоклонник издевается над вами. Он же предупредил, что потребует наивысшую плату. Такую, что-

бы мы никогда не расплатились. Не ходите к нему. Доверьтесь Ягве, сыны мои. Ты, Гадиил, возглавишь войско и поведешь его на битву, как сделал бы твой отец. А ты, Авиям, вынешь из скинии Ягве священный Ковчег Завета и вручишь его судье Самегару, дабы Господь был рядом с нашими воинами во время боя — с его помощью они одолеют врагов, пусть даже их войско числом превосходит наше.

Страстная убежденность матери тронула сердца Гадиила и Самегара, и они чуть было не согласились последовать ее призыву. Но Авиям воспротивился.

— Покамest Ягве еще не выдал нас Аммону, — сказал он. — В своей неизреченной милости он вверил нас Иеффаю, который и в чужом краю остается сыном Галаада. Отправляйтесь-ка вы трое, Гадиил, Елек и Самегар, в землю Тов и верните нам своего брата.

В сопровождении одного-единственного слуги сыновья Зильпы двинулись в горы. Путь их был труден. Дороги здесь, на севере, не успели просохнуть, вода в реках стояла еще высоко, перейти их вброд было почти невозможно, ослы с трудом находили место потверже, чтобы поставить ногу. Но братья не обращали на все это внимания и с упорством отчаяния двигались вперед и вперед сквозь холодное сияние весеннего солнца.

Иеффай был в шатре один, когда они прибыли; за занавеской, отделявшей часть шатра, стояла Кетура и слышала весь разговор.

Сыновья Зильпы сказали:

— Мир тебе, Иеффай.

Тот ответил:

— Теперь вы желаете мне мира, а не вы ли надеялись больше не видеть меня в этой жизни? Разве не вы отторгли меня от семьи и обрекли на гибель?

Елек спокойно заметил:

— Это не так. Мы тебя не гнали. Ты сам решил уйти из Галаада.

— Верно, — подхватил Иеффай. — Я сам решил. И теперь вы тоже сами решили сюда прийти.

— Не будем пререкаться, Иеффай, — взмолился Елек. — Мы в беде, и ты это знаешь. Раз тебе так хочется услышать это из наших уст, я признаюсь тебе: нас привела сюда большая беда, и некому помочь нам, кроме тебя.

При этих словах Иеффая обуяла мстительная радость, и с таким же чувством внимала им стоявшая за занавеской Кетура.

Но Иеффай продолжал насмехаться:

— Вот как, братья мои? Вы в беде? А почему не поступаете так, как поступил я? Мне ведь принадлежат всего семь уделов по ту сторону Иармука, а царю Васана — семь раз по семь. Я просто взял и заключил договор о мире с царем Авиром; царь поклялся своим богом Ваалом, и вот я сижу здесь и спокоен за свои владения. Почему бы вам не сделать того же с царем Аммона? — Братья подавленно молчали, а Иеффай продолжал хвастать: — Видите теперь, кому будет благодворить Господь? Вам, законным сыновьям, или мне, незаконнорожденному? Я имею полное право сказать, что расширил пределы Израиля. Семь богатых городов в Васане принадлежат мне и, следовательно, Израилю. А вы не можете без меня защитить собственную страну, Аммон хозяйничает на востоке и на юге Галаада, и Ягве отвернулся от вас.

На Самегара, задетого язвительностью брата, гордая напористость его слов тем не менее произвела сильное впечатление, и он сказал:

— Не сердись на нас, Иеффай. Я никогда не был твоим врагом и очень горевал, что нам пришлось тебя обидеть, когда ты не хотел отречься от чужого бога. Мы сделали это по воле Ягве, а не из зависти. И дали тебе время раскаяться и передумать, но ты не пожелал.

Досадуя на слабодушие брата, Елек сказал:

— Зря сотрясаешь воздух, Самегар. Семь лет этот человек держал на нас злобу, этого ничем не загладишь. Ты хочешь, Иеффай, насладиться зрелищем нашего унижения. И вот я повторяю тебе: ты нам нужен, очень нужен. И ты вправе многое от нас потребовать, может быть, даже больше, чем стоит твоя помощь. Требуй же!

Иеффай ответил:

— Хочу быть начальником над всем ополчением Галаада.

Гадиил сжал челюсти, чтобы не взорваться. Но Елек спокойно сказал:

— Ты говоришь, мы слушаем. Это много, но пусть будет так.

Иеффай испытал радость от этих слов до дна и опять заговорил тихим голосом, подчеркивая каждое слово:

— И если я приду в Массифу и не дам царю Аммона окружить город, я хочу наследовать должность отца, судьи Галаада.

И опять Гадиил хотел вспылить, но Елек опять дал ему знак молчать, а сам сказал Иеффаю:

— Сейчас речь идет о войне. Покуда она длится, твоя воля — закон для Галаада. О том, что будет после, после и поговорим.

Иеффай рассмеялся:

— Ответ, вполне достойный моего хитроумного брата, большого мастера строить козни. «После!» Когда я избавлю вас от врагов! Нет, Елек, в эту ловушку меня не заманишь. Не хочу опять быть ублюдком и изгоем, как только стану не нужен.

Вместо Елека слово взял Самегар. Он сказал:

— Я занял должность судьи против своей воли, братья могут это подтвердить; и я облегченно вздохну, если Ягве меня сместит. Но сделать это должен не сын человеческий, а сам Господь.

Иеффай воскликнул, не скрывая презрения:

— Как ты благочестив и как осторожен, брат мой! — А обращаясь к двум братьям, добавил: — Я пойду в Массифу, раз Галаад нельзя спасти без меня. Но с собой возьму только телохранителей и две сотни воинов. Лишь когда вы трое вместе с первосвященником поклянетесь в доме Ягве исполнить мои требования, я призову в Массифу все остальное войско.

Елек заколебался:

— Станет ли Аммон так долго ждать?

И Иеффай, полный уверенности в своих силах, гордо отмел его сомнения:

— Когда царь Нахаш услышит, что Иеффай выступил против него, он еще подумает, прежде чем нападать. Хватит попусту болтать языком! — вдруг заорал он. — Я выставил свои требования, и вы либо примете их, либо вернетесь домой и попробуете сами справиться с Аммоном.

— Так мы и сделаем! — крикнул Гадиил и двинулся к выходу из шатра.

Но Елек в третий раз остановил его, сказав:

— Помолчи, Гадиил! — Иеффаю же бросил с горечью: — Мы сейчас в твоей власти, Иеффай, и ты попираешь нас ногами.

На что Иеффай ответил вполне дружелюбно:

— А разве вы в свое время не попирали меня ногами, братья мои?

И Кетура рассмеялась за занавеской.

Возложив на Пара руководство отрядом и управление уделами в Васане, Иеффай в сопровождении Емина отбыл на юг; взял он с собою и старого Толу — очень уж тот просил. Войсковой знак — ослепительную молнию, бьющую из тучи, — гордо несли перед ним; сзади следовали лишь две сотни воинов.

Повсюду его встречали с почетом и ликованием. Старейшины городов заранее выходили ему навстречу, люди усыпали его путь цветами и ветками, оглашая воздух восторженными кликами. Так, героем и победителем, прошел он из конца в конец весь Галаад.

Когда Иеффай прибыл в Маханаим, старейшины предложили ему остановиться в доме его отца, где он провел большую часть юности; теперь дом опять принадлежал ему. Но Иеффай отказался: он не хотел откладывать свой приезд в Массифу. Однако в дом все же заглянул и убедился не без злорадства, что Елек успел его расширить и сделал это толково и основательно. Толу он вновь назначил надзирать за слугами, и тот немедленно приступил к своим обязанностям: придирчиво осмотрел дом и двор, семена по-старчески негнушались ногами и ворча: «Без хозяйского глаза и камень крошится»; он был очень огорчен, увидев, что нигде ничего не крошилось и не рушилось. Он бормотал себе под нос что-то нечленораздельное на вавилонском наречии, придыхая звук «х» и осыпая бранью глупцов, не способных понять его речь.

А Иеффай тем временем с двумя сотнями воинов двигался обратно по той же дороге, по которой ушел после унижений, испытанных им на рыночной площади Массифы и в скинии Ягве. Но теперь старейшины вышли его встретить далеко за городскими воротами. Они сказали:

— О Иеффай, сын Галаада, ты жил в земле Тов, но на самом деле ты жил в наших сердцах.

Даже самого древнего из старейшин, дряхлого старца Манассию, принесли сюда на носилках, и он прошамкал еле слышно, так что его уже трудно было понять:

— Все-таки я дожил до этого дня! Разве не говорил я всем и каждому, что ты родился героем? И теперь я могу спокойно уйти в погребальную пещеру и сказать моему другу Галааду, чтобы он не беспокоился о своем любимце и что благословение Ягве осеняет твое чело.

Однако Иеффай хотел сам сказать об этом отцу. И прежде чем появиться у стен Массифы, он в сопровождении

нескольких воинов свернул с дороги и поднялся на холм Овот; велел своим спутникам отодвинуть камни, преграждавшие вход в погребальную пещеру, он один вошел в темный провал, из которого пахнуло смрадом и холодом. Иеффай добрался до знакомой ниши и увидел комок тряпья: все, что осталось от человека, некогда бывшего его отцом; на полу перед ним тускло поблескивали священные фигурки. Иеффай решил держаться с подобающей скромностью: ему очень хотелось получить одобрение и благословение отца на то рискованное дело, которое предстояло ему совершить. Но, начав говорить, он не смог удержаться и смирить разпиравшую его гордость.

— Я не стану следовать твоему примеру, мой отец и господин,— заявил он тихо, но с торжеством в голосе.— Не дам страстным желаниям победить расчетливый ум. Я буду держать себя в руках. Погляди, чего я достиг, потому что умел дожидаться своего часа и не бросался в драку, когда очень хотелось. Пойми меня, мой мертвый отец и господин, и благослови меня своей костлявой рукой. Я был изгоем: твои злобные сыновья, алчущие власти и богатства, но нищие духом, изгнали меня, меня, твоего любимца, твоего младшего сына, и я ушел к «праздным» людям в землю Тов. Но я собрал вокруг себя надежный отряд, мои воины стали частью меня самого, как рука или нога, и я взошел на огненную гору, внутри которой живет бог Васана Ваал, и вызвал его на бой, и отнял у него семь больших прекрасных городов с окрестными селениями, и хитростью вынудил гордого васанского царя заключить со мною мир, и заставил твою злобную жену Зильпу и неприязненных ко мне сводных братьев призвать меня обратно, дабы я уладил то, что они натворили. Кажется, вечность отделяет мой уход от возвращения, хотя минуло всего семь лет. Вот увидишь, дорогой отец, следующие семь лет принесут мне еще больший успех. И имя, которое ты дал мне при рождении — «Ягве открывает путь»,— оправдается. Начнется новое время, когда я сяду на твой судейский престол. Люди будут отсчитывать время и годы по твоему сыну Иеффаю и будут говорить: «Это случилось на пятый год правления Иеффая, судьи Израилева».

И только дав такой обет себе и отцу, Иеффай отправился дальше в Массифу.

У стен города его встретили братья, поцеловали ему бороду и спросили о жене и о дочери.

— Вы, верно, очень соскучились по моей Кетуре,— ответил он,— но придется еще немного подождать. Жена

и дочь последуют за мной в Массифу, когда от врагов здесь не останется и следа.

Толпы народа обступили Иеффая, люди восторженно глядели на благословенного Господом, руки их тянулись, чтобы только дотронуться до него. В Массифе Иеффаю тоже предложили остановиться в доме его отца, но он опять отказался и предпочел ночевать вместе со своими воинами в стане ополченцев Галаада, раскинутом за стенами города. Перед его шатром сверкал медный войсковой знак — впредь он должен стать знаком всего галаадского войска.

Первым делом Иеффай решил поговорить начистоту с первосвященником Авиямом и заключить клятвенный союз с братьями.

Когда Иеффай вошел, Авиям извинился, что по старости лет не может встать с циновки. Иеффай хорошо помнил, что священник мал ростом и хил, и все же был поражен, увидев перед собой жалкий комок дряхлой и ссохшейся плоти.

— Наклонись ко мне, Иеффай, сын мой,— сказал старик, и голос его был все еще молодым и звучным,— чтобы я мог приветствовать тебя, как дорогого гостя.

Иеффай наклонился к нему, умные, пронизательные глаза священника, не утратившие бывшего блеска, внимательно вгляделись в его лицо, и Иеффай впервые за долгое время потерял привычную уверенность в себе.

Авиям, часто мысленно споривший с ним все семь лет, что тот провел на севере, успел подготовиться к этому разговору. В свое время, когда Авиям обрисовал этому вспыльчивому человеку священный план объединения колен Израиля и предложил ему их возглавить, тот отнесся к его словам с пониманием; но, едва выйдя из дома Ягве, он предпочел великому избранничеству свою жену-аммонитянку. Значит, Ягве обделил его высшим даром — способностью принимать правильное решение, и он, Авиям, обладающий этим даром, имел право чувствовать себя сильнее. Но теперь, когда Иеффай наклонился к нему и священник ощутил его близость во плоти, ощущение собственного превосходства улетучилось. От этого Иеффая исходила какая-то опасная двойственность, она смутила священника и спутала его мысли.

-- Должен признать,— приступил к разговору Авиям, -- в тот раз я ошибся. Ты был прав. События этих лет показали, что Ягве признал тебя истинным сыном Галаада.

— Я рад, священник,— отвечал не без легкой иронии Иеффай,— что и ты наконец справился со своими сомнениями.— Но лицо человека, некогда предложившего ему отречься от жены, вдруг вывело Иеффая из себя, и он продолжал уже с вызовом: — Сразу тебе скажу: хоть я и не принял в свой отряд ни одного воина, не признающего бога Ягве, но от жителей моих семи городов в Васане я ничего подобного не требовал. Там тысячи людей поклоняются Ваалу и Астарте, и я не разрушил ни одного их святилища.

Священник овладел собой.

— Галаад простирается до реки Иармук,— сказал он.— Что ты сделал или чего не сделал по ту сторону реки — дело твое и Ягве. Не мне об этом судить.— И потеплевшим тоном продолжал: — Как я хочу, чтобы ты поверил: я тебе друг! Не только руки и губы мои благословили тебя, когда ты ушел.

И Иеффай поверил, что священник не был его врагом, поверил даже, что благословение Авияма помогло ему осуществить задуманное. Но он не хотел во второй раз попасть в его сети. И злобно и решительно возразил:

— А я не друг тебе. Ты отнесся ко мне жестче, чем твой Бог.

— Это Бог отнесся к тебе мягче, чем к другим,— смиренно возразил священник.— Господу угодно хранить и опекать тебя.

Тут пришли братья.

Первым заговорил Елек:

— Весь Галаад радуется, что ты согласился помочь нам в войне против Аммона.

— На это я покамест не согласился,— уточнил Иеффай.— И ты прекрасно об этом знаешь. Сначала поклянитесь мне пред Господом здесь, в его доме, как мы и договорились у меня в земле Тов. Только после этого я стану вам помогать.

— Ты нам совсем не веришь! — воскликнул священник.

Иеффай возразил:

— По натуре я доверчив, слова мои и мысли открыты людям. Это вы научили меня подозрительности. И я хочу, чтобы вы ясно и четко поклялись, что признаете меня законным наследником и любимым сыном моего отца.

Деловитый Елек счел нужным его прервать:

— Будь добр, брат, повтори свои требования, дабы их записали на таблицах слово в слово.

— Во-вторых,— потребовал Иеффай,— я хочу, чтобы вы письменно и клятвенно подтвердили, что дом и земли

в Маханаиме, равно как и отцовский дом в Массифе, принадлежат мне как любимому сыну отца.

Елек опять прервал Иеффая и опять без тени волнения:

— Мы построили новые прочные дома для Гадиила и меня. Готовы построить еще один — для Самегара, который все еще живет в доме отца. Но мы не хотим выгонять из него нашу мать, которая прожила в нем шестью семь лет и родила там нас, своих сыновей.

Иеффай возразил:

— И Зильпа, и ты, Самегар, можете и впредь жить в отцовском доме, но уже в качестве моих гостей. И если жена моя Кетура вздумает приехать в Массифу, ее должны чтить как хозяйку дома.

Елек ответил:

— Так ты сказал. И так мы запишем и скрепим эти слова клятвой.

— Во-вторых, — продолжил Иеффай, — покуда Аммон стоит станом на холмах у Массифы, я ограничусь правами военачальника. Но как только, — он заговорил медленнее, явно подыскивая слова, — Аммон будет отогнан от ворот города, я хочу быть назначен на должность судьи Галаада.

Выражение «отогнан от ворот» показалось всем странным. Больше всех удивило оно Авияма. В сущности, обязательство Иеффая, даже выраженное столь необычно, означало то самое, чего ждал от него народ. Но священник предпочел выразить этот же смысл более ясно и сказал:

— Хорошо. Когда победишь Аммона, будешь назначен судьей.

Иеффай помрачнел. Он и сам не мог бы объяснить, почему так странно выразился. Какая-то тревога кольнула его в сердце и заставила воздержаться от хвастливых обещаний и высоких слов. Он действительно хотел прогнать Аммона, но не желал, чтобы этот властный старик, умеющий ловить на слове, указывал ему, что он обязан именно «победить» аммонитян.

А потому и ответил уже раздраженно:

— Мне не нравится, как ты это называешь. Что считать победой, а что нет, вопрос спорный. Вы просили меня вас спасти. И вот я здесь и хочу вас спасти и отогнать Аммона от ваших ворот. Это я обещал и готов в этом поклясться. Именно это, не больше и не меньше. — Вся его враждебность к Авияму вдруг прорвалась наружу. — И я не стану с вами препираться. Лучше уж вернусь к себе в землю Тов.

Авиям пристально взглянул на стоявшего перед ним человека: глаза пылают гневом, борода упрямо вздернута.

Священник лучше самого Иеффая понял, что с ним творится. Иеффай не был трусом, скорее наоборот; и если он отказывался дать клятвенное обещание победить Аммона, то это ему, наверное, внушил Милхом, бог его жены. Но разве будет ошибкой прицять осторожное выражение Иеффая? Разве нельзя считать победой то, что он заставит аммонитян отступить? Сейчас важнее всего его удержать, чтобы он, разгневавшись, во второй раз не удрал из страны.

Поэтому Авиям ответил дружески и как бы снисходя к чужой слабости:

— Раз тебе этого хочется, слово «победить» не будет упоминаться на таблицах; твое обещание и обязательство будут начертаны так, как тебе нравится. Но об одном я вынужден тебя просить. Не годится приносить клятву и обет Ягве неясными словами. Может быть, слова твои кажутся мне неясными лишь потому, что сам я не воин. Все же объясни мне, старику, что это значит: «отогнать Аммона от ворот города»?

Иеффай нахмурился. Ему вовсе не хотелось выглядеть в их глазах трусом; но вопрос о том, как именно спасти Галаад, будет решать только он, он один. И, уже теряя терпение, все-таки объяснил:

— Хочу сделать так, чтобы ни одного вражеского воина и ни одного шатра аммонитян не было видно с самой высокой крыши в Массифе.

— Так и запишем,— кивнул Авиям.

Иеффай проворчал:

— Я человек простой, а вы так все закручиваете, что самое простое дело становится сложным.— Он повеселел, даже улыбнулся и сказал: — Ну, вот и все; этого вы могли бы добиться и без ссоры.

4

Отряд Иеффая прибыл в Массифу поразительно быстро. Он подразделялся на семерки, сотни и тысячи и во всем являл строгий порядок. Вместе с воинами прибыли и писцы; они вели точные списки, где указывались имя каждого воина, давность его службы в отряде, заслуги и права на добычу.

Жители Массифы дивились, глядя на воинов Иеффая. Среди них было много амореев — страшных великанов с севера; однако великаны эти следовали за войсковым знаком Иеффая и поклонялись Ягве.

А какое оружие было у этих воинов! Мечи из железа, шлемы и щиты из железа. У некоторых оружия было так много и оно было такое тяжелое, что они не могли идти в бой без оруженосцев. Кое-кому из галаадитян не понравился такой способ ведения военных действий: не лучше ли воину полагаться только на Ягве и собственную силу? По той же причине еще больше неприязни вызвали у них боевые колесницы. Но большинство жителей Массифы испытывали благодарность и восхищение. Вот, значит, какие они, эти страшные колесницы, в прошлых битвах наводившие ужас на израильтян. Но теперь они не казались им страшными, ибо катились и грохотали, гремели и громыхали во славу Галаада. Жители Массифы подходили к колесницам, трогали их руками и издавали довольные восклицания. Все восхваляли Иеффая. Покойный судья Галаад верно уж знал, почему избрал этого сына своим любимцем. Иеффай — воистину благословенный Богом герой, один из тех великих, какие и раньше в годы бедствий спасали народ Израиля.

Иеффай внимательно оглядел ополченцев Галаада, стоявших станом у стен Массифы, — то были воины, откликнувшиеся на призыв Гадиила. Большинство из них отнеслись к нему с почтением. Но некоторые смотрели исподлобья. То были владельцы больших земельных наделов, зачатые на супружеском ложе; почему это они должны подчиняться какому-то незаконнорожденному? Иеффай попытался шутками растопить их неприязнь, и некоторые поддались обаянию его веселой напористости. Тем же, кто упорствовал в своем неприятии, Иеффай делом доказал, что он, их военачальник, намерен добиться беспрекословного послушания. Он разрознил их сотни и перемешал их воинов со своими.

Писцы, прибывшие с отрядом, проверили списки ополченцев Галаада и обнаружили, что многих недостает. Иеффай спросил Гадиила, какие меры тот принял, дабы заставить уклоняющихся явиться в лагерь. Гадиил ответил, что он их настойчиво приглашал, к некоторым посылал гонцов, к другим ездил сам. «Я так рад, Иеффай, что ты взял всю ответственность на себя», — сказал он с искренним облегчением. Иеффай велел зажечь на высоких холмах новые костры в знак тревоги и издал приказ, согласно которому суровая кара грозила каждому, способному носить оружие, за неявку в лагерь в течение пяти дней.

Большинство отсутствовавших явились. Но несколько упрямцев и на этот раз предпочли отсидеться дома. Был

среди них один богатый человек по имени Игуд. Он еще раньше посмеялся над Гадиилом, когда тот обязал его послать в Массифу людей, работавших на его полях и пасших его стада. И теперь, когда какой-то там ублюдок и бродяга потребовал у него двенадцать семерок, которые он обязан был выставить в ополчение, Игуд велел передать: для того, чтобы повеселить гостей на празднике по случаю свадьбы его дочери, ему требуется шутник; лучшего шутника, чем Иеффай, видимо, по всей стране не найти; чем не случай для того заработать хороший кусок жареного мяса? Иеффай послал группу своих вооруженных воинов к дому Игуда. Схватив его, они наголо остригли ему полголовы, а скот порубили на части. Эти части Иеффай разослал по домам уклонявшихся ополченцев, а на словах велел передать: «Так будет со скотом всякого не прибывшего к сроку в стан Иеффая».

Люди не помнили, чтобы у кого-либо из военачальников Галаада было такое могучее войско, каким теперь располагал Иеффай. Но он почему-то бездействовал, не выступал против царя Нахаша, даже не отдал приказ своим воинам совершить омовение перед битвой и воздержаться от женщин и вина.

Здесь, на виду у вражеского лагеря, он с каждым днем все яснее понимал: правильно он сделал, не пообещав священнику и братьям «победить» Аммона. Даже если бы он победил в открытом бою, Аммон мог отступить в свою неприступную столицу Раббат и там ожидать, пока не подойдет надежная помощь из Васана. Ведь мстительный царь Авир вряд ли допустит, чтобы Иеффай укрепил свое могущество великой победой над Аммоном. Правда, царь Авир поклялся Иеффаяу хранить мир, но клятва его относилась к Иеффаяу — покровителю семи уделов в Васане, а вовсе не к Иеффаяу — военачальнику Галаада. Следовательно, победа в открытом бою втянула бы Иеффая в бесконечную и безнадежную войну с двумя сильными противниками — войну, в которой он не мог победить.

Была и еще одна причина, важная и тайная, удерживавшая Иеффая от битвы. Ему не хотелось воевать с Милхомом, богом матери и жены. Он надеялся — пожалуй, еще тогда, в скинии, — что сможет перехитрить царя Нахаша в ходе переговоров и побудить его к отступлению, так же, как в свое время благодаря счастливому озарению добился перемирия с царем Авиром.

К великой своей радости, он обнаружил, что и царь Нахаш, опытный вояка, тоже не жаждал боя. Правда, он усилил свой лагерь, попросив помощь у царя Моава, своего шурина. Да и занятые им ранее земли Галаада продолжал опустошать. Но на поля Массифы не вторгался. Оба войска недвижно стояли друг против друга.

Галаадитяне удивлялись бездействию Иеффая, но доверяли ему и считали, что у него есть на то причины. Даже Авиям и братья Иеффая не проявляли беспокойства по этому поводу. Мощь его войска и его лагеря и у них вызвала уважение. Более того, у воинственного Гадиила ненависть к Иеффаю вскоре сменилась приятелью и каким-то чисто мальчишеским обожанием. Иеффай же принимал знаки его внимания, добродушно посмеиваясь, а убедившись, что Гадиил стал увлеченно заниматься приемами ведения боя с колесниц, подарил ему одну из них.

С Елеком Иеффай теперь тоже нашел общий язык. И хотя сам он предпочитал жизнь под открытым небом или в военном лагере, он всячески расхваливал достоинства домов, построенных в Массифе под руководством брата. Похвалы эти ласкали слух Елека.

Труднее оказалось наладить отношения с Самегаром. Того по-прежнему привлекала в Иеффая его напористость и жизнерадостная уверенность в своих силах, однако отсутствие в лагере Иеффая истовой веры в Ягве внушало ему тревогу. А жена Самегара Цилла только и делала, что подливала масла в огонь. На все, что Иеффай делал или не делал, она смотрела глазами ненависти, и именно она первой заподозрила Иеффая в измене народу Галаада. Почему он смотрел сквозь пальцы на то, что его люди все еще не остригли волосы, спали с женщинами и пили вино? Почему он все еще не велел им принести очистительные жертвы? А все потому, что он наполовину аммонитянин и не хочет воевать с народом матери и жены. Он все еще не вырвал бога Милхома из своего сердца.

Мало-помалу бездействие Иеффая встревожило и других галаадитян. И Гадиил наконец прямо его спросил, почему он не вступает в бой с Нахашем. Хотя у Аммона и больше воинов, чем у Галаада, доказывал он, но люди Иеффая лучше вооружены и лучше обучены военному делу, а кроме того, Иеффай располагает помощью Ягве и великодушным войсковым знаком, да и воевать будет под защитой крепких стен Массифы. Так чего же он ждет?

Иеффай бросил на Гадиила задумчиво-рассеянный взгляд и сухо прооронил: «Ты прав».

И наконец-то велел воинам принести очистительные жертвы.

А сам втайне от всех послал к царю Нахашу гонца и предложил встретиться.

Вскоре пришел ответ: Нахаш согласился на встречу. Местом встречи он назвал город Елеалех, один из захваченных и разрушенных им городов Галаада. Иеффай воспринял это как унижение. Он предпочел бы встретиться с царем на одном из холмов, расположенных между их лагерями. Однако Нахаш настаивал на своем, правда, смягчая свою настойчивость ссылкой на то, что более молодому военачальнику пристало приходить к старшему годами, а не наоборот.

И Иеффай подчинился.

5

Иеффай никому не сказал о намеченной встрече, но основательно к ней подготовился. Он хотел доказать царю Аммона, что Галаад имеет законные права на те города, которые Нахаш у него захватил, и для этой цели расспросил Самегара о древней истории страны. Самегар с большим удовлетворением узнал, что Иеффай наконец-то велел воинам принести очистительные жертвы, поэтому подробно, с большим жаром рассказал, как войско Израиля разбило амореев, заодно освободив от угнетателей и Аммон. В благодарность за это победители ничего не потребовали от аммонитян и великодушно оставили за ними их прежние земли. Иеффай хорошо все запомнил.

В назначенный день он в сопровождении семерки телохранителей отправился верхом к месту встречи. Города Елеалех и Хешбон были расположены очень близко друг от друга, на двух соседних холмах. Хешбон израильтяне сами разрушили много лет назад, когда вторглись в эту страну, и город так и лежал в развалинах как напоминание о той давней победе. А теперь и Елеалех был разрушен. Но на его развалинах началось новое строительство: царь Нахаш восстанавливал древнее знаменитое святилище бога Милхома, которое в свое время уничтожили израильтяне.

Оказалось, что Нахаш еще не прибыл на место встречи. В развалинах Елеалеах ютились несколько жалких стариков, которым аммонитяне сохранили жизнь. Старики сбились в кучку вокруг Иеффая и стали рассказывать ему о царе Нахаше. Они на себе ощутили его власть; царь был силен, горд и жесток, но любил посмеяться. Он громко

расхохотался, увидев, как старики засуетились, пытаясь спрятаться от его воинов. Велел вытащить их из укрытий и приказал им еще раз спрятаться, да побыстрее. Хохотал при этом пуще прежнего, а потом отпустил их всех на свободу.

Иеффаю подумалось, что с таким царем он сможет договориться.

Правда, с ним придется держать ухо востро, ибо царь вполне оправдывал свое имя: Нахаш означает «змея». Ведь и некоторые боги принимали облик змеи. Змея — более гибкая, чем человек, и умеет перехитрить своего противника. Умел это и царь Нахаш. Но Иеффай не падал духом. Справился же он с царем Авиром, не даст себя одолеть и Нахашу.

Тут прибыл и он сам, тоже в сопровождении лишь нескольких телохранителей. Царь приветствовал Иеффая как дорогого гостя.

— Я много о тебе слышал, — сказал он, — и большей частью такое, что мне по нраву. Хотелось бы поговорить с тобой откровенно.

Иеффай испытующе поглядел на царя великого народа, из которого родом его Кетура. Нахаш говорил почти так, как он сам, употреблял те же слова, и речь его звучала похоже. Он мог бы быть старшим братом Иеффая; царь был невысок ростом, но широк в плечах и могуч, как и Иеффай, и лицо у него было, как у Иеффая, плосконосое и мясистое. Иеффай ответил:

— Для меня нет ничего милее, чем ясный и честный разговор. Так скажи, чего от меня хочешь, почему пошел войной на мою страну?

Нахаш опустил на цинковку, предложил Иеффаю последовать его примеру и ответил:

— Тебе, вероятно, неизвестно, что твой отец Галаад не раз вторгался в земли Аммона. И терпел неудачу, пытаясь взять приступом мою крепость Раббат, которую при жизни семи поколений никому не удалось сокрушить. Почему бы мне не взять с него пример и не вернуть себе ту часть вашей страны, которая некогда принадлежала нам? Мы и моавитяне дольше живем в этих краях, у нас более давние права на земли между Арноном и Иавоком. Ведь однажды мы уже захватили ларец, в котором живет ваш бог. Правда, твой отец вскоре отбил его обратно. Но в следующий раз мы не дадим его у нас отнять. Поверь мне, мой Иеффай!

Иеффай отвечал царю с улыбкой:

— Раз уж разговор у нас с тобой начистоту, царь Нахаш, я тебе честно скажу: не верю. Может, тебе стоило бы побывать в моем лагере и поглядеть на мои боевые колесницы и вооружение моих воинов. Массифа не так хорошо укреплена, как твой Раббат. Но и мои воины заслужили добрую боевую славу, они сумеют защитить Ковчег Завета моего бога Ягве. И раз дело обстоит именно так и ты не сильнее меня, а я не сильнее тебя, зачем же нам воевать друг с другом? Я не держу на тебя зла, и, думается, ты тоже не питаешь ко мне недобрых чувств.

На это царь Нахаш сказал:

— Воевать с тобой будет нелегко, знаю. Но я отдал мою старшую дочь в жены моавскому царю, две тысячи моавских воинов находятся уже сейчас в моем лагере, и стоит мне захотеть, придут еще тысячи; тогда я смогу, пожалуй, разбить тебя наголову.

Иеффай возразил:

— Ты сказал, что моя страна некогда принадлежала вам. На наших глиняных таблицах и свитках написано другое. Там сказано, что сила была на стороне амореев, что они прочно и грозно засели в тех уделах, которые теперь наши, что они без конца вторгались в ваши земли и притесняли вас. Пока сюда из степей не пришли мы. Мы обошли стороной ваши земли и земли Моавы, бдительно следя, чтобы нога израильянина не ступила на них. Но в страну амореев мы вторглись и неподалеку отсюда жестоко разбили их царя Сигона, так что и вас освободили от его гнета. Ясно, что наш бог Ягве даровал нам землю амореев от Арнона до Иавока. Мы могли бы в благодарность потребовать от вас какие-то уделы. Мы этого не сделали и никогда не замахивались на земли, которые вам дал ваш бог Милхом. Почему же ты теперь вдруг решил пойти на нас войной?

Царь Нахаш ответил просто и ясно:

— А мне нравится воевать. Ведь и тебе тоже? Я не ломаю себе голову над тем, что было когда-то. Если могу взять и удержать город, значит, он мой, кто бы там ни жил до того. Ты действуешь почти так же, если судить по тому, что я о тебе слышал. Но в одном ты прав: сейчас наши силы равны, и, чтобы победить, мне пришлось бы потерять много воинов на поле брани. А кроме того, я думаю: Аммон, Моав, Галаад — разве мы все не евреи? Так с чего бы нам биться друг с другом?

Он поднялся с циновки, Иеффай тоже. Царь шагнул к Иеффаю и сказал:

— Слушай, Иеффай, гость мой, мне пришла в голову хорошая мысль. Говорят, у тебя есть дочь, которая не то пришла в возраст замужества, не то вскоре придет. Отдай ее в жены моему сыну Меше. Он молод, силен и умен, они наверняка понравятся друг другу, и между Аммоном и Галаадом установится мир.

От неожиданности Иеффай даже отпрянул от царя, и в тот же миг в уме его мелькнула досадная мелкая мысль. Законная жена Нахаша родила ему одного-единственного ребенка, ту самую принцессу, которую он отдал в жены царю Моаву. А принц Меша, которого он предлагал женить на Иаале, был сыном наложницы. Но разве его собственная мать не была наложницей Галаада? Иеффай осознал глупость и противоречивость этой мысли, даже не додумав ее до конца.

А царь Нахаш прохаживался взад-вперед, не глядя на Иеффая, и продолжал говорить как бы про себя, словно думая вслух: «И может быть, благодаря этому браку Аммон, Моав и Галаад когда-нибудь станут единым царством, и рука повелителя этого царства будет такой же длинной, как рука повелителя четырех стран света». Картина, которую царь Нахаш набросал перед Иеффаем, была очень заманчива. Да, придет день, когда начнутся распри из-за престола в Аммоне: кто будет его наследовать — принц Меша или муж старшей, законной дочери Нахаша, царь Моаву? Иеффай разволновался не на шутку. Ведь Нахаш предлагает ему участвовать в этой распре, чего Иеффай никак не ожидал; предложение это показывало, что он приобщен к сильным мира сего. Сколь удачной была мысль отказаться от клятвы «победить Аммон».

Но мысль эту вряд ли внушил ему Ягве. Это Милхом предостерег его против войны с народом его жены и матери, и теперь он же, Милхом, предлагает ему породниться с царем Нахашем. И если он примет это предложение, если отдаст свою Иаалу принцу Аммона, ей придется отречься от Ягве и поклоняться Милхому. А разве для того он внушал дочери истовую веру в Ягве, чтобы теперь выдать ее Милхому? Иеффай чуть ли не зримо ощутил блеск соблазна и его яд. И в то же время ему польстило, что Ягве и Милхом борются за него.

Царь Нахаш остановился перед ним и посмотрел ему прямо в лицо с умным и лукавым прищуром, словно мальчишка, предлагающий приятелю совершить вместе какую-то хитроумную, веселую и небезопасную шалость. Но, уви-

дев, что Иеффай не торопится соглашаться, и прочитав на его живом лице растерянность, царь помрачнел.

Заметив это, Иеффай справился с волнением и заставил себя думать последовательно. Ни в коем случае нельзя обижать царя. Нужно спокойно обдумать его предложение. А для этого нужно выиграть время. И он сказал:

— Твоя благосклонность покоряет меня. Я счастлив, что вызвал приязнь столь умного и могущественного владыки. Именно поэтому прошу тебя: дай мне время обдумать твое предложение. Дай мне взвесить, могу ли я принять столь великий дар, не раздавит ли он меня своим величием.

Нахаш рассмеялся и сказал:

— Боишься, видно, что мы в конце концов проглотим твою страну?

— Ничего подобного у меня и в мыслях не было, — ответил Иеффай. — Твое предложение в самом деле неожиданно, и мне нужно время. Послушай, с тех пор как я стал станом у Массифы, ты не двинулся с места, я тоже удержал свое войско в лагере. Давай поклянемся перед нашими богами и впредь хранить перемирие. Давай условимся: до следующей весны ни вы не нападете на нас, ни мы на вас. Я отошлю свой отряд вместе с колесницами обратно на север. А ты снимешь свои шатры, удалишься от Массифы за пределы видимости и вернешь нам те три города, которые у нас захватил.

Тут царь Нахаш от души рассмеялся.

— Ты мне нравишься, Иеффай, дорогой мой гость, — сказал он. — Но все же не настолько, чтобы из-за этого делать глупости. Разве ты когда-нибудь слышал, чтобы царь по доброй воле отдал город, завоеванный в честном бою? Тем более — три города! И того довольно — и ты сам это знаешь, — что я дам тебе целый год на раздумья, достоин ли мой сын твоей дочери.

Иеффай возразил:

— Я привел сюда свой отряд и колесницы издалека, с севера. И не могу просто так отправить их назад, не опозорив себя в глазах своих воинов. Столь опытный властитель, как ты, знает это. Поэтому прошу тебя: убери свои шатры от Массифы за пределы видимости и верни мне хотя бы город Иоквеху.

Царь Нахаш, все так же весело, ответил:

— Иоквеху! Этот умный город, который не стал защищаться и который мне не пришлось разрушать! Нет, дорогой мой Иеффай, его я не отдам. Но поскольку ты

сумел угнездиться в моем сердце, я подарю тебе год мира, который нужен тебе для размышлений. Сделаем так: ты распустишь ополченцев Галаада по домам, а я сниму лагерь с холмов у Массифы. Потом ты отведешь свой отряд и колесницы на север, а я предоставлю тебе уделы городов Иазер и Елеалех.

— Ты великодушен и добр, царь Нахаш,— ответил Иеффай.— Но есть одно «но»,— добавил он в раздумье.— Мой бог Ягве разгневается, если я предам город Иоквеху Милхому.

— Это не повод для ссоры между нами,— заметил Нахаш.— Идя навстречу твоему желанию, я не буду преследовать жителей Иоквехи, которые не захотят отречься от Ягве. Ты, со своей стороны, поручишься мне в том, что никто не осквернит святилище, которое я воздвигаю тут, в Хешбоне, в честь моего бога Милхома, и что никому не будут чинить препятствия поклоняться ему в этом святилище.

— Быть по сему,— заключил Иеффай.

— Быть по сему до следующей весны,— уточнил царь Нахаш.— А до того ты должен решить, будет между нами мир и родство или же война.

— Всем сердцем и всей душой я благодарю тебя, царь Нахаш! — искренне воскликнул Иеффай. И с наигранным прямодушием добавил: — Знаю, ты используешь это время, чтобы следующей весной заполучить в свой лагерь все ополчение Моава, а может, и с другими царями договоришься. Я тоже постараюсь стать сильнее к следующей весне. Но мне это, скорее всего, не удастся. Тогда я тебе разонравлюсь и тебе уже не захочется соединять наших детей узами брака.

Нахаш ответил:

— С тобой можно иметь дело, Иеффай, у тебя есть голова на плечах. Вполне возможно, что следующей весной, ощутив свою силу, я поддамся своей страсти к войне и нападку на тебя. Ибо я просто люблю воевать. Но сегодня я на самом деле хочу, чтобы мы положили твою дочь на ложе моего сына. Разве мы все не евреи?

Иеффай и царь скрепили свой союз жертвоприношением и клятвой. Потом Иеффай вернулся в Массифу, собрал всех воинов вокруг войскового знака и возвестил:

— Война окончена. В течение двух дней вознесите очистительные жертвы. После этого — все свободны.

Они выслушали это, не веря своим ушам. Никакой битвы не было, холмы вокруг города по-прежнему усеяны боевыми шатрами Аммона. Но что это? На второй день царь Нахаш начал снимать лагерь. На третий — холмы и поля вокруг Массифы очистились от врагов.

Видя все это, ополченцы Галаада испытали двойственное чувство. Они радовались, что вернутся домой к женам и смогут заняться землей и стадами. Но, с другой стороны, они ведь настроились воевать, их обуяли тяга к перемене мест и жажда приключений, доставшиеся им в наследство от праотцев-кочевников, и вдруг — на тебе! — возвращайся в свои скучные будни.

Люди Иеффая, воины его отряда, тоже были разочарованы. И все же скорее гордились своим главарем, который, подобно Богу, рассеял врагов своим духом и словом. Под грохот колесниц тронулись они в обратный путь — в землю Тов и в уделы к северу от Иармука.

Сам же Иеффай с небольшой частью своего отряда остался у стен Массифы. Братьям он заявил:

— Напрягите зрение и взгляните: вы не увидите в окрестностях Массифы ни вражеских воинов, ни шатров Аммона. Я сдержал обещание. Выполнил вашу просьбу и спас Галаад.

В Гадииле проснулся былой гнев. Он уже предвкушал славную битву, а брат обманул его ожидания. Сам-то он всласть помахал мечом там, на севере, и пролил, наверное, реки крови. Однако аммонитян и в самом деле след простыл. К тому же у Гадиила теперь была своя боевая колесница, которую ему подарил Иеффай. Гадиил тяжело вздохнул. Делать нечего, придется ладить с этим ублюдком.

Зато рассудительный Елек обрадовался всей душой. Призыв в ополчение нарушил его хозяйственные планы; дома, поля и стада были оставлены на женщин, то есть заброшены. Теперь мужчины могут вернуться к полезному труду. Да, этот Иеффай не только смел, но и необычайно умен; он обуздал себя и заключил мир, не понеся никаких потерь.

Самегар был в смятении. С одной стороны, он восхищался братом, который сумел одними словами добиться отступления Аммона. Но прежние подозрения грызли его душу. Прогнал ли Иеффай врагов с помощью Ягве? Или же сговорился с царем Нахашем под знаком Милхома? Да и жена Цилла натравливала его на брата: «Этот ублю-

док заключил позорный мир! Разве ради такого мира унизились перед ним законные сыновья Галаада? Город Иоквеха, славный город Ягве, теперь во власти Милхома! Сын аммонитянки опять перехитрил братьев и превысил свои полномочия. Его призвали вести войну, а не заключать мир. Заключить мир мог только судья Самегар. Значит, мирный договор Иеффая не имеет силы».

Самегар вспоминал текст соглашения, которое братья заключили с Иеффаем. Да, враг был отогнан от ворот Массифы, Иеффай сдержал слово. Имел ли он, Самегар, право восставать против Иеффая — благословенного Богом спасителя? Имел ли право хотя бы спорить с ним? Но в глубине души он разделял сомнения жены. И мучился от этой раздвоенности. А утешение искал в еще более рьяном служении Ягве.

В Маханаиме росло фисташковое дерево, давшее название холму, на котором раскинулся город. В свое время Самегар послал людей срубить дерево, но жители прогнали их серпами и косами, и Самегар, по совету Елека, не без колебаний смирился с этим. Но теперь он решил поступить по всей строгости. Послал вооруженных людей в Маханаим, наказав им срубить дерево, чего бы то ни стоило. Жители и на этот раз оказали сопротивление, была пролита кровь, но святое дело было сделано, дерево пало.

Иеффай ворвался к Самегару с криком:

— Ты слышал, какие-то подонки свалили священное дерево Маханаима?

Самегар струхнул, но взял себя в руки — ведь в эту минуту он отстаивал честь Ягве.

— Они выполняли мой приказ, — сказал он. — Дерево это не священное. Ягве не живет в деревьях.

— Но то был Эц-Раанан, — грустно сказал Иеффай. — Самое красивое вечнозеленое дерево, какое я видел. Им дорожили все. И Ягве, наверное, оно тоже было дорого. — Осипшим от бешенства голосом он крикнул Самегару в лицо: — Ты сделал это нарочно, чтобы оскорбить Кетуру.

Самегар испугался, что в гневе брат убьет его, но, мысленно призвав на помощь своего Бога, ответил с вызовом:

— А я и не знал, что жена военачальника Галаада и по сей день поклоняется идолам.

Иеффай отмахнулся:

— Не твое дело следить за благочестием чужой жены.

— Нет, мое, — возразил Самегар. — Я пока еще судья в Галааде.

Иеффай и сам в глубине души чувствовал, что, стараясь избежать войны, действовал не только как военачальник Галаада, но и как сын своей матери и муж своей жены; поэтому он не собирался требовать назначения на обещанную ему должность судьи. Но когда Самегар нагло бросил ему вызов, гнев обуял его. Значит, сыновья Зильпы все еще не смирились; даже этот, самый мягкий из них, смеет ему перечить.

— Это ты-то — судья в Галааде? — спросил он, передразнивая голос брата.— Отныне им не будешь. Я потребую обещанной награды. Отныне судьей буду я.— И, схватив Самегара за плечи, встряхнул его: — Ну-ка, назови меня как полагается: уважаемый судья!

У Самегара от страха подогнулись ноги. И все же он выдал:

— Лишь Ягве может освободить меня от должности. Я не стану называть тебя так.— Но вдруг его прорвало: — Я и сам знаю, что не гожусь сидеть на престоле судьи. Ничего не смыслю в военном деле, не умею подчинять себе людей, не могу судить, повелевать и приказывать. О Иеффай, я был бы счастлив, если бы Ягве воздвигнул тебя судьей! И мечтаю об одном: стать священником, читать по глиняным таблицам о прошлых деяниях Господа и записывать на них будущие его милости. О Иеффай, неужто ты не можешь отпасть от ложных богов? — искренне воскликнул он.— Ты был бы великим судьей! — И подойдя вплотную, прерывающимся от робости голосом спросил:

— Были ли на тебе амулеты при разговоре с царем Нахашем?

Никаких амулетов на Иеффае тогда, конечно, не было. И все же в глупых словах пламенного ревнителя веры таилось зернышко истины: что следует сказать Нахашу, внушал Иеффаю в большинстве случаев Ягве, но иногда и бог его матери.

Гнев Иеффая как-то сразу иссяк. Он убрал руки с плеч Самегара.

— Не тревожься, мой осторожный, мой благочестивый брат,— сказал он спокойно.— Недолго осталось тебе владеть бременем судейских забот. Твой священник назначит меня судьей в доме Ягве, как записано в нашем соглашении. А ты сможешь укрыться от мирских тревог за спиной своего Авияма и заносить на таблицы уже *мои* деяния во славу Галаада!

Иеффай направился к дому Ягве, вырос на его пороге перед Авиямом и объявил:

— Ни одного вражеского воина и ни одного шатра аммонитян нет в пределах видимости вокруг Массифы!

Голос его трубил победу, а сердце сжималось от страха: он боялся, что Авиям догадается, почему Нахаш прекратил военные действия.

Первосвященник в самом деле оторопел, когда впервые услышал об уходе противника. Как? Иеффай, этот прославленный опытный воин, счел за лучшее не сражаться с Аммоном, а оставить в руках врагов город Иоквеху! Вновь проснулось в нем подозрение, вызванное загадочными словами «отогнать от ворот».

И когда Иеффай вдруг явился и стал предъявлять свои требования, Авиям сухо заметил:

— Ты прав. Ты выполнил свое обещание. Выполнил в точности все, что обещал. Ты ведь и пришел ко мне затем, чтобы это услышать?

Иеффай почуял вызов. У него и в мыслях не было оправдываться перед стариком; но в душе он уже не раз с успехом заглушал голос собственных сомнений, находя достаточно веские доводы, так что был даже рад случаю изложить их кому-то другому.

— Знаю,— сказал он,— ты ждал от меня громкой победы. Однако я заново взвесил могущество аммонитян, оно оказалось настолько превышающим наши силы, что если бы мне и удалось победить их в открытом бою, война бы на том не кончилась. Нахаш спокойно отсиделся бы в своей неприступной крепости Раббат и дождался, когда к нему на помощь подоспеет ополчение Моавы и даже Васана. Тогда мне, вероятно, не удалось бы удержать даже Массифу. Я неплохой военачальник, Авиям. Думается, я доказал также, что не трус и не склонен мелочно высчитывать, на чьей стороне перевес. Я всей душой рвался в открытый бой. Но почел за лучшее сначала спасти Галаад.

Доводы Иеффая звучали вроде бы убедительно. Тем не менее они не рассеяли сомнений Авияма, и он сказал:

— И все же поведай мне, как ты уговорил царя аммонитян? Какие сильные, убедительные слова нашел, чтобы заставить его отступить со всем войском, даже не обнажив меча?

Священник опять говорил спокойно, но на этот раз Иеффай ясно расслышал питаемые им тяжкие подозре-

ния; тот либо точно знал, либо только догадывался, что Иеффай заключил с царем тайный, опасный и недопустимый, на его взгляд, договор. Иеффай весь напрягся, стараясь сказать одним словом меньше, а не больше, и ответил, тоже очень спокойно, даже небрежно:

— Я объяснил царю Нахашу: если он и разобьет нас в открытом бою, исход войны отнюдь не будет решен. Сильных слов я не употреблял, взывал лишь к его разуму; а царь Нахаш, хоть и вояка, но человек сговорчивый и разумный.

Тут Авиям не выдержал.

— Твой царь Нахаш, — сказал он, гневно сверкнув глазами, — может, и сговорчив, но Ягве не таков. Наш Бог не любит взвешивать и рассчитывать, он — бог войны. И вряд ли благосклонно посмотрит на то, что ты оставил врагу его город Иоквеху.

Иеффай даже обрадовался, что тот поддался гневу: теперь он чувствовал себя увереннее. И спокойно возразил:

— Я завоевал для Израиля семь прекрасных городов, причем лучших, чем Иоквеха, не забывай. Кроме того, я добился от царя Нахаша клятвы, что он не будет преследовать жителей Иоквехи, чтящих Ягве. Не думаю, что Ягве может быть недоволен мной. Ведь это по его воле Аммон отступил, как только я появился здесь. А до того Ягве и пальцем не шевельнул, глядя, как Аммон осаждает Массифу.

Священник устал от пустых пререканий и попросил:

— Перестань в конце концов считать меня своим врагом. Я хочу того же, что и ты, мы оба, каждый по-своему, заботимся о благе страны. Признай за мной это. И тогда уж объясни мне, умоляя тебя: что ты выиграл, отсрочив решение? Сейчас ты уступил Нахашу город Иоквеху. Что ты сделаешь будущей весной? Уступишь ему еще больше наших земель?

На миг Иеффаю почудилось, будто этот жуткий старик точно знает, о чем именно говорили они с Нахашем, будто он знает истинную цену, заплаченную им Аммону за отступление, — полуобещание породниться с царем и заключить с ним постоянный союз.

А Авиям продолжал:

— Пойми, Иеффай, сын мой, нехорошо вступать в союз с Аммоном даже на короткое время. Аммон был и остается народом степей и пустынь. Нас же Ягве сплотил для того, чтобы мы осели в этом благодатном краю. Мы — не дети пустыни, наши братья — те, что живут на другом берегу

Иордана. Пойми же это, воин Ягве. Соберись с духом. Будь сыном своего отца, а не матери.

На миг Иеффая пронзили те же чувства, что теснились в его груди на вершине Хермона; перед его мысленным взором возникло огромное, единое и нераздельное царство Израиль по обе стороны Иордана. Но тут же в душе его зазвучали лукаво-рассудительные слова царя: «Разве мы все не евреи?» Иеффай растерялся от этих противоречивых чувств и предпочел разозлиться на священника: тот лишь вновь норовит взять над ним верх.

— Я-то думал,— начал он с мрачной усмешкой,— что спас вас всех от большой беды, а оказывается, я всех вас предал.— Он нарочно раздувал свою злость и распалялся все больше и больше.— Ведь как было дело, священник? — разошелся он.— Вы пришли ко мне и стали умолять: нас со всех сторон обложил враг, превосходящий нас силою, приди и помоги! И я сжалился над вами и ответил: «Хорошо, я отгоню врага за пределы видимости». И я это сделал. Я сделал больше. Я вернул Галааду два города из трех, которые вы не смогли удержать, потому что тела ваши заплывли жиром, а души снедает алчность. И где же благодарность? — В глазах его заплясали злые зеленые искорки, он вздернул бородку и хрипло бросил в лицо священнику: — Вы срубили священное дерево в Маханаиме. Я любил его, как и моя жена Кетура, и отец любил сидеть в его тени вместе с матерью,— а ведь он был судьей в Израиле! Этот благочестивый болван Самегар проблеял: «Ягве не живет в деревьях!» — и послал людей срубить мое любимое дерево, пока я торчал тут в Массифе, спасая вас. И ты не пресек его действий и тем причинил боль мне и обиду моей жене.

Авиям понял: Иеффай потому и ярится, что ему нечего возразить по существу. И окончательно убедился, что подозрения его обоснованны. Он сказал:

— Не из-за дерева ты гневаешься. А из-за того, что я знаю о том, что творилось в твоей душе, когда ты говорил с аммонитянином; а творилось там зло, и говорил ты с ним не так, как пристало военачальнику Галаада. Не знаю, что ты выторговал при этой встрече на развалинах Елеалеа, но боюсь, что этот царь не отступил бы, не наобещай ты ему нечто большее, чем один год мира. Может быть, ты торговался с ним для выгоды Галаада, только выгода эта — короткая и достигнута, боюсь, за счет высшего твоего военачальника — Ягве.

Иеффай возразил старику грубее, чем хотел:

— Хватит меня учить! Я тебе не мальчик. Распоряжайся себе на здоровье в доме Ягве. А военные переговоры — мое дело. Я выполнил все, что обещал, а вы недовольны, поносите и позорите меня и срубили мое любимое дерево в Маханаиме; раз так, я требую причитающейся мне награды. Хорошо, что не поверил вашим словам и заставил записать все на таблицах.

Авиям, как-то сразу одряхлев, сказал:

— Будь по-твоему. Ты будешь сидеть на престоле судьи Галаада. Но было бы лучше для нас и для тебя, если бы ты обождal, когда Ягве сам воздвигнет тебя судьей.

Эти слова священника наткнулись на решительный отпор. Иеффай возмущенно повторил: «Когда Ягве сам воздвигнет тебя судьей!» Да этот старик просто морочит ему голову своей трескучей болтовней! И, надменно вскинув голову, Иеффай ответил: «Он уже воздвиг меня. Ягве — мой бог, он живет в моей груди. И чего я хочу — это *его* воля».

В ужасе от такого кощунства, Авиям процедил сквозь зубы:

— Недолго придется тебе сидеть на судейском престоле, чтобы понять: ты ошибаешься.

Потом сухо завершил разговор:

— Я вручу тебе судейский жезл, как и обещал. Ты добился этого хитростью и коварством. Но от помазания пока воздержусь. И помажу твой лоб елеем лишь тогда, когда Ягве даст на то согласие. Когда он *мне* его даст.

8

По случаю своего назначения судьей Иеффай решил устроить грандиозное празднество. Он послал гонца за своими близкими в землю Тов и в землю Васан и пригласил их в Массифу. Он пригласил всех: Кетуру, Иаалу, Казию и Пара, даже старого Толу не забыл позвать из Маханаима. Пожалуй, не меньше, чем новой должности, радовался он тому часу, когда Кетура-победительница встретится лицом к лицу со своей поверженной врагиней.

Далеко за город выехал он встречать дорогих гостей.

И вот они появились — впереди всех его жена и дочь. Обе были ласковые и веселые, как всегда; как он мог так долго жить без них?

Поначалу он привез их в свой лагерь и послал сказать Зильпе и Самегару, что намерен вступить во владение

отцовским домом. После этого все отправились в город. Поднялись к дому Галаада. Постучались в большие ворота, за которыми раскинулся двор. Открыл старик слуга. Двор был просторен и пуст: братья с женами и детьми укрылись в своих домах.

Стоя на пороге родительского дома, Самегар приветствовал Иеффая и просил извинить мать, не вышедшую им навстречу из-за нездоровья. Войдя с залитого солнцем двора в сумеречное помещение, Иеффай, Кетура и Иаала не сразу разглядели Зильпу, лежавшую на небольшом возвышении в его полутемной глубине. Они поднялись к ней по ступенькам.

И тут свершилось. Вот она — женщина, которая все эти годы травила и преследовала Кетуру и в конце концов выгнала в лесной край, к диким зверям. А вот она сама — Кетура. Она победила. Ей принадлежал этот дом, а ее Иеффаю — судейский престол и жезл отца.

Зильпа еще до их прихода приподнялась и теперь ссутулясь сидела на циновке. Сдавленным от волнения гортанным и хриплым голосом Зильпа сказала:

— Прости меня, Кетура, жена судьи Иеффая, что я не встала, когда ты вошла. Придется удовольствоваться тем, что ноги тебе омоют жена моего сына Самегара с дочерьми.

Кетура стояла перед сгорбившейся на циновке старухой — молодая, мускулистая, тонкая, смуглая — и держала за руку свою дочь Иаалу. Большими серыми, глубоко посаженными глазами она не отрываясь глядела на женщину, некогда призывавшую на ее голову все мыслимые беды. И что же? Беды обернулись для нее благом. Она провела рукой по рубцу от раны, полученной семь лет назад в схватке с волком, и любовно погладила его пальцами: то была плата за этот час торжества. Кетура ответила Зильпе, и слова ее звучали как песня:

— Разве я могла бы допустить, чтобы вдова судьи омыла мне ноги? Но я уверена, что нам всем будет хорошо в этом доме, и мир, который мой муж Иеффай принес стране Галаад, воцарится и в этих стенах.

Они уселись на низенькие скамеечки, и тощая Цилла с дочерьми омыли им ноги. В Цилле при этом клокотала такая ненависть, что внутри все горело огнем и рот разъедала горечь. Как только Ягве это терпит! Но это ненадолго; это всего лишь испытание, ниспосланное им преданнейшему из своих слуг, ее мужу Самегару. А этот ублюдок, беззаботно рассевшийся перед ней на скамеечке, подставив

ногу для омовения, никогда не чтил Ягве по-настоящему. Он носил в сердце Милхома, а на теле — своих идолов. Со временем Ягве наверняка откажется от непонятного пристрастия к этому человеку и повернется лицом к лучшему из своих слуг, ее мужу; окончательная победа останется за ним.

Лежа на циновке, Зильпа наблюдала, как члены ее семейства унижаются перед ничтожным ублюдком. Разные мысли теснились у нее в голове в этот час позора. Так низко ей и ее сыновьям пришлось пасть перед этим человеком. И ничего это не дало, кроме весьма сомнительного мира. Он отдал город Иоквеху языческому идолу Милхому, а может, еще и заключил какую-то грязную сделку с Аммоном. Наверняка все это сделано ради этой Кетуры; ради нее он увильнул от войны с Аммоном.

Странное дело, Зильпа ухитрилась сделать из этих рассуждений вывод, наполнивший ее гордостью и злобным удовлетворением: аммонитянка хороша собой, ничего не скажешь, но нет в ней благородства; просто красивая дикарка, и все. И такая женщина сумела навязать свою волю умному и смелому человеку, — а Иеффай и умен, и смел, этого, несмотря на все, нельзя не признать. Но если столь ничтожная женщина может влиять на судьбу их колена, то и ей, Зильпе, не стоит терять надежды. Она сжимала и разжимала свои тощие руки; в них было еще достаточно силы, чтобы схватить и удержать. Она не смирилась с поражением. Мир не был завоеван, и значит, война лишь прервана. Вероятно, уже через год, когда наступит весна, Галааду все же придется помериться силами с Аммоном. И она, Зильпа, будет Деворой этой войны.

На следующий день у ворот Массифы собрались огромные толпы. Кто стоял, кто сидел на корточках на залитой солнцем рыночной площади. Крыши домов были усеяны людьми, а воины отряда, оставшиеся с Иеффаем, уселись на городских стенах, чтобы лучше видеть и слышать, как первосвященник будет провозглашать их Иеффая судьей. Иеффай принял судейский жезл из дряхлых, тощих, трясущихся рук, крепко сжал его в кулаке, сел на каменный престол, и толпа завопила: «Да умножит твою силу Ягве! Да умножит он твою силу, наш судья и господин!»

Воины отряда, как амореи, так и галаадитяне, торжествовали: как же, один из них стал судьей в Массифе! Отныне они, бездомные скитальцы и бродяги, были признанными спасителями оседлых жителей. Они устроили великий пир в своем лагере у стен Массифы и пригласили на него всех горожан.

Иеффай прохаживался среди своих людей, ел их угощение, пил их вино и крепкие напитки, а они почтительно целовали его бороду.

Женщины тоже приняли участие в пиршестве. Кетура, все еще упиваясь радостью мщения, была счастлива: умница Иеффай добился всего без войны с ее народом. Она не сомневалась, что Иеффай удовольствовался перемирием только ради нее, и гордилась таким подарком.

Иаала молча бродила по лагерю в сопровождении Емина: она вслушивалась в то, что происходило в ее душе; чувства переполняли ее и рвались наружу. Утром, когда она глядела на отца, восседавшего на каменном престоле судьи, и слышала, как он отвечает на приветственные клики толпы своим низким и звучным голосом, ее охватило такое страстное восхищение отцом, что она как бы воспарила над землей и растворилась в ощущении собственного ничтожества и смиренного преклонения; из этого чувства где-то в глубине ее сердца родилась песня — и слова, и мелодия. Поначалу Иаала наслаждалась счастьем рождения песни молча, но уже понимала, что не может оставить ее при себе, что обязана поделиться своим счастьем со всеми и, направляясь в лагерь, захватила с собой тимпан и лиру.

Люди Иеффая и жители Массифы заметили, что дочь судьи не такая, как большинство девочек ее возраста. Многие подумали: счастливец тот, кому она достанется. Может, им станет этот великан, что сейчас следует за ней повсюду, как тень. А как его зовут? Емин? Сразу видно, что он родом из племени великанов и прежде наверняка поклонялся северному Ваалу, хоть теперь и признает бога Ягве. Как любовно он глядит на нее! Можно его понять.

И вот настала минута, когда Иаала больше не могла хранить в душе свою песнь. Утром, глядя на отца, восседавшего на судейском престоле, она выразила всю свою любовь и преклонение музыкой, звучащей в ней самой, и напевами, перенятыми ею у вавилонских музыкантов. И вот теперь все это вновь зазвучало в ней, и она запела: «Господь, дай силу Иеффаю, новому судье! Милость Ягве с нами: он возвысил молодого над старыми. Гнев Ягве сверкает в глазах Иеффая, когда он гневается. Благоволение Ягве сияет на лице Иеффая, когда он благоволит. Иеффай вздымает кулак, и враги рассыпаются в прах, словно глиняные идола. Господь, дай силу Иеффаю, новому судье! Его имя значит: «Ягве открывает путь». Иеффай, Иеффай, судья Галаада! Воскликнем же так, чтобы слышно было по всей стране: Иеффай!»

Смуглая и тоненькая Иаала, с огромными, горящими живым огнем глазами, стоя на солнцепеке, пела своим детским и ломким голосом, не похожим ни на какой другой, вырвавшуюся из глубин души песнь своего торжества, своей гордости, своего восхищения отцом; сперва она сопровождала пение игрой на тимпане и лире, а потом, все больше воодушевляясь, пела уже без музыки, ударяя в такт пению ногой и пританцовывая. Всех мужчин, стоявших в толпе, проняло. Все они полюбили эту девочку. Иаала излучала какую-то неизъяснимую светлую радость. Многие из них знали Иеффая с первых его шагов. Сначала он сделался хозяином дикой земли Тов, потом повелителем западных уделов Васана, потом судьей в Галааде, теперь, под пение Иаалы, он поднялся в их глазах еще выше. Он стал героем, сверхчеловеком — лишь на две трети человек, на одну треть Бог. Ягве спустился с горы Синай, он был в медном знаке Иеффая, он был в самом Иеффае. Девочка первая увидела это, и теперь увидели все. И они подхватили ее песню, притопывая ногами и восклицая: «Иеффай! Иеффай! Господь, дай силу Иеффаю!»

Иеффай смотрел на свое дитя, на свою дочь Иаалу, слушал ее страстную ликующую песнь. «Ягве возвысил молодого над старыми!» Он ощутил играющую в нем силу; власть над страной и победа над старым священником были в его руках. Эта девочка, его Иаала — воистину его плоть и кровь; но она и нечто большее, ей присуще и то, что он так любил в Кетуре. Странно, что, несмотря на все это, Бог выражал себя в его дочери ярче, чем в нем самом; значит, если Ягве и был милостив к нему, то только ради нее, ради дочери.

На празднестве присутствовал и один из сыновей Зильпы — Гадиил. Он слышал песнь Иаалы, и его проняло, как и всех остальных. Он рассказал матери об этой песни. Раньше Зильпа радовалась, что аммонитянка не родила Иеффая сына. Теперь она перепугалась: может, вовсе не ей, а дочери Иеффая предназначено стать Деворой для галаадитян?

Иеффай собирался на следующий же день вернуться в Васан. Но случилось событие, задержавшее его отъезд из Массифы.

Сразу же после празднества умер старый Тола. Вместе со всеми он смотрел, как его молодого господина провозгласили судьей Галаада, вместе со всеми участвовал в празднестве и бродил по лагерю, заявляя всем и каждому, что от радости стал молодым и крепким, как недозрелая масли-

на. Потом прилег на циновку в своем шатре, подложив под голову одежду, и во сне умер. Иеффай захотел сам отнести старика в погребальную пещеру на холме Овот, чтобы тот и после смерти был рядом со своим господином, которому служил верой и правдой столько лет. В пещере он сел на землю рядом с отцом. А потом устроил поминальное пиршество, на которое созвал лучших людей Галаада.

Когда и старый Тола оказался в погребальной пещере, Иеффай понял, что время судьи Галаада миновало навсегда. Он ехал на север и, глядя на свой войсковой знак, думал: «Начинаются годы правления Иеффая».

9

Но когда он приехал в землю Тов, уверенность уступила место прежним сомнениям. Авиям был прав: распря с Аммоном не кончилась, война лишь отложена.

Так думали все, в том числе и люди, знавшие Иеффая особенно близко. Пар и Казия при нем обсуждали друг с другом его теперешнее положение и его будущее. Он достиг большего, чем они смели мечтать. Он стал главарем «праздных» людей, а также повелителем семи городов в Васане и судьей в Галааде. Он стоял на страже закона, а сам был вне закона. И успех не вскружил ему голову, не толкнул на рискованные поступки — наоборот, зрелая мудрость заставила его отложить войну до будущей весны: к тому времени он успеет лучше подготовиться и будет более уверен в победе.

И только одна Кетура твердо верила, что Иеффай и в следующем году избежит войны.

Это лето в земле Тов было для нее временем спокойного и прочного счастья. Сладостно было ей стоять победительницей перед поверженной врагиней, сладостно видеть Иеффая вознесенным над братьями и над всем народом Галаада, радостью и гордостью были наполнены ее дни в Массифе. Но и в Массифе, и в тех городах Васана, которые подчинил себе Иеффай, всюду чудилась ей опасность — слишком много было там обиженных, мечтавших расправиться с победителем. Нет, эта Массифа, где жили Ягве, его священник и сыновья Зильпы, жаждавшие втянуть Иеффая в войну против Аммона, против ее народа, казалась ей еще опаснее, чем северные города. Она была счастлива, что ее близкие вернулись в страну Тов живыми и невредимыми. Здесь, в этом диком краю, не было крепост-

ных стен и враждебных ей законов. Здесь ее душа сливалась воедино со всем, что ее окружало.

И с Иеффаем соединяли ее теперь более прочные узы, чем прежде. Она знала, как он любит сражения, и понимала, чего ему стоило отказаться от войны с Аммоном. Он сделал это из любви к ней.

Однажды она сказала Иеффая: «С тех пор, как ты решился жить в мире с моим народом, мне кажется, что мы с тобой навсегда остались на вершине Хермона».

Его поразило, как глубоко она его понимала и как глубоко ошибалась. Он чувствовал раздвоенность своей души и противоречивость своей жизни. Он был судьей в Галааде и был готов защищать Галаад — и в то же время он был сыном Леваны и не желал воевать с Аммоном. Он был военачальником Ягве и жаждал разгромить врагов своего Бога — и главарем отряда «праздных» людей; он был и героем, и воякой, и Гедеоном, и честолюбцем, стремящимся любой ценой создать огромное царство, и даже подумывал, не стоит ли ради этого отдать дочь в жены врагу Ягве. Все это было не так просто, как казалось Кетуру. Все было завязано в тугой узел.

Его тянуло выговориться перед Кeturой, обсудить с ней терзавшие его сомнения. И давно уже мучило, что он скрыл от жены свой разговор с Нахашем. Но он опасался повторить еще раз слова, сказанные им Нахашу. Они не были твердым обещанием, скорее лишь намеком на обещание; при повторении они стали бы определеннее, возымели бы большую власть над ним и прогневили Ягве. Так что лучше уж все это темное и туманное запереть в собственном сердце.

Он ответил жене, и в голосе его не было обычной радостной решимости:

— Ты говоришь, Кетура: я в мире с Аммоном. Но только до следующей весны. Ведь я — военачальник Ягве. Если Аммон пойдет войной на моего Бога, перемирие кончится.

Кетура испугалась. Но тут же решила: он просто хочет ее поддразнить, иногда он любил это делать. И спросила, смеясь:

— Не слишком ли ты строг к себе, Иеффай? Где бы Ягве нашел лучшего воина? Вы оба верны друг другу — ты и твой Бог. Ты освободил его город Массифу, а он заставил священника и эту женщину признать тебя полноправным сыном твоего отца и меня — первой женщиной твоего народа.

Он видел, что она в самом деле верит, будто он хитростью и кровью приобрел могущество в земле Тов и в Васане

только для того, чтобы унизить своих братьев и возвысить Кетуру над Зильпой! Он слушал ее, едва удерживаясь от улыбки. Но потом его вдруг пронзила мысль: а ведь это и впрямь долгое время было его целью. И тут понял, как сильно сам изменился. Того Иеффая, который жаждал лишь отомстить своим недругам в Массифе, больше не существовало. Теперешний Иеффай стремился основать свое царство.

Кетура почувствовала, что мысли Иеффая далеки от нее; вероятно, она догадалась, что происходило в его душе. Все еще полушутя, но уже не без робости, она спросила:

— Или теперь ты жаждешь большего? Хочешь стать повелителем четырех стран света?

Иеффай вдруг посерьезнел и ответил скорее своим мыслям, чем ей:

— Не знаю. Мне было хорошо, когда я услышал твой пронзительный крик в поле у Маханаима. Мне было хорошо, когда мы вместе охотились и отдыхали в дикой земле Тов. Мне было хорошо, когда мы стояли рука об руку на вершине Хермона. Но вчерашнее солнце зашло. А сегодняшнее еще за горами.

10

К Иеффаю прибыло посольство царя Нахаша. Пышная процессия выглядела весьма странно среди дикой природы. Послы привезли с собой дары — оружие для Иеффая, ткани и пряности для Кетуры, музыкальные инструменты для Иаалы.

Послание царя гласило: «Так говорит Нахаш, царь Аммона, Иеффаю, судье Галаада. В городе Елеалехе мы условились, что ты в течение года скажешь, что будет между Аммоном и Галаадом: дружба или вражда. Ночи становятся длиннее, вскоре наступит зима, а за ней весна — время, когда цари выступают в поход. Итак, скажи мне, Иеффай, сын Галаада, что будет между нами: общность шатра и циновки или же острие меча».

Иеффай выслушал послание с приветливым лицом и смятенной душой. Хотя по договору он не был обязан давать ответ до весны, требование царя было оправданно. Если мир не будет продлен, Нахашу придется еще до зимы заключить союз с Моавом и Васаном, дабы к весне собрать сильное войско. Глава посольства с напускным простодушием признался Иеффаю, что ему велено вернуться в Раб-

бат-Аммон с ясным заверением судьи в дружбе, а еще лучше — с его дочерью; если же судья предпочтет довериться мечу, то послу следует ехать дальше, к царю Авиру в Васан. Иеффай наигранно-шутливо возразил:

— Здесь, в земле Тов, я не судья Галаада, а главарь отряда «праздных» людей. И война, естественно, прельщает меня больше, чем мир. Однако побудь моим гостем три дня. Твой царь приятен моему сердцу, и я скажу об этом своему мечу, если он начнет излишне меня соблазнять.

Иеффай раздосадовало, что его люди слишком удивились прибытию посольства. В Массифе тоже наверняка о нем прослышали; столь пышная процессия не могла остаться незамеченной. Но больше всего угнетала Иеффай мысль, что он все еще не сказал Кетуре и Иаале о своем разговоре с Нахашем.

В скупых словах он наконец сообщил Кетуре, что царь Нахаш сватает за Иаалу своего сына.

Серые глаза Кетуры расширились от изумления и восторга. К ее дочери сватается сын царя Аммона, избранник Милхома!

Сначала Иеффай вообще не понял, чему она рада. Потом понял и сразу помрачнел. Долгие годы Кетура без единого слова догадывалась о любом движении его души; она думала его думы и тревожилась его тревогами. Теперь же она была так ослеплена, что не видела, какие чудовищные беды обрушатся на них всех, если они породнятся с Нахашем.

Он попытался осторожно ей объяснить, что такое родство неминуемо приведет к войне — внутри Галаада, а возможно, и со всеми остальными коленами Израиля. Она выслушала его, но не поверила и, отмахнувшись от его сомнений узкой сильной рукой, сказала:

— Ну и пусть. Разве ты не справился с сыновьями Зильпы и коленом Галаад, причем в одиночку?

Он понял, что ее боги преграждают ему доступ к ее душе, и не стал продолжать разговор.

Иеффай пошел к Иаале. Он не раз видел, как она по-детски восторгалась лирой, подаренной ей аммонитянами. И попросил ее поиграть ему одному где-нибудь на лесной прогалине. Иаала была рада и польщена. И они тут же отправились в лес. По дороге Иаала на все лады расхваливала новую лиру:

— Какой бесценный дар прислал нам царь Аммона, — сказала она. — Он по достоинству оценил твоё величие, мой отец и господин, и склоняется пред тобой и нашим Богом.

Иеффай был тронут. Иаала искренне верила, что дары царя — не что иное, как знак смиренной дружбы. Ей, наивной девочке, не приходило в голову, что за словами и поступками людей могут скрываться своекорыстные цели.

Дойдя до прогалины, они уселись на двух соседних пнях лицом друг к другу. Иаала весело болтала о том, что по-падалось ей на глаза:

— Есть ли у муравьев судьи? Ведь у них так много всяких забот и дел! И как их судью отличить от остальных муравьев?

Иеффай никогда об этом не думал. Он и о собственных-то судейских обязанностях не очень думал. И стремился к этой должности лишь потому, что она прибавляла к его собственной силе силу других людей.

Иаала продолжала весело болтать, но он ее едва слушал. Он вспоминал, какого страху натерпелся, когда она заблудилась в горах. Как же будет он тосковать, если отдаст ее аммонитянам! И заранее проникался неприязнью к этому принцу Меше.

Наконец он собрался с духом. Надо ей все сказать. И с вымученной улыбкой спросил:

— Хочешь, чтобы я послал тебя к царю, который подарил тебе лиру?

Иаала не поняла.

— Отец хочет отослать меня прочь? — спросила она.

— Вовсе нет, — осторожно ответил Иеффай. — Я хотел лишь спросить, доставит ли тебе радость поездка к царю в Раббат.

Иаала задумалась. И вдруг просияла.

— Поняла наконец! — воскликнула она. — Когда Ягве с победой вступит в Раббат, ты возьмешь меня с собой.

Ее наивность и чистота заставили Иеффая устыдиться своей неуклюжей уловки. И его охватил ужас при мысли, на какой страшный душевный разлад обрек бы он Иаалу, обручив ее с принцем Аммона. Его и самого не отпускала тревога: не приведет ли это замужество к разрыву с Ягве? Ведь Иаала почитала бога более рьяно, чем он сам, она любила его всей своей чистой душой, — каково же ей будет? Может, ему удастся уговорить Нахаша, и тот разрешит ей и впредь поклоняться Ягве? Но вокруг нее все будут перед трапезой молиться Милхому, будут возносить ему жертвоприношения, ведь в Аммоне не кто иной, как Милхом, раздает милости и проклятья. Как ей найти свой путь между двумя богами? И он, Иеффай, своими безумными метаниями из стороны в сторону сам повергает свое дитя в душевную

смуту. Сначала он воспитал дочь в строгом служении Ягве, чтобы она не пошла по стопам своей матери-аммонитянки, с этой целью даже дал ее Мериваалу имя Емин, а теперь, несчастный, хочет посвятить ее Милхому!

Как легко он вновь и вновь поддается безумным мечтам! Нет, он и не думал отдать свою дочь Нахашу. Он хотел лишь добиться отсрочки. Он останется верен Ягве и будет воевать с Аммоном.

Но, с другой стороны, оба царства, власть над которыми однажды перейдет к наследнику Нахаша, сами идут к нему в руки. Должен ли он отказаться? Должен ли отказаться от своего восточного царства? И разве не для того он пришел сюда, чтобы выведать, что происходит в душе дочери?

И, продолжая мучить себя и дочь, он сказал:

— Может быть, не Ягве, а дочь Иеффая с победой вступит в Раббат.

Он поперхнулся. Подло было с его стороны произносить эти лживые слова перед чистой и правдивой Иаалой. А она изо всех сил старалась понять смысл его слов, потом сдалась и сказала, с радостной преданностью глядя ему в глаза:

— Что бы ни сделал мой отец — все будет правильно. — И тут же, без всякого перехода, по-детски весело спросила: — А Емину можно будет поехать туда со мной?

Иеффай, вновь бдительно взвешивая каждое слово, ответил:

— Да, ты сможешь взять его с собой. Но ему придется принять нелегкое решение: сделать выбор между мной и тобой.

Иаала испуганно вздрогнула:

— А разве тебя не будет с нами?

— Конечно, я буду с вами, — ответил Иеффай. — И потом я тоже часто буду с вами, но всегда недолго. Ведь если мы поедем в Раббат, то страна Аммон впредь будет твоей родиной, и дом принца Аммона — твоим домом. Но Емина я могу отдать тебе, если ты пожелаешь.

Побледнев как полотно, Иаала произнесла:

— Но тебя не будет со мной.

И Иеффай понял, что именно он хотел выведать. Хоть Иаала и дружила с молодым человеком — своим спасителем, все же он был для нее не больше, чем просто приятель. А вот его, своего отца, она действительно любила. И из любви к нему сделает все, что он потребует, и поедет в Аммон, если он так порешит. И Ягве может забыть, но его, Иеффая, она никогда не забудет.

С деланной веселостью он напомнил, для чего они сюда пришли: чтобы она ему поиграла на новой лире. Иеффаю очень хотелось еще раз услышать ту песнь, которую Иаала пела, когда его возводили в судьи. Зардевшись от радости, Иаала возразила — она, мол, не знает, придут ли ей на память те же слова, но что-то похожее она сможет придумать. И тут же запела: «Дай Бог силу Иеффаю, судье Иеффаю! Милость Ягве с нами, раз он молодого возвышает над старыми. Гнев Ягве горит в глазах Иеффая, когда он гневается. Благоволение Ягве сияет на его лице, когда он благоволит. Дай Бог силу Иеффаю, новому судье! Его имя значит: «Ягве открывает путь». И песнь моя несется над лесом и холмами: Иеффай! Ягве открывает тебе путь!»

Когда Иеффай по-настоящему понял, что значат слова этой песни, он даже растерялся. Иаала, наивная Иаала, больше знала об источнике его силы и успеха, чем он сам. Она любила в нем любимца Бога. Не отделяла его от Ягве. И говоря «Иеффай», имела в виду «Ягве». А он, отец этой ясновидицы, этой пророчицы, собирался предать Ягве! Ибо теперь он осознал с мучительной ясностью: то, к чему он стремился, было слиянием Галаада с врагами Ягве. Если он заключит союз с Аммоном, Галаад растворится в чужом народе; Ягве станет одним из множества богов, и он, Иеффай,— уже не израильтянином, а одним из разнородных евреев, населяющих земли к востоку от Иордана. Зильпа и ее сыновья будут иметь все основания его обвинять: он и впрямь будет человеком, предавшим свой род, свой народ, своего Бога.

А его девочка тем временем сделала свой вывод.

— Если я принесу пользу моему отцу, отправившись в Аммон,— сказала она решительно, серьезно и радостно,— то буду счастлива. Без отца я ничто. Но если я вхожу в его планы, я становлюсь частью его самого.

Ее смиренная преданность еще больше смутила его душу. Не мог он ее лишиться. Лишившись ее, он лишился бы благоволения Ягве. Значит, он пойдет войной на царя Нахаша.

И все же не мог отказаться от мечты о восточном царстве. И вяло сказал:

— Пока еще ничего не решено, моя девочка.

Посланцев Аммона он отпустил со словами столь же дружественными, сколь и двусмысленными: «Так говорит Иеффай, покровитель западного Васана, Нахашу, великому царю Аммона, своему другу: я далек от мысли ответить тебе «нет». Но дай мне еще время подумать, прежде чем сказать

«да» и послать к тебе мою дочь. Я должен найти приятные для слуха моего Бога слова, дабы он смягчился и успокоился и дабы его гнев не обрушился на меня и на все восточные земли».

Глава посольства внимательно выслушал его, долго думал, потом вежливо поблагодарил и поцеловал его в бороду. Казалось, он был удовлетворен. Да и отправилось посольство на юг, то есть обратно в Раббат.

Однако спустя три дня Иеффай получил известие, что посланцы Нахаша повернули на север и направились в столицу Васана Едрею.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Когда священник Авиям узнал о посольстве царя Нахаша к Иеффаю, его подозрительность возросла. Почем знать, какими новыми уступками сыновьям Аммона этот двуличный человек задумал купить продление мира. Старик решил воспрепятствовать новому предательству Бога. Война необходима, и если Аммон нашел могущественных союзников, то и Иеффаю придется где-то искать подмогу.

Правда, действенную помощь мог оказать лишь западный Израиль, а именно — колено Ефремово, но обращаться к Ефрему за помощью было противно любому сыну Галаада. Когда Ефрем был в беде, братское колено Галаад отвернулось от него, Ефрем одержал великую победу без него и не забыл об этом. Но Иеффай не имел права уступить Аммону новые земли. Так что придется ему подавить свою гордость и скрепя сердце отправиться за подмогой на тот берег Иордана. Причем сделать это надо вовремя, как можно скорее, теперь же. Заручиться помощью Ефрема необходимо прежде, чем наступит зима.

Но священник не имел возможности уговаривать и предостерегать Иеффая. Того просто не было в Массифе, он не исполнял обязанностей судьи, должности которого добивался так нагло, и отсиживался у себя на севере, избегая наставлений и советов священника. Авиям отправил к нему гонца с посланием, в котором перечислил множество срочных дел, требовавших присутствия судьи в Массифе. Иеффай дал уклончивый ответ и остался на севере.

Поскольку Иеффай не явился, Авиям решил самолично отправиться к нему. Поездка была трудна для него, да и унижительно первосвященнику бегать за этим гордецом. Но Авиям был вынужден взять это на себя.

Иеффая чрезвычайно раздосадовала весть о его предстоящем приезде. Он все еще не оставил мысль заключить союз с Аммоном. Правда, в глубине души понимал, что этого не сделает: просто не сможет пожертвовать Иаалой. Кроме того, и Ягве, и весь Галаад хотели воевать, да и сам он втайне от себя самого жаждал того же. При этом он ясно сознавал, что не сможет один победить союзников. Но все его существо восставало против того, чтобы обратиться за помощью к западным израильтянам, к колену Ефремову. А теперь придет этот священник и начнет заклинать его именем Ягве и взывать к его здравому смыслу, дабы склонить к унижению. Иеффай заранее ожесточился.

Священник приехал. Он стоял перед Иеффаем, опираясь на свой посох,— слабый, дряхлый старик с огромной головой на шуплом теле; но из-под густых, сросшихся бровей глаза его сверкали властно и гневно.

Авиям сказал:

— Дом Ягве и каменный престол судьи в Массифе находятся близко друг от друга, но уже много месяцев не видел я там судьи.

Иеффай ответил с вызовом:

— Разве ты не отказался помазать елеем мой лоб? Не ты возвел меня на судейский престол, я сделал это сам. Так что сам и решу, в чем состоит мой долг.

Старик опустил на цинковку.

— Я пришел к тебе не затем, чтобы ссориться, сын мой,— сказал он устало.— Я пришел, чтобы приблизить час, когда Ягве разрешит мне помазать тебя елеем. И с нетерпением жду весны, войны и твоей победы над Аммоном.

Иеффай холодно отрезал:

— Дело военачальника определять лучшее время для начала войны. И я не обязан отчитываться перед тобой. Но понимаю твою тревогу, что твою старость и потому изложу тебе свой план. Аммон очень силен, ему помогает Моав, а весной он получит еще и помощь Васана. Я не хочу вести войну со столь неравными силами. И стремлюсь так увеличить свое могущество здесь, на севере, чтобы царь Нахаш в следующем году счел разумным продлить перемирие.

— Но мне сказали,— живо возразил Авиям,— что ты уже теперь ведешь с ним переговоры. Не собираешься ли отдать ему новые уделы Галаада? Ты все еще не понял, что

мы не должны заключать никаких союзов с Аммоном? Пустыня со всех сторон вторгается в земли аммонитян, они — лишь гости в оседлой стране, их родиной остается пустыня. Они жаждут того хаоса, который у них зовется свободой. Нам же Ягве завещал осесть на земле, засеять ее и остаться на ней навсегда. Мы не должны связываться с теми, кто хочет увлечь нас обратно в пустыню. Мы обязаны провести между нами и ими четкие границы. И так уже слишком многие из нас впустили в свою душу ложного бога Милхома. Боюсь, что и ты не полностью вырвал его из своего сердца. Разве не понимаешь сам, что ослабишь изнутри Галаад, если будешь продолжать переговоры с Аммоном? Ягве — бог ревнивый, терпение его вскоре лопнет. Выгони наконец Милхома из наших пределов! Начни войну с Аммоном! Этого хочет Ягве!

Иеффай смотрел на старика, говорившего эти слова, и все его раздражало — и жалкое его тело, и огромная голова, и пылающие гневом глаза, и пронзительный повелительный голос. Жажда власти, владевшая старцем, лишь разожгла его собственное властолюбие. Злобно и насмешливо он бросил тому в лицо:

— Ягве ли? Этого хочешь ты!

Старик с трудом поднялся. Он сделал над собой усилие, чтобы спокойно сообщить то, ради чего приехал. Иеффай понял это и внутренне напрягся. Он представил себе это дряхлое тело, скрытое под множеством просторных одежд, и не ощутил никакой жалости. Да разве может родиться что-то толковое в голове, сидящей на столь жалком туловище, каким бы мудрым, проницательным и сильным ни казался ее обладатель?

Но тут Авиям вновь заговорил:

— Ты прекрасно знаешь, что тебе должно делать, и не хочешь этого знать. Так что я скажу тебе это четко и ясно. Раз ты не чувствуешь себя достаточно сильным для войны с Аммоном, найди хорошего союзника. Иди на тот берег Иордана. Иди в Шилом, столицу колена Ефремова. Требуй помощи.

Старик говорил деловым тоном, так что и Иеффая пришлось отвечать спокойно. Он искал такие слова, которые звучали бы сухо, но очень обидно. И нашел:

— Если Ягве велит нам начинать войну, то войско должен возглавить не военачальник Ефрема, а я. Я один. Идя навстречу твоим пожеланиям, я буду сговорчив. Если Ефрем предложит мне свою помощь, я ее приму. Только ради тебя, старик.

Это было сущим издевательством.

— Иеффай, Иеффай! — взмолился Авиям. — Подумай только: если бы ты был на месте Тахана, военачальника ефремлян, предложил бы ты непрошеную помощь народу, который в решающий час отвернулся от тебя?

Иеффай ответил надменной ложью:

— Тахан скорее всего не предложит, для этого он слишком высокомерен. А я, Иеффай, горд. Я бы предложил.

Растерявшись от такой наглости, священник во второй раз взмолился, уже тихо и проникновенно:

— Иеффай, иди в Шилом, попроси помощи!

Тут вся злость, бурлившая в Иеффаете, вырвалась наружу.

— Никогда, никогда, никогда! — завопил он.

Сразу обессилев, Авиям проронил едва слышно:

— Раз ты не хочешь переломить свою неумную гордость, я сам пойду в Шилом и попрошу их первосвященника помочь нам.

Иеффай возразил:

— Этого я не могу тебе запретить. Но запрещаю говорить от моего имени. И помни: войны все равно не будет. Ни царь Нахаш не хочет войны, ни я ее не хочу. Тем более в союзе с Ефремом.

Священник двинулся к выходу.

— Боюсь, что ты исчерпал терпение Ягве, — бросил он на ходу.

Иеффай остался доволен собой, он счел, что был в своем праве. Такой, как он, не станет унижаться перед Ефремом. Такой, как он, не станет подчиняться священнику. Если кто и свяжет его по рукам и ногам, то только он сам.

2

В городе Афеке появился странствующий певец — один из тех певцов, что в хорошее время года скитаются по стране. Почти все они были родом с запада, из-за Иордана, в большинстве своем ефремляне. Ефремляне очень гордились тем, что из их колена вышли самые знаменитые герои Израиля — Иошуа и Девора; они любили высмеивать ленивых и трусливых земледельцев — галаадитян, отсидевшихся дома, когда на Ефрем напал сильный враг. Галаадитяне в свою очередь мстили ефремлянам, насмехаясь над их чванством. Смеялись они главным образом над сложными именами, которые главы семейств Ефрема люби-

ли себе присваивать: к имени отца они добавляли и имя деда, и название рода, удела и колена: не скажут просто «Абиил», а скажут: «сын Бехора, Афии и Авиезера». И только певцов из этого колена любили и к востоку от Иордана. А этот певец по имени Иашар, считался одним из лучших. Жители Афека прощали ему, что он ефремлянин.

Иашар пел во всех семи городах Иеффая. Пел он о деяниях Ягве и его героях старого и нового времени. Слушая его, люди думали о войне, на которую пойдут весной, и песни западали им в душу. В городе Голан Пар услышал певца и подумал, что его песни наверное воодушевят Иеффая и его воинов. Он уговорил Иашара отправиться к Иеффаю.

Люди в лагере обрадовались певцу. Иаала просто сияла от восторга. Но сам Иеффай приветствовал певца с двойственным чувством. Он любил певцов, ему нравились их воинственные песни, но человек, пришедший к нему, был ефремлянин, и Иеффай воспринял это как плохое предзнаменование. И когда Иашар, ни о чем не подозревая, сказал, что его пригласил в землю Тов помощник Иеффая Пар, Иеффай был задет вдвойне. Значит, и его ближайший друг считал само собой разумеющимся, что Иеффай пойдет войной на Аммон в содружестве с Ефремом. Он насмешливо спросил певца, много ли у него имен, и изобразил удивление, услышав, что у того всего четыре имени; потом, не без тайного коварства, осведомился о здоровье Тахана, военачальника Ефрема. Певец, человек уже пожилой, сделал вид, что не заметил насмешки, и отвечал на все вопросы охотно и доброжелательно. Досадуя на себя, Иеффай пригласил певца к столу, как полагалось по обычаю.

После трапезы Иашар запел.

Лагерь Иеффая был разбит в горной долине, кругом высились поросшие кустарником склоны, желтый серп месяца плыл по ночному небу; острый глаз мог вдали различить мерцающую белизной вершину Хермона. Люди — их было человек двадцать или тридцать — уселись в кружок вокруг Иашара, и тот начал нараспев повествовать о деяниях Ягве на благо праотцев и нынешних израильтян. Бог вел их по пустыне, являясь им то в виде огненного столпа, то в образе грозовой тучи. Он милостиво говорил с ними, но иногда, если был не в духе, метал громы и молнии. Он по-своему играл с ними и часто дразнил. Водил их то туда, то сюда по многим дорогам, привел, например, в Египет, где возвысил праотца Иосифа. Потом допустил, что один из фараонов обратил их в рабство, но вскоре сжалился над ними и вывел из враждебной к ним страны. Египтяне бро-

сились их преследовать, но Ягве, большой любитель изощренных шуток, развел воды морские перед израильтянами, а потом вновь сомкнул их над преследователями, и все они — и воины, и лошади вместе с колесницами — потонули в морской пучине.

После этого Бог решил сделать оседлым излюбленный свой народ. Для этого он выбрал долину Иордана, завещал ее им и велел вторгнуться в ее пределы. Но там почти безоружные израильтяне наткнулись на амореев — великанов с оружием из железа, на лошадях и колесницах, воинов, разрушавших все, что встречалось им на пути. Иашар красочно описывал мощь аморейского войска и могущество царя Сигона, победившего и Моав, и Аммон. Но чего стоило это могущество, когда на него напали дети Израиля, ведомые своим Богом? Певец пел: «Но тут пришли мы, сыны Ягве, и что осталось от царя Сигона? Если кому охота, пусть пойдет в его столицу Хешбон и поглядит, что от нее осталось! Огромный столп пламени вырвался из Хешбона и сожрал далеко вокруг селения царя Сигона и поглотил его города. Мы сровняли их с землей, дабы никто не мог их восстановить, опустошили всю страну и сожгли все дома и поля». Слова его песен дышали дикой силой, в них пылало пламя огненного бога Ягве, ведущего на бой свой народ и внушающего страх его врагам.

У воинов, слушавших певца, учащалось дыхание, мысленно они уже осматривали свое оружие, натягивали тетиву луков, точили мечи, а женщины мечтали, как они уже сами, своими песнями, будут воодушевлять мужчин на борьбу. Иеффай же думал о городе Елеалехе, который галаадитяне в те времена построили взамен разрушенного Хешбона и который ныне царь Нахаш так же разрушил до основания, как в свое время израильтяне разрушили тот, другой город. Однако Нахаш вернул ему, Иеффаю, завоеванный город в знак примирения, как еврей еврею; и против такого царя должен Иеффай воевать?

Старый певец заметил, что Иеффай сидит, погруженный в свои думы, что песня не захватила его так, как остальных. И решил спеть другую, еще более воинственную. Таких песен он знал множество, например, песню о кровавой мести Ламеха или о бесконечной войне с коварными амаликитянами. Но самой сильной и знаменитой, самой прекрасной и воинственной из всех песен, передававшихся из уст в уста многими поколениями в долине Иордана, была песня о великой победе израильтян под водительством пророчицы Деворы. Правда, та победа была

одержана именно в той войне, когда Галаад предал другие колена, и галаадитяне вряд ли с большой охотой стали бы слушать о своем давнем позоре, так что Иашар на востоке от Иордана до сих пор никогда не пел эту песню. Но Иеффай задел его самолюбие, прсмевшись над его родом, и теперь сидит с отсутствующим видом, и пение Иашара его как будто не трогает; а сам стоит на пороге войны, в которой ему без помощи Ефрема не обойтись. Все это задело певца. Ему уже давно хотелось спеть о Деворе, и стоило больших усилий удержаться; поглядим, останется ли этот судья Галаада столь же глух и безразличен к лучшей из песен Иашара.

Иашар ударил по струнам и запел песнь о Деворе. Сначала он пел о том, как цари ханаанские угнетали народ Израиля. В ту пору жизнь в стране замерла, крестьяне не сеяли и не убирали урожай, люди боялись выйти на большую дорогу и крадучись пробирались по боковым тропам. Сорок тысяч мужчин, способных носить оружие, было тогда в Израиле, но нигде не было видно ни щита, ни копья. Отцы семейств лениво нежились на одеялах, ходили по толстым коврам, ездили на белых ослицах, и сердца их были полны желтого страха.

«Но тут восстала Девора — пророчица, мать в Израиле. Она поставила Варака во главе войска и разослала гонцов по всей стране. Затрубили на рыночных площадях трубы, затрубили рога у колодцев и водопоев. И мужчины Израиля слышали ее зов и взяли в руки копья. И все — и князья, и всадники, и главы родов, и простые крестьяне, кто с легким, кто с тяжелым оружием, — спустились в долину. Тут были люди всех родов — и Ефремова, и Вениаминова, и Махирова, и Неффалимова. Только мужчины колена Рувимова никак не могли решиться — так и остались сидеть у своих овчарен и слушать блеяние стад. Галаад тоже остался на своем берегу Иордана, предаваясь ленивым думам и трусливым сомненьям.

И пришли цари ханаанские, и грянул бой в Таанахе и у вод Мегиддонских. Ни серебра не добыли они в бою, ни рабов. Ягве пришел на помощь своему народу. С горы Сеир обрушился он на врагов всей своей мощью, и земля затряслась, а небо дрогнуло, и тучи пролились потоками вод, и горы закачались пред ликом Ягве. И было утро, но в небе стояли звезды, и звезды сражались против Ханаана. Река Киссон вздулась и вспенилась и тоже сражалась против хананеев: она унесла ханаанских воинов и потопила их в своих водах. И утонуло все войско ханаанское. Остался от

него лишь топот разбегающихся коней и их ржание; всадников на них уже не было.

И бежал с поля боя Сисара, военачальник хананеев, и пришел пеший к шатрам кочевников кенеев, и укрылся в шатре одной жены. Да будет благословенна Иаиль, благословенно имя ее среди жен. Сисара попросил у нее воды напиться, она подала ему молока, лучшего, цельного молока в дорогой чаше.

— Зайди, — сказала она, — отдохни, не бойся.

И он лег. Иаиль взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. И вот он лежал у ее ног; где лег отдохнуть, там лежал теперь мертвый.

А мать Сисары в окно высматривает сына и вопит сквозь решетку:

— Что долго не вижу колесницы его? Не слышу топота его коней?

Умные из ее женщин утешают ее, говоря:

— Делят, верно, добычу, много ее у них. По девице, по две девицы на каждого воина, разноцветная драгоценная одежда Сисаре, два или три дорогих, вышитых с обеих сторон платка нашей госпоже на шею.

Так да погибнут все твои враги, Господи!»

Люди Иеффая, мужчины и женщины, слышали эти слова. Стыд жег их сердца: Галаад трусливо сидел дома в час беды; но вскоре радостный восторг перед кровавым величием Ягве вытеснил этот стыд. Не в силах больше сидеть, они вскочили на ноги, опьяненные и охваченные азартом битвы. Они подпевали и повторяли за певцом слова песни, живописующие великолепие и ужас этой битвы, и хором вторили звукам, воспроизводившим топот и ржание испуганных коней.

Емин внимательно слушал певца. Он был счастлив вдвойне: и сидел рядом с теми, кого почитал больше всех на свете — Иеффаем и Иаалой, — и предвкушал радость предстоящих сражений. В мыслях он уже отдавал приказы отряду, подражая низкому голосу Иеффая, и несясь вперед на колеснице, выставив вперед подбородок, как Иеффай.

Кетура тоже слушала певца. Даже она поддавалась настроению песни, хоть и чувствовала, что смысл ее отнимает у нее Иеффая ради ужасной войны — войны против ее бога Милхома. Но она и сама против воли упивалась блаженным восторгом битвы.

Иаала слушала певца по-своему. Песня во славу Деворы для нее была хвалебной песней отцу. Образ ее отца — вот

он сидит на судейском престоле, вот он властелином шагает по дикой земле Тов, вот он поражает врагов на поле боя,— и образ Бога, в громе и грохоте вселяющего страх в сердца вражеских воинов и безумный ужас в могучие тела коней, в ее голове сливались в один образ, сияющий и великолепный. Песня звала, влекла, гнала куда-то. Иаала пела вместе со всеми, вскрикивала и, охваченная безумным восторгом, кружилась на месте и притопывала ногами.

Безумие охватило и всех остальных. Бормоча что-то бессвязное, они сорвались с мест и закружились в дикой пляске, как одержимые. Наконец кто-то из них пронзительно вскрикнул: «Не желаем больше здесь сидеть! Хотим воевать с Аммоном! Веди нас, Иеффай!» Другой голос подхватил этот выкрик, все подхватили его, даже женщины и дети, и поляна, где они сидели, и леса вокруг нее огласились восторженным ревом: «Веди нас на Аммон, Иеффай!» Лес ожил, потревоженные птицы загомонили, разбуженные звери влились в общий хор, и вся земля Тов загремела: «Веди нас на Аммон, Иеффай!»

Поначалу Иеффай не поддавался песне. Он не хотел, чтобы его одурманили красивыми словами, тем более — прославляющими Ефрем, он не хотел, чтобы воинственный угар заглушил в нем голос рассудка. Но он видел, что творится с его девочкой, с его Иаалой: в нее вселился дух Ягве, она была одержима Богом, ее голосом Бог взывал к нему, Иеффаю. Бурный, неудержимый поток нежности захлестнул его душу, и он слился воедино со своей дочерью, став с ней одним существом.

А певец все пел, он пел о том, как Иаиль убивает Сисару колом от шатра. Иаиль и Иаала, дикая коза и газель, близкие родственницы. Иаала мягче, голос ее мелодичнее, но суть у обеих та же. Иеффай чувствовал, как глохнет в нем голос холодного рассудка, как в мозгу роятся, сменяя друг друга, смутные и тревожные мысли. Разве Иаиль и Иаала — одно и то же? Он ужаснулся. Разве Иаала может вонзить острый кол в висок Меше?

А певец все пел, теперь уже о другом. Смутные мысли рассеялись, и Иеффай, как и все, отдался наслаждению воинственной песней. Всей душой прочувствовал он жестокую радость битвы, сам наносил удары направо и налево и косил врагов, ощущая себя Гедеоном, воителем Господа, его рукой и мечом. И в этот миг он явственно услышал голос Ягве, взывающий к нему: «Бей их, бей! Я благословляю твой меч!»

«Веди нас на Аммон, Иеффай!» — гремело вокруг. Он стоял в гуще вопящих людей, слегка набывчившись, и растерянно улыбался, открывая в улыбке два ряда белоснежных зубов. В душе у него пело: «Вы говорите то, чего я жажду всем сердцем». Он был очень одинок в последнее время, ему не с кем было поделиться тревогами и сомнениями, он испытывал холод этого одиночества; и вот теперь он вновь слился со своим отрядом и своим народом. Он был и восхищен искусством певца, и благодарен ему: тот выразил чувства, наполнявшие его собственное сердце.

Однако ночью здравый рассудок и сомнения вновь вернулись к нему. Выбор все еще оставался за ним, он не хотел поддаваться порыву — порыв может быть обманчив. Разве пристало ему вторить наглым насмешкам, коими осыпал его певец из Ефрема? Не таков Иеффай, чтобы его одурачили с помощью лиры и старинной песни. «Разве мы все не евреи?» — услышал он вдруг умный и дружелюбный голос царя Нахаша и почувствовал, что царь этот близок ему как брат, ближе, чем сводные братья.

Но потом в нем вновь зазвучали слова песни и общий крик: «Веди нас на Аммон, Иеффай!» Сон бежал его. В нем звучали попеременно то слова песни и этот крик, то трезвый и ясный голос разума.

На следующее утро он подарил певцу Иашару красивый кубок и одеяло и сказал:

— А теперь уходи из моего дома, да побыстрее. Ты — великий певец, и твоя песня задела меня за живое. Но ты пел о позоре моего народа. И если еще удержишься здесь, я так ударю тебя, что борода твоя станет красной от крови.

3

Авиям лежал на циновке в темном, душном и сыром доме Ягве. После утомительного пути он чувствовал себя больным и разбитым и хмуро предоставил себя почтительным заботам Самегара.

Вновь и вновь обдумывал он результаты своей поездки. Он ожидал, что встретит сопротивление, но не мог предвидеть, что Иеффай будет так нагло держаться за кощунственный союз с Аммоном. И лишь святотатственные речи этого человека заставили его решиться самому пойти на поклон к ефремлянам.

Чем дольше он думал, тем более тяжким казался ему этот план. Молить о помощи первосвященника города Ши-

лом, высокомерного Елеада, своего заклятого врага! Ведь священники в Шиломе — а с ними, к сожалению, и весь западный Израиль — смеялись над его, Авияма, святыней. Они не признавали здешнюю скинию Ягве и бахвалились, что подлинный Ковчег Завета находится у них — тот самый, который сопровождал детей Израиля в их странствиях по степи и пустыне. На самом деле ларец в Шиломе был поддельный, а подлинный, принадлежавший роду Иосифа, находился в Массифе, у Авияма. И теперь хранителю этого Ковчега приходится идти на поклон в Шилом!

Время торопило. Авиям был вынужден немедленно тронуться в путь. Если он хотел помешать Иеффая возобновить опасный союз с Аммоном, Авиям должен был еще до наступления зимы обеспечить ему помощь Ефрема. Однако он чувствовал, что на второе тяжелое путешествие сил у него не хватит. Придется поручить столь щекотливое дело кому-то другому. Кому он мог доверять, кто годился на роль гонца? Им должен быть человек уважаемый и безгранично преданный ему лично. Выбор Авияма пал на бывшего судью, сына судьи Галаада, образованного, простодушного и ревностно верующего Самегара.

Авиям заставил Самегара выучить наизусть текст послания. Велел обрисовать первосвященнику Шилома тяжелое положение Галаада, но помощи не просить. Главную часть послания — просьбу выставить в помощь Галааду ополчение — Авиям хотел изложить сам. Он взял глиняную таблицу и стал писать. Он обращался к Елеаду как священник к священнику, откровенно признавался в трудностях, вызванных своеволием Иеффая, и просил у мудрого своего брата совета и помощи. Дряхлой рукой Авиям медленно наносил на таблицу знаки, потом перечел написанное, вздохнул, дрожащими пальцами свернул трубочкой и запечатал.

Самегар отправился в путь. Ехал он на белой ослице, и сопровождал его только один слуга. Переправившись через Иордан, он добрался до Шилома и пробыл там три дня. Авиям наказал ему не задерживаться, так что вскоре он, пораженный всем увиденным в Шиломе, вернулся в Массифу с запечатанным посланием от первосвященника Елеада.

Не желая показать, что ждет ответа с тревогой и страхом, Авиям заставил себя сначала выслушать длинный отчет Самегара о поездке. А тот захлеб рассказывал про множество исписанных табличек, плоских и свернутых трубочкой, которыми владели священники в Шиломе, про их

удивительно обширные познания о прошлом отцов и праотцов. Покончив с этим, он стал обстоятельно излагать свое впечатление о тамошнем первосвященнике. Человек он высокоученый, быстрого ума, и вопросы задавал очень толковые, но, как Самегар уловил из его изысканно вежливых фраз, нет в нем истинного благочестия и смирения перед Господом.

Наконец Самегар ушел, и Авиям остался один. Дрожащими от нетерпения пальцами он принялся разворачивать табличку с посланием. Дело это было непростое. Наконец он прочел. Елеад выражал свое сочувствие и понимание трудностей, кои создает его брату в Массифе буйная натура уважаемого судьи Иеффая. И все же было бы лучше, полагал он, если бы не священники, а военачальники, то есть Тахан и Иеффай, обсудили между собой возможность участия Ефрема в войне Галаада. Если Иеффай тотчас обратится к Тахану за помощью, тот окажет ее, причем большими силами. Если же встреча не состоится, то он, Елеад, может выставить лишь несколько сотен воинов, да и то лишь в том случае, если аммонитяне действительно будут всерьез угрожать Массифе.

Авиям тупо уставился на табличку. Горько рассмеялся. Да, у них там в Шиломе и глина хороша, и палочки для письма неплохие, и писать они умеют лучше некуда. Но то, что написано, — низость. Несколько сотен! Разве таким ничтожным посулом переломишь нежелание Иеффая воевать! Значит, и на этот раз зря унижался. И Авиям разозлился на самого себя, на Шилом, на тамошнего первосвященника. И со злости ухватился за первый попавшийся повод, чтобы хоть как-то выставить того в смешном свете. Галаадитяне любили потешаться над выговором ефремлян — те вместо «ш» произносили «с». И Авиям стал вслух перечитывать послание, передразнивая выговор Елеада, то есть произнося все «ш» как «с» и злобно веселясь. Даже название своего города не мог он правильно выговорить. «Силом, Силом! — повторял Авиям, язвительно улыбаясь. — Первосвященник Силома!»

Но потом, успокоившись и еще раз обдумав текст, он решил, что «да» в нем все же больше, чем «нет». Как ни мало обещал Ефрем, все же за долгие годы то была первая дружеская весть из западного Израиля. То было знамение свыше. Ягве смягчил сердца надменных ефремлян. Значит, Ягве хотел войны. И он, его служитель, имел право принудить строптивого военачальника ее начать.

Авиям оживился. Достоинства, которыми тот обладал от рождения — физическая сила и воинская доблесть, — с годами блекли, а пронцательный ум, которым Ягве наделил Авияма, только креп. В час беды, которую навлекла на народ Галаада и на весь Израиль двойственность Иеффа, этот дар благодатен вдвойне. И снедаемый жгучим желанием нанести Иеффаю такой удар, который сделал бы разрыв с Аммоном необратимым, он стал прикидывать, взвешивать, одобрять и отбрасывать. Большой мастер по части тайных ходов и уловок, Авиям вскоре составил план действий, смелый и хитроумный.

4

На холме Хешбон с незапамятных времен жили боги. Старых богов изгнали, пришли новые, потом и им пришлось уйти. Семь поколений назад на этом холме жил бог Милхом. Сыны Израиля, взяв приступом город, разрушили его дома. Но потом царь Нахаш захватил холм и тотчас же начал возводить новый дом для своего бога, — то святилище, защиту которого Нахаш обеспечил клятвенным договором с Иеффаем. Дом Милхома был устроен очень просто. Посреди замкнутого со всех сторон дворика стоял идол: полый столп, увенчанный изваянием быка; в столпе было две дверцы, внутри можно было разводить огонь. Царь Нахаш самолично освятил дом бога жертвенным сожжением и поручил его заботам трех священников.

Ни один израильтянин не присутствовал при жертвоприношении, с того дня прошли уже месяцы. И вдруг пополз слух, что сожгли тогда не животное, а человека, что жертвой был израильский мальчик по имени Бен Хаиль, один из тех мальчиков, которых Нахаш, захватив Елеалех, взял в плен и отправил в свою столицу.

Галаадитяне, жившие в окрестностях Хешбона, заволновались. Правда, и другим богам, издавна обитавшим на холме Хешбон, раньше приносились особые, человеческие жертвы, но только при больших несчастьях или необычайно великих победах. А царь Нахаш принес человеческую жертву, не имея на то особой причины, он сделал это из чистого озорства, чтобы только позлить и опозорить галаадитян и их бога Ягве.

И галаадитяне не захотели долее терпеть в своей стране враждебного бога, в чреве которого был сожжен мальчик Бен Хаиль. Более разумные среди них напоминали, что

Иеффай строго-настрого запретил прикасаться к чужому святилищу, он поклялся аммонитянам, что этого не произойдет. Но более рьяные возражали, что клятва его недействительна, раз Нахаш не сдержал своей. Вот и священники в Массифе того же мнения.

Темной ночью толпа разъяренных мужчин ворвалась в святилище, избила священников, обрезала им бороды, порушила стены, свалила изваяние и осквернила его. Когда взошло солнце, сторонники Милхома, созванные священниками к месту ночного разбоя, увидели святилище поруганным. Все вокруг было заляпано калом, богу Аммона и его царю нанесено нестерпимое оскорбление, договор Иеффая преступно нарушен.

Когда весть об этом событии достигла ушей Иеффая, его затрясло от злости. Благочестивые болваны разрушили все, чего он добился хитростью при переговорах с Нахашем. Жуткое подозрение зародилось в его душе. И он тотчас собрался в Массифу.

Кетура никогда не навязывала ему советов, но на этот раз осмелилась.

— Я знаю,— сказала она,— ты сделаешь все, чтобы отомстить за Милхома. Но задобрить надо не только бога, задобрить надо и царя Нахаша. Отдай ему Иаалу. Отдай немедленно.

Иеффай понимал, что Кетура права. После этого разбойного налета не было другого способа избежать войны. Но хотя он мог подавить в себе все, что восставало в нем против союза с Аммоном,— и сознание предательства своего народа, и боязнь прогневить своего покровителя Ягве, но отдать ему Иаалу он был не в силах. Пускай Нахаш приносит жертвы своему Милхому: он, Иеффай, не может принести свое дитя в жертву Богу.

Кетура не догадывалась о его душевных муках. И была уверена, что он породнится с Нахашем. За долгие годы совместной жизни она никогда еще не была так от него далека. Жалея ее, Иеффай дал уклончивое пообещание.

И тут же стремительно бросился на юг, к Хешбону. Созвал мужчин, разрушивших святилище, расспросил, как было дело. Люди они были простодушные и не чувствовали за собой никакой вины. Да, они знали о его запрете, но разве преступление, совершенное царем-идолопоклонником, не отменило этот запрет? Даже в Массифе говорили, что Милхома надо изничтожить на земле Галаада.

Иеффай поспешил в Массифу и, едва сдерживая кипящую в нем ярость в присутствии Циллы, призвал Самегара к ответу, сразу заорав:

— Это ты склонил галаадитян нарушить мой приказ! Это ты выставил меня клятвопреступником перед царем Аммона!

Самегар, удивленный не меньше хешбонских ревнителей веры, возразил:

— Что ты такое говоришь, Иеффай! Ведь Нахаш принес в жертву своему богу израильского мальчика. Как же я мог запретить людям отомстить за Ягве?

Иеффай увидел, как тонкие губы Циллы искривились в злобной усмешке, и опять накинута на Самегара:

— Вы нарочно это все подстроили! Вы готовы погубить Галаад, лишь бы разрушить то, что создано мной! Чего уставился, болван безмозглый! — заорал он и ударил Самегара в лицо. Цилла пронзительно взвизгнула, и Иеффай повернулся к выходу.

— Ты даже не понимаешь, что натворил, — бросил он на ходу.

В Массифу прибыли гонцы Аммона. Послание, которое они привезли, гласило: «Так говорит Нахаш, царь Аммона, Иеффаю, судье Галаада, клятвопреступнику: почему ты нарушил данное тобой слово, несчастный? Разве для того мы с тобой прошли между частями разрубленного надвое жертвенного животного, чтобы ты позорил меня и моего Бога?» Но у главного гонца было еще одно, тайное послание, обращенное не к судье Иеффаю, а к Иеффаю-человеку, и в нем говорилось: «Подумай о предложении, которое я тебе сделал. Я не смотрю на тебя как на врага. Мое предложение остается в силе, несмотря на все. Отошли дочь с моим гонцом, и между нами вновь воцарится дружба. А если нет, мой бог Милхом нашлет много бед на тебя и твой Галаад».

Иеффая тронуло это послание. После вероломного нарушения договора он на месте Нахаша тут же напал бы на Галаад и перебил всех мужчин в окрестностях Хешбона. Он был благодарен царю за то, что тот пересилил себя и вновь предложил ему союз. Но при всех дружеских чувствах к этому умному и смелому человеку он понял: породниться с ним он не может. Иаала была частью его самого. Отдав ее, он обрекал и себя, и весь Галаад на служение чужому богу.

И он ответил царю: «Так говорит огорченный судья Галаада царю Аммона, справедливо считающему себя оби-

женным: мне очень жаль, что мои соплеменники оскорбили твоего Бога. Я готов связать и выдать тебе этих злодеев, дабы ты наказал их как сочтешь нужным. Но дочь я тебе не отдам. И пойму тебя, если ты по весне пойдешь войной на мою страну. Знаю, ты не хотел этой войны. Поверь, я тоже ее не хочу. Это наши боги, твой и мой, хотят помериться силой друг с другом».

5

Иеффай пошел в дом Ягве.

— Ты хотел войны — ты ее добился, — сказал он Авияму. — И если Галаад погибнет, виноват будешь ты.

Где-то в глубине его гнева таилось и невольное восхищение стариком: все же сумел втянуть Иеффая в войну, и люди в окрестностях Хешбона по сей день не знали, кто натравил их на Нахаша, да и Самегар не знал, кто им руководил.

Авиям спокойно ответил:

— Я никогда не скрывал, что жажду войны Ягве с Аммоном. — И, сменив тон на отеческий, продолжал: — Спроси самого себя. В душе ты и сам рад сразиться на поле боя.

— Да, я люблю воевать, — возразил Иеффай. — И всегда любил, не отрицаю. Но эта война противна голосу моего разума, и я никогда тебе не прощу, что ты меня к ней принудил. Я не друг тебе, — заключил он кратко и мрачно.

— Мне тоже пришлось кое-чем поступиться, чтобы приблизить эту войну, — возразил Авиям. — У священника гордость иная, чем у воина, но вряд ли ее меньше. Мне было нелегко обратиться за помощью к Ефрему. Я старик, а Елеад, первосвященник ефремлян, полон молодых сил, да и высокомерен по-особому — не явно и весьма утонченно. Но, памятуя сказанное тобой о могуществе Аммона и его союзников, я поборол свою гордость и попросил надменных ефремлян о помощи, как обещал тебе в земле Тов.

Иеффай враждебно глядел на него и молчал. А священник продолжал:

— И просьба моя была услышана. Но Елеад сможет послать через Иордан лишь часть ополчения Ефрема: ведь он священник, а не военачальник своего народа. Переломи и ты себя, Иеффай. Иди в Шилом. Поговори с Таханом.

Иеффай еще больше помрачнел и ответил:

— Не серди меня, священник. Это *твоя* война. Правда, вести ее придется *мне*; и вы постарались, чтобы мне при-

шлось нелегко.— И резко и прямо бросил Авияму в лицо: — Это вы осквернили бога наших врагов, причем совсем не вовремя, так что теперь против нас действительно вся военная мощь восточных земель, в том числе и Васана. Ты своего добился, вероломный и хитрый старик.

— Эта война не моя и не твоя,— сказал Авиям,— это война Ягве. Стоит тебе поговорить с Таханом, и в твоём стане окажется большинство израильтян. Если Аммон заключает союз с Васаном, неужели у нас не останется сил отбросить взаимную неприязнь.

— У меня не останется,— сухо отрезал Иеффай.

— Не упрячься, Иеффай,— просительно заговорил священник.— Обуздай свое тщеславие. Ты хочешь, чтобы каждая твоя победа была лишь твоей заслугой. Но в этой войне тебе не победить без помощи Ягве.

Иеффай и в самом деле хотел, чтобы его победы были только *его* заслугой, и в душе это признавал: ему даже нравилось, что он такой. Ему вспомнилось, как он лежал, скорчившись за выступом скалы на склоне Хермона, а на другой стороне, по ту сторону пропасти, стоял на фоне утреннего неба горный козел с могучими рогами, акко. Иеффай чувствовал свое родство с гордым своенравным животным, не отступавшим перед ветром и холодом. Он, Иеффай, не поддастся на уговоры старика и не пойдет на поклон в Шилом. Он сказал:

— Как вести войну — дело мое. И помощь Тахана мне не нужна. С Аммоном я справлюсь сам.

Авиям возразил с грустной усмешкой:

— Ещё совсем недавно, в земле Тов, ты не был так уверен в себе.— И вновь принялся убеждать: — Вырви тщеславные мечты из своего сердца. Может быть, именно я и пробудил их в тебе. Может быть, мне не следовало внушать тебе надежду на избранничество пред Господом и создание великого единого царства Израиль. Я думал, что говорю с человеком, готовым взять на себя тяжкое бремя и исполнить веление Ягве. Но ты жаждешь личных подвигов и хочешь сколотить из восточных земель свое собственное царство. Не надо этого желать, Иеффай. Союз между Аммоном и Галаадом не может быть прочным. Случайно возникшее царство быстро развалится. Ягве объединил Галаад с другими коленами Израилевыми, а не с кочевниками восточных пустынь. Похорони свои бредни. Не стремись основать собственное царство. Иди в Шилом. Сразись за Ягве и Израиль.

Слова священника привели лишь к тому, что Иеффай вознесся в мечтах еще выше. Старик просто завидует. И хочет подорвать его веру в себя. Пускай попробует на ком-нибудь другом. А он, Иеффай, заключит союз с Аммоном. Но не предаст Ягве Аммону, а подчинит Аммон своему Богу. Хитростью и смелостью он возвеличит Галаад и обеспечит его главенство в восточных землях. А сам станет повелителем восточных князей, и все земли от Дамаска до Красного моря будут называться «Галаад, царство Иеффая».

Авиям устало заметил:

— Речь моя достигает лишь твоих ушей. — И сам себя утешил: — Война откроет тебе глаза. Ты увидишь Ягве, как его увидел твой отец. Ты победишь. Я доживу до того дня, когда смогу помазать твой лоб елеем.

Но Иеффай уперся: -

— Не для того я буду сражаться, чтобы ты помазал меня елеем, священник.

И ушел.

6

Но выбросить этот разговор из головы не мог. Как ночью невольно слышишь перестук дождевых капель по крыше, так и он всю ночь слышал одни и те же слова священника: «Иди в Шилом, поговори с Таханом».

И мысленно продолжал спор с Авиямом: не из тупого себялюбия отказывается он просить ефремлян о помощи, у него есть на то веские причины. Тахан наверняка захочет вмешаться в его планы военных действий, и после победы хвастливый и задиристый Ефрем станет притязать на главенство в восточных землях. Нет, не надо ему помощи от Ефрема!

С бешеной энергией он занялся подготовкой к войне. Еще осенью послал приказ ополченцам прибыть в Массифу в самом начале весны, как только подсохнут дороги. Заранее наметил места сбора для колен Восточного Израиля — Рувимова, Гадова, Манассиина. Часть войска он перебросил к границам еще осенью на случай внезапного вторжения царя Нахаша.

Эти отряды он подчинил Гадиилу. В военных делах тот чувствовал себя как рыба в воде и тотчас принял сторону Иеффая. «Хорошо, что у нас есть ты», — только и мог он сказать.

Увидев, что Иеффай энергично готовится к войне, жители Массифы забыли о своем недовольстве перемирием. Теперь они считали, что Иеффай поступил мудро, отсрочив поход на год, вновь прониклись доверием к нему и радовались будущей весне и началу войны.

Даже Самегар отбросил подозрения и простил обиду, нанесенную ему Иеффаем. Как и прежде, он теперь восхищался братом, отмеченным печатью благоволения Ягве. Иеффай заметил происшедшую в нем перемену и сказал с грубоватой сердечностью:

— Довольны ли вы мной — ты, твой священник и твой Бог? Забудь мою выходку. И весной, следуя с Ковчегом за моим войском, открой глаза пошире, понаблюдай, как я веду битву. Увидишь много такого, что стоит записать на твоих таблицах.

Когда наступила зима, Иеффай стал готовиться к возвращению на север. Накануне отъезда жители Массифы устроили ему прощальную трапезу. Все были веселы и полны надежд. Вино лилось рекой, поднимая боевой дух.

Гадиил сказал:

— Весной ты присоединишь к нашим землям в западном Васане еще и часть Аммона и Моава. Прибавится людей, которые станут называть тебя «Судья в Израиле».

Иеффай глянул на него задумчиво и слегка насмешливо, хотел что-то сказать, но промолчал.

Емин, научившийся читать по лицу своего повелителя, вспомнил про планы, которыми Иеффай поделился с близкими, когда лежал раненый в своем шатре, и решился ответить за него:

— Почему судья Иеффай должен удовольствоваться лишь частью Аммона и Моава? Почему бы ему не перейти Иордан и не завладеть городами, которые ефремлянам и манассеям пришлось уступить хананеям?

Все вокруг изумленно молчали. А Емин продолжал говорить, вздернув вверх подбородок, как Иеффай:

— И возникнет наконец настоящее царство Израиль под властью великого царя — как Вавилон под властью повелителя четырех стран света.

Все растерялись. Израильтяне всегда гордились тем, что их коленами правили старейшины и судьи, а не цари; они презирали народы, гнувшие шею перед царями. И Самегар обрезал аморея. Своим тонким голосом он нарушил тишину, сказав:

— Знай же, никто из людей не может быть царем в Израиле. Царь Израиля — Ягве!

В Массифу в это время забрел бродячий певец по имени Иедидия. И из рядов пирующих вдруг раздался возглас — сперва один, потом несколько голосов, и наконец все потребовали хором: «Иедидия, спой нам песнь о терновнике!» Эту песню знали все бродячие певцы — она всегда вызвала бурю восторга. Иедидия не заставил себя упрашивать и запел:

«Однажды деревьям вздумалось выбрать себе царя. И сказали оливе: «Будь нашим царем!» Олива ответила: «Зачем мне терять прекрасное масло? Его хвалят и боги и люди. Зачем мне заниматься делами деревьев?» Тогда обратились к пальме: «Будь нашим царем!» Пальма ответила: «Зачем мне терять вкусные сладкие финики и заниматься делами деревьев?» И сказали они виноградной лозе: «Тогда будь ты нашим царем!» Но лоза ответила: «Зачем мне терять вино, которое веселит богов и людей, и заниматься делами деревьев?» Под конец обратились деревья к терновнику и сказали: «Ладно, будь уж ты нашим царем!» И что же? Тот согласился, сказав: «Хорошо, я буду вашим царем, а вы будете прятаться в моей тени».

Все весело зашумели. Иедидия не был великим певцом, но песнь о терновнике спел хорошо, и до каждого дошел смысл этой притчи: у достойных и умелых есть дело лучше, чем быть царем над другими, лишь задиристые и бесполезные рвутся к трону. И жители Массифы смеялись долго и от души, радуясь свободе колен Израилевых.

Но Иеффай затаил досаду на Емина за то, что юноша разгласил его тайну. Он не знал что подумать: смеялись ли жители Массифы над песней, над певцом или над ним самим. Смех этот долго еще звучал в его ушах.

7

Большую часть зимы Иеффай провел в своих уделах Васана. Семь его городов процветали. Западная часть Васана, подчинявшаяся ему, мирно торговала с восточной, где правил царь Авир. И все же страна бурлила. Царь Авир вооружался. И хоть никто не думал, что он нарушит мирный договор и нападет на города Иеффая, люди в западном Васане беспокоились: что будет, если Иеффай в Галааде начнет воевать с Аммоном? Не воспользуются ли амореи его отсутствием, чтобы напасть на сторонников Ягве в его городах?

Иеффай обсудил с Паром, сколько воинов можно отозвать из Васана. Пар полагал, что сможет удержать здешние города с двумя тысячами воинов. Но Иеффаю и эти две тысячи были нужны для предстоящей войны. Необходимо было набрать новых ополченцев. А это требовало больших расходов, поскольку царь Авир тоже вооружался. Казны Иеффая не хватало. Однако у Пара накопилось довольно много ценностей, посвященных Ягве; так разве Иеффай не имел права использовать их на войну в защиту Ягве? Немного поколебавшись, Пар уступил. Сокровища Ягве обратились в новых воинов, лошадей и боевые колесницы.

Как-то раз, долгой зимней ночью сидя с Иеффаем у костра, Казия и Пар обсуждали мощь его войска. Она была невелика по сравнению с силами его врага.

— Однако,— заявила с присущей ей решительностью Казия,— восемь тысяч ефремлян с избытком покроют разницу.

А Пар добавил:

— Ефремляне так дерут нос, что смотреть противно, но головы у них толковые и воевать они умеют. К тому же знают, что, если победит Аммон, он на этот раз вторгнется и в западный Израиль. Так что наверняка пришлют нам на подмогу все восемь тысяч.

Иеффай растерялся. Видимо, оба они думали, что он давно уже заручился помощью Ефрема. Должны были так думать. Раз он не постеснялся забрать сокровища Ягве, значит, мог, не колеблясь, потребовать ополченцев у Ефрема. Но совсем озадачили его слова Казии:

— Когда ты открыл нам свои планы, ты не был ни безумцем, ни мечтателем. Теперь мы видим, что ты не бросаешь слов на ветер. Шаг за шагом ты прошел тот путь, что наметил тогда. Сперва оградил семь своих городов от угрозы Васана, потом сел на престол судьи Галаада и теперь, не убоявшись Аммона, перейдешь Иордан, и западные колена признают тебя судьей Израиля.

В голосе Пара, обычно ровном и трезвом, звучал восторг, когда он заявил:

— Да, теперь мы видим, что хитрость, с какой ты все это задумал и проделал, дарована тебе свыше. Накашу ты дал по рукам, так что Ефрем теперь сам собой придет в твой лагерь. Я разгадал твои мысли? Не попрошайничая и не угрожая, ты добился того, что под твое начало встанут и западные колена. Сплотить весь Израиль в единое царство! Когда я впервые это услышал, страх пронзил меня

насквозь, столь рискованным мне это представилось. А теперь все идет как по маслу.

Иеффай был вынужден молча выслушать восторженные речи своих близких. Он отвечал уклончиво и односложно, сгорая от стыда за свое двуличие. Позже, лежа один на циновке, он обдумывал этот разговор. Они были правы, Пар и Казия, все были правы: другого выхода нет, придется ему отправиться в Шилом и просить у Тахана подмоги. Но стоило ему представить себя сидящим перед Таханом, как гнев начинал душить его. Будет худо, если Тахан припомнит ему давнее предательство Галаада и откажет в помощи; но еще хуже, если надменно бросит: «Видите, мы не такие, как вы», — и предоставит помощь. Нет, Иеффай не пойдет на поклон в Шилом.

Во что бы то ни стало нужно придумать такое, что даст ему возможность победить в одиночку, без Ефрема. Ягве наверняка пошлет ему спасительную мысль.

Иеффай, сильный, здоровый мужчина, крепко спал даже в эту ночь тревог и забот. И что же: пока он спал, ум его работал, и к утру в нем родился план.

Подкрепление из Васана, несомненно, постарается как можно раньше соединиться с войском царя Нахаша. Следовательно, свернет с Великого пути фараона на более короткую Западную дорогу и переправится через Иавок у Понуэла. К этому броду есть лишь один подход — через ущелье Нахле-Гад. Там-то Иеффай и окружит войско Васана. Если ему удастся его уничтожить, Нахаш, лишившись самого сильного подкрепления, уже не рискнет встретиться с Иеффаем на поле боя, война будет окончена, не успев начаться, а Иеффай сможет навязать аммонитянам свои условия мира.

Правда, план этот был чреват кое-какими опасностями. Чтобы перехватить воинов царя Авира в ущелье, Иеффаю придется выступить еще в период дождей, а продвижение по размокшим тропам потребует нечеловеческих усилий. Да и успешным будет этот удар лишь в том случае, если удастся сохранить все в тайне. Так что взять с собой можно лишь небольшой отряд и двигаться по полному бездорожью в диких глухих местах. С другой стороны, противник безусловно окажется не готов к нападению, а отряд Иеффая можно будет усилить ополченцами Галаада из лагеря под Массифой: путь к Иавоку с юга был значительно легче.

Иеффай сообщил свой план одному Емину: тот

провел в диком краю всю жизнь; именно такой человек и был ему нужен для рискованного похода при зимней стуже.

А Емин за это время уже вполне вжился в придуманную им самим роль: старался во всем походить на своего начальника. Он вздергивал подбородок, как Иеффай, говорил басом, подражая голосу Иеффая, так что Казия и Иаала иногда над ним даже посмеивались. Но он научился также схватывать на лету мысли Иеффая. Он вмиг усвоил план до мельчайших подробностей и сразу же углядел его достоинства и недостатки. Еще ни один военачальник не выступал в поход до начала весны и не вел свое войско по столь непроходимой местности. Однако люди Иеффая привыкли к бездорожью, и, даже если по пути кто-то из них и погибнет, большинство все равно вовремя доберется до Иавока. Емин молниеносно прикинул, по каким тропам смогут пройти одни, по каким — другие подразделения их отряда, точно рассчитал, сколько понадобится лучников, сколько копейщиков. Мысленно он уже видел, как его люди карабкаются по крутым склонам, а сам он расставляет их по обе стороны ущелья, слышал, как отдает команды зычным голосом Иеффая. Иеффай остался доволен своим молодым другом и признал, что тот стал неплохо разбираться в военном деле.

Вдвоем они вновь и вновь все взвешивали и продумывали. Емин высказывал сомнения, бродившие в голове Иеффая, Иеффай опровергал их доводами Емина, Иеффай убеждал Емина, Емин Иеффая. И младший все больше и больше воодушевлялся, а под конец пришел в такой бурный восторг, что от избытка чувств воскликнул: «Этот замысел — самый великий из всех твоих великих замыслов, мой господин и судья! Именно так ты победишь!» — «Причем без помощи Ефрема», — добавил Иеффай не без злорадства.

Он послал Емина в Массифу к Гадиилу и Авияму: Гадиилу предписывалось загодя отправить несколько отрядов галаадитян к Иавоку, чтобы успеть на место к новолунию месяца адара, а священнику — дать Гадиилу с собой Ковчег Завета, причем проделать все это как можно более скрытно.

Гордый доверием Иеффая, Гадиил обещал, что будет вовремя. Авиям тоже выразил готовность выполнить распоряжение Иеффая. Однако он не хотел доверить Ковчег Гадиилу и его воинам: прикасаться к святыне имели право лишь священники, охраняющие скинию. А поскольку

сам он был слишком слаб и не мог сопровождать Ковчег в суровое время года, то доставить его поручил Самегару.

Иеффая раздосадовала эта весть. Ковчег придется тащить по труднопроходимым тайным тропам, причем весьма спешно. Иеффай опасался, что Самегар — медлительный и нерасторопный — попросту не доберется до места к тому часу, когда нужда в благословении Ягве будет особенно сильной.

Время дождей в этом году было недолгим. Иеффай готовился выступить уже в месяце шеват.

Он предложил Кетуре сопровождать его в походе. Она была бы рада, ей очень хотелось согласиться. Но Иеффай шел воевать с ее Богом, а Милхом был ревнив и наверняка гневался на Иеффая, так что ей нужно остаться на севере, в стране ее Бога, дабы смягчить его гнев. И она заставила себя отклонить предложение мужа.

Незадолго до того, как Иеффай тронулся в путь, Иаала сказала ему по секрету, гордясь важностью своих слов:

— Мне кажется, отец мой и господин, я догадалась, что ты задумал. Не Нахаш отдаст меня в жены своему сыну; ты отнимешь у Нахаша его царство, назначишь его сына Мешу своим наместником в Аммоне, а потом уже ты отдашь мне Мешу в мужья.

Иеффая поразила и тронула детская ее прямота: ясно и четко она сказала то, о чем он лишь смутно подумывал. Ибо он все еще мечтал после великой победы поженить Иаалу и Мешу, но так, чтобы не Иаале, а Меше пришлось изменить веру.

В ночь перед выступлением Иаала пробралась туда, где стояли на привязи лошади. В отряде их было теперь много, и Иаала часто приходила их приласкать. Она восхищалась стремительным бегом диких коней, а домашних, прирученных, очень жалела. Как обидно, что животным, все счастье которых — быстрая скачка в бескрайних просторах, приходится владеть жалкое существование, и бег их замедлен тяжестью седока.

Она направилась к лошади Иеффая и, заложив руки за спину, ждала, когда лошадь сама подойдет к ней; потом прижалась лицом к ее морде, подышала ей в ноздри и зашептала ласковые слова: просила помогать отцу и хранить ему верность.

На рассвете Иеффай тронулся в путь. Поход предстоял тяжкий и опасный. Но Иеффай был уверен, что Емин умело поведет их и они окажутся у цели раньше, чем их враги. Но не выбьются ли его люди из сил? И скольких придется

недосчитаться? И будет ли Гадиил со своим отрядом уже на месте? И не обнаружат ли вражеские лазутчики оба отряда, несмотря на все старания двигаться скрытно? И доставит ли вовремя Ковчег Завета недотепа Самегар? Больше чем раньше нуждался он на этот раз в помощи Ягве.

Пусть Ковчега с ним не было, зато был медный войсковой знак. Телохранители несли его прямо перед ним. И медь сияла в лучах восходящего солнца, поднимая боевой дух. Молния Ягве била из тучи ослепительным ярким зигзагом, разя и внушая ужас врагам. Но в душу Иеффая она вселяла уверенность.

8

Как и предвидел Иеффай, поход к реке Иавок оказался невероятно трудным. Кое-кого недосчитались. Но Емин оправдал его надежды: Иеффай с отрядом прибыл к Нахле-Гаду в тот срок, который себе назначил.

В тот же день прибыл на место и Гадиил; он привел с собой больше ополченцев, чем рассчитывал Иеффай. Иеффай забеспокоился: исчезновение такого большого отряда из лагеря у Массифы наверняка не прошло незамеченным. Но оказалось, что Гадиил догадался принять кое-какие меры: отдавал приказы, вызывавшие перемещение людей внутри лагеря, и посылал небольшие группы совершать набеги в пределы Аммона.

Лазутчики Иеффая донесли, что вражеские подкрепления из Васана выступили в поход. Они двинулись по Великому пути фараона, но потом, как и рассчитывал Иеффай с Емином, большая часть легко вооруженных пеших воинов и даже несколько групп всадников свернули на кратчайшую дорогу к броду через Иавок.

Войско, посланное Васаном к царю Нахашу, оказалось сверх ожиданий многочисленным и сопровождалось большим обозом, так что продвигалось крайне медленно. Поэтому Иеффай с Емином могли подготовиться к встрече спокойно и обстоятельно. Они так разместили своих людей на склонах по обе стороны Нахле-Гада, чтобы в кратчайший срок перекрыть ущелье с обоих концов. А часть ополченцев из Галаада Иеффай послал на другой берег Иавока перехватить вражеских воинов, если те попытаются спастись вброд. Все получалось как нельзя лучше. Не хватало лишь одного: не прибыл Ковчег Завета. Вялый, неповоротливый Самегар не доставил его вовремя.

Едва забрезжил рассвет того дня, когда враги должны были появиться у входа в ущелье, Иеффай с Емином и Гаддилом поднялись на вершину, с которой Иеффай собирался руководить битвой. Все последние дни дождь лил как из ведра. Но теперь развиднелось, между облаков проглянуло голубое небо. Тем не менее Емин, сведущий в погоде, сказал, что теплый юго-западный ветер принесет с собой ливень, вероятно, даже грозу, а это еще больше затруднит врагам продвижение по ущелью.

Так они и сидели втроем, укрывшись за кустами на вершине холма, и ждали. Наконец вдали появились передние ряды врагов. Казалось, им не было конца, лазутчики не обманули. Как безмятежны их лица, радостно отметил про себя Иеффай. И прекрасно понял почему. Самая длинная и тяжкая часть пути ими пройдена, а впереди их ожидала лишь одна трудность: спуск по ущелью и переправа через Иавок. По сравнению с тем, что они вынесли, это будет не так уж тяжело. «Тут вы и заблуждаетесь, приятели, — злорадно подумал Иеффай. — Немногие из вас увидят нынче закат». Бросив взгляд на свой войсковой знак, он мысленно обратился к Богу: «Сознаюсь тебе, Ягве, я приложил немало усилий, чтобы избежать этой битвы. Но если ты справедлив, признай: у меня были на то причины. Как бы то ни было, теперь я буду сражаться за тебя доколе хватит сил, не жалея ни крови, ни живота. Сделай и ты для меня все, что можешь, и благослови на бой».

Тут первые ряды достигли ущелья и втянулись в него, потом оно поглотило всех пеших воинов, и Иеффай потерял их из виду. Но внутренним зрением он все равно видел, как они продвигаются по ущелью навстречу собственной гибели. За время дождей небольшая речушка Гад превратилась в мощный поток; однако течением вряд ли кого-то из них унесет. Извилистой лентой они быстро двигаются вперед вдоль реки, а кое-кто и по самой реке, перепрыгивая с камня на камень.

Но вот уже и всадники втянулись в ущелье, пора было давать знак перекрыть вход. Иеффай колебался. Казалось, врагам нет конца и нет числа тем, что подходят и подходят с севера. Но Иеффай не хотел дать всадникам уйти. И подал условный знак.

Группа тяжело вооруженных воинов Иеффая врезалась в противника сверху, расстроила его ряды и заняла вход в ущелье. То же произошло у выхода из него — там, где Нахле-Гад впадает в Иавок. С холмов, обрамлявших ущелье, лучники Иеффая выпустили тучи стрел в скупив-

шихся внизу вражеских воинов, копейщики метнули в них копья. Смятение и смерть воцарились в ущелье. Людям Иеффая было приказано целиться поначалу в коней. Раненые животные заматались, ища спасения и заглушая пронзительным ржанием крики и вопли сражающихся; ужас, охвативший животных, усилил смятение людей. И тут сам Иеффай со своим отрядом врезался в толпу обезумевших от страха врагов, рубя направо и налево в упоении битвы.

Опытные воины Иеффая наглухо перекрыли вход в ущелье, так что попавшим в ловушку было не выбраться. Но за пределами ущелья оставалось их куда больше, численный перевес явно был на их стороне, и в бегство они не бросились, как рассчитывал Иеффай, а вступили в бой, угрожая опрокинуть и смять воинов заграждения. Нужно было срочно им помочь, и Иеффай, предоставив лучникам и копейщикам самим расправляться с запертыми в ущелье, поскакал к холмистым предгорьям на севере, чтобы обратить в бегство нападающих оттуда врагов.

Дышать становилось все труднее: Емин не ошибся — близилась весенняя гроза; блеклые, желтовато-серые тучи затянули небо, ухудшая видимость. Но, добравшись до северных холмов, Иеффай сразу понял: враги были не только впереди, они надвигались со всех сторон, усеяв все холмы справа и слева.

Он понял не только это, и сердце его на миг перестало биться: те, что наступали с востока, не были амореями, рослыми воинами Васана; то были аммонитяне, ополченцы царя Нахаша. Не Иеффай перехитрил Нахаша, а тот его! Видимо, Нахаш разгадал план Иеффая и обошел его с востока. Только теперь Иеффай догадался, почему войско Васана так медленно двигалось. Это Нахаш велел им не торопиться, чтобы дать ему время обойти войско Иеффая.

Первые тяжелые капли дождя упали на землю, первые порывы ветра пронеслись над землей. Если в ловушку попались бы все враги Иеффая, гроза была бы ему только на руку. Но теперь она помогала им.

Вот и Ваал, крылатый бык, явился, чтобы сражаться за своих! Не зря Иеффай удивлялся, почему его долго нет. Может, и врагов постигла такая же беда, как и его самого, и им придется сражаться без своего покровителя? Но тут все выяснилось: Ваал умненько держался в задних рядах, выжидая, когда придет его час. Теперь этот час пришел, и Ваал, покачиваясь, надвигался на Иеффая, дабы отомстить безумцу, насмежавшемуся над ним на его горе, на крыше его дома. Несли бога четверо великанов, и медное

чудище — неуклюжий бык с тяжелыми крыльями — неотвратно приближалось. А его Бога, Бога Иеффая, с ним не было! Старый упрямец с тупоголовым братцем бросили его в беде: а ведь у них только и дела было, что доставить вовремя Ковчег Ягве! Даже этого не сумели, ничтожества!

На миг солнце проглянуло сквозь плотные тучи, и Ваал засверкал ослепительным, вселяющим ужас блеском. Но Иеффай не испугался. Он не пустится в бегство, — нет, он бросится навстречу хвастливому богу-быку, схватит его за крылья, сбросит на землю и собственными ногами втопчет в грязь.

Защитники Ваала окружали его плотным кольцом. У Иеффая не было ни малейшей надежды завладеть идолом. Разумнее было пробиться сейчас назад, к главным силам. Но бешеное, мстительное желание схватить вражеского бога и втоптать в грязь было сильнее, чем разум и опыт воина, азарт битвы жег Иеффая и гнал навстречу Ваалу. Опьянение боем, не раз кружившее голову его отцу, теперь закружило и его. Он дико завопил: «За Галаад и Ягве!» И Гадиил рядом с ним тоже завопил: «За Галаад и Ягве!» И Емин завопил: «За Ягве и Иеффая!» И трубачи затрубили главный сигнал к атаке, и воин, несший перед Иеффаем войсковой знак, поднял его высоко над головами, и верные бойцы отряда из земли Тов издали свой боевой клич «Хедад, хедад!» и врезались в плотные ряды, прикрывавшие истукана.

Медный идол был очень тяжел, и несшие его силачи великаны медленнее других воинов продвигались вперед; создавалось впечатление, что Ваал отступает и растворяется в желтовато-серой туче. Чтобы подбодрить своих, Иеффай раскатисто рассмеялся и весело, как мальчишка, крикнул, выставив вперед подбородок: «Гляньте, он отступает, этот васанский теленок! Хочет от нас удраты! Держи его!»

Тут васанские воины заметили войсковой знак Иеффая, и вид его возбудил их не меньше, чем Иеффая вид быка-истукана. Но их было намного больше, они навалились на тех, кто был с Иеффаем, и стали теснить. Воин, несший знак, упал. Другой схватил древко и поднял знак над головой, но был тут же сражен. И уже чужие, вражеские руки схватились за древко. Люди Иеффая вырвали его, но и их на месте прикончили. Теперь уже великаны-амореи завладели медным знаком и, быстро передавая его из рук в руки, втащили в глубь своих рядов: медная туча с молнией скрылась из глаз. Войсковой знак Иеффая пропал. Ягве отвернулся от него; что ж, придется обойтись без его защиты.

В живых осталось так мало, что все поняли: они слишком оторвались от своих. Теперь они были окружены, отрезаны от главных сил — крошечный островок в море врагов. Но они держались так, словно не замечали смертельной опасности. Как будто обо всем договорились без слов. Они вопили, пели и, войдя во вкус битвы, продолжали сражаться бешено, весело и ожесточенно.

Больше всех наслаждался боем Гадиил. Он смеялся, прищелкивал языком и бормотал себе под нос что-то, понятное лишь ему одному. В одиннадцати битвах он участвовал, но ни одна из них не была похожа на эту — здесь враги наседали со всех четырех сторон. «Это ты здорово придумал, Иеффай», — успел он повторить несколько раз, пока вражеский меч не рассек ему шею. Гадиил рухнул на землю, захлебываясь кровью, и, схватившись за стоявшего рядом воина, увлек того за собой. Иеффай позавидовал брату. Гадиил умер, занимаясь любимым делом — сражаясь за Ягве; он был храбрым воителем своего Бога.

Гроза между тем разбушевалась в полную силу — ветер дул сразу со всех сторон, сверху низвергались такие потоки, что в двух шагах ничего не было видно. Но Емин, сражавшийся бок о бок с Иеффаем, по-прежнему был весел и беспечен. Он все еще верил в победу. Нужно только оторваться от противника, и сделать это сейчас проще простого — при таком ветре и ливне никто ничего не видит. Его острый и быстрый глаз заметил поросший густым кустарником холм, на котором враги ни искать, ни ловить никого не станут. Там можно будет передохнуть, перевести дух, собраться с силами.

И они стали пробиваться к холму, Иеффай с Емином впереди всех. Иеффай отчаянно рубил сплеча всех подряд — истинный Гедеон, истинный боец и рубака. Здесь смерть подступала со всех сторон, и он держал в голове лишь ближайшую цель, все время повторяя про себя: «Наверх! Через кустарник и наверх! На вершину холма!» Он уже не думал, зачем; было легче держать в голове лишь одну мысль: «Наверх!»

Они все же пробились к холму. И без сил, тяжело дыша, под сплошными потоками ливня, рухнули прямо в жидкую грязь. Они были в безопасности.

Емин не скрывал торжества. Ловко придумал Ягве — наслал им в помощь грозу! Гроза-то их и спасла. Иеффай не спорил, хотя знал, что это не так. Не Ягве, а Ваал послал на них громы и молнии. А Ягве дал ему лишь эту короткую

передышку, чтобы он мог подумать и разобраться в своей душе. А потом все равно обречет его на гибель и поражение. И поделом. Господь предостерегал его — устами Авияма, устами певца Иашара, устами Иаалы, устами Пара, его ближайшего друга. Ему бы послушаться и пойти на поклон к сынам Ефрема. Но он был ослеплен ложной уверенностью в своей силе. И уступил ненасытной жажде власти и славы. Ему мало быть судьей и военачальником, захотелось владеть великим царством, ради этого он даже подумывал отдать дочь аммонитянам и их богу Милхому. На самом же деле ни Ягве, ни Милхом не были его богами, богом был для него лишь он сам. Потому Ягве и отвернулся: и Ковчег задержал, и медный знак отнял, а теперь допустит, что его и прикончат тут же, в грязи.

Емин прервал его горькие мысли. Тронув за плечо, он показал на восток. Иеффай поднял голову и на короткий миг смутно различил сквозь стену ливня знакомые очертания. Иеффай не поверил своим глазам. Но, видимо, и Емин понял, что за предмет двигался, покачиваясь, там, вдали. То был не призрак или видение, то была явь! Там вдали покачивался, приближаясь, Ковчег Ягве!

Однако бесчисленное войско врагов отделяло их от него стеной более прочной, чем самые толстые крепостные стены. Как им добраться друг к другу — Самегару с Ковчегом и Иеффая с мечом? Зато теперь он понял: значит, не Милхом, а Ягве наслал на них грозу, это его лик являлся им в сверкании молний, и прежняя пружинистая сила вернулась к нему. Он пробьет себе путь к Ковчегу. Он хочет, он должен пробиться, он пробьется.

И он поднялся с земли — медленно, чувствуя, как тело его наливается новой силой. Вырвал из сердца почтение к Милхому, сжал в кулак всю свою волю и молча крикнул, обращаясь к Ягве: «Ты имеешь право карать меня, ибо я был равнодушен к тебе. Хуже того: я тебя предал. Я хотел отдать любимую, дарованную тобой дочь в руки сынов Милхома и Кемоша. Но не карай меня. Не делай этого. Ты послал нам грозу, твоя молния открыла мне глаза, я вижу тебя, узнаю тебя, преклоняюсь пред тобой. Горы Синай, Ливан и Хермон — всего лишь пальцы на твоей ноге; что я пред тобою? Я падаю ниц и признаю: я червь ничтожный. Но выслушай меня и не карай дольше. Встань со своего Престола, спустись ко мне и помоги в бою, как помогал отцу; ведь он был не лучше меня и не крепче меня в вере. Не дай пасть позору на мой народ пред глазами Аммона и западного Израиля. Убей меня, если хочешь, но сперва

дай мне увидеть нашу победу. Дай мне пробиться к Ковчегу. Дай моим воинам соединиться с остальными. Нашли на врагов смертельный ужас. Я раскаиваюсь в том, что содеял, сильно раскаиваюсь. Но и ты не терзай меня дольше — и я буду впредь преданным твоим сыном».

Иеффай стоял во весь рост и беззвучно шевелил губами. Он произнес все это в душе, а если какое слово и слетало случайно с его уст, ветер и ливень тут же уносили его прочь. Окружающие видели, как он говорил с бурей, видели, как напряглось его лицо, и поняли: он делает последнее могучее усилие, моля о победе того, кто прибыл сюда в грозовой туче. Они видели, как он воздел к небу кулаки, как разжал их и поднял ладони кверху, словно принося дар Богу.

А он крикнул сквозь бурю — крикнул беззвучно, но со всем пылом своего сердца: «И если ты услышишь меня, Ягве, я принесу тебе жертву, по ценности равную избавлению от столь страшной беды, такую жертву тебе еще не доводилось отведать. Если услышишь меня и пошлешь мне победу, я принесу тебе в жертву лучшего из врагов — будь то сам царь Нахаш, которого я очень ценю. А если его не окажется среди тех, кто попадет ко мне в руки, я вознесу на всесожжение того, кто выйдет мне навстречу из дома моего, даже если то будет самый дорогой мне человек. Тебе я принесу его в жертву, а не Милхому. Но услышь меня и не дай мне погибнуть побежденным среди врагов моих».

Так вопил в душе Иеффай. И видел, как вдали покачивается Ковчег Ягве, то поднимаясь повыше, то совсем исчезая из виду и вновь поднимаясь. И великая радость вошла в его сердце. Он почувствовал: Бог в Ковчеге услышал его.

И он крикнул так, что его голос перекрыл шум дождя и треск ломающихся сучьев:

— Глядите, вон Ковчег Ягве! Пробьемся к Ковчегу и к Богу!

И, широко шагая, он бросился сквозь кустарник вниз по склону, переходя на бег и отбрасывая со своего пути все, что ему мешало. Силы его удесятились. Он рубил сплеча, пронзал насмерть и неистово рвался к Ковчегу. Остальные последовали за ним, его сила и уверенность передались им, и шаг за шагом, одолевая врагов, они устремились вперед сквозь хаос, мрак и бурю. Многие были ранены и остались лежать на земле; крики и стоны, тьма и дождь, звуки труб и потоки воды, молния и гром; но они неуклонно пробивались вперед, все ближе и ближе к Ковчегу.

И вдруг битва получила иной оборот: враги, все еще имевшие численный перевес, подались назад, плотные до толе ряды расступились перед Иеффаем, и имя его — «Ягве открывает путь» — приобрело новый смысл. В возбуждении и азарте боя он не понял, почему амореи, без сомнения храбрые воины, вдруг повернули и побежали кто куда. Но ведь так и должно было быть: это Ягве посеял смятение в их душах, и великий страх сковал им сердца.

Наконец Иеффай добрался до Ковчега. Темное старое дерево намокло, блестело и казалось новым, а носильщики тяжело дышали и, несмотря на опасность и бушующую непогоду, были счастливы и радостно улыбались. Рядом с ними стоял Самегар, мокрые его одежды развевались и хлопали на ветру, облепляя тощее тело; и все же он был тут и тоже во весь рот блаженно и счастливо улыбался Иеффаю. Тот ошупал Ковчег сильными своими руками, убедился, что он не призрачный, а настоящий, нежно погладил его и поцеловал. Потом приказал носильщикам поднять Ковчег повыше. Его властный голос придал уставшим людям новые силы, и они подняли Ковчег над собой.

Теперь его увидели все. То было явленное Богом чудо: целым и невредимым прошел Ковчег сквозь полчища врагов. Но теперь он был тут, посреди сражающихся галаадитян, он плыл высоко над головами, и все поняли: Ковчег был легок потому, что Бог покинул свое жилище и в буре и тучах сражался на стороне Галаада. И дыхание его толкало галаадитян вперед, сдувая Аммон и Васан.

Враги, намного превосходившие их силой, в полном смятении обратились в бегство. Опыренные внезапным успехом, воины Иеффая и ополченцы Галаада завопили, торжествуя победу. Пронзительные звуки труб и клики ликования «Хедад!», «Иеффай!» и «Галаад!» заглушали грохот грома и шум бури.

И вновь оказалось, что Емин был прав: страшную грозу наслал действительно Ягве. Ибо реки Гад и Иавок вздулись и тоже сражались на стороне Галаада. Ущелье и берега Иавока стали непроходимы для смертных. Врагам оставалось бежать лишь на север. Но и оттуда невидимая сила гнала их обратно. Началась паника. Многие, прикрыв голову краем плаща, подставляли ее под меч. Лишь горстке врагов удалось спастись.

После победы Иеффай не вернулся в Массифу; он остался на реке Иавок и собрал остатки своего воинства в крепости Пенуэл.

С этим древним поселением на реке Иавок связаны счастливые и трагические предания. Здесь, у Пенуэла, Бог явился праотцу Иакову и всю ночь с ним боролся. Иаков повредил ему ногу и не отпускал, пока не получил благословения. С той поры Иакова стали называть «Израиль» — «человек, борющийся с Богом». Позже в этой же местности военачальник Гедеон одержал победу над врагами Израиля. Правда, он перебил мужчин Пенуэла, израильтян, и разрушил их крепость — за то, что те не выступили ему на подмогу. Впоследствии галаадитяне восстановили город и крепость, и теперь жители Пенуэла вышли встречать Иеффая, торжественно чествуя победителя.

Иеффай был счастлив и горд, и на душе у него было легко, как тогда, на вершине Хермона. Эта победа показывала: он по-прежнему любимец Ягве, и что бы ни предпринял, благословение Ягве всегда пребудет с ним.

Самегар рассказал ему о долгом и трудном пути, который он проделал с Ковчегом, но Иеффай лишь добродушно посмеялся над недотепой.

— Все же ты успел своими глазами увидеть, как я воюю,— сказал он.— Надеюсь, ты опишешь это на своих таблицах.

— Уж постараюсь,— скромно заверил его Самегар. И вздохнув, добавил:

— Только бы достало умения! Священники в Шиломе куда искуснее в письме. И, наверное, сумеют достойно описать это чудо: войско Ефрема вовремя появляется на поле боя и решает его исход! Многие поколения будут испытывать радость, читая об этом.

Иеффай помрачнел. Его не интересовало, как Самегар представлял себе ход битвы; он был слеп и ничего не видел, как ни старался. Но ефремляне и в самом деле влились в его войско уже после победы. Видимо, там, в Шиломе, вспомнили о просьбе Авияма и выслали подкрепление за Иордан, а теперь, навязав свою помощь, начнут, чего доброго, бахвалиться, будто он не мог без них обойтись. Тут в нем заговорила и досада на брата: этому недотепе удалось доставить Ковчег в целости и сохранности, в то время как его собственный войсковой знак бесследно пропал. И он злобно буркнул:

— Отправляйся со своим Ковчегом обратно, если хочешь. Мне уже не нужна его помощь.

Тут к Иеффаю пришел Аран — глава отряда ефремлян, влившихся в его войско. Пришел без пышной свиты, в сопровождении лишь семерки телохранителей. Держался он вежливо, отнюдь не кичливо, поздравил Иеффая с победой, одержанной им во славу Галаада и всего Израиля, и выразил удовлетворение тем, что и Ефрему удалось внести в нее свой вклад.

— Мы взяли всего три сотни пленных, — сообщил он. — Потому что сначала приканчивали всех, кто встречался у нас на пути. И только увидев, что победа за нами, стали брать в плен. Но зато к нам в руки попала одна вещь, которая, наверное, доставит тебе радость.

Он кивнул одному из телохранителей, и тот принес медный знак Иеффая и поднял его над головой. Но теперь войсковой знак являл собой жалкое зрелище: древко было расщеплено, щит исцарапан и продырявлен, туча и молния утратили былой блеск. Иеффая отнюдь не обрадовал вновь обретенный знак.

Он быстро сообразил, как получилось, что неминуемое поражение вдруг обернулось победой. Это весть о появлении ефремлян заставила врагов обратиться в бегство. Но душа Иеффая противилась такому выводу. Нет, не так все было, не могло быть. Это он, Иеффай, с такой силой воззвал к Богу, что вынудил его покинуть Ковчег и вселить ужас в сердца врагов. А теперь является этот наглец и хочет присвоить его победу.

Хриплым от злости голосом он спросил:

— Когда вы перешли Иордан? И сколько вас было? И вообще — участвовали ли в битве? Или же просто похватали врагов, спасавшихся бегством и так попавших к вам в руки?

Аран, по-прежнему спокойный и вежливый, ответил:

— Узнав, что огромное войско движется из Васана к Раббату, я решил рискнуть и перешел Иордан раньше, чем намеревался. Нас в общем-то немного, всего тринадцать сотен, к тому же несколько воинов погибли при переходе реки, но все же осталось достаточно, чтобы прийти вам на помощь.

На это Иеффай заметил:

— Благодарю тебя за мой войсковой знак, хотя он бы и без вас нашелся. Кстати, я что-то не помню, чтобы просил вас мне помочь.

Тут Аран помрачнел и спросил:

— Разве Галаад раздирает такая вражда, что судья не знает о действиях первосвященника?

— Вероятно, — ответил Иеффай, — священник Авиам о чем-то договаривался с вашим первосвященником в Шиломе. Я в этих переговорах участия не принимал. В Галааде не принято, чтобы священники вмешивались в дела войны.

Аран все еще держал себя в руках.

— Не знаю, кто именно просил нас о помощи, — возразил он, — но не знаю также, как бы ты мог спастись без меня. Когда мы подошли к Нахле-Гаду, Аммон и Вассан наседали на вас, а твоих потерь было не счесть. Мы появились, и враги побежали. На доле в добыче я не настаиваю, Ефрем никогда не отличался алчностью. Но я требую своей доли славы. Пусть Израиль знает, что мы пришли вам на помощь, когда Галаад был в беде, а Галаад не пришел, когда Ефрем в нем нуждался.

Иеффай взорвало: как смеет этот ефремлянин, гость в его шатре, напоминать ему о давнем предательстве его народа! Чего стоит один его смешной выговор: вместо «ш» он говорит «с». И вообще все они хвастуны: называя себя, обязательно добавляют имена отца, деда и всего рода. И, уже не скрывая издевки, заметил:

— Послушай, Аран, сын Шутихая и внук Болтухая из рода Суботтеев или еще кого! Мы тоже не жадные, по мне — делайте с пленными и прочей добычей, что хотите. А ежели желаете, чтобы вам заплатили за поход и переправу, то получите по четыре сикля на брата. Но радость моей победы и благословение Ягве я не дам испортить вашим бахвальством. Вы хотели нам добра — и на том спасибо. Вы нашли мой войсковой знак — и за это благодарю.

Ешь и пей за моим столом и будь моим гостем всю эту ночь. Но потом убирайся восвояси, за Иордан. Говоришь, путь был труден. Даю тебе срок, чтобы вы могли отдохнуть. И жду до полной луны. Но если к тому времени все твои люди до единого не уберутся из Галаада, я буду смотреть на тебя не как на гостя, а как на врага, вторгшегося в мою страну, то есть как на Аммон и Моав; узнаешь тогда, что мечи наши не притупились за эту битву.

Аран ответил:

— Израиль рассудит, кто прав — ты или твой спаситель. — И ушел.

Оставшись один, Иеффай презрительно фыркнул. Этот чванливый ефремлянин, очевидно, всерьез вообразил, будто в победе есть и его заслуга!

Явился Самегар, и вид у него был чрезвычайно озабоченный и строгий: мол, Аран пригрозил, что Ефрем пошлет все свое войско отомстить за обиду. Но ведь если Ефрем пойдет на них войной, то и Аммон вновь осмелеет. Галааду придется воевать сразу с Аммоном и с Ефремом, и тут уж победа Иеффая наверняка пойдет прахом.

— Какое счастье,— заключил он,— что я не успел отправиться в обратный путь. Только что поговорил с разгневанным Араном и немного его успокоил. Уйми и ты свой норов, Иеффай. Позволь мне вернуть Арана. Поблагодари его по-хорошему.

Разум подсказывал Иеффаю, что Самегар прав. Ни один военачальник не стерпел бы обиду, которую он нанес Арану, тем более гордец ефремлянин. И если сейчас не загладить вину, вспыхнет — без нужды и причины — новая война, причем война с еще более могущественными противниками, и уже не за, а против Ягве. Но с другой стороны, если сейчас унизиться перед ефремлянином, значит, запятнать и славу свою, и победу; она опротивеет Иеффаю, как опротивел ему медный знак, помятый, погнутый, исцарапанный, валяющийся перед ним на земле. Он велел Арану покинуть страну и отменять свой приказ не намерен.

— Не лезь не в свое дело,— злобно прошипел он.— Кто вас просил звать сюда этих наглых ефремлян? Это вы с Авиямом позаботились и испортили мне радость победы.

Самегар обиделся, но сдержался.

— Брат мой, умоляю тебя,— заклинал он,— не подвергай свою победу новой опасности. Не допусти, чтобы сыны Израилевы воевали между собой. Не дай мелкой распре превратиться в войну с Ефремом.

— Хватит, с меня довольно, трус! — оборвал его Иеффай, и в голосе его, по-прежнему тихом, еще явственнее прорвался бурлящий в нем гнев.— Замолчи и не раздражай меня долее!

Тут Самегар и впрямь струсил. Он стоял, слабый и жалкий, замирая от страха перед своим бешеным чванливым братом. Но он не имел сейчас права думать о себе, его долг был предотвратить братоубийственную войну между израильтянами; и он подавил свой страх.

— Ты многим обязан Арану,— упрямо заявил он.— И сам это знаешь. Он явился как посланец Ягве и принес тебе победу. Оскорбив его, ты оскорбил Ягве.

Иеффай жестом прервал его.

— Мне бы следовало проучить тебя, как в прошлый раз,— сказал он.— Но ты доставил мне Ковчег Завета. И я пощажу тебя.

Он поднял с земли войсковой знак и угрожающе взмахнул им над головой Самегара.

— А теперь уходи! — заорал он.

Ночью Иеффай держал сам с собою военный совет. Раз уж он не стал извиняться перед Араном, то надо будет, по крайней мере, вернуться на юг, принудить к сражению царя Нахаша, пока у того нет поддержки Васана, и силой добиться присяги и мира. Ефремлянам потребуется месяц или больше, чтобы подготовиться к походу в Галаад, а за месяц он успеет расправиться с аммонитянами.

Но ничего этого он делать не стал: из него словно выжали все соки. И лагерь свой не снял, так и остался у Пенуэла на реке Иавок. Только на одно его хватило: послать гонца к Латараку в Вавилон и заказать новый войсковой знак.

10

Аран стал станом у Бет-Новы, небольшого селения к югу от Иавока, у дороги на Массифу. Видимо, он не собирался возвращаться домой, не добившись признания его права на часть славы победителя.

Самегар тоже оставался где-то поблизости и продолжал переговоры с ефремлянами. Аран заявил ему, что готов забыть обиду, если Иеффай предложит ему въехать в Массифу бок о бок с ним.

Рассудок подсказывал Иеффаю принять это условие. Ефремлянин требовал за грубое оскорбление вполне приемлемую плату. Однако злость и досада помutilи его разум. Иеффай ничего не ответил Арану. И вопреки всем военным расчетам решил остаться у Иавока до полнолуния, когда истечет срок, назначенный им ефремлянам. А сам прикидывал, как поступить, если они не уйдут. Но так ничего и не решил.

До полнолуния оставалось всего три дня. Иеффай спросил своих воинов:

— Ну как, убрались ефремляне?

Те ответили:

— Нет, господин судья и военачальник.

Тогда он снял свой лагерь — по всей видимости, для того, чтобы двинуться к Массифе. Но туда не пошел. Он

остановился неподалеку и раскинул шатры на плоской вершине большого холма Цафон, господствовавшего над дорогой на Массифу и бродом через Иордан.

За день до полнолуния он опять спросил своих воинов, на этот раз в присутствии Емина:

— Ну как, убрались ефремляне?

Те вновь ответили:

— Нет, господин судья и военачальник.

Оставшись один на один с Емином, он заметался в бессильной злобе из угла в угол.

— Я обещал щадить их до полной луны,— процедил он сквозь зубы.— Но что я сделаю на следующий день? Надо бы перебить их как диких зверей — угрозу для стада.— Он не глядел на Емина, сновал по шатру, словно был заперт в клетке, и говорил сам с собой. Но когда он повернулся лицом к Емину, тот увидел зеленые искорки в глазах Иеффая и понял: Иеффай говорил не только с собой. Он, Емин, был его «правой рукой», Иеффай сам дал ему это почетное имя. «Надо бы перебить их как диких зверей». Слова Иеффая запали ему в душу, руки его запросили лихого дела.

Наутро после полнолуния многие шатры в лагере Иеффая на холме Цафон опустели. Пуст был и шатер Емина. Иеффай это заметил. Но ни о чем не спросил. Он прошелся по лагерю. Как всегда, обменялся грубоватыми шутками с воинами. С вершины холма зорко оглядел дорогу на Массифу и брод через Иордан.

А Емин между тем ночью поднял по тревоге самых надежных воинов, большей частью тех, кто с первых лет были в отряде. И быстрым шагом повел их к стану ефремлян у Бет-Новы. На рассвете он вошел в шатер Арана.

— Тебе было велено,— сказал он и выпятил подбородок, как Иеффай,— покинуть страну. И был назначен срок. Он истек.

— Я подчиняюсь только приказам моего начальника Тахана,— ответил Аран.— Он послал меня освободить вас от Аммона. Что я и сделал. Как только нас достойно поблагодарят, сразу же вернусь домой и доложу.

— Если немедленно и без возражений не снимешь шатры и не уберешься за реку,— оборвал его Емин,— я тебя сам достойнейше отблагодарю.

— А ну — вон отсюда, горлодер! — вспыхнул Аран.— Не то расправлюсь с тобой, как расправился с аммонитянами.

И вот уже люди Емина схватились врукопашную с ефремлянами; сперва они колотили друг друга кулаками и мечами, горлая и осыпая противников насмешками и отборной руганью. Емин не хотел кровопролития, его целью было просто прогнать ефремлян за реку. Но не успел он оглянуться, как пролилась кровь и перебранка превратилась в побоище.

Силы противников были равны. Под командой Арана было тринадцать сотен. Столько же поднял по тревоге Емин: он хотел честного боя. И люди его были не более искусными воинами, чем ефремляне. Однако тех захватили врасплох. Они не успели как следует изготавиться, но защищались храбро и многих уложили. Оба отряда вошли во вкус и так распалились, что рубили уже сплеча, и не было числа павшим. Сам Аран вскоре куда-то исчез, его люди решили, что он убит, растерялись и стали отступать. Воины Емина бросились их преследовать, ефремляне устремились на север, к броду через Иордан у Цафона.

Стоя на вершине холма, Иеффай видел, как беглецы бросились к броду. В живых оставалось немного, да и те совсем потеряли голову. То, что происходило там, внизу, походило уже не на бой, а на бойню.

Дикий азарт лихой и веселой охоты, охвативший преследователей, передался и Иеффаю. Но внутренний его голос предостерегал: там, внизу, творится нечто позорное и бессмысленное, добром это не кончится. Ему бы выйти наперерез своим и прекратить преследование. «Не будь сыном своего отца! — кричит внутренний голос. — Не поддавайся своим страстям! Положи конец безумному побоищу!» А другой голос перебивает: «Дай простор своим чувствам! Будь сыном дикой природы, ее счастливым владыкой!» Но и разум его не спит, он работает с бешеной скоростью и показывает, что получится, прекрати он это смертоубийство. Получится, что он признает преступность содеянного. И значит, отдаст себя во власть закона. Ефрем потребует возмездия. Иеффаю придется выдать Емина, а сам он будет унижен и проклят во веки веков.

Он не спустился с холма. Предоставил событиям идти своим ходом.

Емин вырос пред ним, сияя от радости, как мальчишка, и доложил:

— Дикie звери не нападут на твое стадо, господин судья и военачальник!

Емин сделал то, чего Иеффай втайне желал — но ведь только желал, а не приказывал исполнить желаемое. Так что покуда он еще чист — но не перед Ягве. Стоит Богу сейчас нахмурить брови и строго спросить: «А что это произошло там, внизу? Что вы там натворили?» — и Емину, а не ему придется держать ответ перед Галаадом и Израилем. Сейчас еще можно так все повернуть. Сейчас или никогда. Но как отречься от собственной воли, что стала словом? И как бросить на произвол судьбы Емина, который исполнил его желание?

— Благодарю тебя, Емин,— выдавил он.— Ты поступил правильно, дорогой.— Но сказав это, он без сил опустился на землю.

А Емин поскакал к броду через Иордан. Его люди потрудились на славу и заплатили за победу дорогой ценой: в живых остались немногие; пусть теперь уцелевшие позабавятся — они это заслужили. Разбитые наголову ефремляне наверняка попрятались кто куда и теперь попытаются перейти реку и вернуться в свою страну. То-то будет потеха — устроить им веселенькое купанье!

Емин загодя оставил сотню воинов в засаде у брода. Больше половины его отряда погибло, и сидевшие в засаде жаждали отомстить ефремлянам за павших.

Тут появились первые беглецы, их было трое. Оружие они бросили и имели вид мирных жителей; один из них хромал. Воины сказали:

— Мир вам, люди добрые. Какого вы роду-племени и куда путь держите?

Трое ответили, что все они из рода Авиезерова и живут в городе Офра. Прослышав, что в Галаад вторгались аммонитяне, они решили проведать своих тамошних родственников и теперь возвращаются к себе за реку, за Иордан.

— Вон оно что,— заулыбались воины.— Вы, оказывается, из рода Авиезерова и идете домой за реку.— Но вместо «река» употребили слово «шибболет», что значит «ручей» и совсем не подходит к Иордану.

А те опять повторили:

— Да, мы из рода Авиезерова и идем домой за реку. Но воины гнули свое:

— Вода в реке спала, и здесь, у брода, Иордан стал мелким, как шибболет. Так что говорите ясно и четко: хотим перейти шибболет.— А сами ждут, что ефремляне вместо «ш» скажут «с».

Так оно и получилось.

— Да, хотим перейти шибболет.

Воины обрадовались и дружески попросили:

— Ну-ка, еще раз повторите, что хотите перейти шибболет.

Трое беглецов опять не смогли выговорить шипящий звук «ш». Тогда воины добродушно заметили:

— Ну что же вы, ефремляне, два раза подряд — и все невпопад, — после чего раскрыли всем троим черепа и под дружный хохот бросили тела в Иордан.

Емин рассказал Иеффая о неудавшейся попытке ефремлян бежать за реку и при этом очень смеялся; Иеффай ему вторил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Весь этот день Иеффай был ужасно весел. И даже на следующее утро проснулся с мыслью об одержанной им великой победе.

Потом принялся обдумывать дела, которые надо было завершить. Сперва он рассчитается с жителями семи северных уделов Васана — многие из них его предали.

Но вместо этого он отдал приказ выступать в Массифу, то есть на юг. Удивленным командирам он объяснил, что хочет побыстрее принудить царя Нахаша заключить с ним мир, дабы тот не успел объединиться с Ефремом.

В глубине души он понимал, что удерживало его от похода на север нечто другое. Там находились Кетура и Иаала, а ведь он поклялся Ягве: «Я вознесу тебе на всеожжение того, кто выйдет мне навстречу из дома моего, даже если то будет самый дорогой мне человек». В смятении и ужасе той минуты он неточно выразился, и было неясно, считать ли его лагерь и шатер в земле Тов «его домом». Так что умнее и осторожнее было отправиться в Массифу и не появляться на севере, где жила его семья. Темное, недоброе любопытство зашевелилось в нем: кого же из близких вышлет Ягве ему навстречу в Массифе, чтобы он убил его и выполнил клятву.

На пути его повсюду встречали с почетом и ликованием. Правда, кое-кто сомневался, хорошо ли поступил Иеффай, напав на ефремлян, не прогневил ли он этим Ягве. Но большинство галаадитян прониклись к нему безграничным доверием и не ощущали ничего, кроме счастья великой

победы. А уж над веселой шуткой, которую Иеффай и его люди сыграли с ефремлянами у брода через Иордан, потешалась вся страна. Галаадитяне были люди серьезные, солидные и редко смеялись; но стоило кому-нибудь напомнить случай у брода, как все начинали подталкивать друг друга локтем в бок и покатываться со смеху. «Шибболет!» — восклицали они, — «Шолом!» — и другие слова, начинающиеся на «ш», и потешались над глупыми простофилями-ефремлянами: это надо же, такие простые слова не могут правильно выговорить!

В этом походе перед Иеффаем не несли его войсковой знак: он ждал, когда Латарак пришлет ему новый. Но на подходе к Массифе Иеффай сделал крюк к холму Овот и там, у погребальной пещеры, вытащил старый знак. Приказав отвалить от входа камни, он вошел внутрь, чтобы положить перед отцом помятый и покоробленный щит с тучей и молнией — свидетельство его беды и его победы.

Смрадом и холодом пахнуло ему в лицо. В полумраке тускло блеснули его амулеты. Он положил перед мертвым отцом свой войсковой знак и рассказал обо всем, что произошло в его жизни за истекшее время. «Твой сын Иеффай одержал победу, равной которой не знали израильтяне с тех пор, как Варак и Девора разбили наголову хананеев. Аммон и Моав теперь долго не посмеют сунуться в земли Израиля. Я принес тебе войсковой знак, который видел мою беду и мою победу. Но признаюсь тебе, он меня больше не радует. Ибо я дал волю своей гордыне и убил тех, кто нашел и вернул мне его. Я содеял зло и боюсь, что Ягве мной недоволен. Когда я был у тебя в последний раз, я хвастался, что, в отличие от тебя, сумею держать себя в руках. Я обманул нас обоих: мне тоже не удалось справиться с охватившим меня бешенством. Если можешь, сделай так, чтобы это не породило нового зла. Покамест все идет хорошо. Я одержал победу и могу тебе сказать: твой сын прославил данное тобой имя».

Когда он вышел из пещеры, на душе его вновь было легко. Счастливым победителем ехал он мимо Холма мертвых детей, приближаясь к стенам Массифы.

Город был охвачен горделивым ликованием, что лишь усилило в нем сознание своей победы. Навстречу ему из ворот высыпали люди с пением, с приветственными кликами, под звуки громкой радостной музыки.

Среди пронзительных звуков арф, флейт и цитр выделились странные здесь и в то же время так хорошо ему

знакомые глухие удары: то был тимпан Иаалы! Как же это? Ведь он приехал в Массифу, а не в землю Тов. А попал все же туда? В голове у него все смешалось, как бывает во сне.

Но Массифа была явью, и явью же — Иаала, его дочь: это она, приплясывая, двигалась ему навстречу впереди группы девушек.

Страшный черный вихрь налетел на него. «Того, кто выйдет мне навстречу, — поклялся он тогда Богу. — Даже если то будет самый дорогой мне человек!»

А Иаала между тем уже приближалась к нему, танцуя; стремительная и в то же время легкая как мотылек, она пела, сопровождая пение звуками тимпана: «Великий и могучий Ягве наслал потоки воды на врагов, и они захлебнулись. А Иеффай, избранник Бога, разил их мечом. Велик Иеффай среди других героев. Судья Галаад уложил в великой битве четыре тысячи воинов, а судья Иеффай — четырнадцать тысяч. В честь его возвращения алые праздничные ковры устилают двор перед его домом. Люди и стены Массифы возносят ему хвалу — судье, воину и победителю!»

Так пела Иаала. Но широкое лицо Иеффая вдруг почернело, черты его исказились. От горя и гнева ему хотелось бежать куда глаза глядят, хотелось буйствовать, рвать на себе волосы и платье.

Кетура и Иаала перепугались. Ведь в Массифе они оказались самовольно: Иаале не терпелось поскорее быть рядом с отцом, чтобы после победы он взял ее с собой в Раббат, как обещал, а Кетура тотчас согласилась на ее просьбу торжественно встретить победителя, и обе отправились в Массифу. Они хотели его обрадовать, но, очевидно, ошиблись.

Страшным усилием воли Иеффай овладел собой. И голосом, еще более хриплым, чем обычно, выдавил:

— Благодарю тебя, Кетура. Благодарю тебя, Иаала, дочь моя. Благодарю вас всех. Но еще не время ступить по алым коврам. Война не кончена. Сначала я должен заставить Аммон поклясться хранить мир и платить нам дань.

Он не въехал в ворота города, а разбил лагерь за ними, как сделал до битвы. Прибывшим с ним воинам был дан один день на отдых.

А сам он лежал ночью без сна. Из головы не шли строки из песни о Деворе, прославлявшие подвиг Иаили. Иаиль — Иаала. Иаиль вонзила шест от шатра в висок Сисары,

военачальника хананеев. Мать ожидала его возвращения с победой и богатой добычей, а он лежал убитый в шатре Иаили. Иаала ждала отца не напрасно. Он вернулся с победой и богатой добычей; но вернулся, чтобы ее убить.

Он не мог больше лежать на циновке. После третьей стражи он встал и вышел из спящего лагеря мимо удивленных его появлением постовых. Удалившись в ночной мрак, он поднялся на один из холмов. Серп луны, низко висевший в небе, отбрасывал слабый свет. Земля вокруг казалась мертвой пустыней, древней, безжизненной и немой.

Иеффай стоял на вершине, могучий и одинокий, выставив вперед подбородок и крепко сжав зубы.

Ягве одурачил его и сыграл с ним злую шутку. Это он внушил Нахашу мысль посвятить сына к Иаале, то есть предложить Иеффаю отдать дочь Милхому. И поскольку он, Иеффай, не сразу устоял перед соблазном, Бог обиделся и в отместку потребовал его дочь уже для себя. Он большой лакомка, наш Бог. А девочка Иаала — лакомый кусочек. Она сильнее чувствует, глубже видит, кожа у нее, равно как и душа, тоньше, чем у других людей. Потому Ягве и пожелал заполучить ее для себя. Прожорливому Богу захотелось ею полакомиться.

Но не таков Иеффай, чтобы позволить кому-то повелевать собою, даже Ягве. В памяти всплыл тот горный козел, акко. Теперь он, Иеффай, силен, под его властью огромное войско и бескрайние земли. И если теперь, после победы, он породнится с царем Нахашем, то сможет основать великое царство, которое мысленно увидел с вершины Хермона, и без помощи Ягве, даже вопреки его воле.

И он вызывающе рассмеялся. «Если Милхом поддержит меня, — во весь голос крикнул он в ночную мглу, — хорошо! Если поддержит Ягве — тоже хорошо. Но даже если никто не поддержит — все равно хорошо!»

Ужас объял его от звучания собственных слов, мороз пробежал по коже. Он вспомнил о духах, которые бродят в пустынных местах, чаще всего ночью, и о том, что Ягве — самый могущественный среди них. Ему не справиться с Ягве. Выхода нет. Если он не принесет дочь в жертву Богу, тот сам возьмет обещанное, а его, клятвопреступника, уничтожит.

Он сел на землю. Заново пережил позор и разгром на холмах у Нахле-Гада. Вновь услышал слова клятвы, обра-

щенной к грозовым тучам. В глубине души он знал, что именно дочь он предлагал Ягве в награду за спасение. Но, затуманив этот смысл словами, хотел обмануть и перехитрить Бога — так же, как в свое время провел и перехитрил Авира, да и Нахаша тоже. Но Ягве — не какой-то там царек, Ягве не даст себя обмануть.

Все же Бог мог бы и облегчить своему избраннику исполнение клятвы и выслать навстречу кого-нибудь другого — например, любимого слугу, юного Есевона. Но и он сам хорош: так возрадовался победе, что решился на новый дерзкий вызов Богу: в приступе ярости изрубил людей, которых Бог послал ему в помощь. И когда навстречу ему вышла Иаала, то была не злая шутка коварного Бога, а Господня кара.

Так сидел на холме Иеффай, судья, военачальник и победитель, и, мучимый сознанием непоправимости содеянного и раскаянием, глядел на серую в предрассветных сумерках родную землю.

2

Жители Массифы полагали, что Иеффай не преминет воспользоваться победой и немедленно ударит с войском на царя Нахаша, — ведь в руках царя по-прежнему находился город Иоквеа. Но дни шли, а Иеффай ничего не предпринимал.

Рассудительный Елек явился в лагерь и напрямик спросил брата, почему бы ему сейчас не заставить Нахаша заключить мир. Пришла пора сеять, в хозяйстве не хватает мужчин, а те попусту тратят время в его лагере. Иеффай резко оборвал брата — пусть, мол, предоставит ему, главе войска, решать, когда и как закончить войну. Говорил он так грубо, что Елек умолк.

Иеффай понимал, что брат прав. Но был уверен: что бы он теперь ни предпринял, все обречено на провал, пока не оплачен долг Ягве. Придется ему исполнить клятву, причем немедленно.

И все же ничего не делал для этого, не мог себя заставить. А в мыслях видел с ужасающей ясностью, как Иаала, его девочка, лежит связанная на жертвенном камне. Видел ее напрягшуюся шею, видел нож в своей руке, видел, как эта рука заносит нож, видел, как, судорожно дернувшись, обмякает ее тело, видел, как кровь стекает по камню. И у сильного мужчины и воина, столько раз бестрепетно

глядевшего в глаза смерти, мысли путались от бессильной злости.

Он стал раздумывать, как бы увернуться от данного Богу слова. Принося клятву, всегда призывают Бога покарать за ее нарушение; это главная часть любой клятвы. А он эту часть опустил, и, значит, клятва его не имеет силы. Но, ища какую-нибудь лазейку, он в душе понимал, что не прав. Ведь Ягве кивнул ему в знак согласия, покинул Ковчег и сражался на его стороне. Ягве исполнил свой долг; теперь был черед Иеффая.

Встревоженный слухом о расправе над ефремлянами, из Васана примчался Пар, верный друг.

— Говорят, что ефремляне явились тебе на помощь, а их потом порубили. Порубили наши. Я, конечно, уверен, что это неправда. И думаю, что люди просто чего-то не поняли. Наши, наверно, еще не остыли после битвы, а ефремляне по натуре заносчивы, видно, задели чем-то наших; люди, опьяненные победой, часто поступают неразумно, не подумав. Но сейчас весь западный Израиль бурлит; говорят, что Ефрем собирается напасть на Галаад. Прошу тебя, Иеффай, скажи мне, что произошло на самом деле.

Занятый своими мыслями, Иеффай рассеянно посмотрел на друга и прочел в его глазах тревогу и полное доверие к нему лично.

— Отрядом, напавшим на ефремлян, — выдавил он наконец, — командовал Емин. Пусть он и скажет.

Емин тут же пришел и с упоением и гордостью стал рассказывать:

— Наш военачальник приказал ефремлянам убраться из Галаада до полнолуния. Но они и не подумали и в последний день все еще стояли у Бет-Новы. Тогда он сказал, что их надо перебить, как диких зверей. И еще он сказал: «Кто снимет с меня это бремя?» Вот я и взял тринадцать сотен своих воинов — у ефремлян было столько же, а я хотел честного боя, — пошел к ефремлянам и призвал их к ответу. Но они вели себя нагло и всячески поносили нашего начальника. Вот я и сделал, как он сказал, и снял с него это бремя!

Воцарилось молчание. Широкоплечий, приземистый Пар дышал так шумно, что казалось, он стонет; ноги не держали его, и он сел. А Иеффай заключил рассказ Емина словами:

— Ты изложил все как было. Именно так я сказал. И ты меня правильно понял.

Оставшись наедине с Паром, Иеффай вздохнул:

— Ну вот, теперь ты знаешь, как это было. Думаю, из ефремлян спаслось не больше двух сотен. Да и наших полегло около восьмисот.

Пар все еще молчал. Потом — Иеффай никогда такого не видел — спокойный, уравновешенный Пар безудержно разрыдался.

— Зачем ты это сделал, Иеффай? — спросил он сквозь слезы.

— По причинам, которых тебе не понять, добродетельный муж, моей сестры, — ответил тот. — Я и сам их не совсем понимаю.

И Пар едва слышно выдохнул:

— Сперва ты потребовал у меня сокровища Ягве. Я дал. И во славу Ягве ты одержал победу у Нахле-Гада. В те дни каждая моя кровинка дрожала от радости.

Ухмыльнувшись, Иеффай продолжил за него:

— А потом я вдруг взял и ни с того ни с сего прикончил ефремлян, приверженцев Ягве. И на это потратил его сокровища. И значит, совершил святотатство. Ты это хотел сказать? Не думаешь ли пожаловаться на меня Авияму?

Пар разразился целой обвинительной речью:

— Я вспоминаю тот день, когда ты, лежа в шатре, открыл перед нами душу. Мол, Ягве вдохнул в тебя решимость объединить все колена Израилевы в единый народ. Видно, теперь дыхание Бога обошло тебя стороной, и Израиль расколот враждой страшнее, чем прежде. Я собирался вернуться в мирную обжитую страну Ягве. Но ты превратил весь Израиль в дикий край, где каждый волен творить что вздумает. Я потерял тебя, Иеффай. У меня ничего не осталось, кроме Казии и земли Тов.

— Ты хочешь меня покинуть, Пар? — спросил Иеффай, удивленно покачав головой. — А ведь там, в земле Тов, когда я бросил камень в человека, требовавшего вернуть ему беглого раба, ты меня сразу понял.

Пар взмолился:

— Объясни же, почему ты это сделал, Иеффай! Откройся мне!

Иеффай знал: расскажи он другу о страшной каре, уготованной ему Богом, Пар останется с ним. Но он не хотел ничьей жалости. Даже жалости Пара. Он сам справится со своей клятвой и с Ягве.

И он отпустил Пара.

Наконец Иеффай собрался с духом и решил открыть Иаале свою тайну.

Для этого он предложил ей совершить с ним прогулку в холмистую местность на север от города. Все это время Иаала печалилась, что огорчила отца, выйдя его встретить к воротам. И теперь взволнованно и преданно ждала, что он скажет.

А он смотрел, как радостно и уверенно ступает она по земле, и даже испугался, поняв, как сильно он ее любит, — больше, чем Кетуру, больше, чем самого себя, больше, чем власть и славу мира. В нее он не сможет вонзить нож. Он возьмет ее за руку, ее и Кетуру, и уведет их обеих в самый глухой уголок дикого края. Но от Ягве и там не скроешься. Бог спустится с горы Синай, найдет Иеффая, где бы тот ни был, и скажет: «Я услышал твой обет и дал тебе победить, а ты не сдержал слова: где же обещанная тобой жертва?» И Ягве убьет его и его близких.

К северу от Массифы тянулись поля, изредка перемежаясь овчарнями и загонами; идти им пришлось долго, прежде чем они добрались до рощи, где можно было присесть и поговорить. Иеффай глядел на спокойное, освещенное внутренним светом лицо дочери, видел, как искренне она рада ему, и понял, что она любит его так же сильно, как он ее. На память пришла пословица, не раз слышанная им от старого Толы: «Льва может убить лишь тот, кого лев любит».

А Иаала говорила и говорила без умолку, торопясь открыть отцу свои маленькие тайны. Победа отца ее ничуть не удивила. Она знала, что он будет воевать с Аммоном и непременно его побьет, — еще с того дня, когда он спросил, хочет ли она отправиться вместе с ним в Раббат. Простодушно призналась, что стихи в честь победы сложила еще до битвы.

Иеффай слушал ее детский, немного ломкий голос. Смотрел ей в глаза. Сколько живости, ясности и глубины было в этих глазах! И вдруг издал какой-то странный звук — не то стон, не то вой, — разорвал на себе платье, стал бить себя в грудь, царапать ее ногтями и стенать: «Увы мне! О горе!»

— О дочь моя, — вымолвил он наконец. — Сколько страданий навлекла ты на меня своей кротостью и любовью. Эта любовь заставила тебя выйти мне навстречу, и ты пела для Ягве и для меня; и вот теперь Бог хочет заполу-

чить тебя всю, а не только твоё пение. Увы мне! О горе! Как жесток наш бог Ягве!

Иаала глядела на него во все глаза. Она слышала произнесенные им слова, но не понимала их смысла. Потом поняла, что страдает он по ее вине и что ее ожидает что-то страшное. Она не раз видела, как умирает жертвенное животное, и всей душой жалела его, глядя, как кровь и жизнь уходят из его тела. Теперь ей самой предстояло лечь на жертвенный алтарь. И боль, невыносимая, смертельная боль пронзила ее. Бледная как полотно, она соскользнула с пенки, на котором сидела, и глаза ее закрылись.

Иеффай гладил ее по щекам, прижимал к себе и тормошил, покуда дыхание не вернулось к ней. Она взглянула на отца с улыбкой, от которой мучительно сжалось его сердце, и попросила: «Дай мне немного полежать в тишине, отец, а потом скажи больше того, что сказал, коли будет на то твоя воля».

Он сидел рядом с ней и держал ее руку. Вновь пронзила ее та невыносимая, оглушительная боль, от которой она лишилась чувств. Но кроме боли она ощутила теперь и какую-то странную радость, готовность к чему-то, что рвалось наружу из ее души. Она лишь смутно ощущала внутри нечто возвышенное и неудержимое, но уже знала, что сумеет облечь это нечто в слова. У Иеффая же в голове вихрем неслись то страшные, то трогательные картины, но все они были окутаны каким-то туманом, не имели четких форм и очертаний, он ни за что не смог бы их описать.

Спустя какое-то время Иаала вновь обрела дар речи и сказала:

— А теперь говори, отец, прошу тебя.

И Иеффай рассказал ей как умел о битве, которая поначалу обещала победу, а потом обернулась гибельным поражением, рассказал, как дал клятву Ягве и как Бог ее принял, как Он покинул Ковчег, удесятерил силы его самого и галаадского войска, а врагов лишил воли к победе и обессилил.

Иаала внимательно слушала. И, слушая, кивала то задумчиво и недоверчиво, то одобрительно и понимающе. Каким-то необычайным торжеством, какой-то удивительной радостью засветилось ее лицо, и она сказала:

— Всем своим существом я преклоняюсь перед Ягве. Как милостив он ко мне, сделав тебя своим избранником; ведь я — твоя плоть и кровь.

И она до дна открыла отцу свою душу и поведала о том, что доньше таилось в ее сердце. Емин был ей верным другом; Бог послал его, чтобы ее спасти. Но Емин хотел, чтобы она легла на его циновку; он выражал это не словами, а взглядами и всем своим поведением. А это ее пугало. Главной и высшей ее радостью было облекать в слова то, что рождалось в ее душе; и выпадали часы, когда это получалось. Сама по себе она ничто, но, когда слова и песни просятся из груди и выходят наружу, она живет полной жизнью и ощущает свое родство и сходство с отцом. Если же она ляжет на циновку с мужчиной, если посвятит свою душу и жизнь услаждению его плоти, то неизбежно утратит свой дар. А теперь Ягве в своей неизреченной милости посылает ей избавление от этого страха. Теперь она уверена, что сольется с Богом, что ее кровь станет его кровью и укрепит его могущество. -

Иеффай долго думал и наконец возразил:

— Ягве вдохнул в тебя дар трогать души людей своим видом и голосом, а теперь хочет владеть всем этим один и похитить тебя у меня. Он лишает тебя того, что предназначено каждой женщине и составляет ее радость.

— А мне этого и не надо,— ответила Иаала.— Я этого боюсь. Я рада и горда, что и моя доля есть в твоей победе. Сделай со мной то, что сказали Богу твои уста, отец.

Они еще долго сидели вместе. Иеффай осознал, что любил эту девочку сильнее и иначе, чем любую из женщин; он ревновал ее к Ягве и был совершенно раздавлен горем. А ее душа наполнилась жуткими, но милыми ее сердцу картинами. Она уже явственно видела жертвенный камень, на котором будет лежать, видела занесенный над нею нож Ягве и содрогалась от ужаса. Но ужас тут же сменялся блаженством, ибо это ужасное и было для нее высшим и истинным счастьем, единственным возможным для нее счастьем. Она предвкушала свое слияние с Богом, отец и Ягве стали едины, и в душе ее воцарился мир.

Иеффай и его дочь безмолвно условились скрыть от Кетуры то, что они теперь оба знали.

А Кетура ни о чем не спрашивала. Увидев Иеффая после победы у ворот Массифы, она ничуть не удивилась его растерянности. Ничего другого она и не ждала. Ведь победив народ его матери и жены, он бросил вызов Милхо-

му. Вот Милхом и отомстил ему, помутив его разум и обратив его меч против ефремлян, его братьев по вере. Потом Иеффай осознал свою вину; потому и входит в Массифу не с видом победителя: боится еще больше прогневить Милхома. Она, Кетура, должна помочь мужу и вернуть его своему богу.

— Ты исполнил все, что обещал,— сказала она ему.— Ты спас Галаад и унизил твоих наглых сородичей. А теперь давай уйдем от этих людей, они были и остались твоими врагами. Вернемся в страну, которую ты завоевал своим мечом без помощи Ягве и где твой злобный и неистовый бог не имеет над тобой власти. Там,— ловко ввернула она ласковым голосом,— Милхом обязательно тебя простит.

Иеффай ужаснулся, поняв, как далека она от него теперь. Кетура всерьез думала, что он пошел войной на Аммон лишь для того, чтобы утереть нос Зильпе и братьям. В ее глазах эта великая война Израиля ничем не отличалась от мелких набегов на города Васана, которые Иеффай время от времени совершал. Как было ей понять тот ужас, который их всех ожидал?

И все же он обязан был ей открыться. Причем сейчас. Нельзя допустить, чтобы она узнала об этом от посторонних.

И он рассказал ей все, избегая смотреть ей в глаза и стараясь говорить как можно короче и суше.

Кетура уставилась на него расширенными от ужаса глазами. Человек, стоявший перед ней и произносивший какие-то дикие слова, противоречащие самой природе, был не Иеффай. Подлинного Иеффая, ее мужа, злой бог, наверное, столкнул в погребальную пещеру. А тот, что стоял перед ней, был его дух, дух мертвого Иеффая, причем злой дух, и пришел он, чтобы причинить ей зло.

Она стряхнула с себя оцепенение. Поняла до конца смысл его слов. Он собирался лишить жизни Иаалу! Девственницу Иаалу, ее плоть и кровь, ее дочь, которая могла бы продлить жизнь и самой Кетуры! Ее он хотел умертвить! И ради кого? Ради ее врага, ради Ягве, ради того, чтобы кровь дочери прибавила богу силы! Она всегда знала: когда-нибудь ненавистный бог нападет на нее, как некогда напал в лесу волк. Она не могла вымолвить ни слова и чувствовала, что сейчас задохнется.

Иеффай горестно заключил:

— Когда тебя предназначили в жертву Ягве, я смог тебя спасти. Дочь я спасти не могу.

Кетура справилась с собой. И завопила:

— Ты безумец, ты кровавый безумец! Милхом хотел тебе добра, когда требовал отдать Иаалу Аммону: наш род продолжили бы потомки царей. Но тебе этого мало. Ты хочешь принести дочь в жертву Ягве лишь для того, чтобы обрести еще больше власти и славы, ненасытный ты человек! Ты что — не понимаешь, что и себя, и меня уничтожаешь в ней? Твой бог наказал тебя, лишив рассудка! Я не допущу злодейства! — кричала она. — Я заслоню собой дитя! Не допущу!

Иеффай глядел на нее с жалостью и грустью, как на чужую.

Вдруг она резко сменила тон, опять стала молодой и наивной и с упорством отчаяния все повторяла и повторяла свою прежнюю просьбу:

— Иеффай, муж мой, возлюбленный мой, я возьму тебя за руку, другой рукой поведу нашу девочку, и мы уйдем из страны этого коварного и злобного Ягве. У Хермона его власть кончается. — Она схватила руку мужа, приложила к рубцу, оставшемуся на ее теле после схватки с волком, и сказала проникновенно: — Вот моя плата за то, чтобы мы все жили в стране радости. Мой бог — твой бог, он не причинит тебе зла.

Иеффай отнюдь не был ласковым мужем, но тут он привлек ее к себе и стал нежно гладить по волосам. Она была так хороша в своей беспомощности. Его тронула ее красота, он ощутил рукой упругость ее кожи, и его вновь потянуло к ней.

Но вдруг рука его наткнулась на какие-то посторонние предметы — то были талисманы, маленькие фигурки богов, которые она носила под платьем. Он всегда был терпим к тому, что она их чтила, верила в их силу, да он и сам немного всему этому верил. Но тут колдовские камешки вдруг вывели его из себя. Вот где первопричина ужаса, который теперь надвинулся на него! И тут же вспыхнуло воспоминание о событии, казалось бы, давно забытом: как он остриг наголо плененную им Кетуру. Считалось, что после этого она станет новым человеком. И она действительно стала другой. Без волос вид у нее был такой забавный, что он не мог удержаться от смеха; но и новая Кетура очень ему понравилась. А теперь он понял, что она вовсе не стала другой, искра истинной веры не запала ей в душу, и, по мере того как волосы отрастали, она все больше и больше превращалась в прежнюю Кетуру, пока не стала вновь такой, как была.

Чутье подсказало ей, что происходило в его душе: Иеффай, ее муж, опять оборачивался злым духом из погребальной пещеры, убийцей ее дочери.

И она резко оттолкнула его, повернулась и пошла прочь. Потом остановилась, обернулась и, собрав всю свою волю, еще раз бросила на него испытующий взгляд. Он шагнул к ней, подошел вплотную. И ужас объял ее. Она побежала. Помчалась прочь со всех ног, полная страха и ненависти.



Иеффай пошел в скинию, чтобы сообщить слуге Богу о своей клятве и о готовности ее выполнить. Он мог бы и сам соорудить алтарь из нетесаных камней и принести свою жертву в таком месте, какое сам выберет, для этого ему не нужен был священник; он был уверен: ненавистник Авиям лишь обрадуется, что у него вырвалась эта страшная клятва. Но вопреки всем доводам разума теплилась и надежда, что священник найдет какой-нибудь спасительный выход.

А Авиям давно уже ночами вел мысленно долгие споры с Иеффаем. Он, Авиям, добился своего, заставил Иеффая начать войну с Аммоном и обеспечил помощь Ефрема. Вот Иеффай и победил, но лишь для того, чтобы в жажде новой крови напасть на недавних своих союзников, братьев по вере, и зверски их уничтожить. Этот злодей обратил блеск победы в позор и мрак.

И когда Иеффай вошел, священник, несмотря на свою дряхлость, быстро, как молодой, вскочил с циновки. Он уже открыл было рот, чтобы возвестить наглецу гнев Ягве. Но тот, кто стоял перед ним, не был похож на прежнего Иеффая. На того, кто всегда излучал такой свет и радость жизни, что, глядя на него, даже серьезные, солидные галаадитяне настраивались на веселый лад. Разве этот поникший и раздавленный горем человек и есть победитель битвы у Нахле-Гада? И резкие, злобные слова застряли у священника в гортани.

Иеффай первый нарушил ставшее тяжким молчание, сказав:

— Ну, вот ты и получил желанную победу, священник.

Авиям не знал, как ему понимать эти слова. Неужели наглец смеет еще и требовать награды?

— Не думаю,— строго поджал губы Авиям,— что смогу помазать тебя священным маслом. Ты добился великой победы. Но боюсь, что сражался ты не за Ягве.

Иеффай ответил ему спокойно, без тени вражды:

— Этого ты боишься? Вероятно, ты прав.

Авиям счел этот ответ издевкой. И как он ни старался говорить сдержанно, в его голосе, по-прежнему молодом и сильном, явственно звучали печаль и гнев, когда он сказал:

— Иордан — река Ягве; она не сеяла раздора и не служила границей между западным и восточным Израилем. Ты сделал ее неодолимой преградой. Ты подло расколол великий Израиль. Ягве хотел, чтобы братья по вере жили одной семьей. А ты убил своего брата.

В словах Авияма было много правды. Но сам он — огромная голова, тощее тело, наставительный тон — вызывал у Иеффая отвращение. Горькая улыбка скользнула по его лицу, приоткрыв белоснежные зубы.

— Разве не ты настаивал, чтобы я начал войну? — язвительно ввернул он.

Но Авиям не дал себя прервать:

— Некогда мы были народом кочевников-пастухов. Но вот уже семь поколений стремимся стать оседлыми и превратить завоеванные нами земли в страну, где каждый может мирно сидеть под своей пальмой, а путник уверен, что повсюду найдет кров и пищу. Мы принадлежим к западным коленам Израиля, к тем народам, где царят закон и порядок. Я полагал, что ты способен возглавить борьбу с сынами Аммона, которые не оставляют попыток увлечь нас за собой в дикий край, в пустыню. Но оказалось, что ты и сам не смог противостать соблазнам дикарской свободы. Я убедил ефремлян забыть старые обиды и ответить добром на зло, выступив нам на подмогу. А ты перебил их воинов. В своей ненасытной гордыне ты порвал узы, связывавшие Галаад с Израилем.

Все было верно. Хуже того: Иеффай еще и собирался отдать свою дочь Милхому; наверное, ему бы следовало признаться в этом хранителю Ковчега. Но Ягве-то давно об этом знал, так что ничего бы не изменилось, узнай об этом священник. Страшная усталость навалилась на Иеффая, ноги его подломились, он опустил на землю и сказал:

— Не трать лишних слов, священник. Они пусты и ничтожны по сравнению с тем, что теперь выпало мне на долю.

Увидев, что Иеффай в крайнем отчаянии, Авиям умолк. Очевидно, произошло что-то ужасное. Спросить он побоялся.

А Иеффай продолжал:

— Я дал клятву. Тяжесть ее росла. И стала огромной. Теперь это гора, которая меня раздавит.

Помолчав, Авиям осторожно спросил:

— Какую клятву? Ты отказался от помазания и должности судьи?

— А страшнее ничего не можешь придумать? — горько усмехнулся Иеффай. — Нет, старик, Ягве постарается унижить меня побольнее. Выслушай же меня, Авиям, первосвященник Галаада, мой враг и друг! Выслушай, что придумал Бог, дабы меня погубить! — И рассказал о данной им клятве.

Пораженный услышанным, Авиям в полном смятении погрузился в себя. Неподвижно сидел, закрыв глаза. Мысли и чувства вихрем неслись и переполняли его. Вот когда он осознал до конца меру собственного неведения и ничтожества. Сколь по-человечески обыденным было испытание, которому он некогда хотел подвергнуть этого человека: отослать прочь жену! Нет, Ягве придумал для своего любимца нечто куда более тяжкое и изощренное.

Он взглянул на Иеффая. Вот он сидит, победитель у Нахле-Гада. Не на каменном престоле судьи, готовясь принять помазание. А на голой земле, поникший, убитый горем. И в священнике проснулась жалость к этому человеку. Может быть, есть все-таки способ выполнить клятву менее точно? Мягко и вкрадчиво, стараясь не задеть, он сказал:

— Прошу тебя, повтори мне слово в слово свою клятву.

Иеффай поднял на него глаза. Видно, священник в самом деле хотел ему помочь. А разве не за помощью он и пришел?

Но, еще не успев додумать эту мысль, он уже понял, что сделал шаг глупый и напрасный. Договор с Ягве был четок и ясен. Тут не помогут словесные увертки священника.

Едва слышно, но твердо и обреченно он ответил:

— Мне не нужна твоя жалость, священник. Не хочу, чтобы ты толковал мою клятву и облегчал мою участь. Это дело касается только меня и Ягве. Я сам, глупец, предложил ему Иаалу, а он не так глуп, чтобы отказаться от столь ценного дара. Ягве жаждет получить мою дочь, плоть от плоти и кровь от крови моей. — И, мрачно усмехнувшись,

заклучил: — Он жаждет крови. Все боги ее жаждут, разве не так?

Авиям догадался, какая борьба идет в душе этого человека. Он слишком горд, чтобы просить чьей-либо помощи, и в то же время отдал бы все на свете, чтобы ему подсказали какой-то выход. Поняв это, Авиям возликовал: во всем Галааде не было никого, кто мог бы ему помочь, кроме Авияма; это польстило его самолюбию.

И он намекнул Иеффая на первый способ увильнуть от самого страшного.

— А подумал ли ты, — спросил он, — что Богу угодна лишь та жертва, что добровольно готова отдать Ему свою жизнь? Правда, жизнь пленника Ягве приемлет и против его воли, но даже на жертвенное животное мы накладываем руку, дабы наша воля передалась ему. Ягве не примет твоей жертвы, если она сама не готова по доброй воле отдать ему свою кровь и жизнь.

Иеффай заколебался. Но тут же опомнился и, упрямо набычившись, бросил:

— Моя дочь готова. Не сомневайся, священник.

При всем сочувствии к Иеффая, Авиям с интересом наблюдал, как гордыня боролась в нем с любовью к дочери. И он во второй раз протянул ему руку помощи, чтобы вытащить из смертельного омута, в который его затягивала клятва.

— А знаешь ли ты, — спросил он, — что клятва теряет силу, если давший ее становится другим? — Иеффай недоуменно посмотрел на него. — Бывало, что люди меняли свое имя, — пояснил Авиям. — Однако решиться на это трудно. Новое имя рождает человека заново, как если бы он только что явился на свет из материнского лона. Он теряет все, что имел, но избавляется и от прежних долгов. Ягве не требует, чтобы новый человек выполнил клятву прежнего.

— Что же мне теперь — скрываться от Ягве и ридиться в другое платье? — мрачно усмехнулся Иеффай. — Отказаться от собственного имени? Перестать быть Иеффаем? — Он громко, раскатисто засмеялся. — Ты впадаешь в детство, старик. Может, мне назваться Толой? Или ты уже подобрал мне другое красивое имя? И выйдет, что мои милые братья были правы, называя меня отродьем и ублюдком? Ведь я буду уже не сын своего отца! Ты подстроил мне новую ловушку, хуже прежних. Но в такие силки Иеффая тебе не поймать. — Он опять погрузился в свои мысли. И с горькой грустью проронил: — Вероятно, ты и впрямь хочешь мне помочь, Авиям. Но не можешь. Никто не может.

Авиям сделал все, что было в его силах. Он отказался от дальнейших попыток найти выход и стал думать о последствиях, которые может повлечь за собой эта жертва, для Галаада и всего Израиля. А вдруг страшная клятва обернется благом? Может быть, судьба человека, которого Ягве возвысил до великой победы лишь для того, чтобы страшнее низвергнуть, заставит сынов Ефрема задуматься? Может быть, оскорбленные ефремляне успокоятся, если отмщение Бог возьмет на себя? Авиям увидел в этом путь к миру и согласию.

В Авияме-политике вновь проснулся священник. Ему захотелось утешить заблудшего и несчастного.

— Когда Ягве требует в жертву одного из своих детей,— объявил он Иеффая,— он хочет, чтобы его избранник как следует подготовился к свиданию с ним. Дай дочери несколько недель сроку, чтобы она могла удалиться в горы и там вместе с подругами оплакать свою участь и возблагодарить Господа за нее.

Иеффай не ожидал такого поворота в мыслях и растерялся.

— Иаала — дочь своего отца,— ответил он.— Она готова, и ей не нужна отсрочка.— Но в душе он был рад оттянуть этот день.

6

Когда Иеффай предложил дочери удалиться на какое-то время в горы, чтобы там в одиночестве очиститься душой и подготовиться к предстоящему, она огорчилась.

— Но мой отец ведь не думает, что я колеблюсь,— сказала она.— Я не испугаюсь и не стану противиться. Душа моя полна радостного смирения перед Ягве. Мне не нужен долгий срок, чтобы ее приготовить.— Но по его лицу она поняла, что отец этого хочет, а он в ее глазах был един с Ягве, и его желание было волей Ягве. Она не стала спорить с отцом. Но мысленно постаралась его понять. В песнях вавилонян говорилось, что к Господу, как и к царю, проситель должен являться, лишь очистившись и возвысившись духом. И она склонилась перед волей отца, сказав: «Слушаю и повинуюсь». Только попросила сократить ей срок пребывания в горах; она решила, что проведет там дважды по семь дней.

Когда Кетура услышала, что Иаала получила отсрочку, надежда вновь затеплилась в ней. Как только дочь окажет-

ся в горах, вдали от отца, Кетура возьмет ее за руку, и они убегут. Укроются в диком краю на севере или в одном из кочевий Аммона, а там уж Милхом и Ваал поддержат их, покуда Иеффай не прозреет.

Но Иаала не захотела, чтобы в горы ее сопровождал еще кто-либо, кроме подруг, даже мать. Иаала казалась приветливой и спокойной, но душа ее парила где-то высоко-высоко и была недоступна близким. Кетуре никак не удавалось поговорить с дочерью откровенно. Казалось, Иаалу не страшит то ужасное, что надвигалось на нее с каждым прожитым днем; видимо, девочка просто не понимает, что ей грозит. Кетура чувствовала себя бесконечно одинокой: муж и дочь были слепы, она одна была зрячей. Она горестно взывала к Милхому, моля своего бога образумить дочь и спасти.

Емин заметил, что Иаала все больше и больше отдаляется от него. Что-то встало между ним и ею, но что, он не мог понять. А когда наконец узнал, впал в неистовое отчаяние. Он и раньше смутно догадывался, что Иаалу пугает близость с мужчиной, и подавлял в себе желания плоти. Он не мог примириться с тем, что Иаала достанется этому ненасытному Ягве.

И Иеффай, всегда служивший ему образцом мужчины и героя, тоже пал в его глазах. Емин верил, что Иеффай сам на одну треть бог, что он достаточно могуществен и не нуждается в помощи другого бога. А оказалось, что Иеффай — просто главарь банды разбойников и ради своей победы продал Ягве собственную дочь. Да и самого Ягве, подло воспользовавшегося тяжким положением своих приверженцев, разве можно считать истинным богом войны и огня? Емин раскаивался, что променял своего Ваала на бога, который вел себя как торговец из Дамаска или Вавилона. И чужая кожа, натянутая им на себя, кожа Емина, слезла с него, он вновь стал Мериваалом, вольным сыном лесов и степей, каким был раньше. И мысли его облекались уже не в еврейские слова и обороты речи, а в родные, угаритские.

Иеффай пригласил его к себе. Напряженные, скованные, стояли они друг перед другом. Вновь увидев это знакомое до мельчайших черточек, обожаемое лицо, Емин не мог подавить в себе чувство, похожее на прежнее преклонение, но теперь к нему примешивалась почтительная жалость. А Иеффай вглядывался в лицо Емина, проверяя, можно ли доверить юному другу самое заветное свое желание.

Наконец он заговорил:

— Я хочу, чтобы Иаалу с подругами охранял вооруженный отряд и чтобы возглавил его человек абсолютно надежный. Я выбрал тебя. Задача не будет трудной. Ягве, которому отныне принадлежит моя дочь, постарается ее защитить, а вступить в борьбу с Ягве,— закончил он медленно, обдумывая каждое слово,— отважится лишь очень смелый, безумно смелый человек.

Емин впился взглядом в лицо Иеффая. Когда в лагере на холме Цафон Иеффай спросил: «Кто снимет с меня это бремя?» — Емин понял, что тот имеет в виду. Понял ли он на этот раз? Неужто хочет, чтобы Емин силой вырвал дочь у Бога?

А Иеффай, как-то странно улыбнувшись, продолжал:

— Когда-то я был готов не колеблясь вступить в бой с любым богом. Однако Ягве я многим обязан, он оказал мне великую услугу, и я не могу взять обратно вырвавшиеся у меня слова.

Значит, дело вовсе не в том, что Иеффай предложил Ягве сделку. Наоборот, этот Ягве сам навязал ему свою помощь и вложил ему в уста слова обета. Емин вновь был преданным другом этого человека с властным львиным лицом. И медленно, как и тот, взвешивая каждое слово, он ответил:

— Я ничем не обязан Ягве.

Иеффай подошел к нему вплотную и сказал:

— Ты еще не так давно служишь Ягве. Емин, друг мой, не принимай скорых, смертельно опасных решений. Пойми: кто пытается отобрать у Бога то, что ему принадлежит, совершает кощунство, похищает его сокровище, а Ягве не таков, чтобы оставить похитителя безнаказанным. Он очень мстителен и очень силен, и оружие его — не железный меч, как у людей, а удар молнии.

Емин спросил:

— А как ты поступишь, если Иаалу похитят, несмотря на охрану?

Иеффай ответил:

— Я верну ее Богу, а похитителя убью.

Емин уточнил:

— А если он увезет ее туда, где тебе ее не найти?

Иеффай ответил:

— Ее найдет Ягве.

Но Емин заметил:

— Есть страны, где Ягве бессилен.

И Иеффай промолчал.

Емин был счастлив, что Иеффай доверил ему спасение дочери, и был готов не колеблясь обратить гнев Ягве на себя. Но не гнев Иаалы. Без ее согласия он не мог сделать ни шагу.

Начал он с того, что сообщил Иаале о приказании Иеффая сопровождать ее в горы. Она попросила только держаться на некотором удалении: она хочет уединиться лишь с близкими подругами, без мужчин. Тут бы Емину и открыть ей, что таилось за приказом Иеффая. Но он не мог найти подходящих слов, переминался с ноги на ногу, мямлил и, наконец, совсем отчаявшись, перешел на угаритский язык и брякнул напрямик:

— Рядом с тобой есть люди, которые из дружеских чувств к тебе были бы рады, если бы ты ушла не в ближние горы, а подальше.

Иаала сначала решила, что чего-то не поняла. Но когда уяснила истинный смысл его слов, она гневно вспыхнула и заявила срывающимся голосом:

— Те, кто этого хочет, не друзья мне.

В полном смятении Емин сделал последнюю попытку.

— Бывает, что боги меняют свое решение,— сказал он.— Может, и Ягве одумается.

Иаала гордо и решительно отрезала:

— Ягве не поступит так со мной и отцом.

И Емин понял, что она душой и телом приемлет то, что ей предстоит, и что он ничем не сможет помочь ни ей, ни Иеффаю, ни себе самому. И впал в такое безысходное отчаяние, какого никогда еще не испытывал.

7

Иаала взяла с собой в горы трех подруг — Шимрит, Тирцу и Шейлу. Все трое были ее сверстницами и познакомились с ней при первом ее приезде в Массифу. Девушки сразу поняли, что Иаала отмечена искрой Божией, и привязались к ней. Теперь они увидели, что не ошиблись. Первосвященник призвал их в скинию, объявил им, что ожидало Иаалу, и поручил быть рядом с ней в ее последние дни. Девушки жалели Иаалу и восхищались ею, они попросту боготворили ее и преклонялись перед ней еще больше, чем раньше.

Все четверо покинули Массифу. Иаала ехала на белой ослице Иеффая. Кроме самого необходимого, они взяли

с собой лишь драгоценное платье из тончайшей ткани шафранного цвета, которое Иаала наденет в день жертвоприношения.

За ними на некотором удалении следовал Емин с семеркой телохранителей. Его раздирали противоречивые чувства. Он был восхищен твердой решимостью Иаалы и огорчен унаследованной ею от отца гордыней: никто из смертных не годился ей в мужа, только сам Ягве! Временами ему не верилось, что она в самом деле навеки исчезнет из его жизни. Он издали робко глядел на нее, и сердце его разрывалось от любви к ней и ревности к надменному сопернику. Больше всего на свете хотелось ему побороться за нее с Богом. Но сколько Емин ни вызывал того на бой, Ягве на зов не являлся.

Иаала ехала очень уверенно, хотя в начале пути еще не знала, куда направиться. На второй день она сделала привал в горной долине, обрамленной лесистыми холмами. Люди Емина разбили шатер для девушек и удалились за один из холмов, оставив их одних.

Была весна, короткая буйная весна Галаада. Зелеными были холмы вокруг, пестрым цветочным ковром расстилась вдали степь. Повсюду текли ручейки, неумолчный плеск, рокот и журчание наполняли воздух, напоенный ароматами трав.

Три подруги пришли сюда, чтобы оплакать участь Иаалы. И теперь занялись этим, строго соблюдая обряд, который нарочно изучили для этого случая: издавали жалобные вопли и скорбные восклицания, внезапно замолкали, подчеркивая глубину страдания, лишаящего их голоса и дара речи, вновь принимались вопить и стенать. Но и своими собственными, детскими словами они тоже оплакивали любимую подругу: ведь ей уготовано судьбой умереть девственницей, не познав мужа, не продолжив себя и свой род в потомстве.

Но подруги были молоды и не могли не радоваться своей молодости и весне; оплакивая Иаалу, они еще острее ощущали радость собственной молодой жизни. Они увидят еще много весен, будут лежать на циновке с мужчиной, рожать детей, а когда попадут в погребальную пещеру, их жизнь продлится в детях и внуках.

Вскоре им надоело стенать и плакать. Пестрый узор степи так и манил порезвиться, и они принялись рвать цветы, украшать ими себя, ловить друг друга и бегать наперегонки до дерева или холма, загадав: кто прибежит первой, первой и познает мужа. Но потом они все же

вспомнили, зачем сюда пришли, устыдились своего легкомыслия и прервали веселую возню.

Когда подруги ее оплакивали, Иаала слушала их и смотрела на них спокойно и немного свысока. Что знали они о муках, которые ждали ее, Иаалу, и о величии предназначенной ей судьбы? Они были другими, эти простые, совсем еще юные девушки, каких в Галааде тысячи, и ждали своего суженого. А плач их был всего лишь обрядом.

Она ничуть не обиделась, когда девушки, устав прочитать и плакать, вернулись к своим обычным занятиям. Она и сама приняла участие в их забавах и веселилась вместе с подругами.

И в ней произошла разительная перемена: Иаала так увлеклась игрой, что позабыла и о городе Массифе, где провела последние недели, и о том великом и ужасном, что ожидало ее впереди; она вновь стала прежней Иаалой — дочерью дикого края: шумно радовалась, без труда обгоняя подруг, показывала им множество мелких лесных тайн, скрытых от глаз городских девушек, — следы дичи, птичьи гнезда, голыми руками ловила птиц, а то и рыб и раков в ручье. Вдруг углядела и показала подругам, как уж глотает лягушку: ноги лягушки торчали из его открытого рта, а он медленно, по частям, заглатывал свою жертву. И Иаала от души смеялась над подругами, над их страхом и отвращением.

А те удивлялись перемене, произошедшей в тихой, обычно углубленной в себя Иаале. Она потешалась над девушками, привыкшими к жизни в городе, в обжитой и уютной стране, оказавшимися здесь, на природе, слепыми и беспомощными.

Она рассказала им об опасностях, окружавших людей в земле Тов, рассказала, как на ее мать напал волк. Чувствовалось, что она гордится матерью и с нежностью о ней вспоминает. Потом поведала о нашествии львов. Останавливаясь на ночлег, людям приходилось зажигать огромные костры. Ночь содрогалась от рева и рыка зверей. Перепуганные крестьяне и пастухи не знали, как защитить от хищников скот: они и сами боялись высунуть нос из дому. А Иаала ничего не боялась, и выпученные от страха глаза окружающих людей вызывали у нее смех.

И теперь, играя с подругами, она так разошлась, что бросилась в воду — мимо тек ручей, вероятно, пересыхавший летом, но сейчас, весной, струившийся бурно и весело. Девушки перепугались, стали кричать и звать ее обратно, но она схватила Тирцу, самую хрупкую из девушек, и вта-

щила ее в ручей. Вода становилась все глубже, а Иаала только смеялась над обмирающей от страха подругой и вела себя как истинная дочь своего отца: властная и напористая, она тащила упиравшуюся девушку все дальше и дальше и отпустила ее на берег лишь спустя несколько минут, которые той показались вечностью.

Но когда день начал клониться к вечеру, Иаалу потянуло прочь от подруг: на закате она должна была готовить себя к жертве.

Теперь она уже точно знала, как именно: Ягве хотел, чтобы она, пророчица, ясновидица, выразила свои чувства и ощущения в словах и звуках. Взяв цитру и тимпан, она вышла одна на горный луг, окаймленный холмами. Но разрешила подругам смотреть и слушать, оставаясь на опушке леса.

В сгущающихся сумерках Иаала стояла посреди луга, уставясь невидящими глазами в одну точку, и старалась стряхнуть с себя впечатления шумного, веселого дня и проникнуться величием ниспосланной ей судьбы. Вдруг в ней зазвучали слова песен, услышанных ею от вавилонских музыкантов, темные, загадочные слова, осевшие в ее восприимчивой памяти; то были стихи о сладости самопожертвования и смерти: высшая радость жизни — умереть с радостью. Раньше до нее никогда не доходил смысл этих строк, да и теперь она не понимала их до конца, лишь смутно догадывалась, что скрывалось за ними.

Вспомнилось ей и древнее загадочное предание, передававшееся в Израиле из уст в уста. Будто бы Ягве в брачную ночь напал на Моисея, ведущего свой народ к земле Ханаанской, ибо если Богу приглянулась чья-то невеста, следовало ее уступить. Но эта невеста, по имени Ципора, откупилась от Бога кровью мужа. С тех пор Бога называли «кровавый жених». Иаала была горда и счастлива, что этот кровавый жених избрал ее в жены, и, когда думала о предстоящем соитии с ним, в голове ее роились странные и смутные мысли, полные страсти и нетерпения.

Кругом возвышались покрытые лесом холмы, у ног расстился цветущий луг, над головой вздымался блекнущий купол неба. Иаала с наслаждением впитывала в себя красоту весеннего Галаада, и вдруг все иное в ее душе куда-то исчезло, осталось лишь горячее желание жить и дышать. Мысль, что сама она исчезнет без плода и посева раньше, чем увянут эти цветы, пронзила ее с такой силой, что она бросилась на землю. Пестрый луг дохнул на нее свежестью

и ароматом мелких, плотных цветов, и, погрузив в них руки, она стала мять и ломать их пальцами.

Ее охватило ощущение полного одиночества, невыносимый страх сковал ее члены. Много раз видела она животных, лежащих связанными на жертвенном камне Ягве, видела занесенный над ними нож; животные были ее друзья, и она сострадала им всем. А теперь она сама будет лежать на алтаре, сама будет жертвой. Все ее существо восставало против этого. Она уже видела перед собой порог, через который ей придется переступить, чтобы попасть к Ягве,— этот порог был железный, острый, невыносимо страшный. Иаала мысленно отшатнулась. Но ей необходимо было переступить через этот порог, ее тянуло переступить, она чувствовала, как кровь течет из ее тела, как вытекают последние капли, чувствовала, что теряет сознание от слабости и боязни.

Усилием воли она отогнала от себя ужасный образ порога. И со всей страстью своей натуры устремилась к тому, что лежит за порогом, призывая потусторонний мир принять ее в себя, заклиная впустить ее. И порог исчез, гнетущий, перехватывающий горло страх отпустил, ощущение слабости стало приятным, она перестала чувствовать вес своего тела и превратилась во что-то легкое и светлое. Она вознесется в огне, претворится в огонь, в котором живет Ягве. Где будет гореть огонь, там будет Иаала. И где воюет Ягве, там тоже будет Иаала, она станет частью его дыхания, частью тучи.

И Галаад, и весь Израиль будут знать, что она была той ценой, которую Бог потребовал за победу у Нахле-Гада. И она будет еще долго жить в песнях бродячих певцов и в народных преданиях; даже великий Иашар будет слагать о ней песни. И имя ее будут поминать часто, а ведь всем известно, что мертвые живут столько, сколько люди помнят их имя. И чем благодарнее память, тем дольше они живы.

Иаала прикрыла веки, чтобы узреть Бога, с которым ей предстояло слиться. Бог был похож на ее отца — то же широкое лицо, те же черты. И она почувствовала, как Бог вселился в нее. Ее дар рос, ширился, становился сильнее; она чувствовала, что теперь сможет облечь свою судьбу в слова и звуки.

И медленно, торжественно и в то же время легко она поднялась с земли. И, мелко перебирая ногами и покачиваясь в танце, стала извлекать звуки из цитры и тимпана.

В надвигающейся вечерней темноте она пела о своей смерти. Пела о легкой, как ветер, будущей жизни в огне и в туче. Изгибалась в танце, как изгибаются на ветру языки пламени и облака в небе. Только ей одной было это дано, ибо люди не могут постичь сияния и блаженства по ту сторону порога; это доступно лишь тем, кого Ягве призвал к себе, только ей одной это доступно.

Танцуя, она сбросила с себя одежды и облачилась в то платье из тончайшей шафранной ткани, в котором переступит через острый порог.

У лесного склона видели и слышали все это Шимрит, Тирца и Шейла. Многие из того, что пела Иаала, было им непонятно, но даже непонятные слова и звуки, повторяясь, западали им в душу. И они стояли, робея, очарованные и замороженные. Все три поняли, что Иаала обладала великим и ужасным даром, даром ясновидения.

На следующий день Иаала вновь как ни в чем не бывало участвовала в жизни подруг, вместе с ними пила и ела, вместе с ними играла, пугая девушек дерзкими и веселыми выходками.

Шимрит, Тирца и Шейла только диву давались: неужто это та самая Иаала, что прошлым вечером пела и танцевала, готовясь к встрече с Богом?

8

Весть о клятве, данной Иеффаем, всколыхнула весь Галаад, вызвав у жителей ужас и восхищение. Галаадитяне нередко приносили в жертву Богу пленных, но с давних пор не подвергали такой участи своих соплеменников. Люди вспоминали Новаха, который был судьей в те времена, когда аммонитяне, моавитяне и мадианитяне объединились и вторглись в Галаад; тогда этот Новах принес в жертву Ягве своего старшего сына. Но у Новаха было еще много сыновей и дочерей; Иеффай же жертвовал единственной дочерью, прерывая свой род.

Зильпе эта весть перевернула всю душу.

Старший ее сын, Гадиил, пал смертью храбрых за Галаад, и ничего, кроме горькой обиды, не испытала она, услышав, что слава его досталась Иеффаю, этому отродью Леваны. Но теперь Ягве отомстил за нее лучше, чем она могла мечтать. Он сделал так, что наложнице Иеффая, ее врагине-аммонитянке, придется пережить свою дочь, а значит, и навсегда отказаться от надежды на продолжение

рода и бессильно смотреть, как единственное ее дитя прирежут на алтаре Бога, которого та ненавидит. Будет уничтожена, обращена в дым и пепел красивая дочь красивой женщины, нагло вторгшейся в ее дом и насмеявшейся над ней!

Зильпе мало было просто представить себе крушение Кетуры, ее жгло желание увидеть врагиню собственными глазами. Не потому, что ей хотелось полюбоваться горем этой женщины, желание ее имело более глубокие корни. То, что предстояло Иаале, было ужасно, но и возвышенно. Иаалу избрал Бог, дабы ее смертью скрепить узы, связывающие ее народ с Богом. Значит, в сущности, вовсе не Иеффай, а его дочь, то есть женщина, одержала победу у Нахле-Гада. Зильпа ощутила к Иаале даже легкую зависть с налетом грусти и сдержанную жалость к врагине, поверженной столь жестоко. Ей захотелось видеть Кетуру, говорить с ней.

С того дня, как дочь отвернулась от нее, Кетура не могла найти покоя; она бродила вокруг Массифы, избегая людей, и все время сама с собой говорила. Однажды ночью она явилась на рыночную площадь, подошла к каменному престолу судьи и стала выкрикивать обидные слова, обращаясь к тому, кто виделся ей сидящим на камне; но видела его она одна. В другой раз прибежала в скинию Ягве. С безумным, застывшим лицом подступила к Авияму и сказала:

— Оставь мне мое дитя! Убей меня, убей других моих соплеменников, но пощади дитя!

Авиям хотел было удалиться — общение с безумными оскверняло священников, — но она не отставала, а бросилась ему в ноги и стала целовать подол его облачения. Он сказал:

— Не я требую смерти твоей дочери, это Ягве призывает ее к себе, а обещал отдать ему дочь твой муж Иеффай.

Кетура долго лежала там, распростершись на земле, и повторяла: «Пощади ее, пощади!»

После долгих поисков Зильпе удалось найти Кетуру, она увидела ее среди оливковых деревьев на склоне одного из холмов к востоку от города. Окликнула. Кетура остановилась, но, готовая тут же сорваться с места и убежать, повернула к Зильпе лицо и подозрительно оглядела ее. Эта женщина — ее злейший враг. Это она и священник околдовали Иеффая, и он переметнулся к жестокому богу Ягве. Это они внушили ему, что он должен убить ее Иаалу. И вот теперь врагиня стоит тут и, высокая, сильная, торжествующая, хочет посмеяться над ней.

Все еще стоя спиной к Зильпе, Кетура неотрывно глядела на нее и вдруг, повернув лицо, едва слышно сказала низким грудным голосом:

— Убийцы! Убийцы! Все вы убийцы!

Зильпа посмотрела ей в глаза пристально, но без злобы. Когда Кетура явилась к ней в дом победительницей, Зильпа считала себя поверженной в бездну. Только увидев ее теперь, она поняла, что такое настоящее горе. Вид Кетуры исполнил ее не торжества, а печали и смирения. И она сказала как женщина женщине, как старшая младшей:

— Бог потребовал от Иеффая великой жертвы для блага его народа и страны. Мне жаль, что эта жертва коснулась и тебя. Сестра и дочь моя, пусть у тебя достанет сил и смирения это вынести.

Кетура поняла: врагиня сочувствует ей, хочет утешить. Значит, так велико ее горе, что даже у той нет желания насмеяться над ней. С еще большим страхом, даже с ужасом смотрела она в сильное, серьезное и печальное лицо Зильпы. Смотрела долго, не в силах оторвать взгляда. Наконец стряхнула оцепенение. И вновь двинулась вперед, едва касаясь земли, — горе не изменило ее походку. Потом ускорила шаг и побежала меж серебряных олив, помчалась сломя голову по голой земле, скрылась из виду.

Прочь, прочь отсюда, из этой гиблой страны! Она бежала, не останавливаясь, весь день и большую часть ночи и к утру оказалась далеко от Массифы. Но потом повернула обратно. Нельзя ей было бежать отсюда, покуда не свершилось самое страшное.

И вновь, не находя себе места, она без устали бродила и бродила вокруг города.

Иеффай распустил ополченцев Галаада по домам, оставив в лагере лишь свой отряд, людей с севера. Он почти явственно ощущал вокруг себя плотную стену ужаса. Видимо, даже враги ощущали ее; она была ему лучшей защитой, чем любая крепость.

Пока Иаала находилась в горах, он добросовестно исполнял обязанности судьи и военачальника Галаада. И делал все что полагалось с привычной уверенностью, но холодно, безучастно. Он был одинок и чужд людям, сам себе чужд.

Однажды он увидел Зильпу, увидел, что победа, одержанная ею над ним, придала ей новые силы. Видел, как энергично взяла она в свои руки управление Галаадом. Но его это ничуть не задело, ненависти к ней он уже не испытывал.

Он узнал о странном поведении Кетуры, о ее посещении Авияма. В его лице не дрогнула ни одна жилка, не дрогнуло ничто и в его душе. Он не пытался поговорить с ней, утешить. Прежний Иеффай был мертв, как и его победы, поражения, мечты и желания.

В тоске и страхе ожидал он возвращения Иаалы.

И вновь и вновь представлял себе то чудовищное, что должен совершить. Видел, как вонзает нож в горло дочери. И содрогался от леденящего ужаса. Но иногда при мысли об этом его охватывало какое-то страстное вожелание. И он приходил в отчаяние, осознав, что уже желает этого.

С севера приехали Пар и Казия.

Когда Пар услышал о страшных событиях в жизни Иеффая, душа его сжалась от стыда и раскаяния. Ведь он осудил друга и отвернулся от него. Другой на месте Иеффая тут же рассказал бы о данном Богу обете; сразу стало бы ясно, что Ягве взял судьбу Иеффая в свои руки и что его надо не поносить, а чтить как Божьего избранника. Но этот удивительный, этот великий человек промолчал. И теперь в душе Пара болью отзывалось каждое злое слово, сказанное несчастному другу. Они с Казией немедленно пустились в дорогу, чтобы быть с ним рядом.

Прежнему Иеффаю раскаяние и возвращение Пара доставило бы большое удовлетворение. Но теперешний Иеффай воспринял это равнодушно. Разве этим жалким людям понять его страдания! Они способны лишь на мелкие поступки и скудные чувства. И любовь сестры и друга не заставила его распахнуть перед ними душу.

Авиям пригласил его прийти в скинию Ягве.

С тех пор, как Иеффай сообщил Авияму о клятве, священника мучили сомнения: какую именно жертву должен принести Иеффай. То ли искупительную — за кровавую расправу над ефремлянами? Но это значило бы, что Бог, вкладывая в уста Иеффая опасный обет, заранее обрекал его на страшную кару. То ли благословенную жертву богоизбранника, которая лишь теснее свяжет его с Богом? Досужими эти сомнения никак нельзя было назвать. Ибо если жертва благословенная, Иеффай мог сам ее принести; если же искупительная, то совершить жертвоприношение надлежало ему, Авияму.

Священник представлял себе обнаженную и связанную по рукам и ногам Иаалу, лежащую перед ним на камне здесь, в скинии Ягве, в ее святая святых, видел себя самого с поднятым ножом. Невыносимо бремя принятия решения. В давние времена Бог иногда отказывался от жертвы, убедившись в смирении и преданности ее приносящего. От праотца Авраама Ягве потребовал принести в жертву ему сына Авраамова, Исаака. Авраам взошел на гору, связал сына и возложил на жертвенный камень; но Ягве нашел, что Авраам выдержал испытание, и пощадил юношу. Может статься, что и ему, своему священнику, Ягве ниспошлет такое решение. Может статься, что ему, Авияму, выпадет возвестить возлюбленному и ненавистному Иеффаю: «Возвращаю тебе твою дочь. Ягве пощадил тебя, как щадил уже много раз; ему достаточно твоей готовности к жертве».

Но каковы будут последствия, если события примут такой оборот? Ефрем и весь Израиль станут насмехаться над его народом: «Галаад чувствует, что кругом в долгу, но платить долги не желает». И ефремляне нападут на Галаад, чтобы отомстить кровью за кровь.

Правда, в глубине души священник не верил, что Ягве отступится. Вояка Иеффай не был так набожен и смиренен, как праотец Авраам, и без всякого желания, лишь скрипя зубами отдавал свой долг Богу: с чего бы Богу его щадить? С другой стороны Ягве, несмотря на все, с давних пор благоволил к нему. Может статься, что и на этот раз Бог смиростивится и сохранит жизнь его дочери.

Раздираемый такими сомнениями, священник решил — вероятно, последний раз в жизни — обратиться за советом к Богу с помощью «урим» и «тумим», камней света и совершенства. Он совершил обряд омовения, вошел в Святая святых, ощутил трепет от близости к Богу. И задал, как положено священнику, три вопроса: должен ли он понимать жертву как искупительную или как благословенную? должен ли возвестить Иеффаю решение первого вопроса как волю Бога или как свое собственное мнение? должен ли сообщить Иеффаю, что Богу достаточно его готовности к жертве? Авиям задавал эти вопросы с исступлением ревностной веры. Но тщетно. Бог безмолвствовал. Он возложил бремя решения на плечи старого Авияма.

Тут явился Иеффай — ведь священник сам просил его прийти. Вот он стоял перед Авиямом в скинии Ягве. И Авиям вынужден был начать решающий разговор, еще не зная, как и куда его вести.

— Выслушай меня, сын и господин мой,— сказал он.— В том, что ты мне поведал, много неясного. Прошу тебя, повтори еще раз слова обета, чтобы я мог решить, угоден ли он Ягве. Ведь Ягве может прогневаться, если ты принесешь ему в дар то, чего он иметь не желает.

Когда Иеффая известили, что Авиям просит его прийти, в нем вновь затеплилась надежда, что священник, несмотря на все, придумал способ достойно освободить его от данного Богу обета. Но когда священник открыто предложил ему извлечь выгоду из двусмысленности слов клятвы, Иеффай возмущился.

— Когда я отдаю приказ,— сказал он холодно,— мои люди обязаны его выполнить. Обязаны подчиниться любому моему знаку. Я — воин, воин моего бога Ягве. Если Ягве подает мне знак, я обязан подчиниться. Он послал мне навстречу Иаалу. Я исполню его волю.

Гордыня Иеффая взбесила священника. Но он смирил себя и сказал:

— Я — хранитель Престола и Ковчега Ягве. И ты вернее всего исполнишь его волю, если примешь мое толкование.

— Послушай, Авиям,— ответил тот.— Я не хочу твоей помощи, я не хочу твоей дружбы. Ты внушил мне мысль о едином неделимом Израиле и о Ягве, стоящем неизмеримо выше всех других богов. Мысль твоя правильная, она впиалась мне в душу, но она мне не нравится, она мне отвратительна. И ефремлян я перебил, именно противясь этой мысли. Так что тут есть и твоя вина. Перестань копаться в словах обета и навязывать мне свою помощь. Ты не друг мне, первосвященник; тем более я — не твой друг.

Священника напугал этот взрыв ненависти. Но уже слишком глубоко засело в нем представление, что ему придется самому связать жертву и самому решать, убить или пощадить девушку. И он сдержанно возразил:

— После судьи Новаха никто в Галааде не приносил в жертву собственное дитя. Собираешься ли ты взять все на себя и совершить обряд жертвоприношения в одиночку, не зная, что предписывает обычай, и ни с кем не советуясь?

Иеффай заколебался. Был большой соблазн в том, чтобы исполнить клятву чужими руками. Но перед ним маячило ненавистное лицо священника. И его привела в бешенство сама мысль отдать в его руки любимую дочь, связанную и беспомощную. Дикая ярость вскипела в нем.

— Мне не нужен посредник,— отрезал он жестко, хриплым от злости голосом.— Не нужны ни твой Ковчег,

ни твой жертвенник, я не хочу, чтобы твоя рука вонзила нож. Это моя жертва. Что тебе до нее?

Авиям вновь смирил себя и взмолился:

— Не говори так, сын и господин мой. Это касается не только тебя: кровь жертвы и ее готовность к смерти новыми узами свяжут с Богом весь народ Галаада. Совершенное тобой злодейство легло кровавым пятном на наш народ. По твоей вине священные узы ослабли. Не упорствуй. Позволь Галааду вознести эту жертву Богу моей рукой.

Иеффай мрачно и решительно возразил:

— То, что я делаю, я делаю не ради Галаада. И мне безразлично, свяжут ли его с Богом новые узы. Пойми наконец: дело это касается лишь меня и Ягве. И никто не должен вставать между нами. Тем более ты.

Он ушел от священника, не попрощавшись.

10

За день до возвращения Иаалы Иеффай выехал ей навстречу. С собой он взял Пару, Казию и одного верного слугу. На некотором расстоянии, словно пугливый зверек, следовала за ними Кетура.

Иеффай лелеял слабую, безумную надежду, что Иаала не появится на дороге, что она исчезнет. Емин его понял, Емин не меньше его самого был заинтересован в том, чтобы спасти девочку от кровожадного Бога. Может, ему удалось ее похитить. Иеффай убеждал самого себя, что все это пустые мечты. Но когда увидел впереди живую Иаалу, спокойно едущую навстречу своей смерти, он так перепугался, словно на его глазах тьма пала на залитую солнцем землю.

Иаала неспешно спускалась по пологому склону. Подруги шли сзади, как свита за княгиней. Вдалеке, на краю неба, виднелись Емин с семеркой телохранителей.

Иеффай, Пар и Казия спешили и поздоровались с Иаалой сдержанно и с достоинством, но немного смущенно. Иаала ответила им приветливо и непринужденно. Все заметили, что она излучала какой-то новый, строгий и возвышенный свет, и не решались подойти к ней поближе; две группы — Иаала с подругами и Иеффай со своими близкими — молча стояли друг против друга, четко выделяясь на фоне залитой солнцем степи, и казались ничтожно малыми в этих бескрайних просторах.

Наконец Иаала заговорила, и голос ее был по-прежнему ломким и детским:

— Вот и я, отец и господин мой; я готова.

Иеффай предпочел бы остаться наедине с дочерью. Ему не терпелось открыть ей многое, чего он все эти годы не мог или не хотел ей сказать, а также о многом ее спросить, и, хотя он не очень-то умел выражать свои мысли и чувства словами, она все равно бы его поняла. Но здесь присутствовали и другие люди, и она была от него далека. Он, как и все, увидел, что Бог уже простер над ней свою руку; приветливая и отрешенная, она парила где-то высоко над землей. Но Иеффаю казалось: будь они одни, он сумел бы отобрать ее у Бога и вернуть на землю.

Он сказал:

— Где это произойдет, дочь моя? Следует ли нам вернуться в Массифу? Или ты хочешь отправиться на север, в Маханаим? Либо же в нашу землю Тов?

Он надеялся, что она выберет землю Тов и, следовательно, самую дальнюю дорогу, так что он хоть немного сможет побыть с ней вдвоем.

Тут Иаала увидела Кетуру — та робко присоединилась к ним, и было заметно, что слова Иеффая пробудили в ней последнюю искру надежды. Иаале было жаль мать, но жалость эта лишь шевельнулась, не разбредив ее душу. Она ответила:

— Неподалеку отсюда есть холм, на вершине которого растет могучее фисташковое дерево, столь любимое Богом. Имеются там и камни, так что есть из чего сложить алтарь. Если ты не против, отец, пусть это будет там.

Ее слова нанесли Иеффаю новый, разящий своей неожиданностью удар. Но он скрыл свои чувства и ответил:

— Все будет так, как ты скажешь, дочь моя. Укажи нам холм; мы разобьем там шатры и заночуем.

Иаала повела их к избранному ею месту. Внизу степь уже успела пожухнуть, а здесь, в горной долине, трава была свежая и пестрела цветами. Вокруг шла обычная мирная жизнь. Вдали паслись стада овец, доносились монотонные возгласы пастухов. Все сидели или лежали вокруг Иеффая и Иаалы на траве, усеянной цветами, и ощущали странную скованность. Следили глазами за насекомыми, неутомимо снующими среди цветов и трав, обменивались случайными фразами. Девушки вполголоса напевали песни, услышанные от Иаалы. Все старались вести себя как всегда. Они бы и хотели поговорить о том, что волновало их всех, но слова не шли с языка.

Казия шепнула Иеффаю:

— Я приготовила сладкое и крепкое зелье; выпив его, она заснет и не заметит, что с ней сделают.

Иеффая тронула ее забота. Добрая и разумная, она старалась облегчить его горе. Но он не верил, что Иаала согласится выпить зелье, и сомневался, что сам этого хочет.

Когда солнце начало клониться к закату, все сели ужинать. Потом оставили Иаалу одну: им показалось, что общество людей ей в тягость.

Тут Кетура прокралась к дочери. Она схватила ее руку, и огромные, пылающие безумным огнем глаза матери впились в лицо Иаалы, а грудной голос взмолился:

— Пойдем со мной, доченька! Бежим отсюда! Брод близко. Никто не посмеет тебя тронуть. А на том берегу власть Ягве мала, и мой Бог защитит тебя. Беги от этих убийц! Пойдем со мной! Будем жить как прежде!

Иаала не шевельнулась. Она жалела мать, но так, как жалеют животное, которое ничего не может понять и которому нельзя помочь.

Стемнело. Иаала сказала отцу:

— Пойдем в степь, отец мой и господин, посидим вдвоем, как раньше.

Они ушли в ночную тьму. Но Иеффай не взял дочь за руку, как сделал бы раньше; он чувствовал, что Бог был ей теперь ближе, чем отец. Отойдя немного, они опустились на землю. Никто не знает, говорили ли они между собой и о чем.

Рано утром все тронулись в путь. На Иаале было прозрачное шафранное платье. Пар и Казия, Емин и трое подруг сопровождали ее. Слуга вел осла, груженного жаровней и поленьями. В отдалении понуро тащилась Кетура. Так, в молчании, все двигались к холму.

Приблизившись к холму, Иеффай приказал слуге остаться и сам повел осла. Он не хотел, чтобы чужие глаза долее смотрели на Иаалу. Остальные пошли дальше. Степь сменилась кустарником. И Иаала сказала подругам:

— Оставайтесь здесь, дорогие мои, и да будет Ягве милостив к вам.

Прежде подруги принялись бы стенать и плакать. Но теперь они молча выслушали ее и поклонились ей до земли.

Остальные углубились в кустарник и вскоре вышли на лесную прогалину. Тут Иаала сказала Пару и Казии:

— Оставайтесь здесь, дорогие мои, и да будет Ягве милостив к вам.

Казии очень хотелось обнять и поцеловать ее на прощанье, но она удержалась; оба промолчали в ответ и поклонились Иаале до земли.

Но когда вышли из леса у подъема к вершине, Иаала попросила остаться и Емина. Несмотря на всю свою отрешенность и устремленность к Богу, она заметила, что Емин уже не был прежним; он отбросил все, чем старался походить на Иеффая. У подъема к вершине остался Меривал, ее спаситель, вышедший из лесной чащи.

Теперь Иеффай и его дочь остались одни. Лишь Кетура, намного отстав, еще следовала за ними. Она прошла мимо Емина, тихо и жалобно рыдая, и продолжала подниматься по склону. Иаала пожалела мать и не остановила ее. Но у вершины она подождала, пока мать подойдет, и сказала: «Дальше не надо, мама». Сказала не громко и не строго, но так, что Кетура молча подчинилась и даже перестала стенать.

Иеффай с Иаалой поднялись еще выше. Вершина холма была голая, усыпанная большими и маленькими камнями; посередине высилось могучее, раскидистое, вечнозеленое дерево.

Они опустились на землю. Иеффай смотрел и не мог наглядеться на дочь. Смуглое ее тело просвечивало сквозь прозрачную ткань. Ему казалось, что он видит ее впервые, он чувствовал, что любит ее беспрдельно. Ему очень хотелось встретиться с ней глазами, никто не мог сказать взглядом так много, как она, в ее глазах была вся она, вся ее душа. И голос ее ему тоже хотелось услышать. Кто хоть раз его слышал, не мог его позабыть. А он, Иеффай, знал этот голос, как собственную руку. Вдруг ему почудилось, будто он слышит ее голос, и он весь обратился в слух.

А она и вправду заговорила.

— Я видела Ягве, — сказала она. — Лицо у него — как у тебя. Я люблю Ягве, потому что у него твое лицо.

Иеффай был смущен и пристыжен. Оба они, Ягве и он, были воителями; но он тшился стать выше себя самого, а Бог был воистину велик, и всякая тщета была ему не нужна. И когда его дочь сказала, что он такой же, как Ягве, гордец Иеффай ощутил стыд, но и благодарность к дочери.

Он не посмел издать ни звука и только молча глядел на нее.

Потом все же собрался с духом и предложил ей выпить сонное зелье. Но она взглянула на него с укором и сказала:

— Я хочу видеть тебя, отец, когда ты превратишься в Ягве. Я видела тебя в гневе, видела, как великое и страш-

ное пламя полыхало в твоих глазах,— и не испугалась. И теперь не испугаюсь. Я — часть тебя самого.

Иеффай не настаивал и поставил чашу с зельем на землю.

Они долго молча смотрели друг другу в глаза и без слов сказали друг другу многое, чего раньше не говорили. Потом Иаала попросила:

— Отец, сделай для меня еще одну малость. В последние дни мне часто являлся Ягве. Вид его вселяет ужас и преклонение. Я люблю Ягве. Но нет у него того, что есть у тебя. Вот я и прошу: дай мне в последний раз услышать твой смех.

У Иеффая мороз пробежал по коже: да разве он может смеяться в такой день? Разве смех не застрянет у него в горле? Но Иаала не сводила с него просящих глаз. Она никогда не лежала на циновке с мужчиной. Она была ребенок, совсем еще дитя, и дитя хотело, чтобы он засмеялся. Иеффай собрал в кулак всю свою волю. И засмеялся.

Иаала тоже засмеялась, тихонько и счастливо.

Потом он принялся за дело. Разулся. Собрал в кучу камни и сложил из них жертвенник. Положил сверху поленья. Веревкой связал руки и ноги дочери, стараясь не причинить ей боли. Взял ее на руки. Какая она легкая! Увидел, как ее грудь вздымается и опускается под шафранной тканью. Посмотрел ей в глаза. Она ответила ему тем же. Положил ее на алтарь.

И сделал то, что было обещано Богу.

11

Многие галаадитяне до последнего дня думали, что Иеффай не исполнит свою клятву. И вот услышали: исполнил; заключил новый, скрепленный кровью союз с Ягве, принес дочь в жертву Богу. Они и преклонялись перед поступком, обеспечившим всему их роду помощь Бога на много лет вперед, и ощущали некоторую неловкость. Шепотом рассказывали друг другу о праотцах, тоже принесших в жертву Богу своих детей, дабы сделать неприступными стены Массифы и Рамота, и о Моисее, на которого Бог напал в брачную ночь. Они были благодарны Иеффаю. Но если раньше любили его за буйный и веселый нрав, делавший его близким им и понятным, то теперь стали его бояться.

Иеффай исчез с глаз людских на много дней. Те, кто был рядом с ним в тот страшный день, видели, как он,

окаменев лицом и с трудом переставляя ноги, медленно, словно в темноте, спускался с холма; никто из них не посмел к нему приблизиться, тем более заговорить. Потом он удалился в лес — спрятался от людей, словно дикий зверь.

Спустя какое-то время на рассвете он вновь появился, оборванный и грязный. Вошел в лагерь у стен Массифы, скрылся в своем шатре. Вымылся с головы до ног, как полагалось по обычаю после траура по умершему.

Пар пришел к нему. Иеффай сухо осведомился, как обстоят дела в лагере и в Массифе. Пар рассказал: он отослал назад большую часть воинов из земли Тов и Васана, ибо теперь Галааду нечего было опасаться ни Аммона, ни Ефрема.

Иеффай слушал с непроницаемым видом, изредка кивал.

Все тем же сухим тоном он спросил Казию, где Кетура и где Емин. Запинаясь и подбирая слова, Казия ответила, что, по слухам, оба они ушли на север, в дикие земли. Иеффай равнодушно заметил: «Вот и исполнилось желание Авияма. Аммонитянки нет, нет и всего, что с ней связано. Ушла прочь. Назад в пустыню и дикость».

Он занялся делами лагеря. Отдал краткие распоряжения. Послал Пару в Васан с указанием, какие меры принять против тех, кто его предал; меры были суровые.

Потом объявился на рыночной площади и сел на каменный престол судьи. Народ испуганно столпился вокруг, не зная, чего ждать. Несколько человек, пришедших на площадь со своими тяжбами, попросили его разобраться. Иеффай выслушал их с застывшим лицом, кратко опросил, рассудил по справедливости.

Послал гонца к царю Нахашу с приказом тому прибыть в Массифу.

Несмотря на поражение у Нахле-Гада, царь ожидал, что сможет заключить союз с Иеффаем: разрыв с западным Израилем вроде должен бы вновь подтолкнуть Иеффая к нему. Но потом Иеффай принес дочь в жертву своему Богу, и союз с Аммоном был ему больше не нужен: слишком большую цену заплатил он Богу за господство в восточных землях. Не было смысла продолжать с ним борьбу. Ополченцы Аммона в ужасе разбежались. И царь, оскорбленный резким тоном приказа, не посмел послушаться и отправился в Массифу.

Увидев Иеффая, Нахаш испугался. Ведь царь и в самом деле относился к нему, как к младшему брату. Но в том

человеке, что стоял теперь перед ним, не осталось ни следа от обаятельного и жизнерадостного вояки, с которым Нахаш познакомился в Елеалехе. Теперешний Иеффай был зол и мрачен.

Условия, которые он выдвинул, сводились к тому, чтобы на многие годы подчинить Аммон Галааду. Нахаш попробовал было вести переговоры в прежнем добродушно-лукавом духе. Но слова его отскакивали от нового Иеффая, холодного и непреклонного. С этим сломленным человеком нельзя было иметь дело. В Нахаше шевельнулось чувство, похожее на жалость к победителю, и он отказался от мысли добиваться более мягких условий мира.

Из Вавилона привезли новый войсковой знак. Латарак опять потрудился на славу, новый знак был прекраснее прежнего, ужас и восхищение вызывал вид молнии, сверкавшей из тучи. Но Иеффай без всякой радости посмотрел на войсковой знак перед своим шатром. Прежние честлюбивые замыслы не вспыхнули в нем. Он был выжжен. Как пустыня.

На Зильпу и братьев он смотрел спокойно, без ненависти. А Самегара даже немного приблизил к себе.

По примеру писцов из Шилома Самегар начал заносить на таблицы деяния Иеффая. Поначалу пытался, как делали те, объяснять события. Но хотя все они были достойны удивления — неминуемое поражение, клятва, победа, злодейское уничтожение ефремлян и жертвенное убийство дочери — и были тесно связаны друг с другом, Самегару никак не удавалось понять, что было причиной, а что следствием. Возмездие за зло началось раньше, чем зло свершилось; а как могло более позднее начаться до того, как свершилось раннее? И Самегар отказался от мысли толковать события и ограничился их описанием; пусть потомки сами объяснят их по-своему.

Сбивчиво и смиренно, но обстоятельно рассказал он Иеффаю о своих трудах, а некоторые тексты даже прочел вслух. Иеффай взял в руки таблицы и ощупал нанесенные на них знаки. Вот, значит, что останется людям от его побед, усилий и смертной муки.

Жил он по-прежнему в своем шатре у стен Массифы.

А Галаад между тем процветал. И народ превозносил Иеффая так, как вряд ли восхваляли кого-либо из выдающихся мужей в прошлые времена. Но какая-то невидимая завеса отделяла его от людей, словно он был среди них и в то же время не с ними. Благоговейный ужас, окружавший его, не исчезал, люди уже не могли общаться с ним по-

свойски, как раньше. Даже дети чувствовали это и, завидев его, прекращали свои шумные игры.

А он временами казался сам себе покойником, вышедшим из погребальной пещеры. Словно живая кровь вытекла из его тела и он превратился в сотканный из тумана и облаков призрак.

12

Ополченцы Ефрема собрались в Шиломе, чтобы отомстить убийце своих братьев. Но когда они прослышали о принесенной Иеффаем жертве, заколебались. Ягве встал между ними и Иеффаем. Бог сам покарал его и отомстил за них; теперь, выступив против Иеффая, они бросят вызов самому Богу. -

Новая грозная опасность нависла над Ефремом, заставив умолкнуть призывы к мести.

Колена Израилевы лишь потому так долго держались в ханаанских землях на западном берегу Иордана, что опытные в военном деле цари хананеев, засевшие в древних, хорошо укрепленных городах, враждовали между собой. Но теперь, когда непримиримая распря расколола восточный и западный Израиль, эти цари решили объединиться и общими силами напасть на вторгшихся в их пределы израильтян. Со времен Варака и Деворы над западным Израилем не нависала столь грозная опасность.

Выручить из беды мог только Иеффай — победитель при Нахле-Гаде, благодаря своей чудовищной жертве пользовавшийся особым покровительством Ягве.

Среди колен западного Израиля Ефрем был самым значительным. Судьи других колен явились к Тахану, военачальнику Ефрема, и потребовали призвать на помощь Иеффая. Тахан наотрез отказался. Тогда они обратились к первосвященнику Елеаду.

Елеад внял их просьбе и согласился отправиться в Масифу. Но все в нем восставало против этого шага. По натуре он был склонен размышлять в тиши своей скинии о деяниях Израиля, обсуждать их с учениками, толковать и записывать на таблицах. Ему вовсе не хотелось вмешиваться в управление Израилем, он предпочитал давать осторожные советы и был весьма раздосадован, что на него возложили переговоры с Иеффаем, насаждавшим в стране власть силы. Но пришлось уступить: без помощи Иеффая Израилю грозила гибель.

Елеад тронулся в путь. Лето только начиналось, ехать было легко и приятно, но на душе у него было беспокойно. От убедительности его доводов будет зависеть судьба всей страны; сумеет ли он найти нужные слова?

У Елеада давно вошло в обычай размышлять о людской природе, так что о характере и поступках Иеффая он тоже часто думал. Как ни неприятна предстоящая встреча, все же любопытно будет увидеть этого человека и поговорить с ним.

Он еще не решил, как ему следует держаться. Галаадитяне еще не привыкли к оседлой жизни. Строгие правила обычаев сковывали их, как тесное платье, они все еще были детьми пустынь и степей, а Иеффай, судя по всему, в еще большей степени, чем его соплеменники, был сыном дикой природы. К тому же успех и слава, вероятно, вскружили ему голову, а кровавая жертва и вовсе помутила разум. Если уж с Таханом нелегко говорить, как же трудно, наверное, будет тронуть доводами разума душу такого героя и безумца. Первосвященник Елеад решил в ходе переговоров все время помнить о цели своего приезда, приноравливаться к настроению Иеффая и выжидать удобную минуту.

Когда Иеффая доложили, что первосвященник Ефрема просит уделить ему время для беседы, бывшее тщеславие смутно заговорило в нем. Этот священник из Шилома слыл мудрецом; значит, чтобы уговорить Иеффая, ефремляне послали самого умного из своих сынов. Что ж, он готов помериться силами с любым священником: так задубела и покрылась толстой коркой его душа.

Очень заманчиво было бы спокойно наблюдать со своего берега Иордана, как ефремляне справляются со своей бедой. Но он не хотел ничего предрешать. Может, он и снизойдет к их просьбе, проявит великодушие и спасет их. В общем, будет действовать по наитию, смотря по тому, как пойдет разговор. Захочется, поможет ефремлянам, а нет, так нет.

Вошел Елеад. Выглядел он иначе, чем ожидал Иеффай. Осанка и внешность его были ничем не примечательны, глаза умные, с поволокой, лицо белое, обрамленное короткой бородкой. Он был молод для своей должности, на вид, пожалуй, меньше пятидесяти. Платье неброского бурого цвета, но из дорогой ткани, хорошо сидело на его полноватой фигуре. Иеффай ни за что не угадал бы в нем священника Ягве — у тех вид обычно неряшливый, а жесты размашистые. Этот ефремлянин из Шилома был похож

скорее на холеного вавилонянина, некогда попавшего к нему в плен, на принца Гудеа.

Какое-то время они постояли, молча разглядывая друг друга. Потом Елеад поклонился и поздоровался. Но «ш» в слове «шолом», как и все ефремляне, выговорить не мог, и получилось «солом». Тут произошло то, чего с Иеффаем уже давно не случалось: он рассмеялся. И смеялся долго, раскатисто, от души. Припомнились ему и слышанные в юности шутки, высмеивавшие потешный выговор ефремлян, и недавний случай у переправы, когда ефремляне выдали себя словом «сибболет»; не в силах с собой совладать, он буквально давился от хохота.

Священник Елеад в общем-то был готов к тому, что его не встретят достойно и прилично, как полагается; но такого приема не ожидал. От обиды кровь бросилась ему в голову; но он тут же вспомнил о своем намерении не упускать из виду главного: благо Израиля зависит от помощи Иеффая. К тому же он догадался: этот безудержный смех не имел никакого отношения ни к народу Ефрема, ни к нему лично и был вызван, видимо, каким-то воспоминанием, то ли кровавым, то ли просто забавным. И Елеад выдержал смех Иеффая, спокойно выжидая, когда приступ пройдет. Овладев собою, Иеффай сказал:

— Прости, у меня и в мыслях не было обидеть гостя.

Он подошел поближе, поздоровался с Елеадом, слегка приобняв и едва коснувшись губами его бороды, после чего предложил присесть на циновку.

— Думается,— начал он разговор,— не по своей охоте пришел ты ко мне после всего, что стряслось с вашими на этом берегу Иордана. Видимо, нужда заставила.

— Да, великая нужда,— подтвердил Елеад.— Впервые со времен Деворы цари и города Ханаана объединились против нас. Они превосходят нас числом и оружием. Тебе тоже вряд ли придется по вкусу, если хананеи истребят западный Израиль: тогда враги у тебя будут не только на востоке, но и на западе.

Иеффай возразил спокойно, почти небрежно:

— Враги были у меня на севере, на юге и даже в собственном доме, что тебе наверняка известно. Но я с ними справился.

Елеад задумчиво поглядел на него и сказал:

— Ты сражался как слуга Ягве. Ягве — Бог не только Галаада, он Бог всего Израиля. Я пришел к тебе как к военачальнику Ягве.

— Тут ты ошибся,— ответил Иеффай.— Я не тот чело-

век, который тебе нужен. Мои долги Ягве оплачены сполна. Я больше не слуга ему, и мне нет нужды за него воевать. Мы с ним квиты.

Елеада так и подмывало ответить вежливой насмешкой на грубость мужлана, но он не мог себе это позволить. Он смолчал и, потирая сильными, искусными в письме пальцами одной руки ладонь другой, обдумывал ответ и пристально вглядывался в лицо Иеффая. При всей жесткости оно выдавало усталость. Щеки ввалились, кожа обтянула скулы, и череп мертвого Иеффая проступил сквозь лицо живого. Видно было, что этот человек, боровшийся с Богом, выдохся и не хочет продолжать борьбу; но освободиться от Ягве не может.

— Мне кажется, Иеффай, — сказал наконец священник, — что ты заблуждаешься. Между тобой и Ягве речь идет не о службе, обязанности и долге. Ты не можешь расквитаться с Богом. Ибо ты — часть его.

Страх пронзил Иеффая. Что у него с Ягве одно и то же лицо, не знал никто из людей, кроме Иаалы. Откуда же знал этот чужестранец?

Елеад заметил, что его слова смутили Иеффая. Высоким вкрадчивым голосом, мягко, без всякого нажима, но довольно решительно он продолжал:

— В Израиле нет героя, кроме тебя, а герой — на одну треть Бог. Это знаем мы — те, кто сохраняет в веках деяния Ягве. В тебе больше от Ягве, чем в остальных людях. И кто нападает на Бога, нападает на тебя.

Стараясь скрыть замешательство, Иеффай ответил насмешкой:

— Первосвященник Ефрема, не трудись восхвалять и превозносить меня.

Елеад понял: Иеффай ожесточен и строптив, но умен и умеет думать; сказанное им, Елеадом, пробило брешь в его защите. И Елеад воспрянул духом, изменил тон и рискнул привлечь к себе Иеффая, выложив ему ряд смелых и опасных истин, которые другим могли бы показаться кощунством.

— Меня ничуть не удивляет, — сказал он, — что ты не хочешь признать себя подлинной, гордой частью Ягве. Ты — воин, твой долг — действовать, сражаться; не твое дело размышлять и раздумывать о Боге. Для этого существуем мы, священники. И в Шиломе мы долго и напряженно размышляли о Боге, и, как нам кажется, безуспешно. Говорю тебе, я убежден: ты — часть Ягве, хочешь ты этого или нет. Ягве живет в тебе, а ты — в нем.

Ваалы прочих народов живут в кронах деревьев, в камнях, родниках и священных изображениях, и недалеким людям среди нас наш бог Ягве тоже виден и доступен лишь в таком образе, но истинный Ягве, твой и мой, живет в деяниях Израйля.

Иеффая поразило, что этот священник опять ясно и четко высказал то, что он сам порой смутно улавливал в речах Иаалы, но до конца не понимал. Неслыханные, отдающие богохульством слова и притягивали его, и возмущали.

— Правильно ли я тебя понял, — спросил он, и легкая усмешка тронула его губы. — Ты всерьез утверждаешь, что Ягве живет и в моих деяниях?

— Ты это говоришь, — отвечал Елеад.

Иеффай, уже с вызовом, опять спросил:

— Значит, если я богохульствую, это богохульствует Ягве?

Тот мягко поправил:

— Не совсем так. Ягве слабеет, когда ты богохульствуешь.

Подумав, Иеффай отрицательно качнул головой:

— Я — воин, ты сам это сказал. Я не создан для того, чтобы понимать твои заумные и туманные речи.

Елеад возразил с необычной для него горячностью:

— Безусловно ты меня понимаешь, даже если не хочешь это признать.

Он прикусил язык. Вспомнил о своем намерении вести разговор с Иеффаем, преследуя лишь одну цель. Покамест удалось того расшевелить; пора было пустить в дело сильные слова, чтобы заставить его включиться в войну. Правда, Елеад очень редко, и то лишь с самыми преданными учениками, решался говорить о своих крамольных взглядах; но этот неотесанный и странный мужлан — Елеад видел это по его лицу — способен был понять его учение и вдохновиться им. Новая истина, открывшаяся Елеаду, до такой степени занимала все его мысли, что ему захотелось поделиться ими с этим человеком.

Он поднялся с циновки и, подойдя к Иеффая, тихо, настойчиво, но без свойственной священникам назидательности сказал:

— Видишь ли, дело обстоит так: Ягве родился вместе с Израилем. Войны, которые вел Израиль, это его войны. Он живет в полную силу, если силен Израиль, он хиреет, если Израиль слаб. Он умрет, если умрет Израиль. Он таков, какими мы были, есть и будем.

Слова Елеада задели Иеффая за живое и против его воли заставили задуматься. Конечно, Бог этого священника не был его Богом. Бог Иеффая был богом войны, извергающим пламя, громыхающим бурей. Но Иеффай осознал, что у Ягве были и другие лица, много лиц, и Елеад, наверное, в самом деле видел лица Бога, которые для него, Иеффая, всегда будут незримы. И все же он отнюдь не относился к числу тех недоумков, которые о Боге судили лишь по тому, что им удавалось увидеть или потрогать. И тут, во второй раз за то время, что Елеад находился в шатре, с Иеффаем случилось то, чего с давних пор не случалось: он подхватил мысли собеседника, сделал их своими, впустил к себе в душу, и они там росли и зрели. Если Ягве не такой, как все люди, то и потребностей человеческих у него нет. С убийственной ясностью Иеффай вдруг понял, куда клонил Елеад. Зеленые искры вспыхнули в его глазах, и в приступе гнева он выплеснул то, что молнией пронеслось у него в голове. Срывающимся, хриплым от бешенства голосом он прорычал:

— Ну, продолжай, первосвященник, первомыслитель, первописец, и скажи мне прямо в лицо: ты считаешь мою жертву напрасной. И никому не нужной.

Теперь испугался уже Елеад. Его озадачил этот внезапный натиск. Озадачила сообразительность этого грубого мужлана, так быстро уяснившего то, в чем он самому себе едва смел признаться.

Елеад взял себя в руки. Поддался было соблазну возразить Иеффаю вежливыми, искусно составленными фразами. Но тут же понял, что этот неотесанный вояка, привыкший действовать, сражаться, захватывать и убивать, не имевший времени мыслить и не умеющий читать, разбирается в жизни не хуже его самого, а может быть — по простоте души, — даже лучше и глубже. Впервые в жизни Елеад устыдился своего умственного высокомерия и ученой спеси. Этому человеку он не мог солгать. И он сказал:

— Ты, вероятно, прав — в том смысле, что в будущем, когда семь или дважды семь поколений придут и уйдут, Ягве не захочет принимать такие жертвы, как твоя. Но мужественные и самоотверженные поступки, какие ты совершил, всегда будут угодны Богу.

В этих словах Иеффай уловил лишь подтверждение того, что все его муки на самом деле были тщетой и безумием. Он вскочил с циновки и заметался из угла в угол; стиснутый кольцом своих мыслей, он сновал от стены к стене, как дикий зверь по клетке.

В глубине души он давно подозревал, что его обет и жертва были напрасны; подозрение это возникло сразу же после того, как он исполнил обещанное и сидел, укрывшись от всех в густом кустарнике. Значит, и другие подозревали. Более того: они это знали. По крайней мере, один человек это знал — Елеад. Значит, то было не наваждение, а чистая правда: он, Иеффай, дал страшную клятву, чтобы заполучить помощь Бога, которого не было. Он пролил кровь самого дорогого, самого родного существа ради Бога, которого не было. Иеффай не герой, Иеффай глупец. Не Бог помог ему, а Ефрем. И за это он убил дочь, любимое, милое его сердцу дитя. Попусту пролил свою лучшую, молодую кровь.

Память вернула ему слова, сказанные Елеадом, — сначала лишь их звучание, а потом и смысл: «Твои деяния нужны Богу, нужны Израилю». И его осенило: все, что он теперь значил и стоил, было связано с его великим и бессмысленным подвигом веры. Именно этот подвиг вселял ужас в сердца людей, а ужас превращал врагов в ничтожных трусов и защищал его надежнее, чем оружие и крепостные стены. Сложные и жестоко искаженные последствия принесенной им жертвы на какой-то миг ясно предстали ему во всей своей зловещей ничтожности, во всем своем смехотворном величии.

Священник тоже вновь поднялся с циновки. Иеффай скользнул по нему невидящим взглядом, но потом вдруг прозрел. А этот-то все знал и продумал — и бессмысленность жертвы, и громадность ее последствий. Для того и явился, чтобы обратить в свою пользу внушаемый им ужас. Стоило Иеффая перейти Иордан, этот ужас защитил бы Ефрем от Ханаана. Этот-то знал, как, что и с чем связано, и хотел все это от него скрыть. Но он, Иеффай, заставил его выложить всю правду.

И дикая, злобная радость обожгла его душу. Он сказал: — Все же я вытянул из тебя истинную цель твоего приезда, первосвященник из Шилома. Мои деяния! — язвительно воскликнул он. — Мои деяния! Как умно ты выбираешь слова, первомыслитель и первописец, они звучат мягко и ласково, а тяжестью своей проламывают череп! — Горькое веселье захлестнуло его. — Подумать только: каким изобразят меня люди, подобные тебе, таким и увидят меня потомки.

Елеад промолчал. Он не знал, чем кончится этот взрыв. Он не предвидел, что Иеффай разгадает истинную цель его приезда. А может, и сам все испортил, не вовремя открыв

Иеффаю свои взгляды, и теперь тот посмеется над ним и прогонит обратно, за Иордан.

А Иеффая все еще трясло от бешенства. Но удивительно: при этом священнике он даже в гневе не терял головы, а думал и соображал. В сущности, у него не было причин гневаться на Елеада, наоборот, он должен быть ему благодарен. Елеад был мудр и умен, не чета тщеславному и властному Авияму. Раз уж он, Иеффай, все равно совершил свой великий и бессмысленный подвиг, Елеад хотел этим воспользоваться — разве он был не прав? Пролитая кровь не должна бесследно исчезнуть в земле и огне. Священник хотел придать смыслу великому ужасу, порожденному этой кровью, — разве он был не прав?

Иеффай принял решение, и решение завладело им целиком. Он встал перед Елеадом, слегка наклонился к нему и спросил с нарочитым лукавством:

— Подскажи мне, умный и мудрый священник, посоветуй, как мне поступить, чтобы истории, которые ты расскажешь обо мне потомкам, звучали не слишком гадко? Может, послать Ефрему столько воинов, сколько он прислал мне? Кажется, их было тринадцать сотен?

Елеад облегченно вздохнул. И в голосе его звучали радость, приязнь и искреннее уважение, когда он ответил:

— Одно лишь известие, что Иеффай участвует в войне, отпугнет Ханаан. С нас хватит и семерки твоих воинов.

В душе Иеффая что-то ожило. Этот человек понимал все с полуслова, с ним он мог говорить так, как в прежние времена говорил с друзьями. И он пошутил:

— Я вел переговоры с царем Васана Авиром, большим мастером торговаться, и с царем Нахашем, самым ловким и изворотливым из восточных князей. Но ты, первосвященник Ефрема, лучше их обоих умеешь хитрыми словами влезть в душу того, кто должен бы быть твоим врагом.

— Не называй себя моим врагом, Иеффай, — возразил Елеад. — У нас с тобой общий путь. Моим словам удалось задеть тебя за живое, а ты двумя-тремя фразами сделал больше для спасения Израиля, чем сделал бы острый меч любого другого и тысячи воинов в придачу.

Он повернулся к выходу из шатра. Но Иеффай задержал его, сказав:

— Прежде чем отправишься восвояси, окажи мне одну услугу, первосвященник. Только не обижайся! Скажи мне на прощанье «шолом».

Иеффай выступил в поход с восемью тысячами воинов и множеством осадных орудий, перешел Иордан и окружил Газер и Иебус, мощные крепости хананеев; тем самым он отрезал крепости от основного войска, стоявшего в ожидании битвы на северной равнине. Так он избавил западный Израиль от угрозы на юге и высвободил все его силы, возглавляемые Таханом, для решающей битвы на севере.

Иеффай подумал было принять в ней участие, но вспомнил Елеада, его всезнающие, проницательные глаза с поволокой и привычные к письму пальцы, которые занесут на таблицы его дела. И решил ограничиться более важной, но неблагодарной задачей — продолжить осаду неприступных крепостей, предоставив Тахану счастье и блеск битвы.

Тахан разбил ханаанское войско, и Иеффай вернулся на восточный берег Иордана без воинской славы.

Но весь Израиль считал его своим спасителем.

Он и на этот раз пошел в погребальную пещеру, чтобы отчитаться перед покойным отцом. «Я воевал в Ханаане, — сказал он ему. — А славу победителя уступил военачальнику Ефрема. И на обоих берегах Иордана все знают, что в час грозной беды спас Израиль твой сын, и всем ясно, что писцы нарекут эти годы «годами Иеффая». Но заплатил я за свою славу чудовищно высокой ценой. Не мне, отец мой, суждено продолжить твой род, его продолжают другие твои сыновья, деловые, порядочные и заурядные. Победа не принесла мне радости. Душа тоскует и ждет того дня, когда меня отнесут к тебе, в пещеру».

Но в Галааде многие были недовольны, что Иеффай уступил славу победителя ненавистному Ефрему.

Больше всех огорчился Авиям. Почему Иеффай упустил случай приумножить славу Галаада среди колен Израилевых? Старый священник был уверен, что Иеффай сделал это назло ему, чтобы только его Массифа, его Ковчег и его Престол не стали центром притяжения для всего Израиля.

Вражда между Ефремом и Галаадом была забыта, единение Израиля осуществилось, и хотя не все извилистые пути, приведшие к этой великой цели, были придуманы Авиямом, все же именно он подтолкнул Иеффая на великие свершения. Авиям испытывал законную гордость. Но и досада тоже его разбирала: Иеффай не захотел скрепить объединение восточного и западного Израиля клятвенным союзом. И дело жизни Авияма осталось незавершенным.

В его изощренном мозгу родился последний хитроумный план. Западные колена никогда не признавали за старым Галаадом звания Судьи в Израиле, Верховного судьи. Теперь они должны будут признать его за сыном, оказавшим такую важную помощь Ефрему. Он, Авиям, предложит Иеффая помазать его Верховным судьей. Тот наверняка согласится. И Верховный судья переместится из Шилома в Массифу, Галаад станет главным коленом Израиля, и он, Авиям, прежде чем уйти в погребальную пещеру, увидит цель своей жизни достигнутой.

Он взял в руку посох и направился в лагерь за городскими воротами, к Иеффая.

Завидев его тощее лицо с крючковатым носом, густыми бровями и взлохмаченной бородой, Иеффай чуть ли не с радостью ощутил, как прежняя ненависть вновь подступила к горлу.

— Не обижайся на меня, отец и господин мой, — сказал он, — за то, что я так долго и пристально тебя разглядываю. Просто я еще ни разу в жизни не видел вполне счастливого человека: ты — счастлив вполне. Ты достиг всего, чего хотел. Я разлучен с аммонитянкой, Аммон раздавлен, Ханаан тоже, между восточным и западным Израилем нет вражды, и все это — дело твоих рук, твоя заслуга. Но расплачиваться за все это ты предоставил мне.

Авиям был стар и немощен, он еле держался на ногах, опираясь на посох, и очень сожалел, что сесть ему так и не предложили. Но душа его упивалась горечью, сквозившей в словах Иеффая. Все, что тот сказал, было истинной правдой. Ягве вложил в него, священника Авияма, свой высокий дух и ум, а тому достались лишь сильные кулаки. Кулаки делают то, что велит ум.

Так будет и впредь.

Он сказал:

— Я заронил в твою душу искру великой мысли Ягве. Ты раздувал эту искру, пока не вспыхнуло пламя. И если Израиль сегодня един, то в этом не меньше заслуг военачальника, чем священника. Мой долг показать это всему народу. Ты не должен довольствоваться долее званием судьи Галаада. Тебе пристало священное масло Верховного судьи, Судьи в Израиле.

Иеффай окинул тощего старца насмешливым взглядом.

— Ты так стар, — сказал он, — так немощны твои руки, а все хочешь играть на мне, да и на всем народе, словно на цитре. Ты очень упорен, старик, и я высоко ценю твердость твоей воли. Но любить тебя за нее не в силах. Я не друг

тебе. В душе моей осталось мало огня, у меня нет больше ни друзей, ни врагов; но когда я вижу твою огромную голову, первосвященник Авиям, я вспоминаю, что такое ненависть. — Он перевел дух. Авиям молчал, выжидая. И Иеффай, подумав, продолжал: — Я мог бы тебе сказать, что не нуждаюсь в твоём елее, ибо я сам себя помазал — кровью. Но ты, конечно, и на этот раз прав: если я буду помазан Верховным судьей, это укрепит власть Ягве на берегах Иордана. Прав ты и в том, что скрывается за твоими словами: Галаад станет тогда главным коленом Израилевым. Так что быть по сему, я принимаю твой совет. Пусть меня помажут Судьей в Израиле. И пусть произойдет это здесь, в Массифе, перед твоим Ковчегом и твоим Престолом.

Лицо Авияма просияло от радости, которую он и не пытался скрыть. Полюбовавшись его сияющим видом, Иеффай небрежно добавил:

— Но для того, чтобы весь народ, как ты того хочешь, увидел, что Галаад и Ефрем ныне и впрямь едины, я попрошу совершить помазание первосвященника ефремлян.

Удар был так жесток и внезапен, что лицо Авияма помертвело. Этот Иеффай научился и ненавидеть, и мстить. Как коварно он повернул против него, Авияма, его собственные слова и лишил счастья остаток его дней. Однако священник овладел собой, не лишился чувств и, крепче схватившись за посох, ответил:

— Надеюсь, тебе удастся уговорить священника из Шилома приехать сюда.

В душе он надеялся, что Елеад откажется во второй раз ехать в Массифу.

Но решения соперника он уже не дождался. Поняв, что ему не удалось завершить дело своей жизни, он так расстроился, что умер через три дня после разговора с Иеффаем.

На следующий день после приезда Елеада в Массифу Самегар и его помощники вынесли Ковчег и Престол Ягве из скинии и поставили на площади у ворот. И как в тот раз, когда Авиям вручал Иеффая судейский жезл, здесь собралась огромная толпа. Но теперь к воротам Массифы пришли не только галаадитяне, пришел весь Израиль. Четырежды семь колен и главных семейных кланов насчитывалось в Израиле, и все они послали сюда своих

судей или священников приветствовать Иеффая в день помазания.

В первых рядах зрителей стояла Зильпа как старшая в роду. Вдумчиво смотрела она на Иеффая. Он не мешал ей управлять делами Галаада. Авиям умер, власть делить было не с кем, теперь она стала истинной матерью своего народа. Сын Елек, хозяйственный и расчетливый, умножал достояние семьи, сын Самегар был первосвященником, верным хранителем Ковчега; большего человек столь скромных способностей не мог и требовать. И все же более других сыновей Галаада возвысился этот ублюдок, сын Леваны. Своими подвигами он объединил Израиль, и слава его, равно как и ужас, внушаемый его именем, ограждали страну не хуже прочной стены. Но, глядя на человека, восседающего на престоле Верховного судьи, Зильпа не ощутила ни ненависти, ни зависти. Лицо его окаменело и казалось частью каменного престола. Он не был счастлив, сын Леваны.

Пар и Казия тоже пришли, чтобы выразить Иеффаю любовь и восхищение. Но радость их была смешана с грустью. Иеффай добился поставленной им самому себе цели; после Иошуи ни один человек в Израиле не достигал таких высот, как Иеффай. Но ради Ягве он пожертвовал слишком многим — своей плотью и кровью; человек, которого Израиль избрал своим судьей, был обречен.

В сопровождении помощников появился первосвященник Елеад в белом облачении, поверх которого был надет «эфод» — прямоугольный нагрудник с двенадцатью «урим» и «тумим», камнями света и совершенства. Он приблизился к Ковчегу. Помощники подали ему алебастровые сосуды с оливковым маслом, вином и пряностями. Самегар открыл Ковчег. Елеад освятил жертвенное животное и вознес его на всесожжение. Галаадитяне с гордостью наблюдали, как почтительно склонялся священник Ефрема перед их Ковчегом и Престолом Ягве.

Потом Елеад поднялся по лесенке, приставленной сбоку к каменному престолу судьи. Помощники подали ему сосуды, Иеффай вскинул голову и подставил лоб для помазания. Он заглянул в серьезные, подернутые поволокой глаза священника, взиравшие на него с уважением и сочувствием. Увидел тонкие, привычные к письму пальцы. И между священником и Иеффаем произошел немой разговор. «Помни, что ты — часть Ягве», — без слов сказал Елеад. «Я помню», — так же безмолвно ответил Иеффай. «Я напишу, что ты не отступился», — сказал Елеад. Иеф-

фай сознался: «Но не раз хотел». — «А все же не отступился, — возразил Елеад. — И об этом я напишу».

Потом Елеад дал Иеффаю пригубить вино Ягве, окропил его священным елеем, помазал лоб и руки благовониями, приготовленными из лаванды и мирры, галаадского бальзама и чужеземных трав; лишь священники Ефрема умели готовить такие благовония.

Все видели, как первосвященник ефремлян помазал галаадитянина Иеффая. Все слышали, как его громкий голос возвестил:

— Отныне Ягве, Бог Израиля, наделяет тебя частью своей божественной силы. Сила от силы Бога влилась в тебя через дела твои. Но еще больше силы придастся тебе через елей, вино и благовония. Сила твоя умножилась, Иеффай, сын Галаада, Верховный судья в Израиле!

И толпа завопила: -

— Сила твоя умножилась, Верховный судья!

Иеффай втянул ноздрями крепкий и благоуханный аромат Бога, и ему померещилось, будто он вдыхает запах Иаалы. И пока вокруг гремели литавры и цимбалы, а толпа радостно вопила, горечь, острая, ядовитая горечь точила и разъедала его сердце. Он думал: «Какую песнь пропела бы нынче Иаала!» Но задолго до того, как выдохся запах благовоний, исчез аромат Иаалы. Слава Иеффая гремела и громыхала до небес, а он пронзительно остро ощущал ничтожность этой славы. Он стоял сейчас на вершине, взойти на которую задумал еще на горе Хермон. Он окидывал мысленным взором неоглядные просторы у своих ног, он видел дальше и больше, чем другие, чувствовал глубже и сильнее, обладал знанием и умением управлять страной. Но он мучительно ощущал одиночество вершины и ее прозрачный и режущий смертельный холод. Прежнего Иеффая больше нет. Тот, кого только что помазал елеем священник, уже не Иеффай. Запах развеян, вся его жизнь развеяна, и ни елей, ни вино, ни благовония не могут вдохнуть ее вновь. На каменном престоле судьи восседает не сам Иеффай, а его слава.

Годы, последовавшие за этим событием, были годами расцвета, и Галаад славил Иеффая. Отцы рассказывали сыновьям о его подвигах, и на их серьезных и спокойных лицах появлялась довольная ухмылка, ког-

да речь заходила о его хитрости и буйно-веселых выходках.

Но еще чаще, чем о Иеффае, рассказывали они о Иаале, этой удивительной девушке, которая нежной, сильной и жертвенной любовью к Богу обратила благоволение Ягве на Галаад и весь Израиль. Каждую весну девушки, достигшие брачного возраста, уходили в горы; они оплакивали и славили Бога нив, вечно умирающего и вновь воскресающего, молили Ягве благословить их, когда они лягут на циновку с мужчиной, оплакивали и славили Иаалу, умершую девственницей.

Самегар взялся записывать песни Иаалы. Многие помнили эти песни, и больше всех — ее подруги Шимрит, Тирца и Шейла. Кое-что в этих песнях было непонятно людям, но песни волновали и трогали их сердца. Самегар приходил к каждому, кто мог знать какую-либо из песен Иаалы, старался воспроизвести ее текст как можно точнее.

Пришел он и к Иеффаю и со сдержанной гордостью прочитал ему несколько песен. Иеффай равнодушно его выслушал. Тогда Самегар сам спросил:

— Скажи, Иеффай, так ли звучали слова этих песен?

Иеффай сухо проронил:

— Уже не помню.

Он сказал правду. Народу Израиля Иаала становилась все яснее и ближе, а Иеффай мало-помалу забывал дочь. Туманом заволокло ее облик, и видел он ее редко и весьма смутно.

Израиль же жил спокойно и мирно, не опасаясь врагов, все годы, что страной правил Иеффай. Но длилось это недолго. На седьмой год правления и сороковой от рождения Иеффай присоединился к своим предкам.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

1

История Иеффая описана в Книге Судей Израилевых. Эта Книга — седьмая в Ветхом завете — повествует о завоевании коленами Израилевыми земель по обе стороны реки Иордан. События, о которых сообщает Книга Судей, происходили в период между 1300 и 1000 годами до нашего летосчисления. Но авторы Книги, оставившие нам их описание, жили в IX или VIII веке до н. э., а последняя редакция текстов была предпринята, вероятно, даже лишь в VI веке до н. э., и этим позднейшим переписчикам мир древних текстов стал уже чужд. Кроме того, им хотелось придать описываемым событиям более благочестивую окраску. Поэтому Книга Судей в ее нынешнем виде весьма сумбурна и полна противоречий.

Тем не менее она содержит тексты, относящиеся к наиболее сильным и впечатляющим текстам Ветхого завета: великолепную военную песнь Деворы, народные сказания о Гедоне, «драчуне» и «рубаче», истории о силаче Самсоне и филистимлянах и, главное, легенды о Иеффаяе.

В сорок семь предложений, повествующих о жизни Иеффая, пятого по счету Великого судьи в Израиле, вплетены четыре очень древних текста, возникших в разное время и первоначально не имевших между собой ничего общего. Очевидно, в основе этих четырех источников лежит подлинный исторический материал, но очевидно также, что более поздние авторы и редакторы его исказили. События просто не могли происходить так, как их излагает Библия.

Начнем с истории о том, как Иеффая, незаконнорожденного сына судьи Галаада, братья лишают наследства и изгоняют из страны, но потом, когда он во главе банды разбойников приобретает власть и силу, в час опасности старейшины призывают его вернуться и делают вождем

всего народа. К этой истории примыкает рассказ о переговорах, по ходу которых Иеффай весьма находчиво, с помощью теолого-юридических аргументов, пытается доказать вражескому царю, что Израиль имеет права на земли к востоку от Иордана. Рассуждения эти звучат странно в устах главаря разбойников, описанного в первой истории; кроме того, более поздний автор, приписавший ему эти рассуждения, еще и путает вражеских богов. Затем следует третья история — наиболее прекрасный и волнующий рассказ о клятве Иеффая и принесении им в жертву богу собственной дочери; в этом рассказе, написанном истинным художником слова, позднейшие обработки мало что изменили. Четвертый эпизод, присовокупленный к первым трем без всякой видимой связи, сообщает о варварской и бессмысленной братоубийственной войне между родным коленом Иеффая и ефремлянами — войне, оканчивающейся чрезвычайно жестокой кровавой расправой на потеху победителям.

Итак, все это поздний редактор Книги Судей втискивает в сорок семь предложений, а поскольку эта Книга вошла в число канонических текстов Священного Писания, эти сорок семь предложений сохранялись в неприкосновенности в течение тысячелетий.

Но живыми остались лишь те десять предложений, в которых неизвестный автор примерно IX века до н. э. взволнованно и волнующе рассказывает о клятве и жертве Иеффая.

Именно эта история из всей жизни Иеффая, только она одна, покоряла воображение последующих поколений. Поэты, музыканты, художники вновь и вновь возвращались к ней в своих творениях. Шекспир, весьма редко упоминающий библейские имена, в трех местах говорит о Иеффе, его дочери и кровавой клятве, в том числе один раз в «Гамлете». Слепший в старости Георг Фридрих Гендель в самую страшную пору своей жизни написал великую ораторию о Иеффе и его обете.

2

Самые ранние из известных нам текстов о принесении в жертву любимых и близких людей возникли в одно и то же время в Израиле и в Элладе, примерно в IX веке до н. э. Именно тогда поведал один из авторов киклической эпической поэмы «Киприи» об Агамемноне,

приносящем в жертву свою дочь Ифигению, а другой греческий автор изложил историю Идоменея, который, выполняя роковой для него обет Посейдону, убивает своего сына. В тот же период израильский автор, которого мы обычно именуем Элохистом, рассказал о жертвоприношении Исаака, и в тот же период возникла история о клятве Иеффая.

В те времена в обеих странах еще приносились человеческие жертвы; однако как еврейские, так и греческие авторы, очевидно, уже воспринимали принесение в жертву сына или дочери как нечеловеческую жестокость. И — конечно, независимо друг от друга — смягчали древние тексты. Давая обет, Идомей вовсе не имеет в виду собственного ребенка, точно так же и Иеффай не обещает этого прямо; обе клятвы лишь окольным путем достигают детей. В последний момент бог щадит предназначенного ему в жертву Исаака. Ифигению тоже спасают. Девятому веку были свойственны более мягкие, человеческие нравы и обычаи, и авторы этого века уже не одобряли кровавые клятвы праотцев. Они наивно перемещали героев своих сочинений, живших на пять столетий раньше, в собственный век и, при всем восхищении, испытывали перед ними некоторый ужас. Они не знали или не придавали значения тому, что воззрения и обычаи людей изменились. У них Агамемнон или Иеффай думали и действовали так, как думали и действовали они сами.

Нынче мы, обладающие результатами многовековых исследований, лучше, чем Гомер, знакомы с жизненными обстоятельствами периода Троянской войны. Мы знаем значительно больше, чем библейские авторы, об обычаях и мироощущении людей в конце бронзовой эры — эпохи, в которой правили и воевали судьи Израилевы. Мы знакомы лучше, чем редакторы Книги Судей, с представлениями о боге, которые могли толкнуть такого человека, как Иеффай, предложить собственную дочь в жертву богу.

3

С самого детства, когда мне пришлось потратить много труда, переводя Книгу Судей с еврейского на немецкий, меня не отпускал страшный рассказ о клятве Иеффая. Мой учитель — кстати, в высшей степени неодобрительно относившийся к этой клятве — дополнил биб-

лейский текст историями, которыми более поздние толкователи Библии, авторы комментариев «Таргумим» и «Мидрашим», сопровождали первоначальный текст: о том, как дочь Иеффая Шейла ходит от одного раввина к другому и уговаривает их сослаться на Писание и объявить клятву отца недействительной; как Бог, возмущенный кощунственной клятвой, насылает на раввинов слепоту; как первосвященнику, сознающему необязательность клятвы, гордость не позволяет самому пойти и сказать об этом Иеффая, а тот, в свою очередь, слишком самолюбив, чтобы идти к священнику на поклон, и как в наказание за это священник лишается своего сана, а у Иеффая начинают отмирать конечности, так что его тело оказывается погребенным по частям в разных местах.

Позже я приступил к методичному изучению Библии. И то, что археологи, историки и филологи раскопали в земле и во множестве древних документов, и как они из всего этого восстановили действительность давней истории стран в долине Иордана, показалось мне интереснее и увлекательнее, чем любой детектив. Постепенно библейские образы, которые я видел глазами ребенка, слились в моем представлении с людьми, которых открыла мне наука. Отрывочные, противоречивые истории о Иеффе, рассказанные Библией, органично сложились друг с другом и приобрели законченность, как только я получил возможность поместить их в соответствующую им эпоху и в соответствующие ей обстоятельства. Мало-помалу дикий, кровавый, великий и несчастный главарь разбойников Иеффай из библейской истории обрел черты исторически достоверной личности.

Я увидел его в стране Галаад в окружении потомков многих поколений пастухов-кочевников, лишь с большим трудом привыкающих к новым для них условиям оседлой жизни. Я увидел, как он, частично по своей воле, частично из-за гонений, спасается бегством в дикий край «тоху». Увидел, как он борется с опасностями, поджидавшими его в «тоху», и с царьками сопредельных обжитых областей.

Велик был соблазн изобразить всю эту страну и все это время. Тут и древние города к востоку и западу от Иордана, защищенные мощными крепостными стенами и изобилующие прекрасными и полезными изделиями — плодами тысячелетий развития технической мысли, гордые своими порядками. Тут и правители этих городов, которые долгие века были данниками фараона Египетского или великого

царя Вавилонского; но теперь великие царства на юге и севере захирели, правители земель вокруг Иордана обрели независимость. И в это время над ними нависает новая угроза: кочевые колена израильтян, с давних пор совершавшие набеги на густонаселенную страну, теперь, когда старой центральной власти не стало, полчищами вторглись в ханаанские земли и захватили большую часть свободных земель и небольшие города. Они угрожают уже и древним, укрепленным и богатым городам, некоторые из которых успели захватить или разрушить. Захватчики хранят свои старые кочевые обычаи, ненавидят и презирают цивилизованность аборигенов. Но в то же время осознают, что только принятые у тех порядки соответствуют оседлому образу жизни, и постепенно сами перенимают древние обычаи и взгляды новой для них страны. Мне показалось заманчивым изобразить сумбурное скопление этих народов и колен, обладающих разными воззрениями и традициями, одни из которых только еще нарождаются, другие уже исчезают, а также описать изменения, которые такая динамичность общества неизбежно вызывает в отдельной личности.

Но за время моих занятий я выделил из общей массы библейских персонажей Иеффая: вот он стоит под блеклым и пустым куполом неба одинокий, мятежный и великий, и душа его — арена всех конфликтов и противоречий его времени. Он враждует с оседлым народом и с племенами кочевников, он принадлежит и к семье своего отца, но и к племени матери. Он восстает против бога оседлой жизни, но и против бога огня и вольных просторов «тоху». Он восстает против священника из рода своего отца, против царя матери и против себя самого.

Итак, этого человека, великого и одинокого, выделил я из всех людей и уже рука не поднималась как-то преуменьшить его и отодвинуть в тень, живописуя тогдашний красочный и перенасыщенный мир во всем его многообразии. Я отважился на обратное — изобразить динамику эпохи в нем одном. Попытался путем описания изменений в его внутреннем мире выявить развитие общества во всех странах по обоим берегам Иордана.

Более того, я вознамерился придать моему Иеффаю значимость типа, не лишая его индивидуальных черт. Его судьба, кажущаяся столь уникальной и удивительной, должна была стать притчей.

Автор, в нынешнее время взявшийся воплотить в словах и образах реальные жизненные обстоятельства библейских героев, должен быть готов к непониманию. Он неизбежно должен столкнуться с фанатической предубежденностью тех, кто видит в Библии «Слово Божие», — предубежденностью, жестко насаждавшейся при жизни семидесяти поколений. И даже если автор имеет дело с непредвзятым читателем, задача его остается весьма трудно разрешимой.

Взять хотя бы Иеффая. Его главный противник — Бог; именно Бог играет решающую роль в его судьбе. Однако многие читатели, услышав слово «Бог», настораживаются, и не без оснований. Никакое другое слово или понятие не столь многозначны, не претерпели стольких изменений, не овеваны до такой степени ладаном и ароматами всяческих благоволий. Следовательно, автор с самого начала обязан дать читателю недвусмысленный образ бога Ягве. Дабы читатель мог сразу же уяснить, что речь идет о боге Иеффая, боге определенной эпохи и определенного человека. Для этого автор должен оживить того Бога, который реально существовал три тысячи лет назад в представлении древних евреев.

Исследования многих ученых XIX и XX веков познакомили нас с представлениями о боге, бытовавшими в древности у народов Передней Азии. На обильном фактическом материале они показали, как народы и отдельные люди создавали и формировали образы своих богов в зависимости от постоянно меняющегося представления о самих себе. Представления о богах, которые бронзовый век считал суеверием, в каменном веке были верой; вере бронзового века было суждено стать суеверием в век железа. Бог еврейского народа постепенно превращался из бога войны и огня в бога пашни и плодородия, у оседлых земледельцев он имел другой облик, чем у пастухов-кочевников, лик его все время менялся.

Исследователи нашего времени не были первыми, кто это понял. Библейскую фразу: «И сказали Элохим: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему», — еще Гете переиначил так: «Человек говорит: «Сотворим себе богов по образу и подобию нашему». А еще на век раньше Спиноза тонко пошутил: «Если бы треугольник мог говорить, он сказал бы, что бог необычайно треуголен (*deum eminenter triangularem esse*)».

Выводы такого рода не слишком трудно убедительно изложить в теоретическом эссе. Но автор, вознамерившийся художественно отобразить представления о богах у людей библейской древности, берется за весьма рискованное дело. Он должен добиться того, чтобы читатель не только умом понял, какие представления о богах существовали в те древние времена, но и проникся ими, прочувствовал их душой. Читатель должен ощутить себя в бронзовом веке. Должен проникнуться чувствами Иеффая. Должен переступить через осведомленность человека нового времени и увидеть Бога глазами Иеффая, глазами Иаалы, глазами Авияма, Кетуры, Елеада.

В этой работе мне придавала силы и помогала мысль о том, что персонажи моего романа однажды уже рассматривались в историческом аспекте.

Дело в том, что авторы исторических Книг Библии обладали гораздо большим чувством истории, чем все другие авторы до начала нашего летосчисления. Они стремились включить своих героев в исторический контекст, более того, они их для этого пересоздавали. Связь эта была чисто умозрительная, и некоторые герои библейской истории авторам явно не удались. Но очень многие образы Библии обладают той аурой историчности, которая отсутствует у героев других древних памятников. Разумеется, и еврейские авторы были скованы предубеждениями своего времени, однако они, в отличие, например, от великих поэтов Древней Греции, сознавали, что их собственная эпоха — всего лишь звено бесконечной цепи, всего лишь мост между прошлым и будущим. Они старались придать событиям прошлого упорядоченность, взаимосвязь, направление, смысл, устремленный в будущее. Даже предвзятые исследователи признают, что библейские авторы раньше всех других проявили понимание философии истории, обладали историческим чутьем и сознанием изменчивости, динамичности и диалектичности бытия. Их персонажи не только живут своей жизнью, они воплощают историю.

Моей целью было, исходя из накопленных нашим временем знаний, придать роману именно такой дух историчности. В этом смысле — и только в этом — «Иеффай и его дочь» должен был стать романом на библейский сюжет.

Наша эпоха — время бурных и значительных перемен, а в такие периоды события гротескно искажаются сознанием и заслоняют людям взгляд на мир в целом, на общезначимое, на историю. Они способны заглянуть лишь в ближайшее будущее, в завтрашний день. Они переполнены текущими событиями, вынуждены принимать решения и действовать, а ведь еще Гете сказал: «Деятель всегда бессовестен, совестлив лишь созерцатель».

Когда я приступал к роману, я говорил себе, что в наше время почти неразрешима задача пронизать книгу тем ощущением историчности, какого требует подлинно библейский роман. И тем не менее решился. Я надеялся, что попытка моя будет заключать награду в себе самой.

Так оно и случилось. Именно трудности, нагромождавшиеся одна на другую, принесли мне новые прозрения и переживания. Полузабытое искусство исторического художественного творчества — очень высокое искусство. А исторический роман — законный наследник великого эпоса. Он высвобождает того, кто честно относится к своему труду, из статичных границ собственного существования, поднимает его над личным, дает ощущение бесконечного становления мира, учит понимать свое время как нечто преходящее.

И если исторический роман хоть в какой-то мере удастся, он доставляет читателю наслаждение, которого не может дать никакой другой вид литературы. Читатель получает возможность одновременно и наблюдать героев из своего времени, и разделять волнения и тревоги их жизни. Он не только постигает умом, но и ощущает душой, что проблемы этих людей, при всем их внешнем отличии, те же самые, что возникают у него самого и однажды возникнут у его внуков.

Лион Фейхтвангер

КОММЕНТАРИИ

-

ДЖЕ-НЕРОН

В 1935 г., выступая на Международном конгрессе писателей в защиту культуры, Лион Фейхтвангер говорил о романе, над которым работал в то время: «Мне все же легче изобразить людей, которые жили тысячу восемьсот семьдесят лет тому назад и подожгли при Нероне несколько общественных зданий в Риме, и я могу изобразить эти жалкие, тупые орудия реакционеров и милитаристов того времени с меньшим отвращением и большей убедительностью, чем тех, которые два года назад подожгли рейхстаг в Берлине, — жалкие, тупые орудия в руках реакционеров и милитаристов нашего времени».

Несколько позже, в письме переводчице своих произведений В. С. Вальдман, Фейхтвангер высказывается еще более определенно: «В данное время я работаю над историческим романом «Лже-Нерон». Действие происходит в 80-м году после Рождества Христова и рисует судьбу человека, который тринадцать лет спустя после смерти Нерона подлинного с успехом выдает себя за умершего цезаря Нерона; это дает мне возможность нарисовать жизнь и судьбу Гитлера, что было бы невозможно без исторической маскировки, из опасения натолкнуться на цензурные затруднения» (письмо от 10 мая 1936 г., архив В. С. Вальдман).

Таким образом, писатель отчетливо сознавал актуальный и даже злободневный характер своей книги, намеренно стремился написать антифашистский памфлет на историческом материале. Может быть, именно то, что роман является мнимоисторическим, и заставило Фейхтвангера закончить его «списком первоисточников» — несколько иронически, если учесть, что в него включены считавшиеся у римлян священными и пророческими так называемые Сивиллины книги. И все же знакомство с этими первоисточниками, как и с исторической обстановкой в Римской империи изображаемой эпохи, может быть очень плодотворным для понимания романа.

Действие «Лже-Нерона» датируется совершенно точно: оно разворачивается в 80—81 гг. н. э. В прошлое отошли для римлян гражданские войны конца I в. до н. э., когда претенденты на единоличную власть вели кровавую борьбу с приверженцами старой республики и друг с другом. Как счастли-
вое время вспоминалось правление первого императора, Октавиана Авгус-

та, стремившегося сохранить видимость республиканского режима. Но все еще вызывали боль и гнев воспоминания о кровавом царствовании Гая Калигулы (37—41 гг. н. э.), о развале государства и произволе временщиков при безвольном Клавдии (41—54 гг. н. э.), о терроре и беззаконии, царивших при Нероне (54—68 гг.). Последние императоры из дома Юлиев-Клавдиев (потомков Юлия Цезаря и Августа) уничтожили даже видимость республиканских свобод и открыто опирались на армию.

Еще при жизни Нерона недовольные полководцы стоявших в провинциях войск начали войну за власть. Изгнанный из Рима император кончает с собой на вилле своего вольноотпущенника. В это время всем стало ясно, что «солдаты получили власть убивать и создавать цезарей», как писал историк Дион Кассий. За два года после смерти Нерона царствуют три императора, провозглашенные в провинциях и в Риме и молниеносно свергающие друг друга; рядом с ними всплывают претенденты помельче, в их числе — несколько Лже-Неронов. Наконец, после двухлетней войны со сторонниками правившего в Риме Вутеллия, садится на престол грубый, умный Веспасиан, сын провинциального сборщика податей. Суровой экономией и нещадными поборами, рациональным упорядочением администрации и жестокими расправами с непокорными народами удается императорам новой династии Флавиев — Веспасиану и его сыну Титу — вывести Римское государство из кризиса, в который ввергло его самодержавное правление Юлиев-Клавдиев и новая гражданская война. Однако полного спокойствия империя не знала: продолжались военные столкновения на северных и восточных границах, появился новый Лже-Нерон.

Этот эпизод и использовал для фабулы своего романа Фейхтвангер.

Если мы просмотрим названные самим писателем исторические источники — произведения римских историков Тацита (ок. 55—120 гг.), Светония (ок. 75—160 гг.), Диона Кассия (ок. 160—235 гг.), а также византийцев Зонары и Ксифилина, составивших краткие изложения труда Диона Кассия, — то ни в одном из них мы не обнаружим подробностей о горшечнике Теренции, объявившем себя Нероном. В сохранившейся части «Истории» Тацита говорится о каком-то человеке, выдавшем себя за спасшегося от гибели императора и собравшем значительные силы на острове Китнос в Эгейском море; однако командиры римских кораблей, на которых самозванец хотел переправиться в Азию, передали его властям, и он был уничтожен. Правда, далее Тацит пишет, что это был лишь первый из Лже-Неронов, и обещает рассказать об остальных, но эти части его труда до нас не дошли. Дион Кассий совсем кратко сообщает о появлении мнимого Нерона, который был вскоре схвачен и подвергнут пыткам. Светоний, автор жизнеописаний двенадцати римских императоров, упоминает в конце биографии Нерона о самозванце, нашедшем убежище у парфян и с неохотой выданном ими Риму. И только Иоанн Зонара, византийский историкограф XI—XII вв., говорит несколько более подробно: «При нем (Тите.— С. О.) появился Лже-Нерон родом из Азии, по имени Теренций

Мáксим, похожий на Нерона и видом и голосом, к тому же умеющий играть на кифаре. Он привлек на свою сторону кое-кого в Азии и дошел до Евфрата; вскоре он приобрел широкую популярность, но в конце концов бежал к Артабану, царю парфян. Тот, гневаясь на Тита, принял Лже-Нерона и собирался вернуть его в Рим». Конца этой истории Зонара не сообщает.

От этих скудных сведений отталкивался Фейхтвангер. Но, видимо, их скудость устраивала писателя, потому что давала ему возможность свободно разворачивать фабулу и наделять героев, — не только вымышленных, как Варрон, Требоний, Филипп, но и исторических, известных нам лишь по имени, как сам Теренций или Цейоний, — необходимыми для его замысла характеристиками.

А замысел этот был продиктован не только ненавистью писателя к фашизму, но и теми взглядами на историю, которые выработались у Фейхтвангера еще в первых его романах. Мировая история для него есть непрерывная борьба сил разума и неразумия, варварства. Их победы и поражения временны, между ними царит вечное равновесие. И «лже-нероновщина» и гитлеризм — взрывы разрушительной стихии неразумия. Эта сила, одинаковая во все века, выдвигает во все века одинаковых «исторических деятелей». Поэтому писатель вправе наделить Теренция чертами Гитлера: позерством, лживостью, чудовищной жестокостью, а главное — несоответствием внутренней человеческой неполноценности и маниакальной уверенности в собственном величии, в своей мнимой «исторической миссии». Поэтому он может придать «фельдмаршалу» Требонию черты рейхсмаршала Геринга, а Кнопсу — черты Геббельса. Мало того: в цепи событий, сопутствующих возвышению Лже-Нерона, многое является отражением основных событий первых лет власти Гитлера. Наводнение в Апамее и обвинение в нем христиан — это провокационный поджог рейхстага и последовавшее за ним обвинение коммунистов. Процесс против христиан, моральная победа Иоанна с Патмоса — это Лейпцигский процесс и моральная победа Димитрова (хотя, конечно, последнего никак нельзя увидеть в христианском пророке и великом актере). «Неделя ножей и кинжалов» — это не только кровавая «Кепениккерская неделя» в Берлине, последовавшая за поджогом рейхстага неделя убийств и погромов; даже такими частностями, как уничтожение классических произведений литературы, воспроизводит она обычную «методику» гитлеровского террора. Наконец, резня среди собственных приверженцев, учиненная Теренцием в ночь на 15 мая, — это массовое убийство недовольных штурмовиков во главе с Ремом, проведенное Гитлером 30 июня 1934 г. Во время этой расправы чуть не погиб числившийся приверженцем Рема Геббельс (вспомним историю внесения Кнопса в проскрипционный список). Даже рознь между окружающими Теренция подонками и аристократами перенесена в Эдессу и Самосату из фашистского Берлина, а вызванное этой враждой убийство лейтенанта Луция намекает на устранение гитлеровцами популярного в немецкой армии генерала Шлейхера.

Не маскируя злободневности содержания своего романа, Фейхтвангер куда более смело, чем в трилогии об Иосифе Флавии, нарушает «римский колорит» повествования, модернизируя детали римского быта, давая современные наименования римским понятиям, вводя современные политические термины. Однако писатель умеет найти такую меру, что ощущение исторической достоверности у читателя все же не теряется. И только в одном можно увидеть серьезное искажение исторической правды в угоду антиисторической концепции.

И в «Лже-Нероне» Фейхтвангер не отказывается от своей идеи о вечном антагонизме Запада — мира целеустремленной деятельности, и Востока — мира мудрого отказа от деяния, пассивности, всего того, что писатель назвал «индийским мировоззрением». Идеал писателя — слияние Запада и Востока, тот идеал, который воодушевляет сенатора Варрона, которым якобы руководствовался в своей политике истинный Нерон. И вот, приписав Нерону эту высшую цель, писатель как бы проводит в романе реабилитацию «подлинного» императора — не имея на то никаких исторических оснований. Да, Нерон пытался упрочить империю — но дело кончилось тем, что несколько второстепенных зависимых царств было превращено в провинции. Нерон мечтал, в угоду своей мании величия, повторить походы Александра Великого на Восток — но дело кончилось набором легиона из рекрутов выше шести футов ростом, то есть опять-таки обычной для императора-актера «показухой». Наконец, мнивший себя артистом и покровителем искусств цезарь «вернул независимость» Греции — провинции Ахайе — ради ее славного прошлого (сделано это было во время «концертного турне» Нерона по городам Греции); однако этот жест не имел ни малейших политических последствий. По сути дела, Нерон не имел политической программы по отношению к провинциям, так же как не имел ее и в Риме: все определялось произволом всевластного цезаря, который довел до последнего предела террористический режим единоличной власти.

Наоборот, «трезвые, бескрылые Флавии» в своей политике последовательно опирались на провинции, прежде всего — на провинциальную знать, которую они допустили в сенат. Именно при них быстрыми темпами пошел процесс экономической консолидации империи, превращения ее из суммы покоренных земель в единый политический и экономический организм. В эпоху Флавиев и их преемников окончательно вырабатывается та единая греко-римская культура, которая восприняла и множество восточных влияний; наиболее последовательным выражением заложенных в ней космополитических тенденций явилось христианство, провозгласившее, что «нет ни эллина, ни иудея». Увидеть эту сторону исторической действительности Фейхтвангеру мешает предвзятая концепция, от которой он сумел уйти лишь в поздних романах, в те дни, когда для него многое прояснил опыт победы над фашизмом и когда писатель ясно увидел, что является на самом деле прогрессивной силой истории.

«Лже-Нерон» впервые опубликован в 1936 г. в амстердамском изда-

тельстве «Керидо». На русском языке печатался в 1937 г. параллельно в двух журналах: «Интернациональная литература» и «Октябрь». В том же году вышел отдельными изданиями в Журнально-газетном объединении и в Гослитиздате.

»

Стр. 7. *Сирия* — римская провинция, охватывавшая всю территорию Переднего Востока от Евфрата на востоке до Средиземного моря на западе и от Синайского перешейка на юге до Армении на севере. Ею управлял наместник в ранге консула, обладавший высшей судебной, административной и военной властью.

Палатин — один из семи холмов Рима, на котором находился императорский дворец.

Стр. 8. *...исключили из сенатских списков...* — Право исключения из сената за недостойное поведение принадлежало при Республике особому должностному лицу — цензору, при Империи — императору, присвоившему полномочия цензора. В 73—74 гг. н. э. Веспасиан и Тит в должности цензоров провели пересмотр сенатских списков, исключив недостойных и включив многих италиков и провинциалов.

Арминий — вождь германского племени херусков, разбивший в 9 г. н. э. легионы римского полководца Вара.

Стр. 12. *Сатурналии* — декабрьские празднества в честь бога Сатурна, сопровождавшиеся многими забавами и пирами.

Стоики — греко-римская философская школа; во главу угла своей этики стоики ставили идеал мудреца, пренебрегающего земными благами и земными невзгодами, презиравшего жизнь и всегда готового к смерти. Это учение стоиков во многом повлияло на христианство. В императорском Риме стоицизм был широко распространен среди сенатской знати, оппозиционной режиму.

Стр. 17. *Клиент* — зависимое от знатного римлянина лицо, обязанное оказывать своему патрону мелкие услуги, ежеутренне приветствовать его, сопровождать при передвижении по городу, и получавшее от патрона финансовую поддержку и покровительство. Клиентами становились неимущие свободные граждане и вольноотпущенники.

Стр. 20. *...претенциозное имя Максим.* — По латыни «*maximus*» — величайший.

Стр. 24. *...Помпей, Красс... сломали себе зубы на... Востоке.* — Неточность Фейхтвангера. Гней Помпей в 66—62 гг. до н. э. одержал блестящие победы на Востоке и присоединил к Риму новые провинции (Вифиния, Понт). Марк Лициний Красс был разбит парфянами в 53 г. н. э. и сам погиб в походе.

Стр. 29. *...большую речь Эдипа...* — монолог из последней сцены трагедии Софокла «Царь Эдип».

Стр. 30. *Мирон* (первая половина V в. до н. э.) — знаменитый греческий скульптор, автор прославленного «Дискобола». В эпоху поздней

античности ему приписывали множество произведений прикладного искусства.

Вологез I — царь парфян, вел войну с Римом при Нероне и потерпел ряд поражений от римского полководца Гнея Домиция *Корбулона*. Однако Нерон, завидовавший славе Корбулона, отозвал его, и Корбулон покончил с собой, не дожидаясь приказа императора (67 г. н. э.).

Стр. 37. ...*Великого царя Артабана*... — Великий царь — титул персидских монархов и парфянских властителей, унаследовавших восточную часть их державы. Артабан IV — царь из парфянской династии Аршакидов, преемник Вологеза, не признавший соправителя и брата своего предшественника, царя Мидии Пакора, и боровшийся с ним за парфянский престол.

Стр. 45. «Демон». — У Платона так называются духи-посредники между богами и людьми. Учитель Платона Сократ называл своим «демоном» внутренний голос, удерживавший его от дурных и неразумных поступков.

«Будет некогда день» — цитата из «Илиады», IV, 165:

Будет некогда день, как погибнет высокая Троя,
Древний погибнет Приам и народ копыеносца Приама.

(Перевод Н. Гнедича)

Стр. 52. ...*доспехами, украшенными головой Медузы*. — По мифологическим представлениям, голова чудовища — Горгоны Медузы — украшала панцирь богини Минервы или Юпитера. Однако в императорскую эпоху в доспехах с головой Горгоны нередко изображали обожествленных цезарей.

Стр. 53. *Богиня Рома* (Roma — по-латыни Рим) — официальное божество, олицетворение Рима. Его обязаны были почитать все римские провинции, посвящая храмы богине Роме и обожествленному императору.

Стр. 57. *Сенека* Луций Анней (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский философ-стоик, драматург, политический деятель, воспитатель Нерона, впоследствии казненный им по обвинению в участии в заговоре против императора. Речь идет о приписываемой Сенеке, но в действительности ему не принадлежащей трагедии «Октавия».

Октавия — дочь императора Клавдия, выданная им замуж за его пасынка Нерона. Желая жениться вторично, Нерон сослал Октавию на пустынный остров, а потом приказал убить ее.

Сивиллины книги — «пророческие книги», в которых мифическая прорицательница — Кумская сивилла — якобы запечатлела все грядущие судьбы Рима. Сивиллины книги были предметом официального культа в Риме.

Стр. 58. «Нет ничего могущественнее человека» — неточная цитата из «Антигоны» Софокла (начало первой песни хора).

Стр. 59. ...*прочсть перед публикой*... — Публичные чтения (так называемые «рецитации») художественных произведений были чрезвычайно популярны в Риме в I в. н. э. Чаше произведения читал сам автор, реже — актеры.

...слова Сенеки...— В трагедии «Октавия» Сенека выступает как одно из действующих лиц, так же как и вторая жена Нерона *Поппея*, и тень убитой им матери *Агриппины*.

Стр. 62. *«Учебник военного искусства»* — вымысел Фейхтвангера. Однако реальным прообразом этой книги послужило сочинение «Военные хитрости», написанное военным теоретиком Фронтинум (I в. н. э.).

Стр. 67. ...*правом убежища, даруемым святилищем богини*.— По всему древнему миру преступник, укрывшийся на священной земле храма и тем более припадающий к алтарю, считался неприкосновенным.

Стр. 68. ...*венец с зубцами и башнями*...— атрибут Кибелы, Великой Матери Богов, культ которой пришел в Грецию и в Рим с Востока.

Стр. 70. ...*ею колоссальной статуи, которой они в Риме отбили голову*...— На колоссальной статуе Нерона в Риме при Веспасиане была заменена голова, и статуя вновь воздвигнута в честь бога солнца (а не Веспасиана, как указывает Фейхтвангер).

Стр. 84. ...*слова излетели из ограды... зубов*...— цитата из Гомера, формула, многократно повторяющаяся в «Илиаде» и «Одиссее».

Стр. 90. *«Золотой дом»* — дворец, воздвигнутый Нероном в Риме и занявший огромную часть городской территории (свыше 270 га).

Стр. 92. ...*около восьмьсот восемнадцатого года от основания Города*...— Римляне вели летосчисление от мифической даты основания города Рима — 753 г. до н. э. Таким образом, восьмьсот восемнадцатый год — 65 г. н. э.

Стр. 95. *Весталки* — хранительницы неугасимого огня богини домашнего очага Весты. Весталками становились в детском возрасте девочки из знатных семей, которые затем обязаны были тридцать лет служить богине и хранить чистоту.

Священная дорога — одна из главных улиц в Риме.

...*поднималась бы на Капитолий рядом с императором*...— Раз в год старшая весталка вместе с верховным жрецом (в годы Империи эту должность занимал обычно император) поднималась на Капитолий в храм Юпитера для торжественного моления о благе государства.

Стр. 103. ...*сладостно и почетно умереть за отечество*...— цитата из Горация («Оды», III, 2).

Стр. 107. *«Отступление десяти тысяч»*.— В 401 г. войско греческих наемников приняло участие в походе претендента на персидский престол Кира против царя Артаксеркса. После поражения Кира десять тысяч греческих воинов под началом историка Ксенофонта в течение шести месяцев отступали через горы Курдистана и Армении, зимой, под ударами врагов, к Черному морю.

Стр. 110. ...*«Нерон» означает «Муж»*.— По сведениям античных авторов, слово «нерон» на языке италийского племени сабинян, слившихся с римлянами, означало «отважный», «мужественный».

Стр. 118. *«Рыжебородый Малыш»*.— Рыжебородый — буквальный перевод родового имени Нерона Агенобарб.

Акте — вольноотпущенница и первая любовница Нерона, связь с которой продолжалась до смерти императора. После самоубийства Нерона Акте похоронила его в родовом склепе его родного отца Доминия (а не у себя в имении, как указывает Фейхтвангер).

Стр. 120. *Коммагена* — полузависимое княжество на севере провинции Сирия.

Стр. 126. ...*офицером — носителем орла Четырнадцатого легиона.* — Знаменем римского легиона служил увенчанный серебряным орлом шест с медальонами, изображавшими императора. Обычное название такого знамени — «боевой значок легиона». Носителем орла был «примипиларий» — командир подразделения самых опытных солдат.

...*во время Армянской и Иудейской войн.* — Армянская война — поход римских войск во главе с Корбулоном на Армению в 54—60 гг. н. э. Иудейская война — покорение восставшей Иудеи войсками Веспасиана и Тита в 66—70 гг. н. э.

Стр. 127. ...*получил пурпурный флажок.* — Фейхтвангер точно перечисляет римские военные награды: пурпурный флажок, бляхи, надевавшиеся на руку и на грудь либо украшавшие сбрую коня, и разного рода венки.

Стр. 132. ...*волчицей — Римом?* — Волчица, вскормившая, по преданию, основателей города — Ромула и Рема, стала символом Рима.

Стр. 141. ...*когда он начал войну с Вителлием.* — Веспасиан, провозглашенный своими войсками в Иудее императором, начал войну против сидевшего в Риме императора Вителлия и победил его.

Стр. 144. ...*широкую пурпурную кайму — знак высшей власти.* — Тунику с широкой пурпурной каймой носили сенаторы и высшие должностные лица.

Стр. 154. ...*христиане... подожгли... город Рим?* — Версия, будто виновниками знаменитого пожара в Риме в 64 г. н. э. были христиане, приводится уже древними авторами — Светонием и Тацитом.

Стр. 156. *Апамея.* — Ошибка Фейхтвангера: город Апамея находился не на Евфрате, а близ реки Оронта, западнее Евфрата.

Стр. 161. «*Черепаша*» — тактический прием римлян, применявшийся для приступа крепостей: воины поднимали над головами щиты и смыкали их, образуя сплошную кровлю, на которую иногда взбирались новые ряды штурмующих.

Стр. 163. ...*покажет свое искусство... коринфянам, афинянам.* — В 66 г. н. э. Нерон совершил «концертное турне» по Греции и выступил как актер и чтец в Коринфе и Афинах.

...*своего гения.* — По верованиям римлян, гений — дух-покровитель, сопутствующий человеку с рождения. День рождения человека есть праздник его гения.

Стр. 164. *Башня Мецената* — находилась в бывших садах Мецената, видного политического деятеля эпохи Августа, завещанных им цезарям Нерон, расширив свой дворец до садов Мецената, очевидно, соединил ее переходом с «Золотым домом».

Стр. 174. *...обвиняется в оскорблении величества.*— Закон об оскорблении величества, установленный Тиберием и каравший всякого за непочтительное слово или действие, затрагивавшее императора или государство, допускал самые произвольные толкования. Это давало широкий простор деятельности доносчиков, обильно распространившихся в Риме, и произволу императоров.

Стр. 175. *Кохзелет* — еврейское имя мнимого автора той книги Библии, которая по-гречески именуется Екклезиаст. Оба эти слова означают «проповедник».

Стр. 190. *Ниоба* — мифическая царица Фив, мать четырнадцати детей, возмнившая себя счастливее Латоны — матери Аполлона и Артемиды. За гордыню Аполлон и Артемида истребили всех детей Ниобы.

Поликрат — тиран острова Самоса; убоявшись своего чрезмерного счастья, выбросил в море свой любимый перстень, но боги не приняли его жертвы, и рыбак вернул Поликрату кольцо, найденное в желудке рыбы. Вскоре Поликрат был предательски убит в Персии.

Стр. 194. *Рецитация.*— См. коммент. к с. 59.

Стр. 197. *Путеолы* — приморский городок близ Неаполя.

Велетры — городок в Лации, у подножия Альбанской горы.

Гермы — четырехгранные колонны, увенчанные головой бога Гермеса, а позднее и других божеств.

Стр. 202. *...поэт по имени Италик.*— Имеется в виду Силий Италик (ок. 35—101 гг. н. э.), второстепенный поэт, автор эпической поэмы «Пуническая война», приближенный Нерона, Вителлия, при Веспасиане — проконсул провинции Азия.

Стр. 209. *...слово «идея»... в платоновском смысле...*— Имеется в виду учение философа Платона (427—347 гг. до н. э.) об идеях — нематериальных, постигаемых лишь разумом образах всех предметов, существовавших еще до этих предметов и независимо от них.

Стр. 223. *Гречанка, отдавшая жизнь за то, чтобы похоронить тело брата...*— Антигона, дочь Эдипа, нарушила запрет и похоронила брата, пришедшего завоевывать родные Фивы и погибшего в поединке. За это Антигона была погребена заживо. Судьба ее — сюжет одной из лучших трагедий Софокла.

Стр. 224. *...кораблекрушении, с помощью которого Нерон пытался убрать с пути свою мать.*— Нерон, желая погубить свою мать Агриппину, придумал особый рассыпающийся корабль и послал на нем мать в море. Когда ставленники Нерона попытались совершить преступление, Агриппина спаслась вплавь. Вскоре, однако, она была зарезана по приказу сына.

Стр. 226. *...Как мыши летучие...*— «Одиссея», XXIV, 6.

Стр. 238. *...стиль и навоощенные дощечки...*— Римляне писали на покрытых воском дощечках остроконечной металлической палочкой — стилем — или же тростниковым пером на пергаменте либо папирусе.

Стр. 240. *Проскрипционный список* — одно из террористических средств борьбы за власть, использовавшихся во время гражданских войн

в Риме в I в. до н. э. Всякого внесенного в проскрипционный список мог убить любой человек, получавший за это долю имущества убитого.

Стр. 250. *Цинна Гельвий* — поэт, народный трибун 44 г. н. э., сторонник Цезаря. О его поэме «Смирна» известно из стихотворения друга Цинны, поэта Катутла. *Цинна Корнелий* — политический деятель, один из активных участников заговора против Цезаря. После погребения убитого Цезаря «народ, встретив по пути Гельвия Цинну, убил его, спутав по имени с Корнелием Цинной, которого искали за его произнесенную накануне в собрании речь против Цезаря; голову Цинны вздели на копье и носили по улицам» (С в е т о н и й, Божественный Юлий, 85).

Стр. 259. ...*Геракл пустился в путь, чтобы изловить трехглавого пса.*— По мифу, Геракл спустился в царство мертвых и вывел оттуда трехглавого пса — стража подземного царства, Цербера (двенадцатый подвиг Геракла).

Стр. 264. *Клит* — один из приближенных полководцев Александра, спасший ему жизнь в битве на реке Граник (334 г. до н. э.) во время похода против персов. Когда Александр, завоевав Персию, повел себя как восточный деспот, среди его македонских приближенных возникла оппозиция. Очевидно, следствием этих разногласий и было убийство Клита Александром (328 г. до н. э.) на пиру в Маракаде (ныне Самарканд).

Стр. 265. ...*Брут осудил своих сыновей.*— Сыновья Луция Юния Брута, первого римского консула (509 г. до н. э.), освободившего Рим из-под власти царей, приняли участие в заговоре с целью вернуть в Рим изгнанного царя Тарквиния и за это были приговорены к смерти отцом.

Стр. 271. *«Лучше б хотел я живой...»* — «Одиссея», XI, 489—491.

Стр. 272. ...*фурии у Эсхила гонятся за Орестом.*— Фурии (г р е ч. Эринии) — чудовищные богини мести. В трагедии Эсхила «Эвмениды» хор фурий преследует матереубийцу Ореста, сына Агамемнона, отомстившего матери своей Клитемнестре за убийство отца.

Стр. 288. *Послы скифов, аланов.*— Неточность Фейхтвангера. Аланы — одно из племен сарматов, вытеснивших скифов с территории на юге европейской части нашей страны. Аланы жили на Северном Кавказе и в междуречье Волги и Дона.

Стр. 290. *«Здесь Родос, здесь прыгай»* — пословица, смысл которой: докажи свои слова на деле. Фразу эту будто бы произнес некий спартанец, чтобы сбить спесь с хвастуна, похвалявшегося, как далеко он сумел прыгнуть на острове Родос.

Стр. 292. ...*мы высылали из Рима писателей, вроде Музония или Диона из Прусы.*— Музоний Руф — философ-стоик, изгнанный из Рима при Нероне в 65 г. н. э. и затем вернувшийся в столицу. Дион из Прусы — выдающийся греческий оратор и философ. Был изгнан из Рима при Домитиане в 87 г. н. э., после описываемых в романе событий.

Стр. 313. *Квинтилиан* Марк Фабий (ок. 35—95 гг. н. э.) — знаменитый римский преподаватель и теоретик красноречия, автор капитального труда «Воспитание оратора».

С. Ошеров

ИЕФФАЙ И ЕГО ДОЧЬ

Последний роман Лиона Фейхтвангера опубликован в 1957 году в берлинском издательстве «Ауфбау». По этому изданию сделан настоящий перевод. Роман «Иеффай и его дочь» продолжают линию исторических романов Фейхтвангера, соотнесенных с современностью (см. послесловие автора), только здесь исторический сюжет заимствован из Библии. История Иеффая (Йифтаха) и его дочери изложена в Книге Судей (11,1—40). Как и ряд других сюжетов этого израильского героического эпоса, он имеет фольклорный характер. Мотив жертвоприношения, в том числе жертвоприношения близкого человека, имеется в мифологических и эпических сказаниях многих народов (на это указывает и сам Л. Фейхтвангер в авторском послесловии к роману). Если же обратиться к историческим фактам, то человеческие жертвоприношения были широко распространены у западных семитов, в частности у хананеев (ханаанеев) — доеврейского населения Палестины, в языковом и культурном отношении чрезвычайно близкого древним евреям. В ряде случаев практиковалось принесение в жертву первенцев. В художественной литературе подобное жертвоприношение описано в романе Г. Флобера «Саламбо», действие которого происходит в Карфагене, населенном выходцами из Ханаана.

Однако подобные обычаи принадлежали к тому культурно-религиозному контексту, в противостоянии которому сформировался еврейский монотеизм, выросший из культа Ягве (см. коммент. к с. 337). Отсюда особый драматизм истории Иеффая и аналогичных ей (к примеру, жертвоприношение Авраама) в рамках библейского повествования. Культурно-историческая основа фабулы романа освещена в авторском послесловии.

В переводе имена ветхозаветных персонажей и географические наименования даны, как правило, в привычной для отечественного читателя форме — в соответствии с синодальным переводом Библии. В примечаниях указывается в скобках еврейский вариант этих имен и названий.

Стр. 335. *Галаад* (Гилеад) — согласно библейской Книге Судей (11, 1—2), отец судьи Иеффая. Имя это, по-видимому, происходит от одноименной области в Заиорданье, в которой происходят описываемые в романе события.

Массифа (Мицпе) — собственно сторожевая вышка, или башня. Так часто назывались гористые или холмистые места. В данном случае — город в Галааде, иногда также называвшийся Галаадом.

Овот (Обот) — оазис в Заиорданье.

Стр. 336. *...многие величали его «судьей в Израиле»...* — Словом «судья» в русском и многих европейских переводах Библии переводится «шофет», глава племени и военачальник в догосударственный период истории Израиля (приблизительно XIII—XI вв. до н. э.).

Моав (Моаб) — государство, существовавшее с конца II тысячелетия до второй половины I тысячелетия до н. э. на юге современной Иордании.

Между Израилем и Моавом часто велись войны. Население Моава — моавитяне, были родственны хананеям, доеврейскому населению Палестины (см. коммент. к с. 408).

Аммон — небольшое государство, существовавшее во II—I тысячелетиях до н. э. в Заиорданье, к северу от Моава. Столица — Раббат-Аммон (ныне г. Амман — столица Иордании). Аммон многократно воевал с израильтянами. Население Аммона, аммонитяне — семитического происхождения.

Земля Мадиямская — область на северо-западе Аравии, в районе Акабского залива и Синайского полуострова, населенная в древности мадианитянами (мидианитянами) — семитическим народом, родственным израильтянам. В конце II тысячелетия до н. э. мадианитяне совершали опустошительные набеги на землю Израиля и были разгромлены Гедеоном.

Стр. 337. *Ковчег Завета* — святыня древней религии Израиля, ларь из дерева ситтим, украшенный золотом, в котором хранились каменные скрижали с заповедями, данные, по преданию, Моисею Богом на горе Синай.

Ягве (Яхве, Йахве) — произносимое имя бога в еврейской религии. Ягве — бог, открывшийся еврейским патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, заключивший с народом Израиля, в лице Авраама, Завет (союз), давший Закон Моисею на горе Синай, основной субъект действия во всей еврейской Библии.

Стр. 344. *Маханаим* — город в Галааде.

Стр. 350. *«Терафим»* — изображения домашних божеств, почитание которых было распространено среди хананеев, а также и евреев, хотя оно и противоречило вере в единого бога Ягве.

Милхом (Мильком) — верховное божество аммонитян. Иногда отождествляется с Молохом, богом, почитавшимся в Палестине и Финикии, которому, сжигая их заживо, приносили в жертву детей. Милхома, как и Молоха, изображали в виде человеческой фигуры с головой быка.

Астарта — у хананеев и других западных семитов богиня любви и плодородия, олицетворение планеты Венеры.

Стр. 360. *Мириам* — согласно библейской книге «Исход» сестра пророка Моисея и первосвященника Аарона. *Девора* (Дебора) — судья и пророчица Израиля эпохи Судей (XII в. до н. э.), вдохновительница и руководительница войны против ханаанского царя Иавина. «Песнь Деворы» (Кн. Судей, 5) является древнейшим текстом Библии.

«Урим» и *«тумим»* — букв.: «свет» и «совершенство». Так называлось особое украшение, вероятно, особые камни; служили атрибутами израильского первосвященника, наделенного даром узнавать и возвещать волю Ягве.

Эфод — верхняя одежда первосвященника.

Стр. 361. *Скрижали* — две каменные плиты, на которых, согласно преданию, Богом были записаны десять заповедей. Позднее хранились в Ковчеге Завета (см. коммент. к с. 337).

Стр. 364. *...хотела назвать тебя по имени одного из Ваалов...* — Ваал (Баал, Балу) — «хозяин», «владыка». Так в религии западных семитов именовались боги. У израильтян в течение долгого времени сохранялось поклонение Ваалам, с которым активно боролись пророки.

Стр. 368. *Да уподобит тебя Ягве Манассии и Ефрему.* — Манассия (Менаше) и Ефрем (Эфраим) — соответственно старший и младший сыновья Иосифа, родоначальники одноименных колен (племен) Израильского племенного союза.

Стр. 373. *Геден* — один из Судей Израилевых, отважный воин, одержавший победу над мадианитянами.

Варак (Барак) — израильский военачальник, соратник Деворы в войне с хананейским царем Иавином. Их победа была воспета в благодарственной песне Деворы и Варака (Книга Судей, 5).

Иаир — судья Израилев, родом из Галаада.

Стр. 379. *...кто-то из колена Рувимова...* — Колено Рувимово — одно из израильских племен, происходящее от старшего сына Иакова и Лии — Рувима (Реубена).

Земля Тов — область в Заиорданье.

Стр. 380. *Васан* (Башан) — область на севере Заиорданья.

Сова (Цоба) — область в Сирии.

Стр. 382. *Хермон* (Гермон, Ермон) — гора Антиливанского хребта в Сирии, к северу от озера Киннарет (см. коммент. к с. 408). Современное название — Джебельэль-Шейх.

Иармук (Ярмук) — река, впадающая в Иордан южнее озера Киннарет.

Стр. 383. *Аморей* (аморреи) — семитические племена, выходцы из Аравии. Название происходит от аккадского слова «амурру» — запад.

«*Рефаим*» — по поверьям народов сиро-палестинского региона, обитатели загробного мира. В Библии рефаимы фигурируют как древний народ; они отличались, по преданию, очень высоким ростом.

Стр. 386. *Ог* — царь Васана, разгромленный, согласно Библии, израильтянами во главе с Моисеем.

Стр. 387. *Аргоб* (Аргоб) — каменистая область Васана, отданная Моисеем племени Манассии.

Стр. 388. *Голан* — город и названная по его имени область в северном Заиорданье. В настоящее время провинция Сирии, оккупированная Израилем.

Гессур (Гешур) — область к юго-востоку от Васана.

Иавок — небольшая река в Заиорданье (ныне — Вади-Зерка).

Стр. 397. *Бет-Нимра* — город в Заиорданье (на территории колена Гадова).

Стр. 401. *Говорил он на угарите...* — Имеется в виду семитский язык, на котором говорили в Угарите — городе Северной Финикии, центре развитой цивилизации и высокой культуры в первой половине II тысячелетия до

н. э. В XII в. до н. э. Угарит был разрушен захватчиками, так называемыми «народами моря».

Стр. 403. *Этана* — герой шумеро-аккадской мифологии, легендарный правитель города Киша в нижнем Двуречье.

Адапа — герой аккадской мифологии, один из семи мудрецов, легендарный правитель города Эреду.

Таммуз (Думузи у шумеров, Дуузу у аккадцев) — бог плодородия шумеров, аккадцев и западных семитов, пастух, супруг богини Инанны (Иштар), отданный ею в подземное царство, откуда Таммуз периодически возвращается, что знаменует смену времен года.

Стр. 406. *Иошуа* (Иехошуа бин-Нун, Иисус Навин) — предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, ближайший сподвижник Моисея.

Баал-Гад (Баал-Гад) — город у подножия горы Хермон. *Гад* (Гад-де) — бог счастья и удачи в западносемитской мифологии.

Стр. 408. *Ханаан* — страна хананеев, древнейшее название страны, южная часть которой позднее именовалась Землей Израиля и Палестиной, а северная — Финикией. Ханаан занимал территории современных Израиля, восточной части Иордании, Ливана и средиземноморского побережья Сирии.

Мертвое море — озеро, в которое впадает Иордан. Названо так из-за чрезвычайно высокой концентрации соли в ее водах, делающей невозможной в ней всякую жизнь.

Киннарет (Генисаретское озеро, Тивериадское озеро, Галилейское море) — пресноводный проточный водоем на севере Иорданской долины.

Вирсавия (Беер-Шева) — город в пустыне Негев, у южных границ Иудеи.

Стр. 412. *Дан* — город в верховьях Иордана, названный по имени колена Данова. Дан был пятым сыном Иакова и первенцем Валлы, рабыни Рахили. Выражение «от Дана до Вирсавии» обозначало все пространство земли Израиля в длину.

...строптивых сынов Вениамина... — Вениамин (Беньямин) — младший сын Иакова от Рахили, родоначальник одноименного колена.

Стр. 421. *Язык Вавилона, во многом схожий с еврейским...* — В Вавилоне говорили на аккадском языке, принадлежащем, как и иврит, к семитской языковой группе.

Стр. 425. *Сиппар, Аккад, Борсиппа, Ниппур* — города Двуречья, центры шумерской и аккадской культуры.

Стр. 433. *Иазер* — город в Галааде, принадлежавший амореям, а при Моисее завоеванный израильянами.

Хешбон — город к северо-востоку от Мертвого моря.

Нево — гора в Заиорданье, место смерти Моисея.

Арнон — река в Заиорданье, впадающая в Мертвое море. Арнон был границей между моавитянами и амореями.

Стр. 476. *Шилом* — город в колене Ефремовом. В Шиломе находилось древнейшее общеизраильское святилище, в котором первоначально хранились Скиния и Ковчег Завета.

Стр. 477. *Иошуа и Девора*.— См. коммент. к с. 406 и 360.

Стр. 479. *Песня о кровавой мести Ламеха*.— Ламех — сын допотопного патриарха Мафусаила. В Книге Бытия (4, 23—24) помещено его обращение к своим женам, являющееся одним из древнейших памятников еврейской поэзии: «И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро».

Амаликитяне — кочевое племя, обитавшее в пустыне Негев и враждовавшее с израильтянами со времен их появления в Ханаане и до возникновения Израильского царства.

Стр. 480. *Махир* — старший сын Манассии (см. коммент. к с. 368).

Неффалим (Нафтали) — сын Иакова и Валлы, рабыни Рахили. Колено Неффалимово занимало территорию Северной Палестины.

...у вод Мегиддонских.— Мегиддон — город на территории колена Манассии недалеко от реки Киссон, которая и называлась водами Мегиддонскими.

Стр. 481. *Сисара* — военачальник Иавина, царя из ханаанского города Асора (Хацор). Согласно библейской легенде, Сисара, потерпев поражение в битве с войском израильтян, которым предводительствовали Варах и Девора, бежал в город Фавор и скрылся в куще (палатке) Иаили, но был поражен ею в висок, как рассказывается в тексте романа (ср.: Книга Судей, 4, 17, 18). Этот эпизод послужил сюжетом многих известных картин.

Стр. 495. *Пенуэл* (е в р. Лик Божий) — местность в Палестине, где Иаков, согласно Книге Бытия, боролся с Богом.

Стр. 503. *Кемош* (Хамос) — верховное божество моавитян.

Стр. 513. *Офра*, или Офра Авиезерова, — город на территории колена Манассии, родина судьи Гedeона.

Н. Шабуров

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

	Том	Стр.
Автор о самом себе	6/1	681
Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ	3	7
Братья Лаутензак	2	291
Верный Петер	2	600
«Вишневый сад»	6/1	591
Второе рождение господина Ханзике	2	606
Генрих Манн	6/1	710
«Германия. Зимняя сказка»	6/1	704
Гойя, или Тяжкий путь познания	5	7
«Доктор Фаустус» Томаса Манна	6/1	713
Дом на Зеленой улице	2	579
Дом Дездемоны, или Мощь и границы исторической художественной литературы	6/1	543
Еврей Зюсс	3	205
Иеффай и его дочь	6/5	335
Изгнание	6/2	7
Испанская баллада	4	359
Испытание временем	6/1	724
Иудейская война	4	7
Крамольные мысли о Льве Толстом	6/1	716
Кельнер Антонио	2	621
Лже-Нерон	6/5	7
Лисы в винограднике	6/4	7
Литература — сила, сближающая народы	6/1	721
Мой роман «Успех»	6/1	718
Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо	6/1	7
Мысли в связи с кончиной Горького	6/1	708
Настанет день	6/3	423
О Бертольте Брехте	6/1	699
Одиссей и свиньи, или О неудобстве цивилизации	2	559
Пари	2	612

Рассказ о физиологе докторе Б.	2	593
Семья Опперман	2	7
Софокл и Гофмансталь	6/1	685
Сыновья	6/3	7
Тетя Вруша	2	609
Успех	1	35
Фанатики не восторжествуют	6/1	726
Черт во Франции	6/1	369

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЖЕ-НЕРОН

Перевод И. Горкиной и Р. Розенталя

Книга первая. ВОЗВЫШЕНИЕ	7
Книга вторая. ВЕРШИНА	94
Книга третья. ПОД ГОРУ	180
Книга четвертая. ПАДЕНИЕ	254

ИЕФФАЙ И ЕГО ДОЧЬ

Перевод Е. Михелевич

Глава первая	335
Глава вторая	381
Глава третья	432
Глава четвертая	474
Глава пятая	514
Послесловие автора	565
Комментарии С. Ошерова и Н. Шабурова	574
Алфавитный указатель	589

Фейхтвангер Л.

- Ф 36 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 6. Кн. 5: Лже-Нерон: Роман; Иеффай и его дочь: Роман: Пер. с нем./Редкол.: А. Дмитриев, Д. Затонский, Н. Литвинец и др.; Коммент. С. Ошерова и Н. Шабурова. М.: Худож. лит., 1994.— 591 с.

ISBN 5-280-02149-0 (Т. 6. Кн. 5)

ISBN 5-280-00307-7

В том 6-й (кн. 5) Собрания сочинений вошли романы Л. Фейхтвангера «Лже-Нерон» (1936) и «Иеффай и его дочь» (1957), последний из которых публикуется на русском языке впервые.

Ф 4703010100-102 Подписное
028(01)-94

ББК 84.4Г

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 6-ТИ ТОМАХ

ТОМ ШЕСТОЙ (КН. 5)

Оформление переплета И. Сальниковой

Редакторы Е. Маркович, И. Солодунина

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор Л. Витушкина

Корректор Г. Володина

ИБ № 6810

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.

Подписано к печати 12.09.94. Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,5. Уч.-изд. л. 35,4. Тираж 60 000 экз. Изд. № VI-4361. Заказ № 1264. «С» — 250.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

